

Вячеслав
ШИШКОВ

ЧУЙСКИЕ
БЫЛИ





Вячеслав ШИШКОВ · ЧУЙСКИЕ БЫЛИ



Вячеслав ШИШКОВ

**ЧУЙСКИЕ
БЫЛИ**



**РОМАН
ОЧЕРКИ
РАССКАЗЫ**

**Барнаул
Алтайское книжное издательство
1986**

Оформление А. Курдюмова

Шишков В. Я.

Ш95 Чуйские были: Роман, очерки, рассказы. — Барнаул: Алт. кн. изд., 1986. — 496 с.

Книгу известного русского советского писателя В. Я. Шишкова (1873-1945) составили роман «Ватага», повествующий о зарождении партизанского движения сибирского крестьянства в Кузнецком округе, Томской губернии в 1919 году; путевые очерки «По Чуйскому тракту», ранее не входившие ни в одно отдельное издание писателя; избранные рассказы, составляющие своеобразный цикл произведений о дореволюционной Сибири; а также некоторые «Шутейные рассказы» писателя, в которых нашли отражение сложные социальные процессы первых лет Советской власти.

Ш $\frac{4702010200-25}{М 138(03)-86}$ 33—86

Р2



БАТАГА

РОМАН

ОТ АВТОРА

Было бы несправедливо не только по отношению к партизанскому движению сибирского крестьянства, но и по отношению к автору искать в романе «Ватага» отражения этого великого движения во всей его многогранности.

Принимаясь за художественную обработку эпизодов, имевших место в Кузнецком округе, Томской губернии, в 1919 году, автор был далек от мысли, что своею работою он даст эпопею партизанщины.

Может быть, впоследствии, после тщательного изучения на местах партизанского движения, автору и удастся возвратиться к этой сложной и ответственной теме. Но автор полагает, что дать исчерпывающую, исторически верную картину партизанского движения, в коем героически действовали крестьянские полки Щетинкина, Яковенко и других вождей, вряд ли под силу одному человеку, современнику нашей эпохи.

Это бунтарство, вылившееся в своеобразную форму сибирской пугачевщины, заинтересовало автора как стихийное явление отрицательного порядка. Но, имея под руками лишь разрозненные, неполные данные о зыковской ватаге, автор нашел возможным выключить историческую фактичность из плана своей работы и поставить в центре романа психологию масс, лишенных идейного руководства. Поэтому все описываемые события сдвинуты с исторического фокуса, характеристики и характеры действующих лиц сгущены и внешней стороне романа придана эпическая, полусказочная форма.

В романе «Ватага» показан лишь определенный слой восставшего крестьянства, разбавленного бежавшей из тюрем уголовщиной, и притом — в моменты наибольшего разгула необузданных инстинктов.

Герой романа — Зыков и та ватага, которая поднялась за ним, характерны именно как стихийный бунт медвежьего крестьянского царства, оторванного, в данном случае, от руководящего идейного влияния социалистической революции.

Она была — эта зыковщина, она имела своих вожаков, но в ее жестоком разгуле и неизбежной ее гибели не следует искать типичных черт для всей сибирской партизанщины. Зыковщина — это горячая накипь в народном движении; однако и тут зоркий читатель подметит те искры, которые затем разгорелись в грозную, свалившую Колчака силу.

И как бы жестока и уродлива ни была трагедия ватаги Зыкова, она все же полна народным страданием, отчаянием и гневом, мимо которых автор равнодушно пройти не мог.

Трагедия зыковщины — в самых ее мятущихся, хаотических, неорганизованных недрах. Неизбежность ее изжития посредством связи крестьянского движения с городским, пролетарским, подразумевалась автором как вывод из этого романа.

Вяч. Шишков

*Я понять тебя хочу,
Темный твой язык учу.*

А. Пушкин

Русская сказка, как и всякая сказка, идет к нам из мрака отдаленных веков. Сказка — как ветер. Где родина ветра? Вся земля. Русская же сказка — особая сказка. Породил ее простоватый с краев, но мудрый посерединке русский дух, нутро, и главный герой ее — наш русский Иван-дурак.

Да не дедова ли сказка и вся Русь-то наша? Может, надзвездный дед бренчит на досуге в звездные струны, и вот по солнцу, по месяцу, от зари к заре — льется на землю русская страшная сказка-быль.

Вся Русь наша — сказка. Раскинулась на спину, распнула себя четырьмя морями, взором уставилась в небо. Видит ли что в небе? Не важно. Она веками тоскует о правде — русская душа, — но сказка еще творится, и Великая Советь еще не родилась на земле.

Да, Русь — сказка, красивая, жестокая, страшная.

От Бабы-Яги, от Бессмертного Кашея, славного круга витязей-богатырей, от сермяжного Микулы, чрез Ивана-Калиту, царя Петра, Стеньку Разина, Емельяна Пугачева, благостную память Декабристов, чрез грозную бурю Февральских и Октябрьских великих дней, через дым, огонь, виселицы, расстрелы, плахи, чрез сугубую, в страданиях, милость и сугубую любовь — так до последних наших сроков, до сегодняшнего дня творилась народом русская сказка-быль.

Эта же сказка — очень маленькая русская сказка.

Она говорится так:

ГЛАВА I

— Здорово, хозяйюшка. А где сам-то? — Один — усатый, другой — щупленький парнишка с птичьим лицом — остановились в дверях, с ног до головы облепленные снегом.

Высокая чернобровая Иннокентьевна, в черной кофте, черной кичке, как монахиня, подала им веник:

— Идите, отряхнитесь в сенцах. Нету его. В бане он.

— Может, скоро придет? — спросил одетый по-городски парнишка.

— А кто его знает. Поглянется — до петухов просидит. Париться дюже горазд. А вы кто такие?

— Из городу. По экстренному делу. Вот бумага.

Вскоре оба пошагали к бане, в самый конец обширного двора.

Весь двор набит заседанными конями и народом. Горели три больших костра, было светло, как на пожаре.

Из бани выбежал голый чернобородый детина, кувырнулся в сугроб и, катаясь в глубоком снегу, гоготал по-лошадиному.

— Он, кажись, — сказал усач. — Товарищ Зыков, ты?

— Я, — ответил голый и поднялся.

Он стоял по колено в сугробе. От мускулистого огромного тела его струился пар. Городскому парнишке вдруг стало холодно, он задрал кверху голову и изумленно смотрел Зыкову в лицо.

— Мы, товарищ Зыков, к тебе, — сказал усач. — Да пойдем хоть в баню, а то заколешь.

— Говори.

— Город в наших руках, понимаешь... А управлять мы не сможем. Вот, к тебе...

— Вы не колчаковцы?

— Тфу! Что ты... Мы за революцию.

Зыков от холода вздрогнул, лякнул зубами.

— Айда те в избу. Я сейчас... — и легким скоком, как олень, побежал в баню.

В бане словно в аду: пар, жиханье обжигающих веников, гогот, ржанье, стон.

— Хозяин, берегись!

В раскаленную каменку широкоплечий парень хлопнул ведро воды. Шипящим бешеным облаком белый пар ударил в потолок, в раму; стекло дзинькнуло и вылетело вон.

— Будя! — заорали на полке и кубарем вниз головой. — Людей сварить, черт... ковшом надо... А ты чем! Черт некованый.

— Живчиком оболакайтесь, — приказал Зыков. — Гости из городу. Дело будет.

Сотник, десятник, знаменщик быстро стали одеваться.

В просторной горнице с чисто выбеленными стенами было человек двадцать. Бородатые, стриженные по-кержацки, в скобку, сидели в переднем углу на лавках. Лампа светила тускло, все они оказывались на одно лицо. Это

кержаки стариковского толку. Рядом с ними, до самых дверей — крестьяне-среднегодки и молодежь. Тепло, Шубы меховые, азямы навалены в углу горой. Под образами, за столом — два гостя и хозяин с хозяйкой — пьют морковный чай. Вместо сахара — мед. От сдобы и закусок ломится стол.

Городской парнишка в пиджаке вынул кисет и трубку.

— Иди-ка, миленький, во двор: мы табашников не уважаем, — ласково и чуть тряхнув головой сказала хозяйка.

Парнишка вопросительно поднял на нее глаза, она ответила ему веселым, но строгим взглядом, парнишка покраснел и спрятал кисет в штаны.

Вместе с клубами мороза вошло еще несколько человек.

— Все? — окинул хозяин собрание взглядом.

— Телухина нет.

— Телухина я отпустил на три дня домой, в побывку, — сказал хозяин. — Вот, братаны, из городу комиссия. При бумаге, форменно. Дай-ка, Анна, огарок сюда.

Иннокентьевна зажгла толстую, самодельную свечу. Хозяин неуклюжими пальцами взял со стола бумагу.

— А ну, братаны, слушай.

Все откашлялись, выставили бороды, смолкли.

Зыков, шевеля губами, сначала прочел бумагу про себя, Городские не спускали с него глаз.

В синей рубаше, плотный и широкоплечий, он весь — чугунок: грузно давил локтями стол, давил скамью, и пол под его ногами скрипел и гнулся.

— Кха! — густо кашлянул он, комариком кашлянул пустой стакан, и кашлянуло где-то там, за печкой.

— «Начальнику партизанского отряда, тов. Зыкову, по экстренному делу в собственные руки просьба», — начал он низким грудным голосом.

— «Товарищ Зыков и вы, партизанские орлы. Вследствие того, как по слухам красные войска перевалили Урал и берут Омск, а в Тайге восстанье, мы большевики вылезли из подполья и сделали переворот и забрали власть в руки трудящих. Как попы, которые организовали дружины святого креста для погрома, так интеллигенты и буржуи посажены в острог, а которые окончательно убиты и изгнаны из пределов городской черты. Вследствие того, как нас большевиков мало и сознательный городской элемент в незначительном размере, то гидра контрреволюции подымает голову. Необходим красный террор и красная

паника, иначе нас всех перережут, как баранов, и нанесут непоправимый ущерб делу свободы. Белые дьяволы, колчаковцы с чехо-собаками или прочая другая шатия вроде мадьяров с легионом польских уланов полковника Чумо, они, белогвардейцы, того гляди пришлют отряд и захватят нас живьем врасплох. Ежели вы не подадите немедленную помощь, это будет с вашей стороны нож в спину революции. Остальное по пунктам объяснят вам наши делегаты, товарищи Рыжиков и Пушкарев».

— Подписано,— председатель Временного комитета Революционного переворота А. Тр...— Зыков замялся, наморщил нос, прищурился.

— Александр Трофимов,— подсказал усач.

— А-а... Ну-ну... Знаю Сашку Трофимова. Ничего...

Наступило минутное молчание. Все выжидательно пыхтели. Зыков как бы раздумывал, наконец сказал: «Та-а-ак»,— отложил бумажку, дунул на свечку и прижал светильню пальцами, как клещами. Открытое, смелое, в черной окладистой бородой лицо его было красно и потно. То и дело он вытирался рушником.

— Ну, как, братаны? Печать и все... Бумага форменная,— и стальные, выпуклые, с черным ободком глаза его уперлись в зашевелившиеся бороды.

— Надо подмогу дать,— тенористо, распевно сказала чья-то борода, и из полумрака сверкнули острые глазки.

— Главная суть в том, товарищи партизаны,— начал городской усач и зарубил ладонью воздух,— взять-то мы власть, конечно, взяли, а чтоб пустить машину в ход— гайка слаба. Например, крепость, конечно, в ихних руках, там десятка три солдатни с комендантом. Конечно, мы ее обложили, но мало ли какие могут произойти противоположные последствия, вы сами понимать должны, раз мы, почитай, без всякого вооружения. Надо организовать питание, надо устроить связь с центром, мы же ничего не знаем, сидим, как на острове, перед носом, значит, крепость, а граждане неизвестно в каких мыслях. Нужен, конечно, красный террор, в первую голову. Например, Красная Армия ежели где ущемит эту белую банду, перепиливают напополам, отрубают руки, носы, вытыкают глаза, с живых сдирают кожу...

— Врешь,— удивленно перебил хозяин.— Ране они это, говорят, не допускали. Откуда знаешь?

— Из газет,— враз сказали городские.— В газетах в ихних же, в колчаковских, в Томском печатают.

— Вот,— и парнишка выхватил из пиджака свернутую

газету, посыпалась махорка, Иннокентьевна плюнула и сердито вышла.

— Ладно, не помрешь, отмолишь,— сказал ей велед Зыков и поднес газету к глазам.

— Вот, читай: «Зверства красных»,— указал парнишка.

Хозяин, двигая густыми черными бровями, зычно и медленно прочел. Все бороды оцетинились, рты открылись, потекла слюна.

— Эту тактику красных героев и вам, товарищи, надо перенять. Тактика, конечно, верная,— сказал усач, прожеывая шаньгу с медом.

Среди горницы, в желто-сером полумраке стоял с нагайкой в руке корявый, большеголовый парень. Ноздри его вздернутого носа злобно раздувались, черная папаха сдвинута на затылок. Он ударил нагайкой в крашенный пол и простуженной глоткой гнусаво задудил:

— А слыхали, что чехо-собакам самолучшая земля Колчаком обещана, крестьянская? Вроде помещиков будут. За то, что нашу кровь льют... Слыхали?

— Слыхали.

— Не бывать тому! — хлестнул он нагайкой.— Кто они, растуды их? Откуда взялись? По какому праву?

— Приблудыши!..

— А слыхали, как нашу Мельничную деревню белый отряд живьем сжег? Белые большевиками прикинулись. «Мы, мол, красные, преследуем белую сволочь, укажите, куда белые ушли, мы их вздрючим. Вы, ребята, за кого, за нас, за красных?» — «За красных». — «Вся деревня?» — «До единого». Отошли, да и грохнули из пушек. Ночь, пожар. Ни одного человека не осталось. Слыхали? — Голос его дрожал, всхлипывал и рвался.

— Слыхали, слыхали...

— Ага! Вы только слыхали, а мой батька с маткой да братишки изжарились, костей не соберешь. Э-эх! — он грохнул папаху об пол, засопел, засморкался и кривобоко, пошатываясь и скуля, пошел к двери.

А на дворе светло и весело: огни костров мазали желтым окна, с присвистом и гиком ломилась в стекла песня, тихо падал снег.

В горнице молчали. Только слышались позевки и вздохи, да сердито скреб жесткую, как проволока, давно не бритую щетину на щеке городской усач, — щетина звенела. Хозяйка перетирала посуду и, вскидывая носом вверх, звонко икала, словно перепуганная курица.

— Зыков! Батюшка Зыков, отец родной... Защиты прошу.— Парень с нагайкой опять шагнул от двери и, раскорячившись, повалился в ноги Зыкову.— Весь корень наш порешили... Сестренку четырех лет, младенчика...

— Ладно,— сказал хозяин.— Встань.

Парень вскочил и словно взбесился.

— У-ух! — он опять хватил папаху о пол и стал топтать ее каблуками, как змею.— В куски буду резать. Кишки выматывать... Только бы встретить... Кровь как сусло потекет... У-ух!.. Зыков, коня! Коня давай! — и с лицом, похожим на взорвавшуюся бомбу, он саданул каблуком в дверь и выбежал.

Кто-то хихикнул и сразу смолк.

— Вот до чего довели народ,— тихо сказал Зыков. Он задвигал бровями, густыми и черными, похожими на изогнутые крылья, и глаза его скосились к переносице.

Изба замерла.

— Утром, по рожку, седлать коней. Четыре сотни,— как молот в железо, бухали его слова.— Выючный обоз. Два пулемета. До городу сто двадцать верст. Через десять верст дозоры и пикеты связи. Пятая и шестая сотня здесь, под седлом. Тринадцатой и одиннадцатой сотне, что на заслоне к Бийску, отвезть приказ: до меня сидеть смирно, набегов ни-ни. А то ерунды напорют.

— Кто отряд в город поведет? — поднялся и подбоченился Клычков.

— Сам,— резко ответил хозяин и покосился на жену.

— Сам, сам...— с сердцем сунула она пустую кринку.— Башку-то свернут... Вояка. Сам! — и по ее сухому строгому лицу промелькнули тенью печаль и страх.

— Брось, не впервой,— ласково, жалеючи, сказал Зыков.

Он поднялся во весь свой саженный рост и накиннул на одно плечо полушубок.

— В моленную!.. Которые стариковцы — айда за мной.

Снег все еще падал, пушистый и пахучий. Похрюкивали свиньи, где-то над головами прогорланил ночной петух, отфыркивались кони.

Приударь, приударь!
Еще разик приударь!..

Песня и хохот у костра возле ворот разрывали и толкали желто-белую мглу ночи.

— Детки, потише вы. Шабаш. Эй, которые стариковцы... В моленную!

Моленная — в нижнем этаже. Там же, в камерке, в боковушке, живет отец Зыкова, кержацкий кормчий, старец Варфоломей.

В моленной тьма. Пахло ладаном, ярым воском и неуловимой горечью слез и вздохов. Вздохи и шепот молитв повисли, запутались в тайных углах и ждали.

Зыков высек о кремень искру, затлелся трут, и во тьме, как светлячки, заколыхались сонные огни свечей.

Стены были темные, прокоптелые, воздух темный. Серебряные венчики потемневших стародавних икон тихо заблестели, и Нерукотворный Спас, сдвинув брови, скорбно смотрел желтыми глазами Зыкову в лицо.

— Господи Иисусе Христе, помилуй нас, — глубоко вздохнув, смущенно прошептал Зыков; он на цыпочках пересек моленную и открыл дверь в боковушку. — Родитель-батюшка...

Старик спал на спине. Широкая, седая борода его покрывала грудь. Руки сложены крестообразно, как у покойника. Большая свеча возле настенного образа чадила, отблеск света елозил по оголенному черепу старца. На аналое — толстая, с застежками книга. В углу — кедровая колода-гроб. На крышке гроба черный восьмиконечный крест.

Зыков снял со свечи нагар и внимательно всмотрелся в лицо отца.

— Спит.

Народ прибывал. В моленной полно. Запахло кислятиной промокших овчин, луком и потом.

Шорохом ширился шепот, и повертывались кудластые головы к келье старца.

— Отцы и братья, — появился Зыков с зажженной свечой в руке. — Родителю недужится, почивает. Совершим чин без него, соборне, еже есть написано.

И ответил мрак:

— Клади начал. Приступим с верою и радением. Аминь.

Натыкаясь вслепую друг на друга — только маленькие оконцы багровели, — кержаки сняли с гвоздей лестовки, разобрали коврики-подручники — с ладонь величиной, что подстилают под лоб при земных поклонах, — и чинно встали на места.

Возгласы чередовались с пением хором, вздохи — с откашливаньем и стенаньем. Сложенные двуперстно руки с азартом колотились в грудь и плечи, удары лбами в пол были усердно-гулки.

Зыков кадил иконам, кадил молящимся, внятно читал с завойкою по книге. Чмыкали носы, по бородам катились слезы. У Зыкова тоже зарябило в глазах: Нерукотворный Спас взирал на него уныло.

— Трижды сорок коленопреклонению, господи помилуй рцем...

И мололи тьму и сотрясали кедровый пол бухавшие земно великаны.

Благочестивое пыхтенье, вздохи, стоны прервал громкий голос Зыкова:

— Помолимся, отцы и братия, от всей души и сердца, по-своему, как господь в уста вложил.

— Аминь.

Он уставился взором в строгий Спасов лик, воздел руки, запрокинул голову,— черные волосы взметнулись:

— О, пречестный Спасе, заступниче бедных и убогих! Разожги огонь ярости в сердцах наших, да падут попы-никонианцы-табашники и все власти сатанинские от меча карающего. Да соберем мы веру свою правую, и сохраним, и нерушимо укрепим. Как ты, Спасе и господи, гнал вервием торгующих из храма, так и меч наш карающий с дымом, с кровью пронесется над землей. Верное воинство твое — дружину нашу — спаси и сохрани во веки веком...

— Аминь... Во веки веком... Спаси-сохрани... — засекло набухший вздохами воздух.

Зыков земно поклонился Спасу, встал боком за подсвечник и, подняв руку, бросил в гущу склонившихся голов:

— И опять, вдругорядь, требую клятвы от вас. Зачинаем большое дело, дружина наша множится, как песок, и работы впереди — конца-краю не видать. Клянитесь всечестному образу: слушаться меня во всем — все грехи наши я на себя беру — я ответчик! Клянись — не пьянствовать... Клянись — бедных, особливо женщин, не обижать... Клянись...

И враз загудела тьма, как ветер в лесу:

— Клянемся...

И никло пламя у свечей:

— Клянемся.

— Клянись стоять друг за друга, стоять за правду, как один, даже до смерти. Клянись... Все клянись!..

— Клянемся... Все!..

— Теперича подходи смиренно с лобызанием.

А когда моленная опустела, Зыков притушил до единой все свечи и зашагал чрез тьму, суеверно озираясь. Кто-то хватал его за полы полушубка, кто-то дышал в затылок холодом, по спине бегали мурашки.

В лице быстро сменилась кровь, и сердце окунулось в тревожное раздумье.

«Так ли? Верен ли путь мой? Не сын ли погибели составляет сети для меня?» — шептал он малодушно.

И, опрокидывая все в своей душе, Зыков кричал, кричал без слов, но громко, повелительно:

— Нет! Христос зовет меня... Народ зовет...

Костры во дворе померкли. У глубоких нор, у землянок и зимников, где коротали морозное время партизаны, в лесном раскидистом кольце за займой пересвистывались дозорные, сипло взлаивали сторожевые псы.

Зыков вскочил на коня — ему надо крепко было обо всем подумать, побыть наедине с собой, среди сонного леса, среди омертвевших гор, — ударил коня нагайкой и поехал в бездорожную глухую мглу.

А в бездорожной безглазой мгле, выбравшись на знакомый большак, ехали обратные путники — усач и парнишка. Ехали в радости: сам Зыков идет им на подмогу.

Старец Варфоломей пробудился от сна и творил предутреннюю молитву, истово крестясь.

Анна Иннокентьевна, укрывшись заячьим пятиаршинным одеялом, одиноко глотала слезы.

После третьих петухов заскрипела дверь, и Зыков встал против старика отца.

— Батюшка-родитель, благослови в поход, утречком.

Старец Варфоломей, в белых портах и в белой, по колено, рубахе, весь белый, угловатый, сухой, сел на кровать и, обхватив грудь, засунул ладони под мышки.

— Руки твои в крови. Пошто докучаешь мне, пошто не дашь умереть спокойно? — слабым, но страстным шепотом проговорил старик.

— Кровь лью в защиту бедных и обиженных... Так повелел Христос, — убежденно возразил сын.

— Замолчи, еретник! Засохни! — Старец зловеще загрозил перстом. — Рече господь: подъявый меч от меча погибнет. Чуешь?

— Неизвестно, что бы теперича сказал. Христос, — стараясь подавить закипающее сердце, проговорил Зыков.

Он стоял, переминаясь с ноги на ногу, и, чуть отвер-

нувшись, косил глаза на дышавшую смолой колоду-гроб.

— Рассуди, родитель, не гневайся. Ежели все будем сидеть смирно, аки агнцы, придет волк, перебьет всех до единого, заберет себе все труды наши, вырежет скот, разорит пасеки. Сладко ли? Что ж, дожидать велишь? Что ж, прикажешь смотреть, как жгут и погубляют целые деревни? — Зыков прижал к груди руки и умоляюще глядел в лицо отца. — Родитель, подумай. Ты стар, очеса твои зрят дальше. Родитель, благослови! Не впервой прошу, колькраты прошу: благослови. Мне тоже тяжко, родитель. Зело тяжко на душе...

Старец нахмурил хохлатые брови, большие мутные немигающие глаза его были холодны и бесстрасны, рот открыт.

И показалось сыну: сизый дым ползет от глаз, от бровей, от седых косм старца. Сердце сына задрожало, зарыбило в глазах, дрогнул голос.

— Родитель-батюшка! — всплеснув руками, он порывисто шагнул к отцу. — Родитель!

— Уйди, сатано, не сомушай, — и старик резко махнул высохшей рукой. — Колькраты говорил: уйди! Кровь на тебе, кровь.

Зыков поклонился отцу в ноги, сухо сказал:

— Прощай, — и, как в дыму, вышел.

ГЛАВА П

Месяц стоит в самой выси морозной ночи. Голубоватые сугробы спят. Горы сдвинулись к реке, у их подола — городишко. Три-четыре церкви, игрушечная крепость на яру: башня, вал, запертые ворота. Улочки и переулочки, кой-где кирпичные дома, оголенные октябрьским ветром палисады. Это на яру.

Спуск вниз, обрыв, и внизу, будто большое село — вольготно расселись на ровном, как скатерть, месте — дома, домишки и лачуги бедноты.

Городок тоже в снежном сне. Даже караульный в вывороченных вверх шерстью двух тулупах подремывает по привычке у купеческих ворот, да на мертвой площади, возле остекленного лунным светом храма, задрав вверх морду, воеет не то бесприютная собака, не то волк.

Город спит тревожно. Кровавые сны толпятся в палатах и хибарках: виселицы, недавние выстрелы, взрывы бомб, ~~кабат звенят~~ и стонут в наполовину уснувших ушах.

Вот выскочил старик купец и, обливаясь холодным потом, нырнул рукой под подушку, где ключи:

— Фу-у-ты... Слава те, Христу.

Вот священник визжит, как под ножом; вот сапожных дел мастер бормочет, сплевывая через губу:

— Где, где? Бей их, дьяволов!

А собака воеет, побрякивает колотушкой караульный, и дозорит в выси морозной ночи облысая холодная луна.

Впрочем, еще не спят неугасимые у крепостных ворот зоркие костры, и возле костров борется со сном кучка отважных горожан из лацуг и хибарок. Иные спят. Блестят винтовки, топоры, в сторонке раскорячился пулемет и задирчиво смотрит на ворота.

А за воротами тишина: умерли, спят — иль ожидают смерти? Человек не видит, но месяцу видно все: «Эй, люди у костров, не спи!»

Ванька Барда, чтобы не уснуть, говорит:

— Скоро смена должна прибыть. Чего они канительятся-то? Нешто спсылать кого...

Никто не ответил.

Ванька Барда опять:

— Ежели денька через три зыковские партизаны не придут, какюк нам... — И безусое лицо его, в шапке из собачины, подергивается трусливой улыбкой.

— Как это не придут! — скрипит бородач, косясь на земляной вал крепости.

— Могут дома не захватить Зыкова-то: он везде рыщет...

— Тогда не придут.

— В случае неустойка — я в лес ударюсь, промысловый зимник... Там у меня припасу сготовлено: что сухарей, что мяса, — уныло тянет Барда.

— А ежели к Колчаку в лапы угодишь?

— А почему он узнает, что я большевик? Ваш, скажу... Белый. На брюхе не написано.

— Ты, я вижу, дурак, а умный... — по-хитрому улыбнулся бородач и вдруг быстро привстал на колени, вытянул лицо. — Чу!.. Шумят. За валом.

— Эй, кобылка! — звонко крикнул своим Ванька Барда. Два десятка голов оторвались от земли.

— Вставай!

Но все было тихо.

И вслед за тишиной грянул с вала залп. Ванька Барда кувыркнулся головою в костер. Караульный там, у купеческих ворот, свирепо ударил в колотушку, вытаращил сразу

потерявшие сон глаза. Из хибарки выскочил человек и выстрелил в небо. Заскрипели городские калитки, загрохотали выстрелы. Пронесся всадник. Собака бросилась к реке.

— Ну, опять,— мрачно сказал чиновник акцизного управления Федор Петрович Артамонов.

Он притушил лампу и уперся лбом в оконное стекло, курносый нос его еще больше закурносился, и впалые глаза скосились.

Дом, где он квартирует, двухэтажный, церковный. Вверху живет священник.

— Тьфу,— желчно плюнул он и заходил по комнате.

Лунный свет зыбкий, странный. Голубеет и вздрагивает открытая кровать, Артамонову чудится, что на кровати лежит мертвец с голым, как у него, черепом.

— Черт с тобой,— говорит Артамонов, ни к кому не обращаясь, достает из шкафа бутылку казенной водки и наливает стакан. В зеркале туманится его отражение.— За здоровье верховного правителя, адмирала Колчака, черт его не видал,— раскланивается он зеркалу, пьет и крикает. Ищет, чем бы закусить. Сосет голову селедки.— Дрянь дело, дрянь. Россия погибла. Пра-а-витель... Офицеришки — сволочь, шушера, пьяницы...— думает вслух Федор Петрозич, порывисто и угловато, как дергунчик; размахивает руками, утюжит черную большую бороду, и глаза его горят.— Ха, дисциплина... Да, сволочи вы такие! Разве такая раньше дисциплина-то была... И что это за власть! Городишко брошен наобум святых, ни войска, ни порядка. Пять раз из рук в руки. То какая-нибудь банда налетит, то эта дрянь, большевичишки, откуда-то вылезут из дыры. А кровь льется, тюрьмы трещат... Вот и поработай тут.

Выстрелы за окном все чаще, чаще. Черным по голубому снегу снуют людишки. По потолку над головой раздались шаги: проснулся поп.

— Вот тут и собирай подать. А требуют. Петлей грозят.

Постучали в дверь.

— Войдите!

Бородатый священник, в пимах¹, хозяин. Глаза сонные, свинячьи.

¹ Пимы — валенки (прим. авт.).

— Стреляют, Федор Петрович! Пойдемте, бога для, к нам... Боязно.

— Большевиков бьют,— не то радостно, не то ожесточенно сказал чиновник.— Пять суток только и потанцевали большевики-то... Да и какие это большевики, так, сволота, хулиганы...

— Говорят, за Зыковым гонцы пошли,— сказал священник.

— Что ж Зыков? Зыков за них не будет управлять. Зыков — волк, рвач.

— Говорят, красные регулярные войска идут. Дело-то Колчака — швах. Боже мой, боже,— голос священника вилял и вздрагивал.— А Зыкова я боюсь, гонитель церкви.

— Да, Зыков — ого-го — за кержацкого бога в тюрьме сидел,— чиновник ощупью набил трубку и задымил.

— Э, жизнь наша. Ну, Федор Петрович, пойдемте, бога для, прошу вас. И матушка боится.

На ходу, когда подымались по темной внутренней лестнице, Артамонов басил:

— Вам и надо Зыкова бояться, отец Петр. Не вы ли, священство, организовали погромные дружины святого креста? А для каких целей? Чтоб своих же православных мужиков бить...

— Только большевицкого толку! — вскричал священник.— Только большевицкого толку, противных власти верховного правителя...

— Да вашего верховного правителя мужики ненавидят, аки змия,— нескладно загромыхал Артамонов.

— Ежели красную сволочь не истреблять — в смуте кровью изойдем.

— Да ваше ли это пастырское дело?! Ведь по вашему навету пятеро повешено... Отец Петр! Батюшка!

Священник отворил дверь в освещенные свои покои и сказал сердито:

— Эх, Федор Петрович, всяк по-своему Россию любит.

Утром красный пятидневный флаг, новенький и крепкий, был сорван с местного управления и водружен старый, потрепанный: белый-красный-синий.

В это же утро три сотни партизан двинулись в поход.

Под Зыковым черный гривастый конь, как черт, и думы у Зыкова черные.

ГЛАВА III

Зыковские партизаны в этом месте впервые. Но население знает их давно и встречается везде с боязливым почетом.

Уж закатилось солнце, когда голова утомленного отряда пришла в село.

На площади возле деревянной церкви зажглись костры. Мужики добровольно кололи овец, кур, гусей, боровков и с поклоном тащили гостям в котлы.

— Обида вам есть от кого? — допрашивал Зыков обступивших его крестьян. — Поп не обижает?

— Ох, батюшка ты наш, Степан Варфоломеич... Поп у нас, отец Сергей, ничего... Ну от правительства от сибирского житья не стало. Набор за набором, всех парней с мужиками, пятнай их, под метелку вымели. А придет отряд — всего давай. А нет — в нагайки... Ежели чуть слово поперек — висельница... Во-о-о, брат, как. Опять же черти-собаки.

— Знаю.

— Вот на этой самой колокольне два пулемета было осенью, для устрашенья. Вот они какие, черти-собаки-то... А что девок перепортили, пятнай их, баб... Ну, ну...

— Чехословаки туда-сюда, утихомирились, а вот мандаришки... Ох, и лютой народ... Да казачишки с Иртыша...

— Все одним миром мазаны.

Зыков сидел у костра на потнике, облокотившись на седло в серебряном окладе. Он поднял голову и прищурился на крест колокольни.

— Поп не обижает? — опять переспросил он, и глаза его вызывающе округлились.

— Нет. Обиды не видать... А тебе на артель-то, под*, сена надо лошадям да овса? Да-а-дим...

— Срамных! — крикнул Зыков. — Иди-ка на пару слов!

От соседнего костра, бросив ложку, вскочил рыжебородый и мигом к Зыкову.

— Вон в том доме торговый человек, Вагин, — сказал Зыков. — Возьми людей, заведи овса, сена: надо коней накормить.

— Правильно, резонт, — весело переглянулись мужики.

— Эй! кто потрапезовал? — Зыков поднялся. — Ну-ка с топорами на колокольню... Руби в верхнем ярусе столбы!

— Ну? пошто это? — опешили крестьяне. — Мешает она тебе?!

— Надо.

Затрещала обшивка, доски с треском полетели вниз. Ребятишки таскали их в костры. Акулька распоролла гвоздем руку и испуганно зализывает кровь.

— Пилой надо, пилой! — раздались голоса.— Силантий, беги-ка за пилой!

Из избы выскочил низенький, похожий на колдуна, старик и — к Зыкову:

— Пошто храм божий рушишь? Ах, злодей!.. Вы кто такие, сволочи?!

Он топал ногами и тряс бородищей, как козел.

— Удди, дедка Назар! В голову прилетит,— оттаскивали его мужики.

Топоры, как коршун в жертву, азартно всаживали крепкий клюв в кондовые столбы.

— А колокола-то... Надо бы снять. Разобьются.

— Мягко, снег.

— Однако разобьются.

Зыков поймал краем уха разговор.

— Звоны ваши не славу благовествуют богу, а хулу,— сказал он громко.— Попы навовся загадили вашу дорожку в царство божье. На том свете погибель вас ждет.— Он вдруг почувствовал какую-то неприязнь к самому себе, крикнул вверх: — Эй, топоры, стой! — и быстро влез на колокольню.— Сколько? — хлопнул он ладонь в главный колокол.

— Тридцать пудов никак.

— Добро,— сказал Зыков и подлез под колокол.— Вышибай клинья!

Края колокола лежали на его плечах.

Зацокало железо о железо, молот, прикрывая, метко бил.

— Зыков! Смотри, раздавит... Пуп сорвешь.

— Вали, вали...

Колокол осел, края врезались, как в глину, в плечи. Ноги Зыкова дрогнули и напряжились, стали как чугун.

— Подводи к краю! Не вижу...— прохрипел он из-под колокола, едва отдирая ноги от погнувшегося пола, и двинулся вперед.

— Берегись! — и колокол, приподнявшись на его ручищах, оторопело блякнул языком и кувыркнулся вниз, в сугроб.

Зыков шумно, с присвистом дышал. Шумно, с присвистом вдруг задышал народ.

— Вот это, ядрит твою, так сила...

Из носа Зыкова струилась кровь, на висках и шее вспухли жилы. Он поддел в пригоршни снегу и тер им налившееся кровью лицо.

Топоры вновь заработали, щепки с урчанием, как лягушки, скакали в воздухе. Кучка мужиков, пыхтя, выпрастывала из сугроба колокол.

Зыков опять стоял внизу, среди толпы.

— Канат! — скомандовал он. — Зачаливай!

От поповской калитки кричал священник, его сдерживали, успокаивали мужики, а старухи орал вместе с ним, скверно ругались, взмахивали клюшками.

— А как насчет попа, братцы? Говори откровенно... — в третий раз, сквозь стиснутые зубы, спросил Зыков, и его острые зрачки, как змеиное жало, вильнули в сторону попа.

Мужики молчали.

— Эй, кто там еще? Слезай с колокольни!.. Подводи лошадей!

И по десятку коней впрягли в оба конца каната. Мужики, а сзади ребяташки крепко вцепились в канат, нагнулись вперед, напрягли мускулы, застыли. И словно две огромных сороконожки влипли присосками в растоптанный белый снег.

— Готово?

— Вали!

Народ ухнул, закричал, некоторые наскоро перекрестились, нагайки ожгли всхрапнувших коней, верх колокольни затрещал, заскорготал костями, покачнулся и, чертя крестом по звездному небу, рухнул вниз. Взвились снег и пыль, лошади и люди посунулись носами. Хохот, крик, веселая визготня парнишек.

А дедка Назар, подкравшись сзади, грохнул-таки Зыкова костью по голове:

— Нна, антихрист!.. Нна...

— Дурак! — круто обернулся к нему Зыков, поправляя папаху. — Забыл, как пулеметы-то на колокольне стояли? Забыл?

От двух его серых, в черных ободках, суровых глаз дед вдруг шарахнулся, как от черта баба.

— Гаф! Гаф! Гаф! — отрывисто, сумасшедше взлаял он. — У, собака. Кержацка морда. Гаф!.. — и, под дружный хохот, боком-боком прочь, в прогон.

Костры ярко горели, с кострами веселей. Воздух над ними колыхался, и видно было, как колыхались избы, небо, мужики.

В поповском доме погас огонь. От поповских ворот слышно лаял в небо старый поповский пес. Девушки и бабы ходили вдоль освещенного кострами села, перемигивались, пересмеивались с партизанами, угощали их кедровыми орехами:

— На-ка, бардадымчик, погрызи.

Парнишки осматривали ружья, вилы, барабаны. Возле пулеметов целая толпа.

— Эй! — закричал Зыков. — А где здесь староста?

И по селу многогласно заскакало:

— Эй, Петрован!.. Где Петрован?.. Копайся скорей!.. Зыков кличет.

Петрован, лет сорока мужик, суча локтями и сморкаясь, помчался от пулемета к Зыкову. За ним народ.

— Что прикажешь?.. Я — староста Петрован Рубцов. — Он снял шапку и, запрокинув голову, смотрел Зыкову в глаза.

— Я по всем селам делаю равнение народу, — на весь народ заговорил тот. — И у вас тоже. Шибко богатых мне не надо, и шибко бедных не должно быть. Сердись не сердись на меня, мне плевать. Но чтоб была правда святая на земле. Вот что мне желательно. И у меня нишкни. Ну! Эй, староста! которые бедные — по леву руку станови, которые богатые — по праву руку. Срамных, наблюдай. А я сейчас. Коня!

Он вскочил в седло — конь покачнулся — и поехал за околицу, на дорогу, проверять сторожевые посты.

— Эй, часовые! Не дремать! — покрикивал он, грозя нагайкой.

А в толпе мужиков крик, ругань, плевки. Парфена тащили из бедноты к богатым. Аристархова не пускали от богатых в бедноту. Дранный оборвыш гнусил из левой кучки:

— Обратите внимание, господа партизана: семья моя девять душ, а избенка — собака ляжет, хвост негде протянуть, вот какая аккуратная изба. Мне желательно обменяться с Таракановым, потому у него дом пятистенок, а семья — трое... А моя изба, ежели, скажем, собака...

— Сам ты собака. Ха! В твою избу. Вшей кормить.

Бабы подошли. У баб рты, как пулеметы, руки, как клещи, и сердце — перец.

Кричал народ:

— У тя сколь лошадей? А коров? Двадцать три коровы было.

— Было, да сплыло. В казну отобрали. Дюжину оставили.

— Ага, дюжину!.. А мне ката, что ль, доить прикажешь?

— Братцы, надо попа расплантовать... Больно жирен:

— Сколь у него лошадей? Четыре? Отобрать... Две Василию, две оборвышу. Только пропьет, сволочь...

— Кто, я? Что ты, язви ты...

— А попу-то что останется?

— Попу — собака.

— Это не дело, мужики,— выкрикивали бабы.

— Плевала я на Зыкова... Кто такой Зыков? Тьфу!

— А вот подъедет, он те скажет — кто.

Подъехал Зыков:

— Ну, как? Слушай, ребята. Обиды большой друг дружке не наносите...

— Степан Варфоломеич! Набольший! — и драный, низенький оборвыш закланялся в пояс черному коню. — Упомести ты меня к богатею Тараканову, а его, значит, ко мне: избенка у меня — собака ежели ляжет, хвост негде протянуть.

Зыков сердито прищурился на него, сказал:

— Тащи сюда свою собаку, я ей хвост отрублю. Длинен дюже.

В толпе засмеялись!

— Ах, ядрена вошь... Правильно, Зыков!.. Он лодырь.

— Ну, мне валандаться некогда с вами, чтобы из дома в дом перегонять,— потрагивая поводья, сказал Зыков.— Уравняйте покуда скот... Надо списки составить, посоветуйтесь, идите в сборню... Что касася жителям, вот укреплюсь я, как следовало быть, тихое положение настанет, все села новые по Сибири построим. Лесу много, знай, топоры точи. Всем миром строить начнем, сообща. Упреждаю: поеду назад, проверка будет. Чтоб мошенства — ни-ни... Эй, Ермаков!

К ночи все затихло. Месяц был бледный, над тайгой и над горами вставал туман.

Партизаны разбрелись по избам, многие остались у костров. Лошадей прикрыли потниками, ресницы, хвосты и гривы их на морозе поседели.

Зыков с шестью товарищами ушел на ночевку к крепкому мужику Филату.

— Чем же тебя побаловать? — спросил Филат.— Чай, потребляешь?

— Грешен, пью. Плохой я, брат, кержак стал.

— Эй, баба! Становь самовар, да дай-ка щербы гостям. Такие ли добрые мokusны попались, объяденье.

Щербу ели с аппетитом. Выпили по стакану водки. Как ни просил хозяин повторить — нельзя.

— Мой сын,— сказал Филат,— в дизентирах. Ну, он желает записаться к тебе. Гараська, выходи! Чего скоронился?

Вышел высокий, толстогубый, с покатыми плечами пареня и заскреб в затылке.

— Жалаим... постараться для тебя,— сказал он, стыдливо покашливая в горсть.

— Пошто для меня? Для ради народа,— поправил Зыков.— Ну, что ж. Рад. Конь есть?

— Двух даем,— сказал отец.— И винтовка у него добрая. Мериканка. И вся амуниция. С фронта упорол.

И пока пили чай, еще записалось восьмеро, с винтовками и лошадьми.

— Мы не будем убивать, так нас убьют,— сказал пошрительно какой-то дядя от дверей.

Крестьян набилось в избу много. Были и женщины. Зыков крупно сидел за столом среди своих и хозяев, на голову выше всех. Черные, в скобку подрубленные волосы гладко причесаны. Поверх черной рубахи шла из-под густой черной бороды серебряная с часами цепь. Бабы не спускали с него глаз. Акулька, маленькая дочка Филата, выгибаясь и потягиваясь, стояла у печи. Раненная гвоздем рука ее была замотана тряпкой.

Акулька все посматривала на черного большого дяденьку и что-то шептала. Потом кривобоко засеменила к своей укладке, вытащила заветную конфетку с кисточкой и, сунув ее в горсть Зыкову, нырнула, сверкая пятками, в толпу баб и девок. Все захохотали.

Зыков растерянно повертел конфетку, качнул головой и тоже улыбнулся.

— Спасибо, девах... Раста, жениха найду,— сказал он, пряча подарок в карман.

Акулька, подобрав рубашонку, голозадо шмыгнула по приступкам на печку, к бабушке.

Когда укладывались спать, хозяин спросил:

— Много ли у тебя, Зыков, народу-то?

— К двум тысячам подходит.

— Поди, твои кержаки больше?

— Всякие. Чалдонов¹ много да беглых солдат. Катор-

¹ Чалдои — коремной сибиряк-крестьянин. (Прим. авт.).

жан и всякой шпаны — тоже прилично. А кержаков не
вовсе много. Прямо скажу — мало кержаков.

— А с Плотбища есть кержаки у тя?

— С Плотбища? Кажись, нет. А где это? Чего-то не
слыхал.

— Весной откуда-то прибегли, разорили, вишь, их там.
В глухом логу живут... Нонче пашню запахивали быдто.
Верстов пятнадцать отсель.

— Надо навестить, — сказал Зыков и стал одеваться.

— Куда ты? Что ты, ночь... Спи!

— Ничего. Я там переночую. Скажи-ка парню своему,
чтоб двух коней мигом заседлал. Он знает дорогу-то?

Зыкову хотелось спать, глаза не слушались, но он враз
пересилил себя. Горела лампадка у старых икон. Шестеро
товарищей его спали вповалочку на полу. Он притворил
за хозяином дверь и поднял за плечи рыжеголового.

— Слушай-ка, Срамных. Ну, прочухивайся скорей, чего
шары-то выпучил! Это я. Вот что... — Зыков задумался. —
Завтра до солнца айда в город. По пути смени коня,
и дальше. Чтоб к вечеру туда поспеть. Вынюхай, понима-
ешь, все. Кой-кого поприметь. Умненько.

Потом поднял корявого и низенького, в черной бороде
с проседью; тот сразу вскочил и коренасто, как краж,
стоял на шубе, раскорячив ноги. Волосы шапкой висли
на глаза.

— Слушай, Жук. Завтра отряд ты поведешь. Понял?
Ты. А я нагоню.

Жук почтительно встряхивал головой.

— Кони готовы! — веселым голосом крикнул Гарась-
ка, входя к ним. — Винтовку надо?

— Захвати.

Было одиннадцать часов. Месяц высоко вздыбился.
Скрипучие ворота выпустили двух всадников.

Они проехали вдоль села. У костров, в тулупах и пимах,
взад и вперед, чтобы не уснуть, ходили с винтовками
часовые. У дальних за селом ворот, в поскотине, возле
покрытых лесом скал, тоже горел костер. Четверо спали
около жаркого пламени, пятый часовой с винтовкой, скор-
чившись, сидел на брошенном у костра седле и храпел.
Зыков, проезжая, сгреб его за шиворот, приподнял, бро-
сил в сугроб и, не оглядываясь, поехал дальше. Гараська
захохотал:

— Вскочил... Хы-хы-хы... Опять кувыркнулся... Целит!..
Жихнули пули мимо самой зыковской головы, и гор-

ласто, среди гор, грохнул выстрел. Зыков карьером подскочил к костру. Все у костра вскочили.

— В кого стрелял? — гневно крикнул он.

Часовой, раскосый парень, отряхивая снег, сердито скосил на Зыкова глаза.

— В черта!.. в того самого, что в сугроб людей швыряет.

Зыков вынул пистолет и выстрелом в лоб уложил часового на месте.

От села, в тумане взвихренного снега, с тиканьем мчались на выстрел марш-маршем всадники.

— Сменить часового! — крепко сказал Зыков и поехал вперед.

Гараська весь трясся, зубы его стучали.

Еще ковш Сохатого не повис отвесно над землей, как всадники, миновав звериные горные тропы и лога, подъехали к кержацкой заимке. Заимка, притаившись, плотно сидела в ущелье, как в пазухе блоха.

— Тпру, — остановил Гараська. — Здесь.

Из конур, из-под амбара, с лаем выскочили собаки. Трусливый Гараська поймал жердину. Зыков, подойдя к двери, постучал. Гараська, взмахивая жердиной, робко прятался от разъяренной собачьей своры. Зыков цыкнул и пошел на собак. Вся свора врассыпную. Гараська сказал:

— Однако, Зыков, ты колдун...

За дверью раздался голос, в избе вспыхнул огонек.

— Господи Иисусе Христе, помилуй нас, — сказал Зыков.

— Аминь.

Дверь отворилась, перед ними стоял высокий сухой бородач.

— Милости просим... Кто такие, гостеньки?

Маленькая изба, построенная на спешку, битком набита спящими. Было жарко. От разбросанных на полу подушек отрывались встрепанные головы, мигали сонными глазами и валились вновь.

ГЛАВА IV

С утра Жук повел отряд дальше. Их путь был среди гор, в стороне от большака, напрямки, по ущельям, падям и узеньким долинам горных речушек. Древние засельники

этого края, инородцы, частью были перебиты в гражданской склоке, частью бежали куда глаза глядят, а иные притаились поблизости, в недоступных потайных местах.

И расстилались по пути: горы, тайга, сугробы, вольный ветер и безлюдье. Редко-редко, в стороне — заимка, деревня или село.

В это же утро оповещенные по заимкам кержаки собирались в избу. Уж нечем было дышать, и Зыков предложил пойти на воздух.

Румяные, веселые лица баб и девок улыбочиво проводили кержаков. Бабы стряпали, топили печь, звонко переключались.

Гараська остался в избе. Сидит, врет. Бабы смеются.

— Овса, что ли, припереть? Сена? Пойдем кто-нибудь, покажь.

Все тело Гараськи горело, играла кровь. Но старуха, дьявол, зла, как черт. И глаза у нее по ложке.

В глухом сосняке, где заготавливали лес, народ расселся на поваленных деревьях. Для сугрева, для веселости развели костер. Зыков — в длиннополом, черного сукна на лисьем меху кафтане. Позднее зимнее солнце всходило из-за цепи гор. Зарумянились сосны, зарумянились бородатые и безбородые крепкие лица кержаков. Красный кушак на Зыкове стал ярким, как кровяной огонь.

— Пошто, отцы и братья, ни единого человека из вас не было у меня на заимке? — спросил Зыков. — Давайте сотворим беседу.

— Скрытничаем мы. Вот и сидим, боимся.

— Бежали, ягодка, сюда, бежали, — молодым голосом сказал белый старик на пне. Нос у него тонкий, горбатый, на серебряном сухом лице два черных глаза. — Наших мальцов Колчак воевать тянул, в солдаты. А с кем воевать-то, чью кровь-то лить, спрошу тебя? Свою же. Сие от диявола суть.

Старик порывисто запахнул зипун и, оглянувшись на народ, подозрительно уставился в лицо гостя.

Зыков крикнул, поправил пушистую шапку. Раскачиваясь и чуть согнувшись, он ходил взад-вперед меж костром и народом.

— Мы бы пришли к тебе, да перечат старики, — выкрикнул с каким-то надрывом молодой парень и сплюнул в снег.

— Попридержи язык! — Белый дед гневно ударил костылем по сосне и погрозил в сторону примолкшей молодежи. — Словоблуды! Табашниками скоро заделаетесь.

— Парень дело говорит,— сказал Зыков и остановился.— Так ли, сяк ли, а вы явственно должны мне ответить, кто вы суть? Я только сего ради сюда и завернул. Истинно, не вру.

Он сложил на груди руки, и спрашивающие глаза его перебегали от лица к лицу.

— Помощи от вас я не требую: народ у меня есть, и еще идут. А вот ответьте, без лисьих хвостов, по совести: со мной ли вы, друзьями, враги ли мои лютые, или же ни в тех, ни в сех? Я мыслю — не враги вы мне.— В его голосе была и ласка, и угроза.

Помолчали. Белый дед смущенно постукивал костылем по пню.

Все смотрели на него, ждали, что скажет.

Дед поднял голову, положил подбородок на костыль и, надменно потряхивая головою, спросил:

— Ты вопрошаешь, сыне, кто мы тебе: во Христе ли или во диаволе? А попервоначалу ты сам ответь: какое оправданье дашь делам своим? Дела же твои, сыне, зело скудельны.— Глаза старика злые, черные и острые, как шилья.

Зыков вздохнул и качнулся всем телом.

— Ты, старец Семион, вижу, в одну дудку с отцом дудишь, с моим родителем. По небесному вы, может, и зрячи, а по земному — слепые кроты. Где ты бывал? что видел? тайгу, горы, пни гнилые. А я везде бывал. Руки мои в крови, говоришь? Верно. Зато сердце мое за народ кипит.

Кержаки закрикали, зашевелились. Как черная молния, со свистом рассекая морозный воздух, промчался за добычей ястребок.

Зыков длиннополо взмахнул кафтаном и вскочил на пень.

— Эй, слушай все!

Молодежь прихлынула к самому пню и, раздувая ноздри, дышала в мороз огнем.

— Кто гонитель нашей веры древней? Царь, архиереи, попы, начальство разное, чиновники, купцы. Так или не так?

— Так, так... Истинно.

— Добре. А посему — изничтожай их, режь и капища ихние жги. Настало время. Вся земля в огне. Откройте глаза и уши. Кто крепок, иди за мной. Чрез огонь, чрез меч мы возродим веру нашу в святом духе, госпде истинном. Кто слаб, зарывайся, как червь, в землю. На врага

же своего пойду грудь к груди. Ну, говори, Семьон, чего трясешь бородой-то?

Дед ткнул в воздух костью, ткнул в лицо Зыкова шилем своих глаз, крикнул:

— Семя антихристово! Антихрист!.. Дело ли сыну нашей древней матери-церкви с топором гулять?!

— А ты забыл Соловецкое сиденье при Алексее при царе? — подбоченился Зыков и перегнулся с пня, длинная цепь на черной рубахе повисла дугой. — Нешто иноки старой веры не били царских слуг, не лили крови? Вспомни, старик, сколько и нашей крови в то время пролито. Вспомни страданья протопопы Аввакума.

— Семя антихристово! Много вас, предтечев, развелось. Но и сам антихрист уже близ есть. Мозгуй! Голова пустая! По числу еже о нем — шестьсот шестьдесят шесть — узнаешь его, число же человеческое антихристово.

— Кому нужны твои старые слова? — запальчиво, но сдерживаясь, проговорил Зыков. — О каком числе речь? Много раз предрекалось число сие, даже с незапамятных времен древних. Какое твое число, старче?

— Лето грядущее: едина тысяча девятьсот двадцать.

Старик заметил яд улыбки в густых усах и бороде Зыкова и голосом звенящим, как соколиный крик, рванул ему в лицо:

— Демон ты или человек?! Пошто харю корчишь?.. Во исполнение лет числа зри книгу о вере правой.

— Не чтец я твоих заплесневелых книг! — загремел, как камни с гор, голос Зыкова, и все кержаки, даже сосны поднялись на цепочки, а старик разинул рот. — Оглянись, — какие времена из земли восстали?! Ослеп — надень очки. Книга моя — топор, число зверя — винтовка да аркан!

— Уходи, Зыков, уходи! — весь затрясся старик. — Не друг ты нам, многих верных сынов наших отвратил от пути истины... Горе тебе, соблазнителью... Знаю дела твои... Уходи! — неистово закричал старик, и его костьль угрожающе поднялся.

— Уходи, Зыков! — вмиг выросли в руках бородастых кержаков дубинки. С треском, ломая поваленные сосны, толпа метнулась к Зыкову:

— Хриstopродавец!.. Прочь от нас!

Но молодежь вдруг повернулась грудью к своим старикам.

С злорадной улыбкой Зыков соскочил с пня и пошел не торопясь к заимке, затягивая на ходу кушак.

И толкались, лезли в его уши, в мозг, в сердце: крики, гвалт, стоны, матерщина кержаков.

Ехали медленно. Гараська то был мрачен: вздыхал и оглядывался назад, то лицо его, круглое, как тыква, и румяное, вдруг все расцветало в сладкой улыбке. Гараська облизывался и пускал слюну.

«А ловко мы с Матрешкой околпачили бабку-то. На-ка, старая карга, видала?» — Гараська мысленно наставил кукиш, захохотал и стегнул коня.

Зыков, прищурив глаза и опустив голову, всматривался в свою покачнувшуюся душу, читал будущее, хотел прочесть все до конца, но в душе мрак и на дне черный сгусток злобы. И лишь ближайшее будущее, завтрашний день, было для него ясно и четко.

«Этот старец Семион — ого-го...»

Зыков видит: злобный старик седлает коня, берет двух своих сынов и едет к его отцу, старцу Варфоломею.

«Две ехидны... Ежели камень преградил твой путь на тропе горной,— столкни его в пропасть...»

И Гараська думает, улыбочиво облизывая вспухшие от поцелуев губы:

«Баба ли, девка ли — и не понял ни хрена... Ну до чего вкусны эти самые кержачки!»

Кони захрапели. Зыков вдруг вскинул голову. У подножия горы, с которой они спускались в долину речки, ждали три всадника.

Зыков остановил коня. Гараська снял с плеча винтовку. Ствол, как застывшая черная змея, сверкнул на солнце.

— Зыков! Это мы, свои... Зыков...— И навстречу им, из-под горы, отделился всадник.

— Мирные, без оружия,— сказал Зыков.

— Эх, жалко,— ответил Гараська.— Давно не стреливал.

Когда съехались все вместе, три молодых парня-кержака сказали:

— А мы надумали к тебе, хозяин... Возьмешь? Только у нас вооруженья нету. Убегли в чем есть... После неприятности.

— Вот даже мне глаз могли подбить,— показывая на затекший глаз, ухмыльнулся длиннолицый парень с чуть пробившейся белой бородкой.

— Ладно,— сказал Зыков.— Спасибо, детки.

— Куда, на займку к тебе али в город?

— На займку. Вернусь — к присяге приведу. С богом. Дорогой, посматривая на широкие плечища Зыкова,

Гараська спросил:

— А правда ли, Зыков, что тебя и пуля не берет?

— Правда. Ни штык, ни пуля, ни топор.

— Кто же тебя, ведун заговорил?

— Сам. Я ведь сам ведун.

Гараська захохотал.

— Ты скажешь... А пошто же крест у тя? Сам ночесь видал, спали вместе.

Тот молчал.

— Быдто тебя летом окружили чехо-собаки, в избе быдто, а ты взял в ковш воды, сел в лодочку да и уплыл. Старухи сказывали.

— Врут. Это другие разбойники так дельвали. Стенька да Пугач.

— А ты, Зыков, нешто разбойник?

— Разбойник.

— О-ой. Врешь! Те — атаманы. А ты нешто атаман?

— Атаман.

— Нет, ты воин, — сказал Гараська. — Ты за народ. У тебя войско. Ты войной можешь идти... Ты как генерал какой... Тебя народ шибко уважает. Про тебя даже песня сложена.

— Спой.

Гараська засмеялся и сказал:

— Да я не умею... Чижолый голос очень, нескладный... Ежели заору, у коня и у того со смеху кишка вылезет.

Долина все сужалась. Желтые, скалистые берега были изрыты балками и, как зубастые челюсти, все ближе и ближе сходились, закрывая пасть. На обрывах лес стоял стеной. Солнце ярко било в снег. Следы зверей и зверушек чертили рыхлые сугробы. Небо бледное, спокойное, наполненное светом и тишиной. Мороз старается щипнуть лицо. Очень тихо. Скрипучий снег задирчиво отвечает некованым копытам. Две вороны, по горло утонув в снегу, повертывают головы на всадников. Сорока волнообразно пересекла долину и с вершины елки задразнилась. Взлягивая, прожелтел бесхвостый заяц. Сел. Уши как ножи стригут.

— А ты, Зыков, уважаешь с бабами греться? — Гараська смешливо разинул рот, повернул голову и насторожил припухшее, укушенное морозом ухо.

— Когда уважаю, а когда и нет...

— А я всегда уважаю...— облизнулся Гараська и в волнении задышал.

— У меня на этот счет строго.— И, обернувшись, погрозил парню.— Имей в виду.

— Гы-гы-гы... Имею...

Они повернули от Плотбища в горелый лес.

В это время соборный колокол в городке заблаговестил к молебну.

ГЛАВА V

Небольшой собор битком набит народом. Людской пласт так недвижим и плотен, что с хор, где певчие, кажется бурой мостовой, вымощенной людскими головами.

Редкая цепь солдат — сзади — мостовая, впереди — начальство и почетные горожане.

Все головы вровень, лишь одна выше всех, торчком торчит, — рыжая, стриженная в скобку.

Служба торжественная, от зажженного паникадила чад, сияют ризы духовенства, сияют золотые погоны коменданта крепости поручика Сафьянова, и пуговицы на чиновничьих мундирах глазомерно серебрятся.

Весь чиновный люд, лишь позапрошлой ночью освобожденный из тюрьмы, усердно молится, но радости на лицах нет: ряды их неполны: кой-кто убит, кой-кто бежал, и что будет завтра — неизвестно.

У двух купцов гильдейских, Шитикова и Перепреева, и прочих людей торговых в глазах жуткая оторопь: чуют нюхом — воздух пахнет кровью, и напыщенная проповедь седовласого протоиерея для них звучит как последнее слово над покойником.

Лицо сухого, но крепкого протоиерея Наумова дышало небесной благодатью. Он начал так:

— Возлюбим друг друга, како завеща Христос.

А кончил призывом нелицемерно стать под стяг верховного правителя и, не щадя живота своего, с крестом в сердце, с оружием в руках, обрушиться дружно на красные полчища, на это отребье человеческого рода, ведомое богоотступниками на путь сатаны.

— Ибо не мир принес я вам, а меч, сказал Христос! — воскликнул пастырь, голос его утонул в противоречии, лицо вспыхнуло румянцем лжи, и глаза заволоклись желчью.

Рыжеголовый тщетно пытался вытащить руку из сплюсненной гущи людских тел, потом кивком головы он осво-

бодил ухо от шапки волос и, разинув рот, весь насторожился.

По случаю избавления града сего от бунта изуверов и крамольников, престарелый дьякон, выпятив живот, возгласил многолетие верховному правителю, победоносному воинству, верным во Христе иноплеменным союзникам, начальствующим лицам и всем богопасомым гражданам. А погибшим и умученным — вечная память.

После службы, под колокольный трезвон, народ повалил в городское управление.

— Будут речи говорить... Митинг...

— Митинги запрещены.

— А сегодня особый день... Разрешено. Шагай проворней!

Рыжий, весь взмокший, жадно глотал ядерный морозный воздух. Он тоже шагал с другими, выпытывал:

— А это чей домок, фасонистый такой? А-а, Шитикова? Что, дюже богат? Обманывает? Сволочь... А чего смотрите-то на него?

Таня Перепреева шла из собора домой с младшей сестренкой своей, Верочкой.

Верочке весело, Верочка по-детски смеется, указывая руками на рыжего верзилу:

— Таня, Таня, гляди-ка.

Но Таня ничего не слышит и не видит возле. Ее большие серые глаза устремлены вперед и ввысь, ее нет здесь.

Рыжий облизнулся на девушку:

— Вот так товарец... Чьих это?

Митинг прошел тревожно. Председательствовал внебрачный сын монаха, чиновник Горицвет. Говорило начальство, представители правых партий, служилый люд и духовенство, даже седовласый протоиерей Наумов.

Настроение было подавленное, всех охватил заячий какой-то трепет, речи были тревожны и смутны: город отрезан, солдат горсточка, солдаты ненадежны, продуктов и хлеба мало, на военную помощь правительства рассчитывать нельзя, красные же полчища с боем продвигаются вперед. Спокойствие, спокойствие!.. Кто-то слышал от самого коменданта, кто-то видел телеграмму, что сюда двинут отряд поляков, что этот отряд еще вчера должен был прийти сюда... Долой! Враки! Довольно слухов! Тут предлагают слухи, а между тем — ха-ха! — всюду мужичьи бунты, грабежи, пожары, по стране рыщет партизанская

рвань. Разбойник Зыков мутит народ, грабит храмы, режет власть имущих и богачей. Горе стране, где нет хозяина. На кого же уповать, где найти защиту? Единая надежда — бог. Но для сего надо подготовить себя постом, покаянием, добрыми делами и, главное, возлюбить ближнего, как самого себя. А вся ли крамола арестована? Справку! Пожалуйста, справку о последнем крамольном мятеже. Убито и ранено граждан и солдат четырнадцать человек, двое пропали без вести. Со стороны же большевистской сволочи убито и изувечено семьдесят девять человек. А сколько красной сволочи ранено? Раненых нет. Bravo! Bravo!

С задних рядов поднялся костлявый, в черных очках, в измызанной шубенке, и чахоточным голосом крикнул:

— А кто возвестил: любите врагов ваших? Кто?!

— А вот кто! — и кулак мясника ударил чахоточного по лицу. Очки погнулись, правое стеклышко упало на пол.

— Это портняга! Пьяница!..

— Он всегда за красных.

— Бей его!

— Сицыли-и-ист... —

Но страсти постепенно утихли. Возле стенки, вытирая шубой штукатурку, продирался чахоточный, лицо его желто, костляво, безволосо, как у скопца, свободный глаз горел огнем, и жалко темнело сиротливое стеклышко.

— Иди, покуда цел, — тянул его за рукав милицейский, и сзади какой-то дядя в фартуке, толкал его в загривок.

— Благодарим, граждане! Спасибо!.. — крикнул из дверей чахоточный и сплюнул кровью. — Убийцы вы!

— Вон, вон, вон!

Звонок.

— К порядку!

Взъерошенный народ опускал перья, остывал, но ноздри все еще раздувались, и судорожно ходили пальцы на руках.

— Граждане, православные христиане!..

И в низком, сумеречном зале зашипело:

— Шитиков... Шитиков... Сам Шитиков.

Купец сбросил енотку, и на тугом животе его засияла золотая, с брелоками цепь. Загривок и жирная шея его хомутом лежали на покатых плечах. Лысая, овальная как яйцо, голова открыла безусый, безбородый рот и облизнулась.

— Граждане, — заквакал он, как весенняя лягушка, и большие лягушачьи глаза его застыли на вспотевшем

лбу.— Кто приведет мне христопродавца Зыкова,— тому жертвую три тыщи серебром...

— Я приведу!.. Самолично,— раздался лесовой хриплый голос. Шитиков и сидевшие за столом быстро оглянулись. Из полутемного угла шагнул рыжий верзила в полушубке, он выбросил широкую ладонь и прохрипел: — Давай, купец, деньги!.. Живьем приведу.

Шитиков пугливо откатнулся.

— Ты кто таков?

Рыжий исподлобья медленно взглянул на него.

— Я — неизвестно кто. А берусь... Давай деньги!.. Я — каторжанин... И ты каторжанин. Давай деньги!.. Ей-богу, приведу!.. Самого Зыкова. Живьем... Давай деньги!..

— А где Зыков? А где Зыков? Эй, рыжий... Говорят, сюда идет?! — закричали в народе.

— Зыков убит в горах.

— Нет, не убит... Идет... Сюда идет.

— Враки! — густо, по-медвежьи рявкнул рыжий.— Зыков теперича к Монголии ударился, войско собирать. А за три тыщи приведу... Берусь!

Вдруг послышалось на улице «ура» и резкий свист. Рыжий злорадно и загадочно вскрикнул:

— Ага, голубчики! — и тяжелым шагом двинулся к дверям.

Народ в испуге поднялся с мест. Одни бросились к выходу, другие к окнам, но стекла густо расписал мороз, и сквозь мороз непрошено лезли в дом свист и крики.

— В чем дело? Сядьте, успокойтесь!.. — отчаянным, дрожащим голосом зывал председатель.— В чем дело? Стой!.. Куда! — и сам был готов сорваться и бежать.

— Назад! Назад! — вкатывалась в дверь обратная волна.— Назад!.. Это два офицера, чехословаки, что ли. Поляки, поляки!.. И отряд... Десять человек... Двадцать... Сотня... Целый полк!

И с треском в зале, через гром аплодисментов:

— Ура! Ура!..

Два поляка-офицера при саблях,— тучный, лысый, с бачками, и черноусый, молодой,— в синих венгерках, в длинных, чесаного енота, сапогах, тоже кричали «ура», тоже хлопали в ладони.

Но не все присутствующие выражали патриотический восторг, многие угрюмо молчали. Как камень молчал и рыжий. Скрестив на груди руки, он стоял, привалившись к косяку, и ждал, что будет дальше. А дальше было...

Акцизный чиновник Артамонов в церковь и на митинг не ходил. Черт с ним, с митингом, он беспартийный, черт побери всех красных, белых и зеленых, он просто труженик, ему надо обязательно к пятнадцатому числу двухнедельную, по службе, ведомость составить. Царь был, царю служил; Колчак пришел — Колчаку; большевики власть возьмут — верой и правдой будет большевикам служить, черт их задави.

Отец Петр тоже не ходил в собор. Счастливым отцом Петром!

Отца Петра крестьянин из соседней деревни на требу к себе увез, старуху хоронить. Отказывался, не хотелось ехать. Но крестьянин в ноги упал, крестьянин два золотых отцу Петру в священнослужительскую ручку сунул. Батюшка согласился и уехал. Счастливым отцом Петром, уехал!

А чиновник Федор Петрович Артамонов замест того, чтоб на счетах щелкать, упражняется с Мариной Львовной в чаепитии.

Состояние духа их тревожно. Что-то будет, что-то будет? В этакие, прости господи, времена живем. Но в тревогу постепенно, исподволь, вплетается какое-то томленье, лень и нега. Давненько это началось, а вот сегодня крепко наособицу.

Не это ли самое томленье их почуял сердцем отец Петр и упорно отказывался на требу ехать? А все-таки поехал. Судьба. Счастливым отцом Петром, счастливые Марина Львовна и акцизный чиновник Артамонов!

Кисея, старинные часы в футляре, герань, два щегла, ученый скворец, портреты архиереев. Самовар пышет паром, и пышет здоровьем пышная Марина Львовна, попадья. Дымчатый китайский кот зажмурился, у горячей печки дремлет.

— Ужасно все-таки народ стал вольный, — сказала матушка и положила Федору Петровичу в чай со сливок пенку. — О девицах и говорить нечего, но даже женщины.

— Наши дни подобны военной будке: белый, красный, черный, — ответил слегка подвыпивший Федор Петрович. — А женский пол поступает хорошо.

— Чего же тут хорошего? — спросила матушка, улыбаясь.

— А что же тут предвидится плохого? — озадачил хозяйку гость и легонько погладил рукой ее полную ногу. — Тут ничего плохого нет.

— Ах, как это нет! — вспыхнула матушка и задвигала стулом.

— Веяние времени,— смиренномудрено заметил гость и еще ласковей тронул дрогнувшую ногу матушки. Матушка развела коленки и быстро их сомкнула, сказав:

— От этих веяний могут выйти неприятности. Уберите вашу руку!

— При чем же тут рука?

Глаза чиновника горели. Он оправил вицмундир, оправил бороду и стал закручивать усы.

— Одна девка другой сказала,— проговорил он,— а ты любишь, чего жалеешь... Черту на колпак, что ли? — и захихикал.

Матушка тоже захихикала и погрозила ему мизинчиком. Федор Петрович в волнении прошелся по комнате, остановился сзади хозяйки и вдруг, схватив ее за полную грудь, насильно поцеловал в губы.

— Что вы делаете?.. Что вы делаете? Ой! — вскрикнула она и, перегнувшись через спинку стула, страстно обхватила Федора Петровича за шею.

В дверь кто-то стукнул.

— Это Васютка.

Десятилетний попович Вася — большой любитель всяческих событий. От усталости он шумно дышал и, захлебываясь словами, торопился:

— Дай-ка чайку... Поляки пришли. Полсотни. Офицеры. Будут большевиков судить. Один то-о-лстый, с саблей, офицер-то. А кони маленькие, с кошку. Я «ура» кричал, а другие, дураки, свистали. К купцу пошли обедать. Повар проехал, вино провез. Дай-ка хлеба. Пойду. Нет, не задавят, мы с Сергунькой!..

И мальчик, хлопнув дверью, убежал.

Из окна видно серое небо, серый день и край городишки, а там, дальше, в каменных берегах — река. По белой ее глади вьется, уходя за серую скалу, дорога. Струи реки быстры, на самой середке вода прососала большую полынью. Черная вода ее обставлена редкими вешками.

Артамонов отошел от окна. Он чувствовал себя, как пропуделявший по дичи охотник. Черт дернул того дьяволенка не вовремя прийти!

— Я бы желал выпить водки,— сказал он.

Марина Львовна, покачивая бедрами, подошла к шкафу. Одну за другой Артамонов выпил три рюмки, а матушка только две.

— Не Марина ты, а Малина! — прилепнув ладонь в ладонь, игриво воскликнул Федор Петрович..

...Сумерки надвинулись вплотную. В истопленной печке золотом переливаются потухающие угли. Кот, выгибая спину, косится на живую скрипучую кровать, идет к двери и мяукает.

Бьет шесть часов.

И опять кто-то нетерпеливо задергал скобку двери.

— Васютка,— сказал Артамонов и стал зажигать лампу.

Суетливо оправляя прическу и подушки, матушка сквозь глубокий вздох сказала:

— Теперь я понимаю сама, как пагубно действует революция даже на женщин духовного звания. Ах, Федор Петрович, злодей ты...

— Да-а-а,— неопределенно протянул тот.— Седьмой час уж.— Он дыхнул в закоптелое стекло лампы и, сложив фалду вицмундира свиным ухом, стал действовать им на подобие ерша.

Как угорелый влетел Вася.

— Столбы врываю! Три виселицы! Вешать будут! У собора!

— Кого, кого?

— Изменщиков!

— Слава богу,— перекрестилась матушка.

— Когда? — спросил гость.

— Завтра. Объявления расклеены... Пойдем читать. Красные скоро придут... Триста верст до красных... Офицеры сказывали на площади... Народу-у... страсть. Пойдем!

За окнами падал снег. И что делалось на реке, там, у полыньи, никак нельзя было разглядеть. Полынья чернела. Сумерки сгущались. В окнах хибарок зажелтели огоньки.

Рыжий похаживал среди народа, выпрашивал, пытался, проводил хохотом двух пьяных проехавших домой купцов. Пробрался в крепость. Ворота были празднично открыты. Закроют ровно в девять. На земляном валу у ворот серели часовые.

Внутри крепости, впритык к валу, стояли наскоро выстроенные еще летом дощатые конюшни. Лошади у кормушек хрупали овес.

Сквозь густо падавший снег рыжий вплотную подошел к поляку, чистившему своего коня.

— Эй, братяга,— тихо и озираючись проговорил рыжий

в самое лицо солдата.— Передай своим, чтоб ночью не зевали... Да ты лопочешь по-хрещеному-то?

— Ну. Знай маленько,— и солдат чуть попятился от сутулого верзилы.

— Возьми уши в зубы, коли так. Завтра, по-темну, партизаны придут. Слышал? Тыщи две. В случае — лататы. На конях в лес всем отрядом дуй... Поперек реки... По дороге вдоль не надо, а то в лапы партизанам угодишь, до единого всех вырежут, секим башка. Так и толкуй по-русски... Чуешь? Поперек реки...

— Ты кто есть? Провокатор? — словно проснувшись, прокричал солдат.— Эй, мужик, мужик, стой!..

Но рыжий быстро скрылся в мутной мгле.

Солдат поднял тревогу. Искали на конях, бегали с фонарями. Рыжий — как сквозь землю.

Поляки решили не спать всю ночь. Два их офицера после купеческого угощения были навеселе. Они отдали приказ: завтра же разыскать бродягу и повесить, а потом заказали привести для услады свеженьких девчонок.

Дом поповский на горе. Отца Петра все еще нету.

Артамонов подходит к окну.

— Что это такое?

Сквозь белый мрак мутнеют на реке костры. Их много. Огромная дуга огней примкнула концами к городскому берегу и в середине прервалась. Тут полынья, должно быть. Наверное рыбаки добывают рыбу. Должно быть, так.

На душе Федора Петровича противно, тошно и смертельная тоска.

Матушка укладывает Васю.

— А вы оставайтесь, в лото поиграем до отца Петра.

Артамонов молчит. Сердце невыносимо ноет. Хочется застонать протяжно и громко.

— Покойной ночи,— говорит он и, чиркая на ходу спички, спускается к себе вниз.

Возле купеческого крыльца по привычке дремлет караульный. Он видит страшный сон, мычит и охает.

На соборной колокольне сторож пробил девять.

Весь город спит. Федору Петровичу не спится.

ГЛАВА VI

Вдруг, словно по команде, на сонных улицах, на реке, в лесу и всюду загрохотали выстрелы. На всех колокольнях враз ударили набат. Через соборную площадь, через взор и слух проснувшегося караульного, с гиканьем и свистом промчались в снежной мгле гривастые и черные, как черти, тени.

— Господи Суси, господи... — закрестился караульный, и его колотушка покатила в снег.

Федор Петрович Артамонов вскочил с кровати, на босую ногу надел пимы, накинул барнаулку-шубу и, весь дрожа, вышел за ворота. Было тихо, только снег крутил, и он подумал, что все это ему пригрезилось.

Но нет. Вскоре где-то на яру, у крепости, вновь затрещали выстрелы, ударил набат, и колыхнулось из-за крыш зарево.

«Однако, красные пришли...» — мелькнуло в его испуганном уме.

Ржаво поскрипывали калитки. Слышались робкие, прерывавшиеся шаги и голоса. Перекликались соседи.

— Э, Назаров! Ты?

— Я.

— Это что такое?

— Не знаю...

Из метели вынырнул и дальше пробежал мальчишка. На бегу звенел на всю метель:

— Полякам шубы перешивают!..

— Кто?

— Не знай кто!.. Не видно... Чу, палят...

— Эй, мальчик! — крикнул и Артамонов.

Но калитки резко захлопали. С выстрелами проскакали два всадника, за ними еще, и целый отряд, что-то лопоча, жутко выкрикивая и стреляя в муть. А сзади с гиканьем, со свистом, с матерщиной завихоривали на хрепавших конях люди:

— В проулки не пушай! Гони к реке! К реке-е!

Артамонов тоже нырнул в калитку.

Поляков гнали прямо на костры. Но там — народ. Поляки заметались. Они попали в огненный охват костров.

Тот, которого предупреждал рыжий, кричал товарищам, чтоб мчали поперек реки «до ясу». И вот ошалело ринулись в тьму, в то место, где разорвалась дуга огней.

— Ребята, стой! — медной глоткой рявкнул Зыков партизанам и, рванув уздой, враз вздыбил своего коня.

Все осадили лошадей.

— Готово. Влопались...

С проклятьем, с воплем, наседая друг на друга, враги стремглав ухнули в ловушку-полыню, сразу вылетев из седел.

Тут было неглубоко — коню по шею,— но вода быстро неслась, многих утянуло под лед, иные хватались за конские хвосты, отчаянно хлюпались в ледяной воде, но, выбившись из сил, тонули с страшным визгом.

Всхрапывали, гоготали лошади, забрасывали передние ноги на края, но тонкий лед, звеня, сдавал.

— Вылазют! Вылазют! — вскричали партизаны, их зоркие глаза увидали в темноте двух вылезших людей.— Прикончить надо...

— Пускай на морозе греются. Сами сдохнут,— сказал Зыков.— А впрочем... добудьте-ка сюда одного.

Он повернул коня, и все шагом поехали к кострам.

Месяц прогрыз подтянувшиеся к небу тучи, и в мутном свете видно было, как трёпаным дымом проплывали облака.

— К утру вывездет,— проговорил рыжий.— Ишь, казачье солнце ладит рыло показать,— и махнул рукавицей на луну.

— Слушай, Срамных,— обратился к нему Зыков.— Город заперт?

— Так точно... Кругом дозоры. Офицерье схвачено. Крепостной начальник схвачен... Пушку я досмотрел старинную, у церкви валялась, в крепости, велел своим ребятам на вал втащить... Вдарить можно. Опять же встреча тебе будет: трезвон и леменация... Приказ мной даден.

Приволокли поляка. Бритая, без шапки голова, большие усы закорючкой вниз. Глаза на толстощеком лице прыгали, как у помешанного. Весь взмок и едва держался на ногах.

— Пане... Змилуйся, пане!..— дрожа и стуча зубами, упал он перед Зыковым в снег лицом.

«Сейчас пытать начнет»,— сладостно подумал Гараська, пьянея звериным чувством.

— Встань. Какой веры?

— Католик, пане... Католик.

— Римской, что ли? О, сволочь... Разорвать бы...

— Дозволь мне, Степан,— хрипло загнусил сзади широкоплечий горбун с свирепой мордой и сверкнул огромным топором.

— Нет, мне, Зыков, мне...— и Гараська соскочил с коня.

— Ну, ладно. Живи,— милостиво сказал Зыков.— Эй, дайте-ка ему сухую лопотину...¹ Раздеть... Вишь, у молодца руки зашлись.

Когда поляк был одет в теплый полушубок, Зыков сказал ему:

— Коня тебе не дам. Беги за нами бегом, грейся. Посмотришь, как Зыков царствует, и своим перескажешь. Ежели твоя планида допустит тебя домой вернуться, и там всем расскажи про Зыкова. Я так полагаю, что спас тебя не зря. Ты кто? Ты враг мой, а я тебя возлюбил. И я мекаю, что много грехов тяжких за это мне сбросится с костей. А теперича...

— Скачут, скачут! — закричали партизаны.

Зыков обернулся к городу. В неокрепшем лунном свете мчались четверо.

— Передались!.. Без кроволитья! — орала издали.

— Тпру... Товарищ Зыков,— сказал запыхавшийся солдат. Белый конь его мотал головой и фыркал.— Так что на митинге единогласно все тридцать пять человек постановили присоединиться к вам, товарищи... Долой Колчака, да здравствует Красная Армия и красные партизаны с товарищем Зыковым во главе... Ура!.. — солдат замахал шапкой, конь его закрутился, все закричали «ура».

— Добро,— сказал Зыков.— Вы решили, ребята, помному. И нам работы меньше, и ваши головы останутся на плечах торчать. Спасибо. Ну, готово, что ль? Дай-ка огня.

Десяток выхваченных из костра горящих головней мигом, как в сказке, осветили Зыкова. Он вынул из-за пазухи часы.

— Эвона, одиннадцать скоро. Горнист! Играй сбор!

Медный зов трубы звучно и резко прокатился над рекой. Лес и горы, тотчас отозвавшись, пробредили во сне. У многочисленных костров закопошились партизаны, и вот, как на крыльях, стали слетаться к месту сбора всадники. Зыков махнул рукой. Горнист сыграл «повзводно, стройся». Две сотни живо встали головами к городу.

— Вот, братцы! — прокричал Зыков, указывая на стоявшего рядом поляка.— Это наш враг был, теперича друг и брательник. Я его крестил в реке, в Ердани. Имя ему теперича дадено Андрон, а фамиль Ерданский.— Бороды

¹ Лопотина — одежда вообще. (Прим. авт.)

враз взмотнулись, и над головами лошадей прокатился шершавый смех.

— Ну, теперича на гулевань!..

Зыков вымахнул вперед отряда, за ним — сподручные. Развернули знамя. Рожечники наскоро продули берестяные рожки, дудари испробовали дудки, пикульщики — пикульки.

— Айда за мной!

Ударил барабан, горласто задудили многочисленные рожки и дудки, два парня бухали колотушками в медные тазы, в которых только что варили хлебово, свистуны в такт барабану оглушительно высвистывали.

Музыка стонала, выла, скорготала, хрюкала. Партизан от этой музыки сразу затошнило, у всех заскучали животы. Гараська заткнул уши пальцами и скривил рот: ужасно хотелось взвять собакой.

Даже Зыков густо сплюнул и сказал в бороду:

— Вот сволочи... Аж мороз по коже...

Как только вступили в город, рыжий верзила Срамных сделал выстрел, тогда на всех колокольнях раздался торжественный трезвон. Глаза Зыкова чуть улыбнулись. Он ласково оглянулся на Срамных.

Все улицы по пути были освещены кострами. В переулках у костров — выгнанные из домов и хибарок горожане, и в каждой кучке — зыковский всадник.

Народ по приказу кричал «ура»; махали шапками, платками, флагами; особенно усердствовали мальчишки.

Собаки разъяренно кидались на рожечников, старались вцепиться в глотки лошадей. Крайний всадник снял с плеча вилы, ловко воткнул их в захрипевшего пса и перебросил через забор.

Зыков, гордо откинувшись, ехал на коне царем. Он совершенно не отвечал на восторженные крики. Только изредка подымал нагайку и выразительно грозил толпе.

Лишь показались ворота крепости, с вала пыхнул огонь, и вместе с пламенем тарарахнул взрыв, как гром. Кони шарахнулись и заплясали. Бежавшая за отрядом толпа метнулась врассыпную, многие упали, опять вскочили, в ближних домах вылетели стекла.

Зыков с подручными рысью въехал в крепость.

На валу, около того места, где разорвало пушку, хрипя, полз на карачках бородатый, в поддевке человек. У самых ног зыковского коня он протяжно охнул, перевалился на спину и вытянулся, закатив глаза. На откосе неподвижно лежал еще один, зарывшись головой и руками в снег.

— Чурбаны неотесанные,— раздраженно сказал Зыков.— Из пушки палить не могут.

— Я им говорил,— замахал руками прибежавший, бледный весь, как полотно, солдат.— Пушка незнакомая, старинная, черт ее ведает, что за пушка... А они до самых краев, почитай, набили порохом... Вот и... Трое твоих орудовали, двое тут-ка, эвот они... А третьего не знай, куда фукнуло, поди, где ни то на крыше. Я от греха убер.

Еще подходили солдаты, тряслись как осинник.

— Есть другая пушка?— спросил Зыков.— Ну-ка, давай сюда. И пороху сколько хочешь? Ладно.

Дружно тянули от церкви заарканенную ржавую тушу пушки. Подтащили к откосу. Кричали, подергивая концы аркана:

Раз — два! Еще разок!
Раз — два! Матка идет!
Раз — два! Подается!

Но пушка подавалась туго. Она лениво вползала вверх, как стопудовая черепаха.

— Дубинушку надо!— крикнул красавец Ванька Птаха и залиvisto запел:

Наш начальник Зыков
Че-е-рный!..
Он отчаянный,
Задо-о-рный!
Да, э-е-е-ей, дуби-и-нушка, ухнем..
Да, э-е...

— А ну! — Зыков соскочил на землю и впрягся в аркан. Все надулись, сразу запахло редькой, и пушка, злобно ощерив рот, ходом поползла наверх.

— Миклухин! — крикнул Зыков.— Орудуй... Ты бомбардиром был. Гречи раз двадцать... Надобно на людишек трепет навести. А где ж красные правители? Большевики?

— В тюрьме... А главные перебиты были. Кой-кто остался.

— Всех на свободу.

— И жуликов?

— Всех. Моим именем. Большевики пусть спокойно по домам идут. Когда надо, покличу. Да пускай смирно сидят, а то...— Он ткнул кулаком в грудь и гордо крикнул: — Я здесь власть!— Лицо его было сурово.— Эй, Гусак! Объяви нашим, чтоб разъезжались по домам. Чинно-благородно чтоб... моим приказом, строгим. А то башки, как кочки, полетят! Гулять же будем по окончании делов. Срамных! Указывай фатеру.

ГЛАВА VII

Луна разогнала все тучи. От звездного неба шел голубоватый зыбкий свет.

Деревянный двухэтажный дом купца Шитикова, с колоннами и резьбой, выходил на Соборную площадь. Стекла отливали голубым блеском, как на солнце темно-синий шелк. Внутри, одинокий, пугливо светился огонек. У ворот, по углам и во дворе стояли вооруженные партизаны.

— Двери,— сказал Зыков, влезая на крыльцо.

Сверкнула сталь двух грузных ломов, дерево затрещало, и Зыков с рыжим поднялись наверх.

Зыков двинул плечом запертую дверь, и оба пошли в заднюю комнату на огонек. Их шаги в пимах были тяжелы и мягки. В спальне горела лампа, у образов две лампадки. Хозяин и хозяйка стояли под лампадками, лицом к дверям, умоляюще скрестив на груди руки. Страх перекосил, исковеркал их лица.

— Здорово, ваше почтение,— прохрипел Срамных.— Давай деньги!.. Три тыщи! Видишь, сдержал слово, самолично Зыкова привел. Вот он! Давай деньги! — и захохотал. Хохот был хищный, злорадный. У хозяев остановилось сердце, враз похолодела кровь.

— Все возьмите... Батюшки мои, отцы родные...— и оба повалились на колени.

— Богачество можешь оставить при себе,— сквозь зубы сказал Зыков, горой шагая на них. В глазах Зыкова Шитиков мгновенно увидел свою смерть. Кособоко откачнулся и, прикрыв голый, как яйцо, череп ладонями, пронзительно завизжал. Зыков резко два раза взмахнул чугуном безменом, и все смолкло.

— Приплод есть? — спросил Зыков.

— Нету. Бездетные они.— Все лицо и глаза Срамных были в слюнявой и подлой улыбке.

— А там кто охает? — Зыков пошел с лампой в соседнюю комнату.

— А это ейная мать, больная...

— Выбросить в окно. С кроватью вместе.

Рыжий с двумя партизанами подняли кровать:

— Побеспокоить, бабушка, придется.

Старуха онемела: ворочала глазами и, как рыба, открывала ввалившийся рот. Поднесли к венецианскому окну и раскачали. Вместе с двойной рамой все кувырнулось на мороз.

Выбросили и те два трупа.

— Эх, дураки... Холоду напустили,— сказал Зыков.

— Законопатить можно. Эвот сколько ковров,— ответил рыжий.— Эй, пошукай-ка, братцы, гвоздочков.

Зажгли все лампы.

— А внизу кто? — спросил Зыков.

— Приказчики да Мавра, стряпуха ихняя.

— Позвать стряпуху.— И сел на кресло.

Мавра была слегка подвыпивши. У самой двери она брякнулась на колени и поползла к Зыкову, голоса басом:

— Ой ты, свет ты наш, ты ясен месяц... Батюшка, кормилец, не погуби... Разбойничек ангельский...

— Дура! Ты что, купчиха, что ли! Встань...

— Верная раба твоя... Ой, батюшки, милый разбойничек...— и заревела в голос.

Зыков нахмурился, подхватил ее под пазухи:

— Жирная, а дура,— и посадил рядом с собой.

— Ой, ой,— скосоротилась она и засморкалась.— Ничевошеньки я знать не знаю, ведать не ведаю... Хошь режь, хошь жги... А только что...

— Слушай...

— Не буду у них, у проклятых буржуев, жить.

— Да слушай же...

— Знать не знаю, ведать не ведаю... Разбойничек ты мой хороший...

— Молчи, холява!..— внезапно вскочив, затряс Зыков под самым ее носом кулаками.— Срамных! Растолкуй ей, чтоб на двадцать ртов ужин сготовила... Да повкусней... А баня готова? Фу-у, черт, дура баба. Разбо-о-ойничек...

Третий раз грохнула пушка. Стекла и висюльки на лампе взикнули.

— Скажи тому обормоту, как его... Миклухину, достаточно из пушки палить. Завтра...— проговорил Зыков и пошел в баню.

Ему светил фонарем приказчик Половиков, нес веник с мылом, простыню и хозяйское белье.

Баня— в самом конце густого сада. Весь сад в пушистом инее, как черемуха в цвету. И все морозно голубело. На пуховом снегу лежали холодные мертвые тени от деревьев.

— Прикажете пособить? — спросил приказчик, приподымая шапку и почтительно клюнув длинным носом воздух.

— Нет. Уважаю один.

— Не потребуется ли зашей милости девочка или

мадам? Можно интеллигентную...— Приказчик осклабился и выжидательно стал крутить на пальце бороденку.

Зыков быстро повернулся к нему, задышал в лицо, строго сказал:

— Не грешу, отстань...— и вошел в баню.

Зажег две свечи, начал раздеваться.

Когда стаскивал с левой ноги пим, рука его попала в какую-то противную, холодную, как лягушка, слизь. Он отдернул руку. От голых пяток до боднувшей головы его всего резко передернуло, лицо сжалось в гримасу, во рту, в пищеводе змеей шевельнулось отвращение:

— Тьфу! Мозги...

Он шагнул из бани и далеко забросил два пима в сугроб.

От голубеющей ночи, со двора, пробирались к бане три всадника.

Зыков закрыл дверь, взял винтовку, китайский пистолет, нож и веник и нагишом пошел в парное отделение.

Когда он залез на полку и с азартом захвостался веником, пушка грохнула в четвертый и последний раз.

Продрогшие за длинный переход партизаны набились по теплым городским углам, кто где.

У молоденькой бабочки Настасьи пятеро. Маленькая, шустрая, она, как на крыльях, порхала от печки к столу, в чулан, в кладовку.

— Да ты ложись спать... Мы сами... Зыков не велел беспокоить зря. А Зыков скажет — отпечатает.

— Как это можно,— звонко и посмеиваясь возражала та.

На столе самовар, яичница, рыба, калачи — бабочка на продажу калачи пекла.

Четверо были на одно лицо, словно братья, волосы и бороды — как лен. Только у пятого, Гараськи, обветренное толсторожее лицо голо и кирпично-красно, как медный начищенный котел.

— А у ты хозяин-то, муж-то есть? — зашлепал он влажными мясистыми губами.

— Нету, сударик, нету... Воют он... При Колчаке...

— При Колчаке? — протянул Гараська, прожевывая хлеб со сметаной. — Зыков дознается, он те вздрючит.

— По билизации, сударик... Не своей волей, — слезно проговорила бабочка, и ее сердце екнуло.

— По билизации ничего,— сказал мужик в красных уланских штанах.— Ежели по билизации, он не виноват. Настасья успокоилась. Быстрые глаза ее уставились в бороды чавкающих мужиков.

— Кого же вы бить-то пришли? Большачишек, что ли?

— Кого Зыков велит,— сказал крайний мужик в овчинной жилетке с офицерскими погонями и крепкими зубами шелкнул сахар.

— Нам кого ни бить, так бить,— весело сказал Гараська и, обварившись чаем, отдернул губы от стакана.

— А ты нешто убивывал?— спросила бабочка.

— Убивывал. Я на приисках работал, там народ отпегтый... Убивывал...

Глаза Настасьи испугались.

— Гы-гы-гы,— загоготал Гараська.— Вру, вру... А вот я бабенку уважаю чикотать,— он квакнул по-лягушечьи и боднул хозяйку в мягкий бок.

— А зыковский наказ забыл, паря? Оглобля!.. Черт...— окрысились на Гараську мужики.

— Так тебе Зыков и узнал,— с притворной заносчивостью сказал Гараська, подмигивая мужикам.

Все плотно наелись и рыгали. Молодые мужики, раздувая ноздри, примеривались к хозяйке глазом: бабочка круглая. Вот только что бог ростом обделил. Одначе не хватит на всю артель.

— Ну братцы, дрыхнуть.

Настасья улеглась за занавеской на кровати, партизаны в соседней комнатушке на полу, разбросив шубы.

Старший, Сидор, задал лошадям овса, помолился богу, снял красные штаны и бесхитростно до утра завалился спать.

Почти по всему городу партизаны крепко спали. Только выходы на окраинах караулили зоркие глаза, да разъезды, тихо переговариваясь, рыскали по улицам.

А вот за крашеными воротами драка, гвалт: два партизана, голоусик с бородатым, пьяные, вырывали друг у друга деревянную шкатулку.

— Моя! — кричал голоусик.

— Врешь! Я первый увидел.

И оба залепили друг другу по затрещине.

Разъезд загрохотал в калитку и въехал во двор:

— Язви вас! Вы драться?!

Партизаны крепко спали, и пушка сомкнула свое хай-

ло, только обывателей мучила бессонница. Воля в каждом померкла, покривилась, всяк почувствовал себя беззащитным, жалким, как заключенный в тюрьму острожник. Люди были как в параличе, словно кролики, когда в их клетку вползет удав. Озадаченные обыватели то здесь, то там чуть приоткрывали дверь на улицу и прислушивались к голубой морозной ночи.

Но ночь тиха.

И это обманное безмолвие еще больше гнетет их. Каждый предвидел, что завтрашний день будет страшен: сам Зыков здесь.

Трепетали купцы и все, у кого достаток, трепетали чиновники и духовенство. Мастеровые, мещане и просто беднота тоже вздыхали и тряслись: Зыкову как взглянется, и хорошая и дурная про него идет молва.

Ой, недаром нагайкой Зыков погрозил, когда въезжал в их город. А кто у костров стоял? Простой народ. Вот ввязались позавчера в бунтишко... Эх, черт толкнул, попы подбили с богатеями!.. Эх, эх... Пускай бы правили городом большевики, тогда б и Зыков ни при чем.

Фортки, двери закрывались, и долго в домах, в хибарках шуршал тревожный разговор иль шепот.

Весь город был в параличе.

Зыков, горячий, как огонь, выскочил из бани,— на красном исхвостанном веником теле чернеет широкий кержацкий крест, — кувырнулся в сугроб и запурхался в снегу.

— Стережете, ребята?

У трех всадников блестели под луной винтовки.

— Парься спокойно. Стерегем.

Кому же спится в эту ночь? Непробудно спят на морозе Шитиков со старухой и женой, да еще в мертвом свете почивает утыканное крестами кладбище. Между могил стремглав несется ослепший от страха заяц, за ним, взметая снег,— голодная собака или волк.

Об убийстве Шитиковых в доме купца Перепреева никто не знает.

Сам Перепреев, плотный старик с подстриженной круглой бородой, ходит из угла в угол, и зловеще ползет за ним его большая тень.

— Папаша, что же нам делать? Папашечка,— хнычет его младшая дочь Верочка, подросток. Она умоляюще смотрит на отца. Отец молчит.

Таня в темном углу возле окна, в кресле, поджала ноги

под себя. Она, видимо, спокойна. Но душа ее колышется и плещет в берега, как зеркальный пруд, в который брошен камень.

Таня знает: ночь за окном темна, ночь сказочна, грохочет пушка, луна прогрызла тучи, и кто-то пришел в их жалкий городишко из мрачных гор. Кто он? Русский ли витязь сказочный, иль стоглавое чудовище — Таня этого не знает. И кто ответит ей? Отец, сестра, мать?

— Папашечка, послали бы вы на улицу приказчика разузнать. Напишите письмо начальнику в крепость, — говорит Верочка.

Отец бессильно, с горечью машет рукой, вновь залезает на окно и выглядывает в фортку.

На тумбе, возле дома, торчит штык, чернеет борода.

— Эй, милый?

Но милый отворачивается и сплевывает в снег.

На диване, крепко перетянув голову полотенцем, охает хозяйка. Верочка подходит к ней, долго смотрит на нее, потом с чувством целует:

— Мамашенька...

Отец, как маятник, опять ходит из угла в угол, опустив голову. Ноги его начинают дрожать и гнуться.

— Растудыт твою туды. Надо к Перепрееву сходить, погреться, — шамкает промерзший в двух шубах караульщик. Он ударил в колотушку, вытаращил глаза на прочерневший разъезд, пробормотал:

— Тоже... ездют... Пес их не видал, — и, открыв калитку, заковылял в купеческий двор.

— Куда лезешь? Пошел вон!

Караульщик остановился.

— Иду, иду, иду, — повернул назад, прочь от часового, бубня в седую бороду: — Растудыт твою туды. Застрелют еще, анафемы... И управы на них нету. К кому пойдешь?.. Тоже, правители... Тоже прозывается Толчак. Чтоб те вдохнуть, Толчаку... А убьют купца... Ох, господи... Пойду спать, домой. Черт с ними и с амбарами его... Все равно убьют... Потому — сам Зыков.

Зыков парился очень долго и пришел из бани босиком. Весь шитиковский дом был освещен.

За длинным столом шумели. Стол, как войсками плац, уставлен бутылками, рюмками, стаканами. Прислужива-

ют приказчики и два подручных, в красных рубахах, мальчика. Головы у мальчишек взъерошены. Один, раско- сый, дернул украдкой сладкого вина, и ему в соседней комнате приказчик нарвал уши.

Партизан по выбору приглашал Срамных. Девять че- ловек молодежи, крестьянских парней — все они верные, испытанные слуги Зыкова, сотники, десятники; остальные, человек пятнадцать, всех мастей бородачи, кержаки и крестьяне. Это самые близкие Зыкову люди, его свита, правая рука. Среди них два седовласых деда: бывший с золотых присков старатель и еще — бобыль-мужик.

Хохот, разговор. Несколько бутылок выпито, много за- кусок съедено. Но ужин еще не готов: Мавра и одюгла- зый повар-грек, приготовлявший днем обед в честь поль- ских офицеров, загибают невиданные растегаи, варят пельмени, жарят баранину и кур.

— Зыков!

Все за столом поднялись, как пред игуменом монахи.

— С легким паром, Степан Варфоломеич!.. С легким паром... Пожалуйте... много лет здравствовать!

Спины гнулись усердно, низко, и свисшие космы шле- пали по воздуху.

Зыков молча сел в середку. Справа от него, подложив под сиденье огромный свой топор, каким рубят головы быкам, мрачно восседал беглый каторжник, горбун. Он кривоногий, раскоряка, ростом карапузик, но могуч в пле- чгах. Лоб у него низок, череп мал, челюсти огромны. Оплывшая книзу рожа его вся истыкана глубокими тем- ными оспинами, словно прострелена картечью. Поэтому прозвище его — Наперсток. Большие белесые глаза крас- ны, полоумны. Возле виска зарубцевавшийся широкий шрам. Наперсток говорит: медведь так обработал. Молва говорит: в разбойных делах мету получил.

Он весь во власти Зыкова, трепещет его и в то же вре- мя полон ненависти к нему: «Эх, скovyрнуть бы Степку, да на его место встать!» — Зыков тоже тяготится им, хо- чет от него отделаться, но кровь крепко спаяла их судьбу.

А вот и ужин, пельмени.

— Ну, братаны, теперя можно погулять,— говорит Зы- ков, но шумливый стол не слышит.— Эй, я говорю! — И в тишине раздельно: — Гуляй да дело не забывай. Доволь- но, посидели мы в тайге, в горах. Сегодня жив, а завтра нету. Гуляй, ребята... Нажретесь, спать здесь. На улку срам не выносить. В упреждение соблазна. И чтобы тихо.

— Степан! — прервал его Наперсток.— Я на топоре

сизжу,— он засмеялся, как закашлял, тряся горбом, вросшая в искривленную грудь плешивая башка его повернулась к Зыкову и ехидно ослабила гнилые зубы.

Зыков ожег каторжника взглядом и сказал:

— Одноверы! В грехе не сомневайтесь: время наше — война. Кончим, правую веру свою вспомним, очистим воздух, станем жить по преданию отец и праотец. Кто трусит — грехи в мою голову. Я — единая власть вам, и я в ответе!

Кержаки — их четверо — кивали головами, чавкали еду, запивали вином. Парни друг перед другом рассыпались в самохвальстве, вино пили как воду и все покашивались на Зыкова. Он глотал пельмени быстро, обжигался, хмуро молчал.

В левое ухо говорил ему Срамных. Перед рыжим на столе каракулями исписанный лист бумаги. Здесь перечислены все, которых завтра ждет расправа. Зыков слушает молча, но брови его хмурятся, и на глаза набегают тень.

— Эй, служающий!.. Ослеп? Наливай, черт, остра маковка! — кричат то здесь, то там.

Приказчик кожилится, штопором вытаскивая пробки. Свету много. В золоченой раме «Король-Жених». В простенке — овальное зеркало. Зыков поднял голову и, прищурившись, долго смотрит на себя.

В горке, за стеклом, хрусталь и серебро. Пьяные глаза гуляк блестят, косясь на горку. Круглые часы пробили два. Зыков мрачен. Он выпил всего лишь три стакана вина, поднялся, внушительно сказал Наперстку:

— Наточи топор,— и вышел в другую комнату, закрыв за собой дверь.

Ему хотелось уснуть, забыться. Разделся и лег на диван, покрывшись лисьим своим кафтаном. Но сон не шел. Думы, как бегучий поток в камнях, плескались в голове, сменяя одна другую и переплетаясь. Вот бы кликнуть клич, набрать миллионы войска и завладеть, очистить всю страну. А большевики? Во что они веруют, за что идут? За народ? А вот уж посмотрим... Друзья или враги?.. Еще отец...

«Отец, неужели и ты враг мне?»

Вот Зыкова призвали сюда. Надо начинать большое дело. А с чего начать? И как укрепиться? Известно, страхом, кровью. А дальше? Где такие еще есть, Зыковы? Эй вы, старатели!.. Подходи сюда, соединяйся!

Нет, надо спать, спать.

Но там шумят, ругаются. Громче всех отрет Наперсток. А в окно бьет своим светом луна.

Череп и все скуластое лицо Федора Петровича под луной, как у покойника. Он еще не раздевался и не зажигал огня. Сидит у окна, нещадно курит. За окном луна и тишь.

— Федя,— в третий раз спускается по внутренней лестнице матушка.

— Ах, это слишком,— раздражается Федор Петрович.— Пожалуйста, прошу вас подняться к себе.

— Я беспокоюсь за отца Петра.

— А я беспокоюсь о судьбе города. Знаете, в чьей он власти?

За рыжебородым Павлухой к Настасье прошел Лука, за Лукой — едва не лопнувший от похоти Куприян. Настасья ничего. В Настасьино окно тоже бьет луна, и кустик герани на окне тихо дремлет. Гараська весь изворочался, испыхтелся, притворяясь спящим, как и те, а сам клял Куприяна: «Вот, дьявол, долго как». Гараська новичок, надо же старшим уваженье оказать.

Когда пробило на купеческих часах три, гуляки помаленьку-помаленьку распоясались, сначала песни завели, потом и пляс.

Наперсток, сидя, подбоченился, тряхнул горбом и гнусавым своим голосом крикнул плясунам:

— А что мне Зыков? Тьфу!..

В это время и Гараська, сменив Куприяна, самохвально заявил Настасье:

— А что мне Зыков? Тьфу!..

И до самого до утра забрался под ее ситцевое одеяло. Настасья ничего. Настасья целый год жила, как монашка.

От пляса, грохотанья в пол пятками дрожала печь и бутылки на столе качались.

— Ух-ух-ух-ух!!

Все были на ногах, хлопали в ладоши, орали кто во что

горазд. Только Наперсток сидел на топоре, как припаялся.

— А Зыков эвот у меня где!.. Попробуй-ка убей меня... Я те убью. Эй вы, кержацки морды! — гнусил пьяный Наперсток. — Все вы анафемы... Все вы прокляты, кобелье!.. Эй, сволочи! Идите ко мне в шайку. Я — атаман... Топор эвот! Грабить, ребята, будем. Девок портить, вино пить... — Он схватил бутылку и, ухнув, пустил ее в зазвеневшие стекла горки. — Нна!.. Забирай, ребята, по карманам серебро да золото. Зыков жаднюга, сволочь. Не даст... Эй, бери в мою голову!.. А на Зыкова гостинец — вво! — Он вытащил из-под сиденья топор и вдруг, взвизгнув, высоко повис в воздухе.

Мимо смолкших, застывших плясунов, как корабль мимо ладей, прошел, в одной рубахе и портках, грузный Зыков. В вытянутой, вперед его руке дрыгал пятками, крутился и хрипел горбун. Зыков, скосив к переносице глаза, неторопливо прошел в крайнюю комнату, сорвал с разбитого окна ковер и выбросил горбуна на улицу.

Когда возвращался, в столовой и соседних комнатах притворно похрапывали, валяясь на полу, гуляки.

ГЛАВА VIII

— Кутью сюда, долгогривых, — низким, твердым голосом бросил Зыков, входя в собор.

За ним шла ватага. На его голове новая лисья, с бархатным верхом, шапка. На лоб, из-под шапки, свешивались черные подрубленные волосы.

— Надеть шапки! — сказал он, обернувшись. — Чего сняли? Нешто это господня церковь? Это так себе... Обман.

Постороннего народу никого, одни мальчишки. Поповский Васютка тоже здесь.

Весь народ у лавок, у магазинов, у лабазов. Еще утром трубари трубили во всех концах: именем Зыкова, его веленьем будет раздаваться народу купецкое добро.

В городе никакой власти нет, кроме власти Зыкова, единой, страшной. На высокой качели, вчера приспособленной поляками для казни, висят с утра четверо мешчан, две бабы и мальчишка. Толпа вздумала громить лавчонку. Этих поймали. Зыков отдал приказ — вздернуть.

Все приказчики мобилизованы, но главная задача идет через руки партизан. Мелькают аршины, крепким кряком

рвется каленый на морозе ситец, ножницы стригут куски сукна.

— Эй, тетка! Сколько семьи? Получай... Пять аршин кумачу, десять аршин ланкорту, три платка, восемь аршин твину. Пачпорт! — И карандаш резкую делает кривуль-отметку. — Следующий!..

Снуют по площади, по улицам нагруженные мукой, горохом, кумачами, обутками людишки. Румяная деваха радостно улыбается морозному солнечному дню: поскрипывая новыми полусапожками, она тащит нежданную получку и под мышкой банку с паточным вареньем.

Вылетел из лавки мальчик, бежит, машет связкой баранок, рад. Остановился у виселицы, взглянул на трупы и, печальный, тихо поплелся домой.

В крепости партизаны принимают от солдат оружие. Деловито, не торопясь и с толком. По богатым дворам забирают лошадей.

Зыков задал всем рабугу. Он в соборе, но он везде: и всякий из ватаги, на какой бы работе ни был, видит строгие глаза его, слышит его голос. Зыков здесь.

А между тем солнце склонялось к закату, подрумяненными столбами валил густой дым из труб, и в соборе зазгли паникадило.

Зыков сидел на амвоне перед открытыми царскими воротами. На кресле положена архиерейская подушка, а под ноги брошены орлецы. По обе стороны его зажжены в высоких подсвечниках большие свечи. — так распорядился для торжественности Срамных. От двойного свету — сверху и с боков — на бледно-матовом лице Зыкова играют тени и серебрятся редкие седины в густой черной бороде. Лицо его грозно, незабываемо.

В церкви очень тихо, даже Наперсток присмирел, и его невиданной величины топор опущен вниз.

Тихо, все ждут знака. И по знаку выхватили с левого клироса старого протопopa. Парализованная, на левом клиросе стояла кучка духовенства, начальства и чиновников, в кольце вооруженных партизан.

— Кто ты? — твердо спросил Зыков старика.

— Я божий протоиерей. А ты кто, еретик? — также твердым, но тонким, по-молодому звенящим голосом ответил священник.

Зыков нахмурился, закинул нога на ногу, спросил:

— А знаешь про протопopa Аввакума, про лютую смерть его слышал? От чьей руки?

— Не от моей ли?

— От вашей, антихристовы дети, от вас, богоотступники, табашники, никонианцы. Кто глава вашей распутной церкви был? Царь. Кому служили? Богатым, властным, мамоне своей. А на чернь, на бедноту вам наплевать. Так ли, братаны, я говорю?

— Так, так...

— С кем идешь: с Колчаком или с народом? Отвечай!

— Сними шапку. Здесь храм божий! — и седая голова протопопа затряслась.

— На храме твоём не крест, а крыж.

Священник вскинул руку и, загрозив Зыкову перстом, крикнул:

— Слово мое будет судить тебя, злодей, в день судный!

Зыков вскочил, в бешенстве потряс кулаками и снова сел.

— Отрубить попу руку, — кивнул он Наперстку. — Пусть напередки ведаёт, как Зыкову грозить.

Наперсток распялил рот до ушей, и реденькая татарская борода его на широких скулах расщеперилась.

— Стой, — остановил его Зыков и спросил сидевшего в кресле напротив него Срамных: — Эй, судья! Одобряешь мое постановление?

— Одобряю, одобряю, — захрипел, заперхал рыжий верзила. — Он, окаянный, возлюбим друг дружку, первоначально на митинге говорил... А опосля того, кровь, говорит, за кровь... Вот она какая, язви его, кутья...

— Народ одобряет? — на всю церковь, и в купол, и в стены, прогремел Зыков.

— Одобряем, одобряем... Долой кутью!

Протопоп похолодел. Зыков махнул рукой. Наперсток, раскачивая топор, как кадило, коротконого зашагал к попу.

Весь дрожа и защищаясь руками, тот в ужасе попытлся.

— Погодь, куда!

Вмиг священник растянулся на полу, сверкнул топор, и правая кисть, сжимая пальцы, отлетела. Кто-то захохотал, кто-то сплюнул, кто-то иступленно крикнул.

— Дозволь! — мигнул Наперсток Зыкову и занес над головой священника топор.

— Подними, — приказал Зыков.

— Вставай, язва! — Наперсток, расшарашив кривые ноги, быстро поставил обомлевшего протопопа дубом.

— Стой, не падай.

Из толпы, со смехом:

— Держись, кутья, за бороду!

— Здравствуй, батя... ручку! — сорвался Срамных с места и протянул ему свою лапищу. — Батя, благослови!..

— Ну, эдоровайся, чего ж ты! — прогнусил Наперсток.

А Срамных крикнул:

— Возлюбим друг дружку, батя! — и наотмашь ударил старика по голове.

— Срамных! — и Зыков свирепо топнул.

Пламя свечей колыхалось и чадило, капал воск. Иконостас переливался золотом, и пророки вверху, изогнув шеи, шевелили бегущими ногами.

На паперти хлопали двери. С ружьями входили партизаны, они снимали шапки, крестились, но, оглядевшись, вновь накрывали головы и с сопеньем протискивались вперед. В темном углу молодой парень-партизан снял серебряную лампадку, попробовал на зуб и сунул ее в мешок. Потом перекрестился и встал в стороне, цепко приглядываясь к сияющим образам.

Священник был бледен, глаза его лихорадочно горели, побелевшие губы прыгали от возбуждения. Он не чувствовал никакой боли, но инстинктивно зажал в горсть разруб изувеченной руки. Сквозь крепко сжатые онемевшие пальцы бежала кровь.

— А теперича у нас с тобой, попишка, другой разговор пойдет, — сказал Зыков. — Не зря я тебе оттяпал руку, гонитель веры нашей святой. Знаю вас, знаю ваши поповские доносы... Погромы учинять, народ на народ, как собак, науськивать?!

— По-о-ехал, — недовольно прогнусил Наперсток и поправил на башке остроконечную шапку из собачины.

— Знаешь ли, кто я есть, кутья?

— Злодей ты! Вот ты кто. — Священник рванулся вперед, и густой свирепый плевок шлепнулся Зыкову в ноги.

— Поп!! — И Зыков вздыбил. — Я громом пройду по земле!.. Я всю землю залью поповской!..

— Проклинаю!.. Трижды проклинаю... Анафема! — Священник вскинул руки и затряс ими в воздухе. Из обсеченной руки поливала кровь. — Анафема! Убивай скорей. Убивай!.. — Голос его вдруг ослаб, в груди захрипело, он со стоном медленно опустился на пол. — Больно, больно. Рученька моя...

Зыков приподнялся.

— Зри вторую книгу царств, — торжественно сказал он, шагнул к попу и пнул его ногой. — Чуешь? «И люди сущие в нем положи на пилы». Чуешь, поп: на пилы! «И на тре-

зубы железны и секиры железны, и тако сотвори сынам града нечестивого». Читывал ай не? — Зыков выпрямился и повелительно кивнул: — А ну, ребята, по писанию...

Наперсток пал на колени:

— Эй, подсобляй. Работай!..

Священник распростерся вниз лицом. Длинная пила, как рыбина, заколыхалась и хищно звякнула, рванув одежду на сухой спине старца.

Парень с мешком просунулся было вперед, но вмиг отпрянул прочь и по стенке торопливо к выходу. Весь содрогаясь, он выхватил из мешка трясущимися руками украденную лампадку, сунул ее на окно и покаянно перекрестился. Ему вдруг показалось, что пила врезывается зубами в его тело, от резкой боли он весь переломился, обхватил руками живот и с полумертвым диким взглядом выбежал на улицу.

— Следующего сюда! — приказал Зыков и опустился на парчовую подушку.

У сухого, лысого, в рясе человека со страху отнялись ноги. Его приволокли. Он повалился перед Зыковым и, ударя лбом в половицы, выл.

— Кто ты?

— Дьякон, батюшка, дьякон... Спаси, помилуй!..

— Какой церкви?

— Богоявленской, батюшка, Богоявленской... Начальник ты наш...

— Народ не обижал?

— Никак нет... Опросите любого... Я человек маленький, подначальный.

— Вздернуть на колокольне. Следующего сюда!..

Дьякона поволокли вон и на смену притащили толстого рыжего попа.

— Этот — самая дрянь, погромщик, — сказал Срамных.

— Чалпан долой!

Наперсток намотал на левую руку поповскую косу и, крикнув, оттяпал голову.

— Следующий! — мотнул бородою Зыков.

ГЛАВА IX

Солнце село за побуревшей цепью каменных отрогов. Над городом кровянилось в небе облако и наплывал голубой вечерний час. Виселица и трупы на ней молча грозили городу.

Наперсток вышел последним.

— Ишь ты, принародно судить желает, сволочь... — бормотал он самому себе. — А по мне наплевать... Только бы топору жратва была.

Душа его набухла кровью, и взмокшие от крови валенки печатали по голубоватому снегу темные следы. Пошатываясь, он враскорячку нес свой искривленный горб, и звериный взгляд его — взгляд рыси, упившейся кровью до бешенства.

Через площадь, молча и бесцельно, двигаются конные, пешие партизаны, беднота.

Виселица замахнулась на всех. В пролетах колоколен, в воротах церковных оград тоже висят свежие трупы.

Три всадника на трех веревках водят по улицам коменданта крепости и двух польских офицеров. Средний всадник — Андрон Ерданский. На конце его веревки штаб-ротмистр пан Палацкий. Когда всадники едут рысью, пану очень трудно поспевать, он падает и, взрывая снег, с проклятиями волочитя по дороге, как куль сена. Бегущие сзади толпой мальчишки смеются, кричат, швыряют застывшим конским калом. Прохожие останавливаются, из калиток выглядывают головы в платочках, в шапках и, как по приказу, деланно хохочут.

Черноусое лицо Андрона Ерданского болезненно-скорбно, озноб трясет его, и голова горит — бросить бы аркан, удариться бы в переулок и спать, спать... Но задний всадник не спускает с него глаз.

Весь город в красных флагах, — купеческого кумачу Зыков не жалел. Флаги густо облепили дом купца Шитикова, и на балконе огромное, красное, выдавшее виды знамя: *«Эй, все к Зыкову, Зыков за простой люд. Айда»*.

Гараська с Куприяном украли утром в пасеке корчагу рассыпчатого меду.

— Надо водой развести, по крайности, похлебаем. Наверде пива, — сказал Гараська.

Он вывалил в пустую шайку мед и опружил туда два ведра воды из колодца.

— Что ты, толсто рыло, делаешь!.. Пошто добро-то портишь? — выхватила у него ведро прибежавшая с рынка Настасья. В руке у нее только что полученные подарки: женская кофта, шаль, пимы. — Выливай вон. Надо кипятком... Ужо я брагу вам сварю...

Она вбжала в домишко и запорхала взад-вперед как угорелая. За ночь ее лицо осунулось, и голубые глаза были в темных, бессонных тенях.

Гараська взял винтовку и пошел на улицу.
— Эх, когда же по-настоящему гулевать-то станем...

Темнело, на блеклом небе бледными точками разбросались звезды.

Возле дома Шитикова горели костры, толпились люди. Гараська направился к толпе, напряженно стоявшей у пылавшего костра. И когда он пробирався вперед, взмахнул широкий топор Наперстка, сталь хряснула, покати-лась голова.

А какая-то румяная в красном платочке тетя сладострастно взвизгнула, нырнула в толпу, но опять вылезла и оставилась разгоревшимися глазами на окровавленный топор.

И вновь темная лапа выхватила трясущегося, в серой поддевке старика.

— Зыков, спаси... Зыков, помилуй... Все возьми...— монотонно, как долгий стон, и очень жалобно молил он, упав на колени и подняв взгляд к балкону.

Но руки вцепились в него, как клещи, блеснул топор. Красноголовая тетя взвизгнула, нырнула в толпу, однако любопытство взяло верх — снова вылезла. Она проделала так вот уже двадцать раз, два воза трупов лежали на саях, и плаха покривилась: от обильной крови под ней подтаял снег. В толпе приговоренных, оцепленных стражей людей все время раздавались плач, стон, вопли.

Гараська как во сне. Он только теперь вспомнил про Зыкова и перевел взгляд вверх: на возвышенном балконе стоял в черной поддевке, в красном кушаке, рыжей шапке, чернобородый, саженого роста великан.

Наперсток гекнул: «Гек!» — и вся толпа гекнула, — топор хряснул, покати-лась голова.

— Злодий! злодий!.. — болезненно выкрикнул Андрон Ерданский и заметался по балкону. Ему вдруг захотелось броситься на горбуна и вгрызться зубами в горло. — Пан, пусти. Дуже неможется...

Возле Зыкова стояли люди. Срамных, Андрон Ерданский и другие, еще два парня с винтовками — стража.

— Веди сюда! — крикнул Зыков.

И к балкону подтащили коменданта крепости, поручика Сафьянова.

Лицо Зыкова в напряженном каменном спокойствии, он собрал в себе всю силу, чтоб не поддаться слабости, но пролитая кровь уже начала томить его. Наперсток по-

дошел и ждал. Зыков с гадливостью взглянул в сумасшедшие, вывороченные, с красными веками глаза каторжника...

— Довольно крови!..— прозвучало из тьмы в толпе.

И в другом месте далеко:

— Довольно крови!

Плач, стон, вопли среди приговоренных стали отчаянней, крепче.

— Пане... Змилуйся!..— и Андрон Ерданский повалился в ноги к Зыкову.— Ой, крив, крив...

Тот быстро вошел через открытые двери в дом, жадно выпил третий стакан вина, отер рукавом усы и на мгновение задумался.

— Господи боже, укрепи длань карающую,— промолвил он, крепко крестясь двуперстием, и вновь вышел к народу, весь из чугуна.

— Судьи правильные, рать моя и весь всечестный люд! — зычно прорезало всю площадь.

Гараська глуповато разинул рот и огляделся. Направо от него, на двух длинных бревнах, сидели судьи: бородастые мужики, молодежь, горожане и три солдата-колчаковца.

— Отпустить коменданта, ненавистного врага нашего, или казнить?

— Казнить!.. Казнить!! — закричали голоса.— Чего, Зыков, спрашиваешь, сам знаешь...

— Казнить!.. Он нас поборами замучил... Окопы то и дело рой ему. Дрова поставляй... Трех солдат повесил... Девушке одной брюхо сделал... Удавилась... Они, эти офицеришки-то с Колчаком, царя хотят!

— Вздор, вздор! Не слушайте, товарищ Зыков!..— Поручик Сафьянов, комендант, был с рыженькими бачками, с редкими волосами на непокрытой голове, в офицерской, с золотыми погонами, растерзанной шинели. Он весь дрожал, то скрючиваясь, то выпрямляясь по-военному, во фронт.— Дайте мне слово сказать... Прошу слова!

— Ну?!

— Я принимал присягу. Служил верой и правдой...— Голос офицера был то глух и невнятен, то звенел отчаянием.— А теперь я верю в вашу силу, товарищ Зыков... Я прозрел...

— Отрекаешься?

— Отрекаюсь, товарищ Зыков.

— Может, ко мне желаешь передаться?

— Желая, от всей души... верой и правдой вашему

партизанскому отряду послужить... Я всегда, товарищ Зыков, я и раньше восхищался...

— Тьфу! Гадина...— плюнул Зыков и подал знак Наперстку, но тотчас же крикнул: — Стой! — уцепился руками за балконную решетку, и его медный голос загудел по площади.— Эй, слушай все!.. Зыков говорит... Власть моя тверда, как скала, и кровава во имя божие. Где проходит Зыков, там — смерть народным врагам. Нога его топчет всех змей. Долой попов! Они заперли правую веру от народа, царям продались. Новую веру от антихриста царя Петра, от нечестивца Никона народу подсунили, а правую нашу веру загнали в леса, в скиты, в камень... Смерть попам, смерть чиновникам, купцам, разному начальству. Пускай одна голь-беднота остается. Трудись, беднота, гуляй, беднота, царствуй, беднота!.. Зыков за вас. Эй, Наперсток, руби барину башку!

Но вдруг с зыковского балкона грянул выстрел. Наперсток схватился за шапку, любопытная тетя взмахнула руками, навеки нырнула красным платком в толпу.

Судьи мигом с бревен к террасе:

— Не тебя ли, Зыков? Кто это?

Подбежал и Наперсток с топором:

— В меня, в меня стрелил... в шапку!..

На полу, у ног Зыкова, катались клубком Андрон Ерданский и обезоруженный им парень-часовой.

— Отдай! Добром отдай! — вырывал свою винтовку парень.

Безумный Ерданский грыз парню руки, стараясь еще раз выстрелить в толпу, в Наперстка-палача. Все люди казались ему проклятыми горбунами, измазанными кровью уродами, всюду блестели топоры, и, как птицы, табунились отрубленные головы.

— Эх, тварь!.. Не мог кого следует убить-то! — И молниеносный взор Зыкова скользнул от неостывшей винтовки к вспотевшему лбу Наперстка.— Мало ж ты погулял, щенок...— Он приподнял Ерданского за шиворот и, перебросив через перила, сказал: — Вздернуть!

Но Наперсток, рыча и взлаивая, стал кромсать его топором.

— Милиционеров убивают! — кричала на бегу толпа ребятишек.

Возле здания суда огненным ворохом горел архив. Пропахшие плесенью, обгаженные мышами бумаги и дела сгорали неохотно.

— Айда, робенки, карасину... Ну, живей!

И в ленивое пламя бросили двух колчаковских милицейских. Они были полумертвые, истерзанные и не кричали.

— Придерживай! А то соскочут... Ишь, корчатся. Легче, легче, не проткни!.. Пускай живьем... Вот так.

В десять рук — штыками, вилами, загоравшимися жердями — прижали милицейских, как налимов острой.

— Лей, не жалей... Вали-и-и!.. — и керосин, воспламеняясь в воздухе, фукнул в оживший костер.

Работая плечом, локтями, Гараська протискался вперед.

Его глаза наполнились удивленным ужасом: два рослых человека на костре в медленной корче втягивали в себя ноги, руки, головы и на глазах толпы превращались в два дымившихся небольших обрубка..

— Ой ты... — зашептались ребятишки. — Глянь, глянь, маленькие какие сделались...

Широконосый, с быстрыми черными глазами мальчик вдруг перекрестился и заплакал.

Толпа ревела пьяным ревом, приправленным свистом, матерщиной, безумным хохотом. Гараськино лицо задрожало, нос смок, подступали слезы. Но что-то хрустнуло в его душе, Гараська тоже заржал вместе с толпой, подскочил к костру и поддел рваным сапогом, как лопатой, горящий ворох.

ГЛАВА X

— Мужики! Зыков город грабит, а вы, гладкорожие, все возле баб да на печи валяетесь! — еще с утра корили бабы своих мужей в ближней деревне, Сазонихе.

И в другой деревне, Крутых Ярах, колченогий бездельник, снохач Охарчин, переходя из избы в избу, мутит народ:

— Айда, паря! Закладывай, благословясь, кошевки... Зыков в городе орудувает... Знай, подхватывай!

И в третьей деревне бывший вахмистр царской службы Алехин, сбежавший из колчаковской армии, говорил крестьянам:

— Нет, братцы, довольно. Кто самосильный — айда к Зыкову!.. Народищу у него, как грязи. Вон, поспрошайте-ка: в лесу, при дороге, его бекетчики стоят. Поди, мне какой-никакой отрядишка доверит же он. Пускай-ка тогда

колчаковская шпана, пятнай их в сердце, грабить нас придет, али нагайками...

И на многочисленных заимках зашевелился сибирский люд.

Это было утром.

А теперь, когда луна взошла, и Гараська с ватагой рыщут по улицам...

Взошла луна — и городок опять заголубел.

Где-то далеко, на окраинах, постукивали выстрелы. Зыков с балкона слышит, Зыков отлично знает, что это за выстрелы, и спокойно продолжает дело.

Настасье хочется на углу погулять, но у ней ключом кипит брага, топится печь, она одна.

И отец Петр вместе с другими мужиками подошел к костру, там, на окраине. Он переоделся, как мужик: пимы, барловая, вверх шерстью, яга, мохнатая, с ушами шапка.

Счастливый отец Петр-мужик!

В голубом тумане, на реке, по утыканной вешками дороге чернели крестьянские подводы.

— Допустите, кормильцы... Чего ж вы?

— Нельзя, нельзя! Поворачивай назад!

Пять партизан загородили им дорогу.

— Допустите, хрещенные... Мне хошь пешочком...— мужичьим голосом стал просить отец Петр-мужик.

— Здря, что ли, мы эстолько верст перлись... Сами-то, небось, грабите, а нам так...— сгрудились, запыхтели мужики.— Пусти добром!— У кого нож в руках, у кого топор.

Пять партизанских самопалов грохнули в небо залп. Мужики самокатом по откосу — к лошадям.

К противоположному концу городка другая дорога прибежала с гор. Там тоже стоял обоз, рвались в город мужики. И колченогий снохач Охарчин тоже здесь:

— Достаток у нас малой. Толкач навовся разорил... Желательно купечество пощупать.

Залп в воздух. Но не все крестьяне убежали. Осталось с десяток «вершних», на конях.

Вахмистр царской службы Алехин подъехал к самому костру. Низенькая и толстобокая, как бочка, кобыленка его заржала.

— Мне к хозяину лично,— сказал он,— к Зыкову.

— По какому экстренному случаю?— спросил партизан, тоже бывший вахмистр. Из башлыка торчала вся в ледяных сосульках борода и нос.

— Вот товарищей привел... Желательно влиться в ваш отряд,— сказал Алехин.— Завтра еще подъедут.

— Езжай один. Скажешь, что Кравчук впустил. А вы оставайтесь до распоряженья. Слезайте с коней... Табачок, кавалеры, есть?

Еще где-то погромыхивали выстрелы, то здесь, то там, близко и подальше. Зыков знает, что это за выстрелы: разезды расстреливают на месте грабителей и хулиганов.

Но Гараська хитрый: Гараська смыслит, в какие лазы надо пролезать. Мешок его набит всяким добром туго, по карманам, за пазухой, под шапкой — везде добро. И ружьишко на веревке трясется за плечом как ненужный груз.

Он идет задами, огородами, по пояс пурхаясь в сугробах:

— Отворяй, распроязви!.. С обыском!— и грохает прикладом в дверь.

Генеральша старая. Гараська выстрелил в потолок, взломал сундук. Эх, добра-то!

Гараська ткнул в мешок отрез сукна — не лезет. Выбросил из мешка чугунную латку, а вот как жаль: хорошая, выбросил медную кастрюлю, опять туго набил мешок.

На столе фигурчатая из фарфора с бронзой лампа.

— Такие лампы я уважаю,— пробурчал Гараська.— О, язви те! Стеклянная,— и грохнул в пол.

В доме было тихо. Лишь из соседней комнаты прорывались истерические повизгиванья. Гараська сгреб стул и ударил в шкаф с посудой. Движенья его неуклюжи, но порывисты и озорны.

На шкафу большой, круглый пирог с вареньем. Гараська отхватил лапами кусок и затолкнул в рот. «Эх, хорош самоварчик, аккуратный,— пристреливался Гараська глазом.— Не унести... Другой раз... А сгодился бы... Черта с два, чтоб я стал Зыкову служить... Нашел Ваньку. Приду домой, оженюсь, богато заживу». Жрал, перхал, давился, вытягивая шею, как ворона. «Эх, недосуг». Он поставил блюдо с пирогом на пол, расстегнулся, присел и, гогоча, напакостил, как животное, в самую серединку пирога.

Костры возле Шитикова дома горят ярко,— охалками швыряют в них дрова,— пламя лопочет, колышется, вплетаясь в голубую ночь.

— Вот ты, Зыков, наших попов кончил, другие — которые хорошие... Это не дело, Зыков. А самую сволоту оставил! — кричали в толпе.

— Кого? — спросил тот.

— Отца Петра. Самый попишка жидомор..

И в разных местах:

— Нету его! Нету, уж бегали... Третьеводнись на потребу уехал.

— На кого еще можете указать? — крикнул Зыков. — Не было ли обид от кого?

Народ только этого и ждал. Как ушат помой — доносы, клеюзы, предательство. Из домов и домишек выхватывались люди. Звериное судьбище, плевки, матерщина, крики, гвалт. Петька Руль у Пахомова в третьем году хомут украл, Иванов о пасхе жену Степанова гулящей девкой обложил, тот колчаковцам лесу для виселиц дарма возил, этот худым словом Зыкова облаял.

— Врешь, паскуда, врешь!.. Ты мне два ста должен. Смерть накликаешь на меня?! Дешево хочешь отделаться, варнак. Да ты за грудки-то не хватай, жиган такой! А не ты ли в зыковских солдат выстрел дал? Ну-те-ка, опросите Лукерью Хвастунову...

— Эй, Лукерья!.. Где она? Бегите за Лукерьей Хвастуновой.

— Здесь она... Лукерья, толкуй!

Гвалт, крики, слезы, ругань. Ничего не пившая толпа была пьяна. Мещане, мастеровые, гольтепа — все распоясались, у всех закачался рассудок.

Наперсток пощупал ногтем, не затупился ли топор. Выстрелы, костры, кровь, где-то ревели хором хмельную песню, и на площади — как в кабаке, кровавый хмель.

— Чиновник Артамонов ты будешь?

Федор Петрович подытоживал на счетах ведомость, все не выходило, врал. Поднял голову. У двери стоял Вася, а перед Федором Петровичем — солдат и бородач.

— Зыков приказал тебе прийти к нему.

— Зачем это? — Его лысый череп, лицо и комната были зелены. Зеленый колпак на лампе дребезжал, и прыгали орластые пуговицы на потертом вицмундире.

— Зачем?

— Неизвестно. Велено.

Артамонов, облокотившись на стол, дрожал крупной дрожью, «Знаю зачем. Убить».

— Пошлите его к черту! — крикнул он, и словно не он крикнул, а кто-то сидевший в нем. — Мне некогда. Ведомость... Я в политике не замешан, колчаковцам и разной твари пятки не лижу... А ежели надо, пускай сам сюда идет...

— Ну, смотри, ваше благородье.

— К черту!..

Оба повернулись и, хихикая, вышли вон. Погоня коня, бородач сквозь смех говорил солдату:

— Что-то Зыков скажет? Антиресно...

Зыков удивился:

— Ну? Неужто так-таки к черту и послал? — нахмурил лоб, подумал и сказал, улыбаясь: — Молодец. Не трогать.

— Он хороший человек!.. Спасибо! Не трог его... Только выпить любит... — кричали в толпе.

Зыкову наскучило, ушел в дом, хватил вина и устало повалился на диван.

— Аж голова во круги идет... Фу-у-у..

— Фу-у-у, язви тя! Видала, Настюха, что добра-то? — ввалился потный, весь в снегу, запыхавшийся Гараська. — В деревне сгодится... Женюсь... Думаешь, Зыкову буду служить? Хы, нашел Ваньку. Ну, и натешился я... Только женки все сухопарые подвертывались, а я уважаю толстомясых... Ого, бражка! Давай, давай... А где же наши? — Гараська выхлестал два ковша браги, спрятал под лавку мешок. — Ежели хошь иголка пропадет, убью... — взял другой мешок, пустой, пошлепал Настасью по заду и удрал.

Кой-где, по улицам, по переулкам, возле домов и домишек, с выбитыми стеклами, валялись не то пьяные, не то расстрелянные солдаты, выпущенные из острогов в серых бушлатах арестанты и прочий сброд. Улицы безлюдны, разездов не попадалось, с площади доносился неясный гул.

Зыков задремал.

А внизу Мавра, повар и приказчики пекли блины. Блинов целая гора. Блинный дух повис над площадью, над долиной реки, над темным лесом.

А там, за лесистыми горами, в недоступных взору горизонтах, притаились села, города, столицы, белые и красные. На восток, по стальным, бездушным лентам, спешат грохочущие поезда, набитые вшивым тифом, страхом, отчаянием. Это люди бегут от людей же, бегут, как звери, по узкой звериной тропе вражды. И, как звери, они без-

жалостны, трусливы и жестоки. Люди, как звери, одни бегут, другие нагоняют. Вот настигли. Горе, горе слепому человеку! Даже луна в звездных небесах грустно скосила глаза свои на землю, а над всей землей стояла голубая ночь. Над землей стояла ночь, но красные знамена приближались.

Гараська поднялся по лестнице и твердо ударил прикладом в дверь.

— Кто тут?

— Свои.

Гараська выбросил Васютку на крыльцо и запер двери.

— Товарищ, вам кого?.. Мы ж бедные... Товарищ!..— схватившись за сердце и пятясь, вся задрожала Марина Львовна.

— Гы-гы... Тебя, толстущечка, тебя!..— Гараська бросил мешок, сорвал с своих вздыбившихся плеч полушубок.— Такая нам давно желательна... Ложись, а то убью.

Гараська сразу оглох от резкого крика попадьи.

Вихрем влетел снизу Федор Петрович:

— Это что? Вот я тебя сейчас из револьвера, черт! Ах ты!!

Гараська грохнул его на пол, дакнул за горло и орангутангом бросился на попадью, с треском и гогомом разрывая ей одежду:

— Титьки-та... Титьки-та!..

ГЛАВА XI

Блины готовы, топор ослаб, и кровь на площади оставилась.

Всех недобитых отвели в деревянную церковь и заперли под караул. Зыков знает, как с ними рассчитаться.

А возле шитиковских хором затевается штука, ой, да и занятная история!

Перед самой террасой очистили от народа площадь. Караульщик в двух тулупах пришел с лопатой, но толпа так утоптала снег, что гладко. Ковер за ковром тащат подвыпившие партизаны и кладут на снег рядами, плотно, ковер к коврику. Выносят мебель. Вот выплыла на террасу из распахнутых дверей, как ладья из ущелья, черная грудь рояля.

— Сады! Тащи сады! — командует Срамных.

Шитиковский дом богатый, первый дом, и «садов» в этом доме много. Пальмы, фикусы, пахучие туи выкатывались в кадучках на мороз и выстраивались в ряд по грани дорогих ковров.

Шитиковский дом самый богатый, но, пожалуй, и перепреувский дом ему под статью.

— Тпру! — чернородый чугунный Зыков соскочил с черного коня и бросил поводья стоявшей страже.

В широкую спину его поглядели большие желтые глаза, и один бородач сказал другому:

— Видно, сам прикончить пожелал.

Зыков вошел в перепреувские покои, как в свой дом, один.

Федор Петрович пошевелился и застонал. Гараська наскоро выпил второй стакан водки и вильнул в его сторону мокрым глазом:

— Вот что, попадья,— прогнусил он Марине Львовне, растрепанно сидевшей на полу.— По присяге я тебя должен чичас зарезать, язви те... Потому как всей кутье се-ким-башка...

Матушка захлюпала и замолилась.

— Не вой,— и Гараська улыбулся. Его глаза и улыбка были слюнявые и липкие, как грязь.— Потому как ты очень примечательна, я тебя не потрогаю... А надевай ты, матка, штаны, шапку да тулуп и беги скорей к знакомым... А то придут наши, смерть... Ох, и скусна ты, матка, язви те...

Огарок на столе чадил, Гараськина головастая тень пьяно елозила по беленым стенам, в окно косо смотрела луна, а под луной, по улицам разъезжали партизаны: пикульщики пикали на пикульках, дудильщики дудили в дуды, бил барабан, и раздавались крики:

Эй, попы, купцы, дворяне,
Чиновники и поселяне,
И вы все, мелкие людишки;
Пескари, караси, ершишки!..
Зыков всех зовет на блины-ы!..
Представленье смотреть, веселиться.
Всем чертям молиться...
На блин-ы-ы!..

И под луной же, там, на крепостном валу, искусник-пушкарь Миклухин задувает в пушку тугой заряд. А Настя управилась с делами, обрядилась во все новое и, беспечально поскрипывая по снегу новыми полусапожками, шла под луной на пикульи голоса и крик.

Может быть, от этого крика или потому, что в комнату вдруг вошел огромного роста человек, Таня вскочила с дивана, оторвав от заплаканных глаз платок.

— Мне не по нраву, когда в горнице темно... Дайте огня.

Таня бросилась в ближайшую дверь, и, переполошенный, вамирал-удалаялся ее голос:

— Зыков, Зыков...

Огня не подавали. Он твердо пошел вслед за Таней. В крайней, ярко освещенной комнате, сбившись в кучу у стены, тряслись три женщины. Когда Зыков вошел, они подняли визг и заметались.

Таня с криком вскочила на кровать и, схватив подушку, прижалась с нею в угол.

В этот миг ахнула с крепости пушка. Дом вздрогнул, а Настасья сунулась носом в снег и захохотала. Гараська бежал огородами с тугим мешком домой. Тоже упал, поднялся и пьяно проговорил:

— Ух, язви те!.. Как подходяво вдарило...

— Я все купецкие семейства убиваю. Вам же бояться нечего... Это говорю я, Зыков. Ребята караулят ваш дом надежные... Не пужайтесь,— и он кивнул головой на девушку.— Молите бога вот за нее, за эту.

У Тани вдруг расширились глаза, от страха или от чего другого, и тонкие губы раскрылись.

— Танюха, поди сюда! Брось подушку.

— Зыков, отец родной... Ой, голубчик...— и мать упала на колени.

Он сдвинул брови и упер железный взгляд в большие остановившиеся глаза девушки:

— Ну!

Татьяна есскользнула на пол и послушно стала подходить к нему, высокая, упругая, не понимая сама, что с ней. Он шагнул навстречу и грузной рукой погладил ей голову. Черные девичьи косы туго падали на спину, и Зыкову показалось, что все лицо ее — два больших серых глаза под пушистыми бровями и маленький алый рот.

— Вот к разбойнику подошла... Вся в черном, как черничка...— ласково сказал он.

Девушка крикнула:

— Ах! — внезапно вскинула руки на плечи Зыкова и застонала: — Ой-ой, зачем вы папочку убили?.. Папочку...

— Так надо,— сказал он, тяжело задышав, и подхватил повалившуюся на пол девушку.— Ну, зашла, сердешная...

У Тани глаза закрыты, улыбка на побелевшем лице и скорбь. Понес ее на кровать. Руки девушки повисли, как у мертвой, и повисли две черные косы ее.

Когда нес, мать и Верочка бросились к Тане. Верочка затряслась, затопала, отталкивая его кулаками:

— Уходи, убийца!.. Прочь!.. Ты папашеньку убил... За что?.. Он хороший был... Он честный был... А ты дрянь, мерзавец!..— и злобная слюна летела во все стороны.

Он выхватил из графина пробку, быстро смочил водой полотенце и обмотал им голову девушки. Таня открыла глаза.

— Испужалась? А ты не бойся,— сказал он, улыбаясь.— Эх ты, дочурка... А я в гости тебя звать пришел, на гулевань... Чу!

Опять грохнула пушка.

— Ну, отлеживайся... Ужинать к тебе приду...— Он взглянул на свои часы.— Ого, первый. Ну, не бойтесь. Будете целы.

Снег взвивался из-под копыт его лошади, а там, на окраинах, снег мирно блестел, и в окна домов и домишек была луна.

В лунном свете и свете огарка, как лунатик, поднялся с полу Федор Петрович. Сипло закашлялся, покосился на какого-то человека в тулупе и шапке, хотел крикнуть, хотел выгнать вон, но, повертывая посиневшую, больную шею, робко и крадучись стал спускаться вниз к себе.

Незнакомый дядя в тулупе и шапке торопливо выгребал все ценное из комодов, сундуков, ларчиков и вязал в большой узел, в простыню.

Это была матушка, Марина Львовна, попадья.

Зыков захохотал.

Перед ним, на улице возле шитиковского дома, за огромным столом, на мягких шелковых креслах, сидели гости: купечество, бары, белая кость. Наряд их богат и пышен. Шляпки — чудо: с перьями, с птичками, с цветами — одни нахлобучены каравайчиками до самых до бровей, другие прилепились на затылке. У носатой дамы, что в середине с веером, шляпа подвязана атласной лентой, лента процвела сиренью по ушам, по волосатым скулам, и под огромной желтой, как сноп, бородицей — великолепный бант. Дамы донельзя напудрены и нарумянены, но многие из них страшно бородаты, и на лицах свободного от шерсти места почти нет — белеют и краснеют лишь

носы и лбы. Груды у дам, как у кормилиц. Купчиха Шитикова, чьи наряды красовались на гостях, была женщина тучная, крупная: гостям как раз, только у троих лопнули кофты.

Пегобородый Помазков с огромным турнюром и в кружевном белоснежном чепчике, толстозадый Опарчук в бабушкиной рубахе, очках и красной шляпе, а Митька Жаба в одних панталонах с кружевами и корсете. Курмы, душегреи, капоты, холодаи горят разными цветами. Дамы разговаривают очень тонкими голосами, курят трубки, сипло отхаркиваясь и сплевывая через плечо. Мужчины в сюртуках, пиджаках, поддевках, халатах.

Зыков смеялся, всматривался из-под ладони в лица, с трудом узнавал своих.

— Залазь, Зыков, гостем будешь!

Сразу же после третьей пушки в соборе и других церквях ударил малиновый пасхальный трезвон. Толпа горожан, что густо окружала ковровую площадку с маскарадом, враз повернула головы.

А трезвон летел в ночи, веселый и нарядный, гулко бухали тяжелые колокола, и в трезвоне, в лунном свете чинно двигался из собора крестный ход. Где-то там, все приближаясь, колыхались церковные напевы, и следом в разноголосицу звенело звонкое «ура» ребятишек.

Толпа расступилась, изумленно разинула рты, пропуская незнакомое духовенство. Ирмосы священники пели в двадцать ядреных голосов, многие из граждан сдернули шапки, закрестились, но, прислушавшись к словам распевов, раскатисто захохотали и напялили шапки до самых переносиц, а некоторые с плевками и руганью пошли прочь.

Лишь только духовенство, сияя ризами, вступило на ковры, гости бросились под благословение к долгобородому архиерею. Тот благословлял всех наотмашь, приговаривая:

— Изрядно хорошо,— и совал для лобызанья кукиш.

Возле архиерея лебезили, потирая руки и кланяясь в пояс, осанистый купец в енотке и его жена, долгобородая купчиха со шлейфом и под зонтиком — хозяйева.

— Пожалуйте, ваше первосвященство, к самоварчику. Отцы крутопопы, отцы дьяволы... Ваши окаянства! Милости просим от трудов наших праведных...

Когда архиерей, благословив блины и питье, стал садиться, из-под него выдернули стул. Митра покатилась,

архиерей кувырнулся, задрал вверх ноги, и заругался матерно.

Настя смеялась, колокола трезвонили вовсю, огромные костры весело пылали, распространяя тепло и свет, а трупы удушенных смотрели с виселиц обледенелыми глазами.

Настя побежала домой — не ограбили бы хулиганы, — а когда вернулась — горы блинов были съедены, вино выпито, и вынесенная на улицу купеческая гостиная, вся в цветах, коврах, мебели, оглашалась дружным ревом: духовенство соборне служило молебен.

На рояле стояло кресло, в кресле, изображая новоявленного чудотворца, высоко восседал в ризах пьяный поп, державший под пазухой четверть водки. Лохматый протодьякон выхватил изо рта трубку и по-медвежьи взвыл:

— Завойка-а глас шести-ы-ый!..

Архиерей, воздев руки и с трепетом взирая на сидящего в кресле угодника, елейно залился:

— Преподобный отче попче, угости винишком на-а-а-с!..

Четыре дьякона возжженными кадильницами чинно кадили угоднику, гостям, толпе зевак. Гости крестились кукишами, некоторые стояли на коленях, в толпе плевались, слышались недружелюбные выкрики и ругань.

Но все это тонуло в ответном благочестивом реве глоток:

— Преподобный отче попче, угости винишком на-а-а-с!..

Срамных сидел за роялем, как лесовик, он со всей силы брякал в клавиши двумя пятернями враз и дико орал какую-то разбойничью. Рояль гудел и грохотал, дико ревели гости, а кадильницы, мерно позвякивая, курили фиам.

Насте хотелось хохотать и оскорбленно плакать.

— Проклятые!.. Чтоб вас громом разразило... — сквозь слезы твердила она и заливалась хохотом.

В стороне за столом, совершенно один, всеми забытый и все забывший, сидел, пригорюнившись, Зыков. Он подпер голову рукой и о чем-то думал.

Настя хотела идти домой, но в это время:

— Благочестивые братие и сестры! — козлом проблеял архиерей и замахал руками. — По синодскому приказу сейчас начнется кандибобер!..

Он круто повернулся, поправил митру:

— Работай!..

И все духовенство — скуфьи, камилавки, парчовые ри-

зы — с азартом, разом накинлось на бородатых купчих. Купчихи, разыгрывая роль, визгливо кричали, бегали вокруг столов, опрокидывали стулья. Попы сладострастно схватывали их, валили на диван, кровати, ковры и при всем народе делали вид свального греха.

Тогда сам Зыков плюнул, встал:

— Довольно!!

Все быстро прекратилось. Только вблизи и подальше озлобленный гудел народ.

И в общем гуле колюче вырывалось:

— Святые иконы! Архиереев!.. Попов! Церкви!.. Тьфу! И не стыдно, Зыков?!

А из толпы выделился сгробленный, в измызганной нагольной шубе человек, тот самый чахоточный мастеровой, портняга.

Он остановился перед чугунным великаном, как пред кедром сухая жердь.

— Анафема ты, Зыков! Чума ты!.. Холера ты!.. — сквозь кашель скрипнул он надтреснуто и звонко, втянутые щеки вспыхнули румянцем, воспаленные глаза, сверкая, прыгали.

Две равных и неравных силы, взаимно истребляя себя огнем, грозно стояли друг против друга, как две скалы враждебных берегов.

— В чем дело? — с наружным спокойствием, смутившись, спросил Зыков.

— Как, в чем дело?! — и палка человека с гневом ударила в ковер. — Зачем ты сюда пришел? Грабить, убивать да жечь?

Толпа ответно зашумела, пыхтящей волной вкатилась на ковры, кой-кто из партизан опасливо схватились за винтовки, и сквозь шум сухая жердина больно секла чугунный кедр:

— Нешто за этим тебя, убивца, звали? Все испугались, все присмирели, а вот я не боюсь тебя, черта... Руби, бросай в костер! Мне все равно подыхать скоро. А правду я тебе, сатане, скажу... Прямо в твои бельма бесстыжие... Нна!

— Чего зря ума бормочешь?.. Чего ты смыслишь?..

— Молчи, убивец, сатана! Какой ты, к чертям, правитель?.. Живорез ты... Погляди, что делают разбойники твои: грабят, увечат народ. Эвот винный склад разбивают да водку жрут.

— Ка-ак?! — и у Зыкова запрыгали щеки.

— А тебя лают как собаку... Пра-а-а-авитель!..

Зыков крикнул и утер полой взмокшее лицо.

— Это Наперсток мутит,— сказал Срамных.— Под тебя подковыривается.

— Знаю,— ответил тот и грозно зарычал:— Эй, горнист!.. Играй тревогу, сбор!.. Я им покажу, какой я есть правитель.

Гараська с тугим мешком ходко бежал прямо по дороге, за ним с руганью гнался косматый шерстобит, за шерстобитом — его дочь, девушка, крича и плача. У шерстобита в руках здоровый кол, и бежит он по морозу в одной рубахе и без шапки.

— Убью дьявола, убью!..

Гараська бросил мешок и, подобрав полы, помчался, как наскипидаренная лошадь.

В это время, словно медный бич, резко стегнул над городом медный стон трубы.

— Язви те! Вот так раз... Тревога!..— задыхаясь, крикнул Гараська и приурезал к площади.

По переулкам, из дворов, с реки бежали, скакали на конях партизаны.

— Айда скорей!.. Тревога...— перекидывались выкрики.

Одни сидели в седлах бодро, прямо, другие слегка мотались от подпития, третьи загребали ухом снег.

Труба сзывала, тревожно летели звуки, и навстречу звукам...

— Товарищ Зыков!.. Я здесь, прибег...— Гараська кинулся к толпе, где строились широким кругом партизаны.

А перед Зыковым бросилась на колени растрепанная девушка.

— Заступись!.. Твой парень... ой, батюшки...

Молодое лицо ее рдело, волосы рассыпались по вспотевшему лбу, и глаза металась, как птицы в силке.

— Дочь моя... Дочь... варнак хотел изнасиловать,— потрясая колом, орал лохматый шерстобит.— Поддай его, убью!

Зыков быстро поднял женщину.

— Спасибо, что доверилась Зыкову,— сказал он.— Зыков защиту даст... Вот, ищи... Все мои ребята здесь. Только, девка, смотри: ежели не сыщешь — вздерну. Знай! — и, погрозив безменом, он пошел по кругу вместе с ней.

— Вот он, вот! — ткнула она в Гараську и в страхе схватилась за Зыкова.

Гараська побелел и забожился.

— Стервец! — крикнул Зыков, сразу поверив девушке.

Гараська бросился на колени, но безмен взмахнул, и занесенную руку Зыкова не остановишь.

И уже Зыков на коне. Конь скачет, пляшет, из ноздрей дым, из-под копыт — пламя, из-за крыш, и здесь, и там, тоже вдруг вырвались дым и пламя.

— Пожар! Пожар!..

Это загорелись три церкви. По приказу Зыкова церкви с обеда были набиты соломой и дровами.

— Пожар, пожар!..— зеваки-горожане бросились туда.

Четвертая церковь деревянная. Еще маленько, и она выплывает ярче всех. В ней пятьдесят три человека крамольных горожан ждут своего конца. Они все связаны общей веревкой.

А в алтаре, на ободранном грабительской рукой престоле, лежали прикрученные арканом богачи Акуловы: муж, жена и дети. Муж, маленького роста, бородатый человек, шептал молитвы и мысленно клал кресты туго привязанной рукой. Он был в религиозном исступлении, дрожавшее желтое лицо его сияло, взор устремлен на лик Христа в незримое Христово царство, где он чаял получить венец мученика. Он ждал смерти в радостном терпении. Его жена, большая и тучная, лежала лицом вверх на престоле, с угла на угол. Рыжеволосая, с густыми растрепанными косами голова ее, запрокинувшись, свесилась с престола, и веснушчатое, окаменевшее лицо набухло кровью. Одна нога — в шелковом чулке и лакированном ботинке с высоким каблуком; другая, голая, подкорчена, вся в волдырях от каленого железа. Чулок, туфля и обрубленные пальцы рук, на которых несколько часов тому блистали кольца, валялись на полу, вместе с разодранным Евангелием, иконами и ветхим церковным облачением. Она хрипло стонала и отплевывалась.

Пусть радуются кости протопопа Аввакума! В его честь и славу пятьдесят три человека и семейство богачей Акуловых будут сожжены веленьем Зыкова, и двое поджигателей уже вбежали с⁴ огненными головнями в церковь.

Из открытых дверей повалили струйки дыма, слышались глухие стоны, плач, мольба. Вот кругло, густо закрутился желтый дым, вместе с дымом выскочили из церкви поджигатели, затесавшаяся в храм приبلудная корова и два козла.

— Сволочи! Чего не подождали?.. — прохрипел только

что вбежавший с улицы страшный, опьяненный кровью Наперсток.

— Куда ты, назад!.. Сгоришь...— схватили каторжника поджигательские руки.

Но тот, загоготав, с высоко занесенным топором бросился сквозь дым в церковь.

— Кайся, кто первый зачинал! — гремел на весь круг Зыков, и конь его плясал.— Помни клятву, не врать мне ни в чем... Говори правду. Хотели винищем обожраться да колчаковцам в лапы угодить?!

Было выдано восемь партизан, да два солдата, да еще поймано семеро мещан.

— Чалпан долой.

Наперстка не было, и головы саблей рубил Срамных. Зыков с коня бросал ему:

— Монопольку сжечь. Немедленно... Пьяных расстреливать на месте... Я буду там...

Лишь десятая голова слетела с плеч, Зыков взмахнул нагайкой, конь взвился, обдав всех снегом, загудела земля, и всадник скрылся.

Наперсток с обгорелыми волосами выкатился враскорячку из церкви, с его топора, лица и рук текла кровь. Он бросил топор и пал на снег. Рыча и безумно взвизгивая, он грыз свои руки, разрывал одежду, выл, катался по земле, как вывороченный с корнями пень.

Потом бросился к реке, падая и вскакивая.

— Кровь... Кровь...— завывал он.— Зарежу, давай топор!..

И не было для него голубой ночи, простора, звезд: всюду кровь, горячая, опрокидывающая.

— Смерть... Смертынька...

Добежав до середины реки, он припал к краю проруби и, ляская зубами, стал жадно лакать холодную воду, словно угоревший пес.

Черный, как черт, гривастый конь на всем скаку остановился. Чугунный Зыков сгреб Наперстка за ноги и с силой сунул его башкой под лед:

— Прохладись.

Потом радостно, всем телом выдохнул:

— У-ух! — двуперстно перекрестился, вскочил в седло и галопом — вдоль сторожевых костров,

ГЛАВА XII

Дома и церкви горели, как костры.

На площадь волокли изнасилованных девушек, бедных и богатых, живых и полумертвых. Их втыкали торчмя головой вокруг горевшего собора в глубокие сугробы и издевательски кричали:

— Это богу свечки.

В толпе горожан и пригородных мужиков, видевших все гнусности, росло и крепло возмущение. То здесь, то там раздавались смелые озлобленные выкрики:

— Разбойники! Мучители!.. Вас самих нужно резать таких анафемов, как вы, не надо на племя пускать... Где ваша правда?!

Но в пьяные уши озверевшей шайки не влетали эти речи.

— В каждом домочке по человечку, окромя самых бедных,— секретно и тайком от Зыкова внушал Срамных кой-кому из партизан.— Это за красных им... за большевиков... Пускай знают... По приказу Зыкова. А что получше, тоже забирай.

Горели купеческие, чиновничьи и поповские дома. Разворачивалась, коверкалась, горела крепость. Жгли винный склад. По всему городу вплетались в ночь густые клубы дыма, вопли, выстрелы, песня, отборная ругань, хохот.

Месяц уходит спать, ночь кончается, а разгул в обреченном городишке крепнет.

— Караул, караул!..

— Душегубы... Душе...

Песня и кровь и хохот. Эй, кто может, убегай! А где же Зыков? Срамных носится на коне из конца в конец,— Зыкова нет.

Семья доктора — десятилетний Ваня, шестилетняя Сонечка и жена Анна Павловна — сгрудились в кухне. Их собственный одноэтажный дом на виду у всех. В этот вечер приветливые окна его темны, он мертв и тих, как склеп, лишь в кухне смятенная, в трепете и ожиданиях, жизнь.

Доктор весь в лихорадочном волнении. Серые глаза мучительно блестят, губы сжаты, и напряжен каждый

мускул сухого строгого лица его. Одинокий, он взад-вперед ходит по темному, выходящему окнами на площадь залу — в зале играют отблески начавшихся пожаров. Портрет его жены следит за ним любовными глазами, но доктор — руки назад, голову вниз — ничего не видит, ничего не замечает: он движется по кладбищу, среди могил, его сердце, его мозг залиты кровью, и ночь кругом темна.

За окнами грозный погром, анархия, все нарастающие вопли.

— Да, да,— печально произносит доктор.— Исхода нет... *Memento mori*...— И это говорит не он, говорит судьба его, и доктору становится тяжело. Он ошупью подходит к этажерке красного дерева, достает любимую статуэтку-сакс, дар жены-невесты, целует ее и с размаху об пол. Сдерживая нестерпимую боль в душе, он повалился в кресло и холодной, как у мертвеца, ладонью сжал горячие виски.

Детский осторожный в темноте бег и дрожащий голос Сони:

— Папочка, что это упало?

— Так, ничего... Иди к маме, я сейчас...— чрез силу говорит он спокойно.

Девочка чувствует настроение отца, не верит его спокойному голосу, она дышит из тьмы сбивчиво и громко, потом уходит на цыпочках.

Мимо окон промчались два всадника, бежит толпа.

— Давай лекаря!.. Время...

— Дай срок... Сначала пристава пощупаем...

Доктор достал из буфета графин вишневой наливки и понес в кабинет. Порылся в письменном столе, отыскал баночку с белым порошком. Взял лист бумаги, стал писать:

«Я, городской врач, Прокопий Иванович Ногин, чтобы избежать мучительных...» — рука судорожно скакала, вместо слов — каракули. Он швырнул перо и разодрал написанное:

— К черту...

Бежать с семьей! — невысказанно. Дурак, слепец! И понесла ж его нелегкая к роженице, лабазнице Первухиной. Пока делал операцию, пока спасал чужих две жизни, внезапно налетевшая ватага уже рыскала по городу. И у ворот его дома.

— Чу, громят...

Доктор проворно вышел в парадное и немного приоткрыл запертую на цепь дверь. В соседнем доме в ворота

бухало бревно, и, как бы переругиваясь, раздраженно дзикали выбиваемые стекла.

— Отпирай!! — и с улицы, в дверную щель, чья-то мохнатая морда уставила на доктора пьяные, вспотевшие глаза.

Доктор рванул, захлопнул створку, запер все пять дверей от парадного до кухни и вошел к своим. Мускулы побелевшего лица его обвисли, но глаза из-под густых бровей сверкали решимостью. Жена взглянула на него и все сразу поняла. Лицо ее дрогнуло, бледный лоб покрылся мгновенным потом, она что-то хотела вымолвить и не могла. А рев толпы и грохот все ближе, все страшней.

— Не беспокойтесь... Это соседей громят, — твердо сказал доктор. — Человек прибежал, предупредил, что нас не тронут. Сейчас подадут лошадей. Ну, выпьем на радостях...

Дети поверили, радостно закричали:

— Поедем... Сейчас поедем!

Мать, застонав, улыбнулась им. И с мучительным молчаливым криком, все так же улыбаясь, кивнула мужу.

Затем настал и пронесся быстрый туманный сон: родные голоса, родные люди, жесты — все по-неживому чернело, ломалось, прыгало в холодной пелене тумана. И темная рука с графином продолжала в тумане, разливая в стаканы красное, последнее вино. Туман стоял стеной. А на том берегу жизни — грохот густо надвигался, креп-

— Папочка, папа... Сюда идут...

— Пейте! Лошади поданы... Сейчас уедем.

Дети выпили. Прокофий Иванович обнял, поцеловал жену в губы:

— Аня... Прощай.

Сон кончился, туман исчез, лошади умчались.

Когда догорали колокольни, сюда забрался бородатый, с отрубленным ухом раскоряка. Он суетливо, вперевалку, обежал все комнаты, выскивая гноящимися заплывшими глазами, что поценней, поярче. Но все в доме предано грабежу и разрушению. Он в кухню. Кухня — склеп. В ней покой и промозглый холод. Электрическая лампочка — как лампада на погосте.

— Ишь, нажрались, — прогнусил бородатый раскоряка и отплюнулся. На полу, на скамьях валялись, сидели, приткнувшись к стене, люди. — Наших трое... Эй вы, пьяницы! Степка!.. Ананьев!.. Мокрецов!.. Спят, дьяволы. И хозяева нажравшись. Вставайте, что ли!

Но никому больше не подняться, никто не встал.

— Все вылакали, обормоты... На донышке... — прогну-

сил безухий, по кудлатой бороде его текли слюни. Он сбросил с плеч волочившуюся по полу богатую ильковую шубу и жадно допил из графина красное, последнее вино.

Крякнул, упал и захрипел.

Было тихо, безветренно.

Вот глухо ударило во все концы и загудело: это на колокольне оборвался грузный колокол, прошиб кирпичный свод.

— Колокол... Колокол упал...

Собаки тоже разгульны, веселы и пьяны. Одноухая рыженькая сучка с удовольствием вылизывает в снегу Гараськин мозг.

Трупы удушенных мороз превратил в камень. В неверном свете зарева они покачиваются, пересмеваются, что-то говорят. Обезглавленные трупы тоже заоченели, валяются кучей и в одиночку тут и там. Головы их в шапках и без шапок чернеют на огненном снегу, скаля зубы. Их некому убрать: всяк живой по горло утонул в своей гульбе, в своем трепете и жутком страхе.

Ночь и весь воздух здесь в дыму, крови и похоти, и только там, ближе к звездам, к месяцу — безгрешная голубая тишина.

Но почему же этот самый перепреувский?.. Впрочем, и в нем зазвенели стекла: гуляки хватили по раме колом и, смяв стражу, с криками ворвались в покой.

— Бей купецкое отродье!.. Режь!..— и, вбежав в комнату, где яркий свет, враз остановились:

— Зыков!..

Кучей, как бараны, бросились назад, давя друг друга и скатываясь с лестницы.

— Зыков... Зыков...

Но один из них, красавец Ванька Птаха, уже на улице, вдруг круто обернулся, словно его что-то ударило в затылок, и обратно побежал вверх по лестнице.

— Ты, Зыков, кликал меня?

Зыков поставил серебряный кубок с вином и оглянулся:

— Нет. В мыслях имел тебя.

— А мне почудилось — кликал.

— Садись... Тебя-то нам и надо... Снимай армяк.

Ванька Птаха живо распоясался, неуклюже поклонился Тане.

— Здорово живешь, госпожа барышня,— и, откинув скобку белых и мягких, как шелк, волос, застенчиво сел на краешек дивана.

Таня взмахнула густыми ресницами и уставилась в молодое, веселое лицо парня. Семь белых пуговок на высоком вороте его зеленой рубахи плотно жались друг к другу, как горох в стручке. На груди же была вышита райская птица и крупная надпись: «Ваня Птаха». Девушка грустно улыбнулась, по монашьему бледному лицу, на черную монашью кофту, скатилась слеза.

— Ну, Птаха голосистая, развесели,— сказал Зыков.— Сударыня-то моя чего-то куксится.

— Это мы можем, конечно...

Зыков тронул ладонью пугливое Танино плечо:

— А ты не куксись, брось.

— Странно даже с твоей стороны требовать,— и горько и ласково ответила Таня.

— Э-эх!..— и Зыков заерошил свои волосы.

А там, возле горящей колокольни, возле отгудевшего колокола, тоже раздалось многогрудно:

— Эх...

Там, на колокольне, жарились четыре трупа, и когда веревки перетлели, удушенные, один за другим, дымясь и потрескивая, радостно прыгнули в пламя.

И каждый раз толпа вскрикивала:

— Э-эх...

— Это, должно быть, колокол упал? Блякнуло...— спросил Зыков.

— Стало быть, колокол,— ответил Ванька Птаха.

Зыков дышал отрывисто и часто. Хмель гулял в голове, и кровь в жилах, как огонь.

— А вот я им уже покажу, чертям. Кажись, шибко разгулялись. Дьяволы.

— Гуляют подхояво,— сказал красавец парень, и его взгляд встретился со взглядом девушки.

Зыков, чуть спотыкаясь, подошел к окну.

Парень разглядывал девушку, и ему вспоминалась грудастая Груня, невеста его, там, за лесами, в горах, в сугробах. И уж он не мог оторвать от Тани взгляда. Такого лица, таких глаз он не видал даже и во сне.

«Чисто богородица,— подумал он, и ему вдруг захотелось упасть перед нею на колени.— Ах ты, богородица моя...»

А по соседству, за прикрытой расписной дверью, пред образом настоящей богородицы молилась на коленях жен-

щина, мать Тани, и слезно просила о заступничестве мать Христа.

Зыков загрохал в двойную раму.

— Эй вы, черти! — грозно закричал он сквозь стекла в огневую ночь. «Эх, маху дал... Не унять теперя...» — злясь на себя, мрачно подумал Зыков.

Ванька выпил большую чару вина.

— Пей еще, — Зыков подошел к столу. Неостывший взгляд его еще раз метнулся грозой сквозь стекла в ночь. «Однако пойду угомоню щенков». Но оставить этот дом не хватало сил.

Ванька выпил. У Ваньки лицо тонкое, нос с горбиной и большие синие глаза.

— Пой.

Ванька поднялся, высокий, статный, одернул рубаху и отошел к простенку под зеркало. Штаны у него необычайные. Он был в штанах, как в юбке с кринолином. Ярко-красные в крупных огурцах, цветах и птицах, их сшила вчера старуха прачка из трех украденных Ванькой драпировок. Таня опять сквозь слезы улыбнулась. Зыков заставил ее выпить вторую чару, и глаза ее стали безумны.

Ванька Птаха сложил на груди руки, потрянул головой и, покачиваясь, медленно, с чувством, с горем великим и тоской запел:

Не бушуйте вы, ветры буйные,
Не шумите вы, леса темные...

Голос его густой, печальный, свежий. У Тани защемило сердце. Зыков откинулся на диване и смотрел Ваньке в рот. Скрипнула, чуть приоткрылась дверь, чье-то ухо припало к щели, и замерли в комнате все огоньки.

Ты не плачь, не плачь, красна девица,
Не слези лицо прекрасное...

Таня вдруг заломила руки и со стоном повалилась головой на стол. Зыков встал, нагнулся над Таней:

— Дочурочка... Дочурочка... Эх!.. — и целовал ее в висок, в белый пробор на затылке меж черных кос.

Таня вся задрожала:

— Пусти меня, пусти... — и подняла на Зыкова свое покрытое слезами лицо, как солнце в тучах.

У Зыкова дрогнуло, колыхнулось все тело.

— Красота ангельская, неповинная... Дочурка! — он опустился пред ней на колени и ласково ухватил похолодевшие девичьи руки ее. — Не кручинься, брось... Поедем

со мной в наши скиты. У нас в горах озера, быстры реченьки, сосны гудят...

— Зыков, миленький... Зыков...

— У тебя, Степан Варфоломеевич, баба есть. Чего мутишь девку,— раздалось от зеркала.— А вот отдай мне...

— Молчи! Я ее в дочурки зову... Дурак! Тебе!..— из глаз Зыкова брызгнули черные искры.

Лицо парня вдруг стало бледным и потерянным.

— Врешь, Зыков! Я ее возьму...

Луна давно померкла. Улица затихла. Предрассветное небо серо, как предрасветный сон. Колокола не благовестили к заутрене: колокола онемели, и кто ж будет служить в разрушенных церквах? Только бездомный отец Петр остался жив.

Отец Петр в одежде мужика разыскивает по городу свою жену и сына, да кой-кто из окрестных крестьян, нахрапом прорвавшихся в город, благополучно возвращаются домой, поскрипывая набитыми добром санями и озираясь.

Дом отца Петра догораёт. В огне погребло все. Погибли и сводные ведомости коллежского секретаря Федора Петровича Артамонова.

А сам Артамонов, видимо, пьян или сошел с ума. Он забился в отхожее место на базаре, сидит там скрючившись, надтреснуто поет: «Царствуй на страх врагам, царь право-сла-а-а...», хохочет и всех проходящих ругает последней бранью.

Колокола не звонят к заутрене, но старец Варфоломей поднялся со своего одра, зажег свечи у икон своей кельи, умылся, поцеловал крест на крышке гроба и встал на молитву.

— Сон мракостудный изми, боже, из души моя.

Губы шептали горячо, рука крестилась усердно, но в груди был лед и мрак, глаза же горели яростно и дерзко.

Сегодня он должен образумить своих единоверов, ставших на разбойничью стезю. Должен, должен! Без того не умрет.

И да будет проклят его сын, отступник...

А его сын, отступник, облокотился на бархатную скатерть круглого стола, стиснув руками свою голову, слушает Ваньку Птаху, и душа его рвется из силков.

У Тани слезы на глазах, и в голосе Ваньки Птахи слезы.

У залетного ясна сокола
Подопрело его правое крылышко.
У заезжего добра молодца
Что-то щемит его ретиво сердце.

Зыков мотает головой и горько крикает. А Ванька Птаха, поводя плечами, еще страстней выводит седую песню. Он, как замороженный, ничего не видит, кроме колдовских девичьих глаз, и больше ничего ему не надо.

— Ах ты! Ах...— и дико, страшно вскрикнул Зыков, он вцепился в свои волосы и застонал, глаза его замутились тоской, как осенним черным ветром.— Будет тебе, дьявол!.. Эх... Давайте пить. Давайте гулять... Эх, Танюша, сердце мое... Пей!..

И все, как в угаре, и все — угар.

Таня пляшет и поет и плачет. В дверь высовывается голова матери. С воем летит в дверь, в косяк, бутылка, и вдребезги, как соль.

— Эй, веселую! — кричит Зыков.

Ванька ударил ладонь в ладонь, прыгнул на середину комнаты и грянул плясовую.

Весел я, весел
Сегодняшний день,
Радостен, радостен
Теперешний час.

Ванька пляшет, топчет, свистит, бьет каблуками в пол. Зыков пляшет, ухает, вскидывает руки, и, когда бросается впрысядку, дом дрожит и лезет в землю. Ванька при-топтывает, гикает, кружит тонкую былинку Таню:

Видел я, видел
Надежду свою,
Что ходит, гуляет
В зеленом саду.

Таня, изгибаясь, притворно вырывается от парня, как от солнца день, вот подбоченилась, вот чуть приподнимает то справа, то слева край платья, и маленькие легкие ноги ее в веселом беге.

Зыков хлопает в ладоши, как стреляет, и в два голоса с Ванькой:

Щиплет, ломает
Зелен виноград,
Коренья бросает
Ко мне на кровать.

Таня вся в угаре, вся в вихре: кружится, вьется, пляшет, и две косы, как тугие плети, взмахивают, хлещут по воздуху. Таня хохочет, вскрикивает, хохочет, и слезы градом:

— Зачем заставляешь?.. Зыков!.. Мне больно, мне тяжело... Отца убил... Зыков, не мучь...

Таня кричит и хохочет, проклинает себя, проклинает всех, кричит: «Мамаша!». А может, и не кричит, может, смиренно сидит возле ярко горящей печки, а кричит за окном народ. И чуть-чуть слышно откуда-то сверху, откуда-то снизу, из печки, из огня:

Спишь ли, мой милый,
Или ты не спишь?..

И ей хочется обнять его, и ей страшно, она шепчет

— Ваня, не целуй меня... Ваня...

А когда народ закричал громче и грозней, Зыков вывел ее на балкон, махнул рукой, и площадь смолкла.

— Вот жена моя! — крикнул Зыков. — Что, любя?

И площадь взорвалась, рассыпалась радостным криком, полетели вверх шапки, зазвонили колокола, загрели трубы, барабаны. Кони ржали, крутятся и вздымаясь на дыбы, и жаркое небо — все в цветах, все в птицах, в радугах. А сердце Тани ноет, сердце разрывается. На Зыкове золотой кафтан, отороченный соболем. Солнце бьет в кафтан, больно взору, Зыков могуч и радостен, как солнце, и сердце Тани пуце разрывается. Таня вся в солнце, в жемчуге, в парче.

— Танечка моя милая, доченька... — Папаша подошел, папаша в длинном сюртуке, поздравляет ее, целует и целует Зыкова. И все целуют ее, родные и знакомые. Таня тоже хочет перекреститься, хочет поцеловать крест, что в руках у седого протопопа, но Ванька говорит:

— А как же я-то?

Тогда Зыков сказал Тане:

— Мы с тобой еще венцом не покрыты. Выбирай...

Таня взглянула на Ваньку, взглянула на Зыкова, взглянула в свое сердце и, прижавшись к Зыкову сказала:

— Ты.

Но это был лишь мимолетный, милый, сладкий сон.

Таня открыла глаза и растерянно огляделась. Ваньки не было, валялся изломанный дубовый стул, уплывала в дверях чугунная спина Зыкова, уплывала чья-то рыжая взлохмаченная голова, и кто-то сипло хрипел в углу.

К Тане на цыпочках подходили полумертвыми тенями сестра и мать.

— Моли бога, что сердце у меня обмякло, — раздраженно бросал через плечо Зыков рыжему верзиле, — а то башку бы тебе за парня снес. Пошто ты его?

— А он не лезь, куда не способно, — оправдывал себя Срамных.

— Что ж ты людей-то распустил?! Нешто порядок это?

— Поди, уйми... Они, собаки, чисто сбесились от вина...

Зыкову нужно было освежиться. И чрез утренний расцвет, чрез поседевший воздух он помчался от костра к костру, туда, на десятки верст вперед.

Впереди, далеко за горами, уже вставала свежая заря, и среди белых, вдруг порозовевших равнин и гор зарождались новые партизанские отряды.

И чудилось в морозном утре: развеваются красные знамена, тысячи копыт бьют в землю, ревет, грохочет медь и сталь.

А назади, в горах, тоже вставало утро, и тусветный старец грозную ведет беседу с кучкой оставшихся на зимке кержаков.

Зыков и про это чует.

Старец Варфоломей стоит на крыльце, перед толпой. Он еле держится на ногах, высокий, согнувшийся, белобородый. Синий, из дабы, ватный халат его подпоясан веревкой кой-как, наспех. Лысый череп открыт морозу. Тусветный старец весь, как мертвец, желтый, сухой, только в глазах, темных и зорких, светит жизнь, и седые лохматые брови — как крылья белого голубя. Трудно дышать, не хватает в божьем мире воздуху. Передохнул тяжело, ударил длинным посохом в широкие плахи крыльца и закончил так:

— Колькраты говорю вам, возлюбленные: расходитесь по домам. Все дела ваши — тлен и грех неотмолимый. Кровь на вас на всех, и кровь на моем сыне-отступнике. Бежите же его, чадца мои! Вам ли заниматься разбойным делом? Наш господь Иисус Христос — бог любви есть. Мой сын-отступник сомустил вас, дураков: «Бей богачей, спасай бедных!» Лжец он и христородавец. Убивающий других — себя убивает. И загробное место ваше — геенна. В огонь вас, в смолу! К червям присноядущим и николи же сыту бывающим! Знайте, дураки!.. И паки говорю: во исполнение лет числа зри книгу о правой вере. Какой год грядет на нас? Едина тысяща девятьсот двадцатый. Начертай и вникни: един, девять, два. Изми два и един из девя-

ти — шесть. Совокупи един, девять, два — двенадцать. Расчлени двенадцать на два — шесть и шесть. Еже есть вкупе — шестьсот шестьдесят шесть, число зверино.

— Истинно, истинно! — кто-то крикнул из толпы. — Старец Семион со скрытной займки в аккурат так объяснял.

В груди у старца Варфоломея свистело и булькало. Он говорил то крикливо и резко, то с назябшей дрожью в голосе. Кержаки, на морозе, от напряжения потели, сердца их бились подавленно и глухо. Чтоб не проронить грозного, но сладкого гласа старца, они к ушам своим наставляли согнутые ладони. Тусветный старец вновь тяжело передохнул, взмахнул рукой и пошатнулся:

— И ой вы, детушки! Грядет антихрист, сын погибели с числом звериным. И ой вы, возлюбленные чадца мои! Идите по домам, блюдите строгий пост, святую молитву, велие покаяния во святом духе, госпде истинном.

Взошедшее солнце ударило в темные загоревшиеся глаза старца Варфоломея, и, разрывая это солнечное утро, вихрем мчался по речному льду к опозоренному, обиженному городишке Зыков. Мозг его на морозе посвежел, но и посвежевший мозг не знал, что под чугунными копытами коня, под толстым льдом, упираясь мертвой головищей в лед, застрял в мелком месте мертвец, горбун, палач, Наперсток. А может, и не застрял мертвец, — вода не приняла; может — вынырнул в соседнюю прорубь и точит на Зыкова булатный нож.

Зыкову и не надо это знать, Зыков знает другое.

Он ясно видит, ясно чувствует все последние дела свои, и в его сознание едучим туманом заползает страх: а так ли, верно ли, что скажут про его расправу красные? Гульба была большая, крови пролито много, а дело где, настоящее?

— А что мне красные? — хочет крикнуть Зыков и не может. В душе пусто, горячее сердце остыло, как жарко натопленная печь, в которой открыли на мороз все трубы. — Ха! Красные...

А тут еще эта купецкая дочь, монашка. Эх, зачем у нее такие глаза и косы, зачем голубиный голос, и вся она как молодая рябина во цвету!

— Будя, дурак! Баба... — и нагайка, жихая, бьет по взмыленным бокам коня.

Конь мчится, пламя из ноздрей, мчится дальше, прочь

от адова соблазна, но с маху — стоп! — как влип у крыльца перепреевского дома.

— Дьявол!!

Милое, заветное крыльцо. Такое недавнее, только вчерашнее, а лютое сердце не может оторваться от него. Зыков рад задушить себя, рад проткнуть предательское сердце свое ножом: «Дьявол, куда ведешь!..» — но, в ярости стиснув зубы, он, как покорная овца на поводу, зашагал вверх, давя скрипучие ступени.

В городе открыты были главные купеческие лабазы и склады, жителям объявлено: бери, сколько можешь унести. Объявлено партизанам: бери, сколько можешь увезти.

И к полдню медным горлом горнист заиграл тревогу, сбор.

Приказ: Зыков грабить не позволяет. Склады сжечь со всем товаром, что не успели распределить. Казармы в крепости и все добро сжечь. Идут красные, но их могут опередить и белые. Сжечь!

Снова ожила вся площадь. Срамных выстраивал и проверял людей.

Зыков прощался с Таней. Таня, больная, потрясенная, лежала в кровати.

Голос его рвался и дрожал.

— Вот опять разбойничек к тебе пришел, Танюха, друг... Разбойничек, говорю...

Он понял вмиг и навсегда, что эта девушка вся вместилась в его душу, без остатка. И если бы можно было, он сейчас же убил бы ее, но сердце не позволяло.

— Голубонька... Ах ты, моя голубонька... — Он нагнулся к ней, все лицо его дергалось от внутренней свирепой боли. — А пошла бы ты за разбойничка замуж?

— Зыков, миленький... Я никогда не забуду... Ты... ты... ты убил моего отца... Зыков...

— Я не убивал.

— Велел убить... И мать и сестру... Зыков, золотой... Я поеду, полечу с тобой, с ним... на тройке... И кони крылатые, и ты на коне, с копьём... словно победоносец Георгий, весь в золоте... Папашенька, милый, не плачь... Мама...

Мать плакала, брызгала дочь святой крещенской водой. Зыков выпрямился, передохнул, сказал:

— Занедужилась девчонка, бредит.

— Где доктор, где фельдшер? Убил! — затряслась, закричала Верочка, замахнувшись на Зыкова маленьким кулачком, и не смела ударить его. — Разбойник!.. Изверг!.. Злодей!..

— Ну, ладно,— смутился Зыков и попятился.— Злодей ли я, узнаешь после, как вырастешь.

Труба за окном все еще сзывала. Многих недосчитывались. Не было Гараськи, не было Ваньки Птахи. Ванька давно перестал хрипеть, и песня его больше не всплещется.

Настя долго-поджидала Гараську: вот за своим добром пожалует. Но парень не шел, рыженькая сучка вылизала все мозги его в снегу.

А где ж палач Наперсток? И Наперстка нет. Всяк получил свою судьбу, никто не уйдет от своей судьбы, каждому данной изначала.

Таня открыла глаза и по-новому, удивленно уставилась на Зыкова:

— Зыков, ты?

— Я,— сказал он. Глаза его были горячи и властны.— Поправишься, приедешь ко мне. Сама приедешь! Кто хоть единожды видал меня, век будет помнить. Никогда не забудешь теперь Зыкова, и я тебя не забуду. Прощай!

Он ковал слова, как огнем палил.

А матери тихо, по-иному:

— Всамделе... Ежели плохое будет житьишко вам, приезжайте. Защиту дам.

Когда он вышел, яркое было солнце. Рожечники, пиккульщики, знаменщики сияли в золоте и серебре. Двадцать бабьих рук всю ночь шили из церковных облачений штаны и камзолы. И вот все блестит и пламенеет. На широких парчовых штанах, на сиденьях, на спинах — кресты и серафимы.

Барабанщик и знаменщик в золотых митрах, кто в скуфье, кто в камилавке. Многие в поповских ризах, в дьяконских стихарях, подпоясанных кусками шелковой материи. Какой-то с провалившимся носом сифилитик едва держался на краденом коне. Он сильно пьян. Залихватски надетая на ухо митра блестела поддельными камнями, вместо шарфа вокруг шеи золотой орарь, под густую черную бороду подвязан, как фартук, парчовый набедренник. Веселый сифилитик размахивал престольным крестом, орал на срамной лад молитвы и блевал дрянью на парчу, на лики краснощеких, крылатых херувимов. Лохматая собака издали с завистью наблюдала его, облизываясь и пуская слюни. Несколько кадильниц, покачиваясь в окровавленных руках, курились дымом. Передние держали

фонари, хоругви и серебряные чаши для причастия. Кричали непроставшимися голосами:

— А мы не боги, что ли!

Но когда показался Зыков, партизанская ватага заорала во всю глотку «ура», и три сотни шапок высоко прошили воздух.

— Ну, ребята! — загремел Зыков с коня. — Худо ли, хорошо ли, а дело сделано. Кто был повинен перед простым людом, тот брошен псам. А остальное... — он горько махнул рукой.

И никто не догадывался, что делалось у Зыкова в душе: горючий стыд и злоба коробили душу. Кровь, всюду кровь и разрушение. Глаза его были красны до крови, глаза были в едучих, проклятых слезах.

Он погрозил нагайкой несчастной толпе горожан, крикнул:

— А вы — сидеть смирно! Красные идут. Красным слушать верно.

И выехал вперед:

— Трога-ай!..

Коняги, кони, кобыленки засеменяли ногами. И опять воздух содрогнулся от неистового стопа рожков, пиканья пикулек, рева труб, грохота барабанов. Пушки и колокола молчали.

В хвосты, в бока вытянувшейся чрез городишко тысяченогой гусеницы полетели камни, палки, комья льда. Это, взвизгивая, свирепствовали ребяташки.

И голоса мужчин и женщин прорывались то здесь, то там:

— Церкви!.. Христопродавец... Тать кровожадная... Чтоб те... Церкви сжег...

— Смерть, Зыкову!

— Молодец Зыков!.. Так и надо.

И на самом краю, когда хвост отряда спустился на реку, с чердака колченогого домишки шарахнул выстрел. Крайний всадник кувырнулся с коня в снег и смертельно застонал.

Быстро отделились пятеро, и через минуту растерзанный стрелец-мальчишка об одной руке и безголовый был сброшен с чердака.

ГЛАВА XIII

Зыков сказал ехавшему с ним рядом Срамных:

— Дьявол ты!.. За кой прах показал мне ту девчонку?

— Шибко поглянулась?

Зыков молчал. Он был мрачен, глаза пустынные, холодные.

— Ежели поглянулась, брал бы... Жена не сдогадается. В горах места много. Все равно достанется кому-нибудь. Девочка, дурак, жалеет.

Зыков молчал.

— А пошто ты так круто повернул? Надо бы какой ни на есть порядок завести в городе-то.

Зыков сказал сквозь усы:

— Много мы набедокурили. На душе чего-то тяжело. Эх, что же я!.. — И он зашарил глазами по рядам.

— Курица! — крикнул он рыжеусому, краснорожему, в николаевской черной шинели с бобровым воротником и в сановой треуголке. — Живо кати в город и прикажи моим строгим приказом: Соборную площадь окрестить Площадью Зыкова. Исполнить в точности. Дощечки перекрасить... Площадь Зыкова!.. Окончательно запомнил... Понял?

Не замечая сам того, Зыков очутился совсем один и одинокий в хвосте отряда. Ехал, низко опустив голову: может быть, спал, может — огузла голова его от укорных дум.

Ночевать расположились в сугробах, на ровном берегу реки. Летом здесь цветистое густое большетравье, теперь поляна вся в стогах. Освещенные вечерними кострами высокие стога и весь партизанский табор казались стойбищем кочевников. Каких тут не было одежд! Сукно, шуршащий шелк, парча, плюш, бархат всех оттенков пестро и ярко расцветили шумливые группы партизан. Похрапывали, ржали кони, из лесу, с гиком, с песнями, весело волочили рухнувший наземь сухостой. Какой-то в собольих мехах бездельник горланил песню на гармошке. Лесная тишь заголосила.

— Смолья волоки! Смолья-а-а!..

У котлов кромсалось мясо и баранина. Толстобрюхий безносый бардадым, поправив налезавшую на глаза митру, с ожесточением вырывал из гуся требуху. Кольша позорному стащил с него митру:

— Дос-свиданьница, анхирей Петрович! — и с хохотом, козлом помчался по сугробам.

Бардадым ахнул, бросил гуся и нескладной копной покултыхал вдогонку:

— Отдай, варнак! Отдай! Душу вышибу!

Искры птицами летели во все стороны. Вот вспыхнул

стог и запластал, пламя взмыло вверх. Яркий свет волнами заплясал над табором, а мрак кругом враз стал густым, лохматым по краям, как копоть. Лениво и задумчиво плыл сизо-багровый дым.

Ели жирно, до отвалу, солили круто, перцу во щи не жалели. Кольша жрал варенье из кадушки горстью — ох, вкусно до чего! — и вся харя его была как после мордобоя.

Во сне, на ядерном морозе, подняли сытую перестрелку, храп и трескотню, как в барабаны, ругались, бредили, а то вдруг хлестнет поляну поросячий сонный визг. Часовые у костров громяхают в ответ ядерным смехом:

— Ух, язви! Это бардадым, должно, вырабатывает... Вот так, паря, голосок...

Под утро, когда особенно ярки были звезды и не погасли еще костры, прискакали два всадника.

Они отвели Зыкова в сторону и рассказали, что творится у него дома: там многие покинули его стан, пусть Зыков спешит домой, будет медлить — все уйдут.

— Эх, Наперстка нет, — хрипло, весь позеленев, сказал Зыков. Он долго взад-вперед ходил возле костра и кусал усы. Потом разбудил рыжего и в страшном волнении зашептал:

— Срамных... Очухался?.. Вот что, Срамных. Ты, дьявол окаянный, раздражил мое сердце. Чуешь? Половина силы у меня вытекла. А ну-ка, сквитаемся давай!!

Срамных испуганно тряс рыжей головой, весь дрожал от внезапно охватившей его жуты. Глаза юлили и боялись бешеных глаз Зыкова. Это не Зыков... Это черт. Глаза горят зеленым огнем, рот то открывается, то закрывается, борода как сажа, и в правой ручище безмен. Сейчас рыжему каюк!

— Батюшка, Зыков! Степан Варфоломеич...

Но Зыков не взмахнул безменом, а властно и твердо, как по железу пилой, сказал:

— Седлай коня. Дуй во все лопатки. К нам. Делай, что прикажу сейчас.

Всю ночь до рассвета он ходил между костров, считал звезды, читал по звездам свою судьбу, но что будет впереди — не знал, все впереди тонуло в зыбком мраке.

Всю ночь до рассвета не спали и в доме Перепреева, а с рассветом весь городок, все погорелое место точило слезы, слез было много: дым вертел; выедал глаза, и разбойные звуки еще не умерли в ушах.

Много было мертвецов и горького над ними плача, но отпевать их некому.

Убиенных и умученных увозили за город, в Поганный Лог, и там сваливали в яму. Ожидавшие в Логу старатели и доброхоты из ватаги с остервенением крошили трупы саблями и топорами на мелкие куски. Семь сотен мертвецов — сплошное рубленое мясо, слякоть. Воронье уносило добычу в гнезда, подхваченные клювом неостывшие кишки вихлялись в морозном воздухе, как змеи.

Согнанные с окраин жители забрасывали яму с крошевом мерзлой глиной, снегом. Привыкнув, говорили:

— Попервоначалу тошнота брала, жуть. Опосля стало не страшно!

Настя счастлива, беспечальна. Она с благодарностью вспоминает, господи прости, ту первую ночь, троих мужиков и ненасытного Гараську. Настя благочестива. Надо бы каяться, но попы убиты, церкви спалены. Настя смотрит на икону, крестится, вздыхает, надо бы удариться в покаянные слезы, но где их взять, если стол и все лавки ломаются от награбленного Гараськой добра. Ежели сложил свою голову Гараська, вечный ему покой; ежели жив Гараська — может, и вспомнит ее и вернется. Эх, парень, парень! До чего усладительно, господи прости, вспоминать его.

Из перепревского дома караульный в двух тулупах и шитиковские приказчики волокли труп Ваньки Птахи. Кухарка мыла с дресвой кровавый пол. Пришел столяр, торговался за починку разбитой двери.

Десяток оставшихся солдат и горожан рыли на погосте общую могилу и складывали туда еще не погребенных мертвецов.

Дела всем много. Мороз сломился, хлопьями валил пушистый снег.

Сквозь снег серела виселица, и как виселицы — четыре обгорелых колокольни. Черные стояли обгорелые дома, и дотла сгоревшие развеялись по земле черным прахом. Черные печи грозили небу, как перстом, черными трубами.

В черных мыслях ехал Зыков на черном, как черт, коне. Но отряд его подвигался весело.

Опять разбрелись по горным тропинкам, кто где. Едут вольно, не торопясь, лишь бы к ночи собраться на условленное место.

Вот приедут на заимку, в стан, — Зыков, поди, даст

отпуск. Добра везут много. Скорей бы по домам, захватить покрепче золото да серебро. Погуляно, повоевано довольно! Настины мужики вспоминают Настю. Ну, баба... Кубышка, а не баба. Эх, Гараську, дурака, жаль. Ужо Груняха-то... Эх!..

Серебряные церковные сосуды камнями сбивают у костров в комки. А вот там смазал один другому по зубам, там в драке сцепились четверо, не могут поделить.

А лес зеленый, темный, хлопьями валит снег, и звячущи тропинки исчезают.

Ночь, снег. Таня подошла к окну, к балкону, к тому самому... Таня приникла печальным и милым, как сказка, лицом к стеклу. За стеклом все то же — ночь и снег. И нет ярких костров — темно, — нет криков и песни, нет чугунового всадника. Навсегда умчался сказочный всадник в новую страшную сказку, в быль...

Печальная, милая девушка из печальной русской сказки — оторвалась от сказки — оглянулась. Кто-то звал ее, кто-то плакал. Но она замкнулась в самой себе, и ничей голос до ее сердца не доходит. Она вся горит, большие серые глаза ее в мечте и бесконечной тревоге, и сердце ее дважды раздавлено, дважды осиротело. Что-то будет с ней завтра, послезавтра, на третий день?..

На третий день к вечеру подъехал к зыковской заимке первый партизан, а в ночь и остальные.

На заимке и в лесу народу много, но костры горят не весело, и все песни смолкли.

Еще вчера, ранним утром — чуть зорька — утром, откуда-то взялся Срамных, он поднял бучу, разбудил всех нехорошим голосом:

— Что ж вы, барсуки, дрыхните! Ведь ваш старец Варфоломей приказал долго жить.

Срамных побежал будить и хозяйку, Анну Иннокентьевну. Впрочем, та уже бодрствовала: сотворив короткую молитву, принялась творить квашню с хлебами.

— Вошел я от сынка, от Степана, поклон старцу Варфоломею отдать, — заговорил Срамных, пряча глаза. — Чиркнул серянку, гляжу — старичок в гробу лежит, в колодине. Я окликнул: — Дедушка! — лежит. Я погромче, я на колени припал к нему: ни вздыху, ни послушанья. Меня ажно откачнуло от него, как ветром. И лик у него темный, нехороший лик.

Хоронить старца Варфоломея собралось много кержаков. Мстительно шарились по лесу, по ущельям, искали Срамных, нигде не могли найти: куда-то удрал, неверный.

Из дальних заимок приехал парень. Он сообщил, что деда Семиона вчера нашли убитым в лесу.

— Ну?.. Старца Семиона? Зарезали?!

— Да, да... Голова напрочь...

Поджидали Зыкова, но он не появлялся. Вахмистр царской службы, которому он поручил команду, сказал, что сам Зыков свернул к Мулалé-селу.

После похорон старца Варфоломея все кержаки — хоть и немного их было в ватаге — навсегда разбрелись по своим заимкам. Остались лишь преданные Зыкову, спаянные с ним кровью. Но все-таки отряд его рос и множился: по всем зверючьим, пешим, конным тропам стекались сюда дезертиры из белого стана, крестьяне, рабочие с рудников, лесорубы, гольтепа, маленькие — в пять-шесть человек — партизанские отряды, бродяги, каторжане, сколько-то киргиз и калмыков-теленгитов, даже расстрига-дьякон с двумя спившимися с кругу семинарами.

Стекались все, кто знал о Зыкове, кто до конца возненавидел белых. Одних гнало сюда шкурничество, трусость. Других — геройство: борьба за угнетенный, раздавленный колчаковщиной сибирский свободолюбивый народ, — это молодежь. Третьих — грабежи, легкая нажива, кровь, — это забулдыги, жулики, разбойники.

Но почти все негласно объединялись на одном: из прутьев вяжи веник, силу сгруживай в кулак!

И все покрывала темная заповедь, дочь мятежной бури: убивай, не то тебя убьют.

Надо было все наладить, всем дать работу. Где же хозяин?

Зыков, правда, свернул к Мулале-селу, но внезапно свой путь прервал. Эх, не глядеть бы на белый свет, — и ночью постучал у ворот глухой заимки своего закадычного друга Терехи Толстолобова.

— А-а, дружок, Степанушка! Каким это бураном, какой пургой?

ГЛАВА XIV

Тереха Толстолобов мужик крепкий, медвежатник. Он русский крестьянин, сверстник Зыкову, не кержак, веры православной, поповской, имел двадцать две коровы, во-

семь лошадей, пять собак и двух жен — старую и молодую. Старую ругал и бил, молодую, Степаниду, ласкал, дарил дарами. Но всегда после ухода Зыкова молодой жене доставалась от Терехи трепка.

— Медведей-то добываешь?

— А кляп ли на них смотреть! Нынче четверых свалил. Медвежонка взял живьем. Не хошь ли полюбопытствовать? В бане он.

— А белых бьешь? Чехов да полячишек?

— Этим не занимаюсь. Они мне не душевредны. Кто меня в такой дыре найдет!

Займка его, верно, в непролазных горах — горы, как крепость, — в густом лесу, и дорога к нему — недоступные путаные тропы диких маралов, горных козлов, медведей. Да еще зыковский черный конь умел лазить по горам.

Зыков не в духе.

— Это, Толстолобов, не дело говоришь. А для миру нешто не хочешь поработать?

— Нет. Тьфу мне мир!..

И тут уж не до сна. С хозяйской широкой перины вскочила Степанида. Она в розовой короткой рубаше.

— Здорово, Степан Варфоломеевич!.. — и белыми ногами по медвежьим шкурам промелькнула мимо гостя, прикрывая рукой колыхавшуюся грудь.

Зыков даже не взглянул. Он сидел за столом угрюмо. Слышно было, как за занавеской проворные руки Степаниды наливали самовар.

— Винца бы... — сказал Зыков. — Чаю не желательно.

— Винца?! — удивленно переспросил хозяин и похлопал гостя по плечу. — Давно ли ты это?

Тереха Толстолобов с опаской и недоумением заглянул ему в глаза:

— Да что это с тобой стряслось? А?

Степанида без памяти любила Зыкова, он же никакой любви к ней не чувствовал. Степанида в прошлом году пыталась удавиться.

И вот теперь она вдруг поняла, угадала, чем занедужил Зыков.

— Ой, чтой-то с тобой и взаправду стряслось, Степан Варфоломеич?

Тот ответил не сразу. Рот его кривился, брови подергивались.

— Так, пустяковина, — сказал он. — На душе чего-то не тово, на сердце.

В глубокой предутренней ночи все трое были пьяны. Тереха повалился на постель и крепко, под грудь, об- лапил Степаниду двумя руками в замок, как в цепь. Зы- ков лежал в углу на медвежьих шкурах, глядел в потолок, вздыхал и тряс головой.

Лишь захрапел Тереха, Степанида, как нельма, вы- скользнула из пьяных клещей и подползла, во тьме, на коленках к Зыкову.

— Уйди, Степашка,— сказал он.— Не до тебя.

Она целовала его глаза, щеки, искала губы и пьяно твердила, навалившись грудью на его грудь:

— Господи Христе, грех-то какой, грех-то... Степа- нушка...

Зыков отбросил ее. Она уползла прочь, к мужу, сиде- ла скорчившись, сморкалась в розовую рубаху, плакала. Тереха храпел.

Пели петухи. В сенцах шарашилась первая жена хо- зяина, сорокалетняя забитая Лукерья. Она жила в другой половине, с двумя рябыми дочками, девками. Робко во- шла, стала затапливать печь.

Утром была готова баня. Зыков взял четверть вина и ушел париться. Баня просторная, с предбанником — Тереха Толстолобов любил пожить.

В предбаннике большой медвежонок на цепи. Он сидел на лавке по-собачьи и по-собачьи же чесал задней лапой ухо. Заурчал, соскочил и забился под лавку. Зеленым поблескивали сердитые таежные его глаза. Зыков обрадо- вался, улыбнулся:

— Мишка! — он вытащил его из-под лавки, медвежо- нок больно ударил его лапой, плюнул, как кот, и оскалил зубы.

Зыков снял с него цепь. Медвежонок весь ошетинился, опять юркнул под лавку. Зыков дал ему кусок хлеба, мед- вежонок отвернул морду, весь дрожал. Зыков смочил хлеб вином, зверь понюхал и съел.

Зыков разделся, взял веник, винтовку, безмен, писто- лет, кинжал и вошел внутрь. Хвостался веником не- милосердно, выходил валяться в снегу, опять хвостался, но сердце не утихало.

Пил.

Медвежонок лизал его широкие, болонастые ступни, просил вина. Пустой хлеб не жрал, с вином уплетал жад- но, рывкал, крутил мордой и чихал, глаза улыбочиво блес- тели, как желтые пуговицы под солнцем.

— Эх, звереныш ты мой, звереныш... Милый мой... Хо-

хочешь, поди, над Зыковым, над дураком бородатым? Хохочи, брат.. Я сам хохочу... Оба мы с тобой звери одинаковые.

Так прошло три дня, три ночи. Зыков жил в бане с медвежонком. Пил.

Голубыми лунными ночами под окном стоял кто-то живой, вздыхал, пристально стучал в морозное стекло.

И каждый раз хрипло раздавалось на всю баню:

— Степашка, уходи!

Зыкову не до Степаниды. Он неотрывно думал о белом доме в городке, о сероглазой девушке, каких больше нет на свете. И когда он пристально думал так, уперев воспаленный неверный взгляд в темный угол, вдруг в углу встала Таня. Тогда медвежонок, ощетинившись, быстро полз под лавку.

— Зыков, миленький!..

И в этот самый миг, там, в потухшем городке, возле теплой девичьей кровати, заслоняя головой огонек лампадки и весь мир,— выростал из полумрака Зыков:

— Танюха, голубица...

— Ах, зачем ты, мучитель, пришел ко мне?

— Я с ума схожу. Я как живую вижу тебя. Ой, девка...

— Тогда убей, как отца убил...

Тут заскрипела с хрустальной ручкой дверь, вошла в Татьянину спальню мать, медвежонок рывкнул, Зыков тряпичной рукой схватился за тряпичное сердце, застонал.

На четвертый день, рано поутру, он вышел из бани вновь бодрый, крепкий.

Наскоро поел капусты с луком, напился квасу и заседлал коня. Глаза его блестели решимостью.

— Прощай, Тереша,— сказал он.— В случае, спасаться к тебе приду. Не выдашь?

— Еще бы те. Ха! Да лучше пускай башку с моих плеч снимут.

— Слушай, Тереша, дело к тебе. Ежели у тебя одну, вроде монашку, можно приютить?

— Об этом сомневаться тебе не приходится. Привози,— и Тереха подмигнул.

Зыков погрозил с коня пальцем и поехал.

Тереха кряду же дал Степаниде трепку. Она бегала вокруг стола, вскакивала на лавки, кричала:

— Хошь печенки из меня все вымотай да изрежь —

люблю Зыкова! люблю, люблю, люблю, корявый черт! —
Через разодранную в клочья кофточку круглились голая
грудь ее и плечи.

— Поплевывает он на тебя. Сучка...

Зыков меж тем вернулся домой. Кержацкий медный
крест над воротами позеленел от ржавчины. И вся заимка
показалась Зыкову чужой.

Могила его отца уже покрыта была сугробом. Он на
могилу не пошел и со своей женой — жесток и груб.

Срамных боялся, что Зыков под горячую руку убьет
его, и действительно куда-то скрылся.

Зыков наводил порядок один. Он не слезал с коня,
всюду поспевал, объезжал заимки, звал кержаков и
крестьян обратно, грозил чехословаками, мадьярами, белы-
ми, красными, грозил красным петухом. Кой-кто из моло-
дежи снова потянулись к нему, но бородачи крепко заби-
лись в свои норы: слова старца Варфоломея и внезапная
таинственная смерть его сделали свое дело.

Народ в отряде теперь наполовину новый, пестрый по
думам и по мозолям на душе. Нужны были крутые меры
или разгульные набеги, иначе все превратится в грязь.

Мысли Зыкова качались, как весы: то подавленные,
угнетенные, то не в меру бурные, бешеные, как с гор вода.

Или вдруг взвихрит мечта: бросить все и тайком
умчаться в город, упасть на колени перед купеческой доч-
кой, вымолить прощенье и...

Как-то ночью, тайком, взошел в моленную, зажег свечу
у образа Спасителя, подошел к другому образу, зажег.
Первая свеча погасла, он снова зажег. Погасла вторая.
Зажег. Угасли обе — и сразу тьма.

Зыков смутился, руки с огнивом и кремнем задрожали.
В моленной плавал, дробясь и прерываясь, тихий-тихий
перезвон колоколов, кто-то стонет, умоляет о пощаде,
чьи-то хрустят кости, и два голоса еле слышно заливаются
во тьме, Зыкова и Ваньки Птахи: «...ает зелен виноград,
коренья бросает ко мне на кровать...» И еще девий голос:
«Зыков, Зыков, миленький...»

— Кха! — грозно и уверенно кашлянул Зыков. По
моленной пошли гулы, все смолкло, раскатилось, захохо-
тало, загайкало, вновь смолкло.

Плечи, грудь, сердце Зыкова опять стали как чугун.
Он живо высек огонь, шагнул к закапанному воском

подсвечнику. Свет неокрепшего огня резко колыхнулся и лег, словно кто дунул на него. У подсвечника стоял белый старик. Зыков вдруг отпрянул, упал на одно колено, вскочил и, вытянув вперед руки, не помня себя, бросился к выходу.

Дверь настезь. В моленной крутили вихри. И вслед беглецу, сквозь мрак, черное, пугающее, как мрак, несло:

— Христопродавец... Богоотступник... Проклинаю...

— Отец, отец...— хрипел, ринувшись во вьюжную ночь, Зыков. Волосы его шевелились, плечи сводило назад, живот и грудь сразу стали пустыми, обледенелыми.

Ночь была вьюжная, беззвездная. Гудели сосны, вихристый, взлохмаченный ветер выл и плакал, и нигде не видно сторожевых огней.

Зыков слег.

В бреду вскакивал с постели, кричал, чтоб горнист играл сбор: красные соединились с белыми, идут сюда, брат Зыкова. Иннокентьевна сбилась с ног: натирала мужа редечным соком, накидывала на голову древний плат от древнего Спасова образа.

В дом входили партизаны, шепотом разговаривали с Иннокентьевной, качали головами, уходили, совещались у костров, как бы не умер Зыков, что делать тогда, куда идти?

На четвертый день Зыков оправился. Он запер на замок моленную, ключ положил в карман и вечером, пред закатом солнца, пошел на погост, постоял в раздумье, без шапки над могилой отца. Молиться не хотелось, могила казалась чужой, враждебной.

Солнце светило по-весеннему, снег слепил глаза, Зыков щурился, косясь на черные кресты погоста.

И, проезжая среди полуразрушенных улиц, дядя Тани, Афанасий Николаевич Перепреев, тоже косился на черные кресты обгорелых церквей и колоколен.

При встрече плакали радостно, жутко, сиротливо. Всем семейством ходили на кладбище, молились могиле под широким деревянным крестом с врезанной в середку иконой Николая Чудотворца. Отец Петр служил панихиду. Неутешней всех была мать Тани: подкосились ноги, упала в снег.

Афанасий Николаевич сказал:

— Стратотерпец.

— Вот именно,— подхватил отец Петр.— Иже во святых надо полагать. А вот могила доктора с семьей. Он отравил десятилетнего сына, дочь, жену и сам отравился... Убоялся в лапы к Зыкову попасть... Жуть, жуть...

Таня утирала слезы белой муфтой. Верочка, закусив губы, смотрела в сторону, мускулы бледного ее лица дрожали.

Сорока с хохотом перелетела с березы на березу, синим, с блестками, дождем сыпался с сучьев снег.

— Все бегут на восток,— говорил дядя.— Войска, и за войсками— обыватели: торговцы, купечество, чиновники, ну, словом, буржуи, как теперь по-новому, и всякий люд. А что творится в вагонах... Битком... Не продохнешь... Боже мой, боже! Человек тут уж не человек. Звереет. Только себя знает. Вот, допустим, я. Человек я не злой, богобоязненный, а даже радовался, когда за окошко больных бросали. Ух ты, боже! Вот закроешь глаза, вспомнишь, так и закачаешься. Видишь, поседел как.

Афанасий Николаевич походил на Танина отца. Она шла с ним под руку, ласково прижималась к нему.

— А вам всем надо утекать,— говорил дядя.— А то придут красные— по головке не погладят вас.

Они были уже дома, раздевались.

— Куда ж бежать?— спросила Верочка.

— В Монголию. Выберемся на Чуйский тракт, а там через Кош-Агач, в Кобдо, в Улясутай.

— Дорогой убьют,— сказала мать.

В глазах Тани промелькнули огонь и дрожь.

— Мы поедem к Зыкову,— восторженно проговорила она.— Зыков даст нам охрану.

— Полно!— вскричала мать.— Опять Зыков? Постыдись...

— Да, да, Зыков!— выкрикивала Таня, и все лицо ее было как пожар.— Зыков спаситель наш.

— Что?! Спаситель?!— вскипела мать.— Несчастливая дрянь!

Таня вздрогнула, перекинула на грудь косы, нервно затеребила их:

— Люблю Зыкова! Люблю, люблю... К нему уеду... Вот!

Мать и в ярь и в слезы, мать пискливо кричала, топала каблуками в пол.

Таня заткнула уши, мотала головой:

— Люблю, люблю, люблю...

— Ах ты, проклятая девчонка!— и мать звонкую вле-

пила ей пощечину, и вторую, и третью.— На! На, паршив-ка! На!

Дядя растерянно стоял, разинув рот.

— Вот, полюбуйся на племянницу! — пронзительно закричала мать.— Вот какие нынче девки-то! — и, застонав, побежала грузно и неловко в спальню.

А подросток Верочка плевала на сестру, подносила к ее носу сухие кулачки:

— Разбойницей хочешь быть? Атаманшей?! Тьфу!

Вволю наплакавшись, Таня пошла на обрыв реки и долго глядела на скалистые, покрытые лесом берега, в ту сторону, куда скрылся черный всадник. Хоть бы еще разок увидеть его. Зыков, Зыков! Но напрасно она в тоске ломала руки: черному всаднику заказан сюда путь.

Черный всадник собирается в глубь Алтайских гор. Там, в монастыре, за белыми стенами, крепко сидели белые — пыль, шлак, отбросы — последний на Алтае колчакковский пошатнувшийся оплот. Они будут уничтожены, раздавлены, как клопы в щели: Зыков идет.

Таня видит его, Таня торопит родных с отъездом.

Перепреевы спешно распродали, раздали мебель, посуду, а сундук с ценными вещами закопали ночью в саду — Афанасий Николаевич до поту работал две ночи.

Ночью же, когда небо было темно от туч, за ними приехал из деревни приятель; они перерядились во все мужичье и, как мужики, выехали с мужиком из города.

Они ехали «по веревочке», от верного человека к верному человеку, у бывших покупателей своих, дружков, загишались по неделе.

На другой день их отъезда городок был занят красными. В весенних солнечных днях, на высоких струганых флагштоках, крепко, деловито заалел кумач. Власть тотчас же окунулась в дело, в жизнь. Но все было разбито, разграблено, сожжено, жителям грозил неминуемый голод.

А ну-ка! Кто хозяйничал?..

ГЛАВА XV

— Товарищ Васильев, приведите сюда того... как его... партизана, — распорядился начальник красного передового отряда Блохин.

Он был коренастый, черноусый, небольшого роста мо-

лодой человек, лицо сухое, нервное, утомленное, в прищуренных глазах настороженность и недоверие. Американская новая кожаная куртка, за желтым ремнем револьвер, американские желтые, с гетрами, штиблеты.

Ввели партизана. До полусмерти изувеченный, он две недели просидел в тюрьме. Левый глаз его выбит, голова обмотана грязной тряпкой. Торчат рыжие усы.

За столом, рядом с Блохиным, пятеро молодежи и один бородач, все в зимних шапках с ушами. Семь винтовок, дулом вперед, лежат на столе. Чернильница, бумага. Тот самый зал, где был последний митинг. На знамени вышито: «Вся власть Советам». В зеленых хвоях портрет Ленина. В этом зале в черные зыковские дни славно поработала ватага: не только стены, но и потолок густо обрызганы кровью казненных.

Входят с докладами и выходят красноармейцы. Двое с винтовками у дверей.

— Ваша фамилия, товарищ? — начинает Блохин допрос, обмакнув перо.

— Курицын Василий, по прозвищу Курица, извините, ваша честь,— поправляя грязную тряпицу на глазу, вяло ответил партизан.

— Вы из отряда Зыкова?

— Так точно. Из зыковского, правильно. Из его шайки.

— Какая была цель вашего прихода в город?

Курица хлопает правым глазом, трет ладонью усы и говорит:

— Порядок наводить.

— И что же, товарищ, по-вашему? Вы порядок навели?

— Так точно.

Блохин, улыбаясь, переглянулся с улыбнувшимися товарищами, а Курица сказал:

— Ваше благородие. Я дубом не могу, в стоячку. Я лучше сяду... Дюже заслаб. Голодом морили меня, не жравши. Вот они какие варнаки, здешние жители. Избили всего... почем зря. Терплю... А все чрез Зыкова... — он чвыкнул носом и, как слепой, пощупав руками стул, сел.

Бородач подошел к партизану, отвернул полу барнаульского полушубка, сунул ему бутылку водки и кусок хлеба:

— Подкрепись.

Курица забулькал из горлышка, крякнул и стал чавкать, давясь хлебом, как голодный пес. Лицо его сразу повеселело.

— Почему ваш отряд разрушил крепость, сжег иму-

щество республики, склады, монополию, дома граждан? Товарищ Курица, я вас спрашиваю.

— Чего-с?

Блохин повторил.

— А по приказу Зыкова,— привстал, почесался и опять сел Курица.— Он, проклятый Зыков, чтоб его чрез сапог в пятку язвило. Бей, говорит, в мою голову— я ответчик. Эвот я какой одежины через него мог лишиться: господская шуба с бобрячьим воротником. Вернул меня, Зыковскую площадь велел назвать... Вот я и назвал. Едва не уокошили. Очухался, гляжу— в тюрьме. А я уж думал, что померши. Вот как... хы!.. И глаз вышибли...— Голос его стал игривым.

— Где вы взяли шубу, товарищ?

— А так что нам Зыков дал.

— А вы кто? Чем занимались?

— То есть я? Мы займовались, известно дело, крестьянством. Всю жизнь на земле сидим. Из самой я из бедноты, можно сказать, дрянь мужик, самый бедный, из села Сростков... Поди, слыхали? Село наше возле, значит...

— А ведь ты, Курица, с каторги сбежал, из Александровской каторжной тюрьмы. Ты лжец!— и глаза Блохина из узеньких вдруг превратились в большие и колючие.

Курица завозился на стуле:

— Кто, я? Кто тебе сказал?

— Твой товарищ. Тоже партизан. И тоже картожник.

Курица вдруг ошалел. Вытаращенный глаз его завертелся, и все завертелось перед его взглядом: стол, комната, винтовки, серьезные вытянутые лица красноармейцев, а чернильница подскакивала и опять шлепалась на место.

— Какой такой товарищ? Врет! Как кликать, кто?

— Это тебя не касается,— рубил Блохин, пристукивая торцом карандаша в столешницу.— Откуда у тебя взялись часы, трое золотых часов,— тоже Зыков подарил?

— Не было у меня часов.

— Гражданин Стукачев!— крикнул Блохин.— Позовите гражданина Стукачева.

Тощий, как жердь, портной вошел, хрипло кашляя. Скопческое лицо его позеленело, сухие губы сердито жевали, поблескивали темные очки.

— Я его, подлеца, от смерти спас... А понапрасну, не надо бы их, злодеев, жалеть. Часы, вот они... В штанах нашли у разбойника.

— Засохни, кляуза!— крикнул Курица и закачал с угрозой шершавым кулаком.— Вот Зыков придет, он те...

Да и прочих которых не помирует, всех под лед спустит... хы! Начальнички тоже...

— Молчать! — прозвенело от стола.

Опрашивались еще свидетели, вместе с отцом Петром Троицким.

Дыхание отца Петра короткое, речь путаная, сладкая, священник волновался. Он красную власть почитает, он всегда был сторонник силы и справедливости, так как лозунги Советской власти, поскольку ему известно из газет и отрывочных слухов, всецело совпадают с заветами Евангелия. К белым же он совершенно равнодушен: ибо полное их неумение властвовать и воплощать в себе государственную силу привели к такому трагическому состоянию богохранимый град сей. А Зыков, что же про него сказать? Сектант, бывший острожник, изувер, человек жестокий, властный, якобы одержимый идеей восстановить на Руси древнее благочестие. Но отец Петр этому не верит, ибо дела сего отщепенца не изобличают в нем религиозного фанатика. Напротив, в нем нечто от Пугачева. И ежели глубоко уважаемые товарищи изволят припомнить творение величайшего нашего поэта Александра Пушкина...

— Ну, положим... — иронически протянул Блохин и прищурился на покрасневшего попика.

— Совершенно верно, совершенно верно! — поспешно воскликнул попик. — Я не про то... Я, так сказать, с исторической точки зрения... Конечно же, Пушкин дворянских кровей и в наши дни был бы абсолютным белогвардейцем. И конечно, понес бы заслуженную кару... Яснее ясного.

Блохин, нагнувшись, писал. Красноармейцы зверски дымили махрой. За окнами уже серел вечер и чирикали воробьи. Курица икал, прикрывая ладонью рот, глаз его сонно слипался, подремывал.

— Гражданин Троицкий и вы, граждане, можете идти домой.

Подобострастный поклон отца Петра, торопливые шаги нескольких ног, независимые удары палкой в пол уходящего портного.

— Гражданин Курицын...

Одинокий партизан еле поднял плененную сном голову и вытянул шею. Блохин что-то читал, голос его гудел в опустевшем зале. И когда с треском разорвалось: «Расстрелять!» — Курица крикнул:

— Кого? Меня?! — голова его быстро втянулась в плечи, опять выпрыгнула, и он повалился на колени. — Брат-

цы, голубчики!.. Начальнички миленькие...— тряпка сползла с головы, глазная впадина безобразно зияла.

— Но, принимая во внимание...

Курица хныкал и слюнявил пол, подшитые валенки его, густо окрашенные человеческой кровью, задниками глядели в потолок. Когда его подняли и подвели к столу, он утирал кулаком слезы и от сильной дрожи корчился.

— Курица и есть,— сказал бородач.— А еще водкой его угостил...

Курице сунули запечатанный конверт, что-то приказывали, грозили под самым носом пальцем. Весь изогнувшийся, привставший, Блохин тряс револьвером, кричал:

— Понял?

— Понял... Так-так... Так-так...— такал Курица, ничего не видя, ничего не понимая.

Его увела стража.

— Приведите этого... как его... Товарищ Васильев! Приведите другого зыковского партизана, горбуна.

В комнату, враскорячку и сопя, ввалился безобразный человек. Блохин исподлобья взглянул на него, брезгливо сморщился и звеняще крикнул:

— Имя!

Отец же Петр, кушая с квасом толокно, говорил жене:

— Пока что обращение вежливое... Надо, в порядке дисциплины, предложить свой труд по гражданской части. Интеллигенции совсем не стало,— и громыхнул басом на Васю, сынишку своего: — Жри, сукин сын! Жулик...

Вася, худой как лисенок, давится слезами, тычет ложкой в миску, давится толокном, чрез силу ест. После горячей порки ему очень больно сидеть.

Вот весной Вася угонит чью-либо лодку, уедет к Зыкову. Отца он ненавидит и на мать смотрит с презреньем: с толстогубым партизаном столько времени валандалась. Толстогубый парень, как спускался с лестницы, подарил Васе будильник и еще бронзовую собачку, очень красивенькую: «На, кутейничек. Я на твоей мамке вроде оженившись». Так и сказал парень, ноздри у парня кверху и глаза как у кота, Вася это хорошо запомнил. Вася совсем даже не жулик, раз подарили... А к Зыкову он уедет обязательно. Зыков по лесам рыщет, а в лесах медведи, черти, лешие... Вот бы сделаться разбойником. Ну и занятная книжка — «Разбойник Чуркин». Книжку эту и другие разные сказки он добывал у Тани Перепреовой. Вася очень любит сказки.

Любит сказки про богатырей и купеческая дочка Таня. Ха, быть любушкой богатыря, ходить в жемчугах, в парчах, спать в шатрах ковровых среди лесов, среди полей, будить рано поутру своего дружка заветного сладким поцелуем!..

И от страшной кровавой были Таня Перепреева, большеглазая монашка, едет в голубую неведомую сказку, чрез седой туман, чрез белые сугробы, чрез свое девичье сказочное сердце... «Зыков, Зыков, миленький».

Зыков, сам сказка, весь из чугуна и воли, с дружиной торопится в поход. Но вот задержка: надо отправить жену, Анну Иннокентьевну, в дальнюю займку, здесь опасно, да и с глаз долой... Анна Иннокентьевна плачет. Как она расстанется с ним? Но пять возов уже нагружены добром, и ямщики откармливают коней.

— Знаю... с девчонкой снюхался... Эх, ты! — корит его Анна Иннокентьевна.

Зыков топает в пол, стены трясутся.

Иннокентьевна вздрагивает и под свирепым взглядом немеет.

А по гладкой речной дороге едут всадники: Курица и три красноармейца. Они нагоняют подводу. В кошеве мужик, баба и два парня. Один глазастый и такой писанный, ну, прямо — патрет. Только ничего не говорит, немой... рукой маячит, а сам в воротник нос утыкает, будто прячется.

— Путем-дорогой! — кричит Курица, он норовит завести разговор, но красноармейцы подгоняют.

Едут вперед и долго оглядываются на отставшую кошеву.

— ...Здорово, Зыков!.. Вот бумага тебе от начальства...

Курица потряс конвертом, голос его был с злорадным холодком.

В горнице пусто, как в обокраденном амбаре. Хозяйки нет. За пустым столом, среди голых стен, сидели четверо приехавших и Зыков.

— Начальник тебя в город требует... Немедля... Теперича, брат, новая власть, а ты так себе... — говорил Курица, часто взмигивая глазом.

Красноармеец сказал:

— Нам желательно выяснить вашу платформу, товарищ Зыков. Кто вы, большевик или не большевик?.. Вашу тактику... Начальство желает...

У Зыкова грудь, как наковальня, и руки, как сваи. Он молча вскрывает конверт и близко поднес к глазам

бумагу. Два раза перечел, потом, не торопясь, разорвал ее надвое.— Что ты делаешь! Зыков! — разорвал вдребезги и бросил на пол.

— Писал писака,— сказал он, громыхая,— а звать его — собака. Так прямо ему и передайте.

Три груди усиленно дышали. Торопливо проскрипели под окном шаги.

— Тогда мы вас должны арестовать...

— Так арестуйте! — Зыков разом опрокинул вверх ногами стол и поднялся головой под потолок.

Красноармейцы схватились за винтовки, Зыков за безмен. Курица сиганул к печке, кричал куриным криком:

— Ребята, не трог его, не трог!.. В святку расшибет.

— Начальство?! — чугунный Зыков швырял, как ядра, чугунные слова.— Над Зыковым нет начальства! Зыков сам себе царь!

— Товарищ Зыков, товарищ Зыков... — стучали зубами красноармейцы.— Нам велено...

— Положить винтовки,— властно приказал Зыков и порлиному глянул им в глаза.

Послушно, как напуганные дети, сразу обратившись в детей, три молодых парня выпустили из рук ружья и стали во фронт, каблук в каблук.

Зыков не торопясь зашагал к двери. Им показалось, что прошел мимо них поднявшийся на дыбы конь, и горница враз стала тесной, маленькой.

— Эй! — крикнул Зыков за дверь и — вбежавшим людям: — Этих взять под караул. Напоить, накормить. Утром отправить в обратный путь. С Курицы чалпан долой... Чтоб другой раз не попадал в руки кому не следует. Башку показать мне.

Курица взвизгнул и, лишившись чувств, пластом растянулся на полу.

ГЛАВА XVI

Меж тем ударила весенняя ростепель, с круч бешено поскакали водопады, и проснувшиеся горные речонки пьяно взбушевали, срывая трухлявые мосты.

Горные дороги рухнули, и семейство Перепревых надолго осело в глухой заимке верного сибиряка-старожила Тельных.

Родные глаз не спускали с Тани, по ночам караулили ее, Таня караулила весенние ночи: господи, сколько в

небе звезд, и как по-новому, напевно и страстно, шумят в ночи сосны! Нет, не укараулить Таню: сосны влекут куда-то, манят Таню в голубую сказочную даль.

А в голубой дали, не в сказке, там, за горами, у белых стен монастыря, бесшабашная дружина Зыкова дружно выбивает из монастырских закоулков, как тараканов из избы, остатки карательного белого отряда.

Не одна уже была стычка, зыковская дружина поредела — кто убит, кто бежал, кто умирает, но и вражеских трупов, вперемежку с партизанами, не мало чернеет на посиневших снегах, среди остросребрых скал, меж стволами хвойных, пахучих по весне лесов.

И сосны, как свечи, аромат их — надгробный ладан, ветер панихидно шуршит в густых ветвях, и отъевшееся коршунье важно похаживает среди поверженной рати мертвецов. Вот коршун на груди безглазого, безносого, бесщеккого офицера, на груди золотятся под солнцем пуговицы, и сверкает под солнцем золотой погон, коршун повертывает голову вправо-влево, блестит бисером любопытствующих глаз, любит на золотые кружочки: — кар-кар! — и — клевать... Нет, не вкусно.

Но вкусно ли было отважным зыковским бойцам переть на себе за сорок верст грузную, когда-то отбитую у чехословаков пушку — по горам, по сугробам, чрез кручи, ущелья, чрез убойный надрыв и смерть?

А все ж таки приперли, вкартечили в гнездо двадцать два заряда, ухнули бомбой, и белые стены выкинули белый капутный флаг.

Спервоначально крестьяне были рады: «Зыков, батюшка... Избавитель наш, заступничек...»

Осада длилась две недели. Зыковские кучки обирали купцов по богатым алтайским селам: надобен фураж, надобна жратва людям, надо всякой всячины, конь храмлет — коня давай. Потом добрались до богатых крестьян и, в конце, уже стали шупать средняков. Бедноты же, как известно, в Сибири мало, поэтому зароптал на Зыкова, озлился без малого весь Алтай, имя Зыкова стало пугалом, и толстомясые бабы стращали ребятишек:

— Ужо тебя, паскуду, Зыков-то... ужо...

Старушонки же шипели:

— Антихрист... Церкви рушит. Эвот в Майме колокольню, сказывают, скovyрнул. Жига-а-ан такой!..

И все как-то случилось быстро, непонятно, глупо. Шмыгал. всюду какой-то вислоухий, черный, обросший щетиной карапуз, черкес не черкес — должно быть, чех — а может, и русской матери ублюдок. Шмыгал, нюхал, шушукался с крестьянами, с бабьем. Ага! Зыков победу справлять намерен.

И какие-то галопом пронеслись нездешние всадники из пади в падь, из тропы в тропу, а то и по большой дороге кавалькадой в вечерней мгле. Им вдогонку, в спины, летят от сторожевых костров партизанские пули. Эх, дьяволы-ы-ы!..

И вот широкое сибирское разливное гулевань. Мужики радехоньки, пивов наварили, — Зыков уходит, так его растак... Ребята, чествуй!

И к концу гулеванья, в тот час, когда особенно тосковало сердце Зыкова, — вдруг на улице: стрельба, гик, сабли, грохот, треск ручных бомб, вопли, стоны, матерщина.

Зыкова белые брали в избе. Вломилась целая орда морд, криков, блеснули стволы направленных в грудь револьверов, блеснули погоны, закорючились черные усы, и сотни глаз выкатывались от ярости.

— Стой! Ни с места! Руки вверх!!

Зыков мигом загасил огонь. Сразу тьма. Хозяева с гвалтом — опрёметью вон. Затрещали выстрелы. Зыков поймал, рванул от пола трехпудовую, из кедрача, скамью:

— Богу молись, анафемы!! — и, круша головы, как горшки, взмахивал скамьей с сатанинской силой. Пахло порохом, бесцельно трещали перепуганные выстрелы, теменьская темь качалась, ойкала, визжала, плевалась кровью, кричала караул.

Он вышиб обе рамы, выскочил на улицу и под выстрелами белых, в одной рубахе, бросился бежать чрез огороды в лес.

Погоня сначала потеряла его из виду, но в небесах выутривал рассвет, и Зыков, стоя на скале, бросал вниз, как ядра, чугунные слова:

— Врешь! Врешь, белая сволочь! Я еще вам покажу-у...

«Жжу-жжу!» — жухали возле его головы десятки пуль.

— Врешь!.. Меня пуля не берет... Завороженный! — и тряс кулаками, и еще громче кричал на весь Алтай.

Он лазит по горным тропам и бомам, как горный козел-яман. За ним покарабкались было трое, но страх магнитом потянул их вниз.

Солнце встало, и снежные вершины обагрились.

Зыков спустился в долину речушки, добежал до стога и забился в сено, в самый низ. Ему показалось, что он не озяб, он был внутренне спокоен, до конца владел собой, но вот, когда уж обогрелся, его проняла такая дрожь, он так трясся и подпрыгивал, щелкая зубами, что стожище сена дрожало и щетинилось, как огромный еж.

ГЛАВА XVII

— А ты, Зыков-батюшка, Степан Варфоломеич, на тракт не выезжай, горами дуй... Поди, возле Турачака чрез Бию и по льду переберешься. Поди, коня-то вздымет... Все ж таки поостерегись.

Зыков сидел верхом на буланом жеребце. Черного своего коня он потерял. Одет он в нагольный овчинный пиджак, на голове черная папаха с золотым позументом наверху. Папаху он стащил с какого-то мертвеца, попавшего под ноги во вчерашнем беге. Безмен, винтовку, пистолет Зыков тоже потерял, остался один кинжал. Лицо его грустно и болезненно, под глазами мешки.

— Ежели встретишь кого наших, чтоб летели к моей заимке. Главная сила у меня там осталась. Всем так толкуй... Прощай, Михайло.

И жеребец понес всадника к востоку.

Дорога была убойна, версты длинные, но Зыков хорошо знал Алтай и ехал уверенно. По ночам заезжал на заимки и в деревни к знакомым мужикам, обращался с горячим призывом слать к нему людей, но получал отпор. В одной деревне такие слышал речи.

Краснобородый, с красными нажеванными щеками крестьянин недружелюбно говорил:

— А ты, Зыков, нешто не слыхал про повстанческий Ануйский съезд в прошлом годе, в сентябре? Мы за порядок стоим, а не за погром. Погромом ничего не взять, Зыков. Дисциплина должна быть, чтоб по всей строгости ответственность, тогда и жизнь наладить можно... Нешто не читал прокламаций крестьянской повстанческой нашей армии?

— А ты моих прокламаций не читал? — спросил Зыков.

— Знаем твои прокламации: замест города головешки одни торчат.

— А где ваша повстанческая армия? — запальчиво крикнул Зыков. — Колчак пух из нее пустил!

— На то божья воля.

— Нет, братцы! Еще рылом не вышли. А вот идите ко мне... Подбивайте людей, чтоб шли.

— Едва ли, Зыков, пойдут. Накуролесили твои шибко, — сказал седой, осанистый старик. — Да слышать, будто красные повсеместно укрепляются. Колчаковцы хвост показали.

— Будем за правду стоять, — горячо возражал Зыков. — А про красных погоди толковать... Еще неизвестно. Я и Ленина поправлю.

Мрачный, встревоженный едет Зыков. Своих не видно. Неужто рассыпались, как стадо баранов, и забыли про него? Тогда он бросится к Монголии, бросится в Минусу, там наберет себе ватагу. Зыков жив, и дела его прогремят по всей земле.

Заезжал к кержакам, молодежь от него пряталась, удирали в лес, будто по дрова, по сено, старики же награждали Зыкова всем, чем хочешь, просили погостить. Но гостить некогда, солнце работало вовсю. Да и речи стариков были с подковыркой.

На прощанье язвительно кидали старики:

— Слышали, слышали про старца-то Варфоломея, родителя-то твоего. А впрочем сказать, мало ль что болтают зря...

Через Бию переправился по льду пешим, и то едва-едва, бросал под ноги доски. Буланого жеребца пришлось бросить. В Турачаке Зыков получил в подарок белого крупного коня и винтовку с патронами. Подарил беглый солдат Матюхин, обещал — вот маленько отдохнет — приехать к нему на службу. Это обязательно, и, пожалуй, еще народу приведет. Что касасемо красных, власть очень крутая, говорят. Пожалуй, зыковской ватаги не потерпит.

— Черта с два! — и Зыков надменно потряс нагайкой. — Красная власть... Ха!.. Я сам власть. Две тыщи под верхом у меня коней было. Это не власть тебе?

За Бией он ехал открыто, по дороге.

С полей согнало снег, только северные склоны гор были еще в белых шубах, бурые луговины зеленели, кой-где цвели холодные фиалки, и робкими огоньками желтели лютики. Гогот гусей и журавлиное курлыкание падали на землю вместе с лучами солнца, как радостный крик возвратившегося из-под морей изгнанника. Зыков вскидывал к небу глаза, искал вольные стаи птиц, но сердце его

было в тоске и холоде. Как, однако, плохо одному. К жене, что ли? Нет. К Степаниде?

Зыков задумался, опустил голову, опустил поводья.

И вот вышла из лесу Таня, вся в цветах, одетая, как монашка, на голове из цветов венки, в руках восковая красная свеча.

«Зыков, миленький».

— Таня? Как ты?

«Убежала к тебе... Убей либо полюби... Люблю тебя».

Зыков едет дальше, и перед ним Таня, будто плывет по воздуху, легкая, большеглазая, лицом к нему: «Люблю тебя».

Зыков подымает голову, озирается и горестно хохочет. Эх, если б Таня живая, настоящая, вот за кого Зыков сложил бы голову свою... Эх...

Нет, нет, Зыков должен быть один, прочь дьяволово наваждение.

А дом, своя заимка все ближе. Наверное, там люди поджидают его. Подберет самую головку, отборных, испытанных вояк. Его дружина будет как камень, как пламя, как лавина с гор. Чует Зыков, что с красными ему доведется в перетык вступить. Ну, что ж!..

И верно: со всех концов летели на него доносы в центр, туда, сюда: «Зыков, правда, бьет белых, но он же мытарит и мужиков. Кто хуже, Зыков или белые? Оба хуже. Власть Советов, спасай народ!»

Вечер. Солнце огрузло, опустилось в горы, стало холодно. Воздух чист, прозрачен. Далекое, за полсотни верст, хребты казались тут же, рядом, хватай рукой.

Он спускался в глубокую котловину. Дно котловины зеленеет свежими всходами, в середине, в еще оголенной роще, группа просторных изб — кержацкая богатая заимка.

Суббота. Он слез с коня и, пошатываясь от засевшей в нем болезни, вошел в моленную.

Огоньки, пение, народ — мирный, родной — и пахнет ладаном. Он принюхался: да, не порох — ладан, и горящие свечи — не разбойничьи костры, и свой знакомый старый бог, свой, кержацкий. И ему захотелось молитвы, слез: вот так упасть на колени и плакать, и каяться в грехах, молиться о своей собственной судьбе, плакать и просить бога о своем личном счастье: «Дай, боже, усладу дням подлого раба твоего, Стефана».

Сердце стонало от боли, и душа вся избита, обморожена. Народ поет стихиры, старец возглашает и кадит, звякает кадилница, и Зыкову мерещится, что это панихида, что он, Зыков, лежит в гробу, в гроб заколачивают гвозди, народ с возжженными свечами отдает последнее рыдание, еще маленько, и мертвец будет опущен в землю. А-ах...

...Он схватил скамью и вдребезги расшибает врагов своих, крик, стоны, гвалт, черный конь мчит Зыкова сквозь пули, огонь, вой вихря и — стоп! — отлетела голова. Наперсток гекнул, гекнула вся площадь — «гек» — и отлетела голова. А конь мчит дальше, черный, как черт с горящими глазами, как у черта — стоп! — тот самый дом, любезный Танин дом, и Танин голос рыдает надгробно вместе с другими голосами. Гроб. Он, Зыков, лежит в гробу, скрестив на груди руки.

— Не хочу умирать,— боднув головой, резко прошептал он.

На него оглянулись. Холодный пот покрывал его лицо.

Кругом все то же: свой старый бог, тихие огни, тихий и торжественный голос старца. Зыков вздохнул всей грудью и перекрестился.

После службы все расселись на приступках крыльца, на бревнах. Зыков затеял разговор, наблюдая, как относятся к нему одноверцы. Шумело, позванивало в ушах, и зябучая дрожь прокатывалась по спине.

— Здорово, Зыков,— мягким тенорком проговорил маленький брюхастый, он встряхнул льняными волосами и сел в ноги у Зыкова, прямо на землю. Лицо у него рябое, с толстыми побуревшими щеками, глаза блеклые, безбровые.

— Ты откуда? Не знаю тебя...— проговорил Зыков, и что-то шевельнулось у него внутри.

— Я дальний, с Минусы... Федосеевского толку. Ну-ка, скажи, Зыков, пожалуйста: за кого ты воюешь, за старую веру, что ли?

— А ты как сюда попал? — допытывал Зыков.— Как узнал про меня?

— Да случай, случай, батюшка Зыков, случай, отец родной... Пасечник я, пчелку божию уважаю, ах, благодатный зверек Христов... Ну, разорили меня всего эти самые белые, пасеку разбили, ста полтора ульев... А у меня возле вашего городошки братейник, тоже пасечник... Я к нему. Как глянул в городке, чье дело? Зыкова. Одобрил, потому церкви никонианцев жегчи надо и духовным огнем и ве-

щественным... Так-то вот.— Он помолчал, снял черную шляпу, повертел ее на пальце, опять надел.— А ведь красные-то, большевики-то, бога совсем не признают. Ни русского, ни татарского аллу, ни жидовского. Во, брат...

— Неужто? — встрепенулся Зыков.

— Говорю, как печатаю: верно. А у них свой бог — Марс, хотя тоже из евреев, с бородищей, сказывают, но все ж таки в немецком спинжаке. Во, брат...

— Ежели не врешь,— сказал Зыков, скосив на него глаза,— я за веру свою старую умру.

— А красные? Значит, ты насупротив красных?

Зыков медлил, чернобородый сосед предупреждающе толкнул его локтем в бок.

Зыков отрубил:

— Прямо тебе скажу — не знаю, за что красные; я — за бога,— и встал.

Рябой, посопев, нахлобучил шапку на уши, протянул — Та-а-ак...

Зыкову почему-то вдруг захотелось схватить его за горло и придушить.

Легли спать на полу, на сене. Рябой кержачишка тоже лег.

Ночью Зыков спал плохо, охал. Видел путанные сны: то он голый лезет в прорубь, то в царской одежде, в золотом венце объявляет, что он — медвежачий царь, и берет себе в жены молодую киргизку, дочь луны, но из бани ползет змея и холодным липким кольцом обвивает его шею. Он стонет, открывает глаза и просит пить.

«Заколел тогда, прозяб, немогота приключилась», — думает он.

Рябой исчез. Недаром ночью лаяли собаки.

Утром чернобородый кержак сказал тревожно:

— А езжай-ка, ты, Зыков-батюшка, поскорейка к себе.

— А что?

— Да так... Рябой чего-то путал... Путем не объяснил, а так... оки-моки... Да и какой он, к матери, кержак... Перевертень... Так, сдается — подосланец.

Зыков затеребил бороду, крикнул и быстро стал собираться.

— С оглядкой езжай,— предостерегал чернобородый,— оборони бог, скрадом возьмут, в горах недолго...

— Больно я их боюсь,— сказал Зыков и поехал к дому.

Голова была пустая, тяжелая, и мысли, как сухой осенний лист, кружились в ней, шумя. Сердце все так же неотвязно ныло. Облик Тани вонзился в него, как в мед-

вежью лапу заноза: досадно, больно, тяжело жить. А тут еще этот черт, рябой.

День был серый, в облаках, изредка падали дождевики, и с дождевиками падали трельные переливы висевших над полями жаворонков. Дорога кой-где пылила: встречались таратайки, верховые. Зыков круто сворачивал тогда и, притаившись, выжидал.

Поздний вечер. Каменный кряж пресек дорогу. В скале проделан узкий ход. Копыта четко бьют о камень. Камень черный, и в узком проходе — ночь, черно. Зыков приготовил винтовку и чутко напрягает слух. В черном мраке навстречу цокают копыта. И в камне раскатилось зыковское:

— Держи правей...

Встречные копыта онемели. Зыков взвел винтовку и процокал вперед. Молчание. Слева кто-то продышал во тьме, всхрапнула лошадь. «Притаился, дьявол... Целит...» — оторопело подумал Зыков и приник к шее своего коня. «Вот, сейчас...» Испугавшаяся кровь быстро отхлынула к сердцу.

Но засерел выход. Зыков ошпарил коня нагайкой — и вскачь.

А вдогонку с ужасом, с отчаянием:

— Зыков, ты?! Стой, стой!!

Но пыль из-под копыт крутила вихрем, скрывая скачущего всадника.

Парень долго гнался, потом остановил запыхавшуюся свою клячку и заплакал. Он плакал навзрыд, с отчаянием и, как безумный, вскидывал руки к небу. Он ничего не слышал, ничего не видел перед собой, весь свет враз замкнулся для него.

Парень повернул лошадь, въехал, все так же по-женски плача, на гребень скалы, слез с седла и подошел к краю пропасти.

Вот он, узкий, темный, высеченный в скале проход, где они только что встретились с Зыковым.

Парень заглянул вниз, в страшный сырой провал, куда сейчас кинется он вниз головой, на камни. «Степан не вернется, Степана убьют...» Сердце его сжалось. И только в этот миг в сердце Зыкова ударил бешеным бичом огонь. На всем скаку кто-то резко рванул его коня, и конь помчал всадника обратно.

Парень отступил несколько шагов, чтоб разбежаться,

чтоб броситься в смерть: «Прощай, Степан Варфоломеич...»

И — вдруг:

— Эй, парнишка!

Парень оцепенел.

— Зыков, миленький!!

Все горы перед Зыковым вдруг заколыбались.

— Танюха! Ты?!

— Степан! Голубчик!.. Ведь ты на смерть поехал!

— Как?

— Твою заимку красные взяли. Большой отряд, человек с сотню... Пулеметов много, пушка. Тебя стерегут... Бой был. Скорей, скорей отсюда!..

— А где ж мои все?

— Твои убежали кто куда.

Зыков побагровел. Белый конь его тяжело водил взмыленными боками.

ГЛАВА XVIII

Когда выбрались на дорогу, наступила ночь, звездная, весенняя, в сыпучем золотом песке.

— Там келья для тебя, место скрытное. Не опасайся.

Та же ночь висела и над городком, над заимкой Зыкова, над всей землей.

И попадья впервые в эту ночь решилась признаться мужу:

— А ведь я, батька, понесла...

— Ну? — и отец Петр радостно перекрестился.

— Уж три месяца, отец.

Батюшка встал, благословил утробу супруги своей и в одном белье опустился перед образом на колени. Молитва его была не горяча, а пламенна: ведь так ему хотелось иметь второе чадо. Девять лет пустовало чрево жены его, и на десятый год разрешено бысть от неплодия. Боже, боже...

Матушка слушала слова молитвы и не слыхала их. И в эту минуту особенно остро встал перед ней вопрос: чье же дитя зреет у нее под сердцем? За упокой души раба божия новопреставленного Федора Петровича она молиться будет обязательно, а вот другой раб божий, парень, помер или жив?

Настя тоже три месяца как понесла, но об этом — ни гугу. Господи, хоть бы муж не возвращался, господи... Убьет. Настя, как и попадья, тоже не знала, чье дитя зре-

ет у нее под сердцем. Придушить его, родненького, маленького, или оставить — пускай живет.

А ночь шла, катились звезды, золотой песок дрожал сверху и сыпался на землю.

Зыков вскидывал к небу глаза, золотые песчинки залетали в сердце, и так хорошо было сердцу в этот миг. Зыкова охватило свежее, небывалое, такое непонятное чувство. Он пытался побороть себя, и не хотелось бороться. Он дышал порывисто, закусывал губы, кричал, но у сердца свои законы, и даже чугунное сердце не в силах превозмочь вдруг вздыбившейся любви. Зыков дрожал, и в его сильных руках дрожала Таня.

Белый конь ступал тяжело, как литая сталь. Сзади серой мышью тащилась пустая кляча.

Таня прижималась к Зыкову. Он целовал ее в лоб, в глаза.

Оба молчали, и все молчало кругом: горы, леса, золотозвездная ночь, только бессонная речонка, разрывая о камни бегучую грудь свою, стонала в горах, плакала, кого-то кляла.

И настроение Зыкова быстро сменилось, короткие сладостные порывы уступали место гнетущему отчаянию. Ошеломляющее известие Тани хлестнуло по его душе, как по одинокому кедру ураган, корни лопнули, Зыков оторвался от земли, и вот жизнь его вдруг вся покривилась, покачнулась, падает, словно подрубленная колокольня. Как? Неужели его колокол отзвонил и навеки умолкла труба горниста?

Может быть, вырвать из сердца занозу — будет больно, ну, что ж? — Зыков начнет все снова... эх, придушить девчонку, что дрожит в его руках... Черт ли, девка ли, может, волшебница с приворотным зельем — раз и навсегда!

А что же дальше? Нет, не в девчонке дело, не здесь застряла окаянная, трижды проклятая судьба его.

Внутренним оком он озирается назад. Там, в туманных прошлых днях — крепкий царев острог. За правду, за веру, за смелые слова, по сыску попов и начальства гоняли его, как собаку, из тюрьмы в тюрьму. А кончил высидку — по Руси бродяжил, по Сибири, узнавал людей. «Эх, с этим бы народом, да раскачку. Уж и грохнул бы я ручищей по земле!» Потом подошла война, и за войной — пых-трах: вздыбил народ — мятеж, огонь и буря.

И вот Зыков снова родился в мятежной буре и услышал в своей душе приказ: «Встань на защиту рабов, бо-

рись за правду, а правда и бог одно — борись за бога». Как осколок корабля он был выброшен бурей на скалу. И гулко прогремел его призывный смелый клич: «Кто за простой люд, за обиженных? кто за правду?.. Эй, братья! все ко мне!»

Зыков думал — нет правды без бога, и бог без правды мертв есть. И как думал, так и делал: за старого бога, за правду, за угнетенный люд! Он все бросил, все спалил, что было назади, обрек себя на страшный бой, и карающий меч его не боялся крови. За бога, за новую правду! Буря, и кровь, и огонь, не страшно, не грех — так надо. Бурей носился по Алтаю Зыков, старый отец бросил ему: «Назад! Богоотступник!» — смерть отцу! И вот отец убит.

Все, все принес Зыков в жертву новой правде, — покой, богатство, даже отца убил. А дальше?

Дальше — ночь, горы, звезды, и дорога пошла в подъем.

В нем все дрожит, мутится. Там, у грани каменной пропасти, где они встретились с Таней, Зыков узнал от нее, что красные ищут арестовать и убить его. О, Зыкова не так-то легко схватить. Пусть попробуют. Но за что, за что?

В Зыкове все дрожит, мутится. Конь напрягает мускулы, дорога идет в подъем, но душа Зыкова неудержимо лезет в преисподнюю.

— Танюха, голубонька моя, — начинает он тихо и не может, не знает, какие надо говорить слова. — Придем, я тебе буду сказывать сказки. Я знаю занятную сказку про славного вора и разбойника Ваньку Каина.

— Ты сам — сказка.

— Я — черт.

— Ты для меня бог.

— Пошто этакое святое слово вспоминаешь?.. Я совсем сшибся с панталыку, округовел. И сам не знаю теперича, кто я.

Таня прижалась правой щекой к его груди, и когда Зыков говорит, его грудь гудит и ухаает, как соборный колокол. Тане тепло возле большого сильного тела. Тане беззаботно, радостно: Зыков с ней. И не жаль ей ни мать, ни сестру, ни дядю.

Долго Зыков говорит, потом едут в молчании — Таня дремлет. Он что-то спросил, в его голосе ожидание и ро-

бость, Таня поймала сердцем, открыла глаза, думает, как ответить.

— У них своя вера, земная... — говорит она.

— Так, так...

— Когда я училась в губернском городе в гимназии... Недолго я училась, три зимы всего... А брат мой Николенька был техник. Пропал куда-то он. Как настала революция — ни словечка не писал нам. Ну, вот. А жили мы с ним вместе. Студенты к нам захаживали, революционерами считали себя, сходки там, выпивка, запрещенные песни. Что говорили, не помню ничего, да и не понимала тогда. Только хорошо помню, что бога они не признавали. Бабы сказки, мол, чушь. Вот так же и большевики.

— Ну? Неужто? — грудь Зыкова загудела, и загудели горы.

— Это — ничего... У них своя религия... Своя правда. Всяк по своей правде должен жить.

— Угу,— сказал Зыков, и горы сказали «угу». Зыков добавил: — У них своя правда, у меня своя. Лоб в лоб друг другу смотрим, а хвостами врозь.

Мускулы лица его судорожно играли, меж сдвинутых бровей углубилась складка, он тяжело вздохнул, присвистнул и ударил коня.

Небо бледнело. Звезды скрывались вместе с тьмой. Неуверенно пропорхнула полуночная птица. Где-то вдали кричал марал, и крик его, как мяч, перебрасывался от горы к горе.

Зыков понял, что все для него кончено теперь. Значит; прав подосланный перевертень, рябой кержачишка — для новой власти бога нет. Ага!

И неожиданно:

— А ты, Танюха, боишься смерти?

Таня не сразу поняла.

— Боюсь,— передохнув, сказала она, и еще сказала: — При тебе — нет.

Он опять роняет: «угу», и долго едут молча.

Он, в сущности, не молчит, он в молчанье спорит сам с собой, задает вопросы, соглашается, молча опровергает себя, иногда громко восклицает:

— О, черт!

Тогда Таня открывает глаза, ей очень захотелось перед утром спать, она так за последние дни истомилась.

И на главный вопрос свой Зыков никак не может подыскать ответа. Сначала, с прошлого года, было так просто и ясно все: он бил белых, бил чехословаков, мстил

попам, богачам и власть имущим, он стоял за правду. Он чуял и знал, что оттуда, из-за Уральских гор, идет и придет сюда сильная рать, с той же самой, с его, зыковской правдой. Вот рать пришла и принесла с собою свою, новую, не зыковскую правду. Да разве две на свете правды? Нет, вся правда у Зыкова, потому что он с богом, те же — без бога, и в их делах, в их сердце — ложь. Так или не так? Кто даст ответ ему?

Он не верит сам себе, и его душу раздирает смертельная тоска.

А дорога подошла к отвесной скале и отсюда по узкому карнизу-бому будет идти версты две над мрачной бездной.

— Танюха, лебедка белая,— ласково говорит он,— а ведь тебе на свою клячонку придется сесть. Здесь дюже узко...

— Боюсь. Не езживала по бомам.

— Как же быть?

И горы спросили: «Как же быть?». В горах тишина, горы жадны до звуков, горы любят поболтать с людьми.

В темных кручах под ногами белел туман, из ущелий, из падей между гор тоже выползали зыбкие облака тумана. Наступал рассвет, небо полиняло, защурилось. Было очень свежо, в каменных выбоинах замерзли лужи, и бесчисленные хрустальные зеркала поглядывали холодом на Таню.

— Я озябла,— сказала она, передернув худенькими плечами.

— Греться некогда,— сказал Зыков.— Вот встанет солнце, обогреет. Кровь у тебя, как горячая брага хмельная, ничего. Так и быть, поедем на одном коне, только я впереди, а ты позади меня, верхом, сиди прямо, в струнку, держись за мой кушак, гляди в спину, вниз не гляди, с непривычки страшно, голову обнесет. Дорога убойная. Вишь, какая дорога? Ну, с богом.

Он старался говорить уверенно, ободряюще. Когда двинулись, добавил:

— Ничего... Не бойся.

Но Таня вдруг забоялась, ей стало не по себе от голоса Зыкова, ей сердце вдруг сказала: берегись!

Да, в голосе Зыкова притаилось что-то, как в чулане вор. Он решил кончить все разом. Он все принес в жертву, отца убил,— но что же оказалось на поверку? Парти-

заны, друзья, все, все оставили его, и правда его — не правда. Значит, довольно жить. И это будет незаметно, будет сразу. Таня не успеет испугаться.

— А ежели, деваха, я умру?.. вот нечаянно с седла ежели сорвусь. А? Да в пропасть... А?

— Ой, молчи ты,— прозвенело за спиной с мучительной болью.— Лучше я... Зыков, миленький...

— Ты молодая, будешь жить... Мое дело кончено...

— Умирать — так вместе.

— Ты с ума сошла, деваха!

«Аха!» — раскатились горы.

Стало светло в горах, и небо на востоке порозовело.

Таня повернула голову влево. В аршине от ее глаз медленно двигалась серая стена ребристого, с опрокинутыми слоями сланца. Кой-где в расщелинах кустики травы, кой-где мох, вот зеленая ящерица сидит на выступе, как игрушка, ждет солнечных лучей.

— Почему это у меня ноет сердце?.. Ужасно ноет,— помолчав, сказала с тревогой Таня.

— Скоро успокоится,— ответил он.

— Почему скоро?

Он молчал. Таня перестала дышать. Сердце ее захлопнуло.

Преодолев волнение, спросила сквозь испуг:

— Почему?

Зыков ответил дрожащим, неверным голосом:

— Потому что...— остановился.— Потому что взойдет солнышко.

Таня глубоко вздохнула и уперлась лбом в спину Зыкова.

Ей захотелось взглянуть в провалище, вправо, но страшно. Ах, как хочется взглянуть! Нельзя, надо, нельзя, нет, надо. Голова повернулась сама собой, глаза упали в бездну. Таня взвизгнула и мотнулась на седле.

— Зашурься! — крикнул Зыков.— Самое опасное место скоро...

И вдруг заговорил как-то необычайно торопливо и приподнято:

— Знаешь ты... Только седи смирно, закрой глаза. Я расскажу тебе все, я покаюсь тебе... Меня томят грехи, дух мой в огне весь, на сердце мрак... Мне надо покаяться, очистить себя... Некому больше, как тебе... Слушай!

— Зыков, что ты...

— Молчи, слушай...

— Я боюсь... Страшно мне, Зыков...

— Слушай!.. Сиди смирно... Закрой глаза...

Они были на недоступной высоте. Узкая тропа, высеченная в каменном массиве, опоясывала почти отвесный склон скалы, как карниз. Конь выбирал, куда ступить. Конь дрожал. Основание скалы скрыто от взора. В пропасти белым жгутом изогнулась речка, она внизу сотрясает камни, грохочет, но сюда не долетает ее рев. Не надо глядеть вниз... Зыков поднял глаза к небу. Конь, всхрапывая, осторожно шел вперед. Зыков бросил поводья.

— Слушай! на моей душе много крови, может, невинной... Слушай, никому не говорил, тебе скажу: я своего отца убил, старца святого, Варфоломея... Да, да... А твоего я не убивал, твоего убили мои.

У Тани глаза широко открыты, открыт рот, и уж ей не страшна бездна, она забыла про опасность, ее страшит иное.

— Степанушка, Степанушка, голубчик!.. Как мне жаль тебя.

— Правда моя в крови,— Зыков говорил скорбно, с убеждением и страстью.— Грехи свои и людишек на мне, как камни. Боже, господи! Неужели у тебя не найдется милости ко мне? Неужели нет мне спасенья и пощады?

У Зыкова бегут слезы по обветренному носу, на бороду, на грудь. Таня тоже плачет, но не замечает слез.

— Слушай... Ведь не зря же я такой грех на душу взял... Ведь я не изверг, не тать, не убивец, а верный слуга Христа. И вот чую, все дело мое рушилось. Рушилось, девонька, рушилось... Чую, идет против меня сила сильнее меня. И у той силы другая правда... Ежели я прав, они меня сломят своей силой, а ежели правы они — сердцу моему прямая погибель, ведь от своей правды я не отступлюсь. Так стоит ли жить мне?... Слышишь?

— Ты не любишь меня! не любишь?

— Люблю... Вот увидишь, не расстанусь с тобой... Люблю.

Вот оно, самое узкое место. Ежели броситься в пропасть с конем — лететь с версту. Ежели спихнуть камнище — вдрызг, в дресву. Осторожный конь едва уставляет свои ноги на скользкой, точно отполированной, в аршин, тропе. Левые коленки всадников задевают выступы скалы, правые же, вместе с круторебрым боком коня, висят над пропастью. Конь трепещет. Он наваливается на скалу, боясь низринуться. Его копыта стучат по скользкому краю обрыва, и в опасный момент не за что уцепиться ему. Ах...

— Не любишь!..

— Сказал, люблю...

— Не любишь, не любишь, не любишь...

Солнце всходит, черное-черное, вот его лучи, они, как кинжалами, бьют в глаза и сердце.

Зыков заносит левую руку, чтоб оттолкнуться от скалы... Ах... Тогда вмиг все трое — конь и всадники — ухнут в бездну: смерть скорая, в крике, в грохоте, в движенье.

Зыков весь похолодел.

— Прощай! — крикнул он. — Смерть пришла!.. — Накрепко сомкнул глаза и с силой оттолкнулся.

Все сразу ахнуло, рушилось, закувыркалось, горы скакали и крутились, грохотом раскатывался гром, под ногами то солнце с небом, то земля, то солнце, то земля — трах-трах-трах — вдруг искры, молчанье и тьма.

Вот заржал конь. Вот все стало снова на своих местах.

— ...О-о-ох... — выдохнул всей грудью Зыков и открыл глаза. — Моченьки моей нет, рука не подымается... Любушка, любушка, моя... Танюха...

— Степанушка, Степан Варфоломенч! Что с тобой?

Зыков широко перекрестился и вытер рукавом крупный на лице пот. Он весь дрожал и поводил плечами. Этот ярко представленный и пережитый им миг смерти разом испепелил в нем все отчаянье, всю душевную труху. Он — снова сильный, крепкий, как чугун.

Тропа повернула влево, в расселину, выбросилась на широкую площадку. Извиваясь меж огромных камней и маленьких, уродливых сосенок, она стала постепенно снижаться в лесистую долину.

— Ну, Танюха, будь что будет, а только перед богом ты жена мне. Так полагаю, жизнь у меня настанет новая. А никакой власти я знать не хочу, ни Советской, ни колчаковской. Я сам себе власть. В Монголию уйду либо в Урянхай... И тебя с собой... Не отстанешь? Дело будет... Войско соберу. За правдой следить буду. Ха, поди, испугалась? Поди, зашло сердчишко-то? Местечко самое убойное...

Таня смеялась звонко, плакала радостно, целовала Зыкова, смеялась и плакала вместе.

Солнце вздымалось жаркое, и густые травы здесь были все в цветах. Травы сулили усладу...

ГЛАВА XIX

Дул небольшой ветерок, перешептывались сосны, день клонился к вечеру.

Тереха Толстолобов сегодня не в духе: вырвавшийся из бани медвежонок задавил двух гусаков и перешиб собаке позвоночник; собака на передних лапах, волоча зад, уползла под амбар и там визжала дурью.

Тереха бил свою старую жену, а Степанида, вытаскивая из жаратка кринки, ухмылялась. Но вот она услышала во дворе голос Зыкова, и ее бока вдруг тоже зачесались.

— Ладно, ладно, дружок Степанушка...— говорил у ворот Тереха,— ублагодворим, как след быть... И какой это тебя буйный ветер занес опять? Эй, Лукерья! Да не криви ты харю-то... Тьфу, бабья соль. Живо очищай горницу, с девками в амбаре поживете, не зима теперича...

Пред Степанидой стоял Зыков.

— Здорово, молодайка. Отбери-ка самолучшие наряды свои... Вы ростом одинаковы, кажись... Ты погрудастей только. Иди, оболочи ее... там, в лесочке она... Награжу опосля... Ну!..

Степанида сразу все поняла, румяное лицо ее побелело:

— Степан Варфоломеич... А я-то, я-то...

Но в это время вошел Тереха, крикнул:

— Поворачивайся живо! бабья соль...

По двору бегали собаки. Сука под телегой кормила щенят. В трех скворечниках шелкали и высвистывали скворцы, их полированные перья сверкали на заходящем солнце.

Дно котловины, где заимка, покрывали густые вечерние тени гор. Прямо перед глазами спускался с облаков широкий желто-красный склон скалы, и, как седая грива, метался по склону далекий онемевший водопад.

Лукерья с девками молча и деловито перетаскиваются в амбар. Кот, хвост кверху, ходит за ними взад-вперед. Под телегу по-офицерски пришагал петух, повертел красной бородой, что-то проговорил по-петушиному и клюнул сосавшего щенка в хвост.

Задами, чтоб не показываться людям, Таня со Степанидой прошли в баню. Воды немного, на двоих хватит, да Степаниде и мыться неохота, разделась за компанию.

Таня все рассказала ей. Степанида разглядывала белую, стройную, стыдливую Таню.

— Ну и сухопара ты, девка. Какая ж ты можешь быть жена ему, этакая тонконогая. Ты погляди-ка, какой он

Еруслан... Ох, городские, городские... И все-то вы знаете... Поди, неспроста он прилип-то к тебе... Поди, зельем каким ни то из аптеки присушила...

Таня улыбалась. Горячая вода, белая мыльная пена действовали на нее успокоительно. Она тоже разглядывала Степаниду. Степанида крепкая, ядреная, как свежее испеченный житный каравай, и пахнет от нее хлебом.

— А ты, должно быть, любишь Зыкова? — спросила Таня.

— Зыкова? Очень надо. У меня свой мужик, — раздраженно ответила баба, плеснув на каменку ковш воды. — Это вы, городские, с чужими мужиками путаетесь... Совесть-то у вас, как у цыгана... Да ты, дѣвка, не сердись...

— Я не сержусь, — сказала Таня. — А про какую это Зыков Лукерью поминал?

— Ну, это так себе... Хозяину моему родня... — Степанида сердито захлесталась веником и, побрякивая, говорила: — А ты напрасно ему кинулась на шею... Для баб прямо злодей он, хуже его нет. Жену бросил, говорят. А мало ли девок через него загибло... И тебя бросит, а нет — убьет...

— От судьбы не уйдешь, — грустно сказала Таня, одеваясь и закручивая в тугий узел темные свои волосы.

Тереха угощал их на славу. Тереха рад: Зыков теперь ему не страшен, и Степанидино сердце, бог даст, образумится. Экая стерва, эта Степашка, черт: так и пялит все ж таки глаза на Зыкова, а тот свою монашку по головке да по плечикам точеным гладит. А хороша монашка... Ну, и дьявол, этот самый Зыков.

— Кушай, Степан Варфоломеич, кушай, милячок... Татьяна, как тебя по батюшке, пригубь. Самосадка хорошая, что твой шпирт. Эх, справлять свадьбу, так справлять!.. Черт с ним...

Тереха с радости схватил двустволку, выставил в окно, грянул сразу из двух стволов и заорал:

— Ура! В честь новобрачных...

— Оставь, Тереха, не дури, — улыбался Зыков. — Какие новобрачные... Дай пожениться-то.

— Ужо по грибы будем ходить, по ягоды! Хорошо, едрит твою в накопалки... Степан Варфоломеич, а ты брось разбойство-то... Давай работать вместилах... Земли здесь сколь хошь. Ни один леший не узнает... А из твоих известна кому заимка-то моя? Ай нет?

— Никому,— сказал Зыков.— Был горбун один, Наперсток, да он теперь водичку в реке хлебает.

— Степан Варфоломеич не разбойник,— вступилась Таня.

— Нет, разбойник я... Это верно,— резко сказал Зыков и, не отрываясь, выпил стакан самогонки.— И ежели правды настоящей не увижу на земле, так разбойником и околею.

— Брось!— крикнул Тереха, и его рукава замотались в воздухе.— Правда твоя убойная. Тьфу такая правда.

— Эх, дружище,— сказал Зыков и похлопал его по плечу.— Ты в горах, как медведь в берлоге. Отсель и небо-то малый клочок, с козью бороду, видать. Не твоего ума дело это. Не уразуметь тебе. А я, брат, как с торбой по свету путался, таких людей встречал, что ах... Бывают люди, а бывают и мыслете. Понимаешь? Мыслете, горазд мыслят, значит... Они мир-то разумом своим как столбами подпирают. Вот у них поспрошай про правду-то... Ну да бросим об этом толковать... Я и сам не рад, может. Силыща прет из меня, как с горы водопад возле твоей заимки... Видал? Поди, останови... Так и я. А может, я родился таким горбатым. У Наперстка на спине горб, а у меня душа с горбом.

— А ты выпрямляйся, Степан Варфоломеич,— сердечно проговорила Таня.— Ведь говорил же ты, когда ехали с тобой.

— Ну, тогда мы в зубах у смерти были...— и Степан бережно обнял ее.— Эх, Танюха, пташечка залетная. Пускай сегодня время будет наше, без тоски, без дум, а там видно будет. Ничего... Зыков не пропадет... Ну, бросим это. А помнишь Ваньку Птаху? Песни его помнишь?..

— Не надо, миленький, не надо...

— Ну, ладно, ладно... А хорошо парнишка пел... Я заметил тогда, как сердчишко-то твое девичье затрепыхало. Эх, песню бы...

Все были вполпьяна, всем весело, только перед взором Тани мимолетно проплыла черная та городская ночь. Царство небесное парню-песеннику. Таня вздохнула тяжело, но Тереха уж выплыл на средину горницы, приурезал каблуками в пол, и, скосоротившись, загорланил песню:

— И-иэх да и во-о-о-уух... ты...

Зыков нагнулся и поцеловал Таню в губы. Степанида ударила стаканом в стол,— стакан разлетелся,— опрокинула табуретку и быстро вышла в дверь.

— Стой, бабья соль!.. Куда?
За дверью послышался стон и плач.

Когда шли Таня с Зыковым к обрыву, ночь была вся в звездах: в темной вышине все так же дрожал и колыбался золотой песок. Внизу под обрывом белели заросли цветущей черемухи. Терпкий, духмяный запах подымался вверх. Наперебой, и здесь и там, в разных местах, заливались соловьи. Зыков развел большой костер. Они сидели в дремучем кедровнике. Землю густо покрывала хвоя. Оба молчали.

Он вдруг вытащил откуда-то Акулькину конфетку с кисточкой, засмеялся и подал Тане:

— Девчонка одна дала... На-ка!.. Вот сгодилась когда...

— А какая ночь, Степан... Чу, соловьи... Ой, сколько их. И посмотри, как внизу черемуха цветет.

— Эту ночь не забудем, деваха, в жизнь.

— Если завтра умру — жалеть не буду. Больше этого счастья, что теперь, не испытать мне. Ах, какая радость любить тебя.

Соловьи пели всю ночь до утренней зари. И всю ночь плакала Степанида.

Пред рассветом Таня сказала, чуть согнувшись и глядя пред собою:

— Но почему же, Степа, милый, такая тоска? Сердце болит...

Пред рассветом Степанида пробралась сюда, в руках ее топор. У костра тишина. Зыков, должно быть, сказку рассказывает, на его коленях разметалась Таня.

Топор в крепких руках Степаниды очень острый. Вот Степанида хлестнет, оглушит Зыква, девку искромсают: на! А сама бросится торчмя с обрыва. В ее глазах огненные круги, и все, кроме тех двоих, куда-то исчезает. Она заносит топор и делает шаг вперед. Хрустнул сучок. Зыков обернулся. Она яростно швыряет топор в костер и с диким воем: «Дьяволы, погубители!» — как сумасшедшая, мчится прочь, в трущобу, в мрак.

ГЛАВА XX

Зыков еще не совсем справился с болезнью. Последние месяцы — от расправы в городишке до тайного убежища на заимке Терехи Толстолобова — искривили его душу.

Настроение его неровное, зыбкое, как трясина. Его взвинченному воображению то рисовались великие подвиги и слава, то позорный невиданный конец. От этого неумолчно скучало его сердце, он хотел открыться Татьяне в своем малодушии, но не хватало воли.

— Эх, какой я стал!..

Была истоплена баня жаркая, зыковская. Топил сам Зыков. Степанида не возвращалась. Тереха, захватив ружье, гайкал на весь лес, искал ее. Степанида как в воду.

Таня сидела в своей горнице под раскрытым окном. Она вся еще была в прошлой ночи, улыбалась самой себе большими серыми глазами, прямые темные брови ее спокойны, сердце под черной шелковой кофтой бьется ровно, отчетливо. Как хорошо жить... Скорей бы приходил к ней Степан. Нет, никогда не надо думать о том, что будет завтра...

Зыков разделся. Кто-то ударил снаружи в дверь. Он отворил:

— А, Мишка!.. Ну, залазь.

Медвежонок, набычившись, косолапо вошел с обрывком веревки. Морда и глаза его улыбались по-хитрому. Облизал ноги Зыкову, повалился пред ним вверх брюхом, благодушно заурчал.

Зыков большим пальцем ноги почесал ему брюхо, потом взял винтовку, кинжал, десятифунтовую гирьку на ремне, револьвер и вошел в мыльню. Эх, хороша баня, всю хворь прогонит. Зыков вымоется на всю жизнь теперь. Ну, баня!

Едва он окинул ковш в кадку с кипятком, куда бросали раскаленные камни, как во дворе раздался резкий заливистый собачий лай, а в предбаннике рывкнул Мишка.

— Кой там черт еще? — буркнул Зыков, ковш замер в его руке, а Таня всполошно отскочила от окна и глянула из-за кисейной занавески на двор.

Один за другим въезжали в ворота всадники, их человек двадцать. Раздался выстрел. Таня заметалась. Все, кроме одного, соскочили с коней.

— Занять выходы! Встать у каждой амбарушки! — деловито командовал всадник. Он с большими серыми

глазами юноша, сухое загорелое лицо, кожаная, выцветшая по швам куртка, ствол винтовки из-за спины, кожаная шапка.

— Боже мой, Николенька! — всплеснув руками, прошептала Таня, и ноги ее подсеклись.

Голоса на дворе, нервные, крикливые, робкие, злые!

— Где хозяин? Эй, тетка!

— Нету, батюшки мои, нету... Бабу убер искать.

— Здесь Зыков? Ну?.. Говори! Где?!

— Ой-ой... Ничего я не знаю... Пареньки хорошие... Вот хозяин уже придет.

— Взять ее!

— Я знаю, где... — раздался хриплый голос. — А ну, робенки, побежим.

— Николенька, Николенька, — взмолила Таня. Держась за косяк, она полулежала на лавке у раскрытого окна.

Юноша слез с лошади, глянул через окно:

— Сестра!.. — И быстрым бегом в горницу. — Как, ты здесь!.. Татьяна... Тебя Зыков украл? Да?

— Нет... Я сама пошла к нему...

— К нему?.. Сама?.. — лицо юноши вытянулось, и сама собой полезла на затылок шапка. — К Зыкову?!

— Да. Сама, к Зыкову. — Девушка пружинно встала и, сложив руки на груди, шагнула к брату. Побелевшие губы ее, дрожа, кривились.

— Татьяна! Ты ли это говоришь?

— Я.

— Брось глупости, Татьяна. Ты вернешься со мной. Будем работать... Таня, сестра...

— Брат... Я люблю его... Умру за Зыкова.

Зыков отпрянул прочь от низкого оконца бани, и волосы его зашевелились: ему померещилось, что с улицы, к самому стеклу, сделав ладони козырьком, приник Наперсток.

Зыков закрестился, закричал:

— Покойник!.. Покойник!.. — и бессильно шлепнулся на пол.

Горбун толстогубо дышал в стекло, оловянные глаза его жадно жрали Зыкова, широкие ноздри раздувались.

— Здеся! — крикнул он, радостно подпрыгнул и ударил себя по бедрам. — Ей-бо, здеся!.. Хы!.. Как тут и был... Эй, робенки!..

Горбун рванул в баню дверь... Вдруг Мишка всплыл на дыбы и свирепо рявкнул. Наперсток в страхе отшатнулся, Мишка двинул его лапой по спине. Наперсток, как лягуха, пал на карачки, заорал. Красноармеец круто всадил меж лопаток Мишке нож, Мишка оскалил зубы, заплевался, бросился с ножом в лес, широко раскидывая передние ноги и мотая головой.

Внутреннюю дверь красноармейцы быстро снаружи приперли бревном.

— Эй! Живые или мертвые?! — кричал запертый Зыков.

— Живые!.. — хрипло взвизгивал в самую дверь Наперсток.— Ведь я, Зыков-батюшка, Степан Варфоломеич, колдун... Траву-кавыку жру. Ты меня в прорубь спустил, а я рядышком в другую прорубь вынырнул... Не досмотрел ты, маху дал... Хы-хы-хы!.. За долгишком к тебе пришел... Добрых людей привел.

— А не мертвый, будешь мертвый, собака! — крикнул Зыков.

Сжимая кулаки, юноша шипел:

— Не смей меня называть братом... Я не брат тебе...

— А ты не смей трогать Зыкова... Зыков мой муж! Слышишь? — шипела в ответ сестра.

— Дура, тварь...

— Брат... бра-ат...

— Тварь!.. Зыков бандит, палач, враг Советской власти. А ты... Еще последний раз говорю: опомнись. Скорей, Татьяна! Могут войти. Тшшш...— Он взмахнул предупреждающе рукой и обернулся к двери.— Сейчас, товарищи!.. Одну минуту...— и к Тане: — Ну, решай. Со мной или с ним? Сестра, умоляю... Ради нашего детства....

— С ним.

Юноша на мгновение закрыл глаза ладонью.

— Поторопись, товарищ Мигунов!.. Зыкова нашли... В бане...— горячо продышали в дверях три красноармейца.

— Караульте эту! — твердо крикнул юноша.— Не выпускать...

— Скорей, товарищ Мигунов, скорей...— хрипел Наперсток, завидя Мигунова-Перепреева.

Рукава рваного его армяка по локоть засучены, фалды подоткнуты под кушак. Он жался к углу бани, повернувшись боком к бежавшему юноше. Горбун походил на крижистого мужика, которому обрубил по колени ноги,

башку отсекли и приткнули кой-как на уродливую грудь, из-под волосатого затылка торчал огромный горб, жирное, коричневое, как сосновая кора, лицо обрюзгло, потекло сверху вниз, все в лишаях, кровоподтеках, ссадинах.

Юноша с брезгливостью окинул его взглядом.

Резко, коротко ударил выстрел.

— О, стреляет, черт! — вскричал горбун.

Юноша покачнулся, мотнул ногой и, схватившись за живот, отпрыгнул в сторону. В бане загрела брань и хохот.

Наперсток хватил вприскок из-за угла дубиной и вышиб раму:

— Эй, вылазь добром!

— Убивают! Зыкова убивают! — Татьяна птицей выпорхнула из окна и понеслась.

— Стой! Стой! — гнались за ней красноармейцы и стреляли в воздух.

Петух с криком взлетывал, как ястреб, порхали утки, куры.

Вдруг один красноармеец опрокинулся навзничь и стал недвижим. В бане опять раздался хохот Зыкова.

Наперсток неистово орал:

— Куда?! Не бегай тут!.. Перестреляет всех!.. Убьет!

Татьяну смяли, поволокли, она билась, кричала, проклинала брата.

Юноша крепко стиснул зубы. Он был бледен, его колотила дрожь, в испугавшихся глазах металось страданье и смертельная тоска. Упал на землю.

Собаки залиристо лаяли, растерянно крутили хвостами, но их глаза были люты, и оскал зубов свиреп.

Из лесу выбежал Тереха Толстолобов, он остановился, вильнул взглядом туда-сюда и, сразу все поняв, бросился к бане:

— Что, Зыкова добываете? Бейте его, варнака! Жгите его!.. Через него баба моя задавилась... Ой-ты!..

Он шатался как пьяный, весь был дик, походил на лишившегося рассудка.

— Тащи соломы да хворосту! Чего слюни распустили? — щелкая зубами и воя, кричал он.

Юноша сдерживал стоны и тихо охал. Он лежал в стороне от бани, на пуховике, под головой подушка.

— Навылет, товарищ Мигунов... Авось обойдется... — Маленький, черный, с черными усиками красноармеец,

сбросив куртку, обматывал раненому поясницу и живот бинтом, бинт быстро смочился кровью. Рана была большая и рваная, от медвежачьего ружья.

Красноармейцы — бегом, вприпрыжку — тащили из дому холст и тряпки, стригли, рвали их лентами.

— Товарищ Суслов, — юноша поискал взглядом высокого, загорелого, с белой бородкой красноармейца. — В случае... вы будете командовать... Что, не вылезает?.. Поджигайте баню...

— Поджигай!!

— Поджигай!.. Где серянки?..

— Стой! Сдаюсь... — закричал Зыков.

— Стой! Сдается! Зыков сдается...

— Эй, Зыков! Давай оружие сюда.

— На! — он выбросил ружье. — На еще, — выбросил пистолет. — Все. Отворяй дверь, выйду.

— Врешь, нож у тебя, — хрипел, сплевывая и матерясь, Наперсток. — Вижу, нож!

— Нету, все...

— Поджигай!

— На, на! — ножище сверкнул в окне, как на солнце шука. — Где Татьяна? Покличьте Татьяну сюда.

— Вылазы! Бросай гирию...

Гирия бомбой брякнулась на землю.

— Вылазы!

— Открой дверь, дай я оболокусь. Нагишом, что ли?

— Эге! нет, брат Зыков, — подмигнул горбун и отчаянно сморкнулся из ноздрей. — Ты, этакый леший, выберешься, тебя не свалить. Вылазь в окно!

Наперсток и другой плечистый красноармеец прижались к самой стене по обе стороны оконца. В их настороженных руках арканы.

— Вылазы!.. Вылазь, кляп те в рот! — в один голос закричали горбун и Тереха. — А то живьем сгоришь.

— Жги. Не вылезу нагишом. Где Татьяна? Жги.

— Ребята, подпаливай со всех углов!

Солома вспыхнула, густой желтый дым, загибаясь, повалил в баню.

— Сдаюсь, — упавшим немощным голосом сказал Зыков, лохматая голова и широченные плечи его, изогнувшись и царапаясь о косяки, показались в окне. Аркан жихнул, и, как коня на поводу, человек десять красноармейцев повели богатыря к Мигунову. Зыков давил тыщепудовыми ногами землю, земля кряхтела, красноармейцы казались пред ним ребятами.

Наперсток, подбоченившись и слюняво похохатывая, ужимался, опаски ради, в стороне:

— Что, сволочь, хы-хы-хы, будешь честных людей под лед спускать? — Изверченное будто картечью лицо его подергивалось, подмигивало, облизывало толстые, покрытые пеной губищи. — Хотела синичка море зажегчи, море не зажгла, а сама потопла.

— Еще пострадавшие есть? — спросил Мигунов. Голос слаб, прерывист.

— Алехин убит.

Мигунов неспешно, мутными глазами повел от голых коленей Зыкова вверх, чрез живот, чрез грудь, но до головы не добрался, голова где-то высоко, выше сосен, и в глазах Мигунова темно.

— Расстрел на месте, — сказал он, приподняв и вновь опустив кисть умиравшей, вытянутой вдоль тела руки.

— За что расстрел? — глухо спросил Зыков. Он внешне спокоен, но лицо потемнело от напряжения воли, и потемнели серые глаза. — Я работал на помощь вам:

— Ха-ха! Хороша помощь! — наперебой закричала молодежь. — В городе сколь народу искромсал, вот начальника нашего изувечил, товарища убил!

— Анархия, разбой! Советская власть не потатчица... — резко проговорил белобородый Суслов. — Ну?!!

— В городе расправлялся по-вашему. Сам в газетине читал, как вы кожу с живых сдираете. Эвот, груди женщинам отрезали... Сам читал...

— Врешь, брешут твои газетины! — кричали красноармейцы. — Контрреволюционеры пишут твои газетины. Над мирным людом сроду мы не изгалялись.

— Расстрел на месте, — открыв глаза, еще раз сказал Мигунов и быстро приподнялся на локте. — Пить.

Глаза его то вспыхивали, то погасали, жизнь кончалась в них. Он жадно глотнул ключевой воды.

Зыкова повели. Он кричал:

— Что ж, милости у тебя, малец, просить не стану! И правде повреждения не сотворю! — Он остановился, и все остановились, он потянул за концы аркана, красноармейцы, взрывая землю пятками, надувшись и пыхтя, подъехали к нему, захохотали:

— Ну, конь...

— А вот скажи мне на милость, — Зыков уставился в грудь, в мутные глаза сидевшего Мигунова. — Бога признаете вы, господя нашего Иисуса Христа?

Мигунов резко потряс головой!

— Нет.

Зыков закачался. По лицу, как ветер по озеру, пробежала судорога, он крикнул и твердо сказал:

— Стреляй тогда...

К нему вдруг вернулось спокойствие, лицо посветлело, на губах появилась улыбка, и взор стал радостным, отрешенным от земли.

— На обрыв, на обрыв! Шагай на обрыв! — кричали сосны, люди, камни.

Зыков шагал уверенно и твердо, обернулся, проговорил Мигунову душевным голосом:

— Прости меня, милячок... Согрешил пред тобой... Ау! А жену мою Татьяну, — крикнул он громко, — не трог, ради Христа!.. Может, из-за нее гибну, а духом радостен. Ну, ладно. Других умел, сам умей... Прощай, солнце, прощай, месяц, звезды, прости, матушка-сыра земля.

И вновь закричали люди, закричали сосны, закричало небо и камни. Наперсток с Терехой Толстолобовым трясли кулаками, хохотали в тыщу труб, плевались. Зыков ни разу за все время не взглянул на Тереху.

Мигунов застонал, повалился на бок, скорчился, зачмокал губами, во рту было сухо, горько.

— Пить...

Возле него на коленях и на корточках четверо красноармейцев, среди них — Суслов, в круглых очках, с остренькой белой бородкой. Лукерья, всхлипывая и кривя рот, сновала от умирающего в избу и обратно, тащила то святой воды, то ручник, то какого-то снадобья в пузырьке, вот принесла черную, в светлом венчике икону, поставила у изголовья умирающего, закрестилась.

Грянули выстрелы. Лукерья ойкнула, подпрыгнула и, заткнув уши, побежала домой.

Мигунов открыл глаза:

— Красному зна... Товарищ Суслов... — голос слабел, углы рта подергивались, дыхание было короткое, горячее, большие, как у сестры, глаза глядели в пустоту. — Там, в городе... Целую Красное знамя... передайте... Умираю... Девчонку расстрелять...

— Она ваша сестра, товарищ... — откачнулся Суслов, зашевелил бровями, очки на переносице запрыгали. — Она говорила, что...

Мигунов поймал ртом воздух:

— Расстрелять, — и глаза его стали стеклянными.

Татьяна стояла на краю обрыва, как на облаке... Она не чувствовала ни своего тела, ни страха, ни земли.

Кто-то звонкоголосо; страшно кричал, раскачивая небо:
— Ха-ха... Сейчас к дружку кувыркнешься, свадьбу править.

Татьяна оглянулась как во сне. Обрыв глубок, и камни остры. Меж серых остряков застряло желтое, большое. Узнала: Зыков. Глаза ее мгновенно расширились и сузились. Все плыло, качалось пред ее глазами.

Восемь винтовок, как черные пальцы, прямо указали ей на грудь.

— Пли!!

Но залп прогремел впустую: Татьяны не было, пули унеслись в тайгу.

Наперсток вырвал у кого-то топор и, гогоча, кинулся лохматым чертом к пропасти, где лежали два мертвых тела, он с проворством рыси начал было спускаться, его схватили за опояску, встряхнули и вытащили вверх. Глаза Наперстка налились кровью и вертелись. Он сбросил шапку, отер полую потное лицо и протянул руку Суслову.

— С благополучным окончанием дел... А кто? Я все. Кабы не я,— черта лысого вам Зыкова сыскать... Ручку!

Суслов быстро убрал свои руки назад.

— Наградишка-то будет ай не? — и широкий рот горбуна скривился в подхалимной, как грязная слизь, улыбке.

Суслов отступил на два шага и громко:

— Бывший партизан Наперсток за кровожадную бессмысленную жестокость, проявленную им при разгроме города...

Наперсток радостно улыбался, торжествующе поглядывая в застывшие лица красноармейцев, он не слышал, что говорит товарищ Суслов, и только одно слово, как визг стрелы, пронзило оба его уха:

— Расстрел.

— Хы-хы-хы,— ничего не соображая, бессмысленно загоготал Наперсток, однако глаза его заматались от лица к лицу и сразу провалились, как в яму, в рот товарища Суслова.

— Взять! — резко открылся и закрылся рот.

Наперсток сразу вырос на аршин, сразу до земли согнулся. Залп — и уродливое тело его заскакало по камням в смерть.

Был поздний вечер, тихий и теплый. Лукерья суегилась по хозяйству. Девки пригнали коров и овец. Двор оживился.

Над свежей могилой под зеленой лиственницей, куда зарыли двух красноармейцев, прогремел последний залп в память со славою погибших. Пели революционные псалмы и стихиры. Товарищ Суслов говорил речь.

Тереха Толстолобов с красноармейцем поехали «на верхних» в лес, сняли с петли удавленницу Степаниду и привезли домой. Тереха положил ее в той комнате, где ночевала Таня, зажег лампаду и свечи, крикал, пил вино, утром собирался за попом. Но ему был дан приказ — с зарею вывести отряд на дорогу.

Красноармейцы торопливо обстругивали большой надмогильный крест, Суслов сделал надпись. Крест белел даже среди ночи, на нем висел из хвои венок.

Ночь стояла холодная, как в сентябре, серпом красовался в небе месяц...

Утро было все в тумане. Тереха повел отряд. Лукерья с девками боялись мертвецов, ушли в лес.

И опять спустилась ночь, темная, без звезд и месяца.

В пропасти кучкой лежали трое: кержак, каторжник и купеческая дочь. В избе, с темным и страшным лицом — Степанида. Возле заимки, с ржавым меж лопатками ножом, уткнув в мох морду, — медвежонок.

Заимка была пуста.



ПО ЧУЙСКОМУ ТРАКТУ

ПУТЕВЫЕ ОЧЕРКИ

І. ПЕРВЫЕ ЭТАПЫ

В начале мая я выехал на Алтай, который так манил меня и с которым я был знаком ранее со стороны верхней Бии, Телецкого озера, Чулышманской долины и Катуня до Манжерока.

Весна нонче поздняя, на пароходе холодно.

Едва выбрались на Обь, снег повалил, засвистел ветер. Пассажиры ежились, кутались во что придется и походили на осенних коченеющих мух. Неумолчно звонок звенел: пассажиры усердно «требовали».

Внизу, под нами, ревели песни, гармошка гавкала, кто-то трепака катал. В такую стужу поневоле плясать пойдешь.

Переселенцы едут со всем скарбом: корытами, ушатами, сковородниками, горшками. Ведь умудряются люди за четыре тысячи верст в тайгу дрова тащить.

Какой-то курносый парень «с мухой» всё зубоскалил над переселенцами, а те уныло молчали, то зубы показывали, щетинились и отходили прочь.

А парень все свое: еще стаканчик треснул, да еще, козырем ходит возле «рассейских» тетенок, заигрывает, присватывается: «Эх, тетка, красны рукава». Наконец, подмигнув молодому, стоящему разиня рот, тамбовцу, под обший хохот поет:

В Колывани я хворсил —
Лапти с напуском носил.

И что за город Бийск? И какой там голова сидит? Что за бийские улицы, что за отвратительная, невообразимая грязь. Богатый, разжиревший на монгольских хлебах город не может устроить себе сносных условий жизни. Улицы — сплошная топь, вонь, мерзость, азиатчина. Дороги мостятся щепой, навозом, дохлыми костями, опорками, пимами. На углу домишко ломают, куда мусор валить? На дорогу; куда печку валить? На дорогу, все втопчут в грязь. Это не улицы, а сплошные отвалы. И сколько ни составляй протоколов, протоколами дорогу не вымостишь. Надо по постным дням по всем улицам городского голову в телеге

возить — авось одумается, авось догадается сделать заем да вымостить город. Граждане!! Если себя не жаль, пожалейте хоть извозчицких бедных кляч. Я на одной улице видел лошадиную вверх копытом ногу. Неужто это кормилица кобыленка живьем вхлюпалась в ваши, бийцы, провалы? Граждане! Вы принюхались и притерпелись, но свежему человеку в вашем городе невыносимо.

В середине мая я выехал на многогрешный и многострадальный Чуйский тракт.

Погода чудная. В природе какое-то общее ликование: все залито солнцем, все в тепле тонет.

В Нижне-Катунском Катунь широко разлилась. Вода мутная и холодная. На пароме много «дорожников» — ямщиков, идущих с товарами через Чуйский тракт в Кобдо. Груз на двуколках — в простой телеге по тракту, оказывается, трудно ехать, телега вконец может «замотать» лошаденку: подъемы крутые, повороты невозможные, грязь — путь трудный.

Говорят разные ужасы о прошлой зиме, погубившей половину скота «в орде» — у теленгитов, калмыков, киргизов. Видимо, большая трагедия разыгралась прошлой зимой в холодных горах Алтая. Вот увидим.

От Нижне-Катунского к Смоленскому местность чуть всхолмлена: сюда докатилась легкая волна Алтая. Сеют, боронят. Кто в четыре, кто в пять борон. Сторона лошадами богатая. Кое-где березовые колки да мелкий реденький кустарник.

— Вот тут роща была, да вырубил. Одно дерево у часовни оставили... — говорит ямщик.

— А где дрова берете?

— В камню, в горах.

Вдали еле видны зигзаги алтайских предгорий, охваченных дымкой дали. Слева гора Бубырган царит. Кой-где по равнине стоят серо-желтые столбы дыма.

— Это солому старую жгут, объедья.

По пути колодезь с журавлем.

— Из него весной ноне мужика вытащили убитого. Облез весь. Никто теперь воду не берет. Кажется, освящать хотят. Воду отольют до дна, песочку подсыпят и ладно. Чистенькая водица набежит.

Дальше едем, крест стоит.

— А тут ямщика одного кончили.

Верстах в двух от Смоленского вырастает огромный плоский увал, и за ним тонут дали, даже Алтай наполовину скрылся, и только вершины его все еще маячат. Но

лишь вы взберетесь на взлобок увала — сразу все всплывает вверх: и Алтай и дали со столбами желтого дыма.

А село как на ладони сделалось — «сразу поднесли его», — все в кудрявых деревьях, красивое издали, но обычное и своим назьмом, и неряшливостью улиц.

Алтай все надвигается и надвигается, идет на вас. Горы стыдливо закрыты голубыми фатами. Целомудрием от них веет издали, непорочной чистотой. Тройка ваша бежит вперед, а Алтай все ближе становится. Горы сбрасывают одну за другой воздушные пелены, прекрасную наготу свою открывают, чаруют вас, обещают, что-то сулят. Вблизи перед вами увал-гора. Изукрашена волей человека — все в коврах. Чернеет черными коврами, желтеет желтыми коврами, зеленеет лугами зелеными.

За ней, дальше, на другой горе три дыма, три сизых столба плывут к небу. Табун гусей кружится. Над селом Точильным, на высоком увале, церковь с золотым крестом, а сбоку села стоит на карауле зеленым чумом сопка.

Путь к Старой Белокурихе лежит. Картина красивая. Зеленый-зеленый бархатный увал, по которому бежит коричневая дорога. Справа песок над речкой встал красно-желтым обрывом-стеной. А на верху, на свежей цветистой луговине, только что срубленная молодая часовенка, такая кокетливая, такая выкрутасистая. Плотники возле нее без шапок работают. Один из них все примеряется мужичьем своим, чутким к прекрасному глазом, куда бы еще приляпать хорошенькую, вроде петушка, штучку.

Небо голубое. В небе белым бисером гуси кружатся. Горы отдельными сопками обходят вас, ловко заходят в тыл и с боков, и вы чувствуете, что незаметно, с каждым шагом попадаете все крепче в сладкий плен Алтая.

Алтай идет на вас.

Все безлесными местами еду. Приятно было увидеть вблизи Белокурихи две сиротливые молоденькие сосенки. То ли на Алтай торопятся, то ли вырвались из гор на волю.

Из Белокурихи дальше вечерний путь.

На горы, совсем близкие, ложился сумрак. Чем дальше едем, все темней. Горы тесным силуэтом справа стоят, высокими туманами кроются. И я боюсь подумать, что за

горами. Горы в серое небо упираются. А вдруг за ними ничего нет, вдруг ничего нет!

А вдруг за ними страх живет. Я боюсь. Я перестаю об этом думать.

На двух тройках со спутниками едем.

Ямщик-мальчонка сзади гикает, удалой парень.

Дорогу хорошо видать, кони бойки. Еще можно слева разглядеть долину, всю в желтых весенних огоньках. Они таким ярким ковром усеяли поляну, что и серые сумерки не могут скрыть их от усталого взора.

Ямщики останавливают лошадей. Один совсем карапуз, на вид лет девяти. Другой — парень взрослый. Подходят друг к другу, закуривают. Карапуз говорит тоненько, но остроумно, с подковыркою, зубоскал славный.

— Тебе сколько лет? — спрашиваю.

— Шестнадцать.

— Почему такой маленький ростом!

— Мы все с восемнадцати годов начинаем расти, все братья так. Сначала маленькие, а потом вдруг вымахают, — пищит он, дымя папироской.

Другой ямщик, парень, держа в зубах папироску и закуривая от спички карапуза, говорит ему:

— Тебе бы надо большому быть, мать у тебя эвон какая рослая.

Мальчонка озорно в ответ пищит:

— А отец-то кто? Мураш?

Парень прыскает со смеху, папироска незакуренной летит изо рта на землю, он срывает свою шапку и, со смехом вскрикнув: «язви-те!», ударяет шапкой карапуза. Из шапки мука летит.

Все темней и темней становится. Месяца нет: месяц, должно быть, за черными хребтами бражничают, камам алтайским камлать пособляет, аракой алтайской умывается.

— Вот тут поблизости, — говорит мой ямщик-парень, — есть деревня, там все расейские одни. Дык там, барин, полюбовные драки бывают о праздниках...

— Полюбовные драки?

— Да. Таков уж у них обычай. Как денек свободный выдался, глядишь, стенка на стенку и полезли. Человек до пятьсот пластаются. С ребят начинают. А «лежучего» не бьют, который свалился. Ну и мнут бока! Так лупят, что страсти. Глядеть больно.

— Ведь убить можно.

Ямщик быстро обертывается и, протестуя, кричит:

— Привышны! У них часто. Страсть любят.
Месяц из-за гор свой золотой рог показал.
Вот и Алтайское.
На крыльце земской подрумяненная дама в шляпе с пером.
— Кто такая? — спрашиваю хозяина.
Тот шепчет:
— Со стариком с одним едет, с чуйцем. Из Бийска мамзель.
Месяц над горами стоит, во все лицо ухмыляется.

II. ОТ АЛТАЙСКОГО ДО МУЮТЫ

Алтайское — большое торговое село. Больше 5 тысяч жителей. Каменные торговые помещения. Большой магазин Фирсова, бийского купца. Приказчики в воротничках и манжетах, кассирша в модной прическе — все на городской лад.

Как раз базарный день был. Народу множество. По дорогам все подъезжают и подъезжают.

Народ рослый, краснощекий, широкий в кости.

По главной улице на некоторых домах и лачугах самодельные вывески: здесь пимокат живет, тут слесарь, там сапожник. На одной вывеске надписи нет, на ней нарисована палитра, большой бильярд и к нему привязана маленькая лошаденка. Вот и разгадай этот ребус.

Хозяин «земской» старик. Он отводит в сторону и, косясь на своих баб, шепчет:

— Ты мне за услуги-то давай...

Бабы говорят:

— Ты старику-то не давай, нам давай.

Старик говорит:

— Здесь в Алтайском бабы плохо живут: выйдет замуж да сбежит. А потом в прислуги к кому. А ночь с ребятами валяется.

— Со своими детьми?

— Нет, с парнями. Баба у нас подмоченная...

От Алтайского к Черге дорога все время идет в Узкой долине. Горы со всех сторон встали. Издали кажется, что нет пути вперед, что ямщик с дороги сбился, не туда несут кони. Кругом горы. Куда ж пойдет дорога? Она нырнула вниз и стелется по дну долины возле самой речки. Речка играет, весной воды много, быстро струится навстречу нам.

По пути большое село Сараса, надвое разрозненное речкой. Милое весной село. Сплошной черемуховый сад. Белыми пушистыми гроздьями цветет черемуха. Бледно-розовыми бутонами цветут в садах дикие яблони. Ароматом пропитан воздух. Во дворах лачуг и избушек зеленые луговинки. Сараса шумит, свежая и прозрачная.

— А это бахчи в полугоре на солнцепеке-то,— говорит ямщик.

Следующее селение — Нижний Комар.

— Церковь есть у вас?

— Нету. Молебен есть.

Молебен — это изба во дворике, на двух столбах маленькие колокола, а огромный могильный крест стоит приклоненный к стене «молебна». Сам «молебен» без креста.

Далее Комарский перевал начинается, крутой, нелепый, трудный для лошадей. С перевала открывается широкий горный ландшафт.

Мимолетный летний дождь прошел. И вновь заблестало солнце. Жарко. Где-то гром прогудел. Попадаются разбитые грозой лиственницы.

Ямщик говорит:

— И людей убивает: как-то сразу троих у нас убило — брата да двух сестер.

Ямщик словоохотлив:

— А то, лонись, я и сам попал в переплет. Только это я приехал в Муэту на земскую, а туча синим-синя накатилась из-за гор. Молния как стегнет, гром как треснет, я и присел, огромно. Коренник на колени пал, а пристяжки как подхватят его да попрут: изгородь порешили да и лес как начали чесать. Очухался я — гляжу: баба на дворе в луже валяется, потом гляжу — подыматься стала, поднялась да к стене, оперлась о стену, стоит, плачет, из ума ее вышибло. Оказалось, что телеграфный столб рядышком с земской в щепы разразило, в мелкую мочалу измочалить могло. С тех пор побаиваться начал.

— Говорят, кого громом убьет, душа в рай попадет?

— Ну, этого мы не знаем. Ни чох, ни мох. А как здесь ежели хорошо, нам и раю не надо. Оттоль никто не приходил, с роду-родясь. Поди, ничего и нет там; как по-твоему?

Черга. Бывшее дачное, ныне опальное село. Все в горах, зеленых, лесистых.

Крестьяне скучают по дачникам:

— Это она все наделала, барыня одна из Томскова, дохтурша. Дачу здесь выстроила, а дачу-то ее позалонись сожгли какие-то варнаки. Она и разобиделась, да и стала

наговаривать на Чергу: и воздух-то здесь тяжелый, и назьму-то много. Так всех и отвадила. А промежду прочим, у нас воздух подходящий: эн мы каки все икряные.

— Так никто и не приезжает к вам?

— Вот второе лето никого нет.

Подымаюсь на гору по откосу речки Черги. Навстречу старик идет, две четверти водки несет.

— Это кому, дедушка, зелье-то несешь? Себя, что ли, травить хочешь?

— Нет. А это Степан Назарыч в компанстве гуляет, второй день пьют. Ну-к, ему.

В Черге последняя монополька. Дальше нет. Возле нее уйма народу, как утром в городе, стоят длинным хвостом.

— Это почему такая бойкая торговля?

— А ишь, скоро троица. Вот и бьются хрещеные, как у улья пчелы.

Едем дальше. При дороге оседланный конь стоит, а возле него, на луговине, что-то блестит шарообразное. Это оказывается — плешивая голова старого дедушки на солнце играет. Лежит старик на траве, сладко спит, и бутылка торчит из кармана.

— Пусть его спит со Христом, — говорит ямщик, молодой, ласковый бородатый дядя, — это наш муютинский. Все горюет, сердяга: старуха у него померла недавно. Вот и остался он один, как перст. С горя пить начал. А вином нешто горе зальешь? Я его вчера из речки вытащил пьяного, чуть не захлебался. Опоздай я малость — утонул бы. Ехал из Черги, за водкой ездил, да дорогой-то все и пробовал, а как стал брод переезжать, и чебурахнулся в воду: видно, спал на коне-то.

Горы вы, горы Алтайские! Кто разукрасил вас цветами и травами в ваш весенний медовый месяц май!

Зеленые, зеленые крутые горы. Скалы выступают, шершавые. Одна, другая терраса перед горами. А в ущельях, среди зеленых кустов, разбросаны розовые букеты маральника. Вот они окружили, как школьники любимую учительницу, как дети мать, только что зазеленевшую молодую лиственницу; там унизали подножие скатившегося с кручи обломка скалы; там розовой дорожкой стегнули к самому верху сопки. Нет, это не человек украсил розами склоны гор и их лесистые ущелья. А бордюры желтой акации, а бутоны огоньков, синие ирисы, марьины коренья? Не белый ли ангел по зорям утренним слетает с белых

вершин снегов в долины и рукою райскою украшает склоны гор?

В кустах боярки и акации, среди зарослей тальника и черемухи, что кудрявой стеной встали по берегам речек, звоном звенит птичья многоголосная песня. И откуда их столько набралось, этих порхающих цветов Алтая?

А на полях, в густых, горных травах, ютится во множестве прелестный голосистый жаворонок. Что за милая, радующая душу птичка: вьется и вьется над своим гнездом, над желторотыми птенцами своими, и все поет, и все поет, и молится, и плачет. Святая птица, безгрешная. Нет ни к чему в ее сердце зла, одна любовь, один гимн радости бытия, один восторг. Безгрешное творенье, солнцево дитя.

Село Муюта. Тут «Русь» помаленьку кончается и начинается царство инородцев, «орды».

Если вы где-нибудь в Онгудае или Кош-Агаче, за сотни верст отсюда, спросите:

— А где бы мне сухарей заказать? А где бы мне достать рабочих лошадей, купить картошки?

Вам ответ:

— Это надо «в Руси» покупать, в Алтайском, например.

Вы невольно улыбаетесь и спрашиваете:

— А здесь что же?

— Здесь орда. Тут этого такого ничего не найдешь, чтобы, например, зелени али овощу.

Ну, ладно. Заглянем в «орду».

III. ПРЕДДВЕРИЯ ОРДЫ

Муюта — большое селение, наполовину русское, наполовину теленгистское. Есть церковь. Почти все инородцы крещеные. Они очень религиозны. В аилах, разбросанных в ущельях гор и долинах горных речек, еще много некрещеных.

Большинство их исповедуют новую веру, бурханизм, введенную лет восемь тому назад знаменитым Чотом из Карлыка. А староверов, шаманистов, осталось не так много.

Я еще не успел как следует ознакомиться с особенностями бурханизма, не чистого, конечно, бурханизма, имеющего за собою тысячелетнюю давность и философскую догму, а бурханизма особого, чисто алтайского, прировненного к пониманию новообращенных инородцев. Да

сам апостол Чот, действующий под внушением лам, кроме силы воли и широкого размаха темной, непросвещенной мысли, ничем иным не отличается. Он, кажется, безграмотен. А потому и новая вера получилась какая-то странная, особая, алтайская, своя. В ней, поскольку мне удалось выяснить из расспросов, старый шаманствующий культ переплелся и перепутался как попало с чистым ламаизмом. Но так ли, иначе ли, а в основу новой веры все-таки положен принцип единобожия.

Под влиянием ламаизма изменились внешние формы отношений.

Например, прежде, при встречах, инородцы приветствовали друг друга:

— Эзэнь! Эзэнь!

Теперь приветствуют:

— Якши! Якши (джякши)!

В огонь плевать нельзя. Огонь — нечто священное. Кровавые жертвы (камлание, убой лошадей и т. д.) отменены.

Камы (шаманы) разжалованы, бубны и костюмы камов сожжены. Пьянство и курение табаку не одобряется (хотя процветает по-прежнему). Жертва богу — вместо крови животных — молоко, которым брызгают в огонь. Возле чумов (юрт) белые березки натканы, на них белые лоскутки ситцу. Вместо меховых, сплюснутых с боков, огромных шапок носят легкие тулейки с большими разноцветными кистями. Это все внешняя сторона. С внутренним содержанием новой веры я не знаком совершенно.

На дворе ямщика, пока лошадей запрягают, сидя на завалинке, веду разговор с пожилым теленгитом.

— Ты Кыркына знаешь, Григорья?

— Кто такой Кыркын?

— Мой родня, на Аносе, картины делает...

— А-а... Гуркина? Знаю.

— А Потанина-старика знаешь?

— Григория Николаевича?

— Да, я ему сказки сказывал. Он хороший старик, прямо божеский старик,— и теленгит, почмокав губами, спрашивает:

— А где он теперь?

— В кыргызы уехал,— отвечаю,— кыргызские песни списывает.

— Еще все-то трудится?! — воскликнул изумленно теленгит и привскочил с завалинки.— Ох ты, господи. Ха!

Имя Григория Николаевича здесь чтится, по всему тракту известен он, все его знают, все его любят.

«Это наш друг, это лучший человек, пожалуйста, давай ему поклон. Пожалуйста, говори спасибо».

Везде, везде, где бы я ни завел речь о Потанине.

В некоторых местах Алтая популярно и имя профессора Сапожникова. Особенно в Катанде, на Уймонском тракте.

Один чиновник, бывший в Катанде, мне рассказывал:

— Приезжаю в Катанду. Крестьяне меня окружили, спрашивают: «А что, Василь Василич будет к нам нынче?» — «Какой Василий Василич?» Даже удивились, руками замахали, закричали все враз: «Да как же ты Василь Василича не знаешь?! Да ведь он на Белуху лазил,— и, улыбаясь, продолжают рассказывать:— В прошлом году к нам приехал из Германии немецкий поп, на Белуху подыматься хотел. Мы ему не присоветовали, убьешься, мол, тебе не залезть, а он: а как же Сапожников лазил? А мы: дык то Василь Василич, где ж тебе насупротив Василь Василича, да нечего тебе там и высматривать, а коли любопытно, в книжке прочитай, у Василь Василича все прописано. А тебе нечего там делать. Ты, немец, можешь там калоши потерять».

Местная интеллигенция в притрактовых селениях знает и Георгия Гребенщикова и Георгия Вяткина.

IV. СТРАШНЫЙ КАМ

От Муюты до Шебалиной 19 верст. Мой ямщик, сам хозяин, лет 40, рожден от смешанного брака — русской и теленгита.

Задняя тройка все отстает. Хозяин, придерживая первую тройку, кричит работнику:

— У тебя пристяжка не везет, ты ее дери! Ишь, коренник упарился...

Тот ухмыляется. Его скуластое лицо очень добродушное.

Он крещеный калмык. Имя ему — Тит.

Опять трогаемся. Тит вновь отстает. Хозяин кричит:

— Дери!

— Деру... Не лезет...— откликается Тит.

Мы с ямщиком улыбаемся. Да как и не улыбаться; вдруг Тит, — а лицо медно-красное, нос плющаткой, глаза раскосые, щелочками и по-русски говорит плохо. Какой же это Тит?

Ямщик мой говорит. Толкует о том о сем. Колокольчики звенят, шаркунцы брякают. Останавливаем лошадей, подвязываем колокольчики, чтоб не мешали.

— Камы теперь в щели убрались, по речкам живут, боятся, — говорит ямщик. — Вот недалеко отсюда живут два кама. Одного Мамыром звать, его в Томск возили для показа, а вот другой... О! Тот страшный кам: все узнать может или человека съесть...

— То есть как съесть? Разве он людоед?

— Пошто? Он так изведет, просто человек чахнуть начнет и пропадет, подохнет.

— И часто он съедает?

— Пошто? Никогда не съедает. Он старик справедливый. Вот только раз с ним и было... Тогда, действительно...

— Ну-ка, расскажи, брат.

— Лет с 30 тому назад это было. Я мальчонкой тогда был. И кам этот молодой был еще. Вот, значит, окрестили его.

— Зачем же он крестился?

— А видишь ли, его батька-то с кем-то подрался пьяный, да в драке-то голову прошиб другому, вот его и засудили в тюрьму. А орда тюрьмы знаешь как боится? Ужаси. Ему и говорят, ежели окрестишься с семьей, тогда простим. Ну, он и решил, значит. Вот, значит, так кам и окрестился.

Потом слух пошел, что он камлать продолжает. А в то время священник строгий был в Муюте. Надо, говорит, его проучить. Заманили его, значит, кама, в деревню, силом притащили. А как вытащили на обрыв, на горку, он им и говорит: «Мне только вас жалко, а то обернулся бы медведем и улетел бы». Ну, ладно. Привели его в Муюту, а уж вечер. Он и говорит попу: «Батюшка, ты меня бить не вели. Это же верно. Ну, только что я камлаю, не могу бросить, а то меня шайтан давит, мне тяжело. Я грешный, ну, я за это сам и отвечу. А бить меня не приказывай». Однако его стали бить.

— Кто? Русские?

— Русские. А инородцы жалели. Русский злой, зверь. Инородец жалостливый. Повели его по улице. Велели в бубен бить. Потом опять лупить начали... «За что меня бьете? Кому я худо какое сделал?» Заплакал. Мы тоже, которые инородцы, заплакали.

Помолчал ямщик. Лошади шли в гору шагом.

— Потом как угрозился. Говорит мужикам: «Вот и году не пройдет, у одного из вас отелится корова, а теле-

нок, пестренький, пропадет. Тогда вспомните меня». Ушел кам. И верно. Как сказал, так все и случилось. Родился теленок, пропал. А кам две семьи съел, которые били. Так один за другим и стали валиться. Обе семьи вымерли, с детьми и стариками. Начисто. А третий мужик, из третьей семьи, был догадливый, хитрый. Купил четверть водки и пошел к каму с повинной. Просил его. На земской-то, может, видел мужика? Ну так это он самый.

— Что ж, он и теперь камлает?

— Камлает. Ему нельзя без этого. Его тогда шайтаны задушат. Их много. Они работы себе требуют. Этот кам самый настоящий, страшный. Его весь Алтай боится. А зла он никому не делает. Все узнает. Болезнь прогоняет.

Ямщик вытащил из-за голенища длинную монгольскую трубку, закурил.

— И вот с тех пор, уж сколько лет прошло, как кому умереть в Муюте, ночью по улице одной, по переулку бубен стучит. Так и идет, сам собой трясает, бубенцы звенят, а бубен: ту-ту-ту! Ту-ту-ту! Грохочет, а никого нет. Просто страх. Потом тише, тише, так в горы и уйдет.

Опять крикнул Титу:

— Дери пристяжку-то!

— Деру, не лезет.

— Ну, выпряги ее да привяжи сзади.

V. ШЕБАЛИНА — ТОПУЧАЯ

Местность все приподнимается. Дорога, то выбегая на увалы, то спускаясь с них, постепенно, но настойчиво ползет вверх. Шебалина без малого на версту приподнята над уровнем моря. Здесь только начало весны.

Горы стоят бурые. Еще спят сверху травы, недавно снег сошел. Лишь подолаы гор да южные их склоны зеленеют молодой травой. Кой-где маральник начинает раскрывать свои розовые бутоны.

Шебалина — значительное торговое село. Несколько лавок есть. Имеются маральники — сады для маралов.

По всему Чуйскому тракту только в двух пунктах встречаются маральники: в Муюте и Шебалиной.

В последней — большой маральник у местного жителя Попова. Около 500 маралов. Маральник занимает огромную площадь, около сотни десятин. Высокой, из толстых жердей изгородью охвачена зеленая луговина, часть лесистой скалы и один из рукавов речки Семы. Маралы

бродят по зеленой траве непуганые, подпускают близко. Самки с маленькими маралятами скрываются за горой, в зарослях леса. Там они будут расти, а как окрепнут, самки приведут их в стадо. Любо маралам топтать шелковую зелень. Но скоро и для них наступит время великого переполюха и скорби. К петровкам начнут им отпиливать молодые, еще не отвердевшие рога. Верхами на лошадях, с гиком и свистом, станут носиться всадники между скалой и изгородью — по лужайке, будут загонять перепуганных маралов в узкий, тесный коридор. А там ямы. Провалится марал в яму, только голова виднеется. Тут ему и крышка, прощай рога!

— Неужели они не могут перескочить заплота?

— Нет, не могут, высоко. Как-то был же случай, перемахнул один. Искали, искали, нет нигде. А он, как перебежал речку, да вместо того, чтоб на волю удариться, взял вот в этот, видишь в лесу, маральник заскочил, в чужой, к чужим маралам.

Маралы ценились по 70 и даже по 100 рублей. Теперь спрос на рога прекратился и цена на марала упала до 50—30 рублей.

Дорога к деревне Топучей после недавно стаявших снегов и весенних дождей — ужасна. Местами — сплошные топи. Лошади, везущие груз в Кош-Агач, в Монголию, из сил выбиваются, ямщики надрываются от ругани, всячески понося и лошадей, и дорогу, и свою судьбу, и кладь, которую везут, и купца, давшего эту кладь. Тысячи людей идут косогором, направляются в обход дороге, наваливают воза, увечат лошадей, увечатся сами. Косогоры все размыты и заболочены массой ключей, дорога не проездна, сплошная топь, где хочешь, там и поезжай. При въезде в самую деревню два воза в грязи стоят. Так загрязли, что и колес не видать. Валяются дуги, сломанные оси и колеса.

— Топучая, так она Топучая и есть. Чтобы ей в тартарары провалиться.

— Да, дорожка убойная.

Перед деревней дорога идет вдоль каменистой, в обрывах, горы. По горе тропинка вьется меж камней. По тропинке баба тащится. На руках у бабы рыжий теленок. За бабой — корова и впереди корова. Передняя останавливается, мычит, теленка нюхает, бабе ходу не дает; та кричит на нее: «ксы!», ногой пинает. А теленок грузный, бабе

тяжело. Поставит его на тропинку да с боков придерживает растопыренными руками: как бы в пропасть не упал. И все это на большой высоте. А как поставит, корова подойдет, мычит, таращится и бабу лижет, того гляди, столкнет вниз. Баба опять: «ксы, холера!», теленка на плечо, шагов 10 пройдет, нет, грузно.

Оказывается, корова ночью на самой вершине горы отелилась. Баба с утра его оттуда тащит, а домой притащит, когда будет ночь.

Много ямщиков ехало. Все видели, смеялись. Никто не помог. Да, спасибо, калмык верхом проезжал. Остановился, пособил с горы спуститься бабе, перекинул теленка через седло и отвез в избу к чужой ему, русской бабе.

Та рада, вся мокрая, вся истомленная, говорит русским ямщикам:

— Вот спасибо Чолтушу. Ух, умаялась. Они вот все такие, все алтайцы, даром что которые нехристи. Ежели, к примеру, лошадь потеряется, ты только попроси его, любого, чайком попой да сухариков пообещай с фунтик — беспременно найдет... Чего говорить, народ смиренный.

Небольшая деревня Топучая торчит в расширившейся здесь долине речки Семы, вблизи ее истоков. Дно долины болотистое. Высота над уровнем моря 1 верста с лишком. Деревня существует лет 30. Хлебопашеством стали заниматься 4 года тому назад. Посеяли. Как раз год выдался исключительный, сильные жары были. Уродился хороший хлеб. Инею раннего тоже не было. Сняли урожай добрый.

— Ну, знамо, это взманило всех,— говорит хозяин земской.— Начали разрабатывать. Я даже жнейку купил. А на второй и третий год все гибло от разных холодов. Так и побросали теперь многие. Что ж, я в прошлом году на 70 рублей семян засеял, а в обрат получил рублей на 10... Так кого тут... Эвона в прошлом году в самый ильин день, это в июле-то, когда самые жары живут, у нас снег в четверть выпал да двое суток и пролежал. Такой холодина завернул, что страсть. Ну, все и померзло сразу. Которые еще пашут. Вот и нынче запахивали. А погляди-ка полосы-то. На фоминой сеяли, а сегодня 20 мая, а ты погляди, хлеб еще только всходить зачал, вот этакенький, едва видать. Кого тут...

— Чем же вы кормитесь?

— Мы ямщиками живы. Ямщика мимо нас прет, как саранчи. Грузов-то ведь эвона сколько идет, большие тысячи.

Ну, а ямщику что надо? Ямщику надо сена. Вот мы сено и заготавливаем. Пудов с пятьсот заготовишь да зимой по целковому пуд и продаешь. Кое место орехи, кое место рыбешка али охота, тоже вроде промысла. А то и сами в извоз отправляемся. Вот и пробиваемся.

— Откуда переселились сюда?

— А из разных мест, кто из Алтайского, кто из Смоленского, из Муюты, из Бийска.

— Что же вас тащило сюда?

— Да будто полагали, что приволья больше здесь.

VI. УСМИРИТЕЛИ

Я ночевал в Топучей. Вечером за самоваром сидела большая компания: два приезжих купца, фельдшер, ямщики, хозяин земской. О всякой всячине разговаривали. Между прочим, кто-то речь завел о том, как Чот новую веру вводил.

Купец говорит:

— Ведь он раньше-то простым пастухом был. Да что-то не поладил со своими и ушел в Монголию. Там сколько лет по ихним монастырям шатался. Потом опять пришел. Да и стал новую веру пущать. Эвона как взбаламутил всех. Тут его и усмирили.

Один из крестьян сказал:

— Я его тоже усмирял.

— Ну-ка, дядя, расскажи.

— Да чего рассказывать-то? Так... одна прокламация только. Сбили это, значит, народу по волостям подходяще, чтобы, значит, на Кырлык идти, где они орудовали, инородцы-то.

На полу, в кути, выпивший маляр лежал. Он идет по тракту малярной работы искать. А тут вот он отдыхать хочет, «с устатку дернул», лежит. Он слушал внимательно, что-то бормотал и улыбался, потом крикнул:

— А вы инородцев били? Грабители?!

— Нет, мы не били. Она сами разбежались.

— Толку-у-й слепой с подлекарем.

— Нет, правду. А которые не хотели уходить волей, тех арестовали, да в Бийск. И вместе с Чот Челпановым. Некоторые алтайцы к нам обращались: «Чего же делать-то,—спрашивали,—у нас дома сено, работа... А мы все побросали: баб, детей, скот. Нам домой надо, а нас держат, свои же не пускают, лозами дерут. Говорят, что

зимы не будет, денег не надо держать, ничего не надо, снегу не будет, все будет зелено».

— Толку-у-й...

— А там двое суток жил. наших человек сто собралось...

— Врешь, в пятьсот не уложишь,— кричит маляр.

— Ну пусть по-твоему. Говорили, что девочка Чота, дочь, быдто их бог, быдто она то ребенком оказывает, то стариком, луну показывает, солнце. Мы там две ночи ночевали, а не видали ничего.

Торговый прервал рассказчика:

— Я о ту пору в Онгудае жил. Как началась эта кутерьма-то, как начали по волости ездить, да народ повешать, все мужики наши перепугались. Думали, что и будет. Думали, многие тысячи орды валит с войной. Думали, всем карачун будет. Вовсе даже зря весь шум подняли. Только народ перепугали. Какая может быть опасность от алтайцев, да разве они могут кому обиду причинить. Так, одно пустое мечтание, одна неосновательность. Ха! Бунт... Сообразили, додумались... Ну, мужики, знамо, перетрусил у нас в Онгудае, в таможду бросились, к управителю. Тот, конечно, человек образованный, успокоил. А то, было, ополоумели все. Ей-бог.

— То-то и оно-то,— откликается маляр.

— Вот шесты у них да веточки березовые привязаны, это видели,— опять начинают крестьяне.— Чот им все прекратил, все камлание, бубны все велел пожечь, одежду ихнюю. А как вернулись к себе, это алтайцы-то, ото всего отрекаться, отказываться, значит, начали. Кто торговал, бросил все: «бери!» Ну, другие, которые из нашего брата, из крестьян, попользовались, это правда. Все гребли себе. Ну, только что не силой, а с согласия.

— Ах вы, хамы! — рявкнул маляр и плюнул.

VII. СЕМИНСКИЙ ПЕРЕВАЛ — КЕНЬГА

От Топучей начинается пологий подъем на Семинский хребет. Подъем около девяти верст. Он идет по лесистому месту и выводит на небольшую безлесую площадку. С нее открывается великолепный вид на синеющие впереди малые хребты. Перед этим все лесом едешь, ничего не видеть, а лишь вырвешься на простор, на вершину перевала, все вдруг пеленой снеговых хребтов всколыхнется и останется.

Девятиверстный спуск приводит к жилищу ямщика, к станции Песчаной. Далее следует еще подъем, перевал через так называемое Каменное седло и спуск к озеру, лежащему на широкой луговой равнине, окруженной безлесыми хребтами.

Озеро небольшое, версты четыре в окружности, тихое, голубое. Лодчонка у берега стоит, белая палатка чья-то виднеется: хозяин промышляет рыбу.

У калмыков про озеро множество легенд. На дне этого озера большой волшебник живет — Морская корова.

Эта корова зла никому не делает, а пугать пугает. Как осень установится, льдом скует воду, корова начинает реветь страшным ревом.

Трудно тогда на озере жить.

Ночи темные-темные, ветер по степи рыскает, из ущелья в ущелье носится и воеет адским своим воем Морская корова.

— Мы приметку сделали,— говорит калмык,— ежели озеро шибко стонет, год для скота будет легкий, корма хорошие будут. Ежели озеро молчит — трудный.

Русские крестьяне говорят:

— Какая там корова, одни враки. А оттого оно и стонет, что воздух снизу выходит, из воды подымается, лед разрывает да в щель-то и идет снизу, вот и воеет. Это верно, что с непривычки, мурашки по спине ползут.

Чудо про озеро рассказывают калмыки и русские.

На озере нет дна. Как-то мерили, веревок не хватило. А в глубине будто бы вода винтом ходит. Пригнал калмык диких своих коней к озеру. Поймал двух, связал их вместе, чтоб те не разбежались, чтоб удобнее было вновь поймать, связал и опять отпустил на волю. А те перепугались да в озеро. А озеро глубокое, захватило их винтом, на дно утянуло. Погибли лошади. За хребтом, верстах в пятидесяти отсюда, есть другое озеро — Елбань. И вот в этом озере месяц спустя и нашли трупы двух погибших связанных вместе лошадей. Неужели оба эти озера сообщаются?

Спустившись в приозерную степь, дорога становится ровной, плотной, словно асфальтной. Утомленные кони вдруг оживают, закусывают удила и несут нас вперед к небольшому селенью Кеньге, столице калмыцкого царства.

VIII. КАЛМЫКИ

При въезде в Кенгу стоит большой двухэтажный дом с амбарами на широком дворе — усадьба знатного калмыка Аргамая Кульджича Кульджина. Она особняком стоит. За ней луговина, вся уставленная коническими, крытыми корьем чумами, а дальше — церковь, инородное управление, каталажка, школа, земская и два-три дома.

За чашкой калмыцкого чая, сваренного с молоком, солью и талканом, веду беседу с Аргамаем Кульджичем. Он человек начитанный, богатый, предприимчивый. Не раз бывал в Питере.

Он владеет огромными табунами лошадей. Он желал бы поставлять для сибирских частей русской армии особой породы лошадь, выносливую в горных переездах, приспособленную к суровым зимам. Для этого ему нужны хорошие производители из главного коннозаводства и 20 000 десятин земли. Производителей ему дали, в земле же он получил полный отказ.

— Поеду в Питер хлопотать, — говорит он, поглядывая на меня умными, с огоньком глазами. — Ежели откажут на Алтае дать, по Иртышу просить буду. Ежели и там не дадут, весь скот за границу угоню, в Монголии жить буду, либо все брошу, закончу, стану без дела жить.

Но разве такая натура, как Аргамай, может бездельничать. Он и скотоводством занимается, и землю пашет, и торговлю ведет. Рахманинские горячие ключи хотел ведь под свою руку взять, курорт там устроить. Конечно, следовало бы поощрить такого предприимчивого калмыка. Тем более, что дело улучшения породы алтайских лошадей — дело значительной государственной важности.

— Ну, как живут наши калмыки?

— Житье наше плохое. Кабинет обвел нас межой, лишил простора. Жить стало трудно. Нашему народу надо много земли — у нас скота много. Скот от бескормицы падает. Падет скот — вымрут калмыки. Надо нас жалеть. Мы со своей землей пришли в верноподданство, мы не с голыми руками пришли. Нас не воевали, сами пришли. Нас монголы да Китай обижали. Мы стали просить у русских защиты. Нам казачью линию поставили, охранять начали, а на землю выдали бумагу, грамоту. А грамоту мы затеряли.

Помолчали. На полу сидели калмыки. Один старик ввязался в разговор:

— Шибко худой жизнь. Конина колол, корова колол,

себе-та надота. Чего да нету? Чай да нету, мука да нету. А надо. Баран колол. Все пропал чиста.

И он часто замигал своими узкими глазами и отвернулся.

Аргамай сказал:

— Житье наше неважное. Первая причина — калмык не умеет сено заготавливать, скотина на подножном корму ходит. Вот в прошлом году глубокий снег выпал в нашей бесснежной равнине, скота погибло больше тысячи. Половину скота убавило. А у других весь скот пал. Вторая причина — леса не дают, коры драть нельзя, а скоту необходим теплый хлев: в долине большие ветры живут, лес обязательно надо калмыку, а запретили брать. Третья, самая главная, — скотогоны десятки тысяч скота гоняют по нашей земле из Монголии. Мало ли сколько кормов съедят, сколько травы стопчут. Да еще иной раз скотина хворающая идет, вредную слюну оставляет на траве. Наша заражается. От этого — повальный падеж. Нонче у нас, в прошлом году в Топучей, да каждый год. Надо другой путь избрать для прогона. Хотя бы на Катунь. Там и скота меньше и земли больше. Это можно доказать цифрами.

Аргамай вдруг улыбнулся.

— Что?

— Да тут смешное вышло. Когда Чот вводил веру, он запретил на пять лет лес рубить. Это глупо. А тут вскоре и от лесничего запрещение на лес вышло. Получилось смешное совпадение, калмыки ведь знали: «Начальство то разгоняет нас, то по нашей вере, то по новой поступает, ничего не разберешь».

Я говорю Аргамаю:

— Ну, а что, если б правительство всем кенгинским калмыкам дало бы общую площадь земли и сказало бы: «Вот вам земля, как хотите, так и устраивайтесь». То же самое и катунским калмыкам.

— Это было бы очень хорошо.

IX. БЕСЕДА С ЗАЙСАНОМ

В дальнейшем пути я встретил калмыцкого зайсана. Он был выпивши, и, так как земская была занята военными, топографами, он расположился со своим адъютантом под навесом амбара на мягких кошмах и подушках. Он был жирный, с узкими заплывшимися глазками, с косичкой на бритой голове. Когда я подошел к нему и поздо-

ровался, он тяжело поднялся с своего ложа, часто закивал головой, сделал по-военному под козырек (хотя был без шапки) и крикнул адъютанту, чтоб тот скорее обул его. И никак я не мог убедить его, что можно великолепно разговаривать и разувшись.

— Нельзя, нельзя, нельзя,— скороговоркой проговорил зайсан и дал адъютанту легкий подзатыльник.

И вот мы, сидя друг против друга на кошме, стали беседовать. Человек пять русских подошло. Меня разбирал смех, когда девятипудовый зайсан при каждой фразе прикладывал по-военному руку к бритой без шапки голове и всякий раз извинялся, что он выпивши:

— Извините, извините, извините.

— Вы мне, пожалуйста, не козыряйте, я человек простой.

— Нельзя, нельзя, нельзя... Таштан! — крикнул он адъютанту и сделал жест рукой сверху вниз.

Адъютант вскакивает, делает по направлению ко мне шаг и плутовато, с улыбкой косясь на своего господина, смешно раскорячивает ноги и кланяется мне в землю.

— Проси, проси, проси! — приказывает зайсан, опять делая под козырек и кивая головой.

Адъютант, растерянно улыбаясь, сюсюкает:

— Проси, проси, проси...

Я заливаюсь хохотом, угощаю зайсана и адъютанта папироской, все улыбаются: и зайсан, и адъютант, и ямщики, и мы, наконец, заключаем условие разговаривать попросту.

Зайсан положил мне руку на плечо и, указывая крючковатым пальцем на заречную гору, заговорил:

— Вот эту гору видишь? Что в ней есть? Пастбище есть? Один камень. Как жить, чем скот кормить? Тыща десятин в ней. Нам дали. Чего на ней есть?

Крестьяне поддакивают:

— Тут какое угодье. Самый камень. Вот теперь вид у горы зеленый: это дождички шли нынче, трава и позеленела. Да вот уже жары пойдут — вся счахнет. Иной раз живет весна жаркая, так все лето и стоит этот подол красным, головой все побуреет.

— Так где ж скот-то пасут?

— Да вот по логам и бьется. Еще есть у них землишка. Та под пашню. Тоже немного.

— Раньше лучше было?

Зайсан отвечает:

— Известно, лучше. Раньше — куда хочешь гони ско-

тину, запрету не было, вся земля была наша. А теперь одним обществам хорошие куски попали, другим худые. Раньше равнение было. Кто на плохом корму — в хороший гнал, к соседям. Те не препятствовали. Лучше было бы всему нашему народу сообща отмежевать сколько есть нашей земли.

И вдруг, схватив мою руку и припав к ней потным своим широким лбом, зайсан заговорил:

— Пиши, пожалуйста, в газету, пожалуйста, пиши... Таштан!..

Я изумился. Наконец-то наконец, и темный калмык уверовал в силу печатного слова.

Выслушали мы мнение по земельному вопросу людей богатых и власть имущих, так сказать, местных феодалов, воля которых для своего народа — закон, его же не преядоши, и капитал которых так же беспощадно и неотразимо в бараний рог гнет бедноту, как и толстая мошна любого нашего истинно русского Колупаева.

Надо выслушать и мнение другой стороны.

Х. «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»

С «другой стороной» я на днях встретился в Улале.

«Другая сторона» — видный кабинетский агент, бывший земский статистик.

Он говорит:

— Внутринадельное размежевание калмыцких земель имеет положительные и отрицательные стороны. Но положительных больше. У зайсанов огромная власть. Зайсан имеет полное право пустить на землю его рода за деньги, за водку русских переселенцев. Примеров таких сколько угодно. Таким образом, инородческая земля расхищалась за счет обогащения одного лица, зайсана. С наделами это исчезает. Прежде зайсан, или вообще богач, не довольствуясь своим пастбищем, своей долиной, беспрепятственно гнал свой скот в любое, не принадлежащее ему пастбище. И пострадавший от отравы не смел пикнуть: богач сживет его со свету. Теперь этого не может быть. И понятно, почему богачи всячески противятся введению новых порядков.

— А позвольте вас спросить, почему на днях калмыки на верховьях речки Песчаной отказали землемеру давать рабочих, потребных для размежевания? И когда из Бар-

наула распорядились нанимать в счет калмыков рабочих со стороны, калмыки, наконец, согласились?

— Этого я не слыхал.

— А я, извините, слышал.

— По всей вероятности, это произошло опять-таки под давлением богачей.

— Вы думаете?

— Я в этом уверен. Ну, так вот. Теперь дальше. По Чуйскому тракту калмыкам земли досталось мало. Но где же ее взять. Ведь вы сами видели, какой ничтожный фонд удобной земли в тех местах. Но поверьте мне, что Кабинет все отдал, что мог. Вот не угодно ли взглянуть на карту.— И с этими словами он вытащил огромную, с двуспальную простыню, карту:

— Все, что осталось у Кабинета, покрашено синей краской. Вот видите, какие ничтожные остались клочки. И они представляют собою голые, никому не нужные скалы. Вся земля, ушедшая в надел, передана Кабинетом казне. Казна будет выплачивать Кабинету за каждую десятину по 22 копейки в продолжение 19 лет, конечно, взимая эти деньги с новых владельцев, затем следующие 19 лет на тех же основаниях население будет выкупать у казны землю в собственность.

— А какие ж отрицательные стороны вы заметили в нарезке калмыкам земли?

— Вы знакомы с укладом калмыцкой жизни?

— Отчасти.

— Раньше, до последних дней, калмык зимовал в одном месте, а на летовку угонял скот в другое место, куда-нибудь в лог, в долину речки. Калмык говорил: «Я не дурак, чтобы делать, как русские: те накосят сено за пять, за десять верст, да и возят домой целую зиму. Я лучше скот угоню к сену». Теперь же этого сделать нельзя. Та долина, тот луг, куда он и его предки из года в год летовали, отошли другому обществу. Раз. Далее, калмык женил трех сыновей. Каждый из них расположился в хорошем месте, где есть вода, где достаточно луговых пастбищ. Отец гонит скот на летовку к сыну, брат к брату, сын к отцу, смотря по тому, где лучше, и соразмеряясь с числом голов скота. И в таких случаях приходилось гнать табуны за 30 и 40 верст и по чужим пастбищам, которые, строго говоря, чужими не были, были общие калмыцкие. И никто этим не возмущался, потому что вчера Мамыр прогнал свои стада чрез пастбища Короси, а завтра Короси погонит чрез луга Мамыра. Теперь же этого сделать

нельзя. Два. Словом, это правильно, что в данное время происходит полная ломка всему укладу инородческой жизни. Конечно, все это ставит калмыка в тулик. Но поверьте, что некоторые из них начинают, присмотревшись да подумавши, понимать и благотворность новых порядков. Беднота начинает понимать.

В каждом нашем отряде несколько переводчиков калмыков. Мы тайно посылали их узнавать мнения бедноты. И кто из бедноты посмышленей—довольны. Они только все еще плохо усваивают, как это вдруг земля стала его, что никто не посмет, ни Аргамай, ни Манчжи, забраться на его землю со стадами. И вот как-то является калмык и начинает просить топографа объяснить ему, что значит выражение «его земля, собственная». Тот ему объясняет. «Но ведь Манчжи может пригнать ко мне свой скот?»— «Нет, не может. Если его скот зайдет, ты взыщешь с него за траву».— «Как я могу взыскать с быков? Что толкуешь... Если б сам Манчжи пришел и стал есть мою траву, с него можно взыскать. А чего возьмешь с быка? Бык ничего не заплатит».— «Манчжи заплатит».— «Как смею я с него просить. Я ему должен. Он осердится, муки не даст».

— Не знаю, не знаю,— сказал я,— но многие жалуются, что мало земли, что негде скоту пастись...

— А где ж ее взять, если нету. Вот недавно на Песчаной, которую вы упомянули, кержаки землю нарезали. Тем значительно меньше, чем калмыкам. Кержаки бунт подняли. Доходило дело до властей. «Нам все одно здесь не жить. Уйдем. Всю землю орде роздали».

Здесь я приведу свой разговор с крестьянином села Онгудая Черепановым, бывшим переводчиком при топографе, работавшем на Песчаной.

— Кержаки, они нагрыжливы. С краю-то, как населились, вовсе утесняли калмыков. Зайдут в аил да как хозяева и командуют: скот режут, калмыков бьют, всячески изгиляются. Ежели возле аила хорошая земля, начинают ее пахать безо всякого. Пашут да и все. А земля чужая, калмыцкая. Калмыки, знамо, народ смиренный, поплачут да в другое перекочуют место. Аилишко оставят. Кержаки все сожгут. Недавно коня застрелили калмыцкого да в лес заташили, завалили чащей. Всячески выживают. За это, за упорство за ихнее, им мало земли дали. А калмыкам больше и лучше. Они все-таки в этой местности хозяева.

XI. ЕЩЕ О ЧОТЕ ЧЕЛПАНОВЕ

Встретил я господина, который видел Чота и говорил с ним.

Вот его рассказ:

— Нас было трое. Мы в тех местах, где Чот, работы от Кабинета производили. Мы знали, что Чота трудно увидеть, он уклоняется от всяческих встреч. Остановились вблизи его юрты, посылаем человека: «Зови хоть обманом, хоть как, только достань его». Пришел Чот. Стали его угощать, стали чрез переводчика расспрашивать. Он высокий, сильный, малоподвижный, самый обыкновенный, даже в глазах нет ничего особенного.

— Как ты вводил веру свою?

— Дочь моя бродила по лесам. Дочь моя встретила на белом коне белого всадника. Белый всадник сказал ей: «Объяви народу, пусть бросят камлать, пусть свою прежнюю веру найдут, пусть вереск жгут, молоко приносят в жертву, прогонят камов». Дочь испугалась, мне передала. Я испугался. Я стал искать белого всадника, но не мог найти. А народ услышал про это, начал собираться в нашей юрте. И вот я встретил белого на белом коне всадника. «Я царь мира, Ойрот, которого вы ждете». И повторил то, что сказал дочери. Я вернулся к своим и стал надсмехаться над камами, стал говорить, что они мошенники, обманщики, что они служат злему духу, а забыли духа доброго, того, кому поклонялись раньше. Тогда все испугались, ожидая, что вот явится сам Эрлик и всех пожрет. Но ничего не случилось. Тогда я начал устраивать новую веру, ту самую, которая была у нас, но которую мы забыли.

— Какая же основа вашей веры?

Чот оживляется, передает переводчику:

— Солнце, луна, земля, вода, огонь — одно. Одно божество. Все — одно. Один Бог, один Бурхан.

Переводчик говорит:

— Солнце, луна, земля, вода и огонь — все равно. Что луна, что вода — все равно.

Чот, уловив грубую неточность перевода, сверкая глазами и крутя рукой, кричит:

— Одно, одно! Одно! А не равно!!

Мы кивнули головой, и он успокоился.

— Ты говоришь: новая твоя вера — это прежняя, забытая, вера ваших предков. Как народ мог забыть веру свою, как мог пренебречь добрым духом, а молиться лишь духу злему?

— Народ раньше молился только доброму духу. Но добрый дух милостивый, он не взыщет, если иной раз ему и не помолиться. А злой дух всегда возле человека, он рад проглотить душу человеческую, рад зацапать ее, поразить болезнью. Вот человек и стал упрашивать злого духа: «Пожалуйста, не тронь; чего хочешь возьми, только отступись. Мы тебе кровавую жертву принесем, мы тебя славить будем». Так это поклонение черту и усилилось, а доброго духа народ забыл. Этому помогли камы.

— Расскажите что-нибудь о том, как вас разгромили русские?

Чот долго молчит, потом отвечает:

— Я ничего не помню. Мы мирно молились. Потом пришли русские. Меня ударили. Я больше ничего не помню. Моя душа над землей трепыхалась в то время. Поэтому я все забыл.

— А что означает: мы встречали в долинах дощатые помосты, по углам шесты с шарами и белыми и желтыми лентами?

— Там мы молимся. Там наши ярлыкчи, наши вестники поют стихи, которые они слагают.

Рассказчик сообщил мне несколько таких стихов, переведенных одним из священников на русский язык и уже где-то напечатанных.

Вот они:

Беленький цветочек
Северного места
От любви к Алтаю
Раскрывается.

Пятилетний ребенок,
Прославляя Бурхана,
Молится ему.

Сорок две пуговицы
Можешь ли застегнуть враз?
Ученье Бурхана
Можешь ли скоро понять?

Рубящий дом
О четырех углах,
Топор остер.
Сорок племен угнетающий
Сердитый русский народ.

Мы еще о многом хотели расспросить его, но Чот несколько раз, перевирая наши вопросы, спрашивал:

— Где мне найти правду? Научите. Меня разорили то ли русские, то ли свои. Пожгли все, скот угнали, лошадей

угнали, все разграбили. Где правда? Кто может заступиться за меня? У кого милости искать?

Возле нас сидели несколько калмыков и благоговейно смотрели на Чота.

Мы спросили. И некстати спросили:

— Скажи, Чот, почему прежде калмыки оказывали тебе всякие почести: с седла снимали, держали стремяна, а теперь равнодушны к тебе?

Чот молчит. А калмыки — не понравился им вопрос, застыдились — все враз встали и пошли, будто по делу, кто к коню, седло поправить, кто к речке, воды попить.

Чот ничего не ответил. Только вздохнул.

А калмыки, спрошенные после, когда Чот ушел домой, сказали:

— Хоть новая наша вера лучше старой, но мы видим, что русское начальство недовольно им. И мы поэтому подозреваем, что в этой вере есть что-то плохое. А что — не знаем. Не можем увидеть. Поэтому боимся открыто оказывать почести Чоту. Боимся, как бы не донесли начальству староверы. И почему начальство не одобряет нашей веры? Ведь она лучше старой?

Рассказчик закончил:

— Я слышал, что где-то сидит на Алтае лама. Кажется, из новообращенных. Лама будто бы говорит: «Это учение — ламаизм, особый, алтайский, временный. Калмыки — дети. С ними надо по-детски поступать. Давать то, что доступно их пониманию. Когда созреют — догма веры расширится и приблизится к истине».

ХП. РУССКО-КАЛМЫЦКИЙ ТОЙ

Той по-калмыцки — свадьба. Хочу рассказать о довольно оригинальной черте местных обычаев, случайно встреченной мною в Кенге.

Едва я подъехал к земской, как увидел вблизи сборни, на площади, целую толпу калмыков, три курящихся костра, над которыми висели огромные котлы, весело снующих собачонок, похрапывающих на привязи лошадей. Настроение праздничное. Солнечный день.

— Это что? — ямщика спрашиваю.

— Той.

— Калмык, что ли, женился?

— Нет, русский русскую взял. От ямщика земского умыком в жены деваху сбрал. Третьеводнись обвенчались,

а теперь вот гуляют, угощают калмыков. Теперь все по-калмыцки пойдет, весь обряд, потому как они среди калмыков живут. Обязаны вроде уважения сделать, без этого нельзя. Вот ужо выпьем.

Мой ямщик облизнулся, взглянул в сторону котлов. Я поближе подошел. На траве окровавленная конская шкура лежит, коня хозяин заколол. 45 рублей конь стоил. В двух котлах алтайцам конина варится, в третьем — баранина русским. У костра несколько сельниц-корытец стоит — это тарелки для пиршества. Карлик-калмык, старицишка в длинном балахоне, у котлов топчется. Ножом мясо в котлах ворошит. Лицо у него острое, морщинистое, бороденка хохолком. Ему молодые алтайцы помогают. К баранине верзила-мужик приставлен да ребятишки.

От избы молодых к огнищу, от огнища к земской, от земской к хибарке снует народ, бабы, молодежь — все заняты приготовлением.

На лошадей человек пять ребят усаживают, на бегунцов, без седел, «байга» — бег — будет. Хозяин выходит, отец жениха, высокий, усы книзу, давно не бритый, улыбочивый, в руках первый приз несет: бутылку водки и розовый шарф. Бегунцы уж за поскотиной, а приз привязан за горлышко к высокому шесту. Потасили приз в поле. «Бегут, бегут!» Все туда бросились. А собачонки к баранине. Однако карлик, быстро выхватив кол из котла, огрел одну из них вдоль спины. Отскочили псы, сели возле, ждут, не зазеваются ли маленький человек с большим колом.

Вот и бегунцы прискакали. Приз достался молодому парню. Взял водку, домой помчался. Народ, улыбаясь, идет назад.

Один из алтайцев что-то кричал, с жаром жестикулируя и выразительно играя черными глазами, что-то старался доказать стремящейся к огнищу толпе. Хохотал. Ему подсобляли другие. Он строен и прям, чисто бритый, голова коротко острижена, с проседью волосы, милое, живое, подвижное лицо. Это калмык «каморщик», за каталажкой надсматривает. Ему не нравится, что водку взял себе победитель, водка должна в круг идти, водка ничья, общая. Но его успокаивают: хозяин водки много выставит, запас большой сделан. Тогда он, прищелкнув языком и подмигнув соседу, кричит: «якши!» и вновь раскатывается хохотом.

Молодые тоже в толпе идут обнявшись: он высокий, за шею ее обхватил, она низенькая, в красной кофточке,

беленькая, обняла мужа за талию. Идут, ничего не видят, ни бегунцов, ни клубящихся паром котлов; толпа вправо, они влево, толпа у огнища осела, как пчелы у улья жужжат, они в поле, где колосится рожь, где звенит под солнцем песня жаворонка.

Однако их окликает отец:

— Ваня! Съезди с молодой за Аргамаям, зови.

Гости начинают усаживаться у огнища на лугу по большой дуге. В центре бороваобразный, пудов девяти, жирный, весь в черном, бывший зайсан, черный, с опухшими глазами, бронзовый, безбородый, с маленькими усами, пучеглазый. Входит в круг виночерпий. Наливает стакашек, подходит к бывшему зайсану, опускается пред ним на корточки и, подобострастно склонив голову, подает зайсану водку. Взял и немедленно опрокинул в рот, не поморщившись.

Следующий стакан подносится другому калмыку. Тот, взяв стакан, подходит почтительно к бывшему зайсану, опускается на корточки и передает ему, глотая слюни, водку. Толстяк открывает рот и выплескивает туда водку. И так продолжается очень долго. Бывший зайсан сидит смиренно, не шевелясь, с застывшим лицом, будто далекий от всего этого, будто занятый другой, посторонней празднику думой, только рука его не устает работать и жадно раскрывается рот.

— Вот пьет так пьет! — удивляется один из стоящих сзади ямщиков.

Другой, сплюнув, говорит:

— А что ему значит, ежели он впился. Ему этот стакашек все одно, что слону дробина.

Последний стакан подносится сидящему с краю бедняку, тот берет, смотрит на стаканчик, будто колеблется — пить ли? Затем, вздохнув, приподнимается и несет другому, в синем бархатном кафтане калмыку. Тот пьет и дает бедняку затянуться в знак дружбы свою трубку. Курит, сплевывает и отдает обратно. Это калмыки распили первую четверть. Эта водка их собственная, не хозяйская: по обычному праву, шкура убитого коня принадлежит гостям, они пожелали вернуть ее хозяину за четверть водки.

Котлы вскипели. Вынимают мясо, раскладывают по корытцам. Гости сидят молча. Бывший зайсан начинает икать и мутными глазами впервые обводит лениво толпу. Ждут Аргамая. Но он прислал ответ:

«Я не люблю пьянства и пьяных не люблю, я приду после. Бабу пошлю».

Глядят: от богатого Аргамаева дома выступают, не уклюже переваливаясь в нескладных своих сапожищах, три женщины в праздничных бархатных шубах с бархатными сзади крыльями, как у архиерейских певчих, в широких, сплюснутых с боков меховых шапках.

Хозяин русский по-калмыцки командует:

— Отырар ет тиерге! (Садитесь мясо есть!)

Все усаживаются по три, по четыре человека у корытцев с мясом. Женщины к огнищу не подходят, а направляются в избу молодых. С ними молодая девушка, Аргамая дочь, в голубой бархатной шубе с лисьим воротом, в круглой расшитой бархатной шапке, лицом бела, румяна, глаза весенними листочками, черные. Сказкой голубой плывет, мягко ступая по зеленому лугу. Вскоре почетные гости вышли из избы и, подойдя к огнищу, уселись в круг. К ним примкнули другие женщины.

Явились молодые. Оба горят, до краев счастьем полны, у него в руках поднос с водкой, у нее — мелко крошенные на тарелке блины. Гостей обносят, обносят водкой посторонних зрителей. Выпивают, закусывают, кладут деньги. Хозяин еще три четверти притащил.

— А ты бы в железное ведро вылил: разобьют стекло-то.

Началось великое чавканье и питье.

Языки развязались. Смех у каждого корыта зазвенел. Бывший зайсан, как на каменку, поддает себе в рот водку. Покачиваться начинает и сам с собой бубнить. Старик-карлик с ковшом, насаженным на палку, от котлов к корытам бегаёт, бульон в мясо подливает. Понес да калмыку ногу обварил: тот окрысился, при дамах очень отчетливо и смачно по-русски его выругал. Все пьют, чавкают. В одном месте брань. Кричит калмык. Волосы его вперед зачесаны, глаза серые, лицо треугольное желтое. Он кричит и тянется к соседу драться, тот, обороняясь, отползает на четвереньках прочь, а крикун ругается, грозит рукой, и голова его трясется, как у паралитика. И у другого и у третьего котла начинается ссора. Бывший зайсан уж на боку лежит возле другого, в красном камзоле калмыка: сгреб его за камзол и норовит поставить на голову, пятками вверх. Но это ему не удается, хотя калмык, почтения ради, не сопротивляется и, улыбаясь, смиренно сидит. Зайсан долго возле него примеряется, наконец, рассерженный, отползает прочь и начинает петь и добродушно хохотать.

Я иду лошадей заказать. Но ямщики выпивши:

— Нельзя ли повременить?

Кто-то затаскивает меня в избу, где чай, водка, всевозможные яства. Там много народу: сватья, свояки, тетки, гости. Родных молодой нет: девица сбежала от отца-матери и крадучись повенчалась. В другой половине избы — алтайцы гуляют. Чай пьют.

У стенки молоденькая, с русскими чертами девушка. Только что вошла в избу, села на стул, опустила низко голову и заплакала. Выпивши. Возле нее пучеглазая инородка Верочка. Девушку утешают, конфетку суют в нос, пряничек, но та закрыла лицо руками и заливается горькими.

— О чем она плачет?

— Да мужа боится.

— Разве она замужняя?

— Да. Инородка она. Привыкла свою арачку пить, выпила русской водки и ослабела. Боится, что муж прибьет.

Ко мне в двадцатый раз пристаёт пьяненький, седобородый, румяный сотский. Бог весть как сюда затесавшийся проездом из Катанды.

В двадцатый раз он говорит мне:

— Позвольте рассказать вам свою жизнь. Жизнь моя горькая.

Но сватья в двадцатый раз подхватывает его под руку и уводит выпить.

Выхожу на улицу. Старый подходит алтаец. Он и раньше несколько раз подходил ко мне — подойдет, поклонится, пошепчет что-то и уйдет. Веснушчатый, старый-престарый, с открытой, грязнейшей морщинистой грудью. Он, оказывается, очень беден. Были коровы, пали в голодную зиму. Ничего нет. Никого нет. Сирота.

Русский мне говорит:

— Он хороший старик. Я сам ничего не имею, а ему помогаю. То на табачишко дашь, то на хлеб. Как ему не помочь. Ему надо помочь.

Гляжу, у корыт свалка началась. Вскочат два петуха, махнут кулаками, мимо. Бух оба! Ползают, кричат.

А иные изрядно вцепятся. Разнимают их. У бритого каморщика вид дикий стал. Без рубахи, в одном пиджаке, голое тело, пупок. От кучки к кучке носится, норовит растаскивать дерущихся, каморкой грозит: «Законопачу!» — но тут же, не стерпев, вlepляет кому-нибудь хорошего леща, и оба летят кувырком на землю.

Бывший зайсан все рад с себя сбросить. В одних шаро-

варах плавает, едва переставляя ноги. Вид его ужасен. Он до того жирен и обвис телом, что ребятишки бьют в ладоши и кричат: «Баба, баба!..» И последний костюм у зайсана сползает вниз, но услужливая меньшая братия, следующая по его пятам, не дает случиться этому греху.

Драки как следует пошли. Бились кулаками, но больше шумели и падали на луговину. Дрались так, зря: драка освящена обычаем. Плох тот праздник, где не расквасят друг другу носы. Это обида хозяину. Другое дело, если удастся как следует задать друг другу трепку. Тогда калмык будет, проспавшись, радостно говорить:

— Шибко хорошо гулял моя. Глаз подбивал, ребра толк! — и покажет на фонарь у глаза.

Хорошо, что алтайцы не научились у русских пускать в ход ножи и оглобли.

В красном камзоле калмык, встав на колени, припал лицом к земле, сложил руки ладонями вместе и заунывно воет: то ли плачет, то ли поет песню. К нему на коне старик подъехал, на коня его затащил. Упал калмык.

Старик еще двух покликнул. Затащили, как куль, на коня, за ноги держат по бокам, а голова у калмыка чуть не под брюхо лошади свесилась. Старик на седло вскочил, коня тронул, опять калмык грохнулся прямо коню в ноги. Конь умный, не тронул.

Многие калмыки были трезвые.

Спрашиваю писаря:

— Почему бывшему зайсану такой почет?

— Боятся. Они, зайсаны, строго поступают. Где на гулянье привяжет пьяного да непокладистого к дереву и стой. У них власть большая. Однако недолго им осталось. С августа на русское положение переведут, волости будут образованы.

— Зайсанами богатых или умных калмыки выбирают?

— И то и другое. Вот бедный нонче выбран был. Поправляться начал. Они ведь, некоторые, здорово берут со своих. Приедет: «давай!», а то накажет.

Кони готовы: брякают бубенцы, тарактят колеса. Наступал вечер. Калмыки разъезжались, выписывая всем туловищем мыслете на прямо и быстро бегущих лошадях. Где-то две гармошки играли. Молодые, плотно обнявшись и пошатываясь, направлялись в вечернее тихое поле. За чернеющие горы садилось солнце. Сразу потянуло холодом и ароматом горной степи.

Прекрасная молодая калмычка в голубом своем бархатном камзоле, алтайских гор дочь, и раз и другой в мах

пролетела на коне. То скроется где-нибудь за склоном горы, то вновь вырвется на долину.

Вихрем носится, голубой сказкой порхает, вся цветущая, как незабудки цветущей цвет,

ХІІІ. ДРЕВНИЕ ПАМЯТНИКИ

От Кеньги к Онгудаю дорога идет красивою долиною Урсула. В 17 верстах от Кеньги — деревня Туехта, единственный пункт на всем Чуйском тракте, где скотогон может обстричь своих овец, идущих в Бийск из Монголии. Своего рода овечья парикмахерская. Стрижкою занимаются по преимуществу женщины.

— Иная, которая проворная, может за день до 70 овец обкорнать. Рубля два заработать может.

За Туехтой начинают встречаться древние курганы, по местному бугры, остатки прежних жилищ, каменные бабы. Все эти памятники, попадающиеся то здесь, то там вплоть до монгольской границы, свидетельствуют о когда-то живших здесь и ушедших отсюда иных насельниках, сеяя память о которых сохранилась лишь в местных былинах.

Вот, например, возле Ини есть камень-баба. Это огромная тонкая плита, больше сажени в квадрате, ловко воткнутая торчком в землю. Стоишь возле нее, маленький, и думаешь: «Как мог дикий человек умудриться ее, матушку, трехсотпудовую, притащить сюда, поднять на ребро и врыть в землю?» Но наше недоумение тут же разрешает наш проводник.

Он рассказывает:

— В нетеперешние времена, когда белой березы на свете не было, проезжал этим местом сильный богатырь. Ему нужно было на Чую попасть, а брода он не знал. Поехал без брода, а река глубокая да быстрая: конь чуть не захлебался. Однако выплыл, лишь потник, что у коня под седлом, подмочил. Надо потник высушить. Огляделся богатырь кругом — ни одного деревца, огляделся кругом — ни одного кустика: ровная степь среди гор, потник повесить для просушки не на что. Залез тогда богатырь на гору, выворотил каменище, да как хватит с горы! Как гвоздь камень вторгнулся, на сажень в землю ушел. Вот этот самый и есть. Так старики сказывают.

Искал я на этом камне письмен — нету. Лишь сбоку высечен нож, да еще расписались белилами в своей без-

грамотности проходившие недавно «братья щикотуры Климовы».

Кстати надо заметить, что русский человек очень любит увековечить свое имя: все дома, скалы, камни исписаны автографами проезжающих вперемешку с непотребными словами, во что бы то ни стало нацарапать которые так зудится хулиганская рука.

За Туехтой, вблизи реки Талды саженях в 50 от дороги, две хорошо сохранившиеся каменные бабы с искусно высеченными лицами. Давно бы их необходимо было выкопать и увезти в музей. Не место им здесь. На их каменных носах упражняются в метании камней проходящие возчики груза. До поклонения искусству они не доросли, им мало дано, с них короток и спрос, но с сибирского общества такое пренебрежение к изваяниям древних — взыщется.

— Скажи мне, друг,— обращаюсь я к калмыку,— что значат эти круглые, неглубокие, заросшие травой и бурьяном ямы, охваченные кольцом из булыг?

Таких ям много. То в одиночку встречаются, то по две, по три. Иногда их целая улица в два поезда.

— Мы не знаем. Говорят, что жилища, юрты живших здесь людей. Вот видишь, много камней столбами стоят — это ихнее кладбище. Видишь, в стороне большой камень стоит — тут богатырь зарыт. Вот и говорят, что в этих ямах жили люди. А сверху у них надстройки из кошмы или коры были. А кругом все было камнями завалено для тепла. Так они и жили. Потом прошел слух, что белое дерево на земле появилось, белая береза. Слух прошел, что вместе с деревом где-то белый царь родился, которому дано их покорить. Они очень испугались. Они сказали: «Пришло время умереть нам добровольно». Сделали над жилищами на деревянных столбах помосты, нагроузили помосты камнями, зашли каждый в свою яму, помолились, распрощались друг с другом и подрубили деревянные столбы. Камни рухнули на них и задавили. Так старики рассказывают.

XIV. ОНГУДАЙ

Онгудай. Последний культурный до Кош-Агача поселок. Здесь телеграф имеется, есть с живой душой люди, можно встретить относительный уют. Онгудай. Его российские переселенцы часто «Возгудай» зовут. Въедет с своею па-

русинною кибиткой в самое село, да и спрашивает какую-нибудь всю в кумаче бабу:

— А скоро ль, тетенька, Возгудай будет?

Та хохочет и отвечает ему:

— Не доходя прошедши.

Придорожная трава пыльная, притрактовая баба вольная. Про онгудайскую бабу широко слава идет.

— Онгудайская — охо-хо-о-о...

Онгудайский мужик — проворный, говорун. Живут себе, питаются у тракта хорошо, извозом занимаются, сено для ямщиков готовят, хлеб сеют. Не заметил я, чтоб они «до смерти работали», но что «до полусмерти пьют», — это я высмотрел прекрасно. И откуда они берут водку? Монополька почти за 200 верст от них, в Алтайском. Не арыки ли, проведенные сметливой рукой сибиряка по всему селу, по каждому огороду, несут в себе это окаянное пойло, эту гадкую отраву души и тела?

Когда же этому конец?

Русский мужик погряз, русский мужик вконец пропивается, он на вымирание себя обрекает, он в пьяном виде зачинает детей, производит больное, нервное потомство.

Дай бог, чтоб я ошибался. Но преступно на это закрывать глаза. Если мужик сам не может выпростаться из болота, надо его схватить за волосы, вытащить и поставить на гору: «Иди и впредь не грешил!» Но кто, кто это сделает, где у нас такой богатырь? Родился ли? А надо что-нибудь делать, надо торопиться. Время летит быстро, а зеленый черт с зелеными глазищами орудует вовсю.

Онгудай село красивое. Уж осенью взобрался я на гору и глянул на село. День ясный был. Под ногами желтый лист лежал, деревья оголялись. А кругом все еще зеленели горы. Село сверху маленьким кажется, «но вправдашним», как сказал бы крестьянский мальчуган. Две улицы по селу прошли. Две церкви, старая и новая на пригорке красуются в зеленых рощах. Вдоль села Урсул гремит, по селу речка Онгудай течет, а от нее голубыми не пыльными тропинками бегут в канавках холодные ручейки — арыки. То здесь, то там среди села стоят зеленые колки: ели, лиственницы сбежались кучками и шепчутся. Кругом села желтеющие нивы: хлеб убран, сложен в желтые огромные зароды. Целая улица их. Нынче урожай хорош. Какая жара. Воздвиженьев день, а солнце печет немилосердно. И уж кстати замечу. Что за Алтай,

что за страна сюрпризов! Вечером туча зашла, засияла молния, гром загрохотал. На другой день хиус подул, холоду нагнал, на третий день, 16 сентября, из Топучей в Шелаболиху я приехал на санях, зима была. А потом опять лето настало, теплое, бабье лето.

Онгудай село торговое. Зимой там ярмарка бывает, приезжают на ярмарку монголы на верблюдах за мукой.

XV. ВЕСЕЛЫЕ КЕРЖАКИ

Онгудайский ямщик стонет, ропщет на судьбу:

— И что ж это, господи, за напасть! Этакий наш ока-
янный станок. В одну сторону, к Кеньге, 35 верст, ну, тут
хоть дорога ровная, в другую 42 версты. Это изволь-ка
через Чике-Таман-то перелезть. Убой. Прямой убой для
коней. И чего не сделают еще станка: один до Туехты,
другой до Хабаровки. Чего ж это начальство-то... шутит,
что ли, или смеется?!

Действительно, станок трудный. Чике-Таман — это
своего рода колокольня Ивана Великого, причем неразум-
ная природа так ухитрилась поставить, что мудрым строи-
телям тракта пришлось вести дорогу чрез самый крестик
этой колокольни.

Но прежде, чем подойти к сему страшному перевалу,
остановимся на минутку в попутной кержацкой деревне
Хабаровке.

Хабаровка славится изобилием плодов земных: кар-
тошки, капусты, всяческих хлебных злаков, изредка ар-
бузов, еще славится сильными боролатыми мужиками, до-
родными молодухами, как красный мак, цветущими в лю-
бое время года, а больше всего — необычайно веселым
медовым пивом, называемым по-кержацки «травянуш-
кою». Травянушка весьма крепкая, быка с ног свалит.

— С трех стаканов человек обязательно должен с ко-
пытков слететь, — говорят про свое исчадие веселые кер-
жаки.

Как только начнет пчела мед таскать, кержак прини-
мается варит травянушку. И по праздникам дым коро-
мыслом стоит по деревне. Самый же большой разгул на-
чинается с осени, когда убран хлеб и подведены итоги
лету. Ведь вот тоже гуляют: удало гуляют, православный,
не подвертывайся под руку — запоят до смерти, молодой
джигит-киргиз, не попадайся бабам-озорницам, скачи на

своем удалом коне куда глаза глядят! С треском гуляют кержаки. А между тем во всем у них видно довольство, видна любовь к земле.

Православные говорят про них:

— Первые разбойники...

— Как так?

— Грабители, самые первейшие конокрады.

Но мне этому верить не хочется.

XVI. «ЧЕРТ-АТАМАН»

Чике-Таман. Прежде всего изречение, нацарапанное на придорожном столбе, на самой вершине перевала рукою отчаявшегося ямщика: «Ета не Чекетаман, а Черт-атаман, сорок восемь грехов». В этом все сказано, вылита вся желчь наругавшегося донельзя человека, замучившего себя и погубившего здесь, может быть, не одну лошадь.

Чике-Таман — огромный горный кряж, преградивший путь в долину Улегома, куда выходит тракт. Вы подъезжаете вплотную к горе, выходите из повозки и пешком поднимаетесь по бесконечным извилинам тракта, подобно пьяному мужику, выписывавшему мыслете по крутому склону горы, и, измучившись, благополучно достигаете вершины перевала. А лошади тем временем надрываются над вашим экипажем. Вы поднялись на сто шестьдесят сажен и на столько же должны спуститься. А горизонтальное расстояние между крайними точками подъема и спуска всего одна верста. Все эти отдельные зигзаги тракта очень коротки и узки, радиусы закруглений малы, уклоны велики. Телега в закруглениях иногда не может повернуться: колеса висят над ничем не огражденной пропастью. Еще один неловкий шаг лошади, и она вместе с возом сорвется вниз.

И вот тут-то начинается ад. В особенности весной, или во время дождей, когда дорога покрывается липкой грязью.

Ругань самая отъявленная, какую только может выдумать озверелый человеческий ум, грохочет в горах. Ямщики ревут дикими, сумасшедшими голосами, — глаза у них свирепые, руки разбойные — палками и камнями бьют лошадей, лошадиные тощие бока, как барабан пустой, отдаются на удары, лошадь еле дышит, у ней в гла-

зах темно, она сердце надсадила, у ней ноги дрожат, бока от палок ноют, в глазах ужасная боль стоит и мука.

— Но, холера! Но, падина! (...)

— Что ты делаешь! — кричу я. — Как ты смеешь бить свою кормилицу?

— А она, черт, не видит, куда везет... Ишь напрокинула...

Но как может знать лошадь, куда ей идти, если заблудились при постройке сами строители, проводят тракт не там, где нужно.

МОРЕ ЗЕЛЕНОЕ

Тайга — море зеленое. Без конца, без краю раскинулась, к студеному океану ушла. Кто ее изведал, кто узнал ее концы и начала? Нет такого человека. Тунгус в тайге, как рыба в озернице: нюхает раз — правильно путь выберет, вскинет вверх глаза, прислушается, все пути учует. От тайги рожденный, тайгою вскормленный, с любым зверем лесным потягаться может: оленя, сохатого перегонит. Медведь? Медведя пальмой пырнет. Он здесь властвует, тунгус, но и ему неведомо, кто посеял тайгу, кто вырастил ее, зеленую, кто волшебной чертой положил ей предел. Где край тайги? Нигде!

С восхода на закат большущая река тайгой катится. А в нее с полдня вторая прибежала, поменьше. Вот тут-то при скрещенье двух дорог водных стоял купеческий стан. Купец сюда пробрался с Ангары, за тысячу верст пришел. Домишко выстроил, лавочку открыл, у тунгусов пушнину скупает, тунгусам товары разные — гниль да рвань — втриморога продает, гребет деньгу лопатой. Лавр Захарыч Фунтиков совсем молодой, ему и тридцати нету, с женой здесь живет, недавно поженились — последнюю шкуру с тунгусов спускает. Но тунгус терпит, терпенья в нем много: обобрал купец, не убил — бери ружье, иди в тайгу, стреляй опять, разбогатеешь, богатство в тайге не убывает, а Лаврушка что ж, Лаврушка — ничего, приди к нему — водки подаст, стакан, другой, третий, мало — хоть до смерти опейся, это ничего.

Дильдо — девица очень красивая. Когда она родилась, тайга гудела шибко, ветер бушевал в тайге, крутил и выкручивал, валил деревья и фуркал вверх белыми столбами снега. Мать родная умерла и, умирая, говорила мужу:

— Гляди, боёе. Однако, шайтаны съедят девку... Береги ее...

Отец с горя пить стал, пьяный в тайге замерз. Добрые люди выкормили Дильдо. А как выросла, сама стала хлеб добывать. Дильдо хорошо белку промышляет, прошлой зимой трех сиводушных лисиц убила, нонче с тунгусом знакомым собирается медведя бить, амикана-батьошку.

Дильдо высокая, тонкая, настоящая молодая елка. Как оденется в красный камзол, как наденет халми, весь в бисере, да поведет беспечальными черными глазами, да улыбнется — будь все небо в тучах — солнце выглянет.

— Дильдо, Дильдо!.. Хорошая моя, Дильдо... Белочка, соболь черный, — мурлычет про нее песню молодой тунгус, пробираясь по тайге вечером на олене.

Семнадцатая весна была роковой для Дильдо. О семнадцатой весне сердце девичье цветом кроетсяя.

— Дильдо, Дильдо... Хорошая моя, Дильдо...

— Да, я хорошая!.. — поет про себя Дильдо, срывая голубой цветок. — Да, я красивая... Гляди, молодец, какая у меня длинная коса, гляди, какие крохотные алые губы.

Бежит Дильдо по тайге, смеется. Куда бежит — не знает, радостно в ладоши бьет, с птичкой перемигивается.

— Хочешь, молодец, белкой быстрой взберусь на лесину?! Лови, целуй меня. Гей, молодец! Гей-гей.

О семнадцатой весне уста девичьи и в ночи любовные речи шепчут.

Бедный тунгус, молодой Ульканча, зачем ты полюбил так крепко Дильдо? Спроси старого шамана, пусть в бубен, пусть в утуун побьет, пусть про судьбу Дильдо тебе расскажет: звезда у Дильдо особая, для тебя ли, Ульканча, молодой бедняк, зажжет эта звезда свой недолгий свет.

Купец Лаврушка, как цыган черный, высокий, жилистый, глазом озорной, повадкой дикий.

Опустил Лаврушка книзу длинные свои усы, говорит Дильдо:

— Ну вот, живи... Двадцать копеек со штуки будешь получать.

И жена Лаврушки Вера Марковна, маленькая, голубоглазая, поджимая бантиком губы, говорила:

— Я тебя, Дильдо, грамоте обучу. Хочешь?

Осталась тунгуска в купеческой избе, шьет тунгусам камзолы, по двугривенному со штуки. Синий камзол шьет — песню про небо складывает, красный камзол шьет — про вечерние огненные зори поет, зеленый — про тайгу. А сама тайным глазом в окошко смотрит: из окна реку далеко видать. Сердце замирает, ждет кого-то, грудь вздрагивает и вздымается под расшитым бисером халми.

И зачем Дильдо пришла сюда? Гулять бы ей по тайге с ружьем в руках, караулить бы ей, как сохатый водяной травой в реке лакомится: пусти пулю — много денег в кармане будет. Нет, девица, шей!

Месяц в самую высь взобрался — любитесь на тайгу, книзу спускаться медлит.

Дильдо каждую ночь выходит на берег реки, смотрит на плавные ее воды, на золотой через реку месяцев след.

Вся тайга спит. В избушке давно огни угасли. Только Ульканча не спит, ждет Дильдо.

Месяц книзу пошел. Золотая дорожка передвинулась. Скрипнула дверь, зашуршала трава. Ульканча на тропинку глазами уставился.

— Дильдо, Дильдо...

— Ну я, Дильдо... Ну, что тебе?

— Дильдо, я скоро куплю себе ружье... Ружье у меня будет хорошее.

— Ну пусть...

— Лебедя за версту снять можно...

— Ну?.. — стоит против него, волосы под луной синью пошли.

— Дильдо! Давай с тобой жить.

— Ха-ха! Прощай, бое... Иди своей дорогой.

Ульканча уже грозным голосом вслед пускает:

— Ой, Дильдо, смотри... — И, опершись на пальму-рогатину, долго смотрит на убегающую тунгуску. Потом сам себе говорит:

— О!.. Ульканча еще не такую себе жену найдет. У Ульканча ноги быстрые, глаза зоркие... Ульканча дорогого стоит...

Но месяц вдруг запрыгал в небе и задрожал, разбежался искрами золотой через реку мостик. Вздохнул тунгус и провел рукавом по глазам.

Через неделю Степан приплыл на шитике с товарами, и с ним пять человек рабочих. Степан у Лаврушки служил доверенным. Он из верховского села крестьянин, отсюда тысячу триста верст. Лавр Захарыч Фунтиков им доволен, третий год у него Степан служит. Когда Лаврушка холостяком был, со Степаном гулянки устраивал по деревням знатные.

Как плывут, бывало, на шитике весной с товарами, где мужики на карачках от хмельного угара ползают, по реке винным духом несет, девки и девчонки зеленые весенние ночи коротают: в кустах камышиных шепот с Лаврушкой слушают, в бане при лучине шерсть прядут, серьги серебряные — давай сюда, кольцо с самоцветными стеклушками — давай, побольше, купчик, денежек оставь, пей, гуляй, получай усладу, а потом, как пройдет угар, горько плачут.

Степан к вечеру приплыл. Дильдо в это время на берегу костер разводила, чай собиралась варить. Как взглянула на Степана — обмерла. Он, он настоящий. По нем сердце Дильдо томилось, его во сне видела Дильдо пять ночей подряд.

Степан с хозяином здоровается, на рабочих покрикивает, голос у него тонкий, а Дильдо стоит с котелком в руках, украдкой на Степана смотрит.

— Он... настоящий... он...

Лицо у Степана белое, волосы светлые, в завитках, борода курчавая, не то что тунгусы. Если б он подошел к ней и приласкался. Она бы его поцеловала крепко, ей лючу — русского хочется поцеловать, белого, он не такой как тунгусы, у него глаза голубые, словно меж белых облаков кусочек неба. Вот, идет...

— Эй, Дильдо! — хозяйка кричит с берега.

Но Дильдо не слышит, другой голос ловит ухом, ласковый.

— Ты у хозяина живешь?

— Да, у хозяина, — отвечает Дильдо.

— Угу, — сказал Степан и, проходя мимо нее, пристально, в упор взглянул в ее вспыхнувшие глаза.

В тайге летом хорошо. Прохладно, тихо. Хвойным запахом дышит тайга.

Дильдо любила знойным днем вырваться из избы, забежать на покрытую разноцветным мягким, мшистым

ковром землю и, раскинувшись, глядеть на небо, в про-светы меж хвой.

И вот однажды, когда ее сердцу стало грустно, она лежала так, закинув за голову руки. Она глядела то на беленькое маленькое облачко, то на верхушку сосны, где притаилась белка. Ей ни о чем не хотелось думать. Но сердце сжимала грусть — откуда подкатилась, из-под какой колодины змеей подползла. Надо бы Дильдо запеть песню веселую, в небо ударить голосом, чтоб облачко рассеять, чтоб опрокинулась навзничь белка.

— Эй ты, белка! Уходи, убегай...

И Дильдо, вскочив, зло кинула в белку камнем. Сердце еще сильнее замерло, покрылись глаза слезой. Дильдо вновь легла на пушистый моховой ковер, закрыла глаза рукой в серебряном большом браслете и тоскующим голо-сом затянула:

— Ой, Дильдо... Почему ты одна? Нехорошо одной жить... Скучно одной жить. Очень больно сердцу...

И чувствует Дильдо, задрожал голос.

— Русский не любит Дильдо. Степану не нужна Диль-до... Куда ему, зачем ему Дильдо?! Он любит русскую... Там, далеко, говорят, много русских живет... Там, далеко, Степан далекую любит... И Дильдо все одна...

Чувствует Дильдо — катятся слезы по щекам.

— Нет! Нет! Мой Степан... — открыла глаза и привста-ла, всплеснула руками, вскрикнула. Степан возле сидит, у ног Дильдо. Глядит на нее голубыми глазами, улыба-ется.

— Ты откуда, ты как пришел?.. — Дильдо вся вспых-нула и похолодела.

Степан прищурился, покрутил усы и, быстро схватив девушку, жадным поцелуем впился в ее алые губы.

Зеленым обрадованным шумом зашумели вокруг сос-ны, бездонным глянуло сверху голубое небо, и Дильдо, околдованная легкокрылым туманом, как облако к горе, приникла к Степану и сладко замерла.

До самого вечера слушали они, двое, шелест тайги, стук дятла, хорканье веселых белок.

Дильдо звонко смеялась, била в ладоши, целовала Сте-пана, и во всех ее движениях была порывистость и про-снувшаяся страсть.

А когда сквозь хвою колыхнулся свет вечерней звез-ды, стал Степан сказывать сказки. Он хорошо по-тунгус-ски говорил, Дильдо все понимает, слова не проронит, глаза большим внутренним огнем горят.

— Какой такой Иван-царевич? Скажи... Ну, вольк знаю... вольк... вольк,— улыбаясь, твердила она по-русски.— Какая жар-птица? Скажи...

— А вот такая... ежели прилетит сюда, сразу осияет... От свету глаза лопнуть могут.

— Ой! Я испугалась. Я убегу, Степан... Лови!..— И она, ловко прыгнув, скрылась в голубом сумраке.

— Дильдо... Остановись... Слушай, Дильдо...— слезно молил выскочивший из потайной чащи Ульканча и преграждает ей путь.

— Прощай, бое,— задорно кричит Дильдо,— теперь прощай,— и обдав полымем Ульканчу, круто бросается прочь.

Ульканча стоит, стиснув зубы, и широко открытыми глазами сверлит сумрак.

— Я все видел, я все знаю...— шепчет он и, с силой замахнув острой пальмой, ловким ударом ссекает молодую елку.

— Шайтан! Русский шайтан! Люча! — кричит молодой тунгус, не чуя сам, куда его несут, словно чужие, ноги.

*Г. Н. Потанину с глубокой любовью
и благодарностью*

СКАЛА

Аллегория

Как хороши, по-особому возвышены лунные ночи Алтая!

Тихое ровное бледно-голубое небо вставлено в раму темных гор.

На небе звезды дремлют, и скоро появится месяц. Его еще не видно, но синезарное сияние льется из-за темной стоящей передо мной горы.

Долина скучает, долина томится и молча ждет лунного света, ночного небесного огня.

Вот и появился жених во всей своей славе, в ярком лучистом венце и тихим светом пал на обрадованные его приходу луга.

Долина сделалась голубоватой, а горы, откуда пришел месяц, еще более нахмурились и потемнели. Зато другие — много их — улыбнулись месяцу и накинули на себя

полупрозрачную фату. Вот дальняя гора, вся голубая, словно созданная из голубого драгоценного камня. Еще гора, еще, самоцветная, такая странная среди этой поляны, среди залитого лунным светом полночного мира.

Тихо на поляне среди гор.

Только два шума стоят, два шума колеблют тишину.

То сын с матерью разговор ведут: речушка Ильгумень века веков с Катунью перекликаются. Ильгумень малым шумом шумит. Катунь седым рокотом отвечает, холодные, снеговые сказки ему рассказывает.

Я не могу заснуть в такую ночь. Сердце мое переполнено благоговением. Что-то дрожит во мне — слезы ли, радость ли — не знаю.

Крупными шагами хожу по обрыву над рекой и, прислонившись к сосне, стою. И слышу сквозь речной говор, где-то филин ухает. «Пу-бух!» Бухнет и замолчит. Настораживаю слух. Замираю чуть дыша. Я упоен голубой лунной сказкой, чуда прошу у Алтая, я чуда жду.

Опять ухнул филин. Где-то близко в скале притаился, наверное, смотрит на меня круглыми глазами.

— Филин,— шепчу я чуть слышно,— птица вещая...

Мне хочется, чтоб вышли из каменных хребтов окаменелые витязи Алтая, чтоб синие венцы вспыхнули на вершинах гор, чтоб шаман захохотал в бубен и осатанело закружился, весь красный у кровавого огня. Но чуда нет. Молчит долина голубым своим молчанием, лишь две тени шумят, и ухает, не торопясь, филин.

— Месяц, улыбнись! Засмейтесь, звезды!

Сейчас курмеси вьюном завьются в тихих ночных лугах, а филин станет говорить мудрую сказку.

С благоговением снимаю шляпу, прислушиваюсь, озираясь по сторонам.

Но молчат горы, безмолвствует месяц, звезды висят в выси, чуть мерцают.

И чудится мне: взмахнул кто-то крылом. То не ангел ли белый встал на горах с золотою трубой?

Но нет... Ничего не вижу чудесного, ночь ночью остается, земной, прекрасной, лишь выше поднимается месяц и темнее становятся тени гор.

И во сне ли грезится, наяву ли слышу: взмахнул кто-то возле меня крылом. То филин подлетел ко мне и опустил ся рядом на большой в блестках камень.

— Я птица мудрая... Я века живу,— заговорил он человеческим голосом.— Я дух горный, хозяин Алтайских гор...

Дрожу, безмолвствую, замер.

— Пу-бух!

И столпились тесно вокруг нас горы, темные и голубые, ближние и дальние. И месяц подплыл, и веселее замигали спустившиеся ниже звезды.

— Зачем же, человек, просишь чуда? Эх, человек! Оглянись кругом, вникни, исследуй: все полно чудес,— заговорил филин, заухал, затрещал своим крючковатым носом.

— Живой слепец, ты мал, ты груб, глаза твои не зорки — только земное видят. Ты слышишь лишь, как рушатся скалы, как ледники с грохотом срываются с круч, как медведь в тайге рывкает или кричит на заре у горного потока лань... А вздохи звезд, а шепот тающего снега? А полет земли?.. Пу-бух!

— Душа у тебя в плену у тела, как в ножнах кинжал, как в грубом камне алмаз. Радуга... мир... зори... Да разве такие они! Эх, человек!

Не сижу, не стою, не лежу. Не знаю, где я. Не помню, что со мной. Только два глаза горящих вижу, а душа моя ловит звуки незнакомого голоса:

— Хочешь ли, прикажи только, возьму тебя на крылья и унесу в страну сказок и нездешних снов.

— Нет, не надо. Мне страшно.

— Страшно? Хе хе-хе... Страшно! Ну не хочешь ли в это место, где живет Аксакал?

— Аксакал? — произнес я про себя и все вспомнил.

Я вспомнил где-то слышанную легенду об Аксакале, с белой красивой душой старца.

Родился Аксакал на Иртыше, а как окреп телом, стал воином. Но Кромчий однажды в ночи сказал ему: «Ты скала. Оставь меч свой. Тебе дано послужить людям сердцем и разумом».

С тех пор Аксакал обрек свое сердце и разум на благо народу.

Как река весной бурлит и будит берега, так и он стал будить спящих: «Эй, вставай на работу!»

Но плотина кладет пределы вольным струям: «Пленили Аксакала четыре стены и железные решетки: «Эй, сиди смиренно!»

Прорывает и рушит вольная вода плотину, порвались на Аксакале цепи, расступилась стена, взял Аксакал свою волю.

С тех пор голос его не смолкает, а уж изрядно лет старому Аксакалу. Многие концы земли слышали этот

голос и видели лицо Аксакала. Везде и всюду вещал этот голос о высокой любви, потому что, где поживает любовь божия, там все равны, все братья во свободе.

Голос Аксакала — зов отчий. Кровь его — из слез родной земли.

Лицо его — светлое.

Как же не хотеть еще раз погреться в лучах его души?!

— Хочу,— прошептал я, замирая.

— Пу-бух! Ке-ке-ке-ке... Пу-бух!

Старец сидел на высокой скале, а у ее подножья стоял народ.

Руки старика были крепко сомкнуты, пальцы в пальцы, а голова низко опущена. Он молча сидел, погруженный в думу.

— Что же он опустил голову? Не плачет ли? — говорил стоявший внизу народ.

— Нет, он думает... Голова его — зрелый колос. Пустой колос кверху торчит, тучный — к земле клонится.

Говорил народ на многих наречиях, потому что здесь были киргизы и калмыки, теленгиты и татары, якуты и тунгусы, китайцы и еще какие-то — много их. Впереди же всех стояли монголы со своим князем, с ламами. Было много и русских.

А поодаль стояла группа странная: ни береза, ни черемуха, — как отмытый от материка остров. Лица этих людей утратили кровные черты свои и усвоили отпечаток чужих.

— Не отрывайся на все-то!.. Не отплывай! — шумели им алтайцы и прочие.

— Мы ни в тех, ни в сех! — отвечали те грустным голосом и смотрели на Аксакала, и ждали, что он им скажет.

— Аксакал, Аксакал, скажи слово, — просил народ. — Вот они ни в тех, ни в сех, как отмытый остров. Верно ли они идут, разъясни им.

Старец поднял на голос голову, сделал руку козырьком и долго разглядывал тех, чьи лица что-то утратили свое и что-то приобрели чужое. Потом тихо сказал:

— Учитесь у природы. Окиньте взглядом эту долину. Взгляните на стоящие от вас леса. Какое разнообразие цветов и деревьев... Все в природе хранит свое лицо, данное от творения. Все пребудет как есть, как было до конца дней.

— Так ли ты говоришь? Верно ли? — раздалась снизу голоса.

— Вы малые дети. Для вас все, сказанное мною, верно. Сталь в огне закаляется, солома сгорает. Поэтому будь сталью, если хочешь быть молотом, чтобы ковать свою жизнь. И не всякий голос доводи до сердца, не на всякий зов откликайся... Если ты не научился требовать, то не все бери, что дают, а только то, что ко благу. Помни это, слабый народ, что трава придорожная. Вот идут сильные, берегись их пяты.

— Ты говоришь: бери, что ко благу... А что ко благу?

— Свет, истина, понимание жизни... Бери все это и отдавай своему народу, как тончайшее разветвление корней собирает от земли соки и несет сок в ствол родного дерева.

В толпе зашумели, заговорили, зашептались:

— Сок земли! Земли! Мало земли!

— Аксакал! — крикнул киргиз со смелым взглядом. — У нас мало земли. Где брать соки? Чем жить?

Аксакал изменился в лице. Скорбь отразилась в его глазах, в разрезе губ. Он вздохнул и тихо сказал:

— Ждите до времени... Вот придет на землю правда... Тогда все будет, как надо...

— Верные его слова! Так, так! — громко закричали внизу.

— Ну, довольно, Аксакал, ты утомился, отдохни, Аксакал.

— Эй, пойте в его честь песни!

— Аксакал, дорогой наш Аксакал!

— Ударьте по струнам! Играйте на свирелях... Складывайте про Аксакала сказку.

И уж какой-то якут подшибился рукой и затянул-засказывал быль.

«Мы жили в горах и лесах. Жили, родились, умирали... И с нами жили олени... И с нами были сохатые... И вся земля была наша. Скачешь-скачешь на олени — и вся земля наша. Из-под нашей земли вставало солнце и за нашу опускалось. Но вот пришел чужой народ. Взял чужой народ нашу землю. Давай, говорит, нам землю, а вот тебе болезни... Мы думали, что это ничего, но нас обманули. Стали мы умирать, стали скучать. А чужие люди дали нам огненной воды — все горе канет, а проспишься — земли совсем маленько, могил много... Тогда стали мы плакать. Плакали, жили, умирали... И некому было нас пожалеть...»

Певец остановился и смахнул с глаз слезу. Аксакал опустил низко голову и еще крепче сжал кисти рук.

Певец взглянул на него, приподнялся с земли и громко, чтоб всем было слышно, запел:

«Но вот прошел слух по нашей земле. Кто знает, кто сказал: кедр ли, кукушка ли... То ли шаман где-то проведаль... Прогшел хороший слух. И был такой на нашей земле слух. Будто есть на земле такой человек, совсем чужой человек, далеко будто живет, а близкий, чужой совсем, а будто лучше родного. Душа у него будто белая... А где он живет, мы не знаем. Что мы знаем? Мы ничего не знаем... Мы ухом не слышим, глазом не видим. А вот сердце — вешун. Повело нас сердце-вешун к тому человеку. По тропкам, по тайге через горы, через реки повело нас к этому человеку. Вот мы принесли свои слезы, вот принесли печаль. Слышишь ли, Аксакал? Мы говорим тебе спасибо, от всей нашей земли тебе спасибо, дорогой Аксакал! Скажи своим, еще раз скажи, пожалуйста, как мы жили, умирали и вся земля была наша... Бывало, скачешь-скачешь на олеме и вся земля наша. Пожалуйста, жалуйся своим. Вели им, чего они смотрят. Смотрят и не видят: кровь сочится из наших ног, глаза наши вытекают, тело пухнет и гниет... Неужели не знают? Если не послушают тебя, все мы пропадем, все мы сдохнем, все околеем; олень помирать будет. Это плохо! Крикни с горы богу: «Чего сидишь?» Ты кричи, пуще кричи! Жили, мол, в горах и лесах люди, а теперь, мол, эти людидохнут, а вины на них никакой нет, а защитить их, мол, некому. Ей-богу некому! И вот они умоляют и все плачут: «Сжался, смилуйся!.. Пуще кричи, Аксакал!»

Он давно бы прервал свою песню, если бы видел, как по щекам и седой бороде Аксакала текут слезы. Тогда все враз закричали:

— Иди к нам, дедушка! Иди, бабай! Иди, обыркон, к нам... К первым,— кричали монголы.— Ты был нашим гостем.

— Нет, к нам! — старался всех перекричать киргиз.— Ты тоже был нашим дорогим гостем.

— Спускайся, садись у костра!

— Спускайся!

Так громко кричали, что эхо, подобное грому, ходило от горы к горе.

— Я не могу спуститься! — отвечал Аксакал, когда стих говор.— Я не спущусь. Мне отсюда хорошо видны горы. И всех вас я смогу окинуть взглядом. Идите ко мне... Подымайтесь!

— Ты высоко забрался, нам не влезть!

— Я пособлю...

— Пособляй, Аксакал!.. Айда! Айда!..

— Ну держись!

— Айда, айда!

— Крепче держись, сорвешься! — кричал мне филин. Я вздрогнул и проснулся.

Месяц опустился за хребты. Было холодно. Над рекою стоял туман.

МИЛЬЕН ТЫЩ

Наш пароход стоял у пристани большого города.

Надвигался тихий праздничный вечер.

На палубе шумной толпой разгуливала пришедшая из города публика, настроенная как-то по-особому радостно и говорливо: после душных и пыльных улиц так привольно здесь дышится, а сегодняшний закат особенно наряден и красочен.

С берега по широким мосткам, погоняя друг друга и обмениваясь со встречными каким-нибудь острым словом, взад-вперед снуют крючники.

Они торопятся закончить урок: гора мешков с мукою заметно тает на берегу, а трюм парохода, открыв рот, аппетитно набивает себе утробу и этими мешками и всякой всячиной.

Мне с верхней палубы видно: крючники все до единого в пеньковых лаптях, с горбушами.

Ну, значит, народ «рассейский».

Спускаюсь и вступаю в разговор с одним из них.

Действительно, с Волги-матушки, из Симбирской губернии.

— Нас в Новониколаевске, в Омске, Барнауле душ четыреста с весны-то работало.

— Сами, что ль, артель организовали?

— Нет, подрядчик. Наш же брат, мужик. Сам по восьми рублей с тыщи пудов получает с конторы, а нам по семь платит.

— Почему не сами себе хозяева?

— Дак ишь ты; зацуйки-то у нас, мил человек, нету... Кабы было о чем, знамо, сами бы сваргонизовали все. А то, ишь, пулы голые. Да и дома-то... Семье каку копейку оставить надуть... Вот тут в петлю и лезешь.

Крючник с Волги говорил звонким голосом, махая руками и встряхивая белокурыми, в скобку стриженными

волосами. Он кончил свой урок и теперь, отирая пот с лица и попыхивая трубкой, рад поговорить с новым человеком.

Нас все плотней окружала толпа, и крючника забросали вопросами.

— Сколько здесь зарабатываете? Много ль земли дома? Каковы помещики?

— Зарабатываем мы дюже хорошо. Этак чистоганчиком рублей с сотню домой притащишь... Знамо, когда вином не зашибешь ежели... Да и домой посылаешь, почитай, кажинный месяц. Там бабе надо земельку как-никак обихаживать... Своей-то мало, так рендуют. У нас на душу по шесть сажень земельки-то, милой. Вся у помещиков да у живоглотов. Ноне 'он какой помещик-то начал происходить: из нашего же брата, который ежели с умом да без бога в душе... Вот опять же отруба ноне пошли... Знамо, ежели которы хозяевы хорошие, тем еще ладно, туды-сюды, а другой лодырь, пьяница... Он те выделился седни, а завтра уже кулаку продал ни за грош... Ему чаво жалеть: деньги с неба упали, ему сколько ни дай, а живоглоту это на руку, у одного скупит да у другого, так и жиреет, как свинья на отрубях... Вот у них, мироедов-то наших, и приходится рендовать земельку-то... Да они, черти, и дерут рублей по двадцать пять за десятину-то.

Голубые ясные глаза рассказчика вдруг затуманились, и он, потерев бороду, вздохнул.

— А вот другой наш помещик,— вновь оживился рассказчик, и глаза его ласково улынулись,— другой наш помещик, князь, как его... чтоб его. Ну ты, тьфу! Ванька, как фамиль князю-то?! Все Лаксандр Ляксеич... Ах ты, чтоб те разорвало... Вот раз-от... Эй, Ванька!

— Это грахву-то, што ль? — отозвался пробегающий молодой крючник.

— Како грахву... Грахву — Корф, а я про князя спрашиваю.

— Про князя? Как же яво? Ах, будь он проклят! На вот те... Прямо из ума вон.

— То-то вот...

— Обновленский! — радостно вспомнил Ванька и, крутнув носом, чихнул.

— Во-во!.. Он самый... Ну тот, робята, дюже хорош. Он, ребята, как зачалась у нас забастовка, как ахнули, значит, по всей Расее красного петуха...

В это время совсем рядом предостерегающе разда-лось:

— Эй, посторонись! Берегись, черти!

Что-то волокли грузное, и слышалась обрывистая команда.

— Раз-два, еще разок! Раз-два — поддается! Раз-два — матка идет!

— Ну а живете-то вы артелью, что ли? — кто-то старается навести крючника на прежний разговор.

— Живем-то, действительно, артелью... Эвон бараки-то... Ну-к в них... У нас стряпки свои с Расей захвачены, Секлетиныи такие две есть... Ведь из дома мы еще постом выезжали, чтобы к пасхе на месте быть, а в обрат — к покрову.

— Поди, обсчитывает вас подрядчик-то?

— Нет, смотреть будет... Как он клещ, так он клещ и есть: присосался — аминь. По первости-то он здорово обогнул артель-то нашу, так накрыл, что надо бы лучше, да некуда.

— А ну-ка, дядя, как? Это занято.

Кто-то предложил рассказчику папироску.

— Вот, благодарим. По весне, как мирикация открылась, мы как окаянные работали, почитай, не спамши день и ночь, день и ночь, на манер коней ворочали, без передыху. Мы народ двужильный, крепкий. Дюжили хорошо. Прошел, значит, месяц, мы к подрядчику за деньгами. Каждый месяц рассчитывались, у нас, братец, так заведено: он себе в книжку пишет выработку нашу, контора себе, мы себе — всяк себе, значит, без обману чтоб... Ну известно, требуем его в артель... Пришел, денег вытащил целу папушу, тыщ несколько, поди... Как начал на счетах хлопать, да как начал... хлоп-хлоп-хлоп... Стоим, ждем, на деньги облизываемся. А он нам: «Мы, ребята, с вами за этот месяц квит на квит...» — «Как квит на квит?» — «Так, квит на квит: ни вы мне, ни я вам...» Вот тут мы и взвыли: «Что ты, Назарыч, побойся бога, бухали мы бухали, не емши, не спамши...» А он нам и учнет по пальцам выкладывать: «Бабам по столько-то дадено? — Дадено. Проезд столько-то стоит? — Стоит. Прохарчить в дороге что-нибудь стоило? — Стоило. Здеся-ка деньгами брато? — Брато. Ну и квиты, значит». Хлоп-хлоп-хлоп опять же на счетах. А мы ему: «Нет, брат, врешь, Назарыч, ты нас-то на кривой не объедешь... Мы свово резонту не упустим, вре-о-о-ошы!» Он опять: «Бабам дадено? — Дадено. Дорогой харчились? — Харчились. — Хлоп-хлоп-хлоп... — Ну, значит, квиты». — «Нет, брат, осади назад, не туда воротись... Тпру! У тебя сколь там пудов записано?»

Хлоп-хлоп-хлоп... «Эсталько... А у вас?» — «А у нас, — отвечаем, — мильен тыщ...»

Стоящий возле черномазый человек с серьгой захохотал и, сдвинув на затылок картузишко, скороговоркой бросил:

— Потому что дураки... Мильен тыщ... Ха-ха! Ловко!

— Ты что заржал? — обиделся грузчик.

— Потому что дураки...

— То ись как дураки?

— А я почем знаю, как. Обнакновенно, как дураки бывают, которые... Мильен тыщ... Ха-ха-ха... Должно грамотющие у вас в артели-то.

— А то как... знамо... Эн у нас Ванька-то, спроси... Он все в книжку пишет, а кроме него, дядя Ермило на ботаге зарубины ставит...

— Потому и дураки, — опять захохотал подвыпивший черномазый человек.

— Ну, ладно нам, дурни ли, умны ли — все наше... Да я и речь-то, кажись, не с тобой веду... Отчепись!

Тот плутовато скосил на рассказчика глаза, подмигнул вяхтящему обескураженному Ваньке и до поры притаился.

— Вот хорошо. Как мы сказали ему, что, мол, мильен тыщ, он и заблажил: «Белены вы, грит, объелись!» А мы в ответ: «Сам-то, гляди, щелоку не охлебался ли... Вот мы в конторе справимся, а нет, так и до справника нам недалече». — «Хоть до самого синатора», — отвечает. «Мы завтра на работу не выйдем!» — «А вот попробуйте!» — «И попробуем!» «А вот будем поглядеть!» А сам, подлая душа, гогочет, будто лесовик. «Побойся бога, Назарыч, пошто таку неправду на душу примать... Ты, что следует, вычитай с нас, а остальное додай. Нам рублей по полсотни на рыло приходится...» Куды те тут. Рукой машет, орет «квит на квит» да и шабаш. Мы в контору: сколько? — Столько-то. «Пошто так? У нас по зарубкам и по цифири мильен тыщ...» — «Ну и проваливай, коли так, мы, грит, с подрядчиком счет ведем». Ах, чтоб те ни дна ни покрышки! Ладно, мы к становому: «Здравия желаем, высокородие!» В обратe он как зыкнул: «Ну?». Так и так... Мильен тыщ, мол, все прочее... Положите свою препону живоглоту нашему, сделайте такую начальническую милость божью, ведь хребты, мол, трещат у нас. Он в кою-то пору как вскочит, да кэ-эк заорет: «Вон! Прохвосты! Забастовщики! Я вам покажу!» А дядя Ермило, человек бывалый, десятку неробкого, тож на него сгикал: «А ты чего

покажешь?.. Ну-ка покажи!» И мы все: «Наше дело правое». Тут высокородие как затопчет: «Молчать! Всех закатаю!» Мы боком-боком да с лестницы-то кубарем, вверх ногами, кто куда... Вот как он нас обозначил, дай бог.

Мужик поскреб пятерней шапку густых волос, поутюжил бороду и улыбнулся виновато-ласковой улыбкой, а в чуть затуманенных слезой голубых глазах его засветилось что-то доверчивое, что-то детски наивное.

— Ну вот,— вздохнув, стал продолжать рассказчик,— обернул он это взад оглоблями нас, посерекали-померекали мы как быть-то, где правды искать, чуть друг с дружкой не передрались, греха страсть было... и-и-и... Прямо край! Злобы да обиды, верите ль, сколь накопилось в нас, что ужаси... А на ком вымещать? Не на ком, опричь себя. Ну тут мы и давай один другого обихаживать. Одна-че очухались, сызнова в контору повалили, а там орут: «Знаем мы вас, забастовщиков!» Ах ты, господи, твоя воля! Мы стоим, слезы глотаем. Ведь обида-то, робяты, какая... Работали, работали, а тут на вот те — забастовщики... Мы отродясь забастовщиками-то не бывали, черт этакий, че-е-еррт! — мужик закричал и, вскинув увесистый кулак, тыкал им по направлению к горе, где была контора.

Он перевел дух, потупился и, сердито придавив лаптем ползущего жука, сказал:

— Там с голоду дома, в Росее-то, духнем, а тут, на вот те, на живоглота какого-то робили, на черта страшного, тьфу!

— А условия с подрядчиком-то были у вас?

— Было. Да какой прок-то в нем, в условии-то? Оно, конечно, как бы мы грамотны были, а то что мы. Вот он смазал писаря да нам три ведра водки выставил. А как нажрались мы — условие прочитал: «Согласны?» — «Согласны, благодарим». А чего согласны и сами не знаем, ничего с пьяну-то не поняли. Вот так нашего брата и обманывают.

— Потому что дураки...

— Кто?

— Вы...

— Заладила ворона: кар да кар. Эх, милый... А ты бы пожалел нас, ведь правда-то, поди, на нашей стороне, милый... А то «дураки да дураки»... Обидно ведь.

Вятский матрос пробежал с чайником, остановился, прислушался и, подойдя вплотную к черномазому человеку, сверкнул кривым глазом и вятским говорком ожег:

— Тебе за такие слова-то, за дурака-то, соленым огурцом да по рылу!

— Ха-ха-ха!.. Следоват, следоват,— смеясь, закричали в толпе.

Черномазый человек хотел улыбнуться, но вместо этого зло насупился, поднял почему-то ворот пиджака и, собираясь уйти, вполоборота бросил, кольнув взглядом и рассказчика и вятского матроса:

— Лапотоны, язви вас! Самоходы!

Прогудел третий гудок, народ засуетился, забегал, закричал.

В соборе ударили к всенощной.

С горы детский голосок пронзительно звал:

— Селифантий! Селифа-а-а-антий! В баню!



РАСКАЗЫ

ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ...

Однажды вечером шел снежок... И хлопья его лениво опускались на землю в виде белых мотыльков, а возле огромных электрических фонарей они, как живые, радовались свету и, задерживаясь в лучах земных солнц, водили веселые хороводы. Тепло было. Снег ложился пушистой белизной на шапки и одежду прохожих и извозчиков, на спины весело пофыркивающих лошадей, на все предметы, потерявшие теперь резкие очертания.

Улица была наполнена скрипом шагов, звонкими головами и задорным смехом молодежи, радостно переживавшей красивую картину снежного тихого вечера.

Возле кондитерской, на лавочке, сидел, запахнувшись в доху, человек лет пятидесяти. Кто такой — неизвестно, но когда он вынул золотые, с чайное блюдо, часы, а потом зевнул и, творя молитву, перекрестил трижды рот, — можно было предположить, что это купец.

После масленицы с блинами и выпивкой ему что-то нездоровилось: сосало под ложечкой и ныло сердце.

Он был набожный и, сидя теперь на лавочке, время от времени тяжело вздыхал, и его мысли, ленивые, как падающие снежинки, тихо текли в его душу.

Он думал о том, как на днях выиграл в карты тысяч пять, как пришел домой с опухшими от бессонной ночи глазами и больно оскорбил жену, посмевавшую упрекнуть его.

В рой мыслей, вязких и серых, ворвался звук пощечины, такой реальной, что купец вздрогнул, и ему сделалось больно, а сердце замерло.

И представилась ему жена, кроткая и стыдливая, с испуганными, полными обиды глазами, и еще представилось, как она молчаливо снесла удар по лицу, вскинув при этом руками, и только молила мужа не шуметь и не кричать, чтоб не узнала прислуга.

«А учить надо, — думает он. — Да как же не учить?»

Вот хоть бы взять для примера тот случай, когда он,

разорив огромными процентами мещанина Тяпкина, продал за долги его дом и выселил среди зимы всю семью с детьми и стариками. Ну, что ж, так надо... Мало ли что в коммерции случается... Ведь и его не пощадили бы... Да и не щадят.

И ему опять представилось, как жена молила его, на коленях стоя, и, сделав скорбное лицо, говорила: «Ну, отсрочь, Провушка... Ну, что тебе... Ведь пожалуй надо человека-то». Ха! Пожалеть... Дура так дура и есть. И он закричал на нее: «Без хлеба с жалостью-то насидишься!»

А когда она, на коленях стоя, продолжала молить его, напомнив, что не божье это дело, он пнул ее огромным сапогом в живот и, чтоб оправдаться перед богом, и за мещанина и за обиду жены, положил в мыслях принять на дом Иверскую и к пасхе сшить попу новую ризу.

И долго бы купец, сидя на лавочке, продолжал читать в душе дела свои, если б не раздавшийся вдруг где-то хохот и веселые смеющиеся крики нескольких голосов.

Очнулся купец и оглянулся сонными глазами.

К нему, оттуда, где крики раздались, держась близко к домам и озираясь на стоящего среди улицы городского, пробирался плюгавый человек с мешком под мышкой.

Подойдя к купцу, он остановился, сдернул шапку и сказал, кланяясь:

— Вашс...

Купец высвободил из длинного рукава палец и молча махнул им в сторону.

— Вашс... обратите внимание...

И опять купец махнул пальцем — проходи, дескать...

— Даже совсем погибаю... — не унимался человек, переступая с ноги на ногу. Лицо его было бледно, борода маленькая и серые измученные глаза.

Он стоял, сделав руки в рукава, ежился в своей казinetовой кофте, не переставая низко кланяться и шептать бескровными губами. Купец, хотел его как-нибудь побольнее выругать, но, передумав, сказал:

— Да как тебе не стыдно, да не грех... Который уж год слоняешься... Неужели работы сыскать не можешь? Не старик ведь...

Человечек робко переступил ногами, обутыми в разные валенки, и голосом тихим, с оттенком обиды, ответил:

— Ах, батюшка, батюшка... Вашс... совестно, да что поделаешь... Не ко всякому, вашс... подхожу... Другой раз сто человек пройдет мимо — не просишь, а тут вот заметишь по лицу, что отказу не будет, подойдешь...

Человек посопел носом, вздрогнул робко и, пододвинувшись поближе к купцу, зашептал:

— Вы вот заметили, отчего не работаю... Ах, господи. Работал я, работал, пока силы были... Все лето нонче в деревне в пастухах был. На зиму меня не оставили — лодырь, говорят. А какой я, вашс... лодырь... Я больной человек. Ужасной болезнью страдаю. А в городе уж и совсем тяжелой работы не могу сполнить...

— Какая же болезнь-то у тебя?

Тот потупил глаза, боднул головой, замигал стыдливо и, глядя сыскоса в сторону, вздохнув, ответил:

— Ужасная у меня болезнь, вашс...

Купец пристально поглядел на него и отодвинулся на край лавочки.

— А ремесло мое было в России — полотер. Полотер я был. И вот, извольте ли видеть, дело такое случилось. В гостиницу ходил я полы натирать, в Москве это. И снюхался я с горничной там, хоша своя молодая баба имелась в деревне при хозяйстве. Ключи у нас с горничной-то были кажиного номера, и мы, по силе возможности, вещи господ проезжающих проверяли в чемоданах...

— Проверяли? — улыбнулся купец.

— Хы-ы... Был грех... Греха таить нечего...

Человечек чуял, что за разговор кой-что перепадет от господина, и голос его звучал повеселей:

— Так оно, значит, и шло как по маслу, ну, раз и накрыли... Знамо дело — суд. В тюрьме просидел, явился домой, а там общество не приняло и приговорило меня в ссылку на поселенье в Сибирь, жену, было, уговорил с собой — вдвоем все полегче. А соседи возненавидели меня и ехать в Сибирь со мной отговорили бабу: «Там, в Сибири-то этой, и люди-то под землей ходят». Баба, знамо, глупа, послушалась, не пошла. Так и пришлось мне почти в юности покинуть родной край и отца с матерью, и женушку милую. Так вот один-одинешенек и скитаюсь по белу свету. Помирать скоро — а все один...

Купец при этом вздохнул и сказал:

— Терпи, брат... Что поделаешь... Жизнь пережить, не поле перейти.

— Терплю, вашс... Еще как терпенья бог дает. Все ноет, все болит. Ни отдохнуть тебе нигде нельзя, ни обогреться. Все как на собаку смотрят, как на самого заклятого врага своего. А не хотят войти в положение: мало ли как жизнь надсмеяться над человеком может, надо вникнуть да пожалеть человека-то. Хоть и плохой я, и сквер-

ный, а все ж таки не собака. Мы люди несчастные. Обидела нас жизнь вот как. Пожалеть нас надо, а не топтать в грязь.

Человечек опять засопел, и на глазах его заблестели слезы. Купец смяк от этих слов и, взглянув на дрожащего в рваной кофте человечка, решил справиться ему теплую одежду: «Теперь пост, сделаю-ка доброе дело».

И он сказал ласково:

— Вот что, милый...

Но тут же передумал: «Пропьет, стервец» — и уж наставительно добавил:

— Работать надо да богу молиться... А у вас, у летучки, жизнь легкая: праздничком катится.

Человечек вздрогнул:

— Ах, васкородие... Проклятая наша жизнь. Любой собаке позавидовать можно... Да как же! Вот извольте послушать да понять... Выйдешь по утру, чуть зорька, есть хочется, пить хочется, а морозище с дымом стоит. Бежишь бегом по улицам, того гляди, торкнешься где под забором, да и был таков; бежишь, а в сердце тоска да злоба: кажется, не глядел бы на свет божий. Такая злоба, что аж зубами скрипишь... Да как же! Все веселые идут, закутавшись, поевши да попивши, а ты бежишь вприпрыжку, скрючившись, и судьбу проклинаешь. За что, думаешь, за что? На него взглянешь злобно так и опять сердце спросишь: за что? И сердце же ответ даст: значит, так тому и быть должно, не грехи! Так бежишь да перекоряешься с небом: глядишь, подвернется добрая душа, пожалеет, сунет пятак. Побежишь тогда, как оглашенный, в харчевку чайку попить — душеньку окатить хоть тепленьким да отдышаться малость. Придешь, а там чай жидкий, спитой, прямо в котле заварен, овчиной от него разит. Прополощешь кишки, да опять стрелять. Где-нибудь подадут съестного, а все больше ругань, да слово обидное, да матерщина... Э-эх... А вечером хорошо, как гривенник есть, на постоянный двор можно, а нет — в ночлежку идешь. Тут на тебя плюют, по тебе ходят, бранятся, орут, уснуть не дают, а кругом вши, клопы, воздух тяжелый, накурено. От нужды идешь. И никого родного, никого доброго, все чужие, враги все...

— Враги?

— Сущие враги, прямо волки... Готовы горло перегрызть друг дружке... Озлоблены жизнью даже до конца...

— Надо врагов своих любить, как нам спасителем заповедано, — сказал купец и тяжело вздохнул, а голос его

дрогнул, так как сердце укором ответило, и ему сделалось стыдно за свои слова. И, чтоб заглушить внутренний голос, он спросил:

— Какие у вас враги-то могут быть? Чего делить-то вам? Вот у нашего брата — другое дело. Тут отец родной и тот удавку захлестнуть тебе может, потому — коммерция...

— А вот я вам скажу, вашс... недавно случай был: приехал с России с женой торгующий человек, и деньжонки у него были, ну только что слаб на вино да на карты. На одном мы с ним постоялом дворе жили. Все смеялся да изгилялся над нашим братом: «Никогда, говорит, я тебе, помощи не окажу, потому как ты, говорит, человек пропащий — стрелок ты и больше ничего, самый никудышный, грит, человечиска». Я ему так, я ему сяк, а он все свое: «Давить, грит, вашего брата надо...» — «Это за что же?» — спрашиваю. «А за горло. Потому, как вы крохоборы, душегубы проклятые, первые пакосники».

Человек переступил с ноги на ногу, стряхнул с кофты снег и, сплюнув, сказал:

— И выходит, он чрез это мой враг.

Купец теперь слушал рассеянno и грешными глазами своими вглядывался в лица мимо проходящих женщин. Пробыло девять. Какая-то черномазенькая, с вертлявой походкой и в шляпе, похожей на опрокинутую артельную кастрюлю, проходя мимо купца, как-то особенно завилала задом и замедлила шаги, вызывая улыбаясь курносое своим лицом. Купец левым глазом мигнул ей, таясь от нашептывающего человечка, но тут же спохватился, завздохнул сокрушенно и, широко зевнув, трижды перекрестил рот.

А человечек тем временем продолжал:

— Вот, и говорю... Похвалялся он, похвалялся, хозяин взял да в карты и обчистил его, как пить дал, из комнаты его выселил в общую, а потом и совсем выбросил: ступай куда хошь. Жена ушла от него, сам он пить стал и стрелком вроде меня сделался. Не осуждай!.. Да-а-а, вот она, жизнь-то...

Курносенькая опять прошла мимо, все также задерживая шаг и вновь косясь на купца. Тот быстро отвернулся и, чтоб отделаться от обуревавшего дьявольского наваждения, скороговоркой зашептал: «Изведи из темницы душу мою». Поборов в себе окаянные мысли, он стал думать о том, что надо переломить жизнь свою, полную скверны, и, пока не поздно, начать новую, светлую, чтоб легко было

умереть. И положил он в сердце своем, и твердо укрепил-ся в этом, творить добрые дела, чтоб было чем оправдаться в страшный час.

«Просящему у тебя дай, просящему у тебя дай»,— кто-то шептал ему в уши, а курносенькое личико лукаво дразнило его, неясно рисуясь в воображении.

— И остался я совсем ни при чем,— продолжал шептать человечек,— ничего у меня нет, ни крова, ни человека близкого... Видно, и подохнуть одному придется, как псу. Охо-хо-оо... Вот она, жизнь-то...

Постоял молча, пофыркал носом, посмотрел направо, налево и, часто кланяясь, сказал:

— Ну, до свиданьица, васкородие. Покойной ночи вам.

Купец пошарил в кармане и рассеянно сунул ему три копейки. Человечек поднес ладонь с монеткой к глазам, кашлянул насмешливо и, не сказав ни слова, стал, сердито семеня по скользкому тротуару, удаляться.

Но что-то шевельнулось в набожном купеческом сердце. Он вспомнил вдруг жену свою, тихую и жалостливую, вспомнил разоренного мещанина Тяпкина и всех вдруг вспомнил, кому сделал вред. А время было великолепное, и он на этой неделе говел. Взглянув теперь добрыми глазами в ту сторону, куда скрылась фигура, он быстро сорвался с места и, обернувшись к освещенному окну кондитерской, вытащил кошелек, достал кредитную бумажку и поспешно пошел вслед удалявшемуся человечку. На ходу запуская руки по очереди в карманы, доставал еще и еще монетки и, зажав вместе с кредиткой в кулак, спешил дальше, ускоряя шаг и растерянно бормоча себе под нос:

— Ну и я... Хорош!.. Ой, уйдет и зло унесет в душе.

И он закричал:

— Эй, милый человек!..

Тот приостановился, посмотрел вполоборота на подплывавшего запыхавшегося в распахнутой дохе купца, повернулся к нему лицом и, освещенный холодными лучами фонаря, молча ждал.

Взглянув растерянно в глаза человечка, казавшегося злым и холодным, купец дрогнувшим голосом сказал:

— На-ка еще... Прими, Христа ради...

Причем, повинувшись какому-то голосу, против своей воли, словно во сне, задержал большим пальцем кредитку и высыпал три медяка в протянутую руку.

А бумажку, крадучись от себя, положил обратно в карман.

Посвящаю Сенкиче, Гирманче — проводникам моим и многим, многим тунгусам, встречавшимся на пути моих скитаний. Светлую память о них я всегда ношу в своем сердце.

ХОЛОДНЫЙ КРАЙ

(Из дневника скитаний 1911 года)

I. ЛЕБЕДИ

Раннее утро. До восхода солнца еще добрый час. В дощатой каюте шитика¹ — сажень в длину, сажень в ширину — нас четверо, спим, как в берлоге, тесно.

Закуриваю трубку. Темно, но сквозь щели в потолке и стенах прокрадывается рассвет. Холодно. Неохота подыматься из согретого телом гнезда. Тихо. Лишь похрапывают товарищи, да на палубе кто-то из рабочих ворочается и стонет.

Лежу с открытыми глазами, думаю. Думы мои мрачны. Слышу:

- Степан, вставать пора.
- Рано.
- Я заколел. Надо костер разжечь.
- Спи.

Молчание.

Мы одни среди этого безлюдья и надвигающегося приполярного холода.

От последнего жилого места мы отплыли почти на тысячу верст. Нервы наши напряжены, душа истомлена. А плыть вперед, до Енисея, где есть люди и откуда мы можем выбраться на божий свет, по крайней мере месяца. Но мы б добрались. Мы привыкли к опасностям, закалены в борьбе. И вдруг этот ранний, в первых числах сентября, мороз и снег... Если обмерзнем здесь, никто не узнает о том — кругом ни души, — никто не придет к нам на помощь. Ну что ж! Судьба...

Опять говорят вверху, на крыше лодки:

- Степан.
- Ну?
- А ведь подохнем мы. Не доплыть.

¹ Шитик — крытая большая лодка.

— Доплы-ы-ве-оом...

— Где доплыть... Замерзнем посередке. До Туруханска полторы тыщи верст осталось, сказывают. А сухарей мало. Пропадем с голоду...

Тяжелый позевок и вздох:

— Доплы-ы-ве-ом....

И уже нет в голосе уверенности: дрогнуло что-то, сорвалось.

Молчу. В душе растет тревога, вопрос за вопросом мелькает в голове, один черней другого. Бессильно вздыхаю, жду ответа. Ответа нет.

Прислушиваюсь: чей-то говор, нежный и радостный, едва звучит надо мною. Все четче, четче: теперь ясно слышу — это в выси пронесется на юг, нам навстречу, гуси.

Выхожу на воздух, бодро вздрагиваю, умываюсь ледяной водой.

Тайга спит. Река дремотно катит свои воды, шурша стеклом новорожденных льдин. Наш шитик стоит возле огромных песков. Все пески покрыты ранним снегом. Нептопаная пороша голубеет в утренней полумгле.

Стеклянная застывшая тишина, неподвижность. Иду вдоль косы. На пороше замечаю следы. Всматриваюсь: сохатый шел, лось, с сохатенком, а рядом — оленьи следы. Значит, близко стойбище тунгусов. Это хорошо, это очень хорошо. Живые люди! Я бесконечно рад.

Иду дальше. Восток все светлеет. Вижу четкие отпечатки лебединых следов: птицы шли табуном от реки к зеленеющему берегу, где спелый горошек.

Останавливаюсь. А вот и они. Вскидываю вверх голову, ищу в выси белый, розовеющий под зарею бисер: раз, два, три, четыре — много. И смотрю им вслед тоскующими глазами, смотрю на юг, в ту сторону, где ждут меня друзья, такие далекие по расстоянию, но родные сердцу. Придется ли свидеться?

И я кричу, сняв шляпу:

— Эй, лебеди! Несите мой низкий поклон! Я не погиб еще. Я приду.

Но кто-то зло смеется во мне:

«Придешь? Ха-ха». И сердце вдруг обливается черной кровью.

Скрылись.

— Лебеди! Вольная стая. Счастливый вам путь!

Слышу — чьи-то шаги. Оглядываюсь — тунгус. Стоит возле меня, глядит жалеющими глазами, удивленно говорит:

— Как попал? Пошто? Откуда?

— Стараюсь приветливо улыбнуться, спрашиваю:

— Ну, как, бойе, до Туруханска доберемся мы, не замерзнем?

— Какой Турухан. Сдурел ты. Поздна... Борони бог! Зима... худой твое дело. Сдохнешь!

Сердце вдруг покрывается льдом, обмирает. Вот встало солнце, а я его не вижу: темно кругом и тоскливо.

Я через силу улыбаюсь, еле сдерживая боль, хлопаю тунгуса по плечу и дрожащим голосом говорю:

— Пойдем, бойе, чай пить.

— Пойдем. Чай так чай... Можна...

Он весь в мехах: чикульманы, парка, рукавицы. По лбу красная повязка, из-под нее торчат, словно у индейца, черные космы жестких волос. За плечами тугой лук, в руках острая рогатина — пальма, за поясом болтается десяток убитых белок.

Добродушными, доверчивыми глазами он смотрит на меня и говорит:

— Оставайся, бойе. Зверя промышлять будем, тайга гулять будем. Э!

Я молчу. Мне не до гулянья.

На шитике проснулись. От костра струится голубой дымок и розовеет снег на вершинах гор.

II. БЕЛКА

Вот третью неделю живем в глухой тайге, в избушке зверолова, поджидаем тунгусов: они поведут нас на юг, к Ангаре. Путь будет труден, мы это знаем: по тайге, без дорог, без теплого угла, через снега, буран, морозы. Мы также знаем, что еще долго будут нас ждать в родном краю, и когда пройдут все сроки, нас станут оплакивать горько. Но что же делать? Надо мириться, иного выхода нет.

После встречи с тунгусом, когда наш скудный флот — два шитика и три лодки обледенели, мы решили, пробивая шестью тонкий лед, плыть дальше, наугад, в надежде повстречать жильё. Мы плыли день и ночь. На быстрых местах шитики неслись сломя голову, то и дело ударяясь о невидимые в ночной тьме камни. Мы прекрасно знаем, что от иного внезапного удара шитик может перевернуться. Если спасемся сами, погибнет остаток сухарей. Так и так — смерть. Однако раздумывать некогда, плывем. И вот

подул ураганный встречный ветер. Наши лодки почти остановились. Мы бросили весла, шли на шестах. Но шесты один за другим ломались, за целый день мы едва проходили версту. А нам нужно лететь стрелой, чтоб не погибнуть. Ветер дул целую неделю. Мы коченели от холода, лица опухли, руки разбиты в кровь. Мы теряем последнее мужество. И одно на душе: «скорей бы конец».

Вдруг, совершенно неожиданно, как молния в ясный день,— избушка зверолова. В ней люди. Итак, мы третью неделю живем в этой родной, дорожке каменных палат, избушке.

— В лесу сегодня тепло, — сказал товарищ.

Выглядываю в окно. Белеет земля, белеет крыша ба-лагана, и на фоне сизого неба желтыми призраками вытянулись вверх задумчивые в своей дреме лиственницы. Редко, редко падают неторопливые снежинки.

Беру палку и спешу в глубь тайги, подальше от жилья, туда, где слышен рокот грозного порога.

Как тихо, как хорошо в тайге. Солнца нет, снеговыми облаками укрыто небо, и сквозь колющие узоры леса виднеется долина Нижней Тунгуски. А за рекой угрюмо дремлет хребет Унекан, траурно-черный с белыми пятнами снега.

Тише, человек, тише. Взгляни, какую землю попирает твоя нога. Только взгляни, человек...

Слышу тайным слухом: шепчут мне хвои, весь воздух: «Не бойся смерти, человек. Смерть — сон. Уснешь, чтобы проснуться, как и эта тайга весной. Не будешь верить — умрешь, человек, и не проснешься. Верь».

Вот вижу: сквозь белую пушистую скатерть, только что вытканную мудрейшим ткачом из узорчатых блесток снега, проглядывает куст голубики. Ее спелые ягоды, голубые с беловатым пушком, так удивительно красиво проступают из белизны пороши. Срываю и пробую. Поддеваю в пригоршни снег и нюхаю долго, долго. Какой удивительный аромат: пахнет облаками, небом, вечностью.

Иду по мшистой шубе тайги. Оглядываюсь назад. По моим следам расцветают в снегу розы: то безглазая пята топчет подснежную бруснику, из брусники алая брызжет кровь.

Блеснуло на минуту солнце, позолотило стволы деревьев, зарумянило свежий ковер на полянках, поиграло зайчиками на хвое, скрылось.

Белка.

Становлюсь под дерево и, притаившись, жадно слезу

за ней. Она распушила хвост, долго всматривается в мое лицо, испытующе хоркочет и, как пружина, упруго прыгает вверх по высокой прямой сосне. Приостанавливается, вновь взглядывает на меня. Я замер, не шелохнусь, и это успокаивает ее. Ах плутовка! Она будто не замечает моего присутствия. Я для нее — пень, кичто. Нет, притворяется. Я прекрасно понимаю, что за мной неотрывно следят ее глаза. Шевельнись только и — прощай игра.

Скачет вдоль большого раскидистого отростка, садится на самый его конец, игриво поджимает передние лапки к белой груди. Бисерные глаза ее еще раз скользь задевают меня, она грозит в мою сторону лапкой и, взметнув хвостом, несется сначала по-суку, потом вниз головой по стволу к земле. Упруго скачет сразу четырьмя лапами почти до самых корней — не к моим ли ногам сейчас прыгнет, шельма, не сядет ли она на мое плечо, чтоб шепнуть колдовское зверючье слово? Нет. Вдруг круто повернулась в воздухе, и голова ее вновь вверху, а хвост стелется по стволу сосны, скок-скок-скок.

Опять бросает лукавый взгляд и, приняв беспечную дразнящую позу — лови! — она без боязни спускается вниз, на широкий столетний пень. Вот привстал на дыбочках, вновь с любопытством разглядывает меня, пришельца, презрительно грозит лапкой, ждет.

— Ужо-ко я ее. Ужо-ко! Где у меня ружье?! — улыбаюсь, шепчу я, плененный игрой, как ребенок.

Не слышит и словно не видит, но знает, что нет ружья.

Хоркает, искоса смотрит на меня, трет лапками плутовскую мордочку, смеется.

— Ага, ты так?! — не утерпел, схватил палку, замахнулся.

Она стремглав на самую вершину и, раскинув кивером хвост, швыряет в меня шишкой. Я ухаю, стучу по стволу палкой, как баран прыгаю возле корневища:

— Ух ты! Ух! Вот я тебя.

Она с вершины на вершину скачет где-то там, под облаками, и, смеясь, задорно кричит:

— Что, взял? Ха-ха... Лови!

III. «ВЕРА ТАКОЙ...»

От устья Илимпеи мы идем через непроходимую тайгу, снегами. Снег тихий, обильный, пушистый, настойчиво

падал, падал без конца. Недавно был покров, а в иных местах сугробы в два аршина. Верховые наши олени выбиваются из сил. Впереди всех идет вожак, тунгус Сенкича. Он по грудь вязнет в снегу, в его руках пальма, он с маху ссекает тонкие деревья, чтоб проложить путь каравану. Мороз, а он весь мокрый, от непокрытой головы струится пар. Сенкича — тунгус отменный, да, впрочем, и все они таковы. Завяжи ему глаза, кружи целый день тайгою, проспится, встанет утром и без ошибки пойдет куда надо. Ему не нужно солнце, он носит тайное чутье путей в самом себе.

За Сенкичей идет гуськом, нос в хвост, связка оленей — ольгоун. Верхом на переднем олене — баба Сенкичи с неугасимой в зубах трубкой и с ружьем за плечами. Через седло идущего за ней оленя перекинут берестяной кузовок с ее годовалым сынишкой. Он орет и час и два диким надрывистым криком. Я подъезжаю к ней, говорю:

— Уйми. Остановись, покорми его.

— Пускай гаркат, — отвечает она равнодушно, — пускай греется.

Когда я начинаю приводить резоны, стыдить ее, она в ответ бросает:

— У нас вера такой.

Эта фраза у тунгусов всегда на языке.

Задайте Сенкиче ряд вопросов: почему тунгусы сроду не моются? почему боятся мертвецов? почему мужчины носят косы? — один ответ:

— Вера такой...

За ольгоуном — еще и еще ольгоун, в каждом по восемь вьючных оленей. Когда передняя связка выбьется из сил, ее ведут назад, в хвост каравана. А мы и человек пять тунгусов — верхами.

Однажды в солнечный день я остановил оленя и залюбовался нашим караваном. Я стоял на берегу небольшой речушки. Караван, растянувшись чуть не на версту, ходко спускался в долину. Снег был голубой, мириады блесток играли огоньками. Изжелта-белые пушистые олени шли четкой ступью. Они гордо несли свои густодревые рога. Вот сгрудились на извороте — целый лес рогов.

— Модо! Модо! Ко! Ко! Ко! — погоняют тунгусы оленей.

В сумерках кончаем путь. Вот уже полыхает огромный костер. Это расторопный Сенкича зажег сразу три рухнувших сосны. Разгребают снег, ставят конусообразный чум, на землю накидывают хвою, в середине разводят неболь-

шой костер. Говорливый, пересыпанный хохотом обед из сохатины с сухарями и крепкий сон.

Утром выхожу с географической картой издания генерального штаба. Тот путь, по которому мы идем, на карте — пустое место. Человеческая нога здесь не бывала никогда. Я шаг за шагом, поскольку позволяют обстоятельства, произвожу на всем пути съемку, ориентируюсь буссолью и часами.

— Сенкича! Где мы вчера ночевали? Покажи мне направление.

Он смотрит на меня удивленно и так же удивленно, с хитринкой, задает вопрос:

— Разве не знаешь?

В десятый раз начинаю объяснять ему, что мы здесь впервые, а тайга так однообразна, что, отведи любого из нас за сто сажен, и мы заблудимся. Да и все небо в тучах, солнца нет.

Он косится на меня сверху вниз, с непередаваемым чувством превосходства и снисходительно говорит:

— Ладно.

Я его научил вешить линию. Он берет две пальмы-рогатины, втыкает в снег сажен на десять одну от другой, отходит в сторону, прищуривает глаз, приседает, разводит руками, что-то шепчет, соображая, вот перенес переднюю рогатину на аршин вправо, присмотрелся, перенес на вершок влево, еще.

— Вот так. Иди, смотри. Там были... Э!..

Я прикладываю по линии буссоль, отсчитываю румб, заглядываю в книжку на вчерашнюю запись и поражаюсь: градус в градус.

Он следит за выражением моего лица и торжествующе спрашивает:

— Верна?

— Молодец! Я тебе подарю ружье. Теперь укажи, в какую сторону мы пойдём и где будем ночевать. Только чтоб верно было.

Сенкича сияет. Ружье для него — целое богатство. Он быстро переставляет рогатину, как колдун опять что-то шепчет, разводит руками, еще раз переставляет и говорит:

— Во, смотри!

Веру румб, записываю. Я вполне уверен, что завтра утром, на следующем стойбище, он точно укажет мне, за двадцать пять верст, это самое место, где сейчас стоим. Я знаю, что обратный румб будет верен, как и в предшествующие дни.

Чем это объяснить? Ведь это же — чудо! Я б всякого назвал лжецом, если б не проверил самолично эту удивительную способность тунгуса чувствовать пространство. Я показал ему карту. Глаза Сенкичи загорелись. Долго, пристально смотрел, расспрашивал:

— Это что?

— Нижняя Тунгуска.

— Это?

— Катанга.

Он разбросил карту на снегу, припал на локти.

— А это Лемпо? — спросил он, проводя ногтем по черте.

— Да, — подтвердил я, вновь поражаясь быстроте его соображенья. Человек впервые видит карту. Возьмите любого нашего мужика, он процарапает насквозь голову, а не поймет эту китайскую грамоту.

— А это Бирьякан? — задает вопрос Сенкича.

— Да.

— А это Туру?

— Нет, вот Туру. Это Пульваненга, — возражаю я. Тогда Сенкича швыряет прочь карту, быстро выпрямляется и с сарказмом говорит:

— Какой дурак писал расписка? Врал! Туру вот где, Пульваненга — вот!

— Эту карту писали в Питере, ученые, — раздражаюсь я.

— Дурак писал, — настаивает Сенкича.

Он берет сучок и чертит на снегу весь наш предстоящий путь вплоть до Анनावары. Чертеж его схематичен, в прямых линиях. Но почти все впоследствии подтвердилось.

— Да как ты это, Сенкича, знаешь?

— Вера такой.

IV. ТРОЕ

Ночью по деревьям стучит мороз. В верхнее отверстие чума видны золотые россыпи звезд. В чуме страшный холод. Костер потух. Я лежу в одном белье под шубой. Надо бы разжечь костер, но встать нет мочи. Темно. Вот кто-то вскочил, зябко сделал — брр, — лякнул зубами, опять упал, пробормотав:

— Язви тебя, вот холод...

Наш русский.

Потом вылезла из оленьего теплого мешка тунгуска

Анна. Мешок у них двойной, семейный, спит в нем с Сенкичей, а сынишка — в берестяном кузовочке у костра. Не замерз ли? Однако нет — заплакал. Анна высекла искру, стала разводить костер.

— Замерзла, Анна? — спрашиваю.

— Вопрекла, — посмеиваясь, отвечает она.

Анна поднялась во весь рост, потянулась, сняла рубашу, вывернула ее и распялила над пламенем. Рубаша надулась от жаркого воздуха колоколом и стала плавно кружиться в раскинутых над костром руках Анны, как карусель.

— Омко, — поглядывая на меня, наставительно говорит Анна.

Я знаю, что такое «омко»; омко — значит вши.

Анна молода, очень красива, от ее бронзового крепкого тела веяло какой-то внутренней чистотой. Но эти окаянные «омко». Закрываю глаза и сердито кутаюсь с головой в шубу.

— Нюльга сегодня будет большая, — заявляет за чаем Сенкича. Глаза его узенькие, заплывшие от сна и таежной стужи.

За чумом голос Анны и бряканье бубенцов. Она собирает оленей. Это не так-то легко: они разбрелись по тайге, надо ловить арканом.

В путь двинулись около полудня. Солнечный, тихий день. На полянах снег слепит глаза. Тишина полная. Иногда с сосны слетит иней: это белка прыгнула на другой сучок. Белок попадается много. Но промышлять их нет времени. Однако Анне невтерпеж. Иногда останавливает она оленя и, приложившись к малопульке, метко срезает с вершины белку.

— А ловко ты бьешь! — кто-то бросает Анне похвалу.

— Вера такой, — скромно отвечает она, попыхивая трубкой.

Мы шли густыми зарослями. Здесь снегу было меньше. Сосны стройно возносились к небу, пушистые кроны их сливались вверху в одну. Вдруг вдали раздался выстрел.

— Э! Наш промышляет, — сказал Сенкича и выстрелил в воздух.

Караван остановился.

— Это глухой Отыркон, старик, — сказал Сенкича.

— Геть, геть! — закричал старик на своих псов и подошел к нам.

— Здравствуй, Отыркон, — сняли мы шапки, с любопытством разглядывая его.

Тунгусы стояли молча. У них нет обычая здороваться. Старик смотрел на нас разинув рот. Собаки пофыркивали, дрожали.

Вид старика жалкий. меховая парка вытерта, оборвана донельзя, ноги обмотаны в какую-то рвань. Седея голова не покрыта, кисти рук голы, красны, он отогревает их дыханием. скуластое голое лицо с приплюснутым носом обтянуто желто-серой морщинистой кожей. Узенькие глаза слезятся, шурятся. Мал ростом, но прям и быстр.

Сенкича обнял его за плечи и закричал ему по-тунгуски в самое ухо. Тот отрицательно помотал головой.

Обращаясь к нам, Сенкича сказал:

— Совсем глушился. Кудой его дела. Тфу! — и дал Отыркону свою трубку.

В руках старика дрянное ружьишко. Самодельная ложка кой-как стяпана топором. Старик подпоясан веревкой. Под веревку подоткнуты убитые белки, а к концу веревки привязана собака. Она сидела у ног хозяина, крутила по снегу хвостом и, высунув язык, весело поглядывала на нас.

Старик еще выкурил трубку и заговорил довольно правильно по-русски. Голос его был слаб и тонок, как у скопца.

— Вот я старый, четыре раз по двадцать. Никого у меня нет. Совсем глухой. Оленей нет, ничего нет, смерть уехала куда-то, прощай. Как жить? Вот живем, я да две собаки. Кормимся. Смерть приедет, сдохну, куда они без меня? Мало-мало пропадут совсем. Чисто беда совсем...

— Неужели у него нет никого родных? — спросил я Сенкичу.

Да. Сенкича знает старика давно, он действительно одинок, но тунгусы не оставили бы его, кормили бы, да и сам Сенкича сколько раз звал его к себе. Неидет. Хочет жить своим трудом.

Сенкича помнит, как одно стойбище тунгусов взяло его к себе насильно, держало чуть не взаперти, ухаживало за ним — очень хороший старик, мудрый — нет, ушел.

Отыркон почуял, о чем мы говорим, и, усаживаясь прямо в снег, сказал:

— Нога шагал, глаз смотрел, работай. Пошто мешать людям? Людям и так совсем худо есть. Каждому свой камень есть. Не надо. Грех. — Он вздохнул, протер глаза снегом и, сделав руку козырьком, взглянул в лицо Сенкичи: — Сенкича! Я буду околеть весной, в вершине Бирьякана.

— Откуда знаешь? — крикнул Сенкича.

— Будешь там кочевать, возьми ружье.

— Откуда знаешь?! — опять прокричал Сенкича и замаячил руками.

— Каменный Спас сказал.

— Кежда есть, село. Там каменная церковь, Спас, — пояснил мне Сенкича.

А старик продолжал:

— Вот лег спать. Вот слышу: Спас приехал в изголовень мне, сказал: ты старый, ты совсем дрянь, время твое поседело, ухо заросло землей. Этой весной станет тебя душить шайтан. Сдохнешь голодом. Наплевать, не бойся...

По лицу Отыркона текли слезы. Подбородок дрожал. Он поднял голову к небу и перекрестился.

Я с печалью и жалостью смотрел на него. Он нищ, убог, но какой-то внутренний свет исходил от него, и чувствовалась несокрушимая сила в его душе. Так хотелось помочь ему. Но как помочь? Несчастный, погибающий старик.

— Шибко хороший Каменный Спас, — сквозь слезы шептал он, — борони бог, какой добрый Каменный Спас, обиды нет от него... Ну, я пошел.

Он быстро поднялся и, как бы спохватившись, громко спросил Сенкичу:

— Куда, бойе, нюльгиришь?

Сенкича всячески изощрялся, чтоб объяснить глухому: схватил меня за рукав, махал руками к югу, указывал на оленей, подгибал по очереди пальцы, чертил пальмой по снегу.

Но вдруг вдали взлаял черный пес Отыркона. Пестренькая сучка, привязанная к опояске старика, взвилась стрелой и бросилась на лай. Веревка взмыла, свалив Отыркона с ног.

— Куто! Геть! Геть! Куто! — крикнул он, быстро вскочив и убегая за тянувшей его что есть силы собакой.

Тунгусы смеялись. Вскоре раздался вдали слабый хлопок ружья.

Я долго смотрел в ту сторону, куда скрылся лесной старик. Мне было грустно. Я думал о его недолгих днях, о последней его земной минуте. Холод, мрак, тяжкое одиночество. Когда сердце его устанет и по жилам едва-едва будет струиться холодеющая кровь, он покорно ляжет у потухшего костра и станет безмолвно ждать.

Когда я все это представил себе до четкой ясности и вдумался в слова старика — «умирать шибко сладко», — какое-то чувство зависти вдруг охватило меня всего. Не странно ли, что мы, люди иного уклада жизни, так боимся своей последней роковой черты, а он, этот немощный, первобытный старец, ждет смерти с радостной надеждой. Благо ему!

Мы двинулись дальше. Сенкича шагал со мной рядом, говорил:

— Белку без собаки доспеть трудно. Ясны́ глазу надо. Отыркон глаз — тьфу! Вот собака туда-сюда нюхтит. Далеко уедет, мало-мало совсем не видно. Отыркон навоеся закружится, все на восход лезет, на восход, а другой собак кэ-эк дернет его, прямо назад, старик вверх ногами, бряк! Однако притащит к белке, — бей, значит. Э!.. Так трое и жрут беду. Э!..

КРАЛЯ

■

Стоял октябрь. Погода направилась свежая, тихая. Солнце так же ярко светило, но уже не было в лучах его прежней ласки. Бодрящим, трезвым оком созерцало оно слегка застывшую землю. Поседали травы. Подернулись лужи и болота тонким стеклом молодого ледка. Опал лист на кустах и деревьях. Рассветы стали туманны, задумчивы утра, тревожно-чутки дни, угрюмы ночи.

А вверху, по поднебесью, лишь выглянет солнце, тянулись к югу длинными колеблющимися углами запоздавшие журавли, торопясь от грядущих бурь и непогод в теплые страны, туда, где солнце еще не состарилось, где сверкают тихие реки да зеленеют мягкие бархатистые луга. Летят, курлыкают тоскующими голосами... Скорей, скорей..

Грустят ли, покидая север, радуются ли, стремясь в неведомые страны, — как угадать?

Лишь человек, прикованный неволей к земле, провожает их благословляющим взором; только щемящая тоска вдруг схватит его за сердце, а глаза нет-нет да и заволкуются слезой.

И загрустит человек, что нет у него крыльев.

Темным вечером, по шершавой, с глубокими застывши-

ми колеями дороге ехали купец Аршинин да еще доктор Шер.

Торопились скорей добраться до города, опасаясь, как бы не вспыхнуло вновь в небе солнце и не растопило подстывшую грязь.

Сибирские дороги длинные — едешь сутки, едешь другие, третьи, а конца пути все не видать.

Купец был тучный, рассудительный, выдавший виды, с большебородым ликом и веселыми, чуть-чуть наглыми глазами. Доктор — худощавый, подвижный и нервный, с растерянным взглядом больших черных глаз, безбородый.

— Скоро? — рявкнул купец.

Ямщик пощупал глазами тьму и хрипло ответил:

— Кажись, надо быть скоро... Быдто недалече...

И, быстро вскинув вверх руку, он браво зыкнул:

— Дела-а-й!..

Лошаденки боязливо покосились на кнут, проворней засеменяли, и тарантас заскакал по замерзшим комьям грязи.

Темень висела кругом; но вот мигнул и опять погас огонек, а за ним мигнул другой, мигнул третий...

— Деревня?..

— Она самая...

Всем вдруг стало весело.

Доктор закурил папиросу, а купец сказал:

— Жарь на земскую...

Когда лошади поплелись тише, ямщик обернулся к седокам:

— Ох, там и краля есть... Солдаточка...

Доктор торопливо затянулся папироской, улыбнулся самому себе и переспросил:

— Краля?

— И-и-и... прямо мед...

Купец икнул на ухабе и сказал чуть-чуть насмешливо, обращаясь к доктору:

— Вот бы вам, Федор Федорыч, в экономочки кралюто подсортовать. А?.. Хе-хе-хе... Вы вот все ищете подходящего резону, да на путную натакаться не можете.

Доктор не ответил.

— Ведь жениться на барышне не думаешь? — спросил купец, переходя вдруг на «ты»: с ним случалось это часто. — Ну вот. Да оно и лучше. Возьми-ка, брат, крестьяночку. На подходящую натакаешься — как собака привяжется. Чего тебе — кровь здоровая, щеки румяные...

Хе-хе-хе... Слышите?— И деловито добавил: — Только надо поприглядеться — как бы не того... не этово...

Опять не ответил доктор.

— А звать ее Авдокея Ивановна,— сказал ямщик, видимо прислушиваясь одним ухом к разговору, и, ошпарив тройку, вновь гикнул не своим голосом:— Де-е-лай!...

Лошади птицами взлетели на пригорок, спустились, опять взлетели и, врезавшись в улицу села, понеслись по гладкой, словно выстланной дороге. У церкви сиротливо мерцал одинокий фонарь да еще здание школы светилось огнями. Было часов восемь вечера.

— А вот и земская...

К подъехавшей тройке подбежал дежурный десятский с фонарем и, сняв шапку, спросил:

— Лошадок прикажете али как?..

Фонарь бросал дрожащие снопы света на перекосившееся крыльцо земской, на курившихся паром лошадей. Подошли два-три мужика да собачонка.

— Вноси в избу всю стремлюндию,— сказал купец.— Куда в эту пору ехать?..

— Куды тут,— радостно, все враз, заговорили мужики,— ишь кака темень... Ха!.. Ты ушутил?..

И весело засуетились возле тройки.

II

В земской тепло, пахло кислой капустой, печеным хлебом и сыростью от не домытого еще пола. Пламя сального огарка, стоявшего на лавке, всколыхнулось, когда Аршинин хлопнул дверью, и заиграло мутным колеблющимся светом по оголенным до колен ногам ползавших на четвереньках двух женщин, по их розовым рубашам и мокрым юбкам, по сваленным в кучу половикам, столам, стульям и стоявшим на полу цветам герани.

Женщины поднялись с полу, бросили мочалки и одернули торопливо подола.

Купец размахисто перекрестился на образа.

— Ну, здравствуйте-ка...

— Здравствуйте, здрасте... — враз ответили обе.

А та, что постатней да попроворней, приветливо метнула карими глазами и молвила певучим, серебристым голосом, от звука которого чуть дрогнуло сердце доктора, а пламя свечи насмешливо ухмыльнулось.

— Вот пожалуйста в ту половину, там прибрано.

И стояла молча, играя глазами.

Купец пошел как-то боком, на цыпочках, неся в руках чемодан, а доктор стоял столбом и мерил с ног до головы женщину.

— Вы не Евдокия Ивановна?— спросил он.

— Да... Она самая. А вы откуда знаете?

Купец высунул из двери бороду:

— Тебя-то? Авдокею-то Ивановну не знать?.. Да про тебя в Москве в лапти звонят... Ха-х ты, милая моя...

— Милая, да не твоя...

— Ну, ладно. Давай-ка, Дунюшка, самоварчик. Сваргань, брат, душеньку чайком ополоснуть...

— Чичас.

И пошла, ступая твердо и игриво, к двери.

Босая, с еле прикрытою грудью, с двумя большими черными косами, смуглая и зардевшаяся,— вся она, свежая и радостная, казалось, опьяняла избу тревожным желанием, зажигала кровь и дурманила сердца.

Купец посмотрел ей вслед плотоядными, масляными глазами.

— Ох, наваждение! Ишь толстопятая, вся ходуном ходит...

И пошел к чемодану, бубня себе в бороду:

— Ох, и я-а-ад баба... Яд!

Доктора бросило в жар.

Толстая, вся заплывшая жиром баба летала проворно по избе, расставляя столы и стулья.

— Подь в ту комнату, я половики раскину.

Доктор очнулся и пошел на улицу вслед за Дуней, а тетка полезла на печку.

Купец, утратив на время благочестивый облик, подполз к ней сзади и, ради первого знакомства, хлопнул по широкой спине ладонью.

Зарделась баба, улыбнулась и, погрозив кулаком, сказала, скаля белые, как сахар, зубы:

— А ты проворен, бог с тобой... Ерзок на руку-то.

Купец хихикнул, тряхнул бородой и, почесав за ухом, сокрушенно ответил:

— Есть тот грех, кума... Есть!

Он крадучись щипнул ее за ногу и, прищелкнув языком, прошептал:

— Кума, эй, кума... Слышь-ка.

— Ну, что надо?— сбрасывая половики, задорно спросила баба.

— Слышь-ка, что шепну тебе.

Она неуклюже повернулась к нему, свесив голову. Он обнял ее за шею и шепнул.

Вырвалась, плюнула, захохотала.

— Чтоб тебе борода отсохла!.. Тьфу!

— Вот те и борода.. Стой-ка ужю...

Вошел доктор, весь радостный. Купец отскочил быстро прочь, степенно прошелся по комнате, взглянул украдкой на иконы и тяжело вздохнул. Лицо опять сделалось постным, набожным.

А баба слезла с печи и пошла, почесывая за пазухой, к двери, брюзжа на ходу притворно строгим голосом:

— Ишь долгобородый, оха-а-льник какой... право.

Доктор быстро взад-вперед бегал по комнате, улыбался, выхватывал из жилета часы, открывал крышку, бесцельно скользил по ним взглядом, совал в карман, чтобы через минуту вытащить вновь. И никак не мог сообразить, который теперь час.

Купец, сидя под образами, в углу, наблюдал доктора, а потом плутовато подмигнул ему и, раскатившись чуть слышным смешком, долго грозил скрюченным пальцем.

— Доктор, а доктор, знаешь что?

— Ну?

Купец еще плутоватей подмигнул.

— А ведь у тебя на лике-то.., хе-хе.. выражение..

— Вот это мне нравится... Ну, а дальше?

И опять забегал, то и дело выхватывая из жилета часы и улыбаясь тайным сладостным мечтам.

III

Когда на столе появился большой самовар, миска меда и шаньги, купец с доктором уселись пить чай. Оба они частенько прикладывались к бутылке с коньяком.

Отворилась дверь, и легкой поступью, поскрипывая новыми полусапожками, вошла Дуня.

— Дунюшка-а-а... родименькая-а-а... иди-ка, выпей чайку с лимончиком, — обрадовался купец.

— Кушайте. Куды нам с лимоном: мы и морщиться-то путем не умеем.

И прошла в маленькую комнатку, где лежали вещи проезжающих.

В комнатке был полумрак. Дуня что-то передвигала там с места на место, лазила в шкаф, брэнчала посудой.

Купец шепнул, хлопая доктора по плечу

— Иди-ка, иди. Потолкуй.

И опять подмигнул смеющимся глазом.

Тот улыбнулся и пошел в комнату, где Дуня звякнула замком сундука.

Купец пил рюмку за рюмкой, заедая шаньгами и солеными огурцами. До слуха его долетали обрывки фраз.

— Евдокия Ивановна... — говорил доктор, и голос его дрожал. — Вы не цените красоту свою. Ваши глаза... брови...

— А какой толк в них?

— Вы любите мужа, солдата?

— А где он? Нет, не шибко люблю. Не скучаю.

А потом раздался тихий вздох, за ним другой и тихий-тихий шепот:

— Пусти... так нехорошо... не на-а-до, не надо...

— Дуня, милая...

Купец выразительно крикнул и прохрипел пьяным голосом:

— Хи-хи... Легче на поворотах!

Доктор вышел, весь встревоженный, опустился возле купца и сидел молча, закрыв лицо руками.

— Вот что, господа проезжающие, — сказала вдруг появившаяся Дуня и, поправляя волосы, добавила:

— Вы, тово... лучше бы выбрались из той горницы вот сюда. Кажись, ноне урядник должен прибыть со старшиной.

— Урядник? Ха-ха... Эка невидаль! Урядник. Подумаешь... — брюзжал купец и, подавая рюмку, сказал: — Ну-ка, красавица, выпей. Окати сердечушко. Садись-ка вот так. Вот чайку пожалуйте...

Жеманьясь, выпила она вино и утерла губы краем голубой свободной кофточки, из-под которой блеснула свежая рубаха. А потом села и заиграла глазами.

Доктор, овладев собою, тихо спросил:

— Так поедешь, Дуня?

У нее чуть дрогнула тонкая левая бровь.

— Пустое вы все толкуете. Разве вы можете нас, мужичек, полюбить?

Она сложила малиновые губы в насмешливую гримасу и молчала.

— Овдотья, эй, Овдотья! Иди, слышь, в баню, што ль, — проскрипел из сеней старушечий голос.

— Иду, бабушка, иду, — торопливо ответила Дуня.

И, обратясь к доктору, сказала тихо, словно песню запела:

— И поехала бы к тебе, и полюбила бы, да боюсь бро-
сишь.

Купец ответил за доктора:

— Мы не из таких, чтобы... Наше слово — слово... Об-
ману нет.

— И верной бы была тебе по гроб, да вижу — смеешь-
ся ты.

Доктор потянулся к Дуне с лаской:

— Милая ты моя, чистая...

— Не трог... не твоя еще,— вскочила Дуня, сверкнув
задором своих лучистых карих глаз.

Купец уставился удивленно в чуть насмешливое лицо
ее, силясь понять, что у нее в сердце.

Дуня пошла легкой поступью к двери, а доктор — ви-
димо, хмель в голове заходил — нахмурил вдруг брови и
тяжело оперся о край стола:

— Постой!.. Слушай, Дуня! А любовник есть? Любишь
кого?

Та вздрогнула, гневно повернулась:

— А тебе какое дело! Ты кто мне — муж?

И вышла, хлопнув дверью. Через мгновенье чуть при-
открыла дверь и голосом мягким, с оттенком грусти, ска-
зала:

— Кабы был кто у меня, неужели стала бы языком
трепать? Ни сном ни духом не виновата.

IV

Когда купец был совершенно пьян, а доктор в полу-
гаре, в комнату быстро вкатилась толстая баба.

— Урядник! — Она влетела в соседнюю каморку и ста-
ла выносить вещи путников. — Уж вы здесь, уж здесь, гос-
пода проезжающие. Я вот тут постелю. Уж извините...

Купец, ничего не понимая, молчал, а доктор рассеянно
поглядывал на носившуюся из комнаты в комнату как
угорелую бабу.

Распахнулись сени, сначала вбежал без шапки рыжий
мужичонка с испуганным лицом и бляхой на сером зипуне,
за ним ввалилось какое-то чудовище необъятных разме-
ров, с пьяным, одутловатым, лохматым лицом, с мутными,
косыми, навывкате, глазами.

Впереди суетился десятский:

— Ваше благородие, вот сюда...

За ним осанистый чернобородый крестьянин со стро-
гим, хмурым лицом.

— Нида... нда-а-а... Ха-ха! Тоже птицы, ничего себе... Урядник... — заплетающимся языком бормотал купец. — Эй, ты, доктор, понимаешь? Урядник... можешь ты своей башкой понять? А?

Урядник, услышав купца, появился в дверях своей комнаты и, держась за косяки, обиженно сказал:

— У меня, господа, дело, примите к сведению: убийство в волости, надо допрос снимать... так... что... маленькую комнату мне. Покорнейше прошу...

У купца, когда он выпивал лишнее, голос становился пискливым, а временами срывался на низкие ноты. Исподлобья посматривая на урядника и теребя свою бороду, он задиристо сказал:

— Бери-бери-бери!.. Получай на здоровье... свою комнату с периной... с двуспальной... Хе-хе! Нн-да-а! Ты человек козырный. А мы что? Мы — людишки маленькие, тварь проезжающая разная. Докторишка какой-то да купчишка паршивый, соборный староста, например, с позволения сказать. Хе-хе... Эка невидаль!

— Что-с?

— Я тебе дам — что-с! — стукнул купец кулаком в стол и, грузно шевельнувшись, как куль шлепнулся на пол.

— Вот так раз... Хы... Сверзился... — бормотал он, барахтаясь меж столом и лавкой. — Господин доктор, врач! Эй, где ты? Подсоби-ка... А на Дуньку плюнь. Плюнь, не подходяще. Чи-и-стая... Солдатка-то, Дунька-то? Она те оплетет, как пить даст. Дур-рак!

Урядник крикнул, свирепо взглянул на доктора и с треском захлопнул дверь.

Купец дополз до брошенного в угол постельника, а доктор забежал — руки в карман — по комнате и, остановившись возле пластом лежащего купца, шипел:

— Я вам не дурак! Вы пьяны! О Дуне же прошу так не выражаться. Слышите? — и опять забежал.

А купец, приоткрыв один глаз, засыпая, мямлил:

— Дур-рак! Семь разов дурак.

V

Купец спал, задрав вверх бороду и посвистывая носом. В переднем углу, на полке, стоял большой медный крест, два медных старинных складня и медная, в виде кадила, посуда для ладана. На гвоздике висели ременные лестовки-четки.

«Народ набожный, — подумал, рассматривая, доктор,

и ему было приятно, что Дуня живет в такой строгой, религиозной семье. — Должно быть, кержаки».

По комнате то и дело проходили к уряднику и обратно какие-то фигуры не то мужиков, не то баб, — доктор не обращал внимания, — а из полуоткрытых дверей доносилось:

— Он к-э-эк его тарарахнет. Да кэк надаст...

— Трезвый?

— Како тверезый! Кабы тверезый был, нешто саданул бы ножом в бок.

Затем слышался старческий кашель и глубокий вздох:

— Ох, грех-грех...

Доктор взглянул в зеркало и не узнал себя: лицо красное, возбужденное, а мускул над правым глазом подергивался, что бывало каждый раз, когда доктор волновался.

— Ты у меня не финти, сукин сын! — вдруг за дверями заревел урядник.

— Ваше благородие, господи! Да неужто ж я смел бы?.. Что ты, что ты.. Пожалей старика... Ба-а-тю-юшка-а...

— Я тебя пожалею. Вот я тебя пожалею!

Шел суд и расправа, а купец храпел на всю избу и охал, да тоскливо попискивал самовар.

Доктор надел пальто и вышел на улицу. В висках его стучало. На душе ползало что-то, похожее на тревогу, и кралась к сердцу грусть.

Вот он тут сядет и подождет Дуню. Он скажет ей много хороших слов, ласковых и сердечных. Может, поймет его, может, даст ему счастье, надежду на хорошую, радостную жизнь.

Он сел на приступках покосившегося крыльца и, обхватив колени, вглядывался в тьму звездной ночи.

Ночь была тихая, ядреная.

На горе, за селом, колыхалось пожарище. Видно было, как клубились космы изжелта-серого дыма, а искры вились и уносились к темным небесам.

Где-то далеко-далеко заревели коровы да прогрохотала по мерзлой дороге телега.

И опять тишина.

За воротами слышался чей-то разговор.

Доктор вышел на улицу. Три мужика.

— Что, пожар?

— Да, — ответили все вдруг, — рига у крестьянина горит.

— Не опасно?

— Нет.. далече... так что за селом. А окромя того, тихо.

Еще что-то говорили, спрашивали его. Он отвечал и сам как будто спрашивал. Но все это — и разговоры, и зарево пожара — плыло мимо его сознания.

Он пошел во двор и снова опустился на приступки крыльца. Тоскливо стало.

— А что, Евдокия Ивановна не вернулась из бани?

— Поди, нет еще. А тебе пошто?

Доктор не знал, что ответить старухе.

— Да я так, собственно... хотел самоварчик попросить.

— Ну-к, я чичас.

Он курил папиросу за папиросой, думал.

Черт знает. Как это так сразу? Стра-анно. Это водка... все водка наделала. Пьян!

«Водка? — прозвучало в ушах.— Водка ли?»

Вдруг выплыли из тьмы чьи-то родные, ласковые глаза, поманили, усмехнулись, прильнули вплотную, смотрят.

«Что, любишь?»

Отмахнулся рукой. Замолкло, спряталось, притаилось.

Волна за волной шли мысли, то робкие и расплывчатые, то дерзкие и неотразимо влекущие.

Вот возьмет Дуню — красавицу, каких нет в городе. Привяжет ее к себе лаской, умом. Привьет ей любовь к знанию и заживет тихой-тихой, здоровой жизнью. Может быть, уйдет в деревню. Что ж, разве таких okazji не бывает?

— Да, да в деревню,— думал он вслух...— Понесу туда свет, знание, помощь... А если... А вдруг?

Он не кончил, не хотел кончать: боялся.

Пожар на горе затихал.

— Дуня, дорогая моя...

Вот скатилась с неба звезда и, вспыхнув, исчезла в синем мраке неба.

— Сорвалась звездочка.. А я пьян. И не идет Дуня... Краля? Ты говоришь — краля? Допустим...— бормотал, потягиваясь, доктор.

Подошла собака, поласкалась, лизнула в лицо, ушла.

Выплывали откуда-то звуки гармошки и песня. Прислушался доктор.

— Должно быть, рекруты...

Голос выводил, а ему, разрывая визг гармошки, подгавкивали другие:

Как во нашем во бору,
Там горит лампадка.
Не полюбит ли меня
Здесьняя солдатка.

Залаяли собаки, набрасываясь с остервенением. Хлопнули ворота. Раздались ругань, крик. А затем большой камень, очевидно пущенный в собаку, ударил в заплот. И опять ругань. И опять пьяная песня да лай собак.

— Что пригорюнился? Спать пора....

— Дуня!..— Доктор вздрогнул и жадно обнял ее, теплою, пахнущую свежим веником.

— Сядь, посидим.

— Да некогда... право... Пусти...

— Сядь, поговорим.

— Нет, пусти... Нekoгда.

Однако села, склонив голову к его плечу, и заглянула в глаза.

— Вот я хотел сказать тебе,— начал доктор, чувствуя, как дрожь овладела им и как стучат от волнения зубы. — Хотел сказать, что полюбил тебя горячо...

— Горячо-о-о? Не обожги смотри.

Она засмеялась тихим, хитроватым смехом.

— Хочешь ли, я возьму тебя с собою? Ты будешь моей подругой. Я покажу тебе хорошую жизнь... Хочешь?

— Ох, мутишь те меня, барин. И зачем тебя нелегкая принесла сюда?

— Я тебя люблю... Приворожила, что ль, ты меня?

— В куфарки зовешь али как? Поди, жена али зазноба есть?

— Нету, Дуня, нету. Никогда, никто...

— Ах, бедный ты мой, бедный! Дай пожалею.— Она высвободила руку из-под накинутой на плечи шубы и стала нежно гладить его волосы, лицо.

— Один, как сыч. Столько лет без любви, без ласки. Ах, как тяжело...

А Дуня ласково, нараспев, говорила, обнимая доктора:

— Милый ты мо-о-й... робеночек мо-о-й. Да-кась поцелую тебя.

Вот скрипнула в сенцах дверь: кто-то поставил на пол ведра и стал шарить по стене:

Дуня шмыгнула на улицу и притаилась, припав к стене крыльца.

Доктор сидел молча, не двигаясь, словно боясь спугнуть сладостный сон.

Опять скрипнула дверь: закрихтел кто-то, икнул, заво-

зился, и вдруг из темноты сеней раздался старушечий шепелявый окрик:

— Ай! Кто тут? Ты штой-то хваташь?!

— Да это я... Саквояж ищу. Чемодан...

Дуня прыснула, узнав голос купца, и плотней запахнулась в шубу.

— Чиквая-а-н? Я те такой чиквайн покажу. Язви те! Ишь облапал....

— Это ты, бабушка?— хрипел купец.

— А тебе ково? Грехо-во-о-дник...

Дуня давилась от смеха. Купец пошел к выходу, а старуха еще шепелявила ему вдогонку:

— Чиквадан... Ишь ты, чего захотел. Какой-такой чиквадан про тебя доспелся... Тьфу!

Купец наткнулся на доктора:

— Ах, это ты? Мечтаниям предаешься? Ну, ладно, мечтай, мечтай... О чистой... хе-хе.

И он полез по ступенькам, держась за поручни.

Дуня скользнула в сени, но доктор настиг ее, распахнул ей шубу и жарко целовал шею, губы, грудь.

— Пусти,— молила его,— пусти!

— Не могу...

— Пусти... ну, пусти.

А уходя, бросила:

— Я приду к тебе.

— Дуня-я-я!

— Родной мой... желанный.

VI

Самовар опять попыхивал на столе, и поставленный на конфорку чайник задорно стучал крышкой.

Было часов десять вечера. Допрос все еще продолжался:

— Попервоначально он его в зубы съездил, а опосля того взащей, значит... в лен.

— В лен?

— В лен, в лен.

— Та-а-к...

Купец, лежа на полу, что-то бредил, стонал, ругался. По избе ходила толстая баба, вся красная, лазила на печь, заглядывала в шкаф.

Купец вдруг быстро-быстро заработал во сне ногами, точно стараясь от кого убежать, потом подпрыгнул на постельнике всем телом, открыл глаза и гаркнул:

— Караул! Ксы!

Баба кинулась к нему и, припав на колени, прошипела:

— Тшшш... Чтоб тебя притка задавила. Это кот. Брысь!

— То ись как кот?

— А я почем знаю как. Кот, да и кот... Спи-ка знай.

— Боднул кто-то...

Купец сейчас же захрапел, обхватив руками голову. Доктор, опьяненный вином и Дуней, целый час бродил по деревне. Наконец ему захотелось спать, и глаза его, утомленные, стали слипаться. Придя в земскую, он сел к столу и налил черного, как деготь, чаю. Вскоре явилась и Дуня.

Она несмело подошла к полуотворенной двери и спросила:

— Вам, господин урядник, чайку не прикажете?

— Убирайся! Некогда! — слышался злой, грубый окрик.

Дуня с омерзением взглянула на жирный, ползущий на воротник загривок, торчащие из одутловатых щек усы и оттопыренные уши.

— Леший... каторжник, — сдвинув брови, обиженно прошипела она — и к выходу.

— Евдокия Ивановна! — ласково позвал доктор.

— Ну, что?

Он придвинул табуретку.

— Сядь.

Дуня улыбнулась, смахнула слезы, выпрямилась вся и, не подходя к столу, издали переговаривалась тихо с доктором.

Он раз и другой пытался подойти к Дуне, но она испуганно грозила ему пальцем, кивая глазами в сторону урядника.

— Почему, Дуня? — удивленно шепчет доктор.

— Ох, боюсь я его, окаянного, — ее лицо скорбно опечалилось, а меж крутых бровей легла морщина. — Зверь! Прямо зверь.

— Но почему? — еще удивленней шепчет доктор.

Дуня мнетя, хрустит пальцами рук, взглядывает смущенно на доктора и говорит, волнуясь и проглатывая слова:

— Ох, не спрашивай ты меня, Христа ради. Услышит — убьет...

Доктор порывисто выпил водки. А Дуня шептала:

— Прямо ирод, а не человек. Всех заездил... Всех слопал... Жену, варнак, в гроб вогнал, робят из дому выгнал. Охти-мнешеньки... Змеей подколодной к мужикам присосался, кровушку-то из нас всю, как пиявица, выпил. А куда пойдешь, кому скажешь — неизвестно... Ох, беда-беда!

Доктор подозрительно смотрит на Дуню, хмурится.

Но та, как солнце из-за облака, вдруг засияла улыбкой, сверкнула радостно глазами, подбоченилась и, тряхнув бусами, гордо откинула голову:

— Вот бери, коли любя! Не гляди, что криво повязана: полюблю — в глазах потемнеет!..

Счастливый, взволнованный доктор все забыл; манит к себе Дуню, говорит:

— Вот завтра, любочка моя... вот уедем завтра...

— А не погубишь?— Она стоит улыбается, того гляди смехом радостным прыснет.— Ну, смотри, барин!— задорно погрозила она пальцем, а в карих глазах лукавые забегали огоньки.

Незаметно уходило время, а Дуня все еще говорила с доктором. Давно погас самовар, кончился допрос, затихла деревня вместе с собаками, песней, пожарищем, только тут двое любовно беседовали да строчил протоколы урядник...

— Подожди денечек... Ну, подожди,— вся в счастье, в радости просит Дуня.

— Что ж ждать-то?

— Надо, соколик мой, надо. Потерпи! Навеки твоя буду, — влагая в слова певучую нежность, шепчет она. И вдруг, с тревогой:

— Ты крепко спишь?

— А что?

Лицо ее сделалось серьезным, в глазах мелькнул страх, но через мгновение все прошло.

Еще нежнее и радостнее, издали целуя его, едва слышно сказала:

— Приду... на зорьке... милый.

— Что?— как камень в воду, бухнул внезапно появившийся урядник.

— Что?!

Дуня побелела.

Он посмотрел тупым, раскосым взглядом сначала на Дуню, потом на доктора.

— Вы огурчиков приказывали? — растерянно спросила Дуня доктора.— Чичас,— и скрылась.

Доктор язвительно поглядел ей вслед: таким обычным и земным показался ему голос чародейки Дуни.

Урядник круто повернулся и пошел на свое место, оставив открытой дверь.

Доктор, посидев немного, стал укладываться спать возле купца. Сразу, как погасил лампу, комнату окутала тьма, но вскоре заголубело все в лунном свете. Хмельной угар все еще ходил в голове доктора, и, в предчувствии чего-то неизведанного, замирало сердце. Когда ложился, хотелось спать, а лег — ушел сон, и на смену ему явились думы.

Он лежит, вспоминает, улыбается. И все как-то путано в голове, туманно. Радостно ему, что Дуня стала его подругой, что за солдата выдали ее силой, что никогда не любила и не любит она никого, кроме него: так сказала ему Дуня. Лежит, удивляется: скоро, как в сказке. И это очень хорошо: такие вопросы надо решать сердцем. Вот завтра утром встанут, напьются чаю и уедут с ней в город. А потом доктор выпишет из деревни свою старуху мать, такую же крестьянку, работающую, простую, как и его Дуня. И тогда все трое заживут вместе. Эх, хорошо! Он лежит с открытыми глазами, спать не хочется, голова идет кругом.

Из комнаты урядника выступила желтая полоса света: в ее мутно-сонных лучах вдруг стало оживать висящее на стене полотенце. Откуда-то взялись руки, грудь, голова с черными глазами, все дрогнуло, зашевелилось.

— Да ведь это Дуня,— удивился доктор и с досадой взглянул на полуоткрытую к уряднику дверь.

Перо скрипело в руках урядника. Вот оторвался он от стола, сжал кулаки, потянулся всем жирным телом, зевнул и по-медвежьи рывкнул.

Белое видение исчезло, словно испугавшаяся выстрела птица.

— Тыфу!— и доктор перевернулся на бок.

Было тихо. Только слышалось, как, капля по капле, падала в лоханку вода из медного рукомойника.

«Буль... буль... буль...»

Раздались удары в колокол. Плыли они тихо, разделенные большими промежутками времени, и, казалось, засыпали по дороге тихим сном.

Просчитав пять ударов, доктор забылся, ему пригрезилось, не то во сне, не то наяву, как урядник вскочил со стула, подполз на четвереньках к полотенцу, зацепил им за ввинченный в потолок крюк, сделал на полотенце пет-

лю и повесился. Но вбежавшая, во всем красном, Дуня ахнула и быстро перестригла петлю. Урядник всей тушей упал на доктора. Тот вздрогнул и открыл глаза. Сон. Колокол еще раз три ударил и замолк. На докторе тяжелая, отекая рука купца. Он сбросил с себя каменную руку и отодвинулся на край постельника.

Купец завозился, перевернулся на другой бок и что-то забормотал, а потом отчетливо произнес:

— Яд-баба.... Яд!

Запел петух где-то близко, в сенцах, за ним другой, третий.

«Вот приду... Ох, желанный мой», — сквозь сон слышит доктор.

Притаился, слушает, незаметно засыпая.

«Ох, сладко поцелую... Обожду тебя... О-о-о-х...»

Он слушает, улыбается и засыпает все крепче.

VII

Долго ли проспал доктор, неизвестно, но встрепенулся, когда кто-то хватил его, словно шилом в бок. Вздрогнул, протер глаза.

Дверь в комнату урядника почти закрыта, оставалась лишь неширокая, в ладонь, щель.

Доктор взглянул и обмер. Протер глаза, смотрит. Опять протер, приподнялся. Глядит и не верит тому, что видит.

— Неужто?!

Он ползет к двери, прячется в тень, как вор, и широко открытыми глазами вливается в жирную копну урядника и сидящую у него на коленях, в одной рубашке Дуню.

— Вот это шту-у-ука!.. — тянет доктор; он слышит, как бьется его сердце, да капля за каплей, падая в лохань, булькают и насмешливо рассыпаются в обманной подлой тишине.

Дуня обвила оголенной рукой толстую шею урядника, гладит его волосы, что-то шепчет и улыбается лукаво и ласково.

Урядник хохочет неслышно, и его живот, подпрыгивая, колышется в такт смеху, а вместе с ним колышется Дуня, стройная, свежая, в розовой рубашке.

— Два с полтиной. два с полтиной!.. Нет, врешь, — бредит скороговоркой купец и, застонав, добавляет убежденно:

— Еще успеешь угореть-то.

Доктор испугался, пополз было назад, но раздумал. Дуня встала, заслонив собою свет лампы, и через рубаху соблазнительно сквозило ее красивое тело. Закинув руки за голову, она потянулась лениво и страстно, привстав на носки, а чудище облапил ее левой рукой, притянул к себе и зашептал хриплым голосом:

— Чего он тебе толковал-то?

— А ну их к чертям!— почти крикнула она.

— Тсс... услышит.

— Спят... нажрались оба.

Доктор таращит глаза, дивится. Не во сне ли, думает. А они, проклятые, шипят гусьями:

— Люблю тебя, Павлуша.

— Любишь? Ты чего-то юлишь, по роже вижу, что юлишь... А дьячок-то?

— Не вспоминай. Ведь каялась... Чего же тебе надо? Прости!

Замолчали оба.

Он красного вина подносит, сам пьет, ее плечо лапой гладит, тискает.

— Ночевать не будешь?

— Нет, ехать надо.

— Подари колечко. Может, не увидимся... Уйду.

— Что-о?

Таящимся, но злобным смехом всколыхнулась Дуня, задорно запрокинула с двумя черными косами голову, взметнула вверх руки, хрустнула пальцами и, покачиваясь гибким станом, протянула:

— Испужа-а-лся? А ежели уйду? Кто удержит?

— Сма-а-три, Дуня!

Урядник поднял над головой револьвер, потряс им в воздухе:

— Со дна моря достану, из могилы выкопаю, воскресу и перерву глотку... Знай!

Она прижала локтями грудь, съежилась, вздрогнула зябко:

— Заколела я чего-то... Поцелуй.

Потемнело у доктора в глазах: сон или не сон? В ушах шумит, во рту пересохло, и, как в наковальню молотом, бьет в груди сердце.

Быстро поднялся с полу — нет, не сон,— быстро подошел к постельнику и, нагнувшись, стал шарить спички.

У урядника погас огонь и захлопнулась плотно дверь. Оттуда слышалась не то ругань, не то смех.

Доктор зажег лампу. Руки его дрожали. Взгляд стал диким, растерянным, а мускул над глазом запрыгал. Он налил в чайный стакан коньяку и жадно, залпом, выпил.

«Нет, не сон...»

Была глухая ночь. Хмель нахрапом вползал в его голову. Заскакали мысли, перепутались, как испуганное стадо баранов, и бросились врассыпную. Чувствовал он, как уползает из-под ног почва, как все горит и стонет у него в душе. Тяжко сделалось.

Время шло. Лампа давно погасла, копоть от тлеющего фитиля висела над столом черным угаром, а сквозь окна глядела луна.

— Эй, ты, господин торгующий... купец!— говорил доктор пьяным голосом.— Тарантас этакий, а? Слышишь? Храпишь? Ну, черт с тобой, спи. Н-нда-а... Болотина-то, грязь-то какая. Ай-яй-яй-яй-яй... Бррр! Где тут гармония, красота? Вдруг урядник... и Дуня. Ходячее пузо какое-то... и алый полевой цветок. А? Нет, ты посуди, Аршин Иваныч, прав я или не прав? Дурак я, слюнтяй, интеллигент, мечтатель, кисель паршивый! Вот кто я...

Доктор приподнялся с лавки, взъерошил волосы, вытирашил глаза и закричал:

— Эй, вы, красивые... двое! Заперлись?

В комнате урядника примолкли, притаились, умерли.

— За что ж ты мне в душу-то харкнула? А? Ведь ты кто? Знаешь, ты кто? Змея!..— стал кричать, топя ногами, доктор.

Во тьме что-то зачавкало, всхлипнуло, зашипело, и раздался голос купца:

— Вы с кем это рассуждение имеете?

Доктор удивился звуку голоса, но встал, побрел, еле держась на ногах, к купцу и упал возле него на колени. Целовал его, плакал горько пьяными слезами, жаловался:

— Где же правда, где? Вдруг Дуня — и на коленях у борова. А?.. Зачем обещать тогда? А ведь так клялась...

— Да-а-а, вон оно что. Хе-хе-хе. Так-так-так. На то и щука в море. Вот те и чистая! Ха-ха! Ловко. Вот те и краля!

Доктор, покачиваясь, стоял на коленях и грозно тряс кулаком:

— У-ух ты мне! Куроцап! Убью!!

— Смотри, отскочите...— иронически заметил купец и продолжал зевая:— А ты вот лучше высморкайся да ложись спать с богом. Ишь ночь...

Он еще раз зевнул, перекрестил рот и, перевернувшись, добавил:

— Она даром что Авдокея Ивановна, а умная, стерва: где пообедает, туда и ужинать идет.

Сказал и через минуту захрапел.

Слышно было, как во дворе раздавались деловитые голоса, бубенцы побрякивали, тяжелые сапоги топали по сенцам и ступеням крыльца, отворялась и затворялась наружная дверь.

Заскрипели ворота, рванули кони, колеса затараторили.

— С бого-о-ом!

Тявкнула спросонок собака, опять заскрипели и хлопнули ворота, побродил кто-то по двору, и все стихло.

Час прошел, томительный и длинный, наполненный вздохами, бессвязным бормотанием, затаенным ночным шорохом: должно быть, черти бродили по избе.

Луна еще не ушла с неба, но конец ночи близок.

— Барин, а барин,— еле слышно позвала неожиданно Дуня.

Она стояла среди комнаты, трепетно-белая, охваченная снопом лунных лучей.

— Желанный...

Доктор застонал, открыл глаза и зло перевернулся лицом вниз.

Дуня стоит над ним, что-то причитает и вся дрожит, как в непогоду дерево.

— Слушай-ка... Не серчай...— льется нежный, молящий голос.— Ты разбери только по косточкам жизнь-то мою, разбери, выведай. Не серчай, ради господ.

— Тебе что надо?— повернув к ней голову, крикнул доктор.— Тебе, собственно, что от меня требуется?— и опять уткнулся в подушку.

Прошла длительная жуткая минута. Дуня несмело опустила-сь возле него на колени.

— Ах, милый, рассуди: ведь смерть, прямо смерть от него, от лиходея, от урядника-то... Муж бил, вот как бил, житья не было; забрали на войну, обрадовалась— хошь отдохну. Тот черт-то привязался, урядник-то... запугал, загрозился: «убью!»— кричит, а защитить некому— одна. Ну и взял... А все ждала, сколько свечей богородице переставила, вот, думала, найдется человек, вот пожалеет. Пришел ты, приласкал, такой хороший... аж сердце запрыгало во мне, одурела с радости. А с ним, с аспидом, раз-

вязалась, отвела глаза, успокоила,—убил бы. Понял? Вот, бери теперича... Возьмешь?

Затаив дыхание она робко ожидала...

— Возьму... Эх, ты...

Пала рядом с ним; отталкивал, гнал, корил обидными словами, а сумела остаться возле, впилась дрожащими теплыми губами в его лицо, замутила голову, всколыхнула хмельную кровь.

— Ах, желанный мой! Люблю!— восторгом, неподдельной радостью звучала ее речь: ждала, насторожившись,— вот скажет, вот обрадует.

— Убирайся ко всем чертям!— после минутного раздумья презрительно и желчно бросил доктор.— Марш отсюда!

— Только-то?

— Марш!!

— Стой, кто тут?— прохрипел купец.— Ты, Дуняха?— Он быстро приподнялся, зашарил-замахал в полутьме руками и, сидя на полу, шутливым голосом покрикивал:— Давай-ка, давай ее сюда! Хе!..

И слышно было, как Дуня, поспешно удаляясь, ступала босыми ногами, скрипнула дверью и там, за стеной, не то захохотала, не то заплакала в голос, как над покойником бабы.

— А ты, доктор, дурак!— сказал, опять повалившись, купец.

Но доктор лежал, свернувшись клубком, с головой закрывшись одеялом, и, как смертельно раненный, мучительно стонал.

На рассвете для доктора стали запрягать лошадей.

Заложив за спину руки, он торопливо ходил по двору, хмурый и сосредоточенный, в сером, перехваченном кушаком, бешмете и высокой папахе.

А кругом суетились, закручивали лошадям хвосты, подбрасывали в задок сено, укрепляли веревками вещи.

Доктор проворно вскочил в тарантас, забился в угол и закрыл глаза.

— Трогай со Христом!— приказал чей-то стариковский голос.

Четко ступая по бревенчатому настилу, шагом пошли к воротам кони.

Когда на улице проезжали мимо окон земской, ямщик-подросток, вздохнув, сказал:

— Эх, Дунька-то как воет... Чу!— и враждебно взглянул на седока.

Доктор вздрогнул, открыл глаза. Больно, мучительно больно... Мерзко... Он высунул было голову, но ящик гикнул, лошади рванули, понесли.

— Точка,— растерянно прошептал доктор, вновь забился в угол и крепко сомкнул усталые, полные грусти, глаза.

Тихо снег падал, первый осенний снег — гость небесный. Еще дремал воздух, дремотно падали снежинки, все дремало, и бубенцы с колокольцами тихо звякали, зябко вздрагивая на холодке.

На доктора валился сон. Засыпая, он грезил о том, как зима придет с метелями и морозом, и все уснет в природе под белой теплой шубой. Но пролетит на легких крыльях время, и вновь наступит молодая, нарядная весна с ковром цветов, ликующим хороводом птиц. И опять длинными колеблющимися треугольниками полетят с юга, но с новыми вольными песнями, радостно перекликаясь, журавли.

ЧУЙСКИЕ БЫЛИ

Эх, да как стегнула по Алтаю Чуя, священная река. Белые стоят на горизонте горы, все в вечных снегах, Чуйские Альпы, земли надгробие. В них родится Чуя, священная река.

Сначала степью течет она: ни лесу здесь нет, ни сочных трав. Зато отсюда ближе небо, ярче звезды, чище, прозрачней воздух.

Вся степь, во времена минувшие, до самых горных маковок была водой залита: века веков плескалось здесь озеро голубой волной. И стерегли это озеро каменные витязи, Чуйские Альпы, богатыри алтайские, плечо в плечо стояли каменной стеной.

Но не удозорили, не усмотрели: обмануло их озеро, убаюкала их зыбун-волна, уснули крепко. А вода прорвала себе ход, проточила горы и хлынула.

Гул пошел по Алтаю, земля затряслась, осыпались камни.

Широко волна хлещет, опрокидывает скалы, грохочет и стонет и мчится вдаль бешеным потоком.

Это Чуя, рожденная в снегах, горами плененная, вывралась на волю и понеслась меж расступившихся в страхе Алтайских гор.

А озеро обсохло, и дно его превратилось в песчаную Чуйскую степь.

Так стародавняя быль говорит.

На Чуйской степи есть маленький русский поселок Кош-Агач. Такой маленький, что с гор, обнявших степь каменным кольцом, его и не приметить.

Через Кош-Агач Чуйский тракт идет. Узкой тропой соединил он сибирский город Бийск с монгольским — Кобдо.

Весь бы этот тракт серебром можно вымостить да золотом, что загребли-захапали купцы у алтайцев и монголов.

Весь бы тракт можно слезами залить, что сочились из узких глаз полудиких, с чистой душой кочевников; такой большой обидой и горем наделил их русский неистовый, алчный хищник.

Так говорит про купцов недавняя быль.

Бурным шумом шумит, шорохом шелковым...

Эй, подожди, Чуя, вода холодная! Куда бежишь, куда по камням вскачь мчишься? Стой, Чуя, стой! Расскажи нам вчерашние и сегодняшние были свои.

І. ЗЕРКАЛЬЦЕ

Зеркальце как зеркальце. Маленькое, круглое, цена ему — пятак.

Купец их с дюжину привез в горную степь. Давно дело было, в этот заброшенный край еще никто зеркал не важивал.

Думает купец:

«Надо калмыкам продать, надо калмыков нагреть. Греха тут нету: калмык не человек, — зверь, и душа у него, как у пса, — пар. Зверь и зверь».

Едет купец в гости к своему другу, калмыку Аргамая, которого не раз надувал.

Вечером приехал, к огоньку. Аргамай в юрте сидит толстый, сильный. Один у камелька сидит, баранью кость гложет и мурлычет песню о том, как он завтра на заре будет кочевать к снегам, где такие вкусные сочные травы — сласть скоту.

— Эзень! — поздоровался купец.

— Эзень, эзень! — откликнулся Аргамай, всматриваясь в пришедшего.

— А-а-а... Эвон кто! Друг... — радостно вскрикнул и уступил гостю свое место.

У костра засуетился, — огонь ярче вспыхнул, — полбарана положил в котел, чай по-калмыцки готовить начал: с молоком, жареным ячменем и солью.

— Баб нету... Один больной, другой в гости укатил к отцу.

— Нет ли арачки?

— Бар, бар... — и подал в турсуке самодельную из молока водку.

Сидят, беседуют. Огонек весело горит. Арачка вкусная, теплая, по жилам загуляла, в мозг ударила, дала волю языку.

Калмык смеется, и купец смеется, по плечу Аргамая похлопывает, льстивые речи говорит:

— Ни у кого таких коней нет, как у тебя. Самые лучшие быки у тебя. Самые лучшие бараны у тебя. Ты богатый. Жена у тебя красивая.

Говорит, арачку пьет, баранину ест.

Аргамаяю любо, слушает, смеется и, чтобы не остаться в долгу, говорит гостю:

— Ты самый хороший есть. Самый верный... Друг... Вспомнил купец про зеркальце.

Думает:

«Надо подарить. Убыток небольшой — пятак».

Достал, показывает.

— На-ка, поглядишь.

Смотрит Аргамай пристально. Приковало его зеркало.

— Это кто?

— Да ты...

— Как я?! Это шайтан!

— Нет, ты...

Молчит, еще пристальней всматривается, недоверчиво на купца смотрит, говорит ему:

— Чего врешь?! Нету!.. Шуба-то моя, а рожа сроду не видал, не знаю!..

Купец блаженно улыбается, а калмык от нетерпенья заерзал по войлоку, руки дрожат, крепко уцепились за волшебное зеркало. Сроду такой чудесной штуки калмык не видывал.

— Да ты надень шапку-то... Видишь?.. Ты!..

Смотрит калмык — его шапка в зеркале, косу смот-

рит — его коса, с ленточкой, бородавка на носу его, — щупал...

— Ха-ха-ха!.. Продай... Делай милость, продай!

А купец совсем обмяк, радость другу своему доставить хочет, говорит:

— Да я тебе его...

— Делай милость, продай... Сколько хочешь возьми!..

И вдруг купеческая душа в подлюю алчность пока- тилась.

— Нельзя... — чуть дрогнув голосом, сказал купец.

— Возьми быка... Ребятам, бабам казать буду... Ха- ха-ха... Пусть смотрят рожам...

— Нет, нельзя, — твердо купец сказал и легонько зер- кальце к себе тянет.

Аргамай не дает:

— Два быка, три быка!.. Хороших!..

— Что ты, я сам дороже заплатил... В Москве добыл... Знаешь, слышал?

Чуть не плачет Аргамай, большой ребенок:

— Возьми четыре быка... Пожалуйста, возьми, друг!..

— Пойдем быков ловить, — жадно сказал купец.

Аргамай смеется плутовато, зеркальце подальше пря- чет, на купца с опаской смотрит, не продешевил ли тот, не отобрал бы...

Ласково ему говорит тонким своим голосом:

— Ты самый хороший есть... Самый верный... Друг...

Поздно ночью возвращался к себе в стан пьяный ку- пец. И, выписывая в седле опьяневшим туловищем мысле- те, весело вслух думал:

— Он на то и калмык, чтобы его учить. На то он и татарская лопатка.

II. ЧАСЫ

Жил-был ласковый торгаш с мышинными глазами. Он такой хитрый, что любого шайтана мог трижды пере- хитрить.

Плут.

Приезжает к нему старый киргиз Юсуп.

Посидел, покалякал, кое-что купил.

А торгаш только что свежий товар из города, из Руси получил.

— Купи часы...

Взял киргиз в руки часы, полюбовался ими, языком прищелкнул:

— Живой... Стукат...

— Купи!..

Вздыхнул Юсуп. Надо бы купить, — не себе, а сыну, доброму джигиту. Эх, надо бы купить.

— Я бы купил. Денег нет... Вот будут, куплю.

Не любил Юсуп в долги залезать.

Водкой купец угостил его, целый стакан подал

— Пей!

Магометанская вера строгая: водку запрещает пить. Однако Юсуп с хорошим человеком маленько выпить может, греха таить нечего.

А водка злая, крепкая, рот обожгла, веселым туманом обложила сердце.

Еще стакан подал:

— Пей на здоровье!

Очень ласковый торгаш.

Попрощался Юсуп, сел на своего верблюда, поехал.

Степью ехал. Тихо было в степи. Лишь кузнечики немолчно в траве трещали. Небо бледное, в бледных звездах — белых лебедях. Из-за снеговых хребтов подымалась луна.

Едет старый Юсуп, улыбается, с верблюдом разговор ведет и, пьяненький, начинает напевать:

— Вот месяц смотрит... Алла-алла... Круглый, зоркий, как глаза великого аллаха... Светит мне, светит верблюду...

Дальше едет... Тихо в степи... Кто-то навстречу скачет... Свой...

Проскакал джигит. На ходу кричит что-то, но Юсуп не слышит. В небо глядит, месяцу слезящимися глазами подмигивает. Месяц щурится и ярче освещает степь.

Поет Юсуп:

— Месяц, месяц... Золотой мой месяц... Мне хорошо, я был бедняк, а вот выпил вина — богатый стал. Я старый, как в реке черный камень... Вот куплю часы... Урус часы привез... Я их куплю... Часы, часы... Гей, часы. Живые...

И он громко рассмеялся.

И зароились в его голове серебряные мысли, как те круглые, маленькие, блестящие часы, которые он видел у торговца. Их много, не пять, не десять, много. Он все их купит, все часы купит, он всем раздарит. Старой своей жене, молодой жене да дочке... Сыну, джигиту, трое часов повесит, себе целый десяток... Ха-ха... Пусть тикают, пусть вертят стрелками. Это больно хорошо... Он верблю-

ду часы подарит, он быку подарит. Пусть и бык при часах ходит... Хе-хе...

Вдруг слышит: застонала степь. Дробный топот по степи звучит, отчетливый и быстрый. То кони скачут, бьют копытом землю, гудит земля.

«Ага, свои...» — думает Юсуп.

Весело Юсупу. Огоньком вино по жилам бродит.

«Остановиться надо. Потолковать надо...»

Нагоняют. Купец. С ним люди...

— У меня, друг, часы пропали... Которые ты в руках держал...

«Пропали так пропали... Ха-ха... Эка штука. При чем же тут Юсуп?»

— Я не брал, — говорит он, улыбаясь старым своим бронзовым лицом. — Пусть аллах меня с коня толкнет, когда я над пропастью поеду. Я не брал...

Ласково торгаш отвечает:

— Да мы знаем, что не брал. Вот я с понятами еду, всех обыскиваем... Вас много в лавке было...

— Ищи, пожалуйста, ищи!

Верблюда посохом по ногам слегка ударил, опустил верблюд на колени. Юсуп слез и с готовностью подошел к купцу, раскорячивая по-пьяному ноги. Глаза черные, лучистые, открыто на купца глядят. Лицо добродушное, доверчивое, бороденка хохолком — дрожит.

— Пожалуйста, ищи. Не брал...

Стали обыскивать. Халат расстегнули... И вдруг...

— Ой, алла, алла!.. — за пазухой часы.

У киргиза глаза широкие, рот открылся, замер киргиз... И, схватившись за голову, закричал упавшим, рвущимся голосом:

— Вой-вой-вой!.. Не брал!..

Торгаш на всю степь взревел:

— Ребята, вяжи!.. В тюрьму его!

Вмиг месяц колесом по небу завертелся и упал, серебряными нитками осыпались звезды, небо почернело, всколыхнулась под ногами степь.

Бросился Юсуп на колени, скривил свой старый рот и заскулил жалобно. И не знал, не видел из-за слез, куда ползти, кого молить, где торгаш, ласковый его друг...

— Ой, не надо тюрьма... Ради бога, не делай... Ради бога... Чего хочешь проси...

Взял купец верблюда, велел пригнать на заре трех лучших игреневых жеребцов. И с честью возвратился во свояси.

III. ТАВРО

Купец Неправедный, рода крестьянского, в молодости пастухом был, из Монголии гонял хозяину овец.

— Я умный, — хвастался он, — богатым буду обязательно.

И верно. Разбогател — распыхался вскорости.

Народ говорил про него:

— У этого рука не дрогнет. Он крест сбросил, а совесть-то пяткой притоптал.

И задумал он в Кобдо ехать, там орудовать.

Приехал, лавочку открыл, руки загребущие расставил, хайло свое, рот шучий открыл широко.

Но рыба ловилась все мелкая, осетры к другим торговцам плыли, и ему стало завидно.

— Это что за дела, — как-то сказал он в Иркутске, в клубе, сидя в компании купцов, — вот кого ежели б по башке шкворнем съездить да капиталом завладеть.

Купцы возмутились:

— Негодяй!! — И немедленно спустили его с крыльца.

Почти в одно время с купцом Неправедным поселился в Монголии, в городе Кобдо, тихий монгол Раптан, торговый человек. Он старик, ему восьмой десяток идет. У него три сына, два внука. Все вместе торгуют, одним живут домом.

Раптан старик хороший, норovit по правде торговать.

Подружился он с Неправедным, в гости ходит, к себе принимает.

Неправедный тихоней прикинулся, ласково обращается с монголом и со всей его семьей. Дружба завязалась тесная.

Говорит как-то Раптан другу:

— У меня душа не на месте. Я из Китая удрал, кредиторам много должен. Как Большой Кулак бушевал в Китае, у меня три магазина разграбили. Я и удрал сюда. Вот расторговался.

Год за годом протекли, десять лет прошло. В дугу согнуло время старого монгола, плохо видеть стал, плохо слышать стал, и день и ночь богу молится, готовит себя к смерти.

А друга своего первого, русского купца Неправедного, не забывает: и у него гостит, и к себе часто зовет, угощает его, подарки делает — то коров пригонит, то бегун-

ца саврасого подарит, то пришлет купеческой жене куска два китайской чесучи.

Живет старик спокойно, прежние кредиторы потеряли его след, все пути к нему поросли бурьяном.

И вдруг напасть... Из Китая беда идет, нищету тащит за собой на веревочке.

Пришел к старому Раптану монгол и говорит:

— Ой, Раптан, берегись. Тебя ищут, тебя завтра схватят, все возьмут: чиновник в очках из Китая едет долг с тебя получать.

Раптан не сразу понял: и раз и другой переспросил гонца. А как понял, — зашатался, на пол сел, в глазах темный песок, в груди льды плывут.

— Я никому не должен. Я им был должен, трем купцам. Но у меня все разграбил Большой Кулак. Пусть с грабителей ищут, пусть с правительства требуют. Я не должен.

И мрачный, опираясь на костыль, побрел к своему другу купцу Неправедному.

Пришел и тихим, старческим голосом говорит ему:

— Вот ты умный, все законы знаешь, все порядки знаешь... Ты добрый, ты друг. Научи, что делать. Защищи.

Еще что-то сказать хотел, но запрыгали губы, пропали все слова, слезы полились. Лицо застыло, потеряло жизнь. Слезы льются из запавших черных глаз, а лицо спокойно. Голова низко опущена.

Страшно сделалось купцу, жалость большая родилась в сердце.

Говорит купец:

— А очень просто... И ни черта не получают...

Поднял старик голову:

— А как, друг?

Купец по комнате похаживал, красную бороду утюжил, что-то обдумывал.

— У тебя сколько голов скота?

— Верблюдов сто, быков две тысячи, лошадей с лишним тысяча, овцам счету нет... Забыл...

Сел купец, цепочкой играет на толстом животе, на лбу пот выступил: жарко.

— А очень просто! — крикнул он, хлопнув монгола по плечу. — Слушай! — глаза пошли искрами.

Монгол рот разинул, благоговейно руки сложил: вот мудрость божия польется из уст купца.

— Сейчас же клади на весь свой скот мое тавро, мою

мету. А на подмогу я приказчиков пошлю, к утру все оборудуют.

— Так-так... — кивает головой монгол.

— И скажешь, что скот не твой, а мой...

— Так-так...

— А сколько у тебя товару?

— Тысяч на двести серебром.

— Скажи, что и товар не твой, а мой... Я завтра для отвода глаз и в лавку твою сяду. А ты мне вексель выдай на двести тысяч серебром. Понял?.. Так чиновник и уедет несолоно хлебавши, — поговорка у нас, русских, такая есть... А я тебе все потом верну. Не сомневайся...

Старик встал, опираясь на костыль, низко-низко купцу поклонился:

— Мы тебе верим... Мы тебе верим, друг, Ван Ваныч..

Прошло два дня, томительных и длинных.

У стариков время быстро летит: день за днем, неделя за неделей, — глядь, и год прокатил.

Но эти два дня старому монголу показались вечно-стью. Душа начеку была, вся преображенная, насторожившаяся до предела: словно старик переходил по тонкой жердочке чрез пропасть, а жердочка гнется — вот-вот слетишь... Ему и по земле-то ходить горе, а тут приказано идти по тропинке зыбкой.

Жутко старику.

И началась у него новая жизнь: вышел в поле, с пастухами своими живет, свой скот, меченный новым тавром купца, караулит.

А купец в его лавке сидит, торговлю ведет, ждет китайского, в очках, чиновника. Три хозяйских Раптановых сына — вроде приказчиков, тут же в лавке, робкие, прихлопнутые горем, как капканом зайцы.

В полтретьем дне — хватя! — обломилась жердочка.

Охнул старый монгол, затрясся весь: как волк перед овцой, вырос перед ним в желтой кофте чиновник.

— Я знаю, ты — Раптан, из-под Калгана, ты торговый человек, большой должник. Ты богатый. Суд постановил взыскать с тебя долг.

Вдруг душа монгола выпрямилась, взмахнула крыльями.

Твердым голосом сказал монгол:

— Да, я Раптан, честный монгол, старик. Я был богат. Теперь я беден, как после стрижки овца.

— Что-о-о? — грозно протянул чиновник, — а это чье стадо?

— Это стадо хозяйское, русского купца. Поди, справься... Вот тавро его, иди, смотри. Весь скот его. Я служу в пастухах.

Удивился чиновник, сухие губы зло кусает, очки сорвал, опять надел, кашлянул и сердито повернулся так быстро, что шелковая коса его больнохватила старого монгола по лицу.

Потом чиновник бегал в лавку, бегал в дом к купцу Неправедному.

И ничего не получил.

Купец на славу угостил его тремя щами, тремя кашами — рисовой с маслом, рисовой кашей с миндальным молоком, рисовой кашей с черной ягодкой.

Три наливками поил самодельными, пахучими, прямо с погреба принесла сама хозяйка. Холодные наливки, а огоньком веселым окатили-обожгли китайское сердце. Китаец то плачет, то смеется. Ему жалко с русским купцом расстаться, уж очень хороший человек, жаль, жаль... Плачет китаец, разливается, очки уронил, подымать стал — упал, лопнули очки...

Купец с ним по-монгольски прекрасно говорит. Раптана ругает: «Мошенник!» — его, купца русского, тоже нагрел, старый плут. Раптан выдал вексель на двести тысяч серебром, а в лавке его и на сто тысяч товару нет.

Говорит так, вексель китаецу в нос сует, а сам смешливо кричит по-русски жене:

— Ожарь-ка, Мавра, этой образине собачью ногу... Слопает...

Так ни с чем китаец и уехал. Даже собственных очков лишился...

Месяц прошел, другой прошел, прокатился год.

Купец все время твердит Раптану:

— Ты ему не верь: он караулит. Они, китайцы, хитрые. Подкараулит, да все и отберет... Еще надо помедлить. Пока паси мое стадо, а я буду торговать...

— Это, друг, мое стадо...

— Ну, ладно, там видно будет.

Но сыновья и внуки роптать начали:

— Иди, проси купца. Теперь ничего, опасности нет. Поблагодари нашего друга, успокой, пусть о нас не заботится...

Надел старик свой новый синий шелковый халат, большие круглые очки надел, взял две ценных вазы, еще ларчик взял из слоновой кости, золотом и серебром его наполнил. Сына своего старшего захватил с собой.

Пошли.

И опять почудилось старому монголу, что он идет через пропасть по тонкой скользкой жердочке, а все небо закрыла желтая туча, и будто гром рокочет: «Как дойдет Раптан до пропасти, гряну молнией и поражу».

Говорит монгол сыну:

— Ох, что-то мне неможется. Возьми меня под руку — упаду.

Кой-как пришли.

Старик отдышался и торжественно сказал купцу:

— Вот мы хотим благодарить нашего друга. Мы принесли тебе дары. Прими от нас дары, и да сохранит тебя бог со всем твоим домом.

И старик упал вместе с сыном купцу в ноги.

Принял купец дары, сказал:

— Спасибо...

Хозяйка унесла дары и заперла в кованный большущий сундук с тремя замками.

— Теперь, друг, позволь тебе напомнить о моем векселе. Ты забыл... Но это ничего, у тебя дел много, забыть легко. Вот мы просим тебя, верни...

Взвилась-вздыбилась купеческая мохнатая душа... Вылупил купец глаза, вобрал в грудь воздуху побольше и, ткнув в дверь пальцем, гаркнул:

— Вон!! Вон!! Все мое — и скот и лавка! Вексель я протестовал... Все мое!! Вон!!

Часто-часто замигал старый монгол, торопливо попятился от своего друга, что-то хотел крикнуть, но, видно, пришел конец, взмахнул руками и грохнулся. Умер старик.

Осиротели дети и внуки Раптана.

То тот, то другой из них заходил к купцу Неправедному. Он их в дом уже не пускал, разговоры вел на крыльце.

— Мы, друг, думаем, что ты пошутил... Мы, друг, разорились. Нам нечего есть... У нас жены, дети, у нас старая мать... Пожалей.

Но купец и не думал жалеть: сердце его твердое.

Искали они правды — нет правды нигде. В суд подали — нет в судах правды, консулу чело били — правды не нашли.

Последний край пришел: целой гурьбой, все до единого, ввалилось во двор семейство старика Раптана и подняло гам, как на отлете птицы: бабы воют, плачут ребята, мужчины стоят суровые и молча ждут.

Вышел купец.

Все зараз закричали:

— У тебя камень, а не сердце. У тебя змея в груди. Ограбил. Ограбил. Ограбил... Не уйдем отсюда... Убивай!..

Купеческое сердце растаяло:

— Ну вот что, ребяташки. Мне вас жалко. Я вам работу дам... Кто помоложе, пусть мои стада пасет, жалованье положу хорошее... А вы трое будете у меня вроде возчиков: мой товар в Русь повезете.

Долго монголы плакали.

А купец в благоденствии до седых волос дожил. Денег невпроворот у него. Дела идут хорошо.

Он иногда любил похвастывать:

— У меня есть тридцать верблюдов. И ежели я все свои дела прикончу, все обменяю на серебро — дык мне на своих верблюдах этого серебра не вывезти в Русь, не упоместить... Вот как бог помог мне, царь небесный, батюшка.

IV. ЖИВЫЕ МЕШКИ

Еще недавно город Кобдо китайским был. Китайцы большую торговлю вели с монголами, большие магазины имели в Кобдо. Русские тоже торговали.

И вот между китайскими и монгольскими купцами завязалась однажды жестокая распря, войнишка началась, — чего-то не поделили торгоши: монголы стали китайцев колотить, жечь и грабить китайские товары.

Тяжелое настало для китайских купцов время.

К русским друзьям своим, к русским купцам обратились за помощью: купите наши товары за бесценок. Укройте нас.

Русские возрадовались.

Кровь рекой течет по улицам, дым клубится, раздаются вопли, гремят выстрелы — ад сошел на землю.

А русским любо. Русский купец шире расправляет свой карман, черным вороном кричит, зорко высматривает пададь.

Как-то ночью, весь в слезах, весь в страхе, прибегает к русскому купцу китаец.

Пал перед ним на колени, у ног ползает, сапоги смазные целует и не может слова сказать, языка лишился.

Купец знает, в чем дело. Купец ласковый.

Это его друг, богатый китаец Чанбо, миллионщик.

Подымает его с полу, усаживает в кресло, воды принес, папироску предложил.

— Ты что, друг?

Как грянет на улице пушка, как привскочит до потолка китайский купец, миллионщик Чанбо.

— Ой, друг... Пожалуйста, пойдём ко мне. Тебе бог поможет. Спаси, умоляю...

— Идем, — сказал купец и тяжело вздохнул.

Добрый был. Китайцы и монголы уважали его.

Истово на образа перекрестился, крикнул жене:

— Благословляй!

Молодая жена — в слезы.

— С нами бог, — сказал купец и быстро вышел с китацем Чанбо на улицу.

Жена за ними:

— Степа! Не ходи... Пусть Чанбо у нас сидит...

— Пошла к ляду, дура!.. — зло купец отвечает ей. — Торчи дома, карауль ребят... Нас не потрогают...

Чанбо по-русски немного понимает: выиграла душа его, на купца, как на святого, смотрит, в ноги ему бух, опять смазные сапоги целовать начал, купчихе кричит:

— Бабушка, бабушка!.. Пасибо...

И оба побежали дальше.

Тьма была. Только справа стояло зарево от горевшей башни. Слышались отдельные выстрелы. Издали доносились тысячеголосое галденье китайских солдат.

— Много ваших войск-то? — прошептал купец.

— Много, — тихо ответил китаец.

— А чья возьмет?

— Пожалуй, нас перережут...

Китаец тащил купца за рукав. Во тьме наткнулись они на что-то, и оба упали.

— Это наши убитые, — прошептал китаец, захныкал и запричитал. А купец перекрестился. Опять пошли. Звуки крепи. В воздухе пахло дымом, порохом.

Навстречу попалась целая стая собак. Они выли, подлаивали, щелкали зубами, грызлись, невидимыми клубками катаясь по земле.

— Входи, — сказал китаец.

Они вошли в калитку глинобитной, выходившей на улицу стены.

Фанза китайца, склады и лавки стояли в глубине огромного двора.

Вдруг китаец остановился. Остановился и купец. Замерли. Кто-то хрипит во тьме.

Китаец ухнул, завопил:

— Зарезали.... Брата зарезали...

Но нет!.. Знакомый слышится зов:

— Чанбо! Чанбо!. Иди скорей...

Бросился Чанбо своему юному брату на шею, а тот говорит цепенеющим от страха голосом:

— Двое врагов были. Мы с приказчиком отстреливались. Приказчика зарезали, ушли... Грозили вернуться. Я боюсь, Чанбо... Чу, как хрипит приказчик... Боюсь...

— Не бойся, — успокаивает купец, — при мне не имеют полного права тронуть... — Говорит так, а сам тоже не может зуб на зуб попасть.

Все трое вошли в фанзу. Огонь зажгли.

— Со мной не потрогают. Нам, русским, монголы заявили: кто боится — уходи за город. Кто не боится — сиди на месте: русским никакого худа не будет.

И не успел сказать, как шум на улице послышался, загалдели люди, близко где-то затрещали выстрелы.

— Идут!!

Заметались братья, не знают, что делать, куда укрыться.

— Полезайте на всякий случай в лавку, заройтесь в товар.

Но там одним китайцам страшно.

— Тогда айда в мешки! Мешки пустые есть?

— Есть.

Два больших мешка живо притащили, сели в них, купец прочно завязал каждый мешок и поставил в угол.

— Сидите смирно, скажу, что это мои мешки с верблюжьей шерстью. Только ни гугу. Не шевелись!..

А в сердце купца уже вступила соблазнительная алчность.

«Нет, нет...» — зло отмахивается купец.

Рев все ближе. Рядом. Отдельные выкрики ясно слышатся.

Купец выбегает с фонарем на крыльцо.

— Эй, что надо?! — кричит ворвавшимся во двор монголам.

Тех много. Факелы в руках. Возбужденные, в зверей обратившиеся, пьяные кровью, бегут шумной ватагой к крыльцу.

— Что надо?! Стой!! — нарочно по-русски кричит купец.

Бегут к крыльцу, галдят, сверкают большими ножами, ружья наготове, дубины подняты.

— Ты русский? — крикнул один из них, подбежав вплотную.

— А ты не видишь? — по-монгольски строго говорит купец. Растаял в сердце страх.

— Не видим... Темно... Где Чанбо?

— Нету.

— Врешь!

— Нет, не вру!!! — сердится купец. — Товар не смей поджигать: мой товар. Все купил я!.. Русский!.. Я!!!

Остановились.

— А то казаков кликну своих. Русских! Солдат!

— Мы тебя не тронем. Товар твой не тронем... Мы китайцев режем... У нас война... Где Чанбо с братом?..

И хлынули в дом. Купец за ними.

«Убей...» — соблазняет купца алчность.

Купец молчит, тяжело дышит... Лоб холодным потом покрылся, замирает сердце.

Толпа по закоулкам в лавке шнырит, в сундуки заглядывает, а на мешки внимания не обращает.

«Убей, убей. Все твое будет», — неотвязно мерещится купцу.

— Мое!..

Не то крик вырвался, не то зарницей мысль стегнула в ошалелой голове купца.

«Война все простит, все покроет...»

Черный свой голос, задыхаясь, подает купец:

— Чанбо нет, брата его нет. Слышите?!

Обомлевшие китайцы, едва дыша, богу молятся, русского друга прославляют и радуются последнею своею страшной радостью.

— Слышите?! Чанбо нет, брата его нет: они далеко убежали...

А сам мигнул монголам и предал китайцев твердым жестом недрогнувшей руки.

Два кривых ножа сверкнули, два ножа кровью обогрились...

Не стало братьев.

А купец?

Купец всю эту ночь, как ушли монголы, на верблюдах китайский товар к себе возил. Весь следующий день возил. Всю неделю возил.

Он молчал, ни с кем не говорил, только рукой указывал. Как кончил с товаром, пить стал.

V. ГНУС

Был купец, по прозвищу Гнус.

Лицом курносый, борода лопатой, глаза яблоками, на лоб вылезли, наглые. Корпусом толст, голосом зычен: как гаркнет в поле — лошади шарахались в стороны.

А удаль в нем степная, дикая: скакать бы ему на бешеном коне по полю, глушить бы проезжих с товарами ямщиков, чиновников, купцов.

Да так оно и было.

Ведь черт его знает! Ведь горы золота нажил человек, а любил, бывало, пошалить темной ночью с лихими киргизами, друзьями своими, побарантачить. Видно, кровь в сердце кипучая была. Подобрал себе шайку отпетых и стал с ними по горам гулять. Удали через край в Гнуса, а скупость сказочная. Несколько лавок у него. Весь округ должен ему.

Долги собирал он натурою: возьмет у калмыка телят двадцать за долг, за какие-нибудь двадцать кирпичей чаю, по рублю кирпич, да и скажет ему:

— Ты, друг, оставь телят-то у себя. Где их буду пастить, у меня земли нету.

Калмык пасет их год, и другой, и третий. А потерять или продать — не смеет: телята все купеческим, Гнуса, клеймом мечены.

На третий год посылает Гнус подручного и берет своих трехлетних быков.

А калмык по простоте душевной думает:

«Все верно, все так... Теленок был, бог растил — бык стал...»

Как-то монгол задолжал Гнусу целковый. Хорошую у него трубку купил. Монголу без трубки нельзя, как красавице без румян. Бедный, неимущий монгол.

Гнус сказал:

— Вернешь мне через год за целковый пять шкур сурка: процент на тебя накладываю.

Монгол с процентом очень хорошо знаком: монголы купцами обучены, процент вот где у них сидит, ради процента — чтоб его шайтан съел, — все они и бедные, и живут по горло в долгах, в кабале вечной.

И случилось так, что у монгола не оказалось к концу

года лишних шкур: на сторону продал, повинности справил, семью кормил в голодный год. Уплатил всего две шкуры.

— На будущий год уплатишь мне две овцы и три шкуры. Процент накладываю.

Монгол отлично понимает, что такое процент, тяжело вздохнул монгол, но делать нечего.

Вот и второй год кончается. Дела еще хуже идут. Одну овцу притащил.

— Теперь ты будешь должен мне годовалого бычка и пять овец. Теперь все дорого, доставка дорогая. Большой процент накладываю.

До пяти быков дошло дело, до пяти верблюдов. А каждый верблюд сотню рублей стоит.

И век бы сидеть в неоплатных долгах монголу, да догадался, умер. Процент сгубил молодца.

А и всего-то трубку купил, вещь малую.

Но были случаи и почернее.

Лихие молодцы киргизы. Но и Гнус охулки на руку не положит.

Завел себе весь наряд киргизский: малахай бархатный с лисьей выпушкой сделал, чатпор березовый вырезал — такую палку, с корневищем на конце, трахнешь по голове — череп, как арбуз спелый, разлетается! А конь у Гнуса — черту брат: ветер нипочем ему: что ветер! — стрелу певучую обогнать может. Гнус атаманом стал.

И никто об этом не догадывался. Только ночь темная, да широкая степь, да горы знали. Да еще те, несчастные... Но те слова не вымолвят, немую жалобу с собой уносят в землю.

Надумал Гнус караван с серебром обобратить: серебра в Монголию идет много, в слитках, серебро там ценится.

Издалека начал выслеживать Гнус, за границу проводил в Монголию. Там степь, жилья нету, кричи сколько хочешь, плачь, умолай — степь все выслушает скорбно, но защиты не даст.

Идет караван степью и не чует беды. А беда по пятам крадется, жметя у гор, серая, как серый щебень-курум.

Идет караван ходко, но и солнце не дремлет, книзу катится, вот-вот сядет на сизые хребты. Караван торопится: в степи воды мало, надо у речки ночевать, а до речки десять верст.

Как пал сумрак, говор речки послышался. И люди и лошади обрадовались: отдых.

Не успели еще коней выпрячь — вихрем налетела шайка... Арканы в ход пошли, руки ямщикам вязать начали, конвойных смяли, — много ли их, всего три человека. Один сопротивляться стал...

И быть бы злу великому, но кто-то помешал: то ли казаки из Кобдо в Кош-Агач почту везли, то ли знакомый купец ехал — гикнул Гнус, и вся его ватага умчалась в горы.

«Сорвалось», — сердито думает Гнус, губы себе в кровь искусал, коня взмылил и долго, ругаясь, грозил кулаком золотому огоньку, что робко замигал у речки.

Этим дело не кончилось. Начальство узнало, кликнуло клич.

— Ребята! Кто желает разбойников ловить? Кто хочет получить награду? Шаг вперед!

Выискалось двадцать пять казаков, двадцать пять отпетых голов. Снарядились, поехали чуть свет в путь-дорогу с казацкой песней, с бубнами. Лихо кони мчат, лихо скачут: степь ровная, с гор прохладой веет.

К горам подъехали казаки, в балку заглянули — пусто, в долину речки заглянули — нет следов, дальше поехали, песни не поются, смолкли бубны. Тихо едут, слова не проронят: как бы не спугнуть врага.

Вот и дню конец, а казаки еще и привала не делали, утомились, по сухарям соскучились; лошади похрамывают, корму просят.

Остановились на ночлег.

Гроза надвигалась. Сумрак наполнил степь, скрыл горы. Вдали безмолвно играла молния: вспыхнет там где-то за хребтами, потрепещет над вдруг всплывшими из мрака вершинами и тихо погаснет.

— Дождь будет, — сказали казаки и быстро палатки раскинули.

— Гроза идет, — сказали казаки, поужинали, чаю кирпичного напились и завалились спать.

Гроза надвигалась.

Две грозы надвигались на казаков. Светлая гроза, с молнией и ливнем. Черная гроза — Гнус, душа коварная.

Карауль, сторожевой казак, карауль!.. Черная гроза — опасная.

Сторожевой казак, Петр Байкалов, боится небесной грозы, его громом в детстве еще оглушило. Стоит Байкалов, молитву шепчет, винтовку дрожащей рукой поглаживает, собирается старшего будить. А старший злой: Байкалов и его боится, и грозы боится, не знает, как быть.

Гроза надвигается быстро, ветерок впереди нее идет, разметает степную дорогу, вольную.

Байкалов к самой палатке подошел, а войти не смеет. На небо опасливо смотрит, как бы оттуда стрелой гремучей не пустили. Небо огнем кроется, вздрагивает казак, крестится:

— Свят, свят, свят.

Гром глухо стучит и рассыпается по горам горохом.

Тьма. Ветер травой шуршит, ветер палатку треплет, стал накрапывать дождь.

Тьма густая, предательская. И ничего-то в ней не видеть, ничего-то в ней не слышать: лишь сухая трава шуршит.

Эй, смотри, казак!.. Как блеснет молния — смотри!

Товарищи храпят, пуще всех старший храпит и что-то во сне бормочет. И чует казак, две грозы идут; вторую, черную, сердцем чувствует, защемило сердце тоской...

Крестится казак:

— Господи, спаси... Чего-то чижало...

В небе молния золотой веревочкой с краю на край стегнула, засияла степь, гром ударил близко... Байкалов проворно залез в палатку и с головой шинелью закрылся.

Эх, казак, казак...

Шорохи по степи ползут, много шорохов...

То не дождь ли льет-поливает, не град ли барабанит по земле?

Нет, не дождь... Нет, не град...

Шорохи крепче, сильнее. Это смерть по равнине хлещет.

Две грозы грянули враз над казаками. Гроза огненная грохотом все заполнила... А черная гроза с лешевым гиком и посвистом мертвой лавой пронеслась: три тысячи бешеных коней во весь опор проскакали по спящим казакским телам.

Одну слякоть оставил от казаков Гнус, душа звериная.

Далеко стегнула по Алтаю Чуя, священная река! Бурлит по крутому склону, вся седая, вся косматая, яро камни точит, грозит своим гневом человеку. Стой, Чуя, стой!.. Гляди — восход стал розовым... День идет, день идет, ночь кончилась... Еще немного — и твои волны запоют иные песни и будут сказывать новые были, светлые и радостные. Да не повторится прошлое, да не затмит оно грядущего дня. Эй, останови, Чуя, гнев свой, не точи яро камни... Милости, Чуя, священная река, больше милости!

ВАНЬКА ХЛЮСТ

I

Угрюмая, необъятная, страхи таящая в себе, тайга дремала.

Где-то, за далекой горой, еще блуждал луч солнца, а тьма уже проснулась в трещинах, поползла неслышно из берлог, распласталась по влажному седому мху, нетерпеливо дожидаясь, пока погаснут жемчужные облака. Тишина была чуткая такая, выжидающая.

«Гу-гу-у... Хо-хо-хо!»

Вздрыгнула тайга, насторожилась. Но меркли вверх облака, приподнималась тьма выше, баюкала тайгу и навевала ей сны. Дремала тайга. Еще не успели окрепнуть робкие и неуверенные огоньки звезд, а тайга до краев уж захлебнулась тьмою, хлынувшей к померкшим небесам. Тайга заснула.

Кто-то ходит во тьме. Смеется тихо. Там, на пригорочке, большой костер горит. А возле него — двое.

Костер тихо потрескивает, языки пламени задорно и весело лижут тьму.

Дед Григорий — восемьдесят лет скоро — кряхтит у костра, греется: изнасилась с годами кровь, похолодела. Лицо у него грубое, с лохматой белой бородой, но в глазах блестит что-то такое хорошее, теплое — словно он открыл неведомые, простые и великие тайны. Хмурит густые брови, а на устах радость. В глазах небеса, а душа все еще по земле ползает.

Говорит дед медленно, густым и хриплым голосом, и в его рассказе всегда смешок слышится — старик веселый.

Еще у костра, притулившись к деду, сидит внук его — хороший, лет шести паренек Тимша.

Да еще две собачки: Жучка с Верным. Жучка молоденькая, как смола черная, юлит возле Верного. Верный лежит смиренно, морду на лапы положил и умными глазами смотрит в лицо деда. Когда дед весел, и пес весел, но чуть затоскует старик, вздохнет и Верный.

Тимша с белыми, в скобу подрубленными волосами, остроносенький, с живыми серыми глазенками, и когда смеется, глаза превращаются в узенькие щелки с лучистыми, как у старика, морщинками. На вид он щупленький,

бледный. Сидит съежившись, посматривая на деда, чего-то ждет. Тот гладит его большой корявой лапой по шапке и ласково говорит:

— Ох, и лютой же ты, Тимша, сказки слушать...

Мальчонка ерзает радостно и настораживается.

— А ты, дедушка, ну-ка скажи, слышь, про тигру-то...

— Хе-хе... Эвона чо... Ну — ладно, коли так...

Дед толкает в костер смоляной пень, огонь жадно набрасывается на новую пищу и стришет ее неугомонно острыми ножами своих языков.

— Дык про тигру?.. Ладно-о-о...

Дед много знает забавных рассказов, ласково-грубых, по-таежному красивых: весь свой век в тайге прожил, но сейчас нарочно медлит, посматривая сыскаса на внука, а тот весь нетерпением пышет, как струна вытянулся слухом, ждет...

— Забежала раз к нам тигра из Монголии. Это лет с пятьдесят тому, как не боле. Три волости, парнище, сбили, чтобы, значит, препону ей положить. Вот ладно. Окружили мы ее, черта, а она промеж нас так вот и сигат, так вот тебе и сигат...

— Сигат?

— У-у-у... Как молынья. Одному по рыле хвостом съездила, сразу салазки на сторону своротила... Вот, брат, кака силища... Зверюга самая душевредная...

Тимша слушает разиня рот и вытаращив глаза от удивления, а дед улыбается и хриплым басом говорит дальше.

И когда дед, увлекаясь, хватает через край, испуганное лицо Тимши вдруг покрывается смехом, и он, фырка в рукав, машет на деда рукой и вскрикивает:

— Ври-ка больше!..

Тогда дед на полуслове смолкает, зло смотрит на внука, а потом нахлобучивает ему проворно по самые уши шапку, и оба враз заливаются смехом...

В темноте, направо, то всхлипывая, то пересмехая кого-то, гуторит тихо таежная речка: хоть поздно, — давно спустился с неба сумрак, — а сон не берет ее...

И вдруг там раздалась песня... Высокий голос, весь тоска в слезы, жаловался на что-то звездам, укорял кого-то... Это Ванька Хлюст, бродяга, что вчера пристал к деду, как затерявшаяся собачонка.

Послышался хруст валежника, шорох ветвей все ближе да ближе: то Ванька Хлюст продирается сквозь заросль тайги. Вот вынырнул: не идет, а скачет торопливо,

подпираясь толстым батоном. Свет костра хлынул ему навстречу, и в трепетных лучах видно было, как Ванька, прискакивая, волочит правую ногу...

— Ну, паря, и мастерица же ты песни петь, — сказал Григорий, — за самое ты меня сердце взял...

— Это мы можем, — откликнулся Ванька, шуря от света глаза, и подал деду котелок:

— Настораживай-ка, благословясь, к огоньку: щерба знаменитая должна выйти...

Лицо у бродяги большое, корявое, ни усов, ни бороды нет, доброе, а из серых печальных глаз вдруг веселье брызнет, удаль какая-то. Расцветет ненадолго улыбка и завянет; огоньки лукавые заиграют в глазах, смехом заискрятся, но грусть вмиг погасит их и покроет лицо кручиной.

— Ну, калека ты моя, калека божия... садись-ка вот тут. Умаялся поди, сердешный?.. — участливо говорит старик.

Жучка вскочила, ластится; Верный подошел — обнюхал и, решив, что человек надежный, лег.

Ноги у Ваньки культяпые, сухие, в бродни обуты. Эх, и руки же у парня — беспальные, только на правой большой палец торчит, да и тот без ногтя. Левая рука в локте перевязана грязной тряпицей и веревкой обмотана.

— Ну, што, не легче руке-то? — спросил дед.

Ванька глядит на него, — лицо печальное, — и нехотя говорит:

— Да што... ишь отгнила совсём. Разве это рука?.. Одно звание, что рука, мешает только, одна видимость. Весь сустав в локте порешился, все головой погнило... На одних жилах, да вот еще не веревках держится. Вот разматаю сбрую-то, да как шаркну по дереву — и отлетит к чертовой матери... Ох, горе-горе...

Ванька одернул свою синюю, с белыми разводами, рубаху и почесал культяпкой длинную худую шею.

— Лет пять вот так... В Смоленском селе лег в больницу — там доктор пальцы резал мне, девять штук напроць откатил, не усыплял, ничего... Режет, а я смотрю... «Ну и крепок, говорит, крестник, — крестником меня своим назвал, — терпленья, говорит, в тебе множество». — «Отнимите, говорю, и руку-то заодно». — «Нет, говорит, рука пройдет, лежи». Лежал я, лежал, а раночка-то вся шилом ткнуть. Потом доктор говорит: «Ну, брат, крестник, рука твоя так что неизлечима... Шабаш, брат...». Я опять: «Отрежьте, Христа ради». — «Не могу, перация

трудная... Катый, как не то, в город...» Ха-ха... В го-о-род... Да нешто у нас, в тайге, до городу-то доскачешь? Чу-у-дак человек. В город!.. Пошел я прямо в тайгу. Пришел, пал на колени, реву: матушка — напитай, матушка — укрой!.. Не выдавай, тайга-кормилица, круглую сироту Хлюста Ваньку! Говорю так, а слезы ручьем-ручьем; торнул носом в мох, лежу, вою... И словно бы кто шепнул мне ласково, быдто приголубил меня. Не вижу, дедушка, а чувствую, стоит возле меня кто-то, утешает, — и башку от земли отодрать не смею. Слышу только, как в грудях радость ходуном заходила, быдто вода весной. Засиял я весь, приподнялся... Гляжу: бурундучишка стоит у кедра на задних лапках, смотрит на меня глазенками, а сам посвистывает. Захотел я тут радостно, грожу ему: ах ты такой-сякой, бурундучок ты этакий милый мой... А он смотрит на меня бисером, да знай посвистывает... Э-эх!.. И вдруг не стало во мне, дедушка, ни печали, ни чего земного прочего...

— А красно же говоришь ты, Ванюха...

— Ах, дедушка, дедушка... Ведь башка-то у меня умная, вот только досталось-то она дураку, — хы-ы... В тайге, брат, всему научишься...

— Нау-учишься... — недоверчиво кряхтит Григорий. — Где тут научишься-то, с кем?.. С медведем рази?

— И с ним... Я отец, ране-то так жил: вот забреду на займку какую, выпрошу хлебца, Христа ради, да чайку, и айда... Заберешься куда-нибудь в отдаленье, на речонку и живешь там, как воевода: морды плетешь для рыбы, песни поешь. А черт ли? Мне ране-то весело жилось, ни о чем не думалось... И разговоры разговариваешь в тайге с кем придется: человека встретишь — с человеком, белка на сучке сидит — с ней... Нет никого — с деревом: и дерево, брат, выслушать да понять может. А то с тучкой либо с месяцем. Орешь ему: эй, месяц-батюшка! Вскочишь, подопрешься костылем, машешь рукой да орешь.

Замолк Ванька, и опять тихо стало. Только костер гурторил да над прогалиной, трепетно и робко мерцая, звезды караулили ночь. К ним, к звездам далеким, вспорхнул Ванька мыслью.

Но дед тут же стащил его на землю:

— А ты бы, паря, шел к нам на займку, тебе бы бабка руку-то попользовала... Ох и знатец старуха... Мало ли есть каких средствиев. Эвона со мной случай какой произошел, слушай-ка. Была одна красивая-раскрасивая девка, постоянный двор на присках содерживала, только од-

на нога деревянная... С деревяшкой, а вольная была. Пришли как-то, в раз угадали, три мужа — ейные дружки, значит. Она видит, что с тремя-то не рассчитаться, шась в сенцы, а там на полке стряхнин стоял, волков травить, она возьми да и выпей. А я в те поры парнем был, работником жил у ней. Слышим, что-то схлопало... Прибежали, вот так раз! Лежит девка, хрипит, почернела и деревяшкой вертит.

— Вертит?

— Верти-и-ит... Страсти...

— Ха!.. Лловко, — хмуро вставил Ванька.

— Ну, ладно... А тут у нас на шестке масло разогретое коровье было, мы ей и вбьякали. Рот-то расщеперили да огромный ключище меж зубов от кладовой вставили, да и лили масло-то. Польем-польем, да подыдем на дыбы, да встряхнем... А потом на доску положили деваху-то, да в горячую печь и вбухали. И что б ты думал? Ведь ожила, шельма, оклемалась... Вишь, какие средства оказались... Вот оно што... А руку и подавно наладить можно... Кого тут!

Дед крикнул и исподлобья посмотрел на Ваньку.

— А и веселый же ты, дай бог, дед, ласковый...

— Хо-хо... Я-то?.. Я, брат, ничего, мастак на эти штуки... Артельный человек... Бывало, чего-нинабудь сколоколишь смешное, вот и смех... А где смех, там греха меньше, злобы... А вот еще со мной случай был, почище стряхнину... В аптеке я служил сторожем да заместо микстуры — просто попробовать хотел, побаловаться: сладкие другой раз бывают — взял да, не разобравши дела, серной кислоты ложку и царапнул... Дык у меня — хошь верь, хошь нет, — вот тебе Христос, вот... как у окаянного, изо рта и из носу дым повалил!..

Ванька ухмыльнулся, заерзал по земле и звонким голосом сказал:

— Ну и развеселый же у тебя, дед, характер...

II

Дед топчется у костра, хворост в огонь подбрасывает, котелок с ухой настораживает и думает: вот его, старика древнего, третьеводнись послал сын на соседнюю займку, верст за пятьдесят, — что бы самому слетать, так нет! — просил коновала добыть для жеребчика. Тимшу взял, все повадней. Сели в лодочку, да благословясь, и поплыли. А вечер, солнышко уж за лес падало — в тайге дни корот-

кие, — глядь-поглядь: человек на берегу сидит, да таково ли жалобно поет песни, и дымок возле него вьется... Подъехали. Кто таков? Человек... Вижу, что не полено... Откедова? Бродяжка, Ванька Хлюст... Возьми, говорит, дедушка, ради господина... По народу, по слову человечьему я затосковался. Суется дед у костра, думает, любовно поглядывает на бродяжку и говорит:

— Расскажи-ка, брат, сделай милость, как ты, не в огорченье будь сказано, изувечился-то?

Ванька медлил. Он снял шапку, с ожесточением единственным пальцем поскреб кудрявую голову и, вздохнув, поглядел на деда измученными глазами.

— Так сказывать?

— Сыпь, пока уха прееет... — ответил тот.

— Поморозился я лет пять тому, а всего мне будет без трех годов тридцать... Расскажу я тебе, дедушка родимый, всю жизнь. Не затоскуй только — жизнь моя не веселая...

Ванька сел удобнее, тихо кашлянул и тихо начал:

— Родился я от своих родителей: от девки да от солдата. Мамыньку сердешную схоронил ноне, а батька жив. Ну, ладно. Рос я не как все другие прочие, законные которые, а так... Сам знаешь: прибудыш, так оно прибудыш и есть, как баран шелудивый... Ну, и озорным же я парнишкой был, надо правду сказать... Первеющим пакостником меня считали, по всей округе наслыхах был. Одно слово — Ванька Хлюст! Стекла ли попу высадить, дубиной ли кого из-за угла огреть — это я... Подрастать зачал, девок стал забижать, и не то чтобы пакостно, а так, для антиресу больше: зубы стиснешь, надетишь, раз по уху! а сам заливаешься, хохочешь, словно тебе в душу-то мохнатый с хвостиком залез... И никакой во мне жалости не было к человеку.. Пуще же всех ненавидел я батьку... Ох и зверь, и аспид родитель-то мой, прямо рестант...

У Ваньки в глазах огоньки замелькали, а голос трещину дал:

— Ведь он, идол, в гроб вогнал мамыньку-то... А что мне выволочек было, мордобою этого самого, не есть числа: он и голодом-то меня морил, и на мороз-то в одной рубашонке выкидывал... Вот, погляди-кось, башка-то у меня проломана местах в трех... А мамынька-то... А мамынька... — Ванька отвернулся от деда, засопел, в землю уставился, шепчет.

— Покойна твоя головушка.. Привечный тебе покой. Руку занес, перекреститься хотел.

— Вот ишь... Ну, чем я крест положу? Кулаком, что ли? Культяпкой?

— Ему, батюшке, все единственно, — заметил дед, — хошь рукой, хошь ногой... Была бы душа настоящая...

— Душа?! — вскрикнул Ванька, — вот то-то и дело, что душа...

Тимша с собаками у костра возился: все трое катались клубком по земле. Тимша, лежа на животе, по-собачьи влаивал, а Жучка с Верным притворно урчали и, наседавая на Тимшу, старательно теребили надетую на нем мамкину кофту.

— Ну, дык чо дале-то? — обратился Григорий к Ваньке. — Карахтер-то у тебя, это верно, с загогулиной...

— Карахтер-то?.. Не озлобляй!.. Я человек не злой, я нраву веселого: ишь — ни рук, ни ног, а сердце-то у меня ласковое... Да-а.

Ванька задумался. Но вдруг на лице затеплилась радость, улыбнулся бродяга, подбодрился:

— А гармонь у меня была первый сорт; мамынька, дай бог, сгношила, да сам в пастухах жил, сколотил деньжонок, и песенник был я отменный.

Ванька окреп голосом:

— И так я, дед, на этой самой гармонии играл, что ах! Идешь, бывало, по улке с ребятами, о празднике, да как възграешь на всех переборах — эх ты но... Дуй, не стой!.. Дык не то что девки али бабы молодые — старухи-то и те из-за печек, как тараканы, выползут да к окнам прильнут, чтоб Ваньку Хлюста перед смерточкой напоследях послушать... Во как! Не веришь? Ей-бог... Господин барин как-то был у нас из Питера, анжинер, значит, насчет приисков приезжал, разведку делать... Хошь, говорит, Иван, в столицию? Знатнеющий музыкант, говорит, из тебя должен выйти... Подучить, говорит, тебя мало-мало... Пальцы-то золотые, говорит, у тебя... Цены нет твоим пальцам-то... Эхо-хо-о...

— Ну, так вот, — сказал, чуть помолчав, Ванька, — так оно и шло колесом, покедова не вырос, а как стал парнем, поступил я, отец, в ямщики на трахт... Бывало, как выедешь в ночку летнюю, да как гаркнешь: «Соколики, грабят!..» — вот и рванут — рванут тады лошаденки, дорога лугом, что скатерть гладкая: несешься — в ушах ветер поет, ничим-чего тебе не видно, словно валишься в пропасть какую... На звезды взглянешь, а они за тобой следом катятся... И была там у меня на селе зазноба, кабатчика нашего дочка — Дунюшка...

Ванька насупился, вздохнул и, ковыряя костылем землю, прошептал:

— Нет, лучше уж не ворошить... Чего тут...

Дед крикнул, боднул лохматой головой и сказал, пристально поглядев на бродягу:

— Не ты ль, Ванюха, в прошлом году у Петрована Безденежных на заимке жил? Всю зиму быдто бы?

— Я... А что?..

— Да так... Сказывал Петрован: чево-то скучал ты шибко...— и, не дождавшись ответа, добавил:— Это, брат, плохо, соколик, ежели скучать... Укрепиться надо... Мало ли чего в жисти случается... Ну, это я так, промежду прочим... Сыпь да не-то, как лапы-то ознобил, сказывай...

— А это, вишь ли, каким манером дело-то вышло. После покрова вскорости — ни зима, ни осень, а так, середка на половине, хозяин мой, ямщину содерживал, — из дому отлучился в город, один я остался. Вот ладно... Только что я приехал с трахту, заколел, как анафема, сижу, отогреваюсь в хомутецкой на печке — ночь темная, и буран зачинается, а теплынь стоит. Вдруг из земской сотский прибегает: «Живо, грит, лошадей: лешак попа принес... Поп орет, ямщика к себе требует... Да поп-от не один, слышь, а с бабой какой-то». А я знал, что у попа чередовского синпатия есть, родня не родня, а так, сбоку припека, пришей кобыле хвост — можно сказать... Ну ладно... Хошь не хочется идти, а куда деваться, — пошел... В броднях грязных прямо вверх лезу... А мне что?! Еще докладаться, да внизу ждать?.. Наплевать можно, с мужика спрос короток: пру прямо вверх... Вошел в горницу, помолился. Поп один сидит, здоровенный, красный, сурьезный, знакомый поп... Народ, признаться, не шибко же его долюбивал, не уважал... Крутой поп был, карахтерный, да и драл с живого-мертвого просто ужас-ти как...

— У попа жисть хороша, — перебил дед, — помрет — не уйдет, и родится — годится. Ххе...

— Это самое... — ухмыльнулся Ванька. — Ну, дык вот... Перекрестился это я наотмашь. «Здравия желаю, говорю, батюшка». — «Лошадей». — «Никак невозможно», — говорю. «Ах ты сукин сын». — «Никак нет, батюшка, — отвечаю вдругорядь, — я ваш сын, а не сукин, потому как вы наш отец духовный... Ежели, говорю, отец духовный такой вопрос обозначает, то чего ж родному-то отцу остается делать? Одно: взять оглоблю, да оглоблей-то по те-

мю». Слово за слово, ну, только што он меня козырнул словцом одним удивительным, вижу, дело плохо, говорю ему: «Ежели, говорю, усердие в вас такое есть, чтобы ехать, то я коней сготовлю, но без обиняков вам скажу, загинуть в пути можем за милую душу». — «Не твое дело!» — «Ну, в таком разе, я живчиком... Позвольте вас с папиросочкой поздравить». Обмяк поп, дал папиросочку, улыбается. Ладно... Пригнал я лошадей, самых отчаянных, тройку... Выходит поп в шубе енотовой, кушаком весь за-поясан, от горла да вокруг пузы,— ну, а у меня, сам зна-ешь, шебур мужичий трижды через нитку проклят, чрез две — окаянный, да верхонки¹ мокрые — вот и вся аму-ниция...

— Кругом шестнадцать,— вставил, крикнув, дед.

— Хы-ы... Вроде этого... «Отойди-кось к сторонке», — поп-от говорит... отошел я, а сам глазом этак покашива-юсь. Гляжу: поп госпожу на дно положил в кошевку, сам лег, кочмой накрылись. «Готово, кричит, садись, ямщик!» Поблагословился про себя, сел. Поехали... Ветерок дул маленький, помню, утих буран-то, а выехали за деревню, ветер крепчать зачал, и буран стал опять разгуливаться. Верст пять отбежали — вдру-уг буран кэ-эк ахнет! Как застонет все кругом. Ну, думаю, плохо мое дело. А со мной на облучке еще мужичок увязался, попечитель школы одной сельской. Тоже навроде меня одет — рыбий мех, бобровый верх — сидим, трясемся оба. Что делать? А буран все пу-ще да пуще. Словно молоком все залито, у коней — ска-жи на милость,— даже голов не видно. Снегом им все глаза залепило, они и стали. «Нн-у!..» Стоят... «Малютки, грабят!» Кэ-эк шарахнет тройка!.. Я вверх ногам, попечи-тель вверх ногам — бух на попа с попадьей оба, корячим-ся в кошевке, тпрукаем: я тпрукаю, попечитель тпрукает. А поп выставил из-под кочмы бороду да как начал меня козырять всячески. А я ему на опакишь... Он мне слово, я ему десять. Потому осерчал... Кони несут, дорога ухаб-ная, одначе я уцепился пластом, к облучку царапаюсь, а попечителя, как куль с мукой, на ухабах подбрасывает, то на голову одыбит, то пятки к бороде подворотит... Сме-хи... А буранище так вот и крутит, прямо с огня рвет, по роже снегом, как бичом хлещет, насквозь прохватывает, аж дышать нечем... Глядим — огонек. Мы туда целиной поехали было. Пропал огонь, точно его кто слопал... Ах ты господи! Ровно бы и жилью-то тут быть не надо. Сби-

¹ Верхонки — кожаные рукавицы.

лись мы совсем с дороги... А буран так разбушевался, что надо бы пуше, да некуда, ревя ревет все кругом на разные лады. Жуть... Зачали мы с попечителем дорогу искать: привяжешь вожжи к саням, да по вожже-то и ходишь во все стороны... А то, чего доброго, отойдешь сажень на десять, да и к лошадям не вернешься. Кружились, кружились — нет дороги... «Батюшка, а мы с дороги-то сбились...» — «А ты ищи... ишь ты». — «Сам поди-ко поищи: ты в енотке, а я заместо тебя под кочму-то прилягу...»

— Под кочму?.. Ххе... — подмигнул Ваньке дед.

— Дык как же?.. Знамо... Ну, ладно. Как обозначил я это, поп и замолчал. А тут, братец ты мой, стало пристывать, морозом здорово прихватывать зачало. Ну, думаем, карачун пришел, терпленья нашего не стало... Глядим — стог... Мы туда. Отгрэбли кой-как снег, сено маленько разрыли, сели за ветром. А буранище так вот и садит, знат надвигат, того гляди стог опрокинет. Я присел на корточки, замаялся... Сколь просидел так, не знаю. Гляжу: месяц восходит из-за леса, и звезды в небушке загорелись. Потом, на вот те... вдруг соловьи защелкали и таким быдто теплом повеяло от кустов зеленых да от поля. Что за притча?.. Встал, оглянулся — верно: ночка летняя, соловьи поют, свежим сеном пахнет... А буран-то где?.. А поп-то где?.. Стою, улыбаюсь... Глядь-поглядь: Дуня по лугу идет, и месяц ей по дороге светит. Кричу: «Дунюшка, желанная, ягодка моя боровая, здесь я! Иди-ко, что скажу тебе, слушай-ко, што мне приснилось-то: я быдто попа, быдто попа, быдто попа...» Не могу от радости выговорить, да хоть ты што хошь. А она, и словно бы не она, а чужая — смеется издали, машет рученькой правой да кричит милым голосом: «Вставай-ка, вставай — скорей, эй, ямщик...» И чувствую: хлоп мне кто-то по плечу: «Эй, ямщик, ехать надо...» Открыл глаза: поп стоит, лицо злое... «Ты что, заснул? Поедем-ка, ишь буран-то кончился и огоньки видать: должно Пазухино...» Гляжу: огоньки видать, и впрямь Пазухино село... А шебур-то мой колом стал на морозе, да и портки к ногам примерзли, аж с кожей отодрал, руки ноют, зашлись совсем, верхонки как железные — позамерзли... А от попа, чтоб его язвило, пар валит, рыло красное...

— Буран, слава богу, призатих, а я чувствий порешился, ничего не чувствую. Уж не помню, как и до деревни докатили... А пальцы у меня быдто палки сделались, стучат, обмерзли. Я на печку, попечитель на печку сдуру-

то... Слышу: поп хозяина кличет, за водкой его посылает. Вот ладно, принесли живчиком водку. Поп стакан себе, другой мне: «Эй, ямщик, пей...» Поблагословился, выпил. Он вдругорядь: стакан себе, стакан мне: «Пей еще». Выпил... Партоманет вынимает: «Вот тебе прогоны, а вот тебе еще два целковых, потому как ты пострадал...» — «Покорно, мол, благодарны и на этом, два рубля на чай деньги не малые, ну только что вы, батюшка, полжисти у меня отняли... Дай бог вам». — «Ничего, говорит, чадо, поправишься...» А попечитель на печке сидит, дрожит весь, его не попотчевал поп-то... Вино мне в голову вдарило, вышел я как очумелый, руки словно в кипятке ноют, быдто ножом от костей мясо сострагивают... Я хозяину рубль — тащи водки — уж очинно попечителя сделалось жалко — подал попечителю, подал хозяину, сам выпил, потому терпленья нет... Опосля того свалился, не помню чего и было... Попечитель через четыре дня богу душу отдал, а я вот вишь как обсовершенствовался... Вот те и Ванька Хлюст! Вот те и золотые пальчики... Вот так и маюсь, отец, всю жисть свою...

— Чего поделаешь, сударик... — откликнулся душевным голосом дед, — попала в колесо собака — пищит, да бежит. Так и человека жисть ущемить может, ежели. Ау, брат... От што...

Ванька вскинул на деда глаза:

— Чегой-то раздумье долеть меня начало... Сон от меня по ночам прочь бежит. Ворочаешься, ворочаешься ночью, словно медведь, с боку на бок, потом сядешь, да и думаешь... А о чем, спрашивается? О жисти да о Дюношке... Обо всем, вобщем, думаешь.

И, вздохнув, добавил:

— Жисть — штука великая, дедушка...

— Да, не малая, паренек.

— Она кому власть, а другой от нее окарачь ползет... Пришел я как-то к попу, уж когда по миру ходить, бродяжить зачал: «Здравия желаю, батюшка!» — «Ты кто таков?» — «А вот, смотрите, — сам руки искалеченные показываю, — признали?» — «Нет». — «А помните буран-то? Окажите такую божескую милость, определите меня хоть в пономари...» Повернулся поп в сердцах, вышел в другу горницу, три пятака медных вынес: «На!..» — «Да что вы, батюшка... Да на вас креста нет». — «Проваливай, проваливай со Христом... А то живо работника крикну... Эй, Яфим!..» Я тут так слезами и захлебнулся. Ну, ловко он меня... поприветствовал... Дай бог... Это за что ж, дедуш-

ка? В сердцах-то за что? Не он ли виноват в убожестве-то моем?.. А?.. Как же так не пожалеть калеку? Разве не такой же я есть человек, а?.. Разве не из одного теста?

— Из одного дерева, брат Ванька, бывают лопаты и иконы. На иконы богу молятся, а лопатой дерьмо гребут.. Так, милай, и люди, бывают разной выделки... От што... Они, брат, хозяйвы в жизни, а мы что? Так, слякоть..

— Дык ради в том есть я правда? Ну-ка скажи.

— Правда-то на небе, Ванька... А, сказывают, семь верст до небес, да и те кочедурами... От што... Стало быть, такой придел положен, чтобы по земле ползать. Отползал свое — ложись, умирай.

— Приде-е-л? — насмешливо протянул бродяга и вдруг взвился: — А ежели я не жалаю придела-то?! Что мне придел? Я сам себе придел! Вот те и придел. Вот захочу, останусь, захочу — торнусь в омут, и крышка... Ха! придел!..

Дед уставился на бродягу, подумал мину́ту, ответил:

— От жисти, брат, не уйдешь, Ванька: все равно поймает.

Ванька задумался, ничего не ответил деду... И погрезилось вдруг Ваньке, что тайга все знает и чувствует, на все может дать совет мудрый, только выслушай ее, только сумей угадать, что она шепчет.

— Ну, а Дунька-то как же, Дунька-то? — громко спросил дед.

— Что?.. — встрепенулся бродяга и лениво перевел на деда все еще затуманенные глаза...

— Дунька-то, говорю, любушка-то твоя?

— Ох, и не спрашивай... — упавшим голосом сказал Ванька. — Еще в больнице лежал, слышно было, что девка того гляди ума тряхнется. А как пришел я, беспалый-то да с костылем-то, да как увидела она меня, аж обмерла вся — на шею друг дружке бросились, да и завыли вряд страшным голосом... «Сиротиночка ты моя, говорит, сиротиночка...» А потом за нее жених стал свататься...

И Ванька едва слышно добавил:

— А она головой да в прорубь...

Хоть тихо сказал Ванька, а ему опять померещилось, что тайга учуяла и отозвалась таким же шепотом: «головой да в прорубь...» и на речке кто-то откликнулся.

— Чу! — испугался Ванька. — Слышишь, дед?

— Ничего не слышу. Ты што это?

Бродяга встал на четвереньки, прислушался и, быстро поднявшись, закултыхал к речке, подпираясь батогом.

— Эй, куда? — крикнул ему вдогонку Григорий.

Жучка в обнимку с Тимшей спит у костра, дрыгает ногами и жалобно повизгивает — сон, надо быть, видит. Дед ласково гладит пса и сам с собой тихо рассуждает:

— Нет, чевой-то не ладное с ним, с Ванюхой-то. Пра-а-во... Шибко тоскует.

III

Дед подымается, кряхтит, растирает затекшую спину и, сгорбившись, тянется к котелку:

— А, мотри, упрела уха-то.— И не своим, бабьим голосом, ухмыляясь, монотонно бубнит, как в дудку дудит: дит:

Табашники к табаку-у-у,
Пьяницы к кабаку-у-у,
Обжоры к у-у-ужину!..

Потом, вместе с проснувшимся внуком, торопливо усаживается возле котелка.

Вскоре на зов приходит и Ванька. Лицо бродяги спокойно, но что-то таится в глубине его усталых глаз.

Дед вытащил из мешка деревянную обмызганную ложку и, все тем же смешливым голосом, весело подмигнув Ваньке, сказал:

— Люди за хлеб, а я разве ослеп? Ну-ка-а раз! А ты что, Тимша, зеваешь? Имай рыбу-то... первый сорт мясо: от хвоста грудинка...

От ухи валит пар. Старик ест так, что за ушами пищит. Челюсти его работают сосредоточенно и жадно. Тимша чавкает, то и дело утирая нос рукой и чему-то радостно улыбаясь. А Ванька ест вяло, нехотя, печальный такой сидит пасмурный.

Дед, зорко покосившись на бродягу, вдруг заулыбался, положил, не торопясь, ложку, пощупал мешок, вытащил бутылку и, подняв ее выше головы, весело прохрипел:

— Ну-ка, братья, зелено,— не прокисло бы оно... Самосядочки хошь, Ванька? Хорошая штука. У нас, в тайге, старухи ее из хлеба сидят... Знаешь поди?.. На-ка, благословись стакашком...

Тот, очнувшись и вскинув на деда белые свои брови, сглотнул жадно слюну:

— Благодарим, дедушка Григорий. Мы не пьем...

— Ты кому другому это скажи,— смеясь, кричит дед.—

Не пьешь... Нешто не вижу я, как кадык-от у тебя заползал. Пей, тебе говорят!..

Ванька смущенно скребет за ухом и, круто передернув плечами, тянется дрожащими беспальными руками к самодельному берестяному стакашку:

— Ну, за ласку твою, отец! Пригрел меня, сиротину.

— Во здравие,— откликается дед.

Ванька чамкает губами, сердито сплевывает, крутит головой и говорит:

— Ух, анафема! Штука лукавая... Ране, бывало, я, действительно, завей горе веревочкой, водку эту самую довольно сурьезно сосал. Ну только теперича — аминь!..

Костер ярко пылал, тьма по сторонам клубилась, а вековые кедры — богатыри таежные — гурьбой обступили костер и, хмурясь, протягивали лапы свои к теплу и свету.

Уха подходит к концу. Дед всех удалей из котелка черпает и балагурит, стараясь распотешить компанию. Тимша смеется во все звонкое горло, то и дело расплескивая из ложки уху, но Ванька грустен.

Псы нетерпеливо топчутся, повизгивают и просительно гавкают тонкими благопристойными голосами, а дед, чавкая беззубым ртом рыбу и вкусно обсасывая кости, небылицы рассказывает:

— И как лег это, значит, я не поблагословившись, не успел еще и заснуть-то путем, глядь: чертенок, будь он проклят, скок на меня...

— Всамделишный?.. Большущий?.. — широко открыв глаза, спрашивает Тимша.

— Да как тебе сказать, не соврать: вершков этак пять, не более... Я его как сгреб в кулак, так всего, окаянного, и зажал. Только рога одни поверх кулака торчат, да темя видать... Вот ладно... И стал я кругом шарить, а сам думаю, как бы его, собаку, ошарашить по маковке-то, чем бог послал...

Босоногий Тимша, пыхтя и по-стариковски побрякивая, укрылся шубой, циркал сквозь зубы в огонь и облизывался на пекшиеся в золе кедровые шишки. Вдруг Ванька, перевалившись на бок, подполз к бутылке:

— Дед, а дед... Можно, ежели?..

— Сыпь, сыпь...

Ванька облапил бутылку, задрал вверх кудрявую голову и жадными глотками выпил все вино. Глаза его заблестели задором, а лицо сделалось бледным и злым.

Дед на Ваньку уставился с любопытством, улыбнуться хотел — улыбки не было.

Ванька про себя всхлипнул, покрутил удрученно головой и, свирепо погрозив тьме, стал, ругаясь, выкрикивать: — Эвона, моклышки-то, видишь, старик? А полено-то видишь?.. — ткнул он в мертвую руку. — Ха-ха! Понимай, брат. Чувствуй!.. А ни-и-чего-о... Слава богу, не' жалуемся, живем богато: дом о семи жердях с подъездом!

Дед не спускал с Ваньки удивленных глаз, костер оправлять начал. А Ванька, проворно поднявшись, посовался носом и, ненавистно тыкая в небо обезображенной рукой, взревел:

— Проклятые!! Мучители!! Утх-вы!! Бог-то где же?!

Дед от неожиданности чуть котелок с чаем не опрокинул, вздрогнул, выпрямился:

— Ванька, опомнись!.. Ванька, одумайся!..

Бродяга сразу смолк, словно грудь надорвал и, еле переводя дух, угловато опустился на землю.

К нему Верный подошел, смотрит в глаза, ластится. Обнюхал уродливые руки и стал ласково лизать.

Ванька тяжело вздохнул.

— Скажи мне по чистой совести, как перед истинным, скажи мне, дед, веришь ты в бога, в правду-матушку веруешь? — заговорил бродяга срывающимся голосом.

Поскреб дед в раздумье голову и, бросая в огонь валежник, не спеша ответил:

— Алтайцы — богу не молятся, у них дворы скотом ломятся. А наш русак, хоша просит вышнего, кола нет лишнего: кругом бегом... Это у нас в тайге така присказка. А я тебе, сударик, вот что скажу: бога я завсегда в сердце имею. И тебе советую. Понял?.. Вот что, мила-а-й...

Ванька мигает часто, молчит, потом медленно, точно сам с собой, говорит:

— Ну ладно... Ежели веришь, стало быть, бог есть, потворему?..

— Дурр-а-ак... За такое слово сто раз дурак... По самое это место... — цедит сквозь зубы дед.

— Ну ладно. Стало быть, есть, — заключает Ванька. — А где же он?.. Я ли ему не молился?.. Я ли не ползал перед ним на карачках? У святителя Иннокентия в Иркутском был. Ты ушутил при моих-то ногах!.. Идешь, бывало, в мороз ночью, вскинешь голову вверх, а там звезды, да месяц по небу ходит... «Господи, шепчешь, господи. Оглянись на Ваньку, пошли исцеленье. Чего тебе стоит, господи. Не дай загинуть!.. Душа моя, господи, душа опаршивела, коростой, как пес гнилой, вся покрылась...» Да ну плакать, да ну кувыркаться в землю, в снег баш-

кой... Я, брат, слезоточив, из меня слеза даже неудержимо катится. Встанешь, утрешь рыло-то, да на небо взглянешь, а там все по-старому, только месяц смотрит на тебя да ухмыляется... А грех все на душе камнем лежит...— закончил он тихо и низко опустил голову.

— Да какой у тебя грех-от? Какие у нас с тобой могут быть грехи?.. Ну-ка...

Ванька деланно захихикал и торопливо, скороговоркой пробормотал:

— У меня, дед, грехов сорок мешков. Один грех продал — всех выпустил. Разбрелись который куда: кто по кабакам, кто по дуракам, а одного вот у вас на заимке пымали... Ххе...— и, помолчав, добавил:— Поди и грехов-то никаких нет на свете... Каки таки грехи бывают, ты знаешь, дед?..

— Как какие?— встрепенулся старик и, придвинувшись вплотную к калеке, стал подгибать по очереди корявые пальцы и перечислять монотонным, как у начетчика, голосом:

— Непослушание, нерадение, паки блуд, лихоимство, гордыня — дочь дьявола, злоненавистничество, и самый смертный грех: хула на духа свята...

— Ха-ха-ха! Здо-о-рово... Расписал, как размазал... А ежели какого зловредного человека жисти решить?.. Это как?.. Грех, али как?.. По маковке ежели фомкой кокнуть, ломиком?— И в голосе Ваньки замечен был хмель.

— Дуррак... Язви те!..

— Х-х-х-ха...— хрипел бродяга...— Не любишь?.. А ежели от которого, окромя зла, никакой корысти, как от гадины, тогда как? А?..

— Как никакой корысти? Ме-ельница!..

— Ну, вот хоть от меня, на примерича. Какой прок во мне? И какой я есть человек для миру?... Я столь же миру-то нужон, как дыра в мосту... Вот и следует раздавить меня, как таракана. И я так умствую, что тому человеку-то за меня, как за паука за доброго, ежели убить меня, сорок грехов убавится. Ххы...

— Статуй этакий... Елыман, прости бог... Пей-ка чай-то, умная твоя башка со вшам. Оно лучше дело-то будет. Ошпарь-ка душеньку-то..

Чай пьют без сахару из деревянных чашек. Дед на-толкал в чашку пшеничных сухарей и, прихлебывая, говорит резонно:

— Вот смерть придет, узнаешь, каки таки грехи-то бывают. Пей-ка...

— А что мне смерть?— оживился калека.— Нешто я боюсь смерти? Да хошь сейчас!.. Нашел чем пугать Ваньку... Я, дед, в прорубь бросался — вытащили, давился в лесу — веревка лопнула... А ты — смерть!..

— Ой, Ванька... Не торопись умирать...

— А как же жить-то мне, ты подумай? Ну, куды я?..

— Жисть-то нам единова дается. Эх, Ва-а-нька...

— Ну-к чо?..

— Жалеть, мотри, будешь...

— Я, брат, дед, подохну скоро. Чую, что околеть я должен неволге: замерзну али так где окочурюсь... Что мне смерть?.. Харкнуть да растереть... Во!.. Не боюсь я ее вот ни на эстолько,— и Ванька прижал единственным пальцем кончик костыля.

— Ой, вре...— недоверчиво вставил дед.

— Вот те и вре,— передразнил калека.

— Ой, паря, вре...

— Тебе, может, жить-то хорошо... дак...

— Тому хорошо, у кого брюхо большо,— перебил дед.— А ты живи да бога благодари. Мир должен как-никак прокормить тебя. Без этого нельзя...

— А рука-то?

— Руку напрочь отнять...

— А душа-то покалечена, промерзла наскрозь?..

— Ха, душа!.. Да она, может, почище, чем у кого другого прочего... От што...

— Да ты дурак, дед, прости бог, али умный?!— крикнул Ванька и ткнул деда в грудь.— Ежели я кудрявый был, ежели я пригожий был, и девки от меня таяли?.. А теперича... На-ка вот. Ты ушутил?..

И, поднявшись во весь рост, Ванька, постукивая костылем о лежавшую возле лесину, раздельно произнес:

— Землю зря топтать ежели, в том моего согласья нет!.. Понял?..

Старик ничего не ответил, а только сказал:

— Пей-ка еще. Чаю много!

— Благодарим...

— А ты пей без сумленья... От чаю на брюхе веселей делается. От што...

У Ваньки корявое лицо укоризной покрылось, и он, опускаясь на землю, сказал:

— Брюхо тут при чем, ежели душа просится на волю...

— А ты, чтобы тебя через сапог в пятку язвило... Он опять свое... Ххе!..— запавшие, вдавленные временем глаза старика грустно улыбнулись.— Как же я-то? Ведь во мне

полторы жисти сидит, а я бы еще три прожил... Че-ортушка, прости бог, этакий... Право!

И чтоб потешить загрустившего Ваньку, он вынул из-за пазухи табакерку и, опять не своим, смешливым голосом, разыграл штучку:

— К голому голяку, к бедному бедняку, к нашему деду Масалову понюхать табачку носового. А для чего же табак нюхать? На гору одышка не берет, под гору спотычка не живет... Ну-ка ра-аз!..—и подморгнул дремавшему Тимше. Понюхал, крикнул громко, по-цыгански:— Ка-хы!..—и сам себе ответил:— Кто крикнет, тому два!..

— Ну и ласковый же карактер у тебя, дед,— чуть ухмыльнулся Ванька.

Дед улыбается, кутает Тимшу в шубу.

— Спи, благословясь...

Тимшу сон не берет: ему хочется послушать, что говорят большие. Но те молчат, и Тимша заводит сам разговор с дедом.

— А смертынька, дедушка, по земле ходит?..— И, не получив ответа, продолжает:

— Это пошто ж она, скажи на милость, ходит-то?..

— А вот по то, что тебя не спросила... По этому самому...

Дед опять набивает обе ноздри табаком, чихает свирело, с присвистом, и приговаривает:

— Чи-хи... Неумытому в рыло!..

— Неумытый-то кто, дедушка, черт?..

— А вот дрыхни, тогда и узнаешь кто...

— Нет, впра-авду?

— А вот вправду и есть...

Становилось холодно: туман пополз от речки седыми лохмами. Норовил он, цепляясь за стволы деревьев и кусты боярки, подняться ввысь, но таежный сумрак давил его к земле. Справа, над речкой, в прогалинке, серебрился месяц, и его тихий голубой свет встал и расплескался над обътой мраком тайгой.

Костер меркнет. Старик нехотя подымается, бросает смолье и укладывается спать. Бродяга, свернувшись калачиком, лежит молча, должно быть спит. Возле него Верный.

Тимша пыхтит под шубой, с Жучкой возится, а потом, высунув голову, говорит деду:

— Анадьсь я обортня на заимке видел в парнишками... Здоро-ве-енный...

— Что и говорить...

— Нет, вправду... Кобелем борзым прикинулся... Матеру-у-ушший...

— С тобой-то слово,— подсмеивается над внуком дед, сладко позевывая.

Тот обиженно сглатывает, глазенки блестят огнем, и он рассказывает дальше, стараясь придать голосу вес:

— Я схватил кость аграма-а-аднищую, да кэ-эк этим костем-то звездану́ кобеля-то по роже!..

— Ври-ври...

— Вот-то и ври-ври...— Тимша вылез из-под шубы, лицо его вытянулось страхом, и он, сам себя пугаясь, прохрипел: — Дык кобель-от так весь тут тебе и рассы-ыпался. Аж искрушки полетели!..

Когда старик загремел густым смехом, Тимша, смутившись, виновато улыбнулся и юркнул под шубу...

— Вот как выволоку тебя за волосья,— сказал, хихикая, дед,— да спущу штаны... Эвона чо городит... Баран этакий!

Дед вскоре начинает с присвистом всхрапывать, и мальчонка, надрожавшись досыта под шубой, тоже крепко засыпает.

IV

...Костер погас. Ушел с неба месяц. Передвинулись звезды. Неприглядным мраком охватило тайгу. Стоит тайга, не шелохнется, спит. Самое глухое время наступило: без звуков и шорохов, словно вместе с месяцем исчезла вся жизнь.

— Господи, батюшка...— послышалось еле внятно.

Это Ванька шепчет. Возится во тьме, всхлипывает. Молчит.

— Дед, а дедушка. Спишь?..

Не слышит, намаялся, спит старик крепко.

— Ох, батюшки мои, батюшки... Что ж это будет... А?..

Слышно — ползет к деду:

— Где ты тут? Проснись-ко, Григорий... Эй!

— Кто тут? Ты, Тимша?

— Нет, я, дедушка...

— Ты, Ванька?..

— Я... Я... Страх на меня навалился, дед! Порешу я свою жисть!— в голосе его большие дрожат слезы.

— Ну, не паршивец ли ты?..— зло и укоризненно шепчет дед,— ну, не озорной ли ты малый?.. Чтоб на себя руки наложить? Тьфу? Удди от меня к ляду, дьявол этакий!..

Молчание. Опять тьма поглотила звуки.

— Дык чижалехонько ведь... Сам не рад поди... Душа во мне запищала... Ау, брат... Сумленье к самому сердцу подкатилось. Гложет, окаянное, как собака кость, дыхнуть не дает. Хошь стой, хошь падай... Прямо край!

Дед молчит. Неужели спать хочет? Нет. К его сердцу жалость вдруг прихлынула, кровью облилось его старое, изжившееся сердце.

— Ну, скажи на милость... по чистой совести,— шепчет бродяга.— Ну, кому нужен я? Каков теперича прок от меня? одна помеха...

— Как кому? Себе нужен.

— И себе не нужен,— еще тише шепчет.— Жил я, радовался всему на свете, а люди меня в яму сбросили... Ослеп я там, руки-ноги поломал, и нутро у меня порешилось. Ну, куды я должен? А из ямы мне не вылезти, а смерть забыла про меня—нейдет... Как тут? И еще раз тебя, отец, упреждаю, попомни: зря топтать землю—в том моего согласия нет!..

— Терпи. Значит, терпи, парнище... От што...

— Терпи... А ежели и терпелка-то спортилась, ржой покрылась... Тады как?

Молчит старик, что сказать — не знает.

— Вот видишь?.. молчишь, дед... Я бы давно ушел, да тайга держит: живи, говорит...— задумчиво вымолвил бродяга и, шевельнувшись, крикнул с угрозой: — А уйду-таки!.. Нет, дедушка, я уйду... Как хошь, брат...

Тот все еще молчит, не может с мыслями собраться.

— Нет, нет, уйду... Уйду-уйду... Как хошь...

Тогда дед все таким же отечески-раздраженным, чуть насмешливым, чуть укоризненным голосом сказал:

— Ты еще молод, сударик. Жисти не знаешь... Тебя еще жареный петух в брюхо не клевал... От што-о-о...

— Боюсь я ее, окаянной!.. Смерти этой самой!..

— А как же ты даве...— обрадовался дед.

— Зря тогда молол, похвалялся. А теперича... Веришь ли, дедушка Григорий, как и расставаться с жистью-то?.. Неужели ты не боишься?..

Дед зеваёт, бормочет молитву и, не торопясь, чеканя каждое слово, говорит:

— А чего ее бояться-то?.. Бедному, брат Ванька, умереть легко: стоит только прищуриться... От што-о-о... Сама придет, никуда, брат, не денешься... А ты не кликай ее... Грех... От што-о-о...

И минута и другая проходит. Оба молчат... Только

Тимша тоненько во сне хохочет под шубой да вдали уха-ет филин.

Дед чиркает спичку и разжигает костер. Тени торопливо пляшут спросонья, наскокивая гурьбой на что пошло, и под их полусонной пляской горбатый нос деда начинает трястись, лицо то становится огромным и плоским, как лопата, то собирается в клубок и пышет хохотом, то отливается в страшную рожу с перекосившимся в страхе, сумасшедшим взглядом.

Ванька согнулся в дугу, словно лесиной пристукнуло— сидит неподвижно, низко понуря голову... Жив ли? Ярко вспыхнул костер, но нет в огне силы, стал потухать.

Дед укладывается, крестит размашисто вокруг себя тьму и охает.

Ванька молчит, только плечи вдруг ходуном заходили и затряслась голова. И из его груди прорываются робко придушенные вздохи и всхлипыванья.

— Ты чо это, Ванька?— тревожно бросает дед.

Тот борется с собой, но, видно, совладать не может, начинает, уже не сдерживаясь, выть чужим голосом, сплевывая сердито и ляская по-волчьи зубами.

Костер гаснет, вверху ветер начинается, и под легкий шелест тайги Ванька надрывается звериным хриплым воем.

— Ванька!..— кричит дед.

— Ууу... Ууууу...

Ветер все пуще, зашептала тайга, всполошилась. Сумасшедший вой, навевая ужас, будоражил тьму, до боли сверлил сердце деда, наполнял неизъяснимым страхом все кругом.

— Да ты ошалел!!!— кричит испуганно дед,— что ты, черт, как лесовик!.. Аж жуть берет!..

Бродяга смолк, до крови закусил губы.

А тайга брызжит, вершинами машет, спорит о чем-то с ветром.

Ветер, злясь, треплет встречные деревья и спешит дальше, вглубь, будит тайгу. Шумит тайга, шумит. Капля за каплей падает дождь.

— Григорий...— помедля немного, позвал Ванька решительным голосом.

— Ну, что, родимый?— учуяв что-то, отвечает ласково дед,— ты подь-ка поближе сюда... А то ишь тайга-то ма-тушка гуторит... От так... Ну-ка...

И во тьме чуть слышно:

— Покаяться я тебе должен, как перед богом... Вид-

но, капут пришел мне... Не совладать.. Ау, брат!.. Жила во мне у сердца лопнула...

Помолчал. Вздохнул. И дед вздохнул.

— Попа-то... Помнишь?.. Ведь я спалил... Я... А ты как думал?

— Ни-и-чего...— еще ласковой отвечал дед,— ох, мила-а-й... Так ему и надо, крохобору.

— Дунюшку-то... Дунюшку-то ведь... я... порешил..

— Нно-о-о?

— Я... Я... Не досталась, чтоб... Уманил я ее к речке, да в прорубь... Ву-у-у!.. Ухухууу...

И сквозь вой слышен строгий, властный окрик деда:

— Ах ты, проклятая твоя душа!.. Варнак ты!.. Варначище, язви те!..

— Про-сти-и... Христом прошу...

— Прочь удди!!

— А ты пожалей, слышь, дедушка...

— Пожалеть? Вон я тебя пожалею, жиган ты этакий! Вот ужо. Душегуб проклятый...

Ванька скачет прочь от деда, как от журавля лягушка...

— И ты?! И ты, дед?! С попом вместях?!

Ветер ураганом взвился по тайге, обрывая шелковые хвои. Угольки в костре вспыхнули и зарницей на миг осветили поляну. Тайга заревела, затрещала вершинами. Дерево где-то ухнуло во тьме и с треском и стоном упало на землю.

Дождь тихо идет. Ураган умчался, лишь ветер робко блуждал меж хвой тайги.

Калека съежился в клубок, лежит на боку, к сосне привалившись, и зубы его от волнения лихорадочно стучат. Чувствует Ванька, что нечем дышать становится: тоска душит, змеей подкатилась к горлу. Лежит, думает, глаза открыты. И не может понять, то ли наяву мерещится, то ли во сне видит жизнь свою, да не ту, что тучей надвинулась, камнем повисла на шее, а новую, светлую и радостную, которая в удел бы досталась Ваньке, не случись с ним греха. Вон он сильный, кровь бушует в жилах, на щеках румянец играет. Тройку каурых, своих собственных коней, закладывает в наборчатую сбрую, кореннику шаркунцы серебряные подвязывает. Возле него карапуз топчется: «Тятенька, бормочет, тятенька...» Дуня вышла, румяная такая, дородная. Подошла, обняла Ваньку, в глаза, усмехаячись, заглядывает и умильным голосом шепчет: «Соколик мой... Боровая моя ягодка».

Лежит Ванька. Спать не спит — глаза открыты.

— Ванька, — любовно окликает дед.

— Ну?..

— Ты меня, Ванька, в слезы вогнал...

Бродяга засопел, что-то сказать силится, но уста молчали.

Дед кряхтит, ворочается с боку на бок:

— Ты... не убивец, Ванька... Я чую это... И пошто ты, например, таку неправду на себя примал?

Ванька Хлюст точно тьму рубит:

— Душа требует.

— Как так душа? Бог простит, брат. Он все простит. Все грехи твои на 'обидчиков переложит. Чуешь?.. А я приют тебе предоставлю к зиме... От што... Страданья твои не малые. Он, брат, все видит. От што, мила-а-й... Не робей... От што... Жить у меня будешь в тепле.

Ванька, повалившись на грудь и обхватив голову руками, скулит, как малый ребенок, и не может от волнения понять, что говорит дед.

— Слышишь?..

А тот все скулит и ничего не отвечает.

Уснул дед и уже бредит во сне.

Стонет в болоте выпь, точно тупым ножом по стеклу скоблит, небо плачет, возвращая земле ее слезы, тайга шумит — и чуть внятно всхлипывает Ванька.

Потом все умолкает...

Час проходит. Другой проходит. Нагулялся ветер, поздний гость, пал устало на дно тайги. И снова стоят в вышине и тихо мерцают омытые слезами звезды.

Но, чу!.. Застонал Ванька, заметался... Знать, страх подполз к его изголовью и отогнал прочь таежные сны.

...Темно. Костер погас, в пепел рассыпался. Тихо. Слово смерть вошла сюда, и погасила свет, и смела все звуки.

...Верный гавкнул спросонья и залился тревожным лаем. Побежал куда-то, ворчит, мечется, поблескивая в темноте угольками глаз. Потом завыл... таким протяжным, тонким, со слезами, голосом.

В тайге еще темно было, а небо уж начало бледнеть, и потянуло сырым холодом. Ночь кончалась.

— Ванюха! Ванюха-а!.. — крикнул пробудившийся дед.

Но никто не ответил.

КОЛДОВСКОЙ ЦВЕТОК

I

Дедушка Изот — настоящий таежный охотник, медвежатник. Вдоль и поперек на тысячу верст тайгу исходил: белковать ли, медведей ли бить — первый мастак. А соболю попадет — срежет за милую душу и соболя. И чего-чего он только не видал в тайге:

— Ты думаешь, эту просеку люди вели? Нет... Это ураган саданул, ишь какую широкую дорогу сделал... А меня, парень, почитай на сотню сажен отмахнуло вихрем-то, сколь без памяти лежал. А молодой еще тогда был, самосильный...

Изот и леших сколько раз в тайге видал:

— Он хозяин здесь... Только что хрещеному человеку он не душевреден... Иду как-то я с Лыской, а, он падло, нагнул рябину, да и жрет прямо ртом...

Он и тунгусов, и шаманов их, самых страшных, самых могучих, видывал:

— Тунгусов здесь, в тайге, много. Ух, и шаманы же у них в старину были: посмотришь на него раз, умирать будешь, и то вспомянешь...

Бродить мне по тайге с Изотом весело. Заговорит-заговорит — знай слушай.

Да и тайга зимой красоты небывалой. Вся опушенная белым снегом, густая и непролазная, она кажется какой-то замороженной сказкой, каким-то волшебным полусном.

Мы с дедом еле тащим ноги, направляясь на ярко-золотой отблеск вечерней зари.

Жучка, высунув язык, черным пятном ныряет по сугробам и устало твякает, когда упавшая с сосны шишка обнаружит притаившегося на вершине зверька.

До нашего зимовья, крохотной лачуги, добрых версты две. Сумрак все настойчивей выползает из берлог и падей, заря гаснет, в небе одна за другой вспыхивают звезды.

— Ну-ка, паря, приналяжем, — крихтит дед и надбавляет шагу.

А вот и зимовье. Маленькое, пять шагов в длину, пять в ширину, наскоро срубленное и кой-как протыканное мхом, оно нам с дедом милее каменных палат.

Жучка хозяйственно обежала избушку и, полаяв на все четыре стороны, первая шмыгнула в полуоткрытую дверь.

Лишь только запылали в каменке лиственничные дрова, мы с дедом повалились на холодный земляной пол и, посматривая на веселый огонек, плакали от едкого дыма, сразу наполнившего всю избенку.

— Дед, открой, пожалуйста, дверь.

— Пошто... Этак, брат, нам и хаты не согреть. Уткнись, коли так, рылом-то в шубу... Он чичас к потолку подыметя... От та-а-к...

Дед подбросил еще охапку мелко наколотых дров, огонь заболтал о чем-то, затараторил по-своему, и воздух стал быстро нагреваться.

— Ну, садись,—скомандовал дед раскатистым своим басом,— а я дыру открою, надо дым на волю выпустить.— И, весь окутанный облаками дыма, полез на нары, чтоб открыть под самым потолком задвинутую доской продушину.

Через полчаса мы, усевшись на разбросанные по земле хвой, пили с ржаными сухарями чай, а над нашими головами колеблющимся голубоватым пологом плавал дым.

— Да-а-а...— тянет дед, настораживая к костру котелок с оленьим мясом,— ты говоришь, тайга... Тайга, брат, охо-хо-о-о-о... И народ в ней другой, особый— прямо тебе скажу, дикий народ.

Дед стоит у костра вдвое перегнувшись и, опаски ради, придерживает левой рукой огромную свою сивую бородину.

— Да и вправду молвить — ну кто округ нас есть живой! Медведь да тунгус — вот и весь свет... Куда ни кинься — тайга... Лес, лес да дыра в небо. И никакой к нам пути-дороги... А все ж таки...

Дед набил трубку, вытащил из костра головешку, закурил.

— А и промеж нас иным часом бывает... Нет-нет да и... Тьфу! чтоб те пятнало, окаянного! — вдруг плюнул дед,— гляди, как дыру прожег,— и, зажав дымящийся нодол рубахи, принялся сердито ворошить палкой прогоревшие дрова.

— Что же промеж вас бывает-то?

— А как тебе сказать... Ну, быдто сумленье в голову вступит, куда-то поманит человека, душа вроде как скулить начнет... Вот взвился бы птицей да улетел бы к самому небушку... Да-а-а... А то тайга, тайга, никакого

тебе вздыху нет... Скушно... Да вот погоди ужю, я те расскажу, какой случай мог произойти с одним человеком, прямо будем говорить, с моим родителем.

Пужинав и разомлев в тепле, мы стали свежевать с дедом белок: обдирали с них пушистые шкурки и связывали их, хвостами вместе, по двенадцати штук в бунты.

Жучка, нажравшись до отвала белок, подседа к огоньку и вскоре, подремывая, стала клевать своим острым носом.

Дед притащил еще охапку дров и сказал:

— Ну, паря, давай укладываться спать.

— А случай-то?..

— А ты ложись, знай: ночь долгая... Поди намаялся день-то деньской...

III

Мы лежали с дедушкой Изотом на прикрытых оленьими шкурами хвоях. Костер в углу на каменке ярко горит.

Черные, покрытые густой сажей потолок и стены тихо колышутся в лучах костра, а за крохотным, над скамьей, оконцем, сквозь вставленную прозрачную льдинку мерещится голубая таежная ночь.

Дед укрылся шубой, а голые ноги подставил близехонько к костру.

— Ну, вот теперича, коли так, слушай...

Покряхтел, поскреб обеими руками лохматую голову, сладко зевнул и старательно закрестил рот.

— Ну, дак вот, я и говорю. На моих памятях это дело-то приключилось, а я втапору мальцом был. Да. И вдруг, братец ты мой, стали мы с матерью замечать, что с тятей что-то неладное доспелось, чего-то тосковать тятя начал. А жили мы, надо тебя предупредить, справно. Сядет, бывало, тетя под окошко, подшибется рукой, да и сидит, как статуя, молча. «Ты чегой-то, Терентий?» — мамынька окликнет. «Так, ничего». Мамынька на реку сбегает, баню протопит, придет, а он все еще подшибившись сидит. «Да ты бы хоть поел, на-ка шербы покушай». — «Нет, не надо». — «Не брюхо ли у тебя схватило?» А отец этак срыву ответит: «Вот тут у меня болит... вот тут, понимаешь?» А сам по сердцу ладонью стучает. «Ну-к иди, не то, в баньку, похвошись». — «Дура!» — крикнет отец, вскочит, сорвет с гвоздя картуз да марш вон. А мамынька — выть. Уж ночью придет батя, к пету-

хам почитай. Вот день, вот другой, вот третий... Батя сам не в себе. Потом оклемается — опять за работу... Недели две так продюжит, а тут опять к нему лихо причепится. Ах ты, господи! А то пить учнет. И пьет, и пьет, фу ты, пропасть! Так вот и маялся. «Да с чего это с тобой Терентий, сделалось?» — мамынька спросит. «Тоскливо мне... Тоска... Понимаешь, тоска...» — а у самого слезы. «Дык, дай я тебя натру, благословясь, сорокапритошником, от сорока приток, сорока болезней способствует». — «Молчи, дура, баба», — и весь сказ. И вот, братец ты мой, теперича, слушай, какая оказия стряслась. Спишь, нет?

— Я слушаю.

— То-то: Ну вот... Заходит к нам в этако-то время бродяжка, так мозгляк какой-то ночевать просится. Ну что ж, ночевать так ночевать, места не жалко. Накормили его, значит, напоили. «Откуда бог несет?» — «По хрещеным хожу, питаюсь. А вот, говорит, верстах в десяти от вас — чудо». — «Какое чудо?!» — отец обрадовался. «Да, говорит, по Нижней Тунгуске из Енисейска-города на Лену в каторгу преступников в лодке бечевою тянут, а среди них, говорит, знаменитый разбойник Горкин с любовницей». — «А чем же он знаменитый?» — «Да его, говорит, никакие цепи, никакие остроги не держат... Слово такое знает, сколь раз убегал... Сам убежит, да еще человек с двадцать уведет с собою». У тятки и глаза загорелись, аж задрожал весь. «Изот! — кричит мне тятя. — Оболакайся живчиком, пойдем глядеть». Ну, одначе, мамынька умолила тятю, — не потрогал меня, один ушел. Вот ждуть мы тятеньку, ждуть — нету. Опосля того, этак через неделю времени, и бряк в окно: «Эй, отворитесь-ка». А ночь была глухая. «Ну, говорит, Акулина, вот чудо, дак чудо видал я», — и начал нам, значит, по порядку, что и как. До самого утра я разиня рот слушал.

«Вот прихожу, говорит, я на Еремкину Луку, а там действительно костер горит, возле костра люди. А туман такой стоял, что страсть. Поприветствовал я, говорит, народ. Гляжу — все чужие. И вижу, у костра сидит женщина, красным платочком повязана. Как уперлась она в меня глазищами, я так назад и подался. «Чего, говорит, испужался», — а сама возьми да улыбнись. Ну, такой женщины сроду, говорит, не видал, ну до чего у ней, говорит, глаза удивительные, как стрелой разит, вот как. Ну, из себя тоже шибко хороша. Да. «А главная-то рыбина в лодке, в шитике», — говорят мне. Я туда. Сидит мужичище, вроде цыгана, нос горбатый, борода черная, цепя-

ми весь окован. Как взглянул я на него, сробел, жуть на меня напала, плюнул я,—век, мол, тебя не видеть. Вот начал народ суетиться у лодок, время плыть, коней начали в постромки вчаливать. А женщина встала, отряхнулась, бровью повела,—ну, прямо королева.—«Дозвольте мне, говорит, на эту гору подняться. Лодку я догоню». А река тут быстро бежит, лодку супротив воды тянуть трудно, лодка огромная—шитик. Старший ей говорит: «Ну, ладно, иди, никуда ты в тайге не скроешься». Вдруг улынулась женщина, подобрала юбочку да айда на гору, а шитик тем временем с разбойником вверх повели. А я стою,—говорит мой родитель, покойна головушка,—дожидаюсь ее, прямо ну вот, скажи на милость, все бы на нее глядел, ну прямо околдовала, дьявол. Долго ли, коротко ли, говорит, ждал, ну только гляжу: спускается с горы, маячит сквозь туман, сама в веселых мыслях и какой-то цветок в руке держит, травинку. «Вот, говорит, мужичок: сколь времени я такой цветок искала, нигде не могла найти, опричь этого места. Беги, говорит, мужичок, к лодке, а я с этим цветком под водой пойду, я вас наздогоню». И не успела, батюшка ты мой, вымолвить, подбежала к крутому берегу да чебурах в воду, только гул пошел. Я — ай-ай! караул! — да ну по кустам вдоль берега тесать, быдто заяц... А туман страшный; сколь разов, говорит, я под берег кубарем летал. Ну, койкак догонил шитик. «Стой, кричу, стой! Женщина утопла!» Шитик к берегу, я вскочил, говорит, туда, начал все чередом обсказывать, так, мол, и так, и вдруг в это самое времечко как взыграет вода под кормой, как вынырнет наша красавица-то: «Ну, вот и я!» — а сама сухохонька, быдто и в воде не бывала. Мы все так и осатанели. Шапчонки сдернули, окстились. А она улыбается.

Туман того гуще стал, все как в молоке, вся округа. Народ перепугался, шепотком разговоры ведут, боятся, как бы она, колдовка-то, какого худа не сделала: как махнет цветком, да оборотит всех медведями али гадиной какой. А она, братец ты мой, ровно бы угадала. «Вы меня не пужайтесь!»

Ну, мы ничего, оправились».

Мой родитель с неделю с ними плавал, она еще разов пяток таким же побытом под водой ходила. Да...

Ну, теперича, паря, давай курнем.

Накурившись властью, дед приподнялся, задвинул дымовую продушину, огладил Жучку и снова лег.

— Ну, дак вот, парень... На чем бишь я остановился-то... Да-а-а... Этово, как ево... Да-а-а...

Наконец, собравшись с мыслями, дед начал:

— И с этого самого времени родитель мой, покойна головушка, в отделку загрустил, окончательно умом тряхнулся. Самое лето наступило, пора сенокосная, тут только давай-давай. А он как-то утречком: «Ну, прощай, баба... прощай, сынок... А я пойду...»—«Куда ты, что ты?..»—«Пойду счастье пытаться».—«Очнись, одумайся...» А он свое. Так, братец ты мой, и скрылся. Плакали мы с мамынькой, плакали, как быть, куда деваться? Объявили миру, стали у мира помочи просить. Вот всей деревней с неделю по тайге шарились, да разве сыщешь: тайга энво какая, конца-краю ей нет...

А тут пошел это я с ружьишком линных уток пострелять по Ереме-реке. Вот, братец ты мой, подхожу это я к берегу, слышу: схлопало что-то по воде. Я испужался: схоронился за сосну, высматриваю. Опосля гляжу: человек посередь реки вынырнул да к берегу по саженкам чешет. Глядеть, глядеть—господи, царь небесный, да ведь это тятя. Я к нему. «Тятенька, кричу, тятенька!» Подбежал, повис у него на шее да ну реветь в голос: «Ты что же, тятенька, задумал?»—«А я, сынок, цветки пытаю всякие... Мне колдовской цветок обязательно надо сыскать... Пойдем-ка». И повел меня в кусты. Шалашик у него там сделан, а кусты густущие, век не найти бы.. Возле шалаша на козлиных жердочка строганая, а на ней всякие нанизаны травы. «Вот эти все перепробовал, в них силы нету настоящей».—«Тятенька, мамынька меня за тобой послала... Пойдем».—«Обожди, сынок. Айда к речке!» Вот повел меня к берегу. Разулся опять, разболокся, взял из кучки один цветок белый, зажал в горсть, разбежался да бултых в воду, на самое дно. Ну, я стою разиня рот, дивлюсь. Опять тятя нырк наверх посередь речки, фырчит, отдувается, аж захлебался весь. «Не тот, кричит, не тот!.. Дай-кось синенький». Да так до самого вечера и нырлял все с разными цветками.

Ну, иначе, сговорил я его. Пошли мы с ним домой. Как вошли в тайгу, сели под елочку, я ему говорю: «Зачем же тебе, тятя, такой цветок?» Он похлопал это меня по плечу, вот как сейчас помню, да таково ли ласково

вымолвил: «Ах, сынок, сынок... Еще молодой ты, чего знаешь... Скушно человеку, сынок... Вот как скушно... Ты слышал, говорит, сказку, как Иван, царской сын золотых кудрей, на колдовском коне за тридевять земель ездил, али про жар-птицу, али про ковер-самолет?.. Вот то-то и есть, сынок! Да кабы мне такой цветок-то колдовской найти... Ха! Да я бы сквозь все земли прошел, я бы все небушко, надзвездное вольной птахой выпорхал... Ух ты, господи!..» Обнял он меня, да таково ли страшно задышал... Я уставился на тятю, а у него слезы так ручьем и хлещут...

Дед пофыркал носом и незаметно смахнул набежавшую слезу. Под нарами тихо взлаивала во сне Жучка. А в костре попискивали, о чем-то шептались золотые угольки.

— Ну, как ты думаешь, чем же вся эта побывальщина окончилась? — спросил дед, повернувшись на бок, ко мне лицом.

— Не знаю.

— А кончилась она так, милый... Вернулся отец и все нам с мамынькой по хозяйству справил. Вперед всех с поля убрались. Да. И вот в позднюю пору, уже когда деревья начали призадумываться, а в лесу красный лист обозначился, опять тоска к отцу подкатилась. Он мамыньке, царство ей небесное, ни гугу, а все со мной больше разговор имел. Как-то раз и говорит: «Я теперича, Изот, по-другому надумал цветы пытаться». Не прошло и трех дней, хватъ-похватъ, тяткин и след простыл. Ну, тут опять и началось у нас с мамынькой. Она и к попу-то ездила, и знахарок-то выпытывала, и шамана от тунгусов примала, — нет. Прямо как канул.

Уж ко здвижению дело подходило, на хребты снег пал. Сидим мы как-то с матерью, сумерничаем... Приходит в избу сусед наш Онисим. Покрестился на святы, — «здорово, говорит, живете», — а сам топчется. У нас с матерью так сердце и захолонуло. «Ох, не с добром ты, я вижу, Онисим», — мамынька молвила, а он: «Так что Терентий ваш нашелся». — «Где?!» — «Известно, в тайге». — «Ну!» — «Зверь его, видно, зашиб, медведь». Матерь моя так с лавки и покотилась. А он: «Ехали мы, говорит, из кедровника, с орехов, глядим — что за оказия! — из-под хворосту ноги торчат. Раскидали хворост, а там Терентий вниз лицом лежит, а в горстке у него цветок желтенький зажат быдто».

Дед, помолчав, прибавил:

— Вот те и все. И весь сказ мой. Вот я и мекаю: однако он, родитель-то мой, покойна головушка, медведя цветком-то покорить хотел да в поднебесье лететь на нем, навроде сивки-бурки... А?

Дед замолк и долго лежал, тяжело вздыхая. Костер прогорал, в зимовье стоял колеблющийся сумрак, а голубой сноп, лившийся через ледяное оконце, нащупывал что-то под нарами, шарил в темном углу, кого-то выслеживая и карауля.

Возле зимовья вдруг послышался скрип снега, будто грузный человек взад-вперед ходит, и тихий, надвигающийся из тайги разговор. Жучка, заблестев глазами, сторожко подняла голову и, потянув ноздрями воздух, октависто заворчала,

— Дедушка, чуешь?

— Стой-ко, ужо...

Мы приподнялись, сидим, опершись руками в землю, и чутко прислушиваемся. Да, голоса... Говорят медленно, тихим распевом, много голосов. Все ближе, ближе...

— Ах, окая-а-нный, а?..— испуганно шепчет дед, крестится и тянется тихонько за ружьем. А голоса громче, шумней...

Жучка, вся ошетилившись и рыча, подступает к двери. Кто-то за дверью стоит, торопливо шарится, скобку ищет...

— Стой, держи... Хватай ружье!..

И уж не разобрать, что творится там, за стеной: все смешалось в еще далеком, но быстро растущем вое.

— Жучка, узы!..

И вдруг тут, среди нас, застонало, завыло, загайкало, дверь рванули — гайгага-а-а!.. — дверь настезь.

— Свят, свят!..

Ворвалось, ввалилось что-то безликое, все в белом, крутануло, плюнуло, разметало весь костер, холодом глаза залепило, заухало...

— Аминь, аминь!.. — взревел дед и грянул из ружья...

— Сгинь, нечистая сила, сгинь!.. — и все смолкло.

Я, не попадая зуб на зуб, стоял возле деда в глубокой тьме. Жучка жалась к ногам и испуганно повизгивала. Дед трясущимися руками чиркнул спичку, лучину зажег. Весь пол, нары и мы сами были запорошены снегом, а дверь — плотно закрыта.

Дед перекрестился: «Ну-ко, благослови, Христос»,— и как-то по-особому, с хитринкой улыбаясь, стал развивать костер.

— Вот они, нечистики-то... Чуешь?.. Ишь как я его из ружья-то ожег подходяшке.

В двери зияла пробитая пулей дыра.

— Это ураган,— заметил я.

Дед круто обернулся ко мне, выпрямился, ударившись головой о потолок, и зло крикнул:

— Ураган?! Как не ураган!.. Много ты смыслишь... Вот пойдём-ка по дрова.

Мы вышли. Тайга не шелохнется. Полный месяц в мутно-белом кругу высоко стоял над тайгою. Снег на полянке переливался алмазами, и кругом была холодная тишина.

— Ну, где ж тебе ураган? А?.. — подступал ко мне дед.

— А видишь, как запорошило тропу...

— Тропу-у-у?! Толкуй слепой с подлекарем... Вот те и тропу... Тащи дрова-то... Умник!

Вновь засиял костер. Мы вымели набившийся в зимовье снег и стали укладываться спать.

— Это оттого, что я маху дал, забыл дверь окстить.

И дедушка Изот залез на нары, закрестил торжественно дымовую продушину, потом стал крестить дверь, шепча какие-то тайные слова и сплевывая через левое плечо.

Была глухая полночь. Меня одолевала дрема. Я засыпал под раскатисто-плавный голос деда:

— Вот так же лег я, не поблагословившись, в зимовье одном, а там быдто блазило, значит, по ночам рахало... Да-а-а...

Всю ночь мучили меня страшные сны: то филином летал я над тайгою, то боролся с медведем, то нырял на дно реки за колдовским цветком.

ТА СТОРОНА

I

Они жили втроем: старый тунгус Давыдка, его жена Чоччу и брат Давыдки — Василий. Крестились недавно — вряд ли пять лет прошло — и ничего не понимали в новой вере. Знали только понаслышке, что есть бог Никола, что он живет в большом селе, в белой каменной юрте, и что перед ним днем и ночью горят свечи. Но село от них, сказывают, тысячу верст: до него надо полсотни дней

тайгой брести. Правда, поп-батяка много толковал им, вел мудреные речи, пальцем на солнце показывал, но они путем ничего не поняли, а Давыдка слушал, слушал да заснул и захрапел так громко, что все кругом захохотали. А поп-батяка рассердился, погнал их всех на реку, надел новые рубахи, кресты на грудь медные большие положил, помахал золотой штукой с дымом и долго причитал громким голосом. И стал с тех пор Буркиуль — Давыдкой, Чоччу — Машкой, а Рынтай — Васильем.

Так бы и жить им втроем, но случилась большая беда: старого Давыда медведь задрал.

Овдовела Чоччу. Стал Василий ее самым любимым мужем, первым. Оба молодые, сильные, жили в согласье: сохатых били, белок, лисиц.

Приехал как-то поп-батяка и долго их ругал. А за что — путем не знают. Неужто Василию жениться на чужой тунгуске, неужто Чоччу одной, без мужика, жить? Плевать, что мертвый Давыдка его родным братом был!

Никогда Василий не послушал бы пустых поповских слов, если б не сердце.

Как-то встретил он в тайге молодую женщину, по-чудному встретил, словно в сказке. Высмотрел он на суку белку. И только было прицелился, а ружье — грох! — белка кубарем. Выругался Василий, что ружье само пальнуло, глядь — а к белке женщина нагнулась.

— Моя, — кричит Василий.

— Нет, бое, моя, — ответила чужая женщина.

Василий осмотрел свое ружье: пистон целый.

Закурили трубки. Анна, затянувшись, передала свою трубку Василию, почмокала розовыми губами и сказала:

— А я, бое, себе мужика ищу... Муж помер. Одной не славно. У тебя баба есть, бое?

— Есть... — сказал Василий, рассматривая ее губы и глаза. Но сердце его замерло, и кровь ударила в голову. — Нету, — поправился он. — Есть, да... Только... — Он замялся.

Василий домой вернулся не в себе. И всю неделю был жалкий, растерянный.

— Ну, ищи другую, — сказала Чоччу.

Взглянул на нее Василий: баба сидит, вся в дыму табачном, глаза горят.

— Как ищи?.. Откуда знаешь?

— Ищи... Одна проживу.

Чоччу хорошо стреляла, хорошо пальмой-рогатинной владела, найдет медведя — не упустит.

— Я, Чоччу, на промысел пойду... Ты, Чоччу, дождидай...

Утренней зарей взял Василий ружье, собаку, поводит носом во все стороны, принюхался и быстро зашагал полее востока.

На четвертый день взлаяли собаки, дымок синий показался, оленн целым стадом бродили возле, отрывая из-под снега мох.

— Вот, пришел...

Анна у костра сидела на пеньшке и крошила в котел оленья мясо. Подняла на него глаза, осмотрела с ног до головы: Василий красивый, высокий, плотный — и ни слова ему не сказала.

Он шагнул в ее чум и разложил там костер. Вскоре явилась и Анна. Нашлось вино. Вкусно поели, веселые сделались, вино по жилам потекло. Вот сам собой рухнул чум, открылось небо, звезды унизили деревья и, щурясь стали смеяться, а круглый месяц колесом закружился, запрыгал по небу, как по снеговым полям заяц.

Анна вскрикивала и хохотала, весело ударяя в ладоши. Василий указывал пальцем на месяц, подмигивал ему, дразнил языком, хлопал по плечу Анну и, сюсюкая, что-то без умолку болтал.

А когда вместе с звездами вся тайга пустилась в пляс, все завизжало, запело, заухало, свист кругом пошел, топот, Василий испугался и залез в просторный, из оленьих шкур, мешок.

Разбудил его злобный лай собак.

Василий открыл глаза: темно. Его крепко обнимали за шею чьи-то теплые руки. Он потрогал — женщина. Он провел осторожно пальцами по ее лицу: глаза у нее открыты.

— Бойе... — сладко сказала женщина.

— Ну? — спросил Василий, соображая, кто она, где он.

— Проснулся, бойе? Вставай!

Они вылезли из мешка. Сквозь верх чума просачивался солнечный свет.

— Анна? — удивился Василий и захохотал.

Анна улыбалась, закуривая трубку.

Собаки лаяли отрывисто, зло, словно по зверю. Отпахнулась пола чума, вошла Чоччу с трубкой в зубах, с ружьем.

— Уйми собак, — сказала она Василию.

Тот смущенно вышел.

Женщины быстрыми глазами ошаривали друг друга. Чоччу была красивая. Но Анна краше. Чоччу вздохнула.

Василий долго не являлся. Обе женщины молча поели мяса и сулихты. Когда пришел Василий, Чоччу собралась в поход.

— Знаю... ты меня бросил...— сказала она.— Я встану чумом недалеко... день пути.— И пошла: несколько заседанных оленей тащили ее добро, и целое стадо их шло по бокам и сзади.

— Кто такая? — спросила Анна.

— Родня. Давыдиха... Машка... Чоччу.

II

Ну что ж! Хорошо можно было бы и с Анной жить. Но сердце Василия дало трещину: исподтиха началось — далеко шире — раздвоилось сердце, как рог молодого лончака-оленя, Василий словно встал у следа двух лисиц, разбежавшихся в стороны: хорошо бы разом обеих взять.

Неделю Василий прожил с Анной. Анна такая красивая — глаз не отведешь, но Чоччу крепко к сердцу приросла — родней. Вот бы вместе всем. Но огонь с водой когда уживались? Чоччу добрая, тихая, у Анны в глазах гроза. Кто сильнее: вода или огонь? Чоччу грудь с грудью с медведем сходится — трубку курит. Анна, пожалуй, не дрогнет и человека пальмой-рогатиной пырнуть.

«Огонь все попалит, вода все зальет», — припоминается ему песня старого Давыдки — и уж не знает Василий, чем обмануть успокоить свое сердце.

Когда про Анну думает — сердце радостно бьется под камзолем. Про Чоччу вспомнит — обомрет сердце, заскукает, словно обмороженная нога в тепле.

Сидит Василий на коряжине, в глухой тайге, а возле него табун оленей. Увидали человека, со всех ног к нему бросились: густой кустарник из оленьих рогов вырос, и в нем, как красный гриб в лесу, — Василий в своем красно-огненном камзоле. Тихий снег раздумчиво падает. Тайга распластала, раскинула свои холмы, вся белая, при-молкла, будто спит, а сама все чувствует: вздохни — насторожится, крикни — голосом ответит. Хорошо бы вот так сидеть. Пусть бы белый снег валил, пусть бы олени стояли возле, Василий сидел бы смиренно и, закрыв глаза, мурлыкал бы песню. Хорошо сидеть, хорошо вспоминать о том

о сем, а лучше ни о чем не думать. Так оно и было раньше. А теперь...

Василий покрутил головой, вздохнул... Он здесь долго будет ждать: весь вечер, всю ночь, пока не позовет Анна... Разве вскочить да заорать на всю тайгу, чтоб олени градом прочь? Холодно. Разве вскочить да закружиться на месте, как шаман? «Вскочу!..» — думает Василий и неподвижно сидит, словно вросший пень, весь от снега белый. Он сейчас зажжет костер, ляжет на бок в снег и станет разгадывать, о чем бормочет пламя. «Вскочу», — вздрагивает Василий и, весь скрючившись, начинает похрапывать и посвистывать носом.

— Анна!.. — сказал однажды Василий. — Хорошо бы, Анна...

Та молчит. Тихо Василий начал, просительно. Анна сердито вздохнула.

— Неужто, Анна, тебе не жаль?.. Одна живет... Куда попала?.. Плохо... Одной, Анна, борони бог, как плохо!

Анна выхватила из рта трубку, сплюнула. Василий опустил глаза и долго рассматривал на своих ногах чикультаны.

— Вот бы ей тут жить... Возле нас... Мне ее не надо, Анна... Мне тебя надо... А она — так... родня...

Анна быстро схватила палку и со всего маху ударила подвернувшуюся собачонку.

Василий взглянул на Анну и тотчас же боязливо опустил веки.

На другой день он взял двух собак, чтобы идти на медведя. Голубое небо ласково глядело на него. Снег полыхал под солнцем, слепил глаза. Василий зажмурился, потянул в себя свежий морозный воздух, и все в нем заиграло.

«Скучает баба... пойду, навешу», — радостно подумал он, поправил красную повязку на голове, оглянулся на чум и быстро зашагал. Собаки весело скакали, барахтались в сугробах.

— А не видал ли ты учуга-оленя?

— Нет, не видал... Ты как? — Василий даже попятился.

И они направились с Чоччу к ней в чум. Шли всю дорогу молча. Тунгуска печальными глазами, крадучись, посматривала на Василя и тихо вздыхала. А дома, в чуме, стала свежевать белок.

— Вот все одна бьюсь. Волки прибежали,—сроду не было,—прибежали, оленей распугали. Убила трех.

Она оправила костер и откинула назад черные косы.

— Хожу-хожу по тайге—устану... Приду домой—нет никого... Был муж—нету... Был Василий—Анна отняла... Ну, какво живешь? Славно ли живешь? Рад ли?

— Маленько рад, маленько не рад...

Василий тер рукою лоб, сдвигал и расправлял брови, кричал. Ему надо много толковать с Чоччу... Надо бы самое-то главное сказать, чтобы поняла, надо хорошо языком повернуть: пусть Чоччу успокоится—он ее не бросит.

— Я... я... ничего... Вот Анна только...

Василий больше ничего не мог сказать. Он в раздражении больно прикусил язык, на глазах слезы выступили. Очень плохой язык, не может вертеться как следует, не может толковать все чередом, по порядку, чтобы складно и мудро, как у шамана.

— Языком вертеть не смыслю...—Василий высунул окровавленный кончик языка и указал на него пальцем.—Тут много,—хлопнул он себя по лбу,—тут того больше,—дотронулся он до сердца,—а язык дурак!.. Прямой дурак, заплетается в зубах, как лисий хвост в трущобе.

Василий опустил голову и засопел. Он все слова расшвырял, а новых не накопилось. И уж до самого вечера сидел молча. Он с любовью разглядывал каждую вещь в чуме. Вот иконка маленькая, закоптелая, висит на жерди, а рядом с ней лесной шайтан, звериный хозяин, Боллэй-батюшка, с бисерными глазами: Вот кумоланы, вот для костра рогульки, и все знакомое такое, близкое... свое...

— Ты совсем ко мне? —спросила Чоччу.

— Что ты! Как?—испугался Василий и быстро встал.—Пойду... А то...

— Да, ну-ну?—удивилась тунгуска.—А я одна?

Когда она подняла голову, Василия не было.

Другому надо день идти, Василий в одночасье прибежал, всех собак замучил. Скакали-скакали по сугробам, рассердились, злобно лаять начали. Скакали-скакали, из сил выбились, задрали носы кверху, взвыли.

Василий вторую чашку чаю выпил, когда пришли измученные собаки. Кривая сучка Камса высунула в щель чума остроносую морду, нашла желтым единственным глазом хозяина и, презрительно оскалив зубы, зарычала.

А Василию и невдомек, что волки появились, что сыпучие сугробы для собак — беда. Он все тогда забыл, только Анну помнил: у Анны брови тонкие, щеки — как цвет шиповника, тело гибкое, руки в глухую полночь ласковы, но... в глазах — гроза.

— Бойе.. Это ты напрасно...— загадочно сказала Анна.

Василий раскрыл рот. Ни слова не проронила больше Анна, но он все понял.

Никогда Анна так не ласкала Василия, как в эту ночь. Но в этой ласке Василий чувствовал что-то страшное и, обливаясь холодным потом, ждал, что Анна всадит в его сердце нож.

Едва дождавшись рассвета, Василий побегал в тайгу по вчерашним следам, а обратно возвращался тихо, понуря голову и весь холодея. Солнце склонялось к западу, когда он пришел домой. Анна вышивала бисером красивый фартук-хальми и на Василия не взглянула.

— Далеко-далеко, там... Я твои следы видел рядом с своими,— дрожащим голосом сказал он и почувствовал, что его сердце останавливается.

— Где твой медведь? Убил вчера? Нет? — чуть слышно проговорила Анна. Лучше бы по щеке его ударила. Он молчал.

— Ты меня убил... — так же тихо сказала Анна. И на ее бисерный хальми скатилась бисером слеза.

Назавтра, рано утром, Анна согнала в кучу всех оленей, заседлала верховников и навьючила все свое добро.

— Пойдем,— сказала она Василию.

— Куда?

— Неделю будем идти, другую будем идти, да еще, да еще... Далеко уйдем... Тут нам не жить.

Василий почувствовал себя кустом калины, который с корнем вырывают из земли.

Пошли они на север, в ту сторону, где одни ледяные старички живут. Василий знал, что там лето короткое, и когда пойдет с ледяного моря осенний холод, все крохотные сказочные старички собираются в кучу и садятся на пенешки. Сядут, пошепчутся и опустят враз головы. А из носу капельки у них бегут, а из глаз слезы все на землю да на землю. А мороз крепко слезу кует. И все сидят, все сидят, сонные, пока не получится ледяной батожок-

палочка, из носу да в землю. Так до весны и сидят. Василий все это вспомнил, страшно ему идти в далекую северную сторону.

Анна звонко кричит.

— Модо! Мод-мод-мод!.. Ко! Ко! — Звонко по тайге ее голос стелется.

Тайга седые брови морщит, слушает, непролазная, вся укутанная снегом.

III

Живет Василий с Анной на севере, хорошо живет.

Вот и весна пришла, снег начал таять, загудели ручьи, солнечный свет на ветвях повис. Ходит по тайге Василий, в каждую нору, в каждую берлогу заглядывает, у пеньшков глазом землю шарит: хочет волшебных старичков найти. Но старичков нет.

— Нету... Нигде не видать... — сказал он Анне. — Надо своего дожидаться, маленького... Когда оттаешь? Когда раздвоишься?

— Скоро, — сказала Анна и как бы невзначай провела рукой по своему большому животу.

Василий рад был, что у них родится сын. Он знал, что сын. Ему надо сына. Хороший тунгус будет, белку бить будет, медведя дедушку-амаку. Не скучно будет с ним, — с ним да с Анной. А Чоччу как? Где-то она, жива ли?

Василий зыбку для сына смастерить собирается. Надо хороший /лубок найти, а где его найдешь, надо большую осокорь искать. С утра ушел Василий, целый день шлялся и только вечером — уже звезды над тайгой сияли — вернулся домой. У дерева оленюха за рога привязана; тонкая, как девка, Анна доит ее.

— Иди-ка в чум, отгони собаку, — сказала она каким-то особым голосом, ласково так сказала, нараспев.

— Геть! — войдя в чум, крикнул Василий. — Геть! — собака стоит над разостланной у костра шкурой и, крутя хвостом, что-то обнюхивает. Присмотрелся Василий, языком прищелкнул и пал на колени перед маленьким своим сыном.

— Анна! Анна! — закричал он. — Гляди! Сын родился.

Когда вошла Анна и улыбнулась, в чуме сразу светлей сделалось.

И стал Василий отцом. Теперь ему никого не надо, кроме Анны и маленького Ниру. Забыл Василий про Чоччу, совсем забыл.

А Чоччу в тот самый день, когда откочевал сюда Василий, пришла налегке к опустевшему стойбищу.

— Нету...— сказала Чоччу и, вернувшись домой, три дня не ела, не пила.

Месяц дождалась, вот придет,— другой дождалась, да еще, да еще.

— Бросил,— сказала Чоччу.

И как сказала себе это слово, будто бы легче сделалось, а потом опять... Такая тоска... эх, лучше в землю...

Каждый вечер подходила она к высокому шесту с жертвенной кожей наверху, подшибалась ладонью и долго щупала осиротевшими глазами таежную тропу. Смотрит и поет, и причитает, а слезы сами собой текут, и дрожит сердце.

«Та сторона далекая... Там Василий... Вот щеки мои завяли, вот губы высохли... А Василья нет. Я вскочу на самого быстрого оленя, скажу ему: ищи, олень, милого... Олень, олень! Взвейся над тайгой, отыщи моего милого... Нет! Стой, олень, стой смирно!.. Забыл, пусть забыл... Я буду одна... Пусть тайга кругом гудит, пусть медведь бродит... Я буду одна...»

Чоччу утирает слезы, гонит прочь подвывающую ей собаку и вновь жалобно:

«Ой, ветер, не шуми хвоей!.. Скажи, ветер, сердцу — может, послушает — пусть молчит; одной лучше... Я одна, совсем одна... счастливая! Разве ты не знаешь, ветер, какая я счастливая...»

IV

Лето прокатилось, осень на исходе. Василий все еще на севере. Первый снег на хребты, на полянки пал, болота подстыли, мерзлая трава под ногой хруст дает.

— Ну, как — ничего? — спросила однажды Анна и, оторвав от груди черноглазого Ниру, долго целовала его в крохотный влажный рот.

Василий не понял, о чем спросила Анна, и, растерянно улыбаясь, ответил:

— Ничего.

— Ничего? Забыл?

— За-а-был...— махнул рукой Василий и пощекотал травинкой в носу Ниру. Тот скосил глаза на травинку, чихнул и заегозил кулачками возле носа, пуская пузыри. Анна и Василий громко засмеялись, а Ниру забрал в рот свою ногу, стал ее сосать и радостно гулькать.

Утром Анна переспросила:

— Забыл? Верно? — и долго, пристально глядела на Василия. — Лови оленей, выючь. Ньюльгирить будем.

— Куда? — как и в тот раз, удивленно спросил Василий.

— Ербогоч-ду... в Ербогоч, на ярмарку. Ничего у нас нет, все кончилось, надо к купцу идти, надо пушнину торговому тащить.

Дорогой их захватила стужа. Василий, как всегда, шел впереди, прочищал тропу, за ним верхом Анна, за ней на отдельном олене, болтаясь справа у седла, — Ниру. Его положили в лубочный коробок, на дно постлали коричневой трухи от сгнившей древесины, чтоб было мягко. Он кое-как прикрыт оленьей шкурой, но его грудь голая.

Он почти всю дорогу спит, а то вдруг зальется звонким плачем.

→ Не слышишь? — кричит Василий Анне.

Та ударяет пятками по шее оленя: «Ко! Ко!»

→ Не слышишь? Ревет...

→ Пускай греется, — равнодушно отвечает мать, а Ниру, наплакавшись вволю, замолкает.

Анна тогда соскакивает, привязывает к дереву оленя и вытаскивает полуголого Ниру из зыбки. Тот весь дрожит, но, почуяв грудь матери, с урчаньем и хрипом, как голодный волчонок, жадно нащупывает сосок и начинает, захлебываясь и сладко жмурясь, глотать теплое молоко.

Вьюга крутит и вое. Снег белой тучей носится по поляне. По сторонам гудит и гнется тайга. Огромные, оторванные ветром сучья, распластав хвою, проносятся над остановившимися тунгусами. Олени сгрудились и, подставив ветру зад, роют копытами сугробы.

Василий стоит возле Анны, прищелкивает языком и сглатывает, наблюдая, как сосет Ниру.

— Замерз? — спрашивает любовно Анна, ежась от холода.

— Борони бог! Жарко... — от Василия идет пар. Он устал, шагая по сугробам, его голова, повязанная красным платком, вспотела.

Шли долго. Вставали до солнца, оленей собирали и готовили в путь к полудню, а шли весь день дотемна. Но проходили верст пятнадцать — двадцать.

Облюбуют где-нибудь место, — сумерки, солнце давно село, — остановятся на ночлег. Снег выше колен — расчис-

тят, поставят чум, набросают внутрь мелких хвойных веток и запалят костер. Тепло тогда в чуме. И если поддерживать огонь, тепло будет всю ночь. Но ночь для сна — в чуме к утру холод, как в тайге.

Пока готовят стойбище, Ниру стоит дубком в своей зыбке, внаклон прислоненной к сосне. Возле — костер-гуливун. Стоит Ниру один долго. Стоит, на пламя смотрит, на игривые золотые языки и прислушивается к их говору, и улыбается, довольный льющимся на него теплом. Наскучит смотреть — заплачет, наскучит плакать — примолкнет, гулять начнет, а то углядит косо прорезанными глазами висюльку в зыбке — тянется голой рукой и норовит заграбастать в рот.

А ночью Ниру спит хорошо, иногда во сне улыбается, отчего на смуглых, замазанных грязью щеках его — маленькие ямочки. Но никто не видит, как спит ночью Ниру, потому что ночью все крепко спят: собаки, олени, люди; только сторожевой пес, соблюдая собачью очередь, бежит дозором кругом тихого стойбища.

Были ночи звездные, но без месяца, темные. Были ночи с каленым холодным небом, с каленым месяцем, звезды тогда стояли четкие, крупные, мороз трескучий, палящий. Весь снег в алмазах, в блестящем бисере, и ночь казалась светло-голубой.

А то тихий снег всю ночь падает, тепло стоит — ночь мутно-белая. А то буран всю гуляет: и крутит, того гляди сровняет с сугробами тунгусский чум.

Долго тунгусы тянулись. Шли, шли — много тайги осталось сзади. Шли, шли, шли — расступилась тайга, просто стало, пред ними поля легли.

Остановились.

— Это что ж такое? — Василий разинул рот и указал на каменную, видневшуюся за рекой церковь.

Анна — человек бывалый. Она чуть презрительно, сверху вниз смотрит в смущенное лицо Василия, все еще стоявшего с удивленно открытым ртом.

— А ты не знаешь?

— Нет.

— Ай, боее, боее!.. Там Никола живет, русский бог Никола-матушка, — говорит она по-русски.

Василий прищелкивает языком, качает головой и вдруг, совершенно пораженный, замирает. Со стороны села прогудел и растаял удар большого колокола. За ним. другой, третий. Удар за ударом густо колыхали воздух, словно огромный шаманский бубен рокотал над тайгой.

— Это что же такое? — круто повернув назад оленя, готовый кинуться в тайгу, спросил Василий.

— Колёколь!.. Колёколь!.. — радостно кричала Анна.— Бумм!.. Бум!.. — и, соскочив с оленя, подбежала к Василию.

— Колёколь!.. Слезай!.. — стащила его на землю.— Пляши! — смеясь, тормошила она мужа.— Колёколь!.. Бум! Бум!

Василий весь просиял, глаза от широкой улыбки скрылись, он схватил за руку Анну, и оба, в огненных лучах заката, принялись кружиться и на разные лады повторять:

— Бумм!.. Бумм!.. Колёколь!.. Колё-околь!.. Бумм!
Заря была золотая, с красной по краям кровью.

V

Ярмарки не застали. Купцы разъехались. Пушкину сдать некому. Вина достать негде. Анна долго горевала.

Стойбище Василия было за рекой, в двух днях от села; Василий стрелял белок, ловил кулемками лисиц, колонков и горностаев. Анна иногда заглядывала в село, продавала там крестьянам меховые чукульманы и рукавицы, шитые бисером потакуи¹, а оттуда приносила муки, чаю, сахару.

Ниру перед весной начал ходить. Он вставал на четвереньки и, одобрительно крякнув, тихонько приподымался. Он бродил по чуму, хватаясь то за мать, то за отца. Но за чумом он не бродил, а ползал по оттаявшей, покрытой хвоей земле и нередко сражался с собаками, отнимая у них кости.

Собаки всегда были к Ниру почтительны. Когда он подымался на кривых ножках, держась за собаку, та смиренно стояла, поджав покорно уши. Когда он падал, собака тщательно облизывала ему лицо, и Ниру приползал в чум чисто вымытый.

Отец делал ему из тряпок кукол, из дерева птиц и оленей, а иногда игрушками ему служили отрубленные утиные носы.

Анну все теперь радовало: как-то по-особому блестело солнце, веселей пели прилетевшие издалека птицы, и Анне самой хотелось песен и любви.

Однажды ночью Анна вдруг проснулась в какой-то

¹ Потакуи — берестяные, крытые оленьей кожей сумы.

смутной тревоге. Полежав немного с открытыми глазами, она быстро поднялась и неслышно скользнула за чум. Прислушалась, вздрогнула, пошла в тайгу.

Было пасмурно. Начиная моросить дождь. Тьма была.

От холода заплакал Ниру. Он подполз к отцу и стал открывать ему глаза, подковыриваясь пальцами под веки. Василий проснулся, разложил костер, тепло стало, и Ниру уснул.

Лишь перед рассветом вернулась Анна.

— Я тебя долго ждал... всю ночь... Где была?

Анна глубоко дышала, ноздри вздрагивали, раздувались, лицо было красное от возбуждения. Она, согнувшись, сидела у костра и жадно затягивалась трубкой.

— Оленей, что ли, волк пугал?

Анна молчала. Наконец криво усмехнулась и насквозь пронизала Василия колючим взглядом.

Она молчала целый день, а вечером, перед сном, вдруг захотела каким-то не всегдашним смехом и нараспев сказала:

— Бойе... Ах, бойе!.. Это я так, бойе... Не бойся! Просто сон худой видела... Очень худой сон. Ха-ха-ха! Вот ночью бегала... — Лицо ее стало угрюмо.

Она укрылась паркой, легла спиной к костру и обняла Ниру.

Василий лег, плотно прижавшись к Анне. Они всегда так спали рядом, но головами врозь, и возле лица Василия приходились выглядывавшие из-под парки маленькие ноги Анны.

Василию не спалось. Он ворочался с боку на бок, в кровь поцарапал бока и голову, громко и протяжно звал. Анна храпела.

Василий тихо встал, оглянулся на Анну — спит, и побрел в тайгу на лай собаки.

Вслед за ним вскочила Анна. Она — кошкой к дверце и, выставив голову, чутко насторожилась.

Было очень тихо. Только собака надрывисто лаяла и доносился придавленный окрик:

— Геть!..

Анна схватила пальму. Пальма тупая. Схватила топор. Она только что выменяла его у мужика, топор острый, — и кинулась в тайгу.

— Пойдем дальше!.. Она увидит... — стуча зубами и весь дрожа, говорил Василий.

— Пойдем ко мне, бойе... Пожалуйста, пойдем... близко... — звала Чоччу.

— Боюсь... Дознается.

Они стояли друг против друга, и огонек двух вспыхивающих трубок слабо освещал их тревожные лица. Василий видел, как по щекам Чоччу катятся слезы. Он ласково потрепал ее по плечу. Должно быть, сорвалась вблизи сова: крикнула, словно простонала.

— Пойду домой... После,—вздрыгнул и заторопился Василий.

Подойдя к чуму, он чиркнул спичку и осветил внутри. В костре золотились угли. Анна так же спала, всхрапывая и шевеля губами. Сердце Василия забилося ровнее. Он лег возле жены и долго думал.

— Анна!..—наконец тихо дотронулся он до ее ноги.

— Ну?

— Ты не сердись, Анна... Вот я тебе буду толковать... Ты слушай...—И опять язык не может как следует работать.

— Ведь ты знаешь, Анна? Она здесь... Ты все знаешь, Анна.

— Кто? Родня? — спокойно сказала Анна.— А ты ее видал, бойе?

Василий засопел и подавился кашлем.

— Я... я... она близко... Я оленя ее видел, учуга...

— Ты оленя, бойе, видел?

— Да... оленя... И еще собаку... Собака лаяла.

— И собаку, бойе, видел?

— Да, и собаку... Она бежала возле Чоччу... А Давыдиха, Чоччу-Машка, искала оленя... А собака лаяла...

— А ты?

— А я... я...—Василий часто замигал и отодвинулся от Анны.— Мой язык дурак. Он не то плетет. Он зря толкует... Ты его не слушай, Анна! Он дурной... Я никого не видал, Анна!

— И что же она тебе толковала?

— Я видел ее оленя.

— И зачем она тащила тебя в свой чум?

— Ты знаешь? — приподнялся Василий.— Тебе сон снился?

— Да, бойе, сон... Мне сон снился...

Они оба промолчали до рассвета.

Их разбудил закатистый плач Ниру. Он сидел на потухшем, но теплом еще костре, на груди серого пепла и подбирал себе в рот черные угольки. Но вот, копошась в пепле, он нашел золотой уголек, красивый, и, крепко зажав его в руку, надрывался плачем. Не сразу догада-

лись, что с Ниру, и когда разжали ладонь, она была красная, как прожаренное с кровью мясо.

Ниру намазали руку оленьим салом, завязали грязной тряпкой. Василий и Анна всячески старались утешить его и рассмешить.

Когда Василий, изображая сучку Камсу, стал на четвереньках ходить возле Ниру и тявкать, прищурив для большего сходства с кривой сучкой свой черный глаз, Ниру оборвал плач и засмеялся.

— Пойдем к родне,— сказала Анна спокойным ровным голосом, но левая бровь ее дрожала, а губы были плотно сжаты.

— Ладно. Пойду оленей ловить.— Василий старался казаться равнодушным, но голос его осекся.

— Пешком пройдем... Близо.

Они взяли Ниру и отправились в путь.

Анна шла впереди, уверенно, твердым шагом, словно много раз бывала у Чоччу. За плечами ружье, в зубах трубка, в руках пальма.

Небо было безоблачно. Входило солнце. По опушке леса и у голых пней пестрели расцветающая саранка и желтый лютик — колдовской шаманий цвет.

Показался голубой дымок. Запахло жильем. Навстречу кинулась ошетилившаяся собака и громко залаяла на Анну. А перед Василием повалилась кверху лапами и заюлила.

Василий сердито пнул ее ногой и что-то буркнул. Анна скосила на него глаза и язвительно засвистала.

— Что встал, пойдем! — крикнула она и уверенным шагом двинулась вперед.

Чоччу была больна. Она лежала в чуме укрывшись паркой. Анна и Василий молча сидели возле нее и курили.

Анна передала свою трубку Чоччу, и та, покурив, вернула Анне.

— Вот маленько кудой стал,— печальным голосом начала по-русски Чоччу,— маленько не славный, тошно... Хвораль... одна...

— Одна... куда попало... плохо!... — уныло подхватил Василий.

— Плохо... Совсем маленько плохо... Борони бог! — подтвердила Анна, следя за мужем. Но тот сидел с опущенными глазами.

Анна пытливо разглядывала Чоччу и сравнивала с собой.

Ну, конечно, Анна красивее. У Анны нос приплюснутый, лицо скуластое, румяное, губы маленькие, алые. А Чоччу... Ну, чего там про Чоччу толковать. Анна успокоилась и стала готовить обед.

Обедали молча. Но когда хозяйка вытащила из по-такуя остаток спирту, все враз заговорили.

Ниру тоже тянулся к бутылке. Но, чуть глотнув, он несколько мгновений сидел с открытым ртом и с изумленно вытаращенными глазами, потом круто уткнулся в грудь матери, пободал головой и отчаянно завыл, высоко подняв больную обмотанную тряпкой руку. Анна, смеясь, схватила его в охапку и стала баюкать.

— Оеей!.. Ниру огненной воды хватил!.. Оеей. Ниру пьяный!..

А Василий вставил в его рот свою трубку и сказал: — Чего гаркаешь? На, затянись!

Ниру пососал губами и, проглотив дым, закашлялся.

— Ничего... ладно... другой год идет. Учись!..— смеялся Василий и вновь совал ему в рот трубку.

Чоччу сидела печальная, с повязанной головой.

Вечером Анна сказала:

— Надо одному остаться. Хочешь, оставайся? — взглянула она на мужа.

— Нет, я домой,— напряженно сдвинув брови, ответил Василий.

Он встал и вышел, ни на кого не взглянув.

Василий один прожил двое суток. На третий день зазвенели медные ботала оленей — женщины пришли.

— Вот... родня... — сказала Анна Василию.— Иди, ставь ей чум.

Чоччу выбрала недалеко моховую поляну, чтоб был оленям корм.

Так стали жить трое, четвертый Ниру, опять в одном стойбище. Анна, как зверь по следу, выслеживала каждый шаг Василия. Тунгус это чувствовал и следил за собой, как лисица следит, заматавая свой след хвостом.

Чоччу брала, что можно, и чувствовала себя по-разному. Когда, крадучись, сидят они с Василием темной ночью, молча сидят, думают — хорошо тогда Чоччу. Но это бывает редко,— так редко, лучше б и не было.

Однажды, когда земляника вызревать стала, зашел к

ним мимоходом тунгус Пиля, лохматый, страшный, Ниру очень его испугался.

— Чего в село не идете? Торговый сверху на шитике прибежал.

— Торго-овый?! — протянули враз тунгусы.

Им надо идти с большим караваном к торговому. От пушнины у них лобаз ломится: два года не сдавали.

Но Ниру ночью захворал: то ли Пиля его ушиб худым глазом, то ли спелой земляники объелся, лежал весь горячий и стонал. Ну что ж, захворал так захворал, пройдет.

Послали за вином Пилю. Сел Пиля на оленя и на другой же день под вечер привез четверть спирту. У Пили — пальма да трубка... Было ружье, но он его пропил. Ему все равно, где жить. Остался он у Василия.

VI

Пировали у Анны с вечера до утренней зари. Пели песни, объедались олениной, ссорились, мирились, хохотали. Чоччу была грустная. Когда пели песни, она как-то по-особому грустно смеялась либо плакала, размазывая по лицу слезы.

— Чего реवेशь? — кричал Пиля. — Ты вдова, я вдова... Давай вместе! — и лез к Чоччу целоваться.

Василий тяжело задышал, быстро схватил Пилю за ноги и сильным броском перекувырнул его.

— Пошто бьешь?! — визжал Пиля, отдирая руки Василия от своих черных растрепавшихся кос.

Анна схватила чашку вина, залпом выпила, а остатки плеснула в глаза Василию.

— Кок! — крикнула Чоччу. Она хотела броситься к Анне, но остановилась и горько заплакала, тыкая пальцем в ее лицо:

— Ты!.. Ты!.. Все ты!.. Ну, ладно... Вот ужо...

Однако все скоро успокоились. Хмель свалил всех. По чуму — храп и бормотанье.

Ниру тормошил мать, плакал, злился, кричал. Мать не откликалась. Ниру, боязливо оползая храпевшего с разинутым ртом страшного Пилю, подполз к отцу. Но и от него ничего не добился.

Ему очень хотелось есть. Сидя возле отца, он поднял вверх голову и долго выл диким, без слез, голосом. Взгляд его упал на большой котел, у которого, крутя хвостами, работали собаки, — Ниру весело крикнул: «У!» — и

заулыбался. Он подполз к котлу, ухватился за его края и поднялся между кривой Камсой и черным трехпалым кобелем.

— У! — вновь крикнул он, заглянул в котел и потянулся за добрым куском мяса. Тут Камса лизнула его в самый рот. Ниру чихнул, покачнулся и заплакал. Но сквозь слезы увидел полуобглоданную кость, схватил ее и стал сосать, зажмурясь и урча. Собаки подняли возле котла грызню. Ниру со страхом отполз в темный угол и забился между сумами.

— Геть! Геть! — заорали враз четыре оторвавшиеся от земли головы и тотчас же упали. Собаки воющим, визжащим клубком выкатились вон.

— У! — одобрительно сказал Ниру и пополз к большому куску сахара.

На другой день, когда Ниру уснул, Василий с Анной пошли в гости к Чоччу.

У Василия болела голова. Анна опохмелилась и шагала бодро.

— Отчего не пошел Пиля? — спросила она.

— Не надо... Больно худой... Больно лезет...

— Ты ему вырвал кося.

— Пускай!

— Чоччу возьмет его к себе.

— Она тебе сказала?

— Знаю.

У Василия пальма острая. Силы в ней сегодня много. Вот только голова... Он шел впереди Анны и разговаривал с ней через плечо.

— Ты врешь, — сказал он раздраженно и ударил пальмой по осине. Ствол дерева толстый. Крякнула осина, но не свалилась.

— Врешь!.. Дурачишь!.. — крикнул он и ссек осину. — Я вижу...

— Как ты видишь, если я плеснула в твои глаза вином?

Василий вмиг вспомнил это, испуганно схватился за глаза, чтоб удостовериться — целы ли? И ему сразу показалось, что он плохо видит. Тайга стояла перед ним сплошной серой стеной, все как-то посерело вдруг и задрожало.

— Вот слепиться буду... Как тогда? — сглатывая накопившуюся обиду, сказал Василий тонким голосом.

— Слепиться? — равнодушно переспросила сквозь зубы Анна и пнула ногой большой красный мухомор.

— Носом учуешь... На-а-й-дешь!

— Кого это? — крикнул Василий, а сердце его застучало. Перед ним замелькало грустное заплаканное лицо Чоччу, встали в памяти ее слова и вся их былая жизнь. Если Анна не хочет жить вместе — он останется с Чоччу, возьмет Ниру и останется.

Василий хрипло вздохнул, пропустил жену вперед, закурил трубку и до самого стойбища шел понуря голову,

— Я сегодня богатая... Ха-ха!.. Я сегодня веселая! — встретила их Чоччу. — Давайте весело гулять... Давайте вино пить. Сегодня веселая будет ночь.

Она нарядилась во все лучшее. Синий, весь в позументах, камзол, большой крест на бисерном нагруднике, крупные серьги в маленьких ушах, туго закрученные, сложенные на голове косы.

— Давайте не в чуме. Давайте под сосной... Ночь теплая.

Чоччу, чуть откинув стройный стан, легкой поступью ходила от чума к сосне, где разложен огромный костер.

Анна была молчалива. Она, прищурившись, с злобной завистью смотрела на Чоччу.

Сегодня Чоччу красивее ее.

— Ну, чего ты? Пей! — весело крикнула Чоччу.

Анна выпила, крикнула и подала чашку:

— Еще! — выпила, крикнула. — Еще!! Давай скорей еще!

— Станем песни петь! — сказала задорно Чоччу.

— Какие песни? Тунгус не знает, — говорил Василий, обгладывая кость олененка.

Все были вполпьяна.

— У меня своя есть... Хорошая есть... — поднялась Чоччу, утерла рот рукой, оправила волосы, но, окинув Василия тоскующим, ревнивым взглядом, вновь села. — Я когда пью одна, всегда плачу... Я всегда одна... Была вместе, стала одна... Ну вот, буду петь...

— Эй, месяц, — взмолила Чоччу зыбучим гортанным голосом и подшиблась рукой, — Золотой мой месяц!.. Ты один!.. Нет у тебя солнышка, ты один... Ой, месяц, я одна!.. Милый был, да нету — я одна!..

— Дай еще! — протянула Анна чашку.

Анна выпила и повалилась на бок, обхватив руками голову.

Она немного полежит и пойдет домой. У ней томится

сердце. Она пойдет домой и нарядится в сто раз лучше Давыдихи... У ней соболья шапка, серебряный чеканный пояс, у ней золотые кольца... Она возьмет Ниру, маленького любимого своего смешного Ниру, оседлает серебряным седлом оленя и помчится в ту сторону, где солнце спит: она устроит чум и будет там жить. Мимо их чума пройдет молодой тунгус: «Эй, бое, стой!» Остановится тунгус, красивый, улыбочивый... «Я, бое, умею хорошо ласкать... У меня был один — мой, стал не один — чужой... Вот я ушла. Если ты один, если вольный, оставайся, бое!..» Да, она сейчас встанет и пойдет. Вот и месяц смотрит... и месяц зовет ее, мигает. И Чоччу над ней смеется, воет про себя, скрипит... И Василий шепчет ей... Пусть!

— Не реви, не гаркай... — шепчет Василий. — Пусть уснет.

— Как узнаешь, спит ли?

— Я узнаю.

— Анна! Эй, Анна! — кричит Чоччу.

— Разбуди, спит. Дай ей вина. Тащи за косу.

Анна подняла, не раскрывая глаз, голову, нащупала протянутую чашку, выпила и еще крепче уснула.

Василий сидит, покачиваясь в обнимку с Чоччу; голова его валится на грудь. Чоччу шепчет:

— Теперь вместе... Как раньше, бое... Как до Анны!.. Уйдем, бое. А погонится, скажем: уйди прочь! Я, бое, рожу тебе сына... Он будет наш... Давай, я тебя буду целовать...

— Услышит... Она — змея!

— Тьфу!

— Она тебя испортит!

— Я ее закляну... Давай, бое, целоваться!

— Нет!.. Костер яркий... Месяц светлый... Не надо!

— Пойдем, бое, в чум...

Василий тяжело поднялся, потоптался пьяными ногами возле спящей Анны и — к реке. Встав на колени, он по самые плечи погрузил хмельную голову в студеную воду. Если б не страх, он долго пролежал бы, не отрываясь от воды. Страшно вдруг сделалось: сзади шайтан крадется — сгребет за ноги, бросит в омут. Василий вскочил, зафыркал, поплевал во все стороны, и, обирая с черных своих кос воду, побежал к Чоччу в чум.

Он с опаской вошел туда. Чоччу, разметавшись, лежала на мягких пахучих хвоях.

— Бой-ой-е! — иволгой прозвучал ее голос.

Костер ярко горит, теплом на спящую Анну пышет. Звезды по небу узоры развели, разбросались золотым песком по синему. Месяц меж ними тихо продвигается, грузным светлым колесом к тайге клонит.

От костра уголек горячий — шелк! — да прямо Анне на лицо. Вскочила, отряхнулась, почесала обеими руками волосы и села. Пустая четверть с опрокинутыми чашками блестели, двигались в дрожащих лучах огня. У Анны сами собой закрылись глаза, а тяжелая голова вновь устало приникла к земле. Но вот Анна быстро со стоном поднялась и дико осмотрелась. У костра валялся камзол Василия, его кисет и трубка, а поодаль — шитый позументами камзол Чоччу. От яркого пламени кругом темно. Анна, пошатываясь и натываясь на пни, обежала вокруг костра. Нету!.. Она сдернула с кучи потакуев лосиную кожу — нету!.. Она метнула взглядом по освещенным стволам сосен — нет пальмы Василия!.. Где пальма? Где топор? Нету! Сунула за голенище руку — нет ножа! И как-то сам собой прошел весь хмель. Прихлынула к глазам, к рукам, к голове, к сердцу сила, а ноги пропали, их будто нет, совсем нет. Анна над землей птицей летит к чуму. Как вобрала в себя воздух, не может выдохнуть. В руках в огненном золоте большое из костра полено.

Отпахнула полу чума, зашаталась.

— О-гый!.. — и, размахнувшись, швырнула в спящих пламенным поленом.

— Шайтан! — без памяти заорал Василий. — Огонь! Огненный змей! Чоччу! Вставай! — не заметив Анну, он, все опрокидывая, прорвал стенку чума и бросился в тайгу.

Огненный шайтан, растопырив крылья, настигал его. Василия кидало то в жар, то в холод и захватывало дух. Напролом, забыв тропу, он мчался из чума Чоччу к себе домой: шуршала хвоя, с хрустом ломались сучья.

— Догоню! — выл огненный шайтан и каркал ворон. У Анны глаза волчьи: и в темноте видят каждый скок Василия, стерегут каждую его увертку. По пятам гонится, устала.

Вдруг Василий пропал. Собака хамкнула... там, в чуме...

— Ага!.. В мой чум вбежал! — показалось Анне.

Она схватилась за сердце и, словно стрела из лука, влетела в свой чум.

Как рысь бросилась к сундуку, где был топор, как рысь нащупала во тьме изголовье мужа:

— А-а-а!.. Спишь? Прикинулся?! — И со всей силы в иступлении хрюнула топором. И вдруг завизжала, загайкала, безумно, страшно...

Василий меж тем весь обомлел и сжался. Он и не думал вбегать в свой чум, это так лишь померещилось Анне. Он в это время ничком лежал в берлоге, куда провалился, спасаясь от огненного змея.

— Шайтан! — чакнул он зубами, прислушиваясь к вновь наступившей тишине. Ему все еще спяну чудился крылатый змей, что лизнул его пламенем там, у Чоччу, а по дороге чуть не слопал. Где же Чоччу, где Анна? Хоть бы пришли скорей!.. Василий крепко зажмурился, но шайтан, виляя желтым хвостом, ходит взад вперед под самым его носом.

— Агык! — гортанно рычит Василий, весь вминаясь в землю, и пьяным языком через силу бормочет заклятые слова.

В ушах звон: где-то гудит-рокочет бубен, потом все рассыпалось черными искрами и разом сгнуло.

VI

Когда проснулся Василий и высунул из берлоги голову, — кругом бело от холодного тумана. Он вспомнил про вчерашнее и боялся вылезти.

— Анна! — позвал Василий. «Вернулась ли? Или все еще там, у костра спит, не проснется?» — подумал он.

Василий знал, что в трех днях отсюда есть каменная сопка, где живет огненный змей — шайтан. Когда пролетает он, вались скорей в яму, не дыши, заткни уши мохом, заткни ноздри мохом, умри, — не заметит, прокатится.

Василий долго лежал в яме и когда вновь высунул голову — тумана не было. Он сразу узнал свое место: олени бродят, недалеко чум стоит, — и вылез из-под корневища.

— Омко-омко!.. Боллей-боллей!.. Помогай!.. — он зорко огляделся.

Все тихо было. Огненного змея нет. Вставало солнце. Он подошел к своему чуму. В чуме тихо.

— Анна!.. Ниру!..

Тихо. Не шайтан ли передал им? Василия забила дрожь. В чуме зарычало. Василий отпрыгнул и побежал к сосне. Шайтан! Из чума вышли две собаки. Они, насторожив уши, подбежали на робкий свист хозяина и, обли-

зывая морды, кинулись к нему ласкаться. Василий приободрился, зашагал к чуму.

Вплотную подойти страшно: пожалуй, там шайтан... Кончиком шеста он отпахнул полу чума и, присев, заглянул туда. В чуме полумрак.

— Анна!

Анны нет. Он метнулся к зыбке.

— Ниру!

Ниру нет.

Он пал перед своей меховой постелью и вдруг с звериным стоном опрокинулся на спину, словно его кто швырнул. Весь от пепла серый, волосы дыбом, глаза дикие — он вскочил и помчался к Чоччу. Бег его неверный, заполошный, зыбкий.

Дотемна искали Анну, охватив тайгу большим раскидистым кольцом, охрипли от крика, изморились и лишь ночью замкнули круг.

Костер заложили — огонь не греет, пламя яркое — свету нет. Сели рядом, согнулись, сжались. Холод кругом, душа вся в холоде. Голоса их тихие, руки дрожат, губы прыгают.

— Беда,— шепчет Чоччу и вздыхает.

— Чисто беда!..— шевелит губами Василий.

— Отдохнем мало-мало, опять пойдем,— шепчет Чоччу.

— Опять пойдем,— шевелит губами Василий. Он не понимает, что говорит Чоччу, и не слышит, что отвечает ей.

— Найдем, жалеть будем... беречь будем... — тоскливо тянет Чоччу.

— Будем... беречь будем...

Месяц выплыл холодный, белый. С речки, с мочажин туман ползет.

Анна едет на олене, самом крепком, самом быстром. Она в полном своем дорогом наряде, в соболях, серебре, бисерных висюльках. Лицо румяное, глаза блестят, губы улыбаются...

Анна едет на олене и всех спрашивает:

— Где дорога к милому?

Сосна мохнатой лапищей указывает: там! Белка хвостом крутит: там! Филин перед ней летит, нетопырь вьется: там, там! А впереди лесной хозяин-батюшка, Боллей на карачках ползет, бородой метет тропу, пятками пни

выворачивает. Анна смотрит на него, беспечально улыбается.

Ниру с ней. Она его очень любит. Бедный Ниру: с ним струсил беда. Если он молчит, это ничего. Он спит, он будет долго-долго спать. Его разбудит шаман, самый сильный, какой только есть на свете. Вот уже завтра, вот вчера, вот через месяц... когда золотой месяц умрет-родится, когда вольный месяц подопрет своим острым рогом небо, где большая-большая звезда стоит, божий глаз, тогда она придет к милому, к прежнему... Она скажет своему милому: «Вот я пришла!» Она скажет милому: «Вставай, зачем умер, зачем закопался в землю — ты живой!» Она скажет: «Вот Ниру... Мой Ниру спит... У меня нет Ниру... Когда течет из сердца кровь, хорошо быть возле милого... Тише, тише... Не будите Ниру... Тише!..»

Анна погоняет оленя, губы ее улыбаются, но слезы льются из черных глаз.

— Вот погоди, Ниру, вот приедем!.. Любишь ли ты мое молоко, Ниру? — Она остановила оленя и распахнулась. Она нажала грудь, из соска брызнуло ей в лицо молоко.

Комары густым роем жадно пили кровь Анны, она не замечала. Комары так насосались крови, что уже не могли слететь, и красными, кровяными, блестящими ягодками лениво унизали ее лицо, грудь, плечи. Как во сне провела Анна по лицу рукой, лицо и рука вдруг покрылись кровью. Кровь была свежая, Аннина, не застывшая. Она ярко-красными свежими подтеками, со следами раздавленных комаров легла на засохшей крови, вчерашней, ночной, что густо покрывала кисти ее рук.

— Ниру!.. Ниру!.. — воркует Анна и развязывает суму, где сын.

Ниру лежит смиренно — спит... Пусть спит, его разбудит страшный шаман. Встряхнет бубенцами, звякнет колокольцами, ударит в бубен — гром пойдет и грохот. Тогда мертвый Ниру, может быть, проснется.

Анна быстро сбежала в луг и вернулась с цветами.

— На, Ниру, играй!..

Но Ниру не открыл глаза. Он никогда больше не проснется.

Крепко завязала суму Анна, подвела оленя к пню, вскочила верхом и, малоумно улыбаясь, двинулась дальше, в тот край, где рождаются утренние зори, в ту сторону, где непробудно спит, зарывшись в землю, милый.

ЗОЛОТАЯ БЕДА

I

Еще октябрь не изошел, а Якутский край весь забросало снегом. Вечно мерзлая, лишь на аршин оттаивающая летом почва вновь превратилась в камень. Лену сковал мороз, и по ее белой глади стегнула вихлястая дорога. Из улуса в улус, с берега в берег пролегли тропинки, и вдоль их выросли зеленые вехи-елочки.

Вчера солнце встало «в рукавицах», а к ночи ударил мороз с дымом.

Но якут Николка мороза не боится. Что ему мороз? Хе-хе!.. В мороз человек крепче делается, ноги прытче, дорога короче. Хо! Зимой ноги сами мчат. Им только глазом моргни — куда, — они уже свое возьмут. Прытко-прытко, где шагом, где скоком, только елочки мелькают, летит, бывало, Николка, загребая снег кривыми своими, как дуга, ногами. Зимой знай нос береги: натри медвежьим салом, да шибко-то не выставляй, не то мороз, словно кошка когтем, шибанет по самому кончику, нос сразу белым станет, а придешь в тепло — клюква на носу выскочит.

Николка сидит возле своего чума на здоровом пнище, щурит раскосые глаза на красное, в рукавицах, солнце и сладко позевывает. А в голове его бродят думы о том, как бы хорошо вяленого оленьего языка отведать, да нельмовых пупков жирнущих всласть поест, да взять бы жирный-жирный кус говядины, да лепешек яичных, чтобы в масле жмыхали. Обожраться бы донельзя, а сверху все прикрыть крепким кумысом!

— Якши, якши, — сглотнул Николка слюну и зажмурился. В носу у него защекотало приятным сытым духом. Он сладко почмокал безусыми губами, прищелкнул языком и сплюнул.

Эх, не надо бы Николке глаза открывать! Открыл — все пропало, сытый дух кончился, а кривые тонкие ноги вдруг выступили из-под вытертой оленьей парки. Взглянул Николка на свою нищенскую одежду — вздохнул; взглянул на свою дырявую юрту — вздохнул поглубже. Перевел взгляд на дорогу: прытко-прытко, где шагом, где скоком, только елочки мелькают, движется его отец, старый якут Василий, такой старый, что уж... а все еще в себе крепкий дух держит.

Николка сердито сорвался с места и скрылся в чаще.

Ведь Николке сорок два года, говорят, стукнуло. А кто он,— ну, кто он такой?.. Человек он или так себе, вроде дикого оленя? Он так беден, так беден, что ни одна девка за него не пойдет. Зато у отца... ху-ху... деньжищ, что желтых листьев осенью! А оленей, а коров! Только крепок, старая лиса, ужимист: продаст сотни две голов, наострит лыжи в лес, в тайгу; отыщет потайное место, к куче золота еще пригоршни прибавит.

А дома чем батяка его кормит? Пошто такое — у Николки ребра вылезли, как у зачумелой собаки? Пошто Николкину мать безо времени на погосте закопали? Пошто Николкина сестра в чужих людях горе мыкает?

— Старая лиса!.. Шайтан!.. — шипит притаившийся Николка.

Ему вдруг необычайно захотелось есть. Надо пойти в юрту — наверное, отец пьет там вино. А когда он пьет, о-о!.. тогда, может быть, баранью ногу даст.

— Ты всегда один пьешь. Ты должен меня угостить: я твои стада пасу... И я твой сын.

— Псс!.. — презрительно просвистал сквозь зубы старик и проглотил добрую чепурушку водки.— Когда Николка станет умным, он будет богатый... Когда Николка будет богатый, он сможет пить сколько влезет...

Николка опустил на земляной пол, между пылающим камельком и дверью, ведущей в огромный хлев. Дверь настезь. Из хлева несло навозом и парным молоком.

— Николка тогда будет богатым,— чуть дрожа, сказал он,— когда укараулит, где его отец прячет золото.

— Дурак,— сердито сказал старик, и задрал вверх скуластое лицо, забулькал из бутылки.— Самый дурак!

— Может быть, и дурак... Но не дурашней сына моего дедушки,— съязвил Николка, косясь на вытянутую журавлиную шею отца, по которой прыгал синий, в пупырышках, кадык.

Николка, глотая слюни, хотел еще кольнуть отца каким-нибудь обидным словом и уж рот раскрыл, да в это время корова просунула из хлева голову и лизнула Николку в самый нос.

— Ксы! — крикнул он и утерся рукавом.

Отец закатился дробным смехом и, протирая кулаками глаза, засюсюкал:

— Очень хорошо умыла тебя корова!..

— Хе-хе!.. — зло ответил Николка.— Ты хорошо выпил, а я хорошо закусил коровьим языком... Пссс!

Старик опять захохотал, потрепал по плечу усевшегося рядом Николку и достал из сундука четверть.

Николка жадно проглотил поданную ему чепурушку водки и почамкал губами.

— Самое слядко,— сказал он по-русски. Отец угостил его еще.

Николка скоро охмелел. Он то хохотал и затягивал песню, то жаловался на свою судьбу и горько плакал:

— Кто я? Корова ли, олень ли? Пастух я твой!..

Старик протяжно рыгнул, покрутил пальцем возле своего лба и сказал:

— Вот здесь у тебя заслабло... А то я тебе сказал бы.. Хе-хе-хе...

— Чего толковать-то!.. Ты богач, Василь Иваныч... Я бедняк, Николка. Что зря болтать... Вот скажи, где твое золото..

— Стану подыхать — скажу.

— Когда ты подохнешь?.. Не скоро еще ты подохнешь... Надо правду говорить... Чего толковать-то!.. Кабы не съел твоей души шайтан, тогда бы...

— Ну? — вплотную придвинулся к нему старик и хрипло задышал.

— Ты золото один жрешь... Смотри, лопнешь!.. Надо правду толковать... Околеешь — неужто с собой возьмешь?

— Не возьму... и тебе не дам!

— Тьфу! — плюнул Николка.

— Тьфу! — плюнул старик.

Потом, подобрав свои жирные губы и досадливо сморщившись, старик сказал:

— Хорошо, когда золото есть. Лучше, когда нету... Брось!.. Не проси, не надо...

— Пошто толкуешь!.. Худо толкуешь!.. Надо!.. — крикнул Николка и ударил кулаком по туесу с маслом.

— Эх, Николка!.. Большой ты дурак, Николка... Пропадешь с ним, Николка... с золотом...

— Я и так пропал... Чего там? Ты погляди, с тебя сало топится. Я худой, как вяленый коровий хвост... У тебя шуба, как дом, а у меня что?.. А?.. — Николка скривил рот и всхлипнул.

— Кабы у тебя был тоньше лоб, мои слова влетали бы в твою голову, как в улей пчелы...

Водка мало-помалу убывала. Отец и сын говорили теперь оба враз, и их пьяный говор переходил порой в пронзительный бестолковый крик. Они то крестили боль-

шим крестом вокруг себя, чтоб прогнать сновавших тут шайтанов, и свирепо плевали на них, попадая друг другу в лицо, то вдруг вскакивали, схватывались за руки и, пристукивая подгибавшимися ногами, топтались у костра и гнусаво выкрикивали:

— Ехор-ехор-ехор-ехор!..

Но, утомленные, вновь опускались на землю и тяжело пыхтели, отирая пот.

Уж огонь в камельке потухать стал — якуты пьют. Угли чахнуть начали — пьют. Поседел костер от пепла, ветер чум выстудил — кончили якуты пить. Как сидели, сложив ноги калачиком, так и повалились на бок, и, соткнувшись головами, захрапели.

Долго спали отец с сыном. Коровий рев и овечье бляение не могли прервать их сон. Не слышал Николка, пастух отцовских стад, как баран бодал его наскаком в спину, не слышал, как пролезшие в чум коровы одурело мычали над ним, прося корму и поила. Разбудил Николку стон отца. Страшно, дико стонал отец.

Николка вскочил, отпихнул прочь пустую четверть, крикнул:

— Ты!.. Старик!..

— Вина!.. Скорей беги... Смерть!

Николка подхватил два покотившихся золотых, выскочил на улицу и заработал ногами к селу.

Когда Николка прибежал назад — отец был мертв.

У Николки поднялись дыбом волосы, зарябило в глазах, он опрометью кинулся из чума.

Прытко-прытко — только елки мелькают, побежал опять в село, со страхом озираясь — не гонится ли вслед ему мертвец.

II

Вот уж два года прошло, как схоронил Николка отца.

Живет он на краю села, в большом пятистенном, под железом доме. В одной половине — торговая лавка, в другой — он с сестрой. Торговлю ведет сестра, а Николка все время ездит по улусам, высматривает себе хорошую бабу и часто запивает горькую.

Жиру в нем прибавилось, походка изменилась, серое лицо посвежело и стало лосниться.

Хорошая пошла у Николки жизнь. Тряхни кошельем — что захочешь и на тебе!.. Тряхни кошельем, звякни золотом — любая девка тут как тут.

Николка во вкус вошел. Шуба у него лисья, доха оленья. Пальцы в золотых перстнях, часы с музыкой.

Счастливым якут Николка! Видно, когда он родился — медведь в берлоге рывкнул. Да как же не счастливый?

Когда кончится у Николки серебро да золото, пойдет он потайным поздним вечером сам-друг с лопатой, разыщет тайную, заповедную сосну кудлатую, колупнет раз-другой — ему и будет!

Впрочем, не всякий-то раз можно отмыкать заповедный отцовский клад; как бурундук, как белка запасает себе на зиму в дупло орехов, так Николка запасался деньгами с осени, когда густой листопад надежно покрывает землю. А то... О-о-о!.. Людской глаз зорок. Только оплошай, только покажи след — загребушая челоуечья лапа живо опорожнит!

Жить бы да жить Николке. Ан — уставать стал, что-то в сердце завелось: червяк не червяк, шайтан его знает что — так, пакость какая-то, скверность! Скучать Николка начал.

— Швырвяк точает... нутро сосет... — жаловался он попу Степке, отцу Степану, священнику. — Скушна!

— А ты бы, Никола Васильич, господу поусердствовал... Вот домик бы причту новый схлопотал... Да и так... деньжонками... Народ мы многосемейный... Отчего ж это скука на тебя напала? Не перед добром это... Жертвуй!

Жертвовал Николка и деньжонками. Много жертвовал, а не помогло.

Как сказал священник, так и вышло: заглянула в Николкину жизнь беда.

Родили от Николки, одна за другой, две русских женщины: девка да вдова. Может быть, и не от него, как знать? Но поп Степка, отец Степан, священник, сказал, что от него:

— Жертвуй, Никола Васильич... От тебя!.. Несомненно от тебя... По всей видимости от тебя!

Пожертвовал Николка, много пожертвовал. Вдовица-то ничего себе, живет, ребенка пестует, муку, сахар и все прочее чередом получает... А вот с девкой горе. Задушила она своего ребеночка, а ночью, в потайную полночь, зарыла его тайно в хлеву, под навозом. Зашушукалось село, всполошилось, начальство дознаваться начало.

Это ничего. Золотом всякий грех прикрыть можно. Прикрыл Николка свой грех золотом.

Грех прикрыл, а боль по сердцу разлилась шире. За-

скачала пуще Николкина душа, пуще Николка пить стал.

Сестра плачет, ничего с братом поделывать не может: и свечки Николе-угоднику ставит, и святой воды брату в вино подливает, и шаманов кличет, а толку нет.

Главный шаман долго шаманил, долго в бубен бил, двух оленей заколол, оленьей горячей кровью помазал пьяного Николку и сказал:

— Тебя шайтан мучает...

— Я знаю, что меня мучает,— ответил Николка. Рассудительно так ответил, ничего что выпивши,

Остепенился было, да опять...

До того допился, что виденица началась.

Едет он как-то верхом на олене в улус, чтобы за поглянувшуюся девку калым заплатить — выкуп. Трезвый едет, дня три не пил, в полном разуме. Вдруг слышит сверху:

— Куда ты, дурной, едешь?

Вскинул голову: сидит над ним на лесине ворон, смотрит на него бисерным глазом, говорит:

— Гляди-ка, дурной, на ком едешь-то!

Взглянул Николка, да с седла кубарем: медведь под ним!

— Шайтан! — гаркнул Николка и без памяти — домой.

Деньги сестре ручьем текут, торгует шибко. Надо бы радоваться, а где тут... Сохнуть стала сестра.

А якут Николка все-таки отыскал себе жену: самую молоденькую тунгуску, красавицу Дюльгирик высватал. Большой калым за девку дал; когда тащил — золото карман оттянуло. Отец богатству вот как рад — нищий. Но девка... о-о-о!.. Дюльгирик цену себе знает. За старого Николку, у которого ноги как дуга, а под носом всегда висит капелька, не выйдет. Она лучше грудь свою ножом распорет и отдаст сердце любимому.

Но золото — сила.

Привез Николка свою Дюльгирик богатым поездом: двести оленей в караване было. Украсил ее комнату дорогами мехами.

Плакала Дюльгирик.

Подарил ей соболью в серебре шапку, чеканный браслет золотой, шубу черно-бурых лисиц. Дюльгирик плакала и все смотрела на восток, в ту сторону милую, где остался близкий ее сердцу молодой тунгус.

— Что же ты плачешь, невеселая?

Дюльгирик молчит, все молчит, не хочет обласкать Николку журчащей своей речью.

Однажды он, пьяный, ввалился в дом и горько спросил:

— Плачешь?

Дюльгирик плакала.

Николка вынул из кармана кису и вытряс в подол жены много звонкого золота.

— На, Дюльгирик!.. Вот как я люблю тебя, Дюльгирик.

Дюльгирик, не подымая глаз, чуть улыбнулась и, как угас закат, пошла за водой, накинула на лебединую свою шею веревку из конского волоса и повесилась.

Николка скрылся в лес и пропадал там целую неделю. Потом пришел, избил сестру до полусмерти и шатался по селу весь день словно дикий; все от него прятались.

Пока пропадал в тайге, опять беда стряслась. Не так чтобы большая, а все ж... Взломал какой-то лиходея у Николки амбар и утащил много всякого добра. Очень чисто обделал: не стукнул, не брякнул, злых собак не взбудоражил,— знать, человек знакомый.

Мало-помалу дознался Николка, кто таков. Оказалось — сельский староста, Гришка Ложкин.

— Это моя мука!.. Это моя пушнина!.. Видишь тавро мое, мета,— сказал Николка, заглянув при свидетелях в амбар старосты.

Пожаловался на него Николка, в суд бумагу подал,— бумагу ему один политик написал, хорошо написал, складно.

— Я тебя пристукну!.. Ты что, тварь? — пригрозил ему Гришка Ложкин.— Вот донесу на тебя, что мне взятку дал... За что ты мне двести целковых дал?.. А?.. Подучил девку ребенка кончить, да и... А отчего, спрашивается, твоя баба задавилась? А?

И послал на него бумагу встречно.

Как ни старался Николка подкупить суд деньгами — не приняли судьи, засадили Николку в городской острог. Полгода просидел за решеткой, много кой-чего передумал и домой вернулся к рождеству.

Пока сидел в тюрьме, сестра померла, дом заколотили, лавку разграбили. Где управы искать? Дома не жалко, товара не жалко, сестру очень жалко сделалось. А тут Дюльгирик всплыла в памяти. Тяжко. Заплакал Николай.

Когда ударил колокол, он пошел к вечерне. Еще никого в церкви не было. Сторож оправлял свечи. Поставил якут перед образами свечку, бухнул в землю, зашептал: — Никола-бог, батюшка... Давай мне настоящую башку... Давай мне хорошую башку... Дурак я!.. самый дурак...

Николай-бог смотрел с образа на якута грозно.

— Не сердчай, Николка-бог... Я тебе тыщу оленей пригоню... Только ума дай!

В церкви Николка не остался: какая-то сила влекла его в тайгу. Он купил еще две рублевых свечки, и когда отходил от образа, Никола-бог смотрел на него милостиво, добродушно.

— Беда!.. Прямо беда!.. — бормотал Николка, шагая вдоль улицы, и крутил головой.

— Чисто беда!

Он миновал свой заколоченный дом, вышел за село, сел на заporошенную снегом лесину, осмотрелся. Возле него шумела тайга, а впереди лежала в сумраке бесприютная речная ширь. Только там, где село, приветливо помигивали далекие огоньки. Николка взглянул на них, и ему сделалось скучно, одиноко. Он стал перебирать в мыслях всю свою жизнь и ничего не нашел в ней, кроме беды и горя. Ему вдруг захотелось удариться с разбегу об сосну головой или схватить веревку, да... как тогда Дюльгирик...

«Хорошо, когда золото есть. Лучше — когда нету», — припомнил он речь отца и, зашурившись, засопел.

Он долго задумчиво сидел, потом взглянул вверх, умилился: густо на небе золотых звезд-червонцев; это праведный Тойон для людей старается, золотую беду с земли тащит да гвоздями приколачивает к небесам. Должно быть, давно работает, вон какую протянул дорогу поперек всего неба, а пустого места все еще много. Но великий праведный Тойон каждую ночь трудится. Когда перетаскает все золото, на земле не останется греха, не будет обиды ни человеку, ни зверю, ни дереву...

— Так, так... Хорошо ты надумал бог-батюшка... — сказал одобрительно Николка и добавил: — Ты — молодец!

Вот только шайтан мешает: взлетит ввысь лешевой гагарой, долбанет носом в золотую звезду, покатится по небу червонец, да раз! — богачу в карман... Плохо!..

— Ах ты беда! — причмокивая, досадливо шепчет якут Николка. — Не надо бы богу дремать... не надо бы!..

Он быстро встал, сбросил шапку, приставил ладони дудкой ко рту и, запрокинув голову, громко крикнул:

— А ты старайся пуше!.. Я тебе буду подсоблять... Ты знай приколачивай... Эй, Тойон!

Николка круто повернул и зашагал на огонек к селу.

— Дай, друг, лом да лопату,— постучался он к мужику-соседу.

— На что тебе?

— Пожалуйста, давай... Шибка нужно... Пожалуйста, давай!

Медленно, надсадисто пробирался Николка к заповедной кудластой сосне своей. Долго он бился у сосны над сыпучим глубоким снегом, еще дольше над промерзшей землей, и вот вытащил кожанную суму, стал разжигать костер. Отогревая руки, он зло на нее косился. Потом выхватил отточенный, с чернем из мамонтовой кости, нож и скакнул к суме с звериной яростью, будто к попавшему на овчарне волку.

— У, шайтан! — взвизгнул Николка и саданул по ремненным шнурам ножом.

— Шайтан!.. Самый шайтан! — он подхватывал трясущимися пригоршнями золото и вновь сыпал в суму. Золото, звеня, смеялось над Николкой.

— Врешь, шайтан!.. Врешь!.. — сверкая глазами и стискивая зубы, шипел Николка.— Ты шайтан, прямой шайтан!.. Ну-ка!.. Пойдем-ка... Ты — беда!

Он взял под пазуху суму и, перегнувшись, потащил к реке.

В глазах у него все задрожало, закачалось, перед ногами кто-то бросал горстями червонцы, а вслед летел дикий хохот, и брякали шаркунцы с бубенцами, словно сзади исправник на тройке мчал.

— Врешь, шайтан!.. Знаю!.. — озираясь страшными глазами, громко кричал якут, чтоб прогнать вставшую со всех сторон нечисть.

— Стой, Николка! — скомандовал он сам себе и остановился у проруби.

— Бросай, Николка!

Он приподнял грузную суму, поустойчивее укрепился и, раскачав ее, швырнул в прорубь.

Недовольная внезапно прерванным сном, вода испуганно ухнула и заплескалась. И вместе с ней всколыхнулись, задрожали, заструились змейками, отражаясь в воде, звезды.

И не вода это ухнула, не звезды заиграли в ней: чер-

ные шайтаны подняли возню у проруби, блеснули в темноте чьи-то горящие глаза, завывали, затаивали волки, свист пошел над речной пустыней. И кто-то черный шагнул к нему.

Якут подался в страхе назад, сорвал с головы шапку и, пав на снег, неистово заголосил:

— Бог Никола, заступайся!.. Эй, Никола-матушка, подсобляй!..

Вмиг все смолкло. Якут встал, глубоко вздохнул и часто-часто закрестился, читая вслух дрожащим, срывающимся голосом одному ему ведомую молитву.

Огляделся кругом: тишина и темень. Посмотрел на прорубь — вода дремала. Николка хихикнул. Сделав строгое лицо и заложив руки назад, он важно, вперевалку, подошел к проруби и с ненавистью плюнул в воду:

— Нна!!

Потом прищурился на небо, провел взором по золотопыльному звездному пути и, гордо ткнув в грудь пальцем, крикнул своему богу:

— Я — тоже молодец!

На другой день был праздник. Якут Николка весело похаживал по селу. Как ни соблазняли его крестьяне по праздничному делу выпивкой — ничего не вышло.

— Шабаш!.. Кончал!.. Все кончал, — улыбаясь, говорил Николка. — Золотой беда бросал... Много-много беда с земли уехал... Борони бог. Совсем кончал!..

Ничего не поняли крестьяне. А как пришел в гости к батюшке, тот понял, стал упрекать его:

— Ты бы, Никола Васильич, бедным мог раздать... Не одобряю... Дубина ты!.. Чурбан!

— Ах, поп Степка, отец Степан-священник, — ответил якут. — Чего ты смыслишь?.. Ты, бачка, тыфу смылишь... Ведь золото — беда, прямой беда!.. Деньги — беда, прямой беда!.. Пошто беда раздавать?

— В тюрьму тебя опять!.. Орда чертова!.. Говори, куда дел?!

— Псс!.. Ах, бачка... худой твой башка! Дурак есть...

ЦАРСКАЯ ПТИЦА

Старик тунгус весь день без передыха тайгой бежал и все оглядывался: не гонится ли за ним страшная болезнь.

И не видно было, где она, только чувствовал старый Илейко, что заползает в него змеей что-то черное, в голову ударяет, по всему телу огнем палит.

Шамана надо, скорее шамана кликать, пусть выгонит страшную болезнь. Илейко отлично знает: она лицо исключает, глаза выпьет, накатится — задушит.

А как добежал до своего стойбища, упал на оленью шкуру и такое заболтал без разбору, что у сына с женой волосы зашевелились: даром что молодые, им тоже эта хворь очень знакома — лет пять тому перевертела весь народ в тайге.

Ночь без звезд была, небо темное, над тайгой тучи плыли, шумел ветер вершинами.

А там, в болотине, что у речки, в калтусе, шайтаны — таежные дьяволята — гукали. Им любо в такую темень поскакать, покувыркаться: стрекочут, посвистывают, хохот подняли.

Одноухая сучка Бойда оценилась, не любит шайтанью свадьбу, хвост промеж лап поджала.

А из болота гук да гук. Ощерила Бойда зубы, тявкнула да прямо под ноги Ивашке.

— Геть!

Надо оленей скорей собрать, да с этого места, куда глаза глядят, чтоб хворь не догнала да не слопала вместе с бабой.

Ивашка зачерпнул из болота в берестяное ведро воды и просунул на рогульке больному отцу в чум. Баба оленины вяленой в тряпицу завязала. Ивашка поддел узелок рогулькой и тоже в чум, под самый рот старому Илейке.

— Эй, отыркон — старик! — крикнул Ивашка и заглянул в шелку чума.

Старый Илейко лежал вниз лицом, тяжело мычал и чавкал губами. Перед ним теплился, угасая, костер.

— Пойдем скорей, — заторопилась баба.

Солнце еще не проснулось, — знать, глаза росой промывает, знать, в зарю рядится, а свет уж выпил тьму: засерело кругом, туманы закружились, дятел топором стучит.

Принюхивается Ивашка — грибами пахнет, мокрым

мохом; принохивается Ивашка, куда путь править — смолистый ветерок трясет — обсушивает хвоя. Хорошо бы тут стать, на поляне, отдохнуть. Поляна вся в цвету, красной земляникой, как кровавым дождем, обрызгана, ключик течет, такой светлый.

— Чего стоишь? Пойдем! — кричит баба.

Дальше пошли. Солнце сквозь вершины смотрит. Наступило утро, Ивашка вздрагивал и хватался за голову.

— Ты чего? — встревожилась жена.

— Голова...

— Ой! Надо дорогу заломать, а то нагонит.

— Ие, — подтвердил Ивашка и, прикрякнув, срубил острой пальмой елку. Елка упала поперек тропы. Он сделал в ней расщеп и стал подманивать собаку.

— Бойда, нох-нох...

Бойда поджала ухо — не поглянулся ей хозяин — и только хотела в сторону, а баба скок:

— На, держи... тащи!

Собака заскулила. Ивашка сгреб ее, сунул в расщеп собачий хвост и крепко-накрепко скрутил концы вицей.

Бойда визжала, дергалась, выла жалобно: чуяла Бойда, кинут ее люди. Взглянул на нее Ивашка: черные глаза ее стали влажными, плачущими, как у человека.

— Ты самый друг. Кто верней тебя? Карауль, не пускай болезнь, лай пуще, — в последний раз погладил он собаку.

— Айда! — крикнула баба.

Караван дальше двинулся.

И под гору спустились, и на лысую вершину взобрались, а собачий страшный вой разрывал тайгу.

— Ой ты, как сучает... Пойдем скорее! — зажала уши баба. Двадцать дней тунгусы тянулись. Далеко ушли. Болезнь не нагнала, сзади осталась.

Пождали-пождали старика — не пришел. Ну, значит, слопала его болезнь. Это ничего, зато сами живы.

Осень проходила с красным листом, с желтым листом, с морозом. Травы сединой взялись, зори были в золоте, с севера белые тучи наплывали, и уж на вершинах каменных сопок выпал снег...

Набрел на Ивашку хороший его товарищ, Чумго, белку промышлял, и говорит:

— Вот я у торгового был, чудо видел.

Ивашка зачмокал губами, с любопытством развесил уши.

— Из города птицу привез торговый. За морем, говорит, такая птица водится. Пятух... Ну и птица. Под

мордой борода трясется, на башке гребень. Песни поет. Громко-громко!

— Продажный, нет? — сплюнув сквозь зубы, спросил Ивашка.

— Нет,— уверенно сказал Чумго.— Уж очень занятная птица. Ночью поет. Как схлопает щрыльями, да «ку-ри-ку!» — так все шайтаны, сколько есть на свете, сразу скрозь землю проваливаются. Страх как бояться.

— А может, продажный? — спросил Ивашка, и глаза его заблестели.

— Однако нет,— раздумчиво проговорил Чумго.— Я так думаю, она и хворь у русских прогоняет: как гаркнет «ку-ри-ку!» — хворь разом из избы вон, да и бежит без пере-дыху, покамест на кого из наших не набросится.

— Ие,— радостно сказал Ивашка.— Такую птицу надо купить. Как такую добрую птицу не купить.

Ивашка далеко проводил в тайгу своего друга Чумго. Всю дорогу разговаривали о неслыханной птице и решили: чего бы ни стоило — добыть ее.

Торговый человек, Петр Абрамыч Трындин, уж седьмой год живет на вершине речки Бирьякана, в глухой тайге: до ближнего села и то верст полтыщи, как не больше. За все время лишь два раза выезжал в село — очень труден путь. Сначала один жил, потом жену приплавил, приказчика Спиридона с семьей, обзавелся хозяйством: корова была с лошаденкой, кошка, шесть собак. Бывало, придут тунгусы за покупками, только языком прищелкивают, удивленно разглядывая лошадь и корову,— впервые видят.

— От так зверь!

А прошлой весной привез торговый молодой горласто-го петуха и двух молодок. С курицами как-то веселее стало: квохчут, яйца несут, цыплят выводят.

Зима отлютовала, весна идет, понесло дурманым хвой-ным духом. Но приказчика Спиридона, долгобородого, на кривых ногах мужика, ничто не радовало: баба всю зиму хворала, лопата-лопатой сделалась, а с весны их ребенок все животиком скучал, да на второй день пасхи и... приш-лось гробовину ладить.

— Не тужи. Еще трое осталось у тебя, хватит,— утешал его хозяин. А хозяйка, Домна Степановна, обнявшись с Дарьюшкой, сидели на завалинке и выли в голос. Горько без священника зарывать, без отпеванья. Вот она, тайга. Вот оно где, горе-то.

И вечер прошел, и ночь. Гробик в чистой комнате поставили: по углам зеленые пихты укрепили, на пол набросали хвой.

В ночь весенним туманом обволокло тайгу, и утро было в тумане.

Спиридон могилу на угорине под вековечным кедром рыл.

Слышит сквозь туман переливчатый гортанный крик, словно песня:

— А-гы-ый-ле! А-го-о-ой!

Прислушался, бросил лопату да бегом к хозяину.

— Орда идет!

— Ну! Неужто тунгусы? Ах, черт те дери. Вот беда,— засуетился Петр Абрамыч, и его румяное лицо побагровело.

— Малютка-то! Гробик-то!.. Ах ты, боже мой.

— Эй! Живой ли? Петрушке-ей!— звенели, приближаясь, голоса.

— Живой, живой! Иди!— закричал торговый, приставил ко рту сложенные щитком руки.— Ах ты... Как же быть?— обратился он к приказчику.— Прикрой плотней дверь-то в комнату.. В кухне почаюем. А то увидят гроб, сбегут.

— Все ли хорош? Здоров ли?— показались Ивашка с Чумго.

— Все благополучно, заходите,— улыбаясь, пошел им навстречу.— А у вас как?

— Плохо,— сказал печально Ивашка.— Вот батько сдох маленько... совсем кончал. У Чумго брат сдох да matka. Плохо.

— А-я-яй, а-я-яй,— притворно крутил рыжей бородой Петр Абрамыч, шагая с тунгусами к дому.

На столе кипел самовар. Домна Степановна плавала вперевалку по кухне с тарелками, бутылками, а у печки копошилась с заплаканными глазами Дарья.

— Якши,— сказал Ивашка, нюхнув вкусный воздух, и закрестился на бутылку.

— Ну с праздничком,— сказал торжественно хозяин.— Пасха ведь, праздник. На-ка, выкушай водочки. Христос воскрес!

Распоясались, вспотели. Вино крепкое. Пили молча. В головы хмельной угар вползал.

Вдруг Чумго подмигнул Ивашке и заголосил: — Куре-куку-у!

— Пытух! — прыснул смехом Ивашка. — Кажи, пожалуйста, давай сюда птиса! Купить будем. — Он вытащил из-за пазухи большой кожаный кисет и звякнул. — Во!

У торгового глаза зашмыгали, как мыши в клетке. Он подбоченился, перекинул ногу на ногу и, глядя в сторону, забарабанил по столу.

— Что ж... можно. Эй, Дарья, поймай-ка скорей петуха! Можно и продать. У нас заветного ничего нет, — равнодушно тянул он, но голос его вилял.

Тунгусы нетерпеливо задвигались, закашляли, поглядывая вслед скрывшейся кухарке.

Вот раздалось тревожное клохтанье, отворилась дверь: крупный, красивый петух, прыгнув с руки Дарьи, гордо огляделся и пустил горлом крипунок.

— Йе! — восторженно закачали головами тунгусы и захохотали, когда петух вдруг клюнул проползавшего таракана.

— Эй, Петрушка! Вели: пущай гаркат. Ку-ре-ку!

Петух захлопал крыльями, привстал на цыпочки и так громко скукарекал, что тунгусы разинув рот схватились друг за друга.

— От так рявкат. Ровно медведь, — испуганно шептали они.

— Вы чего ж, чудачки, боитесь? На, гляди. Он смиренный, — поднес Петр Абрамыч петуха.

Петух вдруг клюнул желтую бусинку на груди Ивашки.

— Заест!! — блажью заорал Ивашка и стукнулся затылком в стену.

Купец захохотал:

— Что ты, бог тебя люби!

— Вели: пущай опять гаркат! — храбро крикнул Чумго.

— Ха, вели. Ведь он не человек. А вот он ночью запоет так запоет... Как полночь, так и хватит.

— Неужто правда? Ах ты... — причмокнул Ивашка.

— О-о, да еще как! Всем чертям погибель от него, — хвастал торговый. — Ну сколько дашь?

— Много дам... Тайга больно надо такая птиса... Борони бог. Больно шайтаны долят, оленей пугают, хворь пущают. У-у-у... — Ивашка даже закатил глаза. — Сколько хошь бери — птиса давай. Шайтана гонять будет.

— Ну дак чего. Клади десятку серебром да парочку собольков, што ли, — загнул купец и с опаской посмотрел на дверь к покойнику.

Тунгусы шепотом совещались.

А петух, взлетев на скамейку, всхлопал крыльями, заголосил, — и это решило все.

— Давай, друг! Пожалуйста, давай!

— Так и быть. Берите. Царский петух... Прямо царский. Только уж для вас. От самого царя.

— О-о? Неужто?! Давай скорей!— еле дыша звякнул Ивашка денежной мошной.

В эту минуту из комнаты, где гроб, распахнув дверь, выбежала босоногая Акулька, Спиридона-приказчика дочь.

— Закрой дверь!— бросил торговый.

Но Ивашка успел увидеть стоящий гроб. Дико, как под ножом, он вскрикнул:

— Плут!! Обманщик! Хворь у него! Чумго, убегай!— вскочил на стол, выбил ногами раму и выпрыгнул за окно. За ним — ополоумевший Чумго.

Дробно стуча сапогами по лестнице, торговый кинулся им вслед.

— Дружки! Стой! Ведь маленький, маленький! От животика! Не бойся!

Сверкая пятками, тунгусы мчались во весь дух, с треском, с хрустом, с диким воплем.

Запахавшийся Петр Абрамыч ввалился в дом, как грозовая туча.

— Дьяволы! Погубили!— заорал он и грохнул по столу.— Ведь теперь они по всей тайге разблагостят! Ни один черт носа не покажет!— Он схватил забытую Ивашкой рваную шапчонку и с размаху хлестнул ею приказчика.— У-у, дьявол!— и с яростью бросил ее в лохань.

У приказчика хлынули слезы, он закрыл ладонями лицо, повалился на стол, всхлипнул:

— Петр Абрамыч, побойся бога... Пасха... Горе у меня... Младенчик.

— Пасха? Горе? А у меня радость? Плясать, может, велишь, а?!— Он сорвал с гвоздя ружье, прицелился в стоявшего на одной ноге петуха и, выстрелив, снес ему голову.

Обезглавленная царская птица долго летала по избе, обливая пол кровью.

ЖУРАВЛИ

I

Ах, и ночи бывают ранней осенью — задумчивые, мудро-грустные. Крепко спят живыми снами осиротевшие леса, нивы, луга, воздух. Но земля еще не остыла, в небе стоят звезды, и через широкую реку протянулся зыбкий лунный мост. На середине реки большая отмель, и через голубоватый полумрак слышны долетающие оттуда странные крики журавлей. Осенние птицы крепки, сыты, веселы и перед отлетом в теплый край затеяли игру.

— Танюха, чу!.. Пляшут... — сказал Андрей.

— И то пляшут,— ответила девушка.— Давай в лодку, поплывем.

— Не подпустят. Сторожкие они. Вот с ружья бы.

Горит костер. Татьяна в горячую золу сует картошку.

Черная шаль накинута на ее льняные волосы, густая прядь их свисла через загорелый лоснящийся лоб к голубым глазам.

— Я видал, как они пляшут,— говорит Андрей, вырезывая на ольховой палке завитушку.— В прошлом годе с дедом лучили рыбу. Ну и тово... Еще русалку видели. На камне косы плела... Голенькая... А красивая, вроде тебя. Я тебя, Танюха, разок видал, как ты купалася.

— Ври,— полные губы девушки раздвинулись в улыбку.

— Видал, видал... Все на свете высмотрел. Рубашонку хотел украсть.

— Бесстыжий.

Андрюха потянулся за угольком, трубку прикурить, но вдруг опрокинул девушку и с жаром стал целовать ее. Девушка вырывалась, вертела головой, не давала губы и, придушенно хихикая, шептала:

— Услышит... Брось... Не балуйся...

По ту сторону костра зашевелилась нагольная шуба, и вырвался тяжкий вздох. Андрей отскочил прочь, Татьяна тоже поднялась. В ее глазах горела страсть, руки дрожали. Андрей, пошатываясь, громко сопел.

— Чу, пляшут... — сказал он. Черные цыганские глаза его не отрывались от алых раскрытых губ девушки.

Ночь, костер, луна и журавлиные крики за рекой опу-

тали девушку и парня пьяным хмелем. Земля качалась под их ногами, как на реке ладья, и быстро побежавшая в жилах кровь неотразимо толкала их друг к другу.

— Пойдем к воде... под обрыв... Журавлей смотреть, — жег ее сердце Андрей.

— Не пойду. Ты целоваться полезешь, — улыбочиво шептала девушка, придвигаясь к парню.

— Истинный бог — нет. Пойдем.

— Врешь. Станешь.

Андрей, подмурлыкивая песню, зашагал к реке. Татьяна проводила его долгим цепким взглядом, постояла, окликнула:

— Настасья... спишь?

Нагольная шуба не шевелилась. Девушка тоже замурлыкала песню, щеки ее то вспыхивали зноем, то бледнели. Она вытащила из золы картошку, забрала ее в подол и, не оглядываясь, побежала свежей росистой тропкой.

Стало безголосо, тихо у костра. Беспризорный, брошенный огонь вдруг заленился, ослаб и задремал. То здесь, то там позвякивали боталами стреноженные лошади. Сорвалась звезда, осияв на миг голубую ночь.

И сильной мускулистой рукой рванула с себя шубу вскочившая Настасья.

— Дьяволы!.. Карауль их... — бросила она гневным голосом, огляделась и, как молодая кобылица, крутобедро помчалась к обрыву, крича:

— Танюха!.. Танька!.. Бабушке скажу!..

II

Риги осенью топят жарко: надо успеть к утру просушить снопы. А кто ей будет помогать? Кто привезет из лесу смолья, кто завтра подсобит молотить? Она одна. Второй год идет, как ее мужа убил под Ямбургом злодей Юденич-генерал. Кто поможет молодой Настасье жить?

Поздняя, после третьих петухов, седая ночь. В риге жарко. Андрюха-парень, ее сосед, снял меховую безрукавку и ворошит в печи дрова. Пахнет дымком и дурманым потом ядреных ржаных снопов.

— Спасибо тебе, Андреюшка. Нет-нет да и подсобишь мне, сироте.

— Вот еще подброшу истоплево, да и будет... Спать пойду. Эти снопы снимешь, другие посади.

Настасья сидела возле печки на снопах грустно и не отвечала. Короткая ситцевая кофта колышется на ее высокой груди как живая, и крепкие щеки цветут,

— Только чур, уговор: Танюхе молчок,— говорит дрожащим голосом Андрей и щурит глаза на грудь Настасьи.

Настасья задышала пуще.

— Боишься? — насмешливо протянула она.

— Боюсь,— сказал Андрей и привычной рукой опрокинул Настасью на снопы.

...Было в риге очень жарко, душно. А на просторе стоял туман и сквозь туман бельмасто намечался месяц в широком круге.

Когда Андрюха шел домой, покрытая инеем трава шуршала. Через гряды, от сладких кочерыжек, из тумана в туман стрельнул длинноухий заяц.

— Улю-лю, косой — заорал Андрей.

Близился рассвет. Творя молитву и сгорбившись, шла за водой к колодцу Татьяна бабка. Кое-где желтели в избах утренние огоньки.

III

Михайлов день пришел с большим снегом. Село справляло съезжий престольный праздник восьмого ноября по старому календарю. Много пива, самогонки, всякой снеди,— песни, плясы, ругань, кулаки и колья.

Гуляла вся сельская знать, даже сам председатель исполкома прикатил из соседнего села. Священник отец Семен после обедни обходил с крестом все по порядку избы, к вечеру его водили под руки, самосильно уже стоять не мог, служил молебны на коленях, сидя и кой-как. К ночи водили под руки по почетным хозяевам и захмелевшего председателя исполкома. К утру и председателя и попа укладывали в крайнем, под железной крышей, доме на одну кровать.

— Как бы греха не вышло,— тыкаясь носом, бубнил хозяин.— С попом вместе вроде зазорно, до кого хошь доведись...

— Ни хрена, сойдет... — мямлили гости.— Он, кутья, советскую власть эвон как на словах-то превозносит.

Веселей всех у молодой вдовы Настасьи. Ей надо веселиться, надо парней да неженатиков прельщать: время уходит, бабье хозяйство — не хозяйство, и сердце бьется под холстом, как птица.

Встань, молодчик, прибодрись.
Ай-люли, прибодрись! —

гремели крепкие молодые груди. У кривого kota звенит в ушах. Вздрагивают золотые хвостики самодельных свечей.

Андрюха изогнулся, сложил калачом руки и красуется средь хоровода.

Кого любишь, выбирай,
Кого любишь, выбирай!

Низкий поклон, суконная железная рука вцепилась в мягкую, шелковую руку:

Да покрепче поцелуй,
Да покрепче поцелуй! —

и выхваченная из голосистого круга Татьяна жеманно подставляет Андрею сомкнутые губы.

— Довольно играть! — звонко, надрывно кричит вдова. — Э-эх! — Щеки ее вспыхивают, она хватается за черноволосую свою голову. — Э-эх!.. Девоньки, выпьем по стакашку... Молодчики!.. — Глаза ее ревниво взглянули на Андрея, и с злобным хохотом она ударила его по спине рукой. — Андрюша... Э-эх!.. А помнишь?

И заходил хмельной стакашек. Бледная, опечаленная, Таня подошла к окну. За окном крутил снег, и рывкала гармошка.

— Плясать! Девоньки... Гуляй вдова! — разжигаяще кричала Настасья, помахивая красным платком. — И ко-его черта замуж не берете?.. Э-эх!.. А уж поцелую... А уж прижму...

От гармошки, гиканья и плясов дрожала печь.

Татьяне как-то по-особому, впервые стало плохо. Она быстро вышла, по дороге ее мутило, она глотала пушистый снег. И вдруг мгновенный ужас всю сковал ее.

IV

Целую неделю Татьяна ходила как безумная. По глухим ночам она прислушивалась к себе и тихо плакала. Бабка Дарья как-то ночью окликнула ее:

— Ты что?

Татьяна молчала.

Наутро бабка Дарья долго и пристально щупала ее взглядом из-под хохлатых сердитых бровей.

— Лихо тебе? Ой, девка...

Старуха поплелась к Настасье.

— Слышь-ка, вдовуха, слышь-ка,— затрясла она головой в черном повойнике.— Так-то ты караулила внучку-то мою. А я-то, старая псовка, как с путной с тобой пускала в ночное девку-то. Слышь, говори, с кем она?

У Настасьи упал из рук косарь.

— А что? — И губы ее побелели.

— Что, что? Вот те и что!

— А черт ее укараулит! — вдруг закричала вдова в сморщенное старушечье лицо и загремела ухватом.— Поди узнай с кем...

Бабка Дарья трясла головой, беззубо жевала ввалившимся ртом:

— Тьфу! — и, хлопнув дверью, вышла.

Настасья повалилась на кровать, завывала в голос. Ну конечно, теперь Андрюха на Татьяне женится.

Андрей же, похрустывая морозным снегом, шел в волю исполком газету почитать и думал: «У Настюхи два самовара, две коровы и лошадь добрая. Татьяна победнее. На ком же? А жениться надо обязательно. Вот дьявол-то. Нешто к колдуну сходить да погадать?»

Идет, насвистывает сердитую, опять про Настасью думает:

«Ежели жениться на Танюхе, Настька убьет... Отчаянная баба... Ведьма».

А навстречу Татьяна, на маслобойку льняное семя относил:

— Здравствуй, Андреюшка! — И оба остановились среди лесной дороги.— Как живешь?

— Ничего. А ты?

— Плохо. Тоскую все.

Она глядела в его цыганские глаза голубыми печальными глазами и пыталась улыбнуться.

— А ты ничего, Андреюшка, не знаешь?

— Ничего.

Татьяна вздохнула. Милое лицо ее померкло. Она опустила голову и глядела в землю.

— Ну, скоро узнаешь, Андрюша... Прощай.

Парень поглядел ей вслед, жалко стало, крикнул:

— Эй, Тань! А помнишь журавлей-то? Вот придет весна, соловьев слушать пойдем.

Девушка молча удалялась.

V

Татьяна продолжала ходить на посиделки, но в плясы не пускалась — мол, голова болит,— а прядла пряжу и

пела с подругами песни печальным голосом. Со всего села, из ближних деревень собиралась на игрища молодежь: кончался филипповский пост — скоро начнутся свадьбы. И немало парней метит на Татьяну — краше, ласковее, работающее девки нет, — даже как-то трое из-за Татьяны по пьяному делу за ножи взялись.

Андрей еще в своем сердце не решил, держит себя с девушками ровно, только Татьяну семечками угощает и, когда, обнявшись, сидит с ней на беседе, шепчет:

— Ни хрена... Оженемся... Советским браком хошь?

За Настасьиним хвостом тоже много трепалось женихов. Но Настасья только одного прикармливала блинами да угощала самогоном — Андрюху.

— Я знаю... На Таньке жениться ладишь, — говорит она, провожая его ночной порой. — Женись, женись... Девка, кажись, с приплодом... вся волость погопочет на тебя, на дурака.

Бабка же Дарья однажды поутру взяла кошель да клюшку и поковыляла через лесок к колдуну на мельницу.

Про Ерофеича давно шла по селу слава — сильный колдун: когда отряды рыскали, хлеб с добром отбирали — черта с два найти им колдуна: шарились-шарились — не только колдун, а и вся мельница пропала, даже одного из отряда холера задавила — в одночасье сдох.

А третьеводнись встретила бабка Дарья у батюшки отца Семена с женой председателя исполкома, Оленой Митриевой.

— Ох, бабушка Дарья, сходи, сходи. И такой-то колдун, что страсть. Муженек-то мой закрутил с михайлова дня, так все влежку, влежку. А из города ревизия обещала быть, того гляди под суд. Говорю, напиши господу зарок, — мол, укрепи, господи, брошу пить, — да запечатай в конверт, пускай батюшка под святой престол положит. Куды те тут, — как начал костить! «Кутья! Обманщик, опиум народа». Я к колдуну, дал мне волчьего поме-ту с наговором. Гляди, ведь проблевался мой-то, — две недели прошло, не пьет.

Пришла бабка Дарья к Ерофеичу. Колдун сидел у печки, толоч в ступе кошачью печенку, а ворона по избе ходила, каркала.

— А крест сняла?

— Сняла, милостивец-батюшка, сняла. Присуши ты парня к девке.

Колдун принял от бабки холст да ~~серебряный~~ полтинник, а ей дал старый веник-голик и разъяснил, как надо приступать.

В радости вернулась бабка в свою избу на другой день к вечеру. Только за порог, а Андрюха шась: — Я к вам по сурьезному делу. Здравствуйте!

Бабка Дарья размахнулась и ударила его по спине колдовским веником:

— Шылцы-вилцы-цыгорцы-ходылцы!..

— Ты чегой-то бабушка? — обернулся опешивши Андрей.

— Шылцы-вилцы-цыгорцы-ходылцы! — стеганула его бабка во второй да в третий раз.

Андрей захохотал — знать, спятила старая старуха, — сел за стол и, просмеявшись, сказал отцу Тани:

— Вот что, дядя Григорий, желаю на вашей родной дочери, Татьяне Григорьевне, жениться.

— Матушка, покличь-ка Таньку, — торопливо сказал Григорий.

Бабка Дарья бежала за внучкой и захлебывалась радостью.

— Вот он, колдунище-то, какой... Ну, колду-ун...

VI

Прошло больше месяца, как записались Андрей с Татьяной по-советски, при свидетелях. И, конечно, раз не в церкви, не по-христиански венчаны, никак нельзя мужу и жене вместе жить — жили новобрачные, как и прежде — порознь.

Бабка Дарья — что это за свадьба за анафемская, тьфу! — бабка все еще в наговорный веник верила, то Андрюху по спине хлестнет, то внучку:

— Цыгорцы-ходылцы!

Но толку нет. Рассердилась бабка, изрубила со злости веник топором, в печку бросила, а сама в волость, милицейскому на колдуна жалобу нести.

— Он, леший, — сказал милицейский, — и меня здорово нажег: украли у меня барана, пошел к колдуну, а он, сволочь, меня на ложный след навел. Хотел его под арест взять, опасно все-таки: живо грыжу припустит.

Заплакала бабка, не о холсте с полтинником заплакала, — о внучке Тане.

А внучка тем временем — эх, скоро и зима пройдет! — Таня со слезами пеняла своему невенчанному мужу:

— Андрей... Что ж ты не женишься по-настоящему? Пойдем к венцу.

— Леригия мне не позволяет, вера... Почитай-ка газеты-то...

— Живем порознь, как чужие. Ни работник ты в нашем доме, ни кто.

— Ха! — хакнул по-сердитому Андрей. — Я в согласье хоть завтра перейти жить к тебе. Хоть сей минут.

Григорий, войдя в избу, поймал ухом, крикнул:

— Я те перейду. Много таких мужьев поганых найдется... Отлыниваешь ты, черт... Испакостил девку, да и..

— Она не девка. Она жена мне. Почитай-ка декрет.

— А подь ты с декретом-то!.. Декре-е-ет... Твое ли мужиковское дело декреты знать?.. Совесть-то есть ли у тебя ай нет?

— Дурак ты, Григорий, больше ничего

С тем и ушел Андрей.

А Григорий стал ругать неистово: и бабуку, и Татьяну, и советскую власть, и весь белый свет.

— Чего ж, тятя, разгневался? Ведь Андрей согласен жить, сам не пускаешь.

— И не пушу!.. Легко ли дело! Записались скрадом у какого-то Абрашки. Тыфу твоя свадьба чертова! Сводники проклятые... Иди к Андрюхе в избу, в гражданский брак!

— Давно бы ушла, да его старики меня не принимают.

И бабка накинулась:

— Сама виновата, вот что! Девкина честь на волоске висит, а потеряешь, так и канатом не привяжешь.

Таня упала на лавку, заплакала, завизжала как помешанная.

— Ага, родимчик! А ну-ка, бабка, кнут...

VII

Плыли весенние зори в небесах, сменяя одна другую. Дни становились длинными. С юга тянули журавли.

Татьяна никуда не выходила. Лицо ее скорбное, в пятнах, и мысли скорбные. Настасья щеголяла по весне в новых полсапожках, в желтой с разводами шали. За Настасью сватались парни и вдовцы. Отказывала.

У Андрея были крупные нелады со своим отцом: ходил пасмурный, задумчивый, к Татьяне заглядывал редко. Поругается с Григорьем и уйдет. И отец и Григорий напирала на него:

— Женись на девке по-настоящему, вокруг наля.

— Я по декретам желаю жить,— говорил Андрей.— Раз новые права, надо уважать.

— Декрет-то твой, видать, в скрипучих полсапожках ходит... Вот твой декрет,— хрипел Григорий, и глаза его наливались желчью. Андрей краснел.

Как-то Григорья не было дома, бабка Дарья тоже ушла — белье полоскать. Вернулась — нет внучки. Она в чистую половину: дверь на крючке.

— Открой!

Не отворяет. Забила бабку дрожь. Грохала-грохала, только стон из-за дверей. Бабка в огород, подставила к окну лестницу, влезла.

Татьяна корчилась в родах, грызла подушку и столала.

— Ой ты, мнѣшеньки! — заголосила бабка.— Она, паскуда, и дверь на крючок!.. Она, непутевая, задушить ладила ребенчишка-то.. Ой, грех, грех... — И бабка поковыляла вон, руки вымыть.

А в сенцах Настасья полсапожками скрипит:

— Здравствуй, бабушка Дарья... Не забежала ль курочка моя к вам? Кого это задушить хотите? А?

— Тебя, желтая шалы! Тебя, потаскуха! Не приваживай гражданских мужиков к себе. Уходи, уходи!

Вымыла бабка руки, принесла в чистую половину к изголовью Татьяны икону старинную, зажгла богову свечку четверговую, настезь ворота распахнула, чтоб было легче дите рожать — надо бы царские двери в алтаре, да некогда — и опять к внучке, принимать новоявленного правнука.

В это время Андрей стоял пред Григорьем, сняв шапку, и, помигивая цыганскими глазами, говорил:

— Надумал я, дядя Григорий, папаша, нарушить декрет. В церковь дак в церковь. В согласие я... А то мне дома голову отгрызли.

Григорий в гумне сошник к сохе прилаживал. Сурово выслушал Андрея сказал:

— Дело.

Сели, закурили.

— Ты куда это собрался ехать?

— В лес,— сказал Андрей,— нехватка в дровах.

А меж тем младенец родился чуть жив и на другой день умер.

Хлопот, хлопот бабке Дарье. Взяла холст да полтинник серебряный, последний, пошла к попу. Отец Семен попробовал полтинник на зуб, пощупал холст, согласился.

И в ночное время, крадучись, похоронили младенца на погосте.

Ночь была темная, теплая, поля дышали.

Бабка слегла, Григорий стал пить, Татьяна поправляться.

На третий день вечером Андрей встретился с Настасьей в кооперативе: вдова селедки покупала, Андрей — табак.

Защемило сердце у Андрея. А вдова чоботами скрипит, красуется, грудь так и выпирает. Андрей домой. Вдогонку Настасьин ведьмин скрип:

— Чтой-то загордился, Андрей? Когда свадьба-то?

— А тебе на что?

— Ну как же, поди пригласишь. Ну что, сынка или дочку бог дал Татьяне?

— Чего мелешь! Я не знаю... Только что из лесу приехал.

— А ты сходи... Смотри, задушат.. Слышала я, грешница... Ой, нехорошо слышала...

Андрей сопел, дико озирался и, весь похолодевший, плелся по дороге как во сне.

— Пойдем чай пить... Под селедочку, — маслено заглянула в его глаза Настасья.

Как за ведьмой, неотрывно, против воли шел за вдовой Андрей. Она что-то говорила, он не слушал, весь был там, у Татьяны: и хотелось сына, и не хотелось, а на душе тоскливо, скверно, как пред большой бедой.

И только после первых петухов, развеселившись крепким вдовьим самогоном, шел Андрей вдоль села, примурлыкивая песню.

— Стой. Надо постучать.

На стук выглянул в окно Григорий.

— Здравствуй, папаша предбудущий!.. Тесть. А где гражданская жена? Сказывают, ребенок у вас? Где ребенок?

— Нет никакого ребенка.

— В каком случае нет? — покачиваясь, запыхтел Андруха. — Есть!.. Только посмейте задушить с бабкой, прямо в тюрьму... Зна-а-ю, брат!

Караульная тетка бросила бить в колотушку, притаилась во тьме, слушает.

— Иди, парень, проспись,— сказал Григорий и стал закрывать окно.

Андрей вцепился в раму, заорал:

— Тогда даю письменный отпор: не желаю! Вот как... в порядке дня. Раз задушили — к чертям! Венчайся сам на ней...

Когда подошел к своей избе, как огнем опажнула его вдова Настасья: в глаза, в лоб, в губы иступленно целовала его, шепча:

— Миленький... Цветик алый... Отказался... Сама слышала... Ну, теперь по гроб мой будешь.

IX

Андрей перебрался на жительство к вдове. Татьяна погрустила недолго: не любит и не любил ее Андрей. Ну что ж. Есть и другие хорошие ребята на примете. Мало ли красноармейцев возвратилось: разговоры, обхождение, выправка. Вот это женихи!

Быстро стала Татьяна оправляться, расцветать. Налилась Татьяна ядреным крепким телом, и глаза стали такие, что не оторвешься. Эх, девка — красота!

Цвели зеленые луга, цвела Татьяна, а по задворью, по проулочкам, чрез грязь, чрез бабий слух, чрез старушки слюни катилась про Татьяну сплетня: придушила девка дите свое.

И вот пришла Татьяне гибель.

Птицы гнезда вьют, соловьи всю ночь в черемухе тюрлюкают, молодежь игры, плясы, хороводы водит. Этим летом особенно усердно женихались, свадеб будет много.

И Манька, и Палашка, и две Дуньки, двадцать девок на селе — все веселы, все пляшут, от парней отбою нет. Только Татьяна не пляшет, никто не берет ее. И сидит Татьяна одна как зачумленная. А вернется домой, неутешно плачет. Третья пьяная гулянка, — как отрезало: ни один парень не взглянул. Пришла Татьяне гибель.

Бросила Татьяна на гулянки ходить, заперлась, сидит, волосы рвет, плачет. У Григорья, на дочь глядя, руки опускались, и в сердце чернела кровь. Бабка Дарья с горя умерла.

— А в вековухах сидеть я не согласна, — как-то вечером всерьез сказала Татьяна отцу, всхлипнула и вышла вон.

Отец ужинать кончал. Ему эти слова как ножом по горлу. Зашлось у Григорья сердце, выполз из-за стола и за дочкой следом. В сенцах тьма.

— Татьяна!

Тьма жутко закачалась, и возле раздался хрип.

— Ой! — пискливым диким голосом вскричал Григорий. — Господи Сусе! — затрясся, снял дочку с петли, понес, — ноги подгибались, — положил на кровать.

И лишь пришла в себя, стукнул в окно кто-то. Борода.

— На-ка, Григорий Митрич!.. Писулька тебе. Чрез волюсть... заказным.

«От сына», — растерянно подумал Григорий. Сын на фабрике в Питере, в больших делах. Эх, не до письма!

Только утром прочла Татьяна письмо. Брат приехать не обещает — делов выше головы, — зовет сестру в столицу:

«Что ты в деревне киснешь? Чего тебе деревня может дать? Раз сама пишешь, что жить тяжело, собирайся ко мне. Я тебя определю на курсы, человеком будешь».

И загорелось вдруг у Татьяны — ехать.

— Хоть прискорбно мне, — глотая слезы, сказал отец, — а поезжай.

Х

Прошло лето, сборы в Питер кончились, наступила осень.

И все по-старому: грязь, бедность, самогон. По утрам дробными ударами на токах молотили рожь. А на песчаном острове в ночных потемках играли журавли. Андрюха подкрался на лодке и грохнул из ружья.

И вот теперь у Андрюхи дома живет с перешибленным крылом журавль. Он не подыметя больше в небо, он до самой смерти будет жить с Андрюхой на земле.

Утро. Туман. По дороге тарахтит телега.

— Прощай, родимое село!

Настасья едва оттащила смущенного Андрюху от окна.

Григорий, надвинув шапку, помахивал кнутом и весело насвистывал, но его сердце ныло. На телеге Татьяна. Она собралась искать судьбу. Милое лицо ее свежо и радостно. Просветленные глаза упорно смотрят вдаль. Но даль туманна, и над головой висит туман.

И сквозь туман падают на землю вольные крики перелетных журавлей. Летят на юг, прямо к цели.

Что им туман, когда в вышине простор и солнце.

ОТЕЦ МАКАРИЙ

I

Декабрь. Я сижу на берегу Черного моря и прислушиваюсь к ритмическому гулу его волн. Где-то, вероятно возле Новороссийска, вырвался из-за гор ярый освежающий норд-ост, кинулся на море, взмесил необозримую морскую синь, а здесь, в тихом Сухуми,— лишь отзвук шторма. Но море все-таки гудит.

Здесь тепло, здесь и в декабре лето; всюду цветут розы, созревают мандарины, набирают цвет древовидные камелии. Но моя мысль по каким-то неведомым путям переносится в любимую Сибирь, в тайгу. И вижу я: это не в море злятся волны, а гудит вершинами тайга, такая же безбрежная, такая же таинственная, как море.

Я гляжу вперед, к анатолийским берегам: вдали, культахаясь меж валов, блуждает одинокая, в белых парусах, фелюга. А мне грезится, что это бродяга идет по таежным сугробам, какой-нибудь варнак, убивец, Ванька Конокрад.

Ветер ходит над тайгой, гнутся пихты, стонут сосны, и если взлететь на крыльях,— зеленые валы хлещут по тайге. Но кругом зима, декабрь, у бродяги нет крыльев, туго приходится ему, и он спешит к жилищу.

И припоминается мне таежный рассказ. Кто сказывал его — не помню. Может быть, медвежатник дядя Пров за кашей в зимовье, может быть, тетка Акулина, а то какой-нибудь варнак — со многими из них я куривал трубку табаку за время многочисленных своих скитаний.

II

Ветер ходит над тайгой, гудит тайга, как море. Вишлястой снеговой тропинкой плетется сутулый человек. Бороденка, длинные волосы, постное, со втянутыми щеками лицо, монашеская скуфейка колпаком, за плечами котелок и торба. Одет человек в рванье, в тлен.

Морозный вечер. Холод сушит щеки, знобит глаза.

Бродяга вдруг заулыбался: близко протявкала собака, понесло жилым дымком.

Семейство старого Вавилы садилось ужинать. Вошел странник, сдернул скуфейку и закрестился плохо гнувшей, онемевшей на холоде рукой.

— Проходящий, что ли? — сурово, по-лесному, спросил Вавила.

— Стра... странник я, — выдохнул пришелец. намерзшие слова. — Так точно, милостивец... Странник.

Вавила заслонил глаза от света, крепко прищурился на пришедшего, сказал:

— Ночуй.

За ужином жаловаясь Вавила человеку:

— Так что совсем без попа, словно собаки. Два года как опился вином отец Семен, превечный покой* его головушке! На моих памятях пятый поп спивается у нас. А теперича к нам в такую глушь ни один священник не пожелал пойти. Кругом лес, трущоба, до ближнего жилья больше сотни верст. Сами кой-как женим, кой-как крестим да хороним, гаже некуда, помахашь кадилом да поорешь, что в башку взбредет, — ну и ладно. Все думаем: вот уж новый поп объявится, все осветит, всю чертовщину нашу божественную, и похороны, и свадьбы. Какие мы, к лешевой бабушке, попы!.. Да... А я в церковных старостах кожу... Эх, стрель ты в пятку!.. Грехи!..

Блеклые глаза прохожего заострились шильцем. Поерошил пятерней длинные лохмы, елейно, назидательно сказал:

— Что же, православные... Будем так говорить, к примеру: я, к примеру, божий иерей, хотя и плохонький, а поп. И, к примеру, изгнан бысть на поселение по ошибке. Но, по благодати божьей, коль скоро та судебная ошибка обнаружилась, аз, многогрешный, возвращаюся домой, питаюся подаянием.

Восемь ложек дружно опустили, и все семейство старого Вавилы уставилось изумленным взглядом бродяге в рот.

— Я, известное дело, не навязываюся. А послужить мог бы в сане иерейском. Ежели понравится вам служба моя, оставите меня попом, ежели не понравится — дальше двинусь.

На другой день расторопный Вавила метелицей носился по селу:

— Мужики, на сход! Поп объявился! Батюшка...

Сход недолго думал: оглядел священника, обнюхал, постановил:

— Взять на пробу.

Только поперечник — парень Тимоха — сказал с на-смешливой ухмылкой:

— А пускай-ка взрывает многолетье погромчей, чтоб оглушительно!

Но Вавила сразу парня оборвал:

— Цыть! Засохни! Всяк щенок в собаки лезет... Ду-рошлеп!.. — и, обратясь к священнику, спросил: — Дозвольте узнать, батюшка, как святое имечко ваше будет? Отец Макарий? Так-с. Очень даже подходяще.

Мужики сдернули с голов шапки и — под благосло-вение. Священник залился краской; благословляющая длань его дрожала.

В воскресенье — проба. В церкви густо, духовито, как в квашне. Отец Макарий взывал к богу благолепно, со слезами, старухи плакали, бабы сморкались, мужики со-пели, отирая пот. Многолетие батя дернул с треском — за всех православных христиан, за приютившее его село Сугробное, за всечестного старосту, благочестивого Вави-лу Карнаухова. Староста Вавила за казенкой приятно улыбался, и белая борода его ползла по тугой синей под-девке, как снеговой вьюнок. Служба кончилась быстро, весело, не как у прежних попишек-пьяниц. Радостные прихожане под трезвон колоколов всей гурьбой повели отца духовного водворять на жительство в обширный церковный дом.

— А есть ли у тя matka-то, кормилец? — участливо спрашивали бабы.

— Увы! — И отец Макарий с великим сокрушением возвел очи к небесам. — Увы, дошел до меня слушок, по-падья изменила мне, обрета вздыхателя.

— Ах, ах, ах, — закрутили носами бабы. — Мысленное ли дело — попу без матки жить!

Село три дня на радостях предавалось пьянству и гульбе. Отец Макарий хотя и выпивал, но в меру.

— Мы тебе, батя, солдатку пока что командирuem, Анисью. Бабочка она молодая, чистоплотная. Мужа ей-нова убили на войне. Бабочка подходящая, ничего.

Отец Макарий смиренным голосом сказал несмело:

— Собственно, мне по сану надлежит в супруги це-ломудренницу брать...

— Каку таку целомудренницу? Девку, что ли? Навряд которая пожелает, — подмигивали друг другу, смеялись мужики.

Солдаточка Анисья повела поповское хозяйство пре-восходно. Мужики вразумляли ее:

— Смотри не подгадь, Анисьюшка! Ублажай попа всячески... Золотой нам достался священник! Прямо — клад.

И потекла попова жизнь в довольстве, в холе.

Так прокатился длинный год, опять легла зима. Отец Макарий отрастил изрядное брюшко, стал осанист корпусом и взглядом. У Анисьи Иннокентьевны от сладкой, сытной пищи тоже округлилось чрево, и бог даровал ей дочь. Крестьяне отнеслись к ней с полным уважением, начали без ухмылки величать Анисью «матушкой».

Священник проводил дни в больших трудах, достатки его незримо множились.

Как-то матушка расхвастывалась бабам про попа:

— Он шибко набожный, он даже чудо может сделать. Чирей у меня, родные мои, повыше коленки был; поп благословил, дунул, плюнул — и прощю.

Бабы сразу же поверили, и отец Макарий действительно с тех пор начал помаленьку чудеса творить: у кого живот дуновением излечит, у кого зуб заговорит, лихманку снимет, из трех же кликуш, трех толстобоких теток: Дарьи, Марьи да Лукерьи, что в церкви кукарекали, великими молитвами изгнал дьявольских нечистиков.

И все больше укреплялась вера в отца Макария, все туже становился кошелек его, а матушка, осиянная славой своего владыки, вновь принялась усиленно полнеть. Валом валило счастье отцу Макарию. Но враг рода человеческого, как известно, никогда не дремлет, он рыщет на земле, «иский, кого поглотити» вместе с сапогами.

И вот на рождестве, после обедни, когда праздничный народ разошелся по домам, последним вышел из храма и отец Макарий. Когда, постукивая посохом, священник величественно пересекал сумеречную паперть, вдруг словно громом:

— Стой!

Священник вздрогнул и остановился. От мрачной, сырой стены отделилась огненного цвета борода, широкие плечи, два жадных, с волчьим блеском, глаза, и все это вплотную придвинулось к священнику. Отец Макарий обмер, словно мертвеца увидел перед собой.

— А, батя! Здравствуй, с праздничком...

Отец Макарий отпрянул и затрясся так, что дрожал весь пол, и паперть от его дыхания гудела.

Был предрассветный час. В мгlistом небе звезда стояла. Проснувшийся на березе ворон каркнул, взмахнул крылом, и, как лебяжий пух, посыпался с ветвей куржак.

Рыжий верзила, страшный, оборванный, сутулый, емко шагал рядом со священником, поскрипывая снегом. Фигура отца Макария стала жалкой, пришибленной.

Оба заперлись в комнату. О чем там говорили — неизвестно. Анисья Иннокентьевна слышала лишь сиплый, озлобленный кашель бродяги.

Три дня, три ночи прожил верзила в доме священника. Он сидел под замком, в каморке, жрал водку, орал песни, скверно ругался. Отец Макарий был мрачен, удручен.

В третьей ночи, когда Анисья Иннокентьевна крепко почивала, отец Макарий звякал ключами, вынимал из сундука накопленные деньги, долго считал их, пересчитывал.

Утром верзила скрылся.

— Кто это был? — спросила Анисья Иннокентьевна.

— А это... это брат наш во Христе... Нищий, к примеру.

Отец Макарий повеселел, но ненадолго: ровно через две недели верзила ночью постучал в окно.

— Не рад гостю? — прохрипел он, обнажая широкие гнилые зубы.

— Нет, отчего же... рад, — по-злому сказал священник, и желчь за клубилась в нем.

И опять шептались тайно. Жил верзила целую неделю, теперь уже на свободе, в светлой комнате. Священник же свою с супругою спальню крепко запирает и в головы клал остро отточенный топор.

За эту неделю священник пожелтел, как тыква в сентябре.

Однажды ночью... Впрочем, и на этот раз все обошлось мирно: бродяга ушел. Отец Макарий отдал бродяге последние деньги, часы, серебряные ложки, шубу, самовар. Верзила скалил свои лошадиные зубы, что-то бормотал, плевался и, кривоплече сгорбясь, вышел вон. Сказывали потом, как он нанял лошаденку и уехал.

III

А время подвигалось. Подули теплые ветра. Тайга шумела по-особому, шелковым шелестящим шумом. Зима снимала с земли горностаевый полысевший мех. И вот журчат ручьи, чернеют пашни, тайга оглашается весенним ревом сохатого, дробным стуком дятла, посвистом печальной иволги.

На страстной, в четверг, после стояния, в поповский дом вновь припожаловал бродяга. Лицо его горело пьяным огнем, нос разбит, глаза разбойничьи. Как разбойник, вломился он в дверь, крикнул: «Деньги, сволочь!»— и, бросившись на отца Макария, стал его душить. Анисья Иннокентьевна с визгом — на улице к соседям.

Священник отшвырнул пьяницу, схватился за топор. В руке верзилы сверкнул длинный нож.

Вооруженные враги яростно стояли лицом к лицу, как змеи на хвостах. Крутя ножом и наступая, верзила скрежетал:

— Убью!.. Деньги!

— Нету денег, кровопивец!.. Все отдал тебе, мучитель мой!..

Верзила с рычаньем прыгнул на врага. Священник увернулся.

Нож разбойника с размаху вонзился в стол. Миг — и злодей опрокинулся плашмя на пол; его глотку намертво стиснули костистые поповы пальцы, бродяга закатил выпученные стеклянные глаза и захрипел.

Вдруг:

— Вставай, злодей! Идут!

За окном густые, угрожающие голоса, топот в сенцах, ввалился вместе с Анисьей Иннокентьевной народ. Верзила и священник, шумно дыша и стуча зубами, мирно сидели за столом. Верзила зажал в горсть свою раненую руку: по штанам, по сапогу бежала кровь.

— Вяжи его, варнака! — заорал старик Вавила, потрясая ременными вожжами. — Айда в каталагу!

Народ двинулся к столу. Но отец Макарий бледный, желтый, еле переводя дух, сказал:

— Остановитесь, православные... Это так... Это он выпивши, мало-мало пошумел. Он мой гость... Христос велит принимать странников... Идите с миром по домам...

Крестьяне удивленно, открыв рты, мигали, и у всех радостная мысль: «Ну и батя наш!.. святой!» Однако раздалась сверкающая гневом голоса:

— В случае чего дай нам восточку. В землю втопчем варнака!

Народ ушел. Священник с ненавистью взглянул на верзилу:

— Слыхал? Пока цел, убирайся вон!

Верзила встал, подошел вплотную к быстро поднимающемуся священнику, покачался, попыхтел, густо плюнул в попову бороду и, ругаясь, вышел.

Священник теперь по ночам не спал. Он часто выходил с топором во тьму, дозорил сеновал, амбары: боялся, что варнак пустит красного петуха и все предаст огню. Не раз отпирал сундук, оглядывал опустошенный кошелёк и, перхая, плакал...

IV

Пасхальную заутреню совершал поп благолепно и по-своему: прихожане сроду не видали такой службы. Все исцеленные старухи, бабы: Марья, Дарья и Лукерья и с ними дедка Нил — молились впереди. Лица их сияли. Сиял галунами и прибывший из волости урядник. В маленькой церкви духота.

Весь в огненных парчах, отец Макарий третий раз поднялся на амвон с курящимся кадилом.

А верзила меж тем невидимкой карабкался с улицы в алтарь, через окно, открытое для воздуха.

— Христос воскрес! — торжествуяще возопил священник, кадя и осеняя всех крестом.

Тут как из-под земли вырос верзила, он развернулся, ударил попа в висок и крикнул:

— Воистину воскрес, Ванька Конокрад!

Поп бревном повалился на пол.

— Дурачьё! — хрипел верзила, жег взглядом ошалевшую толпу. — Какой это Макарь! Это Ванька-каторжник, со мной на Соколином острове сидел, варнак, убивец!..

Народ оцепенел; каждый думал — это сон. Вдруг, опомнившись, с гвалтом хлынули вперед, смяли кричавшего урядника, настигли обнаглевшего верзилу и тут же растерзали. Умирая, он шептал:

— За правду погибаю... А поп ваш два семейства в Расеи вырезал...

Отец Макарий, он же Ванька Конокрад, в свалке скрылся. Крест и кадило валялись на полу. В исцеленных старух и баб снова мгновенно вселился бес: катались клубком, выли, лаяли, кукарекали, у двух теток живот схватило, у дедки Нила сразу пересекло в поясах.

Ванька Конокрад пропал бесследно. Анисья Иннокентьевна горько плакала: из почтенной «матушки» она снова превратилась в несчастную вдову. Православные проклинали попа-прошелыгу, искали убить его, но не нашли.

Спустя месяц староста Вавила ездил в город. Там составили бумагу и отправили в синод, в Питер. В бумаге говорилось, что беглый каторжник, под видом священника Макария, свадьбы правил, грехи отпускал, хоронил, крестил,— дак как же, освящено все это или проклято?

Из синода пришел ответ: «Освящено — по вере вашей».

Мужики на радостях устроили всем селом русскую широкую гульбу.

А растерзанный верзила (уряднику взятку дали) был тайно погребен в кедровнике. На его могиле белел среди сугробов крест. Старый солдат с березовой ногой сделал на кресте надпись. Солдат очень старался: пыхтел, сопел, кряхтел. Надпись гласила:

«Святы боже святы крепки святы бессмертны спи новопреставленный неизвестный проходящи за веру царя и отечество живот свой положивши, а паршивый Макарка приблудный поп будь он трижды анафима проклят! Аминь!»

АЛЫЕ СУГРОБЫ

Есть на свете такая диковинная страна, называется она — Беловодье. И в песнях про нее поется, и в сказках сказывается. В Сибири она, за Сибирью ли или еще где-то. Сквозь надо пройти степи, горы, вековечную тайгу, все на восход, к солнцу, путь свой править, и, если счастье от рождения тебе дадено, увидишь Беловодье самолично. Земли в ней тучные, дожди теплые, солнышко благодатное, пшеница само собою круглый год растет — ни пахать, ни сеять, — яблоки, арбузы, виноград, а в цветистом большетравье без конца, без счету стада пасутся — бери, владей. И эта страна никому не принадлежит, в ней вся воля, вся правда искони живет, эта страна — диковинная.

Молола бабка Афимья — безрукий солдат при медалях ей быдто сказывал: «Беловодье под индийским царем живет»..

Врет бабка Афимья, врет солдат: Беловодье — ничье, Беловодье — божье.

Когда-то, и не так давно, жили в селе Недокрытове два закадычных друга, Афоня Недокрытов да Степан Недокрытов, так по селу и прозывались. Оба в самом прыску, молодые, только по обличью не схожи.

Афоня — мужик как мужик, обыкновенный: запах от него крепкий, речь нескладная, весь он какой-то белесый, точно из крупчатки с мякиной сляпан. Степан же — угрюмый, черный, присадистый, голосом груб, взором грозен. Афоня тихий, задумчивый, весь в мечте, весь в сказке. Степан — черту брат: повстречается медведь-стервятник — хватать ножом, как пить даст. Степан самый заправский охотник, медвежатник, Афоня же с дудочкой соловьев любил ловить, а ружья боялся.

И этих-то разных по виду людей судьба *скрутила вместе в тугой аркан, вывела в чистое поле и, завязав глаза, стегнула кнутом мечты и отваги — «иди!».

Дело случилось так.

— Ну, так вот, с богом, ребята, со Христом, — сказало все согласие села Недокрытова. — Не жизнь нам здесь, а гроб. Эвот, поглядите-ка, что покойников-то на погосте: крестов, что в лесу деревьев, сами понимать должны. А земля наша — сквозь песок. А дождей который год нету, сами знаете... Чистая смерть, господи помилуй...

— Еще вот что, ребята, — сказал староста Нефед, ласково посматривая на Афонию со Степаном из-под широкополой жеваной шляпы. — Ежели найдете Беловодье, век не забудем вас. Ей-бо... переселимся и работать не дозволим: сидите себе дома на печи, милуйтесь с хозяйками да малину с медом кушайте. Ей-бо!

Поклонились путники всему согласию в ноги, помолились на церковь, на родительские могилы, вскочили в седла и — в дорогу.

Степан еще раз попросил мужиков:

— Не забывайте баб-то наших. В случае чего так...

— С богом! Езжай без сумленья. Сказано — поможем.

Их жены разливались слезами, выли ребятишки.

Мать Афони, сморщенная, маленькая, прытко бежала за сыном, заглядывала в лицо ему, стараясь улыбаться, но глаза захлебывались горем, в глазах качался, вянул белый свет.

— Буди благословение мое... буди благословение...

— Не плачь, матушка, брось... Ох, и сказок я тебе чудесных привезу.

Долго крестила иссохшая старая рука взвившуюся на дороге пыль. Поворот, пригорок — и всадников не стало.

II

Сначала в седле тряслись, потом на пароходе Волгой плыли — вот так река! До чугушки добрались — как пошли отмахивать да как пошли крутить, Урал — вот так это горы! А там и Сибирь — плоская, ровная, а дальше опять река, да не река, речича — Обь... А за речичей опять горы начались, не горы, а горищи — сам Алтай! Господи помилуй, господи помилуй, этакие чудеса на свете есть.

— Куда же это ваш путь принадлежит? — спросил их в селе Алтайском дядя сибиряк-чалдон.

— Правильную землю ищем, Беловодье, — робким Афоня ответил голосом.

— Беловодье? — переспросил сибиряк и насмешливо присвистнул, нахлобучивая картуз на брови. — Это сказки. Старухи на печи сказывают. Беловодья, братцы, нет. А езжайте-ка вы, братцы, вот куда... Езжайте вы прямым трактом в Онгудай, такое село есть. А там покажут — куда. Много вашего брата, самоходов, в тот край прет.

Долго ли, коротко ли ехали — горы, речки, луга, калмыки — и всех встречных спрашивали:

— А скоро ль Возгудай-то?

— Какой Возгудай?

— А этот самый... как его...

Юрты, деревушки, церковка. Цветы, трава, дикий козел ревел на сопке поутру. А ночью в густо-синем небе — звезды. Афоня весь в порыве, в трепете: вспорхнуть бы, облетать бы, а крыльев нет.

— Степан, господи Сусе... Степан? Глянь-кось, глянь-кось.

Степан едет передом в седле, угрюмый, гложет на ходу баранью кость.

— Степан!

Но всему бывает свой черед: за рекой Урсул засерело на пригорке Онгудай-село. В Онгудае их снова опажнуло холодом.

— Где это видано, чтоб такая земля была: реки молочные, берега кисельные. Эх вы, лапотоны! Ничего вы, лапотоны, не смыслите. Эх, Расея-матушка!

Афоня было в спор, турусы начал разводить. Степан же отсек сразу:

— Киселей нам не надо никаких. Мы добрую землю ищем.

— Так и толкуй,— сказали сибиряки-чалдоны.— Добрую землю вам покажем. Это надо за Кемчик идти, в Урянхайский край.

— Чей же это край? — спросил Степан.

— Не то китайский, не то наш. Попросту сказать — ничей.

— Слава те Христу,— перекрестился Афоня.— Его-то нам и надо. Это самое Беловодье-то и есть. Оно!

Прожили в Онгудае путники целую неделю. От Онгудая через горы, рассказывают, суток шесть пути; они заготовили провианта вдвое: сухарей, крупы, масла, пару хороших коней достали, выносливых, калмыцких, их и ковать не надо: сталь, а не копыта.

Хозяйственный Степан суров, смекалист, быстр. Афоня же так... все про пустяковину: а красива ли дорога? а какого, мол, цвета горы? а какие распевают там птицы, громко ли грохочет гром в горах? Даже о том спросил Афоня, не водится ли в тех местах летучий змей с хвостом,— рассказывала, мол, бабушка Афирья.

Только на прощанье по-серьезному проговорил Афоня:

— Ну, а ежели заблудимся да погибать начнем?

Ему ответили:

— Тогда — аминь. Кругом безлюдье.

— Ни-ичего,— бодро протянул Степан.— Несчастья бояться — счастья не видать.

Выехали в солнечный воскресный день. Через первые хребты провожал их бывалый зверолов Иннокентий. Солнце блестело вот как. На перевал вздымались целый день. Солнце ниже, ниже, они все вверх, гнались за солнцем, не спускали с солнца глаз. Вот зацепилось оно за сопку, еще чуть-чуть — и нет его. Степан как гикнет: «Айда!» — как вытянет коня нагайкой: гоп, гоп! Глядь — солнце опять над сопкой, снова светлый день.

Долго гнались за солнцем, долго не давали ему пасть на дно.

Остановились на ночлег в горах.

— Вот так это горы! — радостно, таинственно говорил Афоня, сидя у костра.

— Настоящих-то гор еще и не нюхали,— возразил провожающий Иннокентий.— Что буде завтра.

Утром выбрались путники на самый перевал. Глянул Афоня — и все внутри его заплясало: весь Алтай всколебался перед ним. Горы, как хребты страшных чудовищ,

высились над землей: ближние — в ярко-зеленой щетине леса, на ободренных боках кровавые подтеки; а там — черные ребра обнажились, там — осыпь серых камней — курум. Дальше же яркая зелень блекла, голубой закрывались горы завесой, гуще, гуще завеса, и уж в правую руку, куда летел очарованный Афонин взор, — было синим-сине. Налево лежали хребты нагие, словно звериные спины облысели от времени или словно вся шкура была содрана с чудовищных хребтов до самого до мяса.

Все они вздымались серой массой, с черными впадинами балок и ущелий. Какие-то легкие тени скользили по освещенным солнцем склонам. Афоня догадался, что это тени плывущих в небе одиноких облаков.

А небо было голубое, спокойное, солнце недавно поднялось из-за хребтов и... что это там впереди блестит — больно глазами глядеть?

— Снег! — вскричал Афоня. — Гляди-ка, Степан, снег!

— Это вечные снега, вечные льды. Спокон веку так, — внушительно сказал Иннокентий. — По-нашему называется — белки.

Весь горизонт уставлен белыми хребтами, только ниже склоны голубели в сизой дымке, а вершины гор хлестали глаз резкой белизной.

— Через эти снега вам придется идти. Ничего, не бойтесь. Вот эту сопочку-то видите, — эвот, эвот чернеет?..

Иннокентий толковал им целый час, все обсказал подробно, куда идти, в какой балке ночевать, какие речки вброд переходить, а там вот то-то будет, а там вот это-то. Ну прямо отпечатал.

— Самое трудное вам — до белков добраться, — сказал сибиряк. — Как белки перевалите, близехонько и Беловодье ваше.

— До этих белков мы поди завтра же и доползем, чего тут, — проговорил Афоня, — поглядывая из-под ладони козырьком на четко видневшийся снеговой хребет. — Рукой подать.

Сибиряк с презрением посмотрел на него, — он видел в нем человека никудышного, — сказал:

— Нет, паря, дай бог на четвертые сутки подойти к белкам-то. Поболе сотни верст до них.

— Да ты сдурел! — крикнул Афоня.

Действительно, хребты казались совсем близко. Афоня поднял камень, раскорячился, швырнул.

— Нет, паря, не докинешь.

Афоня стал сибиряка просить:

— Иннокентий, проводи нас, чего тебе.

Тот сверкнул глазами, как ожег:

— Каждого провожать.— подохнешь. Поди хозяйство у меня. Эт ты, лапотон, чего сказал. Башка с затылком!

Степан сурово тряхнул головой.

— Не хнычь! Найдем и сами. Не в таких местах хаживали.

Афоня сразу поверил в силу друга, знал Афоня — в разных переделках бывал Степан, жизнь Степана для Афони сказка, Афоня поверил другу, и весь испуг его прошел.

III

К следующему утру друзья осиротели. Они в глубокой котловине. Каменные стены окружили их со всех сторон так плотно, что, казалось, некуда идти: вот залегла едва приметным стежком их узкая тропа, а там упрется в стену и — шабаш. Громады каменных хребтов, клоч неба сверху. В небе плавает орел. Зорко видит: две козявки еле движутся вниз. Ринуться камнем, ударить грудью, выклевать глаза? Зачем? Орлу — простор и высь, и нет ему дела до земных козявок. Солнце, воля!

А в глубокой котловине сырой, обманый сумрак, остатки ночи еще не ушли отсюда, и жар-птица только к полдню вздымет над козявками свой палящий ослепительный костер.

Афоня видит и орла в выси, мечтает о жар-птице за хребтами. Но главная дума там, в Беловодье, по ту сторону белков.

— Степан! А где же белые-то хребты? Со снегом-то? Ой, сбились мы с тобой.

Степан только улыбнулся.

— Настоящий ты Афоня.

Действительно, в их сегодняшней тюрьме взгляд упирался в стены, и только орлиным взорам был не заказан мрак и свет.

— Он ви-ди-ит,— улыбнулся и Афоня, подморгнув палящему в выси орлу.

Афонин чалый конь след в след шел за конем Степана. Степан сидел в седле прямо и уверенно, был с круторебрим конем своим одно. Он внимательным взглядом щупал все кругом, он чутьем охотника угадывал, куда вильнет тропа и что таится вот за тем зубчатым черным мысом, будет ли завтрашний день ясен и погож. За ши-

рокими плечами — наискосок ружье, переметные кожаные сумы набиты туго, конь гриваст.

Афоня же сидит мешком, ссутулился и будто дремлет. Он сорвал травинку, жует ее, рассеянно поплеывает, мечтает. Новизна поражает его ежечасно. Вот перед ним райское место, глаз не оторвать. Но стегнула тропка крутым взлетом вверх и вправо — ахнула душа Афоня: все не узнать, все стало по-новому, занятней, краше.

И кричит Афоня:

— Степан! Степан! Чего это?

Отдаленный шумливый гул вдруг проник в тенистое ущелье, где ехали путники. Все креп и надвигался этот гул, все мрачней, непроходимей становилось ущелье. Афоня недоуменно прислушивается, стараясь задержать дыхание. Но вот кони вынеслись на залитую солнцем равнину, всадники враз повернули вправо головы и остолбенели: с поднебесной высоты возле самых путников грохотал осатанелый водопад. Падучая вода яростно била в камни, вся дробилась в облачную пыль, пыль взлетала туманными крыльями: вот один, вот другой крылатый призрак отделяются, тихо плывут под легким ветром, протягивают к путникам седые ласковые руки, плавно повертывают в сторону и манят за собой куда-то вдаль, в волшебную долину между гор. И вновь, и вновь без конца встают из грохота и дыма белоснежные видения, их зрак и все кругом в тумане, крутая радуга мягким кольцом обхватила все, призраки преклоняют головы с разметавшимися волосами, осторожно опускают крылья, чтоб не коснуться самоцветной радуги, плывут в неведомую даль и исчезают.

Водопад кропил всадников золотой, в блестках солнца, пылью; их лица были мокры, алмазный бисер горел на траве, на иглах беззвучно шумевшего кедра. Суровым грохотом был оглушен весь свет, от земли до солнца. От грохота колыхались горы, и казалось Афоне, тряслась земля.

— Степан, голубчик! — что есть силы заорал он. — Вот так чудо!

Но голос его умер, грохот сдавил горло, запечатал слух. Афоня перекрестился.

— Ой, ты, чудо-то какое, — бормотал он. — Вот так диво!

Он не мог и не пытался понять, что в нем творится, он весь во власти этого дьявольского грохота, этих невиданных чудес, ему хотелось и хохотать и плакать, точно он распался надвое и обезумел. Торопливо и словно во сне,

он крестился, крутил головой, сморкался в подол рубахи, взглядывал сквозь радугу на живую сказку, и вновь его душу охватывал непереносимый трепет, тяжкая радость мешала ему дышать.

— Ой, смерть! Ой, поедem скорей, господи! — карабкался он на коня.

И долго озирался на радугу, на встающие в тумане уплывающие призраки; грохот глуше, глуше, и, когда уткнулись путники в стену гор, было совсем тихо, безмолвная стояла ночь.

IV

Прошло три дня. Конь Афони рассек камнем ногу, стал хромать. Степан встревожился. Афоне нипочем. Он все мечтал о Беловодье, о радуге, рассуждал сам с собой, по привычке размахивая руками, иногда крестился и шептал молитвы. Степан был хмур: запасы убывали, дичь не попадалась на пути, а главное, чем ближе подъезжали путники к снеговому перевалу, тем дальше, казалось, отодвигался он.

Теперь ехать поневоле приходилось шагом. Да и тропа стала капризной, озорной: как будто нарочно, играючи, она заманивала человека вдаль, крутилась меж огромных камней, подпрыгивала вверх, на уступ скалы, чтоб вновь упасть в бездну и там где-то схорониться в серых россыпях курума.

Путники поняли, что началась опасность, что горный дух Алтая — человеку враг.

— Ну, Афоня, теперича держись.

— Держусь.

Конец четвертых суток караулил их. У Афони с утра щемило сердце, лицо бледное, напряженное, взгляд растерянный и странный.

Солнце в горах садится рано: горный дух Алтая любит прохладу, одиночество и мрак.

Солнце садилось. Гребни гор обрамлялись золотой чертой заката. Стало вдруг холодно. Тропа предательски манила путников на высокую скалу. Они послушно поддавались. Тропа шла обрывистым карнизом, бомом. Внизу гремела речонка. Вода в ней кипела белой пеной. Из ущелий к речке выползал туман.

— Степан, чего-то бюсь я.

Путники были на большой высоте.

— Гляди мне в спину, не гляди вниз,— не поворачивая головы, проговорил Степан.

Горы на западе стали черными, туман поседел, обозначился резче. Солнце скрылось, и лишь световые мечи рыхлыми пучками шли от него из-за гор в пространство. Сумрак вырастал со дна, поднимал свой горб — вот выпрямится, встанет и растопырит над Алтаем расшитую звездами хламиду.

Скала, по откосу которой карабкались лошади, почти отвесно падала в невидимую речку. Тропа лепилась сбоку, как карниз, по случайным, созданным природой, выступам, а скала вздымалась над тропой и уходила вверх, в хмурую глубь небес. Иногда ширина тропы была в сажень и больше — кони шли вольготно; то она суживалась до аршина: тогда даже Степана кидало в оторопь, сердце же Афоня обмирало, он холодел, дрожал. Чтоб не загреметь в пропасть, кони в опасных местах шли в наклон, норовя прижаться к скале. Всадники помнили наказ сибиряка — сиди, не шелохнись, не мешай коню; всадники сидели смирно, Афоня чуть дышал. Кони отрывисто всхрапывали, бока дрожали; напряженный шаг их осторожен, точен. А тропа забирала выше, выше.

— Повернем назад,— слезно взмолил Афоня.

— Дурак,— ответил Степан. Голос его сердит, безжалостен.— Как же назад, ежели коню не оборотиться?

Афоня понял, что обратно повернуть нельзя.

Кони всхрапывали все чаще, в горах переливался, прыгал ответный храп. Копыта цокали о камень резко. Резко цокали в ответ копыта где-то там, в пространстве. И в пространстве, за хребтами, уже зачиналась ночь.

Афоня боялся глянуть вниз, но круча под ногами с правой стороны тянула неотразимо. Афоня вскидывал голову, искал в небе звезды, ошупывал глазами широкую спину Степана, но все нутро кричало, орало: взгляни вниз! — и не было мочи противиться. Афоня видел внизу серую мглу: то напозлали на речку туманы. И еще он видел, не глазами, а чем-то другим — видел такое, что...

— Ой, Степан, я слезу... Я пешком пойду.

Степан молчал. Степан сам был не в себе. Темнота сгущалась, а где конец тропы?

Конь его идет ошупью, дрожит, прыдет ушами. Ступь все медленней, все осторожней. Сорвался из-под копыт камень, гулко покотился вниз, задняя нога коня скользнула. Степан ахнул и враз облился холодным потом, едва удерживаясь в седле. Он быстро обхватил коня за шею.

Коню передан ужас всадника, он всхрипнул и, остановившись, привалился боком к скале. Степан не знал, что делать. Охваченное мраком пространство как бы исчезло: стало совсем темно. А сзади молил Афоня:

— Степан, голубчик! Погибель наша.

— Стой, дожидай! В потемках куда,— дрожащим голосом проговорил Степан.

Афоня вплотную подъехал к нему, но тот боялся повернуть голову: ухнешь с конем в пропасть.

Впервые в жизни Степан почувствовал полную беспомощность. Он ясно понял, что весь его жизненный опыт, отвага, сила — ничто. Может налететь ночная птица, может сверху оборваться камень — конь вздрогнет, неверный шаг и — смерть. Конь стоял смирно. Степан не смел понукать его. Но как же быть? Дождаться до утра в седле? Задремлешь. Слезть с коня? Опасно: тропа в этом месте так узка, что четыре лошадиных ноги едва умещаются на ней. Степан терял присутствие духа.

Он уже ничего не мог различить перед собою: горы сгрудились вместе, враждебно придвинулись к путникам, черные, немые. Обложенное облаками небо мрачно. Слева едва серела скала, в холодный гранит которой упирался дрожащий локоть Степана. Мысль работала напряженно, она вся без остатка увязала в этой тьме, выхода не было, и Степан, зло сопя, скрипел зубами:

— Будь оно проклято, это дьявольское Беловодье.

И неизвестно, шло или остановилось время. Степан перестал чувствовать коня под собою, не ощущал земли, не знал, жив он или нет. Мрак убил его, он как в могиле, весь холодный, недвижимый. Грудь переставала дышать, мысль пресеклась, он — мертвец.

«Фу ты, леший... Неужто смерть?» — вдруг вздрагивала вся его душа.

Степана бросало в мгновенный жар, волосы на голове шевелились, сердце ударяло полной силой. Степану тогда представлялось, что кругом пусто: ни земли, ни неба, одна тьма, и что он среди этой тьмы подвешен на гнилой веревке, в пустоте. Один, совсем один. Веревка вытягивается, потрескивает, еще минута — и веревка лопнет: враз засвистит в ушах ветер, обомрет дух, а тело будет падать, падать, падать — хрясь!

— Ох, ты...

Вот раздался грубый трубный звук. Тьма откликнулась и замерла. Это ревет горный козел. На душе стало легче — не умер, жив.

Афоня хныкал, бормотал:

— Экие страсти, батюшки мои... Голова чего-то у меня кружится.

— Ну?..

— Того гляди сорвусь.

— Держись. А то костей не соберешь.

— Пресвятая ты моя богородица... Заступница.

Вдруг облака стали серебриться.

— Никак месяц, — радостно сказал Степан.

Из-за хребтов взнялась луна, облака разорвались, пространство посерело, потом вдруг наполнилось ровным голубоватым светом. Столпившиеся горы враз отпрянули на свои места, внизу засверкала серебристым шнуром речка, из мрачных провалищ плыл туман.

— Батюшка Степан... Сорвусь!

— Завяжи глаза.

— Страшно шевельнуться.

Степана покорило. Он чувствовал, что Афоня вот-вот опрокинется в пропасть, и не было силы помочь ему. Степан шевельнул повод, лошадь вздохнула и осторожно двинулась вперед.

— Поезжай полегоньку. Ежели страшно — зашурься! — крикнул Степан и привычным ухом поймал, как сзади цокают о камень копыта.

Тропа быстро пошла книзу, стала шире, от сердца Степана отлегло. Облака то наплывали на луну, то разлетались. Тропа чуть поднялась вверх и круто стала спускаться. Речка здесь разлилась широко, была молчалива и тиха: рухнувшие скалы подпирали ее течение. При лунном свете Степан ясно различал над ее поверхностью мокрые, блестящие лысины камней.

«Слава богу, выбираемся», — облегченно вздохнул он.

Но вот его лошадь приостановилась, подобрала все четыре ноги в одну точку и скакнула вниз. Степан едва усидел, схватившись за шапку.

Еще прыжок — Степану больно стукнуло ружье о спину.

— Эй, держись! — закричал он Афоне.

Но в этот миг что-то загрохотало сзади. Степан круто обернулся, обмер: лошадь Афони сплеховала — всхрапывая и цепляясь передними ногами о край скалы, она грузно сползает задом в пропасть.

— Афоня! Афоня!

Еще мгновение — и, высекая копытами искры, лошадь со ржанием покатила вниз.

— Афоня!! — чужой, отчаянный крик вылетел из груди Степана. Он соскочил с коня и бросился к краю пропасти.— Афоня, где ты? Эй!

Лунный сумрак молчал. Только разрывало сердце смертельное лошадиное ржанье внизу, сменявшееся тяжелым кряхтеньем и почти человеческими ее стонами. Конь Степана тревожно ржал в ответ и бил копытом о камни.

— Степан, умираю... Степан...— слабо раздавалось возле Степана, немного ниже, во тьме.

Степан, как лунатик, стал осторожно переступать с карниза на карниз. Он не думал об опасности, его кто-то вел, указывал, куда ступить, он сделался легким, бездумным, странным, ноги враз прозрели, руки к скале — магнит к железу, крылья опасности поддерживали его над бездной, страх вел книзу бесстрашным для души путем.

— Помоги... Ради Христа.

Степан склонился над Афоней. Тот завяз в расселине скалы.

Степан догадался: на том проклятом месте Афоня не усидел, упал и этим сразу нарушил точно рассчитанный прыжок коня.

— Руки, ноги целы? — спросил Степан, ощупывая ставшего приподняться товарища.

— Кажись, целы... Ведь я не высоко летел, сажени с две... Бок зашиб, голову.

— Сиди. Дождидай...

Степан, так же по-кошачьи карабкаясь, стал быстро спускаться к лошади.

Он не знал, долго ли и как спускался,— он был не свой, не здешний, он спустился в пропасть, широко открыл глаза. И содрогнулся. Чалая лошадь Афони, падая с огромной высоты, напоролась животом на остро торчавший ствол сломленного крепкого деревца. Она упиралась в камни передними ногами, зад же лошади, подпертый пронзившим ее стволом, висел в воздухе. Она ржала мучительно, с смертельной тоской, била задними копытами по воздуху и крутилась, стараясь освободиться. Но крепкое острие все глубже уходило в распоротый живот. Рот ее был оскален и покрыт пеной, голова бессильно моталась во все стороны. Степан с маху ссек топором лесину, лошадь стала на все четыре ноги — и зашаталась. Степан потянул из живота ствол — вместе с хлынувшей кровью вывалились внутренности, как кольчатые змеи. Лошадь протяжно охнула, опустила голову и застонала по-человечьи; задние ноги ее отказывались служить, под-

гибались, словно она собиралась сесть. Степан засопел. Лошадь повалилась на бок. Шатаясь и скривив рот, Степан зашел спереди, опустился на колени и обнял лошадь за шею.

— Миленькая моя... Лошадушка... Детишка моя, лошадушка... Лошадушка!

Он целовал ей глаза и лоб. Глаза ее были влажны и под луной блестели умоляюще. Она вся затихла, чего-то ожидала покорно.

— Миленькая, лошадушка.

Степан глухо крикнул, перекрестил ее, вскинул ружье и выстрелил ей в ухо.

Глухо, перекидисто загрохотал в горах выстрел, долго перебрасывался от горы к горе, и последние отзвуки его где-то зарылись в туманах.

V

Теперь приятели плелись пешком, Степанов конь тащил на себе весь груз. Торбы с хлебом и сухарями стали тощи, а сказочное Беловодье не подавало о себе никакого голоса. Путники приуныли. Афоня шел с обмотанной головой, припадая на правую ногу. Тяжкая дорога и ушибы мешали ему молитвенно настроиться, но он все же молился молча и за убившуюся вчера лошадь и за свое спасенье. Шли ровными лугами, блестело утреннее солнце, красовались цветы в траве, от самоцветных гор веяло теплым, смолистым запахом. Вчерашний ужас еще не иссяк в глазах Афоня, бледное, постное лицо его сосредоточенно, все думы его там, среди мрака ночи, и слух наполнен липкими звуками предсмертного ржання. Он не видел солнца, не замечал росистых трав кругом.

— Хоть бы черт повстречался,— буркнул Степан.

— Что ты такое слово вымолвил!— ответил Афоня и взглянул в хмурое, озлобленное лицо Степана.

Степан сказал укорчиво:

— У тебя ведь душа коротка. Ты все над землей привык порхать, по-птичьи. Сказки бы тебе бабьи слушать, а не... Я знаю, о чем ты думаешь... Вот ужю тебя богородица или андел божий на крыльях прямо в Беловодье, к кисельным берегам. Нате, кушайте, Афанасий Митрич. Хы! А своими ногами не хочешь пошагать?

— Вовсе даже не об этом я думаю,— печально молвил Афоня и, помолчав, спросил:— Степан, отчего Чалка так ржала? Сердце за нее болит. Это я сгубил ее.

— Ничего не ржала. Тебе погрезилось... Сразу на смерть зашиблась.

— Пошто ты выстрел дал? Пристрелил?

— Ничего не пристрелил. Козла увидал, да промазал. Афоня вздохнул, испытующе посматривал в притихшие глаза друга.

Обедали у ручья, в тени густого кедра. Степан набрал грибов, хлебово было вкусное. Афоня повеселел, взор вновь окрылился сказкой, мысли отлетели от земли. Но Степан отрезвил его:

— По расчету, вчера на месте должны быть, а еще и белков не видно. Шестые сутки путаемся. Поколеешь тут.

— В Беловодье отдохнем.

— Плохой ты товарищ. Беловодья... Кажись, сказано тебе ясно, что Беловодья на свете нет! — отрубил Степан.

— Куда же оно девалось? Есть. Мне видение было, сон. Вот уснем в беде, а проснемся у молочных рек.

Степан насупил брови и махнул рукой.

Тропа опять ударилась в горы. Шли каменистыми россыпями. Путь труден, неподатлив. У коня из сбитых ног сочилась кровь.

Вдруг на повороте внезапно вырос всадник. За ним шла в поводу свободная, незаседланная лошадь.

Мрачные морщины на лбу Степана разлетелись, лицо ожило. «Ну, теперя доберемся,— подумал он, с надеждой посматривая на приближавшегося всадника.— Кровь пролью, а лошадь будет наша».

— Куда? В Урянхай, что жи? — зычно спросил всадник, поравнявшись.— За хребты?

Путники рассказали ему все. Афоня захлебывался от радости, умильно посматривая в свинячьи глазки великана всадника, и юлил перед ним, как повстречавшая хозяина заблудившаяся собака.

Всадник пудовой горстью огладил круглую бороду, сказал:

— Вертайте, самоходы, назад. В белках вам крышка.

— Выберемся,— возразил Степан, оглядывая огромную фигуру мужика. — Взад оглобли поворачивать не рука нам.

— За смертью идете,— угрюмо проговорил мужик.— Вьюга была, путь в снегах перемело.

— Продай, пожалуйста, коня, выручи нас,— стал просить Степан, чувствуя, как в сердце закипает неприязнь.

— Ты умен,— раздраженно ответил всадник.— Для себя его купил, эвот какую путину сломал.

— Продай! — решительно отсек Степан, глаза его сверкнули. — У тебя два коня... на одном доедешь.

Мужик, не ответив, тронул коня.

— Продай! — с отчаянием заорал Степан, хватаясь за ружье.

Мужик обернулся и, миг сорвавшись с седла, в два прыжка был за выступом скалы. Щелкнул затвор ружья, дуло нашупало Степанов лоб.

— Бросай ружье, язви тебя! Убью!!! — взревел из-за скалы медвежий голос.

Афоня пал на колени, взмолился:

— Дядя! Дядя!!

Степан подался назад, заскрипел зубами и покорно повесил ружье за плечи. Его била дрожь. Лицо налилось желчью и подергивалось.

Мужик вперевалку подошел к Степану и спокойно сказал:

— Мой совет — назад. Упреждаю. Было бы сказано, Садись на мою лошадь — и айда... А промежду прочим... Знаете дорогу?

И опять подробно рассказал им, как идти. Сел в седло и, не оборачиваясь, поехал.

Афоня кричал ему вслед:

— Ежели погибнем, на тебе ответ перед богом!

— Всяк сам за себя ответчик! — гулко бросил тот.

Степан с ненасытной злобой сек взглядом широкую удаляющуюся спину, руки чесались пустить вдогонку пулю, но мощь и звериное бесстрашие всадника были защитой ему.

— Ну и дьявол... — скрипел Степан зубами.

Афоня проговорил:

— Господь с ним.

— А подь ты к праху, фалья! Тьфу!!

VI

На следующее утро, пробудившись, Афоня закричал спавшему товарищу:

— Степан, Степан! Глянь-ко, белки!

Степан приподнялся из-под шубы. Перед ними, совсем близко, высились громады гор, их подол и взлобки опущены густым лесом, выше — полоса леса обрывалась, обнажая серые, исчерченные черными ущельями склоны, а вершина хребта придавлена пластами снега, приветливо розовевшего в нежных потоках утренней зари.

Афоня был в одной рубашке. Не чувствуя холода, он дивился на вознесенные к облакам снега. Все гуще алели снежные вершины, все голубей становились сугробы на обрывах и кручах, в ребристых же гранях снег до боли глаз блестел расплавленным стеклом.

Афоня сложил молитвенно руки и шептал, умиляясь: — Господи, господи, снег-то какой.. красный... Так бы и погулял там.

— Может, там смерть наша сидит, — сурово сказал Степан, разжигая костер.

Но Афоня не слышал, не замечал его. Афоня опустился на колени и гнусаво, по-старушечьи, запел:

— «Заступница усердная, мать господа выщая».

— Выщая, выщая, — брюзжал Степан и крикнул: — Где у ты чайник-то? Ишь замерзла в нем вода-то. Оболокись¹, заколеешь!

Степан знал, что эта видимая близость белков — прямой обман, дай бог хоть на вторые сутки дойти до снежного перевала. Сегодня путникам придется пересекать топкое болото, отделявшее их от грани лесных трущоб, и сегодня же последний сухарь будет съеден.

Степан угрюм и молчалив, Афоня радостен.

— Ты не беспокойся. Вот помяни мое слово: как в лес вступим, живность найдем — рябков либо зайчишек...

— Мерблюда на сосне, — буркнул Степан и почувствовал, что желудок его пуст.

Шли каменистым болотом целый день. Ноги вихлялись на кочках и проваливались по колено в воду. Сапоги текли, промокшие ноги зябли. Болото местами покрыто вереском, баданом, клюквой и брусникой: для куропаток — рай. Степан держал ружье наготове, но — странное дело — кругом мертво.

Тропа то пропадала, то оборачивалась снова, были видны следы лошадиных ног, путники двигались уверенно. К вечеру тропа исчезла. Искали, искали — не нашли. Решили ночевать на сухом взлобке: что скажет утро. Разделили остатки сухарей, пустые мешки разорвали на олучи. Афоня целую шапку прошлогодней клюквы набрал:

— Птица век ягодой кормится.

— А ты птица, что ль? — возразил Степан. — Сдохнешь... — Голос звучал печально, как ни старался бодриться Степан.

— А ты верь, ты верь! — выкрикнул Афоня, ударяя

¹ Оболокись — оденься.

себя сухим кулаком в грудь; голубые глаза его вспыхивали и белая бороденка, хохолком, тряслась.— Тогда, Степанушка, все будет хорошо.

Степан поднял на Афоню тяжелый взгляд, собираясь ударить друга злобным словом, но чувство нежности, поднимавшейся от самого сердца, останавливало его. Он только вздыхал, дивясь беспечности товарища.

Утром моросил дождь, и белки задернулись тучей, голодные путники вновь принялись отыскивать тропу. Все выползали, вынюхивали — нет.

Степан сел верхом и взад-вперед ездил по опушке леса — нет. Поиски длились очень долго, неудача злила Степана, плевки и ругань летели из его уст.

Весь мокрый, от неудачи позеленевший, Степан подъехал к Афоне. Тот приподнято сказал ему:

— Идем! Я знаю. Идем скорей.

Тайга разинула колючую пасть и поглотила их. И в яркий-то день в тайге живет сумрак, теперь же все небо в тучах: путники подвигались наугад, вслепую. Степан то и дело припадал к земле, шарил мох, пушистый и мокрый,— не было никаких следов.

Прошел вечер, прошла ночь.

Кружили еще целый следующий день тайгой и закружились окончательно: снеговые хребты пропали. Дождь все моросил.

— Надо солнца ждать. А то...— не докончил Степан и, отвернувшись, засопел.

Сделали шалаш из хвои. Лежали рядом с закрытыми глазами. Не спалось. Думали каждый о своем. Глухая ночь.

— Ты спишь? — спросил Афоня.

— Нет.

— Я все думаю. Деда-прадеды эту землю-то праведную спокон веку, сказывают, искали — не нашли. Вот уж, кажись, тут и есть, уж звоны слышны колокольные. Только бы войти — ан нет, лукавый сомустил: грех вышел, перегрызлись деда и — прощай, земля святая! Идут назад ни с чем.

Помедлив немного, говорит Степан:

— Я звонов твоих колокольных не ищущу.

— А что же ты ищешь?

— Чернозем. Да всякое угодые чтобы... Пушай мужики на землю крепко сядут. Отъедятся хоть.

— Эх, брат, брат... Ты все о брюхе...

— О чем же еще?

— А ты о душе бы.

— Душа полу нужна.

— Ведь в той земле живут народы без греха, по правде. А у нас как? Сердечушко во мне все изболелось. Бывало, уйдешь по весне в бор соловьев ловить, да и думаешь... Я люблю думать по ночам...

— Ночью спят, днем работают,— попыхивал трубкой Степан,— а ты все в розмыслах каких-то бабьих... Анхимандрит...

Афоня вздохнул и проговорил негромко в нос:

— Какие вы все обидчики!

VII

День был пасмурный, накрапывал дождь. Степан тщетно искал с ружьем добычи, принес к обеду только двух малых дятлов. Тайга на всем пространстве покрыта мохом и лишайником, бока у лошади от бескормицы ввалились.

Беспокойство в душе Степана все нарастало, сердце ныло нехорошим предчувствием. Ослабевший Афоня дремал в шалаше и сквозь дрему поглядывал на друга, как больной ребенок на отца.

Степан начал перебирать вещи в мешке. Ему нужна коробка с пистонами и пороховница. Сначала движенья его были неторопливы и уверенны, потом стали быстрее и и суетливей, потом... Дрожащие руки его судорожно хватались за тряпье, как за раскаленное железо: трепал, встряхивал, швырял, обшарил все карманы, вытряс сапоги, шапку, сорвал с себя и перетряс всю одежду, вновь кинулся к мешку. Лицо сделалось мертвенно-бледно, волосы прилипли к запавшим вискам, в глазах безумный страх.

— Что ищешь? — тоскливо спросил Афоня.

— Ножик, маленький такой,— помедля, дрожащим голосом проговорил Степан.

— А эвот он, эвот...

Степан сел на пень, под морду лошади, обхватил колени и весь согнулся. Долго глядел в землю, потом сердито плюнул, кого-то ругнул с плеча и завалился спать. Сон его был глубокий и крепкий.

Афоня охал, бредил, звал мать с женой.

На другое утро засияло солнце.

Степан поднялся нехотя. Глаза его были потеряны, пусты, но рассеянный Афоня не прочел в них ничего.

— Жрать, Афоня, жрать,— хриплым басом буркнул Степан в бороду и приподнялся, большой и крепкий, как медведь.

— Нету,— уныло вымолвил Афоня.— Вот заячьей капустки, травки кисленькой пожуй.

Молчаливо, отчаянно пили пустой чай. В животе бурлило.

Пошли на восход, чуть левее солнца.

— Солнышко красное, укажи путину верную,— приговаривал Афоня.

Шли напрямиком. Попадались огромные, скатившиеся с гор обломки скал и в три обхвата валежины. Ругаясь, обходили. Сапоги истрепались вдрызг, одежда о сучки трыв да трыв — в ключья.

Начался пологий подъем — тянигус. Афоня охал, хватался за бок, отставал. Он весь сделался каким-то шершавым, взъерошенным, согнулся и походил на старика.

Степан бодрым, но вкрадчивым голосом спросил:

— А не попала ли к тебе коробочка с пистонами? Да порох еще?

— Куда мне? Не брал.

Ну да, дело ясно, значит обронули на прежних стоянках. Только чудо могло спасти их теперь. Но Степан в чудеса не верил. В усах и бороде его едва промелькнула язвительная улыбка.

— Да, Афоня, любезный друг,— начал он тихо и подавленно. Его поджигало брякнуть сразу всю страшную правду, чтоб ошеломить Афоню, но опять кто-то заградил уста, и сердце Степана облилось последней любовью к другу.— Теперича мы, Афоня, оживем.. лишь бы снега перевалить.

— Бог поможет. Только бы вот маленечко поесть,— откликнулся Афоня и тяжело вздохнул.

Вдруг Степан бросил повод:

— Козел... — и быстро пал за валежину, взводя курок.

Афоня взметнул глазом на высокую, торчавшую поверх сосен скалу. На остряке прямо и неподвижно стоял круторогий зверь, подставляя грудь. Степан волновался. Решалась судьба. Руки дрожали.

— Не торопись, промажешь,— шепнул Афоня. Устремленное к скале лицо его вытянулось и застыло.

Раскатился выстрел, хохочущий, нахальный. Козел подпрыгнул и кувыркнулся рогами вниз.

— Готов, готов! — закричал Афоня и, забыв про ушибленную ногу, побежал к скале.

Степан же сердито поднялся, сорвал с головы шапку и бросил оземь. Лицо озверело, рот плевался и шипел:
— Анафема. Пропастина... Змей.

Он видел: пуля ударила возле козла в скалу, от камня брызнула мелкая пыль осколков. Остался единственный дробовой заряд. И неизвестно, для чего теперь его беречь.

«Для себя. В рот», — без всякой жалости подумалось.

Афоня возвращался медленной, вихлястой походкой, сгорбившись, обхватив живот.

— Сам видел, как он мякнулся. Все обползал — нету, — сказал Афоня скрипучим, задышающимся голосом.

— Целехонек. На рога пал, да и умчался. Они всегда на рога кидаются.

Афоня лег на траву и прикрыл глаза рукою.

— Измаялся я, Степанушка... Тяжелехонько мне.

— Пойдем, валяться некогда.

На ходу Степан поддерживал его. Голод морил их, высасывал соки, как жоркий клещ. Афоня опустил голову, шагал нетвердо, враскачку.

— Трое суток не ели мы с тобой.

VIII

Лишь к позднему вечеру истомленные путники выбрались на край тайги; к густому большетравью. Впереди было мрачно, взор упирался в серый склон хребта, заслонявшего почти все небо.

Вот он, хребет со снеговой спиною: перевали его — и вступишь в теплый, безмятежный край. Надо бы радостно кричать и целовать камни, скатившиеся с заоблачных высот, но путники угрюмыми, почти враждебными взорами встретили эту мрачную твердыню: в них все приникло, ослабело, съежилось.

Степан лениво и вяло, двигаясь как во сне, стал разводить костер. Афоня в бессилии лег, укрылся шубой, у него звенело в ушах, ныла грудь, дрябло трепыхалось сердце. Хотелось выпить холодного, кислого. Он взглянул в сторону хребта и порывисто повернулся к нему спиною, как к врагу.

Думы Степана были тяжелы и черны. Ему казалось, что смерть ходит по пятам за ним. Но кто же накликал ее? Он — Степан.

Он так загряз в этих думах, что, обрубая сучья, ударил себя топором по руке и долго сосал липкую кровь из пальца. Афоня застонал, Степан покосился на него.

«Афоня, друг... Желанный мой...» — мысленно прошептал Степан и засопел. Он подошел к спящему товарищу, пощупал его голову: голова пылала.

— Сидеть бы тебе дома, с бабой, а я, черт, дурак, сманил тебя — пойдем, мол, чужие края усматривать... Да в могилу и завел,— вслух думал он.— Э-эх!

Едва нашел воды, вскипятил чаю, а в другом котелке сварил какую-то бурдомагу: ягода, трава, неизвестные корни и грибы. Есть хотелось неимоверно. «Аж от голодухи пупок к спине присох». За эти дни он очень исхудал, плотно пригнанная к его фигуре синяя поддевка висела мешком, ноги дрожали, руки обессилели, и весь он одрях, словно разбитый хворью старец.

«Хоть бы ломоть хлеба черствого, покрытого плесенью! Неужели больше не суждено досыта наестся? Мяса бы, мяса вареного, с желтым жиром!»

Степан сплюнул и вытер рукавом свисавшие в бороду усы.

— Нет, врешь,— бодрясь, шептал он, помешивая бурдомагу.— Авань фартанёт. Жизнь — штука темная, словно лес в ночи.

Но сердце не верило обману слов, сердце мучительно сжималось, и Степан рычал, как раненый зверь, уносящий в себе пулю.

«Вот и обед, ха-ха! Будить иль не будить?»

Афоня подал голос:

— Я кусочек съел бы. Дай мясца. Горяченького. Козлятинки...

— Нету, браток, нету, милячок.

— А? — поднялся на локтях Афоня.— Ты чего, Степанушка, сказал?

— Нету, мол. Какая козлятина? Вот суп без круп.

Афоня сбросил шубу, сел:

— А козел? Я нашел. Я притащил. И спереди и сзади по башке... А рога в сапогах... Э-э вот какие!..

Он снова повалился, почавкал пересошим ртом, сказал:

— Пить...

Степан вытаращил глаза и на четвереньках подполз к нему.

— Ой, ты... Никак огневица. Заговаривается... Афоня, Афоня!

Больной лежал с закрытыми глазами, будто спал, на пылавшем лице улыбка, губы шевелились, вытягивались,

искали чего-то. Льянные волосы нависли шанкой на белый потный лоб.

— Вот грех... — горько сказал Степан, вздыхая.

Потом помочил в холодной воде утиральник, обмотал голову товарища.

Бурдомага была отвратительна. Но Степан жадно пожирал, по-волчьи, горькие корни и грибы глотал целиком. Достал бутылку с водкой и, разглядывая, повертывал ее перед пламенем костра. Водки было немного, она искрилась желтым и синим.

— Чертово пойло... А?

Он берег ее для перевала через снега, но соблазн огромен: скулящая тоска и голод требовали дурмана. Степан задрал вверх голову и, не отрываясь, выпил. Последний глоток долго задерживал во рту: было жаль расстаться. Зажал в горсть бороду, искоса поглядывал на костер, не видя его, и прислушивался к себе, ждал волшебства.

Как будто стало легче, веселей, но эта веселость не настоящая, она обуяла лишь голову, а там, на сердце, в исподе, все так же одиноко, мрачно.

— Только разбередила... Тьфу!

Где-то надрывно стонала выпь, поухивал филин. Над головой теплились звезды, крупные, четкие. Выплыл месяц. Склоны хребта стали видимы сквозь сизую мглу ночи, от каменистых гребней и деревьев пала густая тень.

Степану показалось, что воздух вдруг похолодел, а жаркое дыхание костра ослабло. Он уставился на месяц и начал вслух думать, роняя бессвязные слова:

— Эвот ты куда взобрался, месяц-батюшка, в какую высь. Поди и деревню нашу видишь? Известно. Вот и скажи, крикни нашим-то, ведь рот у тебя, и глаза, и нос... Усмотрел, мол, я человека у костра, прозывается Степан Недокрытов, не вашей ли деревни он?

Степан помахал месяцу шапкой, силился улыбнуться, но улыбка вышла жалкая, плаксивая, язык заплетался, в отуманенной голове пляс и чехарда.

— Да ты ничего, понимаешь, такого не сказывай. Эй, месяц! Все, мол, честь честью... очень примечательно... Любви Офросимовне скажи, хозяйке моей... Сидит, мол, твой супруг, Степан Недокрытов, у костра, жив, здоров, и таковы ли радостные думы у него во всех мозгах... очень даже радостно у него на кипучем сердечушке... Так все чередом, брат, и обскажи... Могилкам тоже посвети, батюшке с матушкой. Пускай не дожидаются гостя во

сыру землю, пускай одни полеживают... вот, вот... А ты зубы-то не скаль, знай слушай!

Степан огляделся кругом и зябко повел плечами: ему почудилось — живая тень бродит меж деревьев, прячется. Не медведь ли стервятник? Пусть, Степан не струсит. А может, леший-лесовой?

— Эй! — вскочил Степан, в сердце его бурлило. — Черт! Леший! Бери душу! Продаю! Отрекаюсь! Себя не жаль, товарища жаль... Бери! Только укажи дорогу. Брось водить. Не озоруй... Бери душу! Черт, сатана с хвостом! Кажи харрю! Эй!!! — И Степан по-цыгански свистнул.

— Степан! Степан! — резкий раздался Афонин голос. — Какие слова мелешь... Окстись!

Степан покачнулся. Словно проснувшись, он сразу отрезвел, пнул ногой пустую бутылку, подошел к Афоне и присел возле него на корточках.

— Тяжело чего-то стало, — тоскливо сказал он. — У души ноги ослабели, Афонюшка, не держат, в шат пошли. В голубоватых зыбких далях посвистывало, пересмеивалось, пискливо завывало.

Афоня заохал, с боязнью перекрестился.

— Ну, как? — спросил Степан.

— Плохо. Порешился я весь.

Степан долго не мог заснуть. Месяц укатился за горы, Сохатый¹ перекинулся вправо. Степан лежал у потухшего костра, не смыкая глаз. Чертово гуканье затихло, тягучая настала тишина. Степан ворочался, приподымался, жадно затягивался трубкой, валился вновь. Он не находил себе покоя. Все внутри ныло, тосковало страшно. Хотелось схватить нож и разом покончить неодолимую тоску. Такого душевного состояния он сроду не знал. Впрочем, года три назад его мучил сгнивший зуб. Степан бросался тогда от боли на стену, брал в рот ледяную воду, — боль вдруг стихала, но через мгновение с удесятеренной силой валила его с ног. Потом, помнит, загнул железный гвоздь, вбил его под корень зуба и вырвал наболевшую гниль вместе с куском десны. Страдание кончилось.

— Ничего не остается, — сказал сам себе Степан, и рука его крепко сжала нож.

«Не смей», — ясно отпечаталось в самых ушах его.

Он боднул головой и стал напряженно вслушиваться. Было тихо. Над лесом тянули птицы, крылья их торопливо свистели в ночном воздухе. Отфыркивался конь.

¹ Сохатый — Большая Медведица, созвездие.

— Матушка, матушка... Родимые мои детушки... Желушка ненаглядная,— шептал из-под шубы Афоня.

Степан различил ухом, как Афоня плачет, и настороженная рука Степана выронила жадный до крови нож.

IX

Утро было теплое, яркое, веселое. Степан встал бодрый. Отчаянье перегорело в нем и провалилось вместе с ночью в тартар. Он верил в настоящий день — будет удача; в жилах гуляет взбудораженная кровь, в небе горит солнце. Светло, тепло. День будет удачный, верный.

Степан выпил ледяной воды, взял ружье с последним зарядом дробин и, поглядывая на сверкавшие снега перевала, уверенно зашагал сквозь лес. Он сейчас принесет козленка, либо зайца, либо большую птицу.

Последний выстрел будет смертелен.

Чтоб не заблудиться, он делает на деревьях затесы топором. Вот только мучает голод, подтянуло живот. Ничего, сейчас. Горячее варево, парное мясо. А пока он обламывает молодые нежные верхушки у приземистых елок, очищает их и с аппетитом ест.

Полянка, мох. Степан бросил взгляд в можжевельниковый, облитый солнцем куст и замер. Под кустом кормилась крупная тетеря с цыпленком. Сердце заработало безостановочно, буйно. В глазах замелькали мухи, по пищеводу прокатилась судорожная волна, рот наполнился слюною.

«Афоня, Афонюшка, голубчик». И, припав к земле, Степан, как ящер, стал красться к добыче. Тетеря совсем близко. От нее наносит ветерком вкусный дух. Так, так. Сейчас зажарят и съедят.

Хрустнул под коленкой сук, тетеря сорвалась, заклохотала и, описав круг, вновь села к тетеревенку, Сзади чухнулся тетерев-черныш, тетеря чуть растопырила крылья и завертела головой. Степан, вновь вминаясь в мох и не дыша, ползет все ближе, ближе. Осталось шагов десять... Пора.

Цыпленку захотелось поразмяться: он вытянул одну ногу, потом другую и весь встряхнулся, как молодой щенок. Тетеря позвала его: «Клу, клу»,— и клюнула ветку с кровавыми ягодами.

В Степане ожил голодный хищник, но от волнения, от бессонной ночи руки тряслись, и направленное в тетерю ружье ходило, как солома в ветер. С пихты, под которой притаился Степан, вдруг посыпалась хвоя: над самой

головой его предупреждающе крикнул подлетевший тетерева. Тетеря тотчас отозвалась и приготовилась сорваться.

«А ну!»

Степан спустил курок и вместе с грохотом кинулся вперед. Тетеря снялась с места и полетела низом, в чащу, маня за собой тетеревенка. Тот с испуганным гвалтом носился меж кустов, удирая от настигавшего его врага.

«Врешь, не уйдешь!.. Стегнуло!»

Степан пал на него, он выскочил, понесся, Степан за ним.

— Ага! Папороток перешиблен!.. Папороток!»

Тетеребенок взлетел на сук, отдышался и, перепархивая с дерева на дерево, улетел на зов матери.

Степан, сжав кулаки, долго смотрел им вслед. Рот его был полуоткрыт. Потом свирепыми прыжками бросился к ружью, сгреб его в обе руки и, рыча, со всех сил стал бить им о дерево. Ложе — вдребезги, ствол изогнулся в колесо. Он отшвырнул изувеченную сталь и привалился плечом к сосне. Закрыв ладонями свое крупное бородатое лицо, ссутулил широкую спину, съежился и стал жалок видом. Крепкий, своевольный мужик не мог сдерживать малодушного язвительного стога. Чтоб заглушить его, Степан до боли стиснул зубы, тогда из ноздрей вырвалось звериное мычанье. Степан хрипел, плевался. И вдруг сразу захотелось выкричать все, что накопилось внутри за сорокалетнюю жизнь его.

Тут представилась вся его каторжная участь, с малых лет и до последнего месяца, вся русская мужичья жизнь. Безземелье, голод, нищета. А кругом: болезни, смерть, тяжкий, черный труд впустую, из-за корки хлеба. И единая радость — царев кабак. И единая радость — на шею петля. Для чего ж родился, для чего он жил, слепой и темный? Ведь вот другие люди, в городах, — те все знают, им многое дано, вся мудрость жизни у них как на ладони.

«А мы кто? Ни зверье, ни люди... Эх! Скотинка, тварь...»

И лишь одна особая мысль кружилась над сердцем Степана. Издали, намеками, она хотела ему открыться — и не открывалась, не могла: так ласточка среди бушующего океана безнадежно ищет, куда присесть.

«Жалеючи шел. Для миру старался. Мужиков жалел...» — скользнуло было в сознании и пропало. Самое главное, огромное. И не осенило большим светом, и не оправдало: слишком темна была ночь в душе.

И вновь на маленькое, ничтожное, внутрь себя, внутрь

своей личной жизни: тетеря, потерянная коробка с пистонами и порохом, неудачи.

Ноги его подгибались, плечо скользило по древесному стволу, он присел к самым корням и, стиснув голову руками, выл. Вой был темный, страшный, необузданный: все человеческое, все вечное тонуло в нем, оставалась одна земля, один допотопный зверь.

Потом быстро встал, вздохнул, отмахнулся рукой — разом все свалилось с крутых плеч — и твердым шагом пошел к костру. Был в душе холод, мрак, яркая ненависть к самому себе. Будь что будет, но он расквитается с собой. Он отрубит свою проклятую, предавшую его руку, он выткнет себе оба глаза. Он... О, погоди, погоди!

Афоня лежал с открытыми глазами.

— Что, милячок, каков? — спросил Степан ласково.

— Неможется мне.

— Ничего, какнибудь. Недалечко теперь. Да и солнышко...

— Степанушка, мне плохо.

Губы Афони белы, лицо желтое, скуластое, щеки ввалились.

— Ничего, какнибудь, — утешал его Степан, свернул шубы в торока и навьючил лошадь. — Пойдем.

— Не выдюжить мне... Я бы тут подождал тебя.

— Пойдем!

Афоня повиновался. Степан взял его под руку, Афоня пошатывался, охал. Степан ощущал через свою рубаху, как от тела друга пышет жаром.

— Как же мы с тобой в снегах-то поплетемся? Афоня, друг...

— Не знаю. Заслабел я шибко.

— А там, за хребтом, — кисельные берега, радуги, пехи индейские, калачи крупичатые на березах...

Степан говорил, как сказку сказывал, улыбаясь, заглядывал в его глаза. Афоня не говорил ни слова. Степан недоумевал: почему Афоня не спросит — где ружье?

Вот луга кончились, пошел крутой подъем, усеянный обломками скал и крупными откатными камнями. Начался взъем хребта. Афоня едва переставлял ноги. Степан выбивался из последних сил, в глазах от голода темнело, голова кружилась, позванивало в ушах.

По пути в полугоре одинокая приземистая сосна. Она словно вышла из лесу прогуляться, да тут и расселась лениво: крут подъем. Афоня со стонами повалился в ее тень.

— Не пойду... Хоть зарежь...— и заплакал.

Солнце палило. С хребта струились по склонам ручейки — дозорные вечных снегов. Над разогревшимися камнями дрожал, переливался воздух. Под ногами Степана прошмыгнула зеленая ящерица. На соседний камень вскочила маленькая зверушка и посвистывала. Ей откликались другие свистунки.

Вверху, под бледно-голубым небом, кружился орел. Он видел холодные снега, тайгу, край неба, еще видел за хребтами — вот тут и есть, рукой подать — жилища людей, табуны, зеленое приволье. А вот и эти две серые, припавшие к земле козявки... живы! Раскидистым винтом, плавно орел спускался, орлиный клетот слетел к земле. Свистунчики стремглав, вниз головой, — за камни.

— Орел, — сказал Степан, подымая к небу взгляд.

Афоня молча лежал с открытыми мокрыми глазами.

— Как же быть, Афонюшка? Надо идти.

— Силушка кончилась. Нету силушки.

— Ты сам посуди, милячок: назад идти — об одном коне, без корму, ближний ли свет? И помыслить страшно. Нэжить кругом, безлюдье.

— Ку-у-да тут, — уныло протянул Афоня.

— А тут, может, два шага — и жительство. Сказывал крестьянин, снега не широко лежат. Авось как ни то... А может, и повстречается человек какой, как знать?

— Может, и повстречается.

Степан говорил ровным голосом, улыбался через силу: хорошо он знал, что снеговой путь — убойный и человека встретить — не придется. Степан понимал, что с полумертвым другом далеко не уйдешь, что их жизнь оборвется скоро. Но не лечь же под сосну, вот тут, да скрестить на груди руки, ждать конца. Нет, Степан со смертью еще поспорит.

И вдруг:

«Убить коня».

Лицо его сразу прояснилось, глаза загорелись. Вот оно! Отъедятся, отдохнут, а там разыщут путь: с сытым брюхом куда угодно: вперед, назад.

— Посади ты меня на лошадь, — скрипуче захохал Афоня, — может, усiju.

— Дело, — согласился Степан, и мечта его камнем в омут.

«Нет, действительно не гоже... Назад без коня — голод замучит, вперед пешком — прямая смерть в снегах».

Едва хватило сил посадить в седло безжизненного

Афоню. Степан задохнулся от натуги, присел на камень, обливаясь холодным потом. Мучил голод, ни на что бы не смотрел.

Заморенный в тайге конь тоже обессилел: велик ли груз — высохший Афоня, а коню в тягость.

Подъем делался все круче, израненные ноги лошади отказывались служить. Пойдет, пойдет да станет... Степан понукает — стоит, дерет — стоит, только глазами говорит Степану: «Пожалей».

— Зарезать падину, съесты! — кричит Степан...

— Да я лучше на осине удавлюсь... Что я, турка, что ли? Тьфу!

Согнувшись в три погибели, обхватив лошадь за шею, Афоня был как мертвый, голова моталась.

— Привяжи! Свалюсь я... Ой, смерть... — как сквозь сон, тянул Афоня.

Становилось холодно, из балки, по которой подвигались, несло зимой.

Измученное тело Степана тоже требовало покоя, но, пока солнце высоко, надо залезть на хребты: авось сверху что-нибудь и досмотрит глаз. Авось...

Х

Вот и снега. Белый, ослепительно сияющий погост. Степан щурится, едва перенося резкий свет, у Афони глаза прикрыты тряпкой. Вначале, по северному склону, плотный наст снега вздымал коня, но лишь перешли на солнце, конь сразу увяз по брюхо. Больших трудов стоило освободить его. Степан стал искать твердого места, но и сам провалился: снег раздрязг от солнца. На Степана напало равнодушие и желание все это разом кончить. Ему припомнилось предостережение мужика — не сворачивать с тропы: путь опасен, в ледниках встречаются огромные трещины, обманно перекрытые снегом: шагнешь — могила. Уж если сбились, надо друг с другом связаться веревкой, идти гуськом. Где она, тропы? Где веревка? Скорей бы провалиться.

А солнце снижалось, может быть, ночью станет твердый наст, но разве можно дожидаться ночи? Куда во тьме пойдешь, как заночуешь без огня?

Афоня совсем стал плох. Он стонал, хныкал, валился с лошади.

— Погубитель, погубитель... Что ты со мной делаешь? Куда завел? — бессвязно шептал он и, сорвав с глаз по-

вязку, позвал шагавшего рядом Степана.— Степанушка, где ты? Не давай ему, не давай...

Степан шел, увязая вместе с лошадью, безжалостно хлестал ее по глазам плетью и не откликался. Лошадь вдруг ухнула передними ногами, с маху ударившись мордой о камень. Из рассеченной губы лилась кровь, лошадь вылизнула два выбитых зуба. Степан изозлился, истегал ее. Выдираясь из густо рассеянных, прикрытых снегом камней, она оборвала себе копыта, щурила поврежденный плетью глаз, поджимала больные ноги. Степан плюнул, бросил плетку, сел. В душе пустота: ни одного желания, ни одной мысли. Лицо его вспыхивало и бледнело, белки глаз покрывались желтым налетом. Он перестал себя чувствовать, обратился в пень: дерево срублено, пень будет торчать серой кочкой, пока метель не навевает над ним сугроб.

Афоня сполз с лошади и, скрючившись, валялся возле, прямо на снегу.

Вечерело. Лучи солнца косо ударяли в снег. Все заалело кругом. От грудастых сугробов и неровностей по алому полю ложились голубые тени, алмазы горели в снегу огоньками. Разливался зимний холод. Лошадь дрожала, от нее клубился пар. А позади, внизу, было лето, зеленела тайга, шумели травы.

— Мороз на дворе, зима... На печку бы...

Это Афоню мучила хворь, он бредил. Рука его самовольно поддевала снег, прикладывала к горячему лбу.

— Степан,— тихо позвал он, очнувшись.— Поди ко мне...

Степан взглянул на солнце.

— Ого! Фу ты, черт... Вечер! — и подошел к Афоне.

Афоня дрожал, глаза были возбужденные, большие, в темных кругах.

— Вот и отходили мы с тобой, Степанушка. Беловодью конец. Умираю. Трудно. Дух сперло.

«Баба...— подумал Степан.— Из-за тебя гибну»,— и колючим взглядом в Афоню, как стрелой. Потом сказал, кривя губы:

— А ты верь. Что же ты хнычешь?

— Верю.

— Верь, верь. Авось бог валенки тебе пришлет, ангелы в баню поведут: парься! Эх, дура!

Молчание. Потом тусклый, рыхлый, как вата, голос:

— Смерть так смерть... Когда-нибудь надо же... За мир старались.

Трудно. Больной замолк, глаза закрылись, дышал тяжело, прерывисто.

Степан стоял в одеревенении.

— Жене моей кланяйся, бабушке кланяйся...— Афоня замотал головой.

— Отец твой давно померши. И жена также.

— Все равно кланяйся.

Степана что-то ударило в сердце.

— Скажи им, скажи...

Тут полились у Афони слезы, и лицо его исказилось.

Степан сказал:

— Пойдём.

— Закрой шубой, перекрести... Ступай.

— Пойдешь или нет?

Афоня молчал. Алые снега и небо вслушивались в человеческую речь, но были спокойны, холодны.

— Коня бросим. Я тебя поведу, пойдем. Я тебя, Афоня, на закукрах. Слышишь? Солнце закатится. Слышишь?!

Афоня заметался:

— Домой, домой! Я вперед тебя... Ковер какой — жарптица... А ты верь, Петрованушка. Петрович... Ваня...

Степан снял с себя полушубок и сел перед умирающим на корточки. От Афони шел жар, дыханье вылетало хрипкое, горячее. Степан укрыл товарища своим полушубком, огляделся вправо, влево и в одной рубахе неторопливо пошел вперед.

Идти было недалеко: громадная трещина саженной ширины пресекла путь. Она удалялась от Степана в обе стороны, и не видно ей конца-краю. Снег тут сдуло, обнажился темный лед. Острые, словно обсеченные, грани льда отвесно спускались в бездну, они отливали зеленоватым цветом, как бутылочное стекло.

Степан боялся подойти к обрыву: скользко. Он стал ползти. Заглянул в провалище. Бездонная тьма. Сделал руки козырьком, смотрел вниз пристально, долго. Тьма. Стало жутко. Вздогнул и — ползком назад. Руки заочечнели. Всего облепило холодом, сжало, заморозило. Степан взмахнул несколько раз руками, подпрыгивая и стараясь ударить себя по спине, чтобы согреться. Из груди мужика помимо его воли рванулся какой-то лающий, скулящий крик. Еще и еще. Зубы стучали. Степану ясно: это он скулит, его замерзающее тело мечется, требует: спаси, спаси. Вдруг как-то все ожило, все, что было позади, все вспомнилось. Назад бы, в жизнь бы! Глаза Степана расширились: «Помоги-и-те!» И другая, в левое ухо, кровь

огнем кричит: «Так тебе, черту, так... Торчмя башкой... Ну!»

— Помоги-и-те!!

Резкий, отчаянный голос упал тут же, в ноги, и подхлестнул и взвил душу. Напряг Степан всю силу, какая еще оставалась в нем, какая была в этих алых сугробах, в морозе, в полумгле. Он решительно повернул назад и на бегу, не чувствуя пути, твердил одно и то же:

— Сам сдохну, а тебя, Афоня, выручу... Выручу, выручу, выручу...

Подбежав, он выхватил нож и полоснул в горло дремавшую лошадь. Рухнула, задрыгала ногами и, вывалив язык, грызла снег. Перерезанное горло ее хрипело, хлестала кровь в подставленные ковшом пляшущие пригоршни Степана. Жадно глотал кровь, захлебываясь и урча. И все закровенилось: лицо, борода, рубаха. Глаза пьянели, разжигались. В них быстро нарастала буйная, звериная мощь.

Степан перевел дыхание: «Сыт».

Афоня лежал под двумя шубами недвижимо.

— Афонюшка, товарищ... Повремени чуть-чуть, запри дух... Выручу, не умирай.

Осторожно стащил с него свой полушубок, оделся, плюнул в пригоршню теплой кровью, ударил ладонь в ладонь:

— Айда! Ррррработай!

И, не оглядываясь, только борода тряслась, ударился бежать вперед. Он знает: вот и край перевала. Увидит внизу: дым, огонь, жилище. Он будет звать на помощь, он скатится с кручи к жителям. «Братцы, спасайте человека! Человек замерзает, Афоня... Братцы!..» И чувствует, как коченеет, замерзает сам. Руки совсем зашлись, грудь едва дышит от усталости. Опять та проклятая щель. Как попасть? Волку не перепрыгнуть, широка... Дьявол!

И видит: там, за провалищем, на посеревшем небе, четко маячит всадник.

— Эй!.. — не веря глазам своим, радостно закричал Степан.

Но всадник не остановился.

— Эй! Стой! Стой!

Откуда-то пронесся ветер, взметнул снега, готовил к ночи вьюгу.

Степан бросился вдоль бесконечной черной щели, отыскивал узкое место, чтоб перескочить.

— Стой!.. Стой!.. Стой!..

Ветер еще раз ударил вихрем, и не понять: сюда идет или удаляется всадник. Уходит. Ага! Вот, кажется, здесь поуже. Надо перескочить... Уйдет, уйдет...

Вся кровь ударила разом в голову, огонь метнул в глазах: «Спасай». Вложил пальцы в рот, свистнул оглушительно: «Сто-о-ой!!» — перекрестился.

— Эх, пропадай, душа... — и взвился над провалищем.

Страшный, смертный крик пронесся к всаднику. Всадник враз остановил коня.

XI

Сугробы алели.

Афоня подходил к нездешней, райской земле. Он шел по облакам, по тучам.

Пастухи попадались, гнали овец, шерсть на овцах серебряная. «Куда?» — «Туда». А тут медведь с исправником в орлянку бьются. «Поддайся, мишка, я исправник». И Афоня: «Поддайся». Глядит: медведь знакомый, — в третьем годе валенки ему, Афоне, подшил. «Маши крыльями, маши!» — кричит орел. «А скоро?» — «Бог даст, к вечеру».

Поля, поля... Будто все выжжено. Саранчи много на нивы пало, надлетают, ударяют Афоню в лоб. Афонин лоб звенит, как колокол: ба-а-ам. Мир поет: «Радуйся, Афоня, великий чудотво-о-орец!» — «А я ведь земли-то, братцы, не нашел... Сугроб нашел». Тут его схватили, начали трясти, бить, ругать. «Пустите! Эй, посторонитесь!» — взрывкал медведь.

В это время стало так темно, так одиноко. Кой-где, кой-где огоньки.

XII

— Нишяво, нишяво, лежи...

Было тепло и чисто. На столе шумел самовар, горы белых лепешек с творогом, кринки, мед. Против Афони, свернув ноги калачиком, сидел на полу татарин в тюбетейке, ласково смотрел на него.

— Помогать надо друг дружке, жалеть надо.

— А где товарищ мой, Степан?

— Какой товарищ? Нету товарищ.

Едва шевеля языком, Афоня объяснил.

— Яман дело... Совсем наплевать... Уж десять дней притащил тебя... Давно... Нишяво, нишяво, лежи. Мой

пойдет искать. Соседа забирал, шабра, с ним пойдем. Яман дело.

— Он за меня душу положил, Степан-то мой,— проникновенно, горестно сказал Афоня.— Сам загинул, а я живой... Собака я.— Он прикрыл глаза ладонью и всхлипнул.

— Который за людей сдохла, эвот-эвот какой большой, шибко якши,— дружески сплюнул татарин.— Шибко хорош, ой, какой хорош!..

— Из-за меня он... Собака я...— замотал головой Афоня.— Сидеть бы мне, собаке, дома.

Татарин опять сплюнул и сказал:

— Земля шибко якши тут... А-яй, какой земля, самый хорош. Работать мало-мало можна, денга колотить можна.

Афоня слушал, то закрывая, то открывая глаза. Хотелось повалиться в ноги этому черномазому скуластому человеку, что спас ему жизнь, и плакать, плакать.

— Нишяво, ладно. Конь твой кидать надо, махан, мало-мало помрил, горлам резал. Двух коней тебе дам: все равно зверь, все равно ветер.. Вот какой. На! Денга не надо... Помогать надо. Вот-вот.

Афоня увидел на окне пороховницу Степана и коробочку с пистонами... Как?! Значит, они были у него, у Афони?! А где ж ружье? Но не спросил.

Опять вспомнился Степан, вспомнился белый погост в горах. Но волна ликующей радости, все побеждая, гулко была в берега.

*Посвящается
Сергею Дорофеевичу
Разумову*

ТАЕЖНЫЙ ВОЛК

I

Я познакомился с ним в предгорьях Арадана, на верхнем Енисее.

Звать его Леонтий Моисеевич Бакланов. Он среднего роста, мускулистый, коренастый, ему шестьдесят два года, но седины мало. Борода большая, нечесаная, в крупных кольцах.

— Я гребень не ношу с собою: бороду мою хвоя чешет.

Его знают кругом на сотни верст. Одни уважают в нем человека справедливого, верного, искателя правды, другие, в особенности женщины, чтут его как вещего старца, колдуна. Его зелено-голубые глаза с мудрым лесным огоньком светятся из-под густых бровей весело и лукаво. Впрочем, иногда они становятся сосредоточенны, строги, и если он в упор взглянет на человека, вдруг почему-то делается неловко, жутковато. Он, видимо, обладает большой гипнотической силой. Говорят, ежели он положит человеку руку на плечо да поглубже уставится в глаза,— человек уснет.

Однажды, после лесной прогулки, я пил в его опрятном доме чай. Пришла женщина с ребенком, ребенок плачет, криком кричит.

— Ты выйди ненадолго,— сказал мне старик Бакланов.— Надо ребенчишка попользовать.

Вскоре действительно ребенок затих, мать ушла радостная.

Бакланов, смущенный, с беспокойным взглядом, какой-то весь взвинченный изнутри, опять присаживаясь за восьмой стакан чаю, сказал мне:

— И сам не пойму, что это делается со мной. Вот придет баба. И воды в миску нальешь, и чертовщину всякую плетешь над водой, вроде — наговариваешь для виду. Ведь сам не веришь, а на ребят действует... На человека.

Во время чаепития пришел его сын Степан, парень лет шестнадцати, такой же краснощекий крепыш, как и отец. Он молча повесил ружье, поздоровался со мною и сел к столу. Его мать, моложавая, с красивыми крупными глазами, придвинула ему кринку с молоком.

— Убил чего-нибудь? — спросил Бакланов сына.

— Нет, папаша. Ходил-ходил — нету ничего. Глухаря, тетерева видал.

— Дак что же,— проговорил Бакланов.— Ты бы показал ему, как надо падать.

При этом старик взглянул на меня, как бы ожидая одобрения за картинно сказанную фразу.

Я прожил у таежного отшельника пять дней. Не раз хаживал с ним на охоту. Бакланов всегда с топором сбоку, в особых скобках, у ремня, и с ружьем. Если нужно сходить в амбар или в сеновал на гумне, всегда берет с собой ружье.

— Без ружья нельзя,— говорит он.— Наше дело лесное, таежное. Как-то посылаю я сына Степку на ключик

за водой, а он мне: «Да сходи, папаша, сам». Вот пошел я без ружья и только стал к воде спускаться, глядь — с той стороны ключа, в кустах, сохатый воду пьет, смотрит на меня. Потом как взовьется — марш! — только земля заохала. Обидно стало. Пришел домой, стукнул Степку чайником по башке. С тех пор за лучиной иду — ружье беру.

И вот собираемся мы с ним в тайгу. Едем на лошадях верхами. Конь его Бурка — нечесаная грива чуть не до земли, сам круторебрый, пузатенький такой, и ноги неуклюжие, но копыта, как кремь: Бакланов никогда не подковывает своего коня, а горные пути Бурки зачастую сплошной камень.

Своей сноровкой, сметливостью и повадкой Бурка не менее замечателен, чем и сам Бакланов. Во-первых, удивительная его привязанность к хозяину. Где не проехать конем, хозяин слезает, пригибается и пролезает меж стволами под гущей хвои, а конь пробирается за ним, идет след в след, как умная собака.

Медведя Бурка не боится: учует звериный дух, запрядет ушами, всхрапнет и морду повернет в ту сторону. Хозяин к медведю — и конь за ним. На бегу конь боек. Бакланов относится к коню по-дружески, почтительно, любовно, даже больше того — как к равному себе. Значительную долю своих охотничьих удач он приписывает Бурке, и, рассказывая о каком-нибудь таежном эпизоде, Бакланов всегда говорит: «мы» и «мы с Буркой». Или так:

— Не укараулим зверя — так выследим, не выследим — так догоним.

Бурка знает тайгу великолепно, зрительная память у него на диво. Едем с Баклановым таежной тропой.

— Эту тропку я называю — Козлиный прощпект: козлы ходят тут на водопой.

Вдруг Бурка сворачивает, идем напролом в тайгу. Моя лошаденка послушно за ним.

— Что такое? — спрашиваю я.

— Сам не знаю. Погляжу, — отвечает Бакланов.

И вскоре, едва выбрались на прогалинку, Бакланов радостно кричит с коня:

— Батюшки-светы! Да ведь мы с Буркой в третьем годе пятеро суток на этом самом месте прожили. Вот и шалаш, и головни, и щепки.

Мы вновь сворачиваем на тропу и вскоре спускаемся к потокам шумной каменистой речки.

Блистал солнечный знойный день, в глухой тайге стояла духота, но здесь, в речной долине, была прохлада: резвясь, сквозные шалили ветерки. И назойливых комаров как не бывало.

— Стой, Леонтий Моисеич! — крикнул я и соскочил со своей лошаденки.

Среди окатных камней горел под солнцем ослепительно белый камень — кварц с золотыми-блестками.

— Не золото ли? — сказал я и стал вкрапленные в кварц блестки выковыривать ножом.

Бакланов, не слезая с Бурки, глядел на мою работу сверху вниз. И я услышал укорчивый его голос:

— Брось. Не за тем, дружок, в тайгу идем. Зверя промышлять идем. Пусть за золотом другие люди ходят.

Эти слова его показались мне вескими, мудрыми, и, подчиняясь ему, я подумал: «Видимо, у Бакланова все предусмотрено, каждый шаг рассчитан, и жизнь свою он разыгрывает как по нотам, не сворачивая в сторону от раз намеченного пути».

Но в дальнейшей дороге, когда я высказал Бакланову свои мысли, он сразу же меня разбил:

— Какие такие планы могут в лесной жизни быть у человека? Как вступить, да как шагнуть, да где ночевать будешь. Нет, дружок. Вот мы мекаем с тобой рассесться да чайку всласть попить, а взовьется ураган да хлобыстнет на нас дерево стоячее, тут и гроб нам. Нет, дружок, тайга все планты человечьи может перепутать, с толку сбить. Идешь в тайгу — помалкивай в тряпочку; только звериный нюх имей да сам зверем притворись, забудь, что ты есть человек, а зверь и зверь, только по-лесному умный, в сто разов умнее человека.

И, повернувшись ко мне, по-крепкому добавил:

— Только таежную правду надо помнить, она превыше всех небес.

Он видел во мне человека хотя и хорошего, но городского, для таежной жизни никудышного, несмекалистого, темного и, пожалуй, глуповатого. Над таким чудаком не грех и подшутить и даже слегка поиздеваться: ничего-то он не знает, ничего не подмечает, ни во что не верит, ни в таежные приметы, ни в леших, может заблудиться в трех соснах, может ни за нюх табаку погибнуть. Да разве это человек?!

Однако ироническое отношение ко мне сквозило лишь в его зелено-голубых глазах да в едва уловимых нотках голоса. Когда я нес какую-нибудь, по его понятиям, оче-

редную околесицу, он только крякал или тихо посмеивался в бороду и презрительно крутил носом.

Впрочем, искоса взглянув на меня и улыбнувшись, однажды он сказал:

— Это очень хорошо, что у тебя шляпа белая и новая: пусть медведи да олени подивуются на настоящего питерского франта.

Я не мог в данной фразе подметить желание обидеть меня, поиздеваться, нет. Это была просто приятельская шутка.

Иногда он любил поразить мое воображение своей дьявольской таежной наблюдательностью. Например, едем высокой, выше коня, травой. Он всматривается в траву, говорит:

— Гляди, недавно медведь прошел. Нет,—вглядываясь пристальней, поправляет он себя.— Нет, не медведь, а кони шли некованные и люди.

— Почему?

— А разве не видишь? Как раз вровень с лошадиной мордой трава кой-где общипана, лошади на ходу срывали.— Он осмотрелся по сторонам и, указывая вправо, сказал:— Значит, вот на том пригорке они делали привал: больше нигде — кругом болото. Вот и мы там каши сварим.

Действительно: пригорок, полянка, потухший костер.

— Человек пятнадцать было в артели,—говорит Бакланов.

— Почему?

— А разве не видишь?— И он, играя глазами, вопросительно смотрит на меня, как на простофилю.

Я со всех сил стараюсь разгадать секрет, насколько возможно проникательно ощупываю смущенным взором головни, пепел, землю, небо, облака и никак не могу постигнуть тайны следопыта.

Бакланов, попыхивая носогрежкой, берет меня за рукав и начинает поучать, как тупого школьника:

— Гляди... Четыре дырки вокруг костра, значит четыре палки — тагана — были воткнуты в эти дырки, на каждом тагане по чайнику висело, каждый чайник на трюих, на четверых, вот тебе четыре раза по четыре — сколько?

Я быстро сделал удовлетворившую его арифметическую выкладку и, краснея, спросил:

— Когда же они были? Сегодня, наверно?

— Ха-ха... Вот так угадал!— Бакланов разгреб сапогом пепел, пощупал землю.— Три дня назад, вот когда.

— Тоже скажешь,— засмеялся и я.— Подумаешь, какая точность. Может — пять дней, может — четыре... Может — месяц.

— Нет, в точности три дня. Земля под костром холодная, значит — не сегодня. И не вчера, потому что на углях седой налет сдуло. А три дня назад шел дождь. Если бы до дождя чаевали здесь, пепел смыло бы,— значит — после дождя. Понял?

II

Однажды я приехал к Бакланову ранней весной. Отправились в тайгу. Еще кругом снег лежал, лишь на оплешинах и взлобках бурела прошлогодняя трава.

Нашу охоту прервала жестокая метель.

Мы залезли в палатку, а лошадей пустили в тайгу на волю.

Прошло добрых часа два, метель не унималась. Бакланову наскучило безделье, он взял ружье и вылез из палатки.

— Жди. Я лошадей погляжу.

Да и пропал. Ждал-ждал я, сил не стало. «Куда,— думаю,— в такую метелицу ушел?»

Хоть не хотелось выбираться наружу, однако какое-то тревожное чувство заставило меня покинуть походную, такую уютную в непогоду, палатку. Ветер не унимался. Снег сыпал густо, не спеша, большими влажными хлопьями. Было мутно кругом и тихо. Очертания тайги за поляной неясно серели, и не понять — лес это или горный кряж? Где ж, однако, Бакланов? Неужели заблудился? Часы мои показывали ровно семь. Еще немного — и ночь прикроет тайгу и небо мраком. А вдруг Бакланов не выйдет вовсе? Вдруг его задрал медведь, или сломал он себе ногу и умирает где-нибудь от нестерпимой боли и отчаяния?

И мне стало жутко. Мне ж не выбраться одному отсюда. И, конечно же, я должен погибнуть голодной смертью или пасть жертвой своей неопытности, поставленный лицом к лицу с неотвратимым случаем. Спускавшийся сумрак ослеплял мои глаза и мозг. Сердце мое дрожало, голова пламенела, охваченная роем малодушных предположений.

И вдруг... Сначала послышался родной такой, милый голос, затем показался и сам Бакланов: вот он, едва видимый сквозь испещренный снежной сетью сумрак, дви-

жется на меня, желанно отделившись от загадочной опушки леса.

— Бакланов! Бакланов!— кричу я весь в радостном каком-то ослеплении.

— Ну, как?— слышу его ответный голос, бегу ему навстречу, поскользнувшись, падаю, вскакиваю... Но — Бакланов исчезает. Что же это, галлюцинация?

— Бакланов! Бакланов!! — надрываю глотку.

Но Бакланова не было и нет.

Галлюцинация.

Я возвращаюсь обратно в палатку, выпиваю вина, руки мои дрожат, и тело в легком ознобе. Выхожу. И вновь вижу Бакланова, идущего емким шагом прямо на меня, и вновь это не человек, а призрак, сотканный из ничего моим взбудораженным воображением.

Когда наконец вышел из тайги настоящий, живой Бакланов, с ног до головы запорошенный снегом, и двигался на меня плывущей тенью, я тоже принял его за призрак, но все-таки окликнул:

— Бакланов, ты?

— Я самый.

— А костер погасает, чай остыл,— проговорил я спокойным голосом, стараясь скрыть недавние свои страхи.

— Костер погас — это не беда,— сказал Бакланов, отряхивая снег с себя и сдирая для огня бересту.— Костер живо запылает, а вот я сам едва не погас, вот это да!.. За оленем шел, за оленем бежал... Я бы выстрелил, да боялся: Бурку ушибешь; он возле меня все крутился и теперь за мной пришел... Эй, Сивка-Бурка!.. Один раз все-таки выстрелил, не утерпел, знал, что не попаду: темно,— а чтоб олень помнил, что я с ружьем хожу. На костер твой вышел — дымком наносило; ежели бы не костер, заночевать довелось бы в тайге. «А ведь дружище-то мой чай кипятит»,— думаю, да ну шагать. Так и выбрался. Все рассчитывал, что ты гул сдогадаешься ружьем подать. Ну, ладно.

Костер вновь буйно разгорелся.

Бакланов спросил:

— Ну, а что б ты стал делать, ежели я совсем пропал бы? Как ты стал бы выбираться отсюда?

— По балке я прошел бы,— говорю я,— и по горе прошел бы, и в Тетерью-речку спустился бы, а как с речки выбраться, пожалуй, не сумел бы. Впрочем, я на Бурку твоего сел бы... А он...

— Нет, дружок,— перебил меня Бакланов.— Мой Бур-

ка только меня принимает да разве сына, Степку, когда бочка с водой запряжена. А вот и вода вскипела. Кроши чай.

III

Как-то в разгаре лета мы предприняли с-Баклановым длительное путешествие в нагорную тайгу.

Нет ничего приятнее, как после страдного, наполненного приключениями дня вольготно расположиться у костра на отдых и, попыхивая трубкой, слушать певучую речь Бакланова.

— Годы мои длинные,— обычно начинал он,— а жизнь короткая: нечего и рассказать тебе.

На эту излишнюю его скромность я только улыбался: еще до знакомства с ним слышал я, что он рассказчик замечательный, что жизнь его богата опытом, событиями, встречами. Но надо же Бакланову немножко поломаться. Наконец он начинает издали вспоминать.

Однажды, много лет назад, к его таежному жилищу подъехали верхами знатные люди: это экспедиция Академии наук. Его наняли проводником; да кого же еще и нанять, раз Бакланов знает всю округу на большие сотни верст? Недаром его зовут — таежный волк.

— Сто рублей на месяц положили,— гордо говорит Бакланов.— Сто рублей! Правда — харч мой. А какой у меня харч — табак да спички! Мой харч в тайге гуляет: стрелил — вот и харч. И был в этой самой экспедиции человек один, Залогов назывался. Хоть бы путное чего, а то вот этакенькую букашку ловил. Всякую. Смешной этот человек — Залогов, никудышный.

— Не Залогов, а зоолог, ученый,— поясню я.

— А тут вот еще что случилось,— вспоминает Бакланов.— В экспедиции планщики ходили, планты плантовали. А главный-то — полковник. Натакались как-то его солдаты на медвежий след. «Вашескородие,— сказали они полковнику,— разрешите облаву на зверя сделать». Узнал я про это, подумал: «Что за облава за такая может быть? Нешто порядок это: на одного беззащитного зверя двадцать мужиков с винтовками?.. Кошунство это!» Говорю наибольшему: «Допусти меня, твое благородье, одного: оглянуться не успеешь — медведя тебе доставлю, двадцать пять рублей жалованья тебе в залог кладу». Через час медвежье сердце теплое приташил, говорю: «Вашескородие, попробуйте *сердешного*».

Мы с ним только что аппетитно пообедали, пьем кирпичный чай. Его Бурка и мой конь траву у дымокура щиплют: комары не любят дыма, злобным облаком толкуются в ожидании.

Мы на мягкой, покрытой зеленовато-белым мохом прогалянке, кругом тайга. Солнечный день, и лес сегодня тих, задумчив. Я пристально взглянул на ближайшую сосну, удивился: ствол этой сосны, от земли аршина на два, блестел на солнце огненно-красными рубинами.

— Это комарье,— сказал Бакланов.— Насосались лошадиной кровушки, пока ехали мы, а вот теперь от дыму и тово... Ужо-ко я камедь устрою,— он улыбнулся, вскочил и пошел шнырять по тайге.

Я приблизился к дереву. Как спелой брусникой, ствол унизан набухшими кровью, готовыми лопнуть комарами. Я шевельнул одного-другого комара: ни с места, не летит — пьян иль сладко дремлет.

— Ужо, ужо,— подошел Бакланов и посадил в комариное алое стадо двух головастых муравьев.

Те осмотрелись, подбежали к соседним комарам, тщательно ощупали вздувшиеся их брюшки, деловито ознакомились с топографией населенного поживой места, произвели приблизительный учет скоту, сбежались вместе — лоб в лоб, посоветовались усиками и пустились вниз головами в бег к земле.

— Сейчас начнется,— сказал Бакланов, щуря на солнце свои веселые глаза.

Через четверть часа к комариному стаду пробирались организованные отряды муравьев. Немедленно началась горячая работа. Муравьи попарно подползали к пьяной комариной туше, ловко подхватывали ее передними лапками и клали на загорбок третьего муравья. Тот, пыхтя и придерживая комара за лапки, пер его, как пьяного мужика в участок. Упарившись — это уже на земле,— муравей сбрасывал с себя кровопийцу и, покачиваясь, стоял на месте. Двое других муравьев клали ношу на загорбок третьему, свежему своему товарищу и — дальше. Вскоре сосна была чиста.

— Доброе дело сделали,— заметил Бакланов,— подлый гнус умной скотинке дали — муравью. А раз добро с тобой мы оказали, значит и нам добро будет: козулю ухлопаем, а нет — марала. Ты что, не веришь в это самое? Напрасно, мил человек, напрасно! — Он снял шляпу, положил широкую ладонь на мое плечо и, обдав меня ясным взором мудрых таежных глаз, сказал внушительно:—

Человеку ли, зверю ли, ничтожной твари ли какой — все единственно — сделаешь добро, тебе так же будет. А зло — и тебе злом обернется. Запомни, милый друг. На этом вся видимая жизнь стоит. Если б принял человек в свое сердце эту заповедь хорошую да по поступкам поступал, тогда рай на землю снизошел бы. В это я крепко верю. Я в размыслы люблю башкой уйти: время здесь в тишости плывет, не торопясь, не то что в городах больших: думай себе на свободе, прикидывай так и так, умствуй. Начальник экспедиции, бывало, говаривал: в книге мудрость; а я говорю: в природе мудрость. Только не вдруг ее, природу-то, поймешь. И пытаться природу надо благословясь, да с толком, а то в дураках оставит тебя природа, в такую душевную пропасть заведет, как липку тебя обворует, всю душу разденет догола, в глаза тебе насмеется, плюнет. Щенком заскулишь тогда, удавки себе попросишь, какого ни на есть конца. А ты верь, милый человек, верь в добро, тогда и благо тебе будет. Верь!

Как любимого сына своего, шершавой, мозолистой ладонью он гладил меня по голове. И свет из-под нависших его бровей пронизывал меня, взвешивал, пытал, дорого ль я стою. И показалось мне, что передо мной не человек, а одухотворенная скала, древняя и мудрая, и что не человеческий детский взор, а лучи древнейшего от века солнца окутывают меня таинственной и нежной лаской, как любимого сына своего.

— Например, послушай, парень, как я одну зверюгу пожалел, джайрана¹. Такой случай со мною на Кавказе был.

— Как же ты, Леонтий Моисеич, попал туда, на Кавказ-то?

— Долго сказывать... А впрочем... Отдал меня батька, донской казак, по обещанью в монахи, в Старый Афон, место свято. Одначе, как подрос там, бежал оттуда, через Турцию в Персию пробрался, из Персии на Кавказ. На Кавказе с горцами в дружбу вошел, охотой промышлял с ними. На двадцать шестом году оженился, а как стукнуло двадцать шесть, сказал жене: «Пойдем в Сибирь-землю, слушать, как тайга шумит, устраивать, как дикий зверь рыщет». И перебрались мы сюда к великой Енисей-реке. Вот и все жите мое. Теперь слушай. Охо-

¹ Д ж а й р а н — козуля.

чусь это я на Кавказе, иду карнизом по высоченной горе. И такая тропочка случилась, в аршин шириной: слева — стена в небо, справа — пропасть. Гляжу — встречу мне джайран остороженько бежит. Остановились оба; он на меня взирает со страхом, я — на него. А разминуться нам никак нельзя — узко. Обрато ему тоже никак нельзя: собака настигала, влаивала где-то под горой. Хотел я застрелить его либо в пропасть спихнуть. А он возьми и взмолись ко мне глазами: «Дядя, уступи дорожку, не убивай, спаси меня!» И повернула меня какая-то сила назад. «Иди,— говорю,— дурачок, иди!» Выбрался я обратно на широкое местечко, гляжу — и джайран мимо меня стрелой стеганул да в лес. Вскорости собака промчалась, за ней — охотник верховой. Радостно мне стало: спас животную. А день жаркий: над камнем воздух колыбался, камень теплом дышал. Разомлел я, прикорнул возле тропки под чинарой в тень. Закрыл глаза, сон на меня напыхом пошел. И как теперь слышу — где-то внизу струи говорили. Лежу, думаю: «Вот хорошо, доброе дело сделал. Пусть живет джайран, и пусть живет Бакланов. Хорошо, шибко хорошо!» А сон уже, чую, навалился на меня совсем, могильной пеленой закрыл. И вижу мертвым глазом. — тропинкой мышь, словно комочек, катится. И слышу мертвым ухом — звенькнуло что-то на каменной тропе. «Эге! — вынырнул я из сна, как поплавок. — Эге! А ведь этот самый мышь какую-нибудь серебришку обронил». Я знал, что мышю серебришка дорога, все к себе в норку тянет. Стал я ползать по тропе, искать-искать: не наших времен денежка серебряная. Давай я норку мыша отыскивать. Норку не нашел, а еще четыре денежки нашел. Ну, думаю: «Клад поблизости». На другой день привел двух товарищей своих. И верно: на пещеру натолкнулись, разворотили камни, а там два гроба из плитняку. В одном гробу великан лежит, кости одни, и через весь гроб — мечь громадный. В другом гробу — женщина-покойница в парче: два браслета золотых, серьги, кольца, разные висюлечки, на лбу обруч, все золотое, в камнях дорогих. И черная коса, длинная, густая. По такой косе — писаная красавица должна быть эта женщина, княгиня либо кто. Взять мы ничего не взяли — кому продашь? — сразу влопаешься, — а заявили в городу ученым людям. В награду нам дали триста рублей...

И в ту же ночь, как получил я деньги, сама княгиня явилась мне во сне. Будто сидит княгиня возле меня на

камушке во всех нарядах пребольших и моего мыша на ладошке держит. Мыш встал на дыбочки, свистнул, джайран явился, тот самый, мой. А княгиня будто вся голубая сделалась: и улыбка ее голубая, и голос голубой. И все заголубело вдруг: мыш, джайран, княгиня, вся земля, все небо, и сам я голубой. И уж ничего не разобрать: все мчится, крутится, словно вихрь-метель. И через голубую вьюгу чую голубые короткие слова княгини черноокой: «Смерть, джайран, мыш, я, золото, жизнь. Купи коня, бери жену, иди за Урал, в жизнь. За благо — благо». И вот все голубое сложило крылья, исчезнуло, как исчезнет туман от бури, все сгнуло, нет ничего, ни неба, ни земли, и меня нет. Чисто.

Долго-долго я после размышлял над этим, и по сей день случай тот с ума нейдет. Так и сяк мекаю, ищу ключ от двери потайной, от сна. Смерть, жизнь, мыш, джайран, княгиня, я, золото, земля и небо — словом, все, — не едины ли мы в видимостях разных? Так полагаю темным розмыслом своим — едины. Ну, почему ж мы все заголубели, заструились, как пар, как дым? Так полагаю коротким розмыслом своим — вся видимость из единого месива сляпана. И месиво то — воздушная пустыня. И все, весь мир голубой — воздушная пустыня, дух. Только нам по-настоящему смотреть не дадено. Да и слава те, Христу! Ежели б могли мы по-настоящему на богов мир взглянуть, вчистую, без обмана, — с ума бы спятили, сдохли бы, как льдинка на огне. И выходит, что все умственно подведено. И выходит — нечем и незачем гордиться человеку. Человеку, цветку, букашке, камню — по-моему, одна цена. Бесценная, великая цена.

Как всякий зверолов, как всякий бродяга или странник, Бакланов — поэт в душе. Но поэзия его не от Старого Афона: она дочь азиатских просторов, гор, тайги. Сидя у костра или попыхивая неугасимой трубкой где-нибудь на обрыве, откуда открывается дикая картина угрюмых гор, он любит всласть помудрствовать. Его речь то плавна, то бурлива, как поток, но всегда звучит убедительно, красочно, певуче; может быть, уклад древнего монастыря еще с юных лет заковал его речь в грань напевных берегов, и поэт-бродяга даже в старости воздаст всему осанну. Мудрость его проста и трогательна: «Люби все, люби всех. За правду умри».

Он недоверчиво относится к человеческому разуму. Он говорит:

— В башке у человека темный мясной умишко. Над

башкой ум. Над умом умище. Умишком жить — носом по земле елозить, хвостом звериным к правде. Умом жить — на корячки встать, мордой человеческой к правде. Умищем жить — на ноги подняться, за сегодняшний краешек сегодняшнюю правду взять. Как это, почему? А очень просто. Людская правда — круг на оси крутится, как колесо. Идет колесо — хватай! А через сто лет другую правду схватишь; а та правда, старая, уж кривдой будет. А колесо крутится, вертится тихо-тихо, и через тыщу лет старая кривда опять в правду обернется. И поймают людишки старую правду-кривду, и снова правдой назовут ее, и за новую кривду-правду большую кровь прольют. Понял? Все на свете крутится, все на свете повторяется: из жизни смерть, из смерти жизнь. А настоящая-то, не межеумочная, не сегодняшняя правда не на колесе скользящем, а на оси незыблемой. Только не дотянешься до той оси, ось ту солнце стережет: глазыньки от света лопнут. Значит, до всамделишной правды человеку и не дойти вовсе, не дадено человеку это.

Так мрачно заканчивает он лесную, первобытную философию свою и, чтоб развеять одолевающее меня беспокойное смятение, говорит мне:

— Ну, ладно, голубчик... Ничего... Не желаешь ли, происшествие одно расскажу тебе? Знатнецкий случай был со мной: правда на правду наскочила. Хочешь?

Я выразил согласие, и Бакланов, попивая послеобеденный кирпичный чай, начал.

— Лютая зима была. Солнце в рукавичках вставало, потрескивали от мороза деревья, скалы. Вышел я из зимовья, за плечом медвежье ружье — бердан — да малопулька — белок пострелять пошел. И только выбрался на взлобок — глядь: под угорчиком человек сидит в сугробе, голову вниз, воротничушко кверху, сжулился, и лыжи возле.

Подошел я, гляжу — незнакомый человек; толкать-толкать его: замерз. Опрокинул покойника на бок — он так калачом и лег, застыл. Возился я над ним изрядно, покуда в чувство его привел. Дотащил до зимовья, подкрепился он спиртом да пищей горячей, уснул. На другой день жив-здоров. Как оклемался, говорит мне:

— Я,— говорит,— села Перевального житель, девяносто верст отсель. А сам я портной, тридцать три года от роду. Гарасим Яфимыч Карпов. И надо было мне в Минусинске кой-какой прикладишко купить: уряднику новый мундир я шил. В нашем селе почтарь знакомый, он каждые две недели за почтой в Минусинск на лыжах бегаёт.

Прошу его Христом-богом: купи приклад. Он не хочет: «Пойдем,— говорит,— на лыжах вместе: и приклад купим, и погуляем там — наливочки попьем, пивка, того-сего...» Я говорю: «Нет, я не могу идти, я не привычный на лыжах, сам замучаюсь и тебя задержу». А он — пойдем да пойдем,— чуть не насильно меня тянет: «Я,— говорит,— не шибко пойду. Устанем — отдохнем. Пойдем!» И сунул меня черт пойти. За первый день шестьдесят верст прошли. Я совсем из сил выбился. А еще верст сотни две идти. На другой день ноги у меня задрыгали. Говорю ему: «Потише, куда ты в мах?» А он: «Иди, иди, не отставай!» К вечеру отобрал он у меня топор, спички, сухари, сказал мне: «Ты шоркай потихоньку по моей лыжнице, по следу, а я за горку вон за ту спущусь, костер налажу, пожрать сготовлю, отдохнем там». Я поверил, отдал все. А сам потихоньку в путь. Почтарь мой живо из виду под горку скрылся. Подымаюсь я на гору. «Вот, — думаю,— перевалю — и сразу к ужину». Поднялся, глянул, а он уже на следующую гору вздымается верст за десять от меня. Взобрался да как приурезет с горы, только я его и видел. В нутрях похолодело у меня, волосья от ужасу зашевелились. И догадался я, что почтарь меня бросил, что неминуемую смерть дал мне. Слеза меня прошибла: как есть один, помощи ждать неоткуда, того гляди волки разорвут. И решил помирать. Попробовал спускаться — упал, да так уж и вставать не захотелось. А тут кто-то в гармошку заиграл, девки запели, будто баня теплая и будто пьяные олени лесом с вениками шли... А ты, отец, и спас меня.

Рассказывает так, а сам горько плачет.

Говорю ему:

— Не горюй. Я выдам тебе подорожную, укажу до ближайшей займки дорогу, верст пятнадцать будет.

Бумаги у меня, конечно, не было, а содрал большой пласт бересты белой; камень вап¹ нашел и написал вапом так:

«Этому человеку всякую помощь оказывать. Я его от смерти спас замерзшего. Лошадей давать задаром, кормить задаром. Перевозить его от жилья к жилью, до самого Минусинска».

И расписался: *«Леонтий Бакланов, таежный волк».*

Наградил его всем, вывел на короткую дорогу, и он ушел. Летом дознавался я: приказ мой чалдоны выполни-

¹ Вап — красящее вещество, краска.

ли в аккурате, потому — всяк уважает меня за то, что я всю тайгу наскрозь прошел, что закон тайги держу.

Ну вот. Теперь слушай, милый друг, дальше.

После этого стал я почтаря поджидать, погубителя. Знаю, этим же путем побежит обратно. И знаю — в какое время. В конце пятых суток вышел я на пригорок, жду. Помню, под осиною встал. Тихо было. А на осине прошлогодний листок сухой холпит-шевелится. Что-то шепчет мне. Кругом бело, только лес по горам чернеет, небо тоже белое, солнышко сквозь туман глядит, книзу. пугину свою правит.

И час, и два жду — нейдет почтарь. Злоба копится к нему: прислушаюсь, прислушаюсь — кипит в грудях! А осинный листок сухой холпит-шевелится, по-доброму опять-опять что-то шепчет мне. Не слушаю его: «Отстань», — твержу. Тут летучий ворон возьми и крикни надо мной: «Почтарь!»

Ага, вот он-он! Приструнил я себя, встряхнулся. А тот прямо на меня спешит. Снял я бердан с плеча. Только он ко мне — я:

— Стой!!!

Он остановился шагах в тридцати, взором выпить меня хочет, рыжая бороденка в куржаке, из-под оленьей шапки глаза чернеют.

— Бакланов, ты никак?

— Я самый. А где товарищ твой, Гарасим Ефимович Карпов, портной?

— Он в городе остался, подбирает приклад себе...

— Врешь! Зачем ты врешь? Ты бросил его вот на этом самом месте!

Почтарь шапку снял, от потной головы дым пошел, опять нахлобучил шапку. Говорит мне, и слышу: в голошишке овечий хвост дрожит, как перед волком. Говорит почтарь:

— Ты все, Бакланов, знаешь... Колдун ты! Да, действительно он от меня отстал. А мне невозможно было ждать... Неужто умер?

— Умер. Сейчас и ты умрешь.

— Бакланов!.. Что ты?! Леонтий Моисеич!..

— Стой, не шевелись, — сказал я и вложил патрон в бердан.

— Бакланов! Бакланов!.. Нет моей вины!..

А я ему:

— Ты у него топор отобрал, спички отобрал, харч весь отобрал обманом. Убивец ты!

Поднял я бердан, взвел затвор на выстрел. А он на корячки хлоп, ползет ко мне по сугробу, кричит последним голосом:

— Не губи, не убивай!

— Стой! — кричу. — Нешто не Бакланов я? Нешто не должен я правду таежную исполнить? Погубитель ты. Молись, варначина, богу: застрелю, как волка бешеного, и в снег не закопаю.

Прицелился я из бердана прямо в башку ему: шапка евонная свалилась, дым от башки идет, а сам он, словно пес, на четвереньках. Слышу — взвыл:

— Слово одно!.. Бакланов!! Не губи! Одно слово в оправданье... Тогда поймешь...

Опустил я бердан.

— Ладно. Говори слово. Только умное!

Подошел я к нему. Кровь в его лике сменилась: лик — быдто снег. И сам дрожит. А глаза пытаются меня: по-доброму или по-злему подошел к нему? Выпытали нужное, обмякли, надежный огонек засветился в них, обмороженные щеки задрожали: всхлипнул мужик. И с той самой минуты исчезнула во мне злоба, и подкатился под наши ноги — ковер не ковер, а что-то теплое, может, шкура парная медвежачья, может, еще чего. И в душе сразу отлегло: вижу — ушибленный человек передо мной.

Только мне не захотелось показаться добрым, строго спросил его:

— Ну?

Он и говорит:

— Ослабел, — говорит, — я со страху, как ты бердан навел. Большой ужас, — говорит, — смерти в глаза глядеть.

— Ах, тебе ужас, а ему не ужас?!

Смолчал он, морду отвернул, мигает. Зажег я кострище из валежника, из смолистой пихты. Усадил его:

— Ну?

— Жена у меня имеется, супруга законная, — говорит он.

— Как звать?

— Любаша.

— Хорошее имя. Складное. А к обличию подходит?

— Подходит вот как: очень даже пригожа из себя.

С Николы зимнего двадцать второй год пошел.

— Любит тебя?

— Любила.

— Его любит?

— Да. Его любила, царство ему небесное.

— Про царство помолчи,— говорю ему.— Вместо царства ад, может.

А он и говорит:

— Ежели ему ад, мне — царство: может, Любаша опять ко мне приклонится.

— Твоя Любаша при нем жила?

— Нет, при мне. Бегала к нему. Я накрыл. С того дня грех пошел.

Спрашиваю его:

— Кто ж виноват в том грехе, по-твоему?

— Знамо, он, будь он проклят... Царство ему небесное... Портной этот самый! Гараська Карпов.

— Нет, — отвечаю, — пустопорожние твои слова. Не он, не баба твоя. Ты всему виной: укрепу ослабил, чем ни то оттолкнул жену.

— Бабу за подол не удержишь.

— По согласью, по любви за тебя шла?

— Обязательно по любви... То есть... Эх!..

Говорю ему:

— Иной раз птица на зерно идет, да в силки попадает. А из силка в котел.

Прикинулся он, что не понял, вздохнул, а в глазах злобная хитринка. Открыл сумку, вытащил шерстяной отрез.

— Вот, — говорит, — это Любаше своей несу... подарок.

Насупись я, прощупал его из-под бровей взглядом, говорю:

— Не поможет, — говорю ему, — опоздал. Уйдет от тебя Любаша. Укрепы нет.

Тут он у большущего костра в дрожь пошел, опять кровь сменилась в лице. Мотнул головой, закрыл рыло ладонями да в хлипки, в хлипки.

— Ты не знаешь, — говорит, — ты не знаешь, Бакланов, до чего она приятна мне! Дня не прожить без ее. Куда бы я ни пошел, она все возле меня. Иду-иду — со мной! Вот и сейчас возле нас сидит... Любашенька, Любаша, солнышко!!

И ткнулся он, дурья голова, рылом в снег, точно его кто по шее съездил, и пополз на коленях, шапку в костер бросил, волосы рвет на себе, воеет, и лик нехорошим стал.

— Стой! — кричу. — Стой, опомнись!! Ежели слова умного ты не мог сказать, зато дорогую слезу пролил. Иди! Твою пулю медведю в сердце подарю. Иди с богом.

Разрядил я бердан. Почтарь слезы вытер, на спокой-

ствие себя поставить хочет, а морда нет-нет да и взывает, скукнется, белые зубы из-под усов сверкнут.

— Иди, Перед слепой человеческой правдой прав ты. Сумей оправдаться перед правдой светлой.

Вздыхнул он, стал на лыжи, повязал башку шалью, распрощался со мной, пошел. Вот обернулся, вот спросил:

— А где ты похоронил его, царство ему небесное? — сказал он и перекрестился.

Не сразу я ответил. Подумал и сказал:

— Нешто поп я? Спроси у мороза да у вьюги.

Он опять перекрестился, отвесил мне поклон, крикнул:

— Бакланов, батюшка! А ты, чур, молчок! Про что мы знаем с тобой — тому гроб, могила... И чтоб больше ни единая душа...

— Гроб, могила! — крикнул я.

И эхо отозвалось в лесу: «Могила!» И ворон каркнул: «Гроб!» А почтарь все дальше — меньше, дальше, скрылся.

Мы с Баклановым снялись с места, двинулись. Нам надо засветло перейти вброд таежную речонку. Вступили в болото. Подошвы наши скользили по ровному и белому, как мрамор, дну: июльское солнце еще не растопило донный лед. За болотом мы сели на коней. Комары преследовали нас. Бакланов сделал два свежих веника, и мы без передыху отбивались от назойливого гнуса. Из глубокой балки, где сгущался вечерний мрак, подуло ветром. Комары исчезли.

Я спросил Бакланова:

— А о дальнейшей судьбе почтаря ты, Леонтий Моисеич, ничего не можешь рассказать?

Бакланов натянул поводья, остановился.

— Тпру... Я ведь даве молвил тебе: гроб, могила. И слово мое верное: недаром дураки колдуном меня считают. Натакался на почтаря, вскорости же после моей ростани с ним, один зверолов, товарищ мой. Мертвого нашел. Медведь почтаря задрал. На моих памятях отродясь такого случая не было, чтобы зимой медведь мог человека заломать безоружного. А было по всем видимостям так. Как распрощались мы с почтарем, сиверко подуло, буран зачался. А тут ветролом в тайге ударил, лес корежить стал. Вот и грохни сосна, да прямо по берлоге. Всплыл медведь, а почтарь-то тут как тут. В одночасье ему и карачун пришел. Я полагаю, что именно так могло случиться это все.

Бакланов понукунул коня и убежденно добавил:

— Как хочь, так и мекай. Бакланов оправдал, медведь не оправдал. Одно только наверно знаю: ту самую пулю, что на почтаря готовил, вогнал-таки в медвежье сердце — невзадолге разыскал я этого зверя и устукал благословясь. На!!

День сегодня простоял жаркий. С горных белков натаило много снегу, и речонка вспенилась, шумела. Наши кони, переходя речку вброд, наваливались тугими боками на сшибавшую их воду, пофыркивали и храпели. А дальше, за речкой, зверючья тропа в кедрач вошла. Кудрявые кроны великанов кедров давали густую тень. Смолистая, теплая тишина стояла.

— Леонтий Моисеич! — заговорил я. — А ты всерьез хотел застрелить почтаря-то?

— Нет, — ответил Бакланов, оглаживая русую бороду. — Только остратку ладил дать. Чтоб на всю жизнь варубина осталась в сердце. Человека убить — себя убить. Слезавай — приехали.

IV

— Я над всем этим краем властитель. Не в похвальбу, а так оно и есть. И глянь, ты только глянь, какая красота кругом, премудрая красота, великая красота! От этой красоты господней, от природы — вот взглянешь — замрет, замрет сердце, и слезы потекут. Я тридцать два года здесь, в горах, в тайге. Да пусть скажут мне короли земные, вельможные правители: «Бакланов, владей всем нашим богатством, дворцами, городами, пей, гуляй, писаных красавиц хоровадь, спускайся с гор, иди к нам, властвуй!» — «Нет, — скажу я, — нет, ваши царские величества, покорнище вас благодарим: околдовала меня мать-природа, угрела, осветила солнцем, обвеяла белыми туманами: здесь родилась новая душа моя, некуда отсель идти и незачем. Здесь смерть приму. Аминь!»

Бакланов Леонтий Моисеевич по-настоящему чувствовал природу, понимал, любил ее. И складные его слова были кротки и страстны, как псалмы. Голубые, с прозеленью, глаза старика блестели молодостью. В их лучистом, то серьезном, то улыбчивом взгляде чувствовалась большая мощь. Ими он мог повелевать, ими же мог согреть, умягчить чужую озлобленную душу.

Мы едем с ним верхами по карнизу полутораверстной кручи. Приземистый, но могуче сложенный, он с конем — одно. Он останавливает своего Бурку и говорит мне:

— Слезавай! Иди за мной.

Я повинуюсь — старик не зря зовет меня. Вот мы на свободном от хвойных зарослей обрыве.

— Гляди, — сказал Бакланов и властно повел по горизонту рукой. — Можешь понять, восчувствовать? — не обертываясь, сказал он тихо.

Мы были на страшной высоте. Прямо перед нашими глазами высилась плавно очерченная цепь гор, прорезанная темными балками. И дальше, поскольку хватал наш жадный взор, вся земля всколыбалась и вскоробилась: горные хребты застыли в волнообразном беге к горизонту и, постепенно понижаясь, тонули там, окутанные голубоватой пеленой воздуха. Лишь на самом краю земли, приподнявшись над всем миром, ослепительно сверкали вознесшиеся к небу нетленные вечные снега. Это пики Араданских гор и далее — главный массив — Саяны.

— Просторы вы мои, просторы, — упоенным, мечтательным голосом шептал Бакланов.

Под нашими ногами бурно пенилась река. Ревом ревели пороги, но на нашу высоту звук не долетал. И сквозь неподвижную тишь воздуха, ежели взглянуть влево, вниз, можно видеть: верстах в пяти от нас врезано в горы зеркальное альпийское озеро. Ясно-голубая поверхность его, как нежный с лоском шелк, очаровывала зрение: хотелось лететь на крыльях к этой таинственной волшебной глади и окунуться в нее, и плавать в животворных, очищающих водах.

Пока мы стояли, умиленные волнующим очарованием, картина менялась. Солнце уходило за горы, ясность воздуха стала еще больше, тени в провалищах и безднах — резче; серые, желтые, красные тона горных обнажений и все краски ландшафта освежились, ожили, заулыбались какой-то задумчивой, мудрой и благостной улыбкой. А седовласые великаны на горизонте надвинули по самые бороды свои снеговые шлемы и, замыкаясь в глубь себя, готовились к сторожевой дреме. В этой памятной картине великая искусница природа, казалось, щегольнула всеми красками видимого спектра: от сверкающей белизны до чернильного мрака преисподней. А над всем этим — бесстрастная, глухая тишь небес.

— И глянь, ты только глянь, какая красота кругом!.. Великая красота, премудрая красота!..

Мы спустились на ночлег в долину, развели костер. За чаем Бакланов стал повествовать. Его жесты характерны, широки. Голос в меру звонок, плавен, выразителен, речь певуча.

Когда он молчит, его скуластое лицо обыкновенно, буднично: крепкие, загорелые, в мелких морщинах щеки, глубоко сидящие глаза, широкий толстогубый рот, пепельно-русая, в крупных кольцах борода. И какое-то дремотное, обращенное внутрь себя, созерцательное выражение.

Но вот он начал свой рассказ, взнуздал, пришпорил память, и, сдерживая страстность речи, он весь преобразается. Лицо становится живым, светлым, вдохновенным, глаза горят мудрой веселостью, и хмурые нависшие брови в напряженном движении.

Слова его просты, но убедительны, и все на своих местах; он знает толк в словах, прислушивается к ним, ясно понимает, что даже за пустяшным словом стоит большая сущность, и поэтому в его речи они начинают светиться внутренним огнем, приобретают значительность и вес. В моменты душевного подъема его голос становится жутким, вещим, и сам он — как пророк. Он начинает,

— Десяток лет тому случилось это, в те поры я еще самосильным был. Сказывал тебе, что я властитель этому месту, один я здесь на сотни верст.

Помню — голубое глазастое утро было, глубокий снег лежал. Месяц ноябрь кончился, скоро николин день. А к николину дню надо пушнины добыть изрядно. В николин день две ярмарки живут, одна в Минусе, другая в Усинском. Вот туда и надо пушнину доставить, долг сквитать: должен я был Абдулу Мехметову, богатому купцу, близко к тысяче. А Абдул Мехметов — человек крутой: не оправдаешь себя — туго тебе будет.

Вот вышел я зверовать на промысел. Перво-наперво лег на новом месте спать, в зимовье своем, и видел сон — будто белки через реку плыли, хвосты вверх, трубой. Хороший сон: добыча будет добрая.

Ладно. Выхожу на поляну. А дело к вечеру, солнце книзу клонит, тени от деревьев в синь пошли, бегучие огоньки по снегу полыхают. Глядь — две лыжницы, две дороги от лыж, в нетоптанном снегу моем. Как так? Кто мог осмелиться мое царство опоганить?!

Вскозырился я весь, упрямая кровяца заиграла в жилах. Следить, следить: лыжницы под горку. И видно мне с горы — два черных человека: один сидит, этак колени обхватил, будто задумался, другой поодаль на боку лежит, лыжи валяются в сторонке. Смотреть, смотреть: не шевельнутся, будто мертвые.

Вот так раз — да ведь это купчина мой, Абдул Мехметов! И в мыслях твержу себе: «Ну, Бакланов, действуй, людишки погибают!» И стал лыжи укреплять.

А черт и говорит мне:

«Ты погоди, куда ты?»

«Как — куда? Ты вчера родился, что ли? Ведь люди там».

А черт мне:

«Нешто это люди? Один — купец Абдулка, другой — его поводырь-дурак».

«Нет, — отвечаю, — нельзя... Закон тайги не позволяет. Надо спасти людей».

А черт и говорит:

«Эх, Бакланов, Бакланов!.. Закон тайги обормоты выдумали. Одной правдой не прожить. Не ходи, Бакланов! Обожди немножко, ну немножко!! Стой!»

«Нет, пойду».

«Кого ты спасать хочешь?! Ты ему тыщу должен!.. Ведь он грабитель. Ведь сколько он на тот свет народу сплавил, сколько народу по миру пустил! Его все клянут, а ты спасать хочешь. Дурак ты! Ведь он на ярмарку идет, пять тысяч у него в сумке; все твое будет. Ты только стой на месте, все без тебя сделается. И уж скоро, совсем скоро будет так, как надо. И не будешь ты горе мыкать, в Москву уедешь, сладкая жизнь твоя пойдет. Ты только слушайся меня, стой...»

Огляделся я — туда-сюда глазами шарю, голоса лукавого ищу; пусто, только те двое чернеют в сугробах, да от солнца по снегу алые полосы пошли.

Говорит мне черт:

«Он дочь твою изобидел, он брата твоего в могилу свел, он и тебя за братом в гроб загонит. Ведь он же враг твой?»

«Враг».

«Пошто ж ты хочешь спасти его?»

«По то, что враг он мне. По этому самому. Друга всякий будет спасать, это не диво. Врага трудней».

«Ум твой пустой, Бакланов. В душе твоей гордыня, Бакланов. И ты только вспомни, что святые отцы рекли: гордыня — дочь дьявола. Убей в себе гордыню, Бакланов, дай околеть купцу».

«Нет! Будет жив, может, добрые дела окажет».

И плюнул тут черт:

«Тьфу! От змеи не родится голубя. Неотмолимый грех тебе, ежели змею не изничтожишь».

Взяло меня за живое, говорю в думах черту своему:
«Не раз и не два сказывал мне родитель: жил в тайге пакостник один, забеглый каторжник, варнак. И так он насолил крещеным — замыслили крещеные убить его. А тут совесть в нем голос подала: противна варнаку жизнь стала — в крови, в злодействе. И порешил он на себя руки наложить. И только голову в петлю вставил, чтоб глотку затянуть, — бегут тайгой мужики: «А, злодей!» А варнак и говорит им: «Моченьки не стало жить так: совесть мучает меня». А мужики ему: «Ежели перестанешь злодеем быть, тогда живи, запрету от нас нет, живи!» Заплакал в ответ варнак. И сказывал мне родитель не раз, не два: стал с тех пор варнак самым желанным человеком, вся округа узнала о его жизни праведной, вся округа ходила к нему за поущением. И стал варнак святым. Вот так же и с Абдулкой может приключиться».

Примолк черт, не вздышит, видно слюни на клубок мотаает. Только кончил я раздумье, он и говорит:

«Чудак ты, Бакланов, ей-богу, чудак! Абдулка твой злодей неисправимый. На душе у Абдулки до самого донышка копоть одна, грязь».

«Нет, скользки твои речи, увертливы, — отвечаю я черту своему. — Ежели дождь неделю поливает, не верь, что солнца нет: скатятся тучи, вот оно, солнышко-то, вот! Так и душа чужая: мрак, мрак и вдруг — светло».

И не знал черт, что ответить, только дыхнул в душу мне:

«Убей змею!»

«Нет! — говорю я. — Не возьму на себя греха».

«Бакланов, друг! — убеждает меня черт. — Ради бога не страшись греха... Ведь дело твое будет бескровное: крови ты ни капли не прольешь, руки своей не замараешь кровью».

«Совесть замараю...»

«И совесть твоя будет бела как снег. Ты только обожди, ну, обожди, Бакланов, прошу тебя, умоляю, не ходи! Сейчас они замерзнут».

«Прочь с дороги!» — ударил я голосом и зашагал на лыжах.

А черт всхлипнул и — чую — сзади меня идет, дышит в затылок жаром, темные искры рассыпает предо мной и сердце мое чавкает, чавкает песьими зубами: больно сердцу, и душа дрожит. Вот-вот схватит меня, вот-вот схватит. И уж схватил, окаянная сила, поймал, за ногу поймал: стоп, левая нога, стоп, правая нога, — и я сам —

стоп! И стал крутиться черт в моей душе: опять ласковым прикинулся, сердце лижет, из моих дум каиннову удавку хочет вить.

И подумалось мне тут: «Зачем же это я в сам деле хочу своего врага спасти?» Стою, умствую в гордыне.

А черт и говорит:

«Вот и спасибо тебе, Бакланов! Ведь я люблю тебя, ведь я и не требую от тебя: поди, мол, стукни топором по черепу, убей! Раз ты греха боишься, я на убийство тебя не подстрекаю. И крови ты не капли не прольешь, и руки своей не замараешь, дело твое будет бескровное. Ты только закури трубочку, Бакланов! Пока куришь, все без тебя окончится: разве не видишь, уж к ним смерть идет?»

И верно. Гляжу я: белым пыхом смерть по сугробу вьюном перевивает: вьет, вьет, вьет — и прямо к людям. Обличья у смерти нету, а сила есть.

«Врешь!» — крикнул я, да — ходу. Шорк-шорк на лыжах и сразу скатился с горы к Абдулу Мехметову, купцу.

Сбросил свою куртку из собачины, давай пыхтеть над человеком. Возился, возился — фу ты, мать честная! Умер человек! Стою над трупом отошедшим, и черт примолк. Передохнул я мало-мало, давай опять над покойничком пыхтеть, изрядно ему в рот спирту влил, да ну его, как чурбан, катать взад-вперед, мять руки, ноги разводить. Чую — покойник дух перевел и мертвые глаза открыл.

«Слава тебе, господи!» — перекрестился я и за другого человека принялся.

И возговорил Абдулка мертвым голосом:

— Бакланов!.. Неужто я живой?

— Живой, — говорю, — Абдул Мехметыч, самый живой теперича dospелся...

А он и говорит, и вижу — слезы градом. Говорит купец:

— Тебе ли, Бакланов, было спасти меня? Ведь я враг твой!

— Враг...

— Дочь твою я избидел.

— Дочь избидел.

— Брата твоего в могилу свел!

— Верно, в могилу свел.

— И ты все-таки спас меня? Ты?! Ведь помри я — долг бы твой насмарку. И всеми моими деньгами завладел бы ты. Ведь десять тысяч денег при мне.

— Совесть мою в мильоны не складешь.

— Верю, Бакланов, большущей совести твоей. Тепери-

ча, Бакланов, ты мой самый главный друг. Больше отца, матери!

Тут спросил я купца Абдула:

— Как же это ты, скажи на милость...

Отвечает купец:

— Черт попутал меня, шайтан! Мало-мало скупой я сделался. Просил с меня хороший проводник до Усинска дотащить тридцать пять рублей. А этот трухомёт, кобыла, за пятнадцать согласился. Я деньги жалел, его брал. А он, чалдон, и меня погубил и сам окалел, собака! Бросай его!!!
Подох и ладно!

А черт и шепчет мне:

«Вот видишь, Бакланов, кого ты спас: не сердце у Абдулки,— камень!»

Слава тебе, тетереву: оживил-таки и этого покойника — проводника. Костер развел, чаю скипятил.

Развеселился купец за чаем, распарил брюхо, говорит:

— Ну, Бакланов! Чего хочешь проси, все дам тебе... только сведи меня на ярмарку, в Усу. Сколько долгу за тобой?

— Семьсот тридцать два рубля восемь гривен,— отвечаю.

— Будешь должен шестьсот тридцать два рубля восемь гривен. Только веди. Согласен?

— Нет,— говорю,— хозяин, не могу тебя вести. Ты сам знаешь, мне надо весь долг сквитать да еще заработать на прожитье. А мои деньги в лесу бегают. Поташу тебя — деньги убегут: теперича — самый лов зверя, ты сам, хозяин, отлично понимаешь. Обожди недельку в зимовье у меня, тогда задаром доведу.

— Да ведь мне каждый день дорог. Вот-вот ярмарка.

— Тогда прибавь.

— Нет, не могу. Сто рублей — цена. Ни гроша больше.

А черт и шепчет:

«Вот видишь, видишь, какую змею ты отогрел? Да разве это человек?! Убей его! Двинь по башке колом!»

Эх; засверкали у меня глаза: «А ведь черт дело говорит...» Одначе сдержал шальную кровь свою, сказал:

— Тогда до свиданья, прощай, Абдул Мехметыч. Путь укажу тебе верный: дойдешь с проводником,— сказал я и в лыжи стал.

— Стой, Бакланов, стой! Еще полсотни долгу скощу тебе.... Тащи!

Встряхнулся я, подумал, говорю:

— Согласен. Может, чрез это гибель мне самолично приключится, а все ж таки... Согласен, ладно!

Спать в зимовье ушли. Купец спал крепко, на особицу храпел. Проводник, мужичонка ледащенький такой, все хныкал лежа,— похнычет, похнычет, перекрестится:

— Спасибо тебе, добрый человек, из могилы меня выкопал, от смерти отнял!

А с полуночи я видел сон. Будто черт со мною бьется. Черт весь серый такой, надутый, словно из резины. Лица никакого нет, ни рта, ни глаз, просто мешок тугой, в середине — гадость, гарь. И словно сижу я на пенышке, пригорюнившись, и слезы капют. Черт кэк надлетит, кэ-эк хватить мне в темя, чтобы, значит, совесть приглушить. Бьет и бьет с налету. А я ни рукой, ни ногой шевельнуться не могу. «А ведь приглушит мою совесть-то», — подумал я. И только я подумал — встал Абдул. Вот вижу: встал Абдул и зачал в кишку черта надувать. И вижу: черт стал раздуваться, раздуваться, Абдул — хиреть. И сделался черт с корову, Абдул — с белку. «Эй, проводник! — запищал по-беличьи Абдул. — Дуй мне в кишку, я — в черта. Лопнет!» Вскочил мужик, стал в кишку Абдула надувать. Мужик Абдула надувает, Абдул — черта. И стал черт с гору, Абдул с корову, мужик с белку.

«Ай, батюшки! — заверещал по-беличьи мужик. — Ежели черт лопнет да купец лопнет, тогда и мне несдобровать: в собачью блоху обернусь, подохну!»

Тогда я самолично встал, давай мужика надувать в кишку, мужик — Абдула, Абдул — черта. Дули, дули — черт выпучил глаза, вывалил язык и лопнул. И как лопнул черт, всю местность серый дым окутал. И как окутал всю местность серый дым, мы все скочили, выбежали из избушки, глядь: всю местность серый дым окутал, мороз стоит, утро зарождается.

Бакланов сделал перерыв, задумался, как бы припоминая, что повествовать. Я уверен, что рассказ, который он не однажды повторял, Бакланов всякий раз ведет по-новому, прибавляя что-то от себя, углубляя смысл отдельных выражений, шлифуя форму: он творит. Его слушаю не я один, его слушают ночь, тайга, костер, небо, вся земля, вся тварь. И, зная это, Бакланов благовествует в молчаливое пространство, как признанный поэт, которому рукоплещет многолюдный зал.

Ночь насадала на землю, разрасталась. От тьмы стало

тесно у костра. И ничего кругом не видно. Но я чувствую, что Бакланов видит все. Он и во мраке не заблудится, пройдет неведомым путем, он сумеет отвести душу разговором со встречным деревом, с камнем, со звездой, а если попадется черт — и с чертом. Ему все знакомо, все понятно, даже смерть.

— Бедному умереть легко, стоит только зашуриться, — мудро изрекает он.

— Ладно. Тихо к утру сделалось, — стал продолжать Бакланов. — И как слиняла восточная звезда, стал людшек своих будить.

— Что ты? — говорит Абдул. — Еще только два часа ночи. Рано!

— В небе-то рано, да в сумах-то у нас поздно, — отвечаю я. — Харч на исходе, а в зимовье бежать — далече очень.

И вот пошли.

Проводник на лыжах кой-как тараканьими ногами сучит, а хозяина я на себе тащу: в нарты посадил его, тащу, совсем ослабел хозяин. А шагать поболее сотни верст, еще взад такая же охалка. Да, главное дело, надо перевалить Араданские хребты, а там всегда пурга живет. Когда вернусь?!

Весь день без передыху шли. Абдул Мехметов — грузный: нарты глубоко врезаются. Сто потов я согнал с себя, небо с овчинку показалось. И нет укороту черту моему, опять надо мной изгаляться сгал: «Тщи, тщи!.. Бог, ха-ха, заплатит! Бог, любит дураков!»

Остановились ненадолго, погрызли всухомятку сухарей, айда вперед. А проводник плелся, плелся, да и заныл:

— Смерть моя, боле не могу! Задави меня, собаку, брось!..

Брякнул я его с сердец на нарты: «Садись, анафема!» — и двоих повез.

«Ну, — думаю, — аминь, решу себя, аминь. Все втроем загинем. Да, спаси бог, ежели пурга ударит, вьюга». А уж на Арадан-хребет вздымаемся.

Только так подумал — взикнул поземок понизу, и деревья плечами, головами замотали. Батюшки, пурга, погибель, смерти!

— Ребята, — говорю, — верная наша смерть идет! Пурга!

Взмолились мои людишки!

— Бакланов, батюшка, Леонтий Мосеич, отец родной! А черт хихикает мне в ухо: «Что, дурак паршивый, вло-

пался?! Теперь уж вези, раз проданся, спасай людей, лесную правду выполнишь! Ха-ха...»

Сглотнул я нутряные слезы, говорю людишкам своим: — Вставайте, окапываться будем. Ежели пурга покроет нас, может неделю под снегом придется жить. А где еда? Еды — раз пожрать, и нету.

Как полоснет ветрище, как посыплет сверху сизый мокрый снег; вот она матушка-пурга: ложись — выдюжит сила, будешь жив, а нет — аминь.

А черт и говорит мне:

«Бросай их! Беги домой, жив будешь. Место заприметь, потом вернешься, богат будешь».

Сжал я на черта кулаки, остервенел.

А пурга так и крутит, мокрым снегом свет белый замутило. Вдруг слышу — ну, как во сне услышал, ветер поднес к ушам, — слышу: бубенцы взбрякали где-то недалечко и храпанули кони. Навострил я лыжи — дуй, не стой!

Глядь — дорога, редко, кто этой дорогой ездит, глядь — казаки в Усинское возвращаются: сбились с тракта, сюда попали.

Кричу им:

— Станичники, здорово! Узнаете, нет?!

— А-а, Бакланов!.. Ребята, это Бакланов, зверолов! Садись, Бакланов!.. Папаша, к нам! к нам!..

— Вот, ребята, — говорю им, — живность у меня имеется, захватите-ка в Усу!

Словом, коротко сказать, устроил я горемык своих на подводах, сказал казакам:

— Живность чтоб доставить в аккурате, правильно. В Усе с рук на руки сдадите мне. Бакланов вам это говорит, таежный волк.

А сам опять дуй, не стой — на лыжах. Пурга меня любит, будто путь расчищает мне; припустил полным ходом с Араданского хребта — пошел чесать.

Лошадиная дорога вихлястая, соколиная дорога впрямь идет; бегу по птичьему пути, налегке бегу, без груза, а в сердце радость, и вольные ветерки в спину поддувают. В лес вступил — воеет тайга верхним воем, вьюгу над вершинами несет, а внизу тихость. И темная темень растеклась. Только чур, Бакланова тьмой не удивишь, чертовым посвистом не застращаешь: сгикает, допустим, черт, а я его, нечистую силу, — матюгом!

Переть, переть — посветлее в тайге сделалось, месяц встал. Переть, переть — кончилась тайга, кончилась пурга, небо в бисере, и Усинская станица на виду.

Пру, пру, пру, надрываю силы и уж не телом путь держу — телу давно бы подохнуть надо, — душа ведет вперед, как в машине пар.

— Здорово хозяйюшка! — крикнул я молодежи Матрене Митревне, — постоялый двор она содерживала. — Становь самовар большой, скоро к тебе гости будут, а я на печку!

И как залез в тепло, сразу захрапел. А время к утру. Храплю, а сам все чувствую: прозвени струна, прошурши цветы, подай птица свой голос свиристельный, — враз услышу: на моей башке, на самой на макушечке, глазастое ухо такое есть — во тьме видит, во сне слышит, сторож недреманный такой.

Слышу — в сенцах медвежьи лапы затоптались, слышу — дверь скрипнула, вижу через закрытые глаза — Абдул Мехметов ввалился, с ним проводник-чалдон, казаки.

— Хозяйка! — загремел купец. — Все давай на стол: самовар давай, всякую еду давай, водки давай. Через часок другой должен знатный гость прибыть, мой спаситель!

А я и кричу ему:

— Твой спаситель давным-давно на печке дрыхнет, третий сон видит.

— Бакланов, ты ли это?.. Отец родной!.. Да как ты?! Ведь мы на лошадях, почитай, в мах гнали.

Ну меня целовать, ну меня миловать да в ноги кланяться.

Разогрелись чаем, снедью подкрепились, водочки подвыпили, в пляс пошли. И хозяйка каблуками брякала, молодница Матрена Митревна. Эх, и хороша бабенка, язви ее в пятку! Вперед грудью ходит, глазами поводит. Э-эх!.. Ну, ладно... Было делов порядочная сумма.

И как стал Абдул Мехметов вполпьяна, вынул охапку денег.

— Вот тебе, отец родной, Бакланов, сто пядьдесят по договору. А это вот тебе четвертной билет за скорость за твою. А как спас ты меня от неминуемой смерти — половина долга прочь! Убыток свой с других возворочу.

Взял я деньги, говорю:

— За то, что вел тебя, — принимаю деньги, за скорость тоже принимаю. Но за то, что спас тебя, — не могу принять. И как можно жизнь человеческую на деньги оценить! Да знаешь ли ты, что такое означает человек? Подумай-ка погуще об этом самом, Абдул ты мой Мехметыч, милый! Может, и ты тогда ко всякому человеку с правдой, с ласковостью подойдешь.

И как ни упрашивал меня, в ноги двадцать разов бухал,— уперся я, стал на своем: ни-ни.

И вот в обратный путь приближаюсь я к своему зимовью.

А черт и говорит мне:

«Ха-ха!.. Велики эти деньги!.. Грош нашел, тыщи потерял... Дуррак!»

Плюнул я ему в безмордную морду, подлецу! И прямо пошел в обход — кулемки, слопцы, плашки проверять. И что б ты думал, милый человек? Тридцать два года промышляю здесь, такого форта мне сроду не было: пока таскал купца, девять соболей попало в ловушки, двенадцать лис, без счета хорьков да горностаев! Да полторы тыщи за десять ден сиводушных белок взял: стадом белки по вершинам шли. Коротко сказать: не токмо долг сквитал, а еще капиталишко нажил. И уж черту нечем меня крыть. Молчит. Тогда сам я начал выкликать его. Молчит.

«Ну, Черт Иваныч,— кричу ему,— кто прав: я или ты?! Отвечай, нечистик!»

Молчит.

«А может, вернуться, может, поступить в проводники к Абдулке да пришить его? А? Богатым буду, знатным буду, в Москву поеду... А?!»

Молчит, черт, словно сгинул.

Тут здогадался я, что черт — во мне, что черт — совесть моя черная. И завернул я ему, окаянному, гайку туго-натуго: до сей поры молчит, хоть бы раз свой голос подал — молчит, как в рот воды.

Кончил Бакланов.

Костер угасал. Груда умирающих углей в предсмертных переливах: ярко-голубых, красноватых, тусклых. Вот проблеск жизни на мгновение прожег серебряный зигзаг в костре, все вскоре замутилось, обросло седым пеплом, словно инеем, тьма медленно легла пухлым брюхом на костер.

Стало кругом холодно, пустынно, пусто, и мою душу охватило какое-то томление, тоска о недосказанном, о том, что человеку, может быть, и не нужно знать.

Но я все-таки спросил:

— А как же?..

— Что? Ты про Абдула?— сразу поймал мою мысль Бакланов.— Изволь. Деньги все-таки угробили его, загиб.

Деньги — пот людской да кровь, грех в них. С ярмарки в позапрошлом году он ехал, из Минусинска-города. Да как переезжал зимним временем чрез Енисей-реку, зарезали его разбойники: нож в горло, лошадей угнали, а Абдула привязали к саням, под лед спустили. А как взыграл Енисей весной, всплыл мокрый покойничек во всей сбруе и с санями вместе. И хоть мертвецким темным оком опять все-таки довелось ему по-холодному на белый свет взглянуть. Да снова навеки в землю.

Бакланов вздохнул, замолк и опустил на грудь кудластую голову свою. Тьма придавила пупком последний уголек в костре.

И из тьмы, откуда-то снизу, откуда-то сверху, усталым проблеском просветлели чрез мрак последние слова Бакланова:

— И остался я купцу должен три рубля. И захотелось мне чистым быть: заказал священнику, отцу Панфилу, по Абдулке панихиду. Может, Абдулкиной душе это наплевать, зато мне покой. Аминь.

v

Наверное, читателю интересно знать, как Бакланов отнесся к революции? Меня, признаться, такой вопрос очень занимал. Мне казалось, что этот активнейший, с сильной душой человек, вся жизнь которого — сплошные поиски правды-справедливости, не мог не отозваться на охватившую страну революционную стихию. По основному ядру своей натуры Бакланов должен был густо завязнуть в революции и положить мятущуюся свою душу за благо народа своего.

Я несколько лет не получал от старика вестей и готов был с горечью вычеркнуть имя его из списка живых своих знакомцев, как вдруг — и совершенно неожиданно — пришло от него нацарапанное порыжелыми каракулями письмо. Оно было вложено в самодельный конверт, неумело заклеенный жеваным черным хлебом.

Вот это письмо:

«Милай живой ли ты приеждяй в гости много расскажу обо всем. Богу угодно было таежную правду чрез меня выполнить левой рученьки не стало глаз выколот стариком исделался чрез то а за правое дело стоймя стоял сначала за Колчака ишел опосля тово сопотив Колчака повел дружину партизанскую все по горам да по лесам.

Много было делов кровавых а и по ся пору не в полной вере где настоящая правда скрыта. Приеждяй.

А писал в 1923 году в марте самоличный Левонтий Бакланов однорукой».

АЛЧНОСТЬ

Страничка прошлого

Торговый человек Афанасий Ермолаич Раскатилов гре-мел на весь уезд. В каждом большом селе у него по лавке, богачей был, но в рост денег не давал, не маклачил.

У купца служил с малых лет Григорий Синяков. Когда Григорий осиротел, купец взял его в лавку мальчишкой на посылках.

— Присматривайся, Гришка... Человеком будешь,— сказал купец и потрепал по щеке.— Грамоте-то знаешь?

— Мало-мало кумекаю,— расторопно ответил мальчик.— Рифметику учил, еще хрестоматию, о рыбаке и рыбке наизусть...

— Про рыболовство, что ли?

— Нет, про старуху про одну. Называется — стихи.

— Ну, это ерунда. Нашему брату ни к чему твои стихи. А сколько семью пять?

Гришка замигал.

— Вот, сопляк, и не знаешь. Выходит: твоя наука — тьфу.

Афанасий Ермолаич старился. Григорий рос. Кудри купца засеребрились, его жена легла в могилу на долгий отдых. Смерть близкого человека и полное одиночество заставили купца пристально всмотреться в прожитую жизнь свою, вспомнить все обиды, которые вольно или невольно причинял он ближним, подвести всему итог. Купец с особым тщанием припоминал и добрые дела свои, когда человеческое сердце источает к людям свет любви... Но добрых дел осталось мало в памяти купца, и душа его скорбела.

Чтоб иметь оправданье своелюбивой своей жизни и успокоить прозвучавший голос совести, купец решил вывести Григория Синякова в люди.

«Под конец дней и я должен возжечь свою свечу перед господом».

Из мальчишек Григорий стал подручным, из подручных — приказчиком, потом на отчет сел, в конце же концов заделался главным доверенным хозяина.

Время шло. Григорий женился на тихой Даше и припеваючи жил себе у тестя-мельника. Хотя новый доверенный отпустил русую бороду, обзавелся двумя детьми, но хозяин, по старой памяти и на правах благодетеля, все еще Гришкой его кличет:

— Гришка, слушай-ка! Съезди-ка, брат, в Княжево, турни там доверенного в три шеи: жулик, черт.

Григорий Иваныч ехал и вершил суд с расправой.

— Эй, Гришка! Одначе пора доходы собирать. Айда-ко благословясь.

И ехал Григорий Иваныч по всем десяти лавкам проверять кассы, производить учет, отбирать выручку.

Однажды, глубокой зимой, в ночь перед отъездом, Григорий увидел скверный сон. Будто в лесу он. И наткнулся на лешего. Сидит леший в сорокаведерной бочке из-под спирта, выгребает лопатой деньги: золотые червонцы горьмя горят, как угли, и соблазнительно позвякивают, ну такая от их звона по всему лесному царству музыка идет, всю жизнь прослушал бы. «Дай и мне», — не утерпел Григорий. «Бери, — ухмыльнулся леший, — только смотри, как бы не того... не этого...» — да и не докончил. Григорий целую шапку червонцев наложил. И с тем проснулся.

— Ох, и худой же сон, — вздохнула его жена Даша.

Старуха тут толклась, горчички пришла занять, уж очень вкусно с горчицей студень кушать. Та — то же:

— Будет тебе, родимый, испытание. Мотри, гляди в оба. С опаской поезжай, благословясь.

Тесть-мельник успокоил:

— Ты не слушай баб. Снам петух верит. Ну-ка, выьем на прощаньице...

Однако, когда расставался Григорий с Дашей, сердце напоминало ему о том, чего нет, но будет.

Кругом белели обильные снега, морозы стояли с дымом, и зыбучая, вся в выбоинах, дорога как волны в море.

На холоде Григорий Иваныч забыл свой темный сон, знай нос три чаще, а будет мороз одолевать, выскочи из кошевки да дуй во все лопатки рядом с Пегашом. А купеческий Пегаш — рысистый полукровок, ехать на таком коне не скучно, да ежели и злой человек умыслит в ночное время пакость сделать, Пегаш не выдаст. Только крикни:

«Грабят!» — рванет Пегаш, полозя в визг, снежная пыль столбом, и ветер свищет.

Да, впрочем, Григорий Иваныч и не очень-то боялся нападений: денег в бумажнике немного, для отвода глаз, вот разве шубу снимут или топором по черепу. Ну что ж, судьба. А вот хозяйских денег разбойникам сроду не найти: в березовых полозях кошевки продолблены потайные глубокие пазы, в них вся казна лежит.

Пока объезжал епархию, время стало к весне клониться. Пожалуй, можно и домой путь править, а то рухнет дорога — плохо. Солнце припекает крепко, старики пророчат дружную, раннюю весну.

«Авось с недельку еще продержится,— утешал себя горячий на работу Григорий Иваныч Синяков.— Авось морозец ударит, утренник».

И он решил в последний пункт завернуть, в торговое село Кринкино. Подъехал он в сумерки к реке Прибою, только бы перебраться на тот берег — тут и Кринкино, слышно, как собачонки брешут.

Лишь стал коня на лед спускать, вдруг:

— Стой, паря! Ты сдурел! Переночуй добром. Вишь, темно.

Оглянулся Григорий Иваныч — старик возле него, дедка Арсений, бородой трясет. Послушался умного совета, ночевал у старика.

А ночью дождь пошел, к утру ручьи взбурлили, дождь пуще, пуще.

— Переночуй еще,— сказал дед Арсений.— Ежели не выведрит да как след быть не подкует морозцем, придется тебе, паря, домой ехать в обратную. А то чего доброго мырнешь, да и не вымырнешь.

Еще ночь переждал Григорий Иваныч. Действительно, морозец пал.

— Ну, благословляй, дедушка Арсений.

— А ты вот что... Иди-ка через речку пешком... Вишь, лед-то посинел... Пегаша не сдержит.

— Сдержит... Без саней никак невозможно мне.

Народ стал подходить. Какая-то старуха пробиралась осторожно по льду: к обедне благовестили, шестая великопостная неделя шла. Показалось солнце, стекла в церкви на том берегу загорелись мертвыми огнями, воробы на прясле гомон подняли.

Григорий Иваныч забрал в горсть вожжи, стал спу-

скается. Возле самой закрайки — лавина. Пегаш всхрипнул, перескочил, кошевка стукнула, брызги фонтаном вверх. А сзади крик:

— Правей! Правей держи!!!

Лед синий, жухлый, весь сопрел. Чувствовалось, что река напружинилась, выгибала закованную спину: вот-вот треснут льды и поплывут.

— Назад! Вороти назад!

— Стой! Стой!!

Грузный Пегаш опять всхрипнул и пугливо поводил ушами: лед оседал под ним. У Григория Иваныча захватило дух: впереди гибель, сзади смерть. И вдруг его ослепил огонь решимости. Он вытянул коня:

— Малютка, грабят!

Пегаш рванул вперед и вбок, лед вмиг расселся, конь ухнул передними ногами в полынью, лягнул задом и...

По берегу пронесся отчаянный многогрудный крик. А дальше Григорий Иваныч ничего не помнил.

Пахло квашней, пылали огнем дрова в печи, было темно, угревно. Григорий Иваныч обвел каким-то отчужденным взглядом незнакомую избу, посмотрел на старуху в пестрядинном сарафане, валявшую на столе хлебные караваи, громко вздохнул.

— Очнулся, болезный мой,— ласково сказала старуха.— Ну слава те Христу. Ужо соченек тебе свеженький спеку да яичко дам освященное: второй день пасхи ноне.

— А где же это я? — робко спросил Григорий Иваныч.

— У Демьяна... Вот где. В Кринкине, в селе. Вот, вот. Выловили тебя, болезный мой. У Демьяна ты. У него, у него. А я двоюродной бабкой им прихожусь. Бабкой, батюшка, бабкой.

Григорий Иваныч хотел спросить про Пегаша, про сани, но всё это стало ненужным, мелким, все куда-то отодвинулось во тьму, и только мысль, что он жив, охватила светлым ласкающим потоком все существо его. Тяжелой, непослушной, будто чужой рукой он прикрыл глаза. Но чей-то колкий, с ухмылкой, голос крикнул ему в ухо: «А как же деньги?!»

И Григорий Иваныч почувствовал, как холодеет его тело. Он сразу вспомнил тот темный сон: лесная трущоба, леший, золото,— вспомнил опасенье жены и старухи: «Будет тебе испытание...» Звонким переливом звякали червонцы в ушах, охватывало смертной тоской сердце.

«А как же деньги, хозяйский капитал, Пегаш?»

Но горячечный сон в бреду, провалах, вспышках положил всему предел.

И снова... Что-то бубнило — рассказывала старуха, пожимывая тестом, кто-то грузно вошел и сказал:

— Здорово-те живете... Христос воскрес!.. Ну, каков болящий?

— Христос воскрес, и болящий воскрес...— ответила бабка.— Голос свой подал, оклемался. Вот она, жизнь-то наша...

Но Григорию Иванычу хотелось лишь покоя. Целую неделю пролежал он в лежку. Настроение было мрачное, угнетенное: утонул Пегаш, унырнули под лед сани. В десятый раз вынимал он чудом уцелевшую книжку и едва различал растекшуюся от воды запись, подводил итог погибшим собранным деньгам.

«Десять тысяч двести».

— По какому случаю на чужой подводке? — встретил его хозяин Афанасий Ермолаич и грозно насутился.— А Пегаш где?

— Несчастье со мной стряслось. Едва не погиб. И деньги все потонули... Извините, ради Христа.

Купец откинул с глаз серые лохмы, открыл рот и попятился:

— Сколько ж?

— Да девять тысяч с лишком.

В груди купца захрипело, глаза выкатились, большое бородатое лицо закровенилось.

— Жулик! Разбойник! Грабитель!

Григорий Иваныч вздрогнул, сторбился, прильнул плечом к стене, чтоб не упасть.

— Что вы, Афанасий Ермолаич... Помилуйте... Сколько лет верой и правдой...

— Вон!! — затрясся, затопал купец, ударил дряблым кулаком в столешницу.— Ты мне больше не слуга... Чтоб духу твоего не было! Вон, вон!!

Шатаясь, выходил из комнаты Григорий Иваныч, в глазах темно, а вдогонку каменным градом убойные слова:

— В тюрьму, сукина сына! В острог! Я те выучу!

Купец, задыхаясь, грузно, как большой медведь, сел в кресло. С озлоблением поглядывая на уставленный икона-

ми кивот, где теплились две серебряные лампадки, хрипло жаловался богу:

— Вот и спасай с этакими дьяволами душу: сами в ад лезут и тебя туда же ташат. Тьфу!

Григорий Иваныч, после болезни худой и бледный, растерянно вошел в свой дом.

— Тятенька приехал, тятенька!.. — закричали обрадованные ребята.— Христос воскрес, тятенька!

— Воистину воскрес,— сказал Григорий Иваныч, поцеловал жену, детей и заплакал.

Григорий Иваныч постепенно впадал с семьей в нищету. Мельник-тесть, на шее которого они сидели, стал с зятем груб, придиричив. И как-то с его языка сорвалось:

— Ежели ты украл деньги, пошто ты их не оказываешь?.. Дармоед, черт паршивый.

Григорий молча терпел.

Весна кончилась, наступило лето. В купце начала пробуждаться совесть. Хотя алчность глубоко въелась в его душу, однако мысль о приближающемся смертном часе, о том, что к концу дней необходимо стать чистым и безгрешным, надо все понять и всех простить,— эта тревожная мысль заставила купца, через упорную борьбу с самим собой, протянуть руку помощи опозоренному приказчику. И он призвал Григория Иваныча к себе.

— Вот что, Гришка,— сказал купец.— Хотя ты без малого и разорил меня, ну только что черт с тобой, прощаю. Посажу тебя на отчет. Езжай в Гриблянку, торгуй.

Расстался Григорий Иваныч с родным своим селом, забрал семейство и переселился на новые места. Из кожи лезет, большой оборот купцу сделал, все норовит загладить невольный грех. А обида от купца давно исчезла в его сердце: русский человек памятного зла носить в себе не может.

К михайлову дню по первопутку прикатил к нему купец-хозяин. Произвел учет,— все в должном порядке было,— и, по приглашению Даши, пошел к приказчику откушать. Купец поестъ горазд: угостили его на славу. Ну, была, конечно, и подобающая выпивка.

Размяк, рассолодел купец, похлопал опального человека по плечу, сказал:

— Ну, Гришка, будь опять главным у меня. Езжай по епархии деньги собирать, как поп ругу.

У Григория Иваныча задрожали руки, поставил стакан с чаем, в глазах зарябило: прихлынуло такое к сердцу, что и не скажешь.

— Ведь кто тебя знает, Гришка... Может статься, и все девять тысяч водичку хлебают, а может...— и купец двусмысленно подморгнул приказчику осоловелыми глазами.

— Что? — растерянно замигал приказчик.— Все еще подозреваете?.

— Всяко бывает, — хихикнул по-пьяному купец.— Человек, скажем, не ангел. Да...

Очень обидным показалось это Григорию Иванычу. Эх, дать бы купцу по благочестивой роже! Но пришлось стерпеть: у него не было доказательств правоты своей.

Пьяное лицо купца покрывал пьяный елей. Он набожно перекрестился, поцеловал Дашу, поцеловал Григория Иваныча и, рыдая на его плече, сказал:

— Душе своей я не враг. Ты чуть не опанкрутил меня, а я тебя прощаю. Вот сколь я угодный богу человек.

И вот...

Поют полозья легких санок-беговуш, весело работает резвыми ногами гнедой, в яблоках, жеребец; из села в село мчит Григорий Иваныч купеческую прибыль собирать.

Не в потайных полозьях теперь прячет он деньги, а за рубаху, в кожаный кисет, разбойные места проезжает засветло, всегда держит наготове о пяти зарядах револьвер.

И случилось ему пересечь низовье все той же памятной реки Прибоя, смертельной купели своей. А тут с полден буран поднялся, метелица. Надо переждать — чего доброго дорогу потеряешь, средь поля поморозишься.

Вот и деревенька Легостаева к Григорию Иванычу задом повернулась. Через огороды, гумна, огуменники стал в улицу прогоном пробираться. Глядит — у прясла, подле риги, кошевочка аккуратненькая стоит в снегу, и по размерам точь-в-точь его, тогдашняя. Однако никакого внимания Григорий Иваныч не обратил — кошевка и кошевка, они все на одну статью, как галки в поле. Так, мелькнуло в мыслях и пропало.

Попросился в избу обогреться.

— Милости просим... Залазь, добрый человек, — сказал мужик Никита, суетившийся, сухопарый, с острыми неприятными глазами.— Вы кто такие будете?

— А по лесной части я, из города, — соврал Григорий Иваныч.

— Так, так... Это ничего...

Сели чаевать, железную печку баба затопила, быстрое тепло туго набило избу, а за окнами буран крутил. Григорий Иваныч пьет чай, а сердце стучит, надрывается, и леший в уши червонцами звенит,— ну, неудержимо хочется Григорию Иванычу осмотреть кошевку.

«Ерунда какая... Вот ерунда...» — возражает сам себе. А ноги встали и к двери понесли его.

— Куда?

— Я на минутку... Коня проведать...

Да бегом, через буран, через вьюжную воющую непогодь — к овинам.

Глядь: его кошевка. Ей-богу же его... Его! Надолба, винтики, планка потайная.

«Она!»

Вернулся в избу, дрожмя дрожит, губы прихватил зубами, не держат зубы, чакают.

— Ты что?

— Замерз очень.

— Грейся.

А в избе как в бане. Разморились все, сон стал одолевать: наскоро поужинали, почивать легли. Ветер бил с налету в стены, избяное высасывал тепло. Тетка Матрена завернулась в шубу, захрапела. Хозяин же и гость, попыхивая трубками, мигали во тьму.

— Спишь?

— Нет.

И путаной околицей Григорий Иваныч хитрую речь повел:

— Слушай-ка, дядя Никита,— начал он, приказав голосу быть твердым, сердцу тихим.— Это твоя рига-то на задах?

— Моя... А что?

— Добрая рига схлопана. Бревнища-то семивершковые, кондач.

— Рига добрая.

— Видать, хозяин ты справный. Корова, кажись, ярославка. И коняга круторебрый, бабка в ноге широкая...

— Мерин добрый... Только ленив, лешева ноздря...

Помолчали.

— Хозяин ты хороший, а вот кошевку возле риги без призора бросил... В снегу валяется.

Никита повернул к гостю голову и, ухмыльнувшись тьме, вяло ответил:

— Кошевка эта приبلудная. Сказывали, быдто нонешней весной, в Кринкине-селе, сто верст отсюда, раскатиловский приказчик в воду умырнул вместе с конем. Все думаю — его. После половодья, как вода ушла, у меня на покосе оказалась эта кошевка-то.

Сердце Григория Иваныча остановилось и вдруг с такой силой заработало, что на висках напряглись жилы и где-то позади глаз стали постукивать тугие огоньки.

— Нет,— сказал он, и голос его поскользнулся, дал нырка.— Нет, я раскатиловскую кошевку знаю... У той задок белой жостью обит. Давай сменяемся...

— Нет, паря, не стану. Самому нужна. А тебе пошто занадобилось меняться? Твоя лучше.

— Ну, вот и давай. Твоя легче.

— Нет,— уперся Никита.

— Я придачу дам.

— Сколько же?

— Три рубля дам. И бутылку спирту на магарыч.

Проснулась Матрена, сквозь позевки закричала:

— И не думай меняться! Что ты!.. Да нешто можно? Находкой меняться — счастье свое из дому гнать...

— Спи знай! Сча-а-стье...— передразнил Никита жену свою.— Бабы глупости... стану я тебя слушать... Как же. А вот что, гостюшка желанный: давай пятерку и две бутылки. Идет?

— Идет,— мысленно перекрестился Григорий Иваныч.

— Бери... Пользуйся моей простотой,— алчно прищурился Никита и поскреб когтем лопату-бороду.

— Эт ты, чурбан, чурбан! Башка телячья,— заверезжала с печи баба.

Гость и хозяин, как по уговору, гулко захихикали в ответ.

Ранним утром, едва отъехав за поскотину, Григорий Иваныч остановил гнедка, опрокинул кошевку вверх полосьями и прыгающими, любопытными руками принялся отвинчивать гайки.

«Неужто Никита догадался, выгреб золото?»

Кровь в лице то холодела, то вскипала. И вдруг...

Сорвал Григорий Иваныч с головы шапку, пал на колени в снег, крикнул:

— Царь небесный, батюшка! Даша, ребята, Афанасий Ермолаевич!

Гнедко всхрипнул и покосился на него. И неизвестно,

на крыльях какой волшебной птицы летел Григорий Иваныч в свое село, к купцу-хозяину:

— Тпру!

Легким пухом, с легким сердцем впорхнул он в хозяйские хоромы и облегченно, как гиря с плеч, крикнул во все легкие:

— Афанасий Ермолаич, вот! Вот выручка, а вот девять тысяч двести... Те самые... Вот!

И швырнул на стол скрученные в трубочки, чуть прожавленные с краев кредитки — потайные проемы в кошивка были пригнаны плотно. И швырнул два звонких столбика червонцев,—звякнуло золото, заиздевалось: «Сколько, сколько, сколько я испортило вам крови?..» И последний раз устрашительный леший всхотал, последний раз пробренчал обманным золотом и—в чашу. Темный сон окончился, ядреное солнечное утро было, золотые зайчики играли в серебряной бороде купца-хозяина.

Хозяин, так же как и в тот далекий несчастный день, широко разинул рот и выпучил мутные глаза. И пока пересчитывал девять тысяч двести, все головой крутил, чмокал, улыбался. Потом сказал, покаянно всплеснув руками:

— Ну, Григорий Иваныч (первый раз в жизни приказчика по отчеству назвал), прости меня, старого дьявола, Григорий Иваныч! Вот пока что тебе в награду двести золотом. А эти вот три сотенных бумажки,—они шибко проржавели,—обменяй в городе, в банке. А ежели, допустим, не обменяют по причине порчи, пожертвуй их в Богоявленский монастырь отцу Исидору на вечное поминовение родителей моих. Я бы сам поехал в город, да болен, понимаешь, спина гудит.

— Ну, а если обменяют в банке, жертвовать в монастырь все три сотни?

— Нет, что ты! — испугался купец и повернул к иконам спину.— Сотнягу сунь... Будет за глаза.

Купец в волнении тяжело дышал и расслабленно сел в кресло:

— Плохое мое здоровье стало,—сказал он.— Ноги пухнут.

Григорий Иваныч переминался у стола, поглаживая ладонью скатерть. Скатерть грязная, в яичнице, в жирных пятнах от щей, от сала, в красных пятнах от вина. В комнатах неряшливо, одиноко, скучно; пахло ладаном, чадом восковых свечей, лампадным маслом, по грязному полу черный таракан бежал, и солнышко нехотя красило выцветшие мрачные обои на стенах.

— Одышка,— сказал купец; лицо его было испуганно, печально.

Григорию Иванычу стало жаль купца.

— Вам бы полечиться, Афанасий Ермолаич, да отдохнуть...

— Отдохнуть? — захрипел купец.— А кто будет делом заправлять?

— Дело — бог с ним. Здоровье — главное.

— Не ты наживал, не тебе и учить меня... Ну, ступай, милый, с богом... Ступай, Григорий Иваныч...

Тот пошел и сказал от двери:

— Вот вы меня наградили, монахов хотите наградить. А как же мужик Никита? Надо бы и его поблагодарить...

Купец поднялся, крикнул:

— За что? За то, что счастья своего не мог удержать? К черту!

— Тогда я из своих. А то неловко.— И Григорий Иваныч вышел.

На другой день купец все-таки велел Григорию Иванычу отвезти Никите двадцать пять рублей и лошадь.

— Понимаешь, сон я видел... Будто Никита душил меня: «Поддай, Кощей бессмертный, деньги». Вот сволочь какая... Отвези, черт с ним.

На той же неделе, утром, Григорий Иваныч радостно въехал в Никитин двор.

Сухопарый Никита выслушал, распрямил сутулую спину и побледнел, как полотно. Деньги и лошадь, однако, принял. В избу Григория Иванычи не пригласил, только сказал на прощанье жестким, ледяным голосом:

— Десять тысяч... Ну, ну... А что же ты, пес пархатый, говорил, что по лесной части?.. Эх ты, жулик, жулик. Жаль, что я тебе топором башку тогда не ссек.

На Никиту навалилась смертная тоска. Золото скрежетало в его душе, дразнило, отняло покой. Никита запил горькую. Он никому не обмолвился про свою обиду, пил ожесточенно, одиноко. Вся деревня диву далась — мужик был трезвый. Жена и к попу, и к колдуну — напрасно. После молебна с водосвятием Никита пуще запил. В припадке бешеного буйства он выстегнул глаза подаренному коню и разворотил ему ножом верхнюю губу, конь едва кровью не истек.

Под воскресенье крепко Никита уснул. Матрена обрадовалась:

— А ведь, гляди, помог колдун-то...

А утром нашли Никиту в риге. Над самым тем местом, где когда-то стояла купеческая проклятая кошевка, висел на вожжах его жалкий труп.

Афанасий Ермолаич Раскатилов, узнав об этом, перекрестился и, позевывая, назидательно сказал:

— Дурак, царство ему небесное... Правильно в церкви то поется: «Виждь имений рачителю, сих ради удавление употребивша...» Эх, жизнь, жизнь: пообедай, да и спать ложись.— Он опять зевнул, закрестил рот, пошел в опочивальню.

И в ночь купца не стало. Должно быть, ожесточившийся Никита сорвался с вожжей и придушил его. Купец валялся в спальне на полу. В левой горсти крепко зажаты червонцы, в правой — костяные старенькие счеты, на столе кучки золота. Остановившиеся глаза на темном лице выражали страх и удивление.

Отец Михаил, священник, покивал головой и, горестно вздохнув, сказал:

— Виждь имений рачителю.

ШУТЕЙНЫЕ РАССКАЗЫ

«НА ТРАВКУ»

Яков Мохов, наголодавшись в Питере, выхлопотал в фабричном комитете двухнедельный отпуск и укатил в Краснозвонск «на травку».

— Это ты правильно,— сказал ему товарищ.— Краснозвонский уезд завсегда был сытый. Народ справно там живет. Вот и мне картошки пришлешь.

Ехать было очень голодно: на станциях — хоть шаром покати, пустыня.

Но лишь сошел в Краснозвонске с поезда, какой-то шершавый дядя с кнутом вырвал у него восьмушку махорки, сунул в руку полкаравая хлеба фунта в два, а тетка за маленькую катушку ниток дала десяток вареных яиц.

Яков Мохов весь расцвел.

— Господи... Вот так чудеса! — сел на лавочку да все без запинки и скушал.

— Полный резонт...— сказал он самому себе и в веселом настроении пошел на рынок: день воскресный, как раз базар.

Зычно бухали колокола к поздней обедне — церковей в городе много; зеленели сады, ласточки с веселым гамом резали воздух; к базару тянулись подводы лошади откормленные, гладкие народ приветливый и сытый.

А вот за мостом, у собора, и базар. Торватый прасол продает целое стадо домашних уток, вот две большущих бочки масла, творогу, возы яиц. Хотя цены высокие, но у возов хвосты — всяк пить-есть хочет.

Местные жители на чем свет ругают приезжих питерцев, которые ходят гурьбой по базару, у каждого за плечами мешок, в руках сумка со всякой всячиной: чулки, брюки, чашки, часы, сукно, ситец.

— И чего их пускают сюда? Гляди, как набивают цены-то. Приступу нет.

— Захочешь есть, так... Поди-ка побывай в Питере-то, нюхни-ка!.. Нужда гонит.

— У вас заработки. А у нас что?

— Заработки... Велики наши заработки.

Яков Мохов наблюдал все это издали, прислушивался, присматривался, наконец и сам принял участие.

Он подошел к рыжебородому, маленькому, похожему на колдуна, старичонке:

— А почему картошка?

— Картошка? — переспросил тот, хитроумно взглянув на покупателя, и поскреб под бородой.— Картошка у меня серебрянка называется, не скороспелка. Прямо с гряды. Вот такая картошка-то... Сахар! Триста целковых мера.

— Дорого.

— Дорого? — опять переспросил старик сердито.— Зато в городе. Не хочешь, не бери.

— Как это не бери? Я есть хочу!.. Чего тебе картошка-то стоит... Groш она стоит. Мародер этакий.

— Стой, стой! Ты не лайся... Ну, ладно, взял я, скажем, триста рублей с тебя,— а что я на них могу купить? Ну-ка, скажи! Три фунта соли. Понял?

— Верно, верно!

Кругом загалдели, собиралась толпа.

— Вот рубаху сейчас купил! — крикнул парень.— Пятьсот рублей. А она греет, что ль? Ситец!

— Лошадь — тридцать тысяч! Колесо — две тыщи. Коса, уж на что коса и та шестьсот. Ха!

Яков Мохов улыбался, глаза его сверкали.

— Вот у тебя, я вижу, сапоги новые обуты,— задорно сказал старик колдун и подбоченился.— Во сколько их оценишь? В три тыщи? А я кладу за них четыре рубля с полтиной, как до революции, а свою картошку — пятиалтынный мера. Это сколько же выходит? Тридцать мер? Так и есть... Вот получай тридцать мер да разувайся, ежели на то пошло! Желаеться?

— Ха-ха-ха! Разувайся, товарищ, разувайся! — подзуживали ротозеи.

— Заплачешь ведь! — возвышая голос, чтоб заглушить поднявшийся шум и хохот, говорил Яков Мохов.— Спятышься, старый хрен... Ведь тридцать мер, ежели по три сотни — девять тысяч выходит, а я три прошу. Взовешь ведь!

— Кто, я? Ничего не взвою. Разувайся, и никаких!

— Не валяй ваньку-то! До старости лет дожил, а дурак.

— Может статься, и дурак, да не дурашней сына твоего батьки.

— Ха-ха-ха!..

— А где у тебя картошка-то? У тебя и картошки-то полторы меры.

— Поедем. Живо накопаю. У меня две девки!

— Где ему? — подзуживали зеваки. — Он только бахвалится. Поди и сапоги-то не его, а для прогулу взял.

— Известно, не его! — подмигнул старик зевакам. — Ему и во сне-то не снилось таких собственных сапогов носить.

— Ишь, ишь покраснел как!

— Едем, черт ты дери, едем!! — крикнул взбешенный Яков Мохов и залез в телегу к старику.

Вышло чудно как-то и нелепо. Ну, для чего он продал сапоги? И куда ему тридцать мер картошки? Ему масла надо, крупы, яиц, хлеба.

Тьфу!.. Он с досадой посматривал на сутулую спину колдуна, на его хитрые, с прищуром, глаза, на клокастую рыжую, с сильной проседью бороду.

Но лишь только выехали за город, досады как не бывало. Кругом лежали желто-золотистые нивы и зеленые поля, виднелись рощи, перелески, то здесь, то там белели церкви. Воздух насыщен пряным густым теплом, солнце склоняется к западу, по пажитям чинно расхаживали грачи, а в выси все еще звенели песни жаворонков.

— Ух, ты! Давно я не был в деревне. Я ведь тоже из мужиков.

— Так-так-так... Само хорошо, — живо откликнулся старик.

— А службу на фабрике в Петербурге.

— Так-так-так... Благодарим покорно... Оно и видать: краски-то никакой в лице нету... А кость широкая. Поди харч плохой?

— Ну да... А после пасхи в больнице месяц вылежал.

— Так-так-так... И чего вы, ребята, например, все мутите? За дело бы надо. Нешто это жизнь?

— А тебе плохо? Наверно, помещичью землю поделили? А?

— Насчет землицы — это правда, землица отошла к нам от барина добрая. Благодарим покорно... И лесок есть, и сад, а яблоки — во! — в два кулака другой не уложишь, да еще пасека... Все под мужиком теперича!

Старик свесил с телеги ноги, покрутил головой и скри-

пуче засмеялся, его маленький круглый носик совсем потонул между толстых лоснящихся волосатых щек.

— Вспомнил штуку... Хошь — расскажу? Тут в пятом годе такая канитель вышла с помещиком-то нашим, что страсть. Погромишко, вишь ты, мужики-то устроили, то есть все покострячили — дым коромыслом! А я поопасался ехать, как бы чего не вышло, думаю. Одначе баба забранилась: «Дурак, грит, ты... Эвот, люди возами добро возят. Грыжа, грит, ты собачья!» Оделся я, поехал. А там уж и взять нечего: что муку, что небиль, али платье — все расхватали, чисто под метелку. Нет, думаю, надо, что ни то и мне, а то — старуха глотку переест. Гляжу — чан большущий, дубовый, ведер на сорок, на боку лежит. Я его в сани, грузный черт, аж становую жилу надорвал. Вот поворотил я с ним домой, да и подумал; «А на кой леший мне чан?» А сам глазом шарю, нет ли еще чего билизовать: значит, в антирес входить начал. Гляжу, кобель барский, тощий такой, согнулся в дугу, будто стрючок, шуба-то на нем короткая, а мороз. И стал я за ним гоняться, ну вступило в мысли поймать да и поймать. Чисто ошалел тогда. То ись до того упрел, гонявшись, аж душа вон. Одначе изловчился, пал на него, а он меня цоп за нос! — едва не отгрыз. Скрутил я его кушаком, да в чан-то и посадил, и сам туда залез, а кушак-то вокруг себя, чтобы, значит, не убег кобель-то. И поехали мы с ним, благословясь, домой, как сенаторы. Вот ладно. Вдруг откуда ни возьмись — черкесцы — у соседнего барина, слышь, служили они, — за мной... Я как начал нахлестывать кобылу-то, они за мной. Ке-эк в это времечко дорога крутанула, сани верх копыльями, все на свете перекувылилось, тут нас с кобельком чан-то и накрыл, двух дураков. Живым манером это черкесцы опять чан перевернули и почали меня плетками драть. Дерут, а мне смешно: кобелишко-то со страху кушак мог оборвать, да как сиганет, отбежал в отдаленье, да ну гавкать дурноматом. Тут и черкесцы засмеялись, ей-богу право, бросили меня драть-то. Я встал на ноги, один как порснет мне в морду кулаком, я опять слетел. Только было подымусь, как порснет по уху, я опять в снег башкой. Я караул заорал, взмолился. Бросили. Распрощался я тут с ними честь по чести и пошел ни с чем домой, потому кобыленки и след простыл. Иду да кровью отплеываюсь, зуб мне вышибли, самый клык.

Старичонка долго хохотал, подстегивая лошадь; грустно улыбался и Яков Мохов.

— Вот видишь,— сказал он старику.— Разве это порядок? А теперь кто тебя пальцем может пошевелить? Никто.

— Как есть — никто! — Старик помолчал и сказал раздумчиво.— Оно верно, что с этим уставом с теперешним можно было бы жить, кабы удовольствие... А то, вишь, никакого удовольствия: ни тебе сахару, ни чаю, ни гвоздя. Тыфу! Эвот селедка, уж на что дерьмо и та в сотню въехала. А бывало, на сотню-то две коровы да коня купишь.— Он ударил себя кнутом по голенищу, зашурился и закрутил головой.— И деньжищ энтих теперя у всех крещеных— гибель! А впрочем,— что в деньгах? Бумага и бумага... А удовольствия никакого тебе нету. Да-а... Так-так... Ну вот, например, вы, фабричные — коего черта, прости бог, не вырабатываете ситцы да сукно? Оглашенные вы эдакие, будьте вы неладны! — вдруг переменив тон, крикнул старик.

Лицо его стало строго, но глаза смеялись.

Яков Мохов ответил не сразу. Долго глядел на него в упор, потом сказал:

— Темный вы народ, жадный. Вам бы только в брюхо все. Есть селедка в аршин величиной, есть ситный, вот мужику и хорошо. А что ежели его в зубы урядник лупцевал, да землишки было — кот заплакал,— это мужик забыл. Вот ты плачешь, что фабрики стоят. А где взять хлопка, угля, нефти, железа? Ведь все это тю-тю от нас! Поди-ка повоюй, говорят.

— Ране было же.

— Так зато раньше и помещик был. Раньше и исправник был, и земли у тебя не было. Ну что, ежели тебе дадут, к примеру, сто аршин ситцу, двадцать аршин сукна, пуд мыла да пуд сахару и скажут: получай, только помни, все обернется по-старому, снова будешь не хозяином, а холуем последним. согласишься?

Старик вздыхал, крутил головой, побрякивал, потом сказал:

— Нет! — и нахлобучил шапку.

— Ну а ежели водки еще в придачу? И бочонок самолучших сельдей? А? — улыбнулся Яков.

Старик захохотал и мрачно сплюнул

— Благодарим покорно... Ха-ха-ха! Вот так заганул загадку. Водка! А?! Да у меня своя брага сварена, ей-богу право. Вот приедем, угощу. Эвот и село наше.

Через полчаса сидели за самоваром. Две девицы — Дарья с Марьей, одна другой краше — наперебой потчевали гостя:

— С преснушечками-то, с соченьками-то... Уж не взыщите, мы по-деревенски.

И хозяин весело покрикивал:

— Намазывай толще маслом-то, не жалея, не купленное. Эй, Марья, а ну-ка в погреб, бражки бы похолодней!

С крепкой браги Якова бросило в краску, и в глазах замелькало..

«Этакая благодать,— подумал он,— вот бы пожить-то где»,— и поддел на ложку густого пахучего меду.

— Живем, благодарю покорно, ничего...— громко чавкая и запивая брагой, сказал старик.— Только вот в чем суть: бог урожай послал очень даже примечательный, а убираться не с кем: я стар, а девкам одним не управиться... Вот беда-то...

Яков Мохов поставил на стол блюдец и несмело сказал:

— А что, ежели я бы? Насчет работы-то. Я могу.

— Да ну? — вскричал захмелевший старик.— Ах ты, ясён колпак... Яков Иваныч, друг!.. Неужели остался? А уж насчет жратвы мы тебя побережем, то ись так будем ублажать, ну прямо лопнешь по всем пунхтам. А девки-то, девки-то у меня — малина!..— Он подмигнул на зардевших девиц и вдруг: — А ты женатый?

— И не думал.

— Ну?! Право слово? Девки, слышали?

Девки зарделись пуше и заходили козырем, грудь вперед, как на подносе.

Хозяин захихикал скрипучим смехом, подскочил к сундуку:

— Раз! — выбросил он новые сапоги.— Первый сорт, со скрипом... Два! — выбросил другую пару.— Три, четыре, пять — это девкины! Нна! Уж насчет обуви — извини — вполне имеем. Ха-ха-ха! Уж извини. То ись надул я тебя, Яков Иваныч, вот как... То ись на рынке-то. Не сапоги твои, ты мне нужен, ты! Приглянулся ты мне: большой да широкий. Дай, думаю, уманю. Ха-ха-ха! Благодарим покорно. Оно как по писаному и обернулось. Чисто камедь... Ах ты, ясён колпак. Дарья, браги!!! Марья, ходи веселей! Не зевай, девки, холостой ведь он...

Яков Иваныч улыбался.

ЭКЗАМЕН

— Ну, так как? Это ваше последнее слово, Надюша?— выразительно спросил Утконогов.

— Да, самое последнее... Вы сами посудите, Петр Федотыч... Я, конечно, за кондуктора пошла бы, но страсти боюсь, что вы на экзамене обрежетесь.

— Пожалуйста, в смысле экзамена не сомневайтесь. Например, я все выдолбил как нельзя лучше. Вот разбудите меня в самое ночное время и задайте вопрос...

— Ах, что вы говорите!.. Разве я могу, будучи, без сомнения, девицей, будить в ночное время спящих мужчин во сне... А вдруг вы вскочите и замест экзамена начнете мужские глупости... А вот я вам, Петр Федотыч, прямо отвечаю: ежели вы, без сомнения, провалитесь, то за меня сватается один солидарный женишок.

— Кто такой?— оторопело спросил Утконогов.

— Да уж есть,— кокетливо протянула Надюша; круглые, нажеванные щеки ее налились улыбкой, как яблоко.— Сватается за меня Кузьма Ефимыч Жеребяткин... Они не советуют за вас выходить, а я, без сомнения, напротив...

Утконогов шел домой в большом волнении. Да, черт ты ешь, этот самый Жеребяткин конкурент по всем статьям. Этот самый Жеребяткин не кто иной, как нарядчик кондукторских бригад. Вот кто Жеребяткин. И Надюша, видать, не промах: у Жеребяткина хозяйство ай-люли, одних свиней штук пять. Ах, дьявол!

— Ну да ничего...— сказал он вслух.— Ведь экзаменатором-то мой знакомый техник назначен, Лебеда.

Через два дня Петр Федотыч отправился на экзамен и зашел к невесте.

— Ах, до чего вы интересные собой,— сказала девушка.— Только смотрите, как бы не сбили вас. Такой вопрос поставят на ответ, что... Например, меня на экзамене в комячейке спросил инструктор: а где живет Карл Маркс? Я сказала: они померши. А мне сейчас же опровержение: Карл Маркс живёт в сердцах пролетариата. Представьте! Я, без сомнения, не могла знать, и чрез эту неприятность чуть не слегла в обморок.

Петр Федотыч весело расхохотался и сказал:

— Этих паник я не признаю. А раз вы жили в городе у генеральши, позвольте облобызать вашу ручку, мадам-мазель.

И пошел через село на станцию в полном душевном равновесии.

Но, отворив в контору дверь, он вдруг оцепенел: за письменным столом сидел старший слесарь усач Григорьев и вместо знакомого техника нарядчик кондукторских бригад Жеребяткин. На мгновение в мыслях пораженного Петра Федотыча промелькнула с язвительным хохотом Надюша, он в страхе зашевелил губами, его усы сначала поднялись кверху, потом загнулись назад, как у моржа.

— Заставляете себя ждать,— сухо встретил Жеребяткин и оправил свой новый красный галстук.

— Извиняюсь, у меня часы отстают,— убитым голосом промямлил Утконогов и подумал: «Боже, боже... Он экзаменатор. Прощай, Надюша!»

— Прошу занять место... Напоминаю, что экзамен поведу по всей строгости, согласно экономических потребностей и вообще новых веяний во всех подобных начинаниях, а также будучи идеологическая подоплека. Итак, приступим.

Нарядчик Жеребяткин говорил хотя высокопарно, но вяло и скрипуче, точно стонал. У него флюс, адски болели зубы.

У Петра Федотыча екнуло сердце, но он овладел собой и ответы давал с треском, правильно, четко и толково. Нарядчик Жеребяткин недовольно кричал.

Прошло больше часа. Все трое взмокли от напряжения и жаркого солнечного дня.

Почти вся инструкция блестяще исчерпана. Петр Федотыч даже сверх программы изобразил карандашом схематический чертеж сцепления вагонов обыкновенной и уленгутовской стяжкой.

— Я полагаю, довольно бы... По-моему, товарищ Утконогов выдержал и заслуживает кондукторского звания,— сказал Григорьев, облизнув пересохшие губы.

Утконогов засиял, ему ужасно захотелось расцеловать Григорьева.

— Что? Как это довольно! — оживился Жеребяткин.— А вот мы испытаем, на сколько градусов у него котелок варит.— При этом нарядчик Жеребяткин так сильно за сопел, продувая ноздри, что подвязанная к флюсу вата полетела клочьями.

— Отлично. Хорошо,— сказал он, хватаясь за большую щеку.— А вот, например, в товарном вагоне везут покойника. Что это: живность или груз?

«Ну, на этом-то не собьешь меня»,— подумал Утконогов и бойко ответил:

— Никакой покойник не может почитаться живностью, раз он умер. Живность шевелится и чуть что — должна поднять крик. Например, корова издает вроде мычанья, петух поет. Под товар тоже подвести нельзя, все-таки это бывший человек, и в смысле товарооборота не может быть и речи. А просто — покойник. Довольно странный, сбивчивый вопрос.

У экзаменатора глаза стали круглыми и завертелись.

— Ну, так,— сказал он.— А вот что значит: находясь на службе, кондуктор должен являться в трезвом состоянии? Что обозначает трезвое состояние? Например, я могу выпить ужасно много, и как только начинаю ругаться на татарском языке, значит — стоп. А другого с трех рюмок развезет. Как тут сопоставить?

Григорьев хихикнул в рукав, а Петр Федотыч, чуть подумав, ответил:

— Трезвое состояние значит, когда человек не шатается, не ругается и все понимает.

— Так это и Григорьев, ежели окончательно будучи напьется — не шатается, не ругается, а сразу ляжет на обе лопатки, как бревно, и все понимает.

Григорьев опять хихикнул и сказал:

— Это к инструкции не касаемо, к чему же сбивать?

Но Петр Федотыч нашелся:

— Трезвый — значит ничего не надо пить.

— Извиняюсь,— сердито запротестовал экзаменатор.— Такого правила в инструкции не сказано, чтоб из общества трезвости. Ну, ладно. Этот вопрос спорный и вытекает из крепости естества. А вот...— И он задумался.— Вот скажите мне, что надо делать, ежели в поезде есть вагоны с негашеной известью?

— Я должен убедиться,— начал Петр Федотыч слово в слово по инструкции,— что в этих вагонах нет щелей и дыр и люки закрыты настолько плотно, что устранена всякая возможность проникновения в вагоны дождя, снега и тепе.

— Что, что? Это что за «тепе» такое? — изумился экзаменатор и стал перелистывать инструкцию.

— Я и сам призадумался,— грустно ответил Петр Федотыч.— Чистосердечно сказать, не понял. Но безусловно — сырость, раз известь негашеная. Я так полагаю, что озорники, которые ездят на крышах, например, во время рево-

люции... И прямо, извиняюсь, с крыш это самое... А в крышах, конечно, щели. Ну, и потекé.

— Тьфу ты! Ничего ты, сударь мой, не понимаешь. Тут пропечатано: дождя, снега и т. п., то есть — и тому подобное, а отнюдь не и тепё.

— Я не знал. Тут неясно... — упавшим голосом проговорил Утконогов.

— Ага, неясно! — обрадовался Жеребяткин. — Это не ответ. Для кондуктора все должно быть ясно.

Григорьев твердо сказал:

— Протестую. По моим соображениям, какая же может быть сырость, кроме снега с дождем? Ответьте мне сами-то, товариш Жеребяткин.

— Сырость? — заносчиво проговорил Жеребяткин. — Сырость может быть всякая. Мало ли какая сырость бывает...

— Например?

— Ну сырость... Мало ли там. Сырость — это... Ой, ой... Батюшки, стрельнуло как! — Он схватился за щеку и, весь перегнувшись, побежал по комнате, широкоплечий, приземистый, с брюшком.

А слесарь Григорьев резонно говорил:

— Как я осистен, то подписываюсь руками и ногами под ответом товарища Утконогова. Ответ правильный. Кроме как от безобразий, никакой сырости в естественной природе и не обнаружено вредной для извести. Вопрос исчерпан.

— А вот, — раздалось от окна, и Жеребяткин прикутыхал на место. — А вот ответ. Сидишь ты в порожнем отделении и побился, скажем, об заклад с другим кондуктором. Ты говоришь: «На таком-то перегоне поезд обязательно сойдет с рельс». А тот отвечает: «Нет, не сойдет». И действительно, поезд прошел благополучно, и ты проиграл. Хвать, а денег-то и нет, заплатить-то и печем. Ты бежишь в ночное время, когда все спят, и начинаешь вежливо трясти свою мать и говоришь ей в сонном виде: «Матка, дай-ка скорей деньжат!»

— Никак нет, — возразил Петр Федотыч. — В силу параграфа тридцатого кондуктор не должен без надобности беспокоить пассажиров, особливо ночью.

— Но, во-первых, не без надобности, а во-вторых — это же твоя родная мать?..

— Это меня не касается. Ежели, скажем, мой отец, покойник, придет с того света да начнет в вагоне стекла бить, я и отца на ближайшей остановке вышвырну в веж-

ливой, но твердой форме. Во-вторых, согласно параграфа пятнадцатого, я не имею права занимать порожние отделения.

— Так, так. Ну что же, все? Хорошенько обдумай мой вопрос.

Утконогов подумал и сказал:

— Да, все.

Нарядчик Жеребяткин вильнул бритой, в ермолке, головой и пристукнул в стол ладонью.

— Ага, все? По-твоему, все? А вот и врешь. Как же ты смеешь, черт тебя бери, биться об заклад, раз у тебя на перегоне не благополучно?.. Извольте радоваться, вместо того чтобы подать на паровоз тревожный сигнал, он, каналья, бьется преспокойно об заклад и идет как ни в чем не бывало будить родную мать, а тут поезд через три минуты должен кувырнуться!

— Ага, конечно... Я сейчас же...

— Ах, сейчас же?! Нет, брат, поздно! Поздно, черт тебя дерит!! Что у тебя там было на путях? Шпалы выворочены, рельс развинчен или бык лежал? Отвечай!!

— Откуда же я могу знать?..

— Ах, вот как! Он, каналья, бьется с каким-то паршивым ослом об заклад и не знает, почему бьется?.. Харррашо-о-о...

— Я протестую! — крикнул слесарь Григорьев и весь възъерошился. Его глаза на прокоптелом лице сердито белели. — Ерунда какая-то! Он же инструкцию отлично знает, а вы нарочно запутываете. Прошу задавать вопросы по существу понятий, а это уже вроде как тенденция. И, кроме того, остается недоказанным, что он каналья. Я протестую. Прошу называть товарищем. И на «вы».

Такое заступничество растрогало Петра Фёdotыча. Губы затряслись, на глазах показались слезы.

— По-моему, довольно, — авторитетно сказал Григорьев. — Вполне достоин своего звания. Заявляю, как осистен.

— Последний вопрос, самый понятный, незапутанный, — проговорил экзаменатор и весь хищно сжался, как на мышонка кот.

— В вашем вагоне, товарищ Утконогов, едет беременная женщина. Понятно? И вот она случайно родила двойню, что вполне допустимо инструкцией. Понятно? — мотнул он головой Григорьеву. — Ну, вот. Что же вы, товарищ, должны сделать? Скорей, скорей...

Петр Фёdotыч потер лоб, быстро припоминая всю инструкцию.

— Я должен разыскать кондуктора-фельдшера; если такового не имеется, я должен... Больше в инструкции ничего не сказано...

— Надо шевелить мозгами! — почти крикнул Жеребяткин.

— Я, конечно, буду искать бабушку промежду пассажиров, которая повитуха. В случае неимения налицо таковой, буду умолять всякую попавшую женщину...

— Ну, ну! — торопил Жеребяткин.

— Ежели таковой не повстречалось бы во всем поезде, что невозможно допустить... Я кой-как... конечно, я не спец по части новорожденных младенцев, но...

— Чушь! — оборвал Жеребяткин. — Совсем не то.

— Я на первой же остановке честно, благородно, соблюдая вежливую форму, должен отнести роженицу в приемный покой, а также двух появившихся младенцев.

— Чушь, чушь! — торжествующе сказал Жеребяткин. — Далеко не в этом суть вопроса.

Петр Федотыч в замешательстве переминался с ноги на ногу. Слесарь Григорьев поспешно вышел в другую комнату и поманил пальцем Жеребяткина.

— В чем суть? Я тоже ничего не понимаю... — тихо и конфузливо спросил он.

— Да очень просто, — весело подмигнул Жеребяткин. — Ведь младенцев-то два... Понимаете? Ежели б один, ну, тогда он прав... А то два...

Когда Жеребяткин до конца объяснил в чем дело, Григорьев сквозь сдержанный смех воскликнул:

— Ах, ерш те в гайку! Совершенно верно!.. Хы-хы-хы...

— Надо скорей кончать, — сказал Жеребяткин, ковыряя спичкой зубы. — У меня рукобитье сегодня... Надюшу-то Дроздову знаете?

— Поздравляю, поздравляю...

И оба вышли фертом к взволнованному Петру Федотычу.

— Ну что ж, знаете?

— Никак нет.

Слесарь Григорьев, совершенно неожиданно для Петра Федотыча, крепко и внушительно сказал:

— Стыдно этого не знать, товарищ! Это даже дураку ясно. Какой же ты после этого, к чертовой матери, кондуктор?

— В чем же суть? — весь уничтоженный, продрожал голосом Петр Федотыч.

— Ты должен, — поднимаясь и рубя ладонью воздух,

стал чеканить Жеребяткин,— после установленного факта в рождении, ты сейчас же должен требовать с этой самой мадам дополнительный билет. Один младенец бесплатно. А ежели два образовались в поезде, это уж целый билет дорога заработала. Итак, резюмируя способности мозгов, ты чрез полгода можешь явиться для вторичного экзамена об это место.

Петр Федотыч качнулся, мотнул головой и, сдерживая гнев, угрожающе сказал:

— Ну, в таком разе мы с вами, гражданин Жеребяткин, посчитаемся... Я найду правду. Теперь не прежние времена... Так влетит, что...

И экзаменаторам действительно влетело.

СМЕРТЬ ТАРЕЛКИНА

— К черту,— сказал сам себе Петр Иваныч Тарелкин, прикутыхав домой с трудповинности, и бросил в угол лопату.— Так больше жить нельзя. Это не жизнь, а каторга... Хуже! Это хождение преподобной Феодоры по мукам. Хуже...

Он снял с правой ноги стоптанный сапожишко и осмотрел ступню: так и есть, большой палец посинел и вспух. Руки тоже поцарапаны, и рассечена бровь. Он размотал веревку, служившую ему поясом, швырнул ее под кровать, сорвал с плеч дырявую бабью кацавейку и долго шагал взад-вперед в одном сапоге, припадая на больную ногу.

— Ха, транспорт... Вози им песок из карьера, балласт...— бубнил он, тараща озлобленные мутные глаза.— А зимой дрова заготовляй на железку, для общественных портомоев проруби долби, окопы рой... Тьфу! Черт бы их драл.

Петр Иваныч остановился и так свирепо потряс кулаками, что рыжие длинные космы его заплясали по острым плечам. В эту минуту, взлохмаченный, дикий, грязный, он напоминал допившегося до чертиков дьякона.

В изнеможении он повалился на кровать и сердито запыхтел.

— И завтра, и послезавтра все то же, то же. Может быть, еще десять лет такую волюнку тянуть придется... Это с больным-то сердцем.

Но настроение его вдруг резко изменилось: по испито-

му длинному лицу проползла улыбка, большой кадык на хрящеватом горле судорожно запрыгал, фиолетовый нос весь наморщился, засвистел и затрясся в смехе.

— Гениально! Гениально! — радостно воскликнул Петр Иваныч и ударил себя ладонью в лоб.

Отворилась дверь. Петр Иваныч поспешно придал лицу вид безвинно пострадавшей жертвы и закрыл глаза.

— Петруша! Да что ж ты, голубчик, развалился-то, — чуть гнусавя, сказала Фелицата Николаевна и стала разматывать с головы шаль, — хотя бы рассадку полил, ведь завтра некогда, завтра ты назначен на заготовку шпал. Милицейский с бумажкой приходил.

— Не пойду, — равнодушно сказал Петр Иваныч и густо, но без всякого выражения сплюнул. — Я — бывший соборный регент, а не батрак, К черту!.. Я им больше не слуга... Арестант я, что ли?

Треугольное личико миниатюрной Фелицаты Николаевны побелело.

— Да, никак, ты рехнулся, Петруша! Да ведь по нынешним временам за это могут расстрелять!

— Как это меня могут расстрелять, раз я умру, — загробным голосом проговорил Петр Иваныч.

Жена испуганно задвигала бровями.

— Как, Петрушенька, умрешь?

— А очень просто: вот вытяну ноги и умру... Вон какие перебои в сердце.

Фелицата Николаевна уронила на пол шаль и криво опустила на стул.

— Нет, довольно! — вскричал Петр Иваныч басом и так свирепо шевельнулся, что кровать заскрипела под ним, как коростель.

— Вместо того чтоб этак мучиться, Фелицата Николаевна, лучше раз навсегда покончить все расчеты с жизнью.

Обомлевшая женщина метнулась взглядом по широкому ножу, по веревке, по здоровенному крючку, где висела лампа-«молния», и враз замелькали перед ней хрипящие призраки.

— Ты не имеешь права умирать!.. Ты не смеешь руку на себя накладывать! — И лицо ее перекошилось от ужаса. «Очень любопытно, черт возьми», — едва сдерживая смех, подумал Петр Иваныч.

Но ему стало жаль жену, и он сказал:

— Дурочка... Фелицата Николаевна... Я ж пошутил. Я умру не по-настоящему. «Смерть Тарелкина»-то смотре-

ли,— пьесу-то, помнишь? Недаром и фамилия у меня такая же — Тарелкин.

Фелицата Николаевна сидела с разинутым ртом и ничего не понимала.

На другой день она заявила в отдел учета рабочей силы. От волнения лицо ее горело, руки тряслись, по груди и животу ходили волны робости.

Безусый заведующий поправил кепку и ткнул в яичную скорлупу окурок.

— Вам, гражданка, что?

Пишущие машинки трещали с ожесточением, очаровательная блондинка пудрила пуховкой нос и щеки.

— Извиняюсь, товарищ,— начала Фелицата Николаевна, потряхивая головой, задыхаясь.— Я пришла доложить, что мой муж, товарищ Тарелкин, и вчера не был на трудовой повинности, и сегодня не пойдет, да, может, совсем не будет ходить.

Юноша засопел, лицо его стало как уксус.

— Ха!.. Значит, с вашей стороны донос? Очень приятно... Садитесь, гражданка... Ваш адрес? Я сейчас пошлю арестовать его.

Машинки вдруг замолкли. Пуховка в очаровательной руке остановилась.

Фелицата Николаевна впилась руками в край стола.

— Что вы, товарищ!.. У него понос, холера у него. Он вот-вот умрет.

— Холера? — Брови молодого человека взлетели вверх.— Тогда его немедленно надо в заразные бараки. Грибами, что ли, объелся? Сейчас я позвоню.— И рука его потянулась к телефону.

— Ради бога! Не холера у него, извиняюсь. Я перепутала, просто я от неприятности вся трясусь.— Фелицата Николаевна окончательно потеряла нить мыслей.— Он нес дрова, упал и разбил себе голову... Теперь в беспомощности, сорок два градуса жару.

Лицо юноши стало как горчица, потом — как игристый квас.

— Не упали ль вы сами, гражданка, на голову? — Губы его кривились в улыбке.— И что вам наконец от меня угодно?

Фелицата Николаевна беспомощно вытаращила глаза, как бы припоминая цель своего прихода.

— Товарищ! — вышла она из оцепенения.— Извиняюсь,

товарищ, извиняюсь. Я пришла заявить, что мой муж, гражданин Тарелкин, извиняюсь, при смерти.

Она выходила на цыпочках и косолапо, барышни провожали ее улыбками, а когда скрылась, начальствующий юноша сказал кокетливым баском:

— Ненормальная дура.

Их городишко небольшой. Жили они во флигеле на одиноком пустынном огороде. Петр Иванович было разделал пять гряд под картошку и всякую всячину, а тут, пожалуйста, шпалы. Ха! А не желаете ли вы фигу?!

Петр Иванович на третий день благополучно умер.

Фелицата Николаевна, в черном платочке, двое суток без передыху бегала по всем надлежащим местам. Наконец все документы выправлены, и покойный гражданин Тарелкин был навсегда вычеркнут из списка живых.

Петр Иванович целую неделю со всем усердием копался на огороде. Погода солнечная, все зазеленело. Скворец в скворешнике гоготал, словно молодой жеребчик, и заливался свистом, как ямщик на облучке.

Эх, как это прелестно, что Петр Иванович умер! Для кого умер? Для них, а не для себя. Теперь знай работай. Кто из знакомых на такой пустырь придет? Полная гарантия. Отлично, гениально!

Как-то попала Петру Ивановичу в руки старая газета. Прочел, и глаза его засверкали.

— Да ведь мы — чурбаны, колпаки! Мы прозевали изрядную выдачу... Не угодно ли: на саван столько-то аршин. На траур столько-то... Гроб из заготовительного склада; в случае отсутствия такого — выдается денежная себестоимость. Срок получения десятидневный. Боже мой, сегодня последний день!..

А Фелицата Николаевна как на грех уехала в деревню за мукой. Усопший Петр Иванович немедленно составил подложную доверенность от лица жены на имя несуществующего двоюродного дяди, Антона Огурцова, нахлобучил шляпу грибом на самый кончик носа, отхватил ножницами половину бороды, нафабрил ее черным жениным фиксатуаром, отчего рыжая борода стала темно-зеленой, и под видом гражданина Огурцова, предвкушая большой барыш — недаром всю ночь вошь снилась, — корыстолюбиво зашагал по пыльной улице.

«Господи, как бы не влопаться», — с ноющим чувством подумал он.

Но когда поднялся в присутствии и внимательным взглядом окинул лица всех служащих, от сердца отлегло: ни одного знакомого человека.

Заявление его все инстанции прошло благополучно: двенадцать виз с росчерками и печатями так исполосовали все свободные места бумаги, что негде клюнуть курице, и вот, в конце занятий, когда служащие похватались за картузы, ему вручили ордер на получение, сказав:

— Бегите скорей вон к тому оконцу... Без двух минут четыре... Может, успеете.

Петр Иванович совсем по-молодому, — даже приподнял темные, нарочно надетые очки, — подъехал, как на лыжах, к загородке и сунул в оконце ордер:

— Ради бога... Вот!..

Но его протянутую руку вдруг схватила за решеткой для дружеского пожатия неизвестная рука, и знакомый голос произнес:

— А, Петр Иванович!.. Здравствуйте, милый человек.

И обе головы, одна перепуганно, другая любопытно, так порывисто нырнули друг другу навстречу, что в самом оконце сильно стукнулись лбами и едва не поцеловались.

Петр Иванович в страхе отпрянул, как от вставшей перед ним змеи, выдернул руку, волосы на его голове зашевелились, и, словно в тяжком сне, он прирос к месту.

Из оконца высунулась широколобая лысая голова с черными височками и не то подозрительно, не то приветливо осклабилась в самые очки усопшего.

— Однако что же это такое? Вы, должно быть, хворали, вас нельзя узнать, Петр Иванович! А?

— Вы ошибаетесь... Я совсем не Петр Иванович... Петр Иванович Тарелкин помер... Вы ошибаетесь. Я — Антон Огурцов — дядя.

Но голова, очевидно, не слыхала. Она на мгновение поджала бритые сухие губы и вновь растеклась в улыбке, на этот раз определенно ядовитой.

Петр Иванович словно окунулся в ледяную воду.

— Позвольте мне обратно ордер, — забормотал он. — Тут ошибка... Ради бога, ордер...

— Ордер? Он регистрируется... Сейчас, сейчас... Кто ж у вас умер, Петр Иванович? Уж не супруга ли?

Голова унырнула за решетку и близоруко стала водить по ордеру острым носом. Вдруг рот головы вытянулся

ижицей, брови заскакали по лбу вниз и вверх, уши и черные зачесы на височках задвигались.

— Гм!..— зловеще сказала голова, щелкнула кистью руки по ордеру и, как торпеда, выбросилась в оконце.— Гражданин Тарелкин!..

Но на том месте, где стоял Петр Ильич, была совершеннейшая пустота.

Вечер. Покойник с собственной вдовой, только что вернувшейся из деревни, пили морковный чай. На покойнике лица нет, руки его тряслись. Не переставая, он курил махру.

— Чует мое сердце, что облава нагрянет, арестуют,— говорил он.— И откуда этот бритый дьявол взялся? Ведь он же в уезде был. Бывший кабатчик, в коммунисты записался, перевертень, черт. Такие самые злобные. Боюсь я... И надо ж было так влопаться... Тьфу!

— Придется, Петенька, завтра же в деревню тебе бежать... Ох, хоть бы ноченьку-то переночевать благополучно!

— Я так полагаю, надо обречься мне...

Вдруг раздался стук в дверь.

Оба вздрогнули и открыли рты. Занавески на окнах спущены, горела лампа.

— Скорей в подполье!.. Пропал я, пропал...— зашипел покойник. Сердце его стучало, и громко стучали в дверь.

Мигом спустились в подполье; Петр Иванович залез в мешок и сел в угол.

— Заслони меня чем-нибудь... Вот ящиком... Вот еще мешком с углями...

Вдова вылезла, закрыла люк и, придав лицу скорбное выражение, вся оледеневшая, открыла дверь.

— А-а,— протянула она и сразу обозлилась.— Ульяна Сидоровна!.. И откуда это вы приперлись?

— А уж я думала, тебя зарезал кто,— пробасила, вваливаясь, рыхлая женщина. Дряблое лицо ее жирно и красно, белый чепец на голове взмок, под мышкой огромный веник, в руке чемодан. Она закрестилась на иконы.— Фу-у-у!.. А я из бани к тебе... Дай, думаю, навещу вдовуху, божью сироту. Почитай, с полден пошла, да ишь как... Очередь с версту... Тьфу ты! Что и за жизнь — и когда эти большевичишки сквозь землю-то провалятся...

Женщина грузно шлепнулась на кресло и вытерла рукавом салопы потное свое лицо.

— А с кем же ты чай-то пила? Две чашки-то зачем?..

А табачищем-то как разит. Дым как на пожаре. Неужто куришь?

— Курю,— сказала вдова, и уши ее покраснели.— После покойника осьмушечка осталась... С горя.

— Фу-фу... Да. Посетил господь. С чего это он? Вот те и Петр Иванович!.. Царство ему небесное... Э-эх!.. Ну-ка, налей чайку.

— Извиняюсь,— растерянно и не без раздраженья начала вдова. Зубы ее выбивали дробь.— Извиняюсь, Ульяна Сидоровна... Я вас никак не могу угостить чаем... Пожалуйста в другой раз, Ульяна Сидоровна.

— Почему это не можешь?— гостья сдернула мокрый чепец, бросила его на стол, и заплывшие жиром красненькие, безбровые глазки ее засверкали.

— Я сейчас спать лягу, Ульяна Сидоровна... Я должна завтра чем свет встать, чтоб к заутрени на кладбище попасть, Ульяна Сидоровна, на панихидку...

— Чудесно,— перебила гостья,— я у тебя ночую. И я с тобой на панихидку пойду.

Хозяйка вся затряслась от злобы. Подбородок ее подался вперед.

— Нет, нет, это невозможно, Ульяна Сидоровна!

— Я пятьдесят пять лет Ульяна Сидоровна! Ошалела, что ли, ты... Как это невозможно?— и стала цедить из чайника в чашку.— Я вот на кушетке и прикорну... Не бойся, не объем, у меня кой-что захвачено... Ой, и пить захотелось, прямо душа горит.

Гостья, кряхтя, нагнулась под стол, вытащила из чемоданчика мочалку с мылом, потом грязное белье, бутылку самогонки, два яйца, завернутую в тряпицу селедку и краюху хлеба.

— Эх, хорошо бы еще луковку.

А в это время покойник прогрыз в мешке дыру и жадно прильнул к ней волосатым, как овчинная рукавица, ухом.

— Погиб... погиб...

Но заскрипел люк, опрокинулся вниз сноп света и перед покойником кто-то задышал.

— Петруша...

Из дыры на мгновенье блеснул колючий глаз, на смену ему подъехал рот.

— Кто? Облава?— прошипел рот и тотчас же уступил место уху.

Раздался чей-то голос и скрип ступеней.

Ухо, глаз, рот упали вниз, покойник весь съежился, вминаясь в угол, и перестал дышать.

— И куда вы лезете?! Куда лезете!..— раздраженно бросала хозяйка. Но покойник не мог разобрать слов.— Не сидится вверху-то вам!..

Все смолкло.

Ухо, потом глаз подъехали к дыре: тишина и темень.

Петр Иваныч облегченно передохнул, перекрестился: «Кажись, ушли»,— и его забила такая сильная дрожь, что мешок подскакивал и мотался во все стороны.

Прошел битый час. Что за оказия, почему не приходит жена, уже не арестовали ль ее? Петр Иваныч вылез из мешка и, расшаршив во тьме руки, тыкался в покрытые плесенью углы.

Он взобрался на лесенку и приник глазом к светлой щели люка. В поле зрения заблестел самовар, чашки, чьи-то толстые красные руки. Ба! Да ведь это бабка Ульяна. И самогонка. Разве войти да покаяться? А вдруг облава, и ежели при бабке сесть в мешок, обязательно выдаст. Нет, надо ждать.

— Пей,— говорит старуха, придвинув чашку хозяйке.

— Не много ли будет,— отвечает та хмельным голосом,— с непривычки-то. Уж очень крепок самогон-то...

— За упокой души... Хоть и не стоит он того... Ну, превичный ему покой,— говорит старуха и пьет.

Петр Иваныч сплюнул и прошипел:

— Чтоб те самой сдохнуть без покаяния!

— А ты не хнычь,— говорит старуха.— Слава богу, что и помер-то. Пьяница, царство ему небесное, был...

— Нет, извиняюсь, он хороший,— возражает жена и пьет.

— Хороший? Первый поножовщик был покойничек... Первый пьяница. Все певчие пьяницы. Я сызмальства знаю его. Подзаборник, кабацкая затычка, не тем будь помянут...

Петр Иваныч стиснул зубы и сжал кулак.

«Ну и чертова старушка!»— подумал он. Глаза его горели ненавистью, душа горела жаждой выпить. Взор его был зорок и хищен, как у ястреба.

— Он мне, каторжная душа, семь с полтиной золотом остался должен. Ха, тоже муженек!.. Уж раз подох, превичный покой его головушке, то скажу тебе, сирота. Как-

то говорит мне пьяненький: «Ох, говорит, Ульяна Сидоровна! Жена, говорит, мне наскучила, подыщи ты мне вальяжную даму из купеческого или епархиального сословия».

Петр Иваныч ударился теменем в крышку люка и проскорготал:

«Ну, только бы революция окончилась, я тебя, дьявольскую старушку, изувечу».

Хозяйка прижала к глазам платок и горько заплакала. Старуха потянулась к бутылке.

«Ах, выжрет все»,— с жадностью подумал усопший. Но старуха, налив две чашки, оставила порожнюю бутылку и вытащила из чемодана другую.

— Давайте скорей ложиться спать,— сквозь слезы сказала хозяйка.

Петр Иваныч замерз, запрокинутая голова его кружилась, затекла спина. И ужасно хотелось выпить самогону. Ну, положеньице! Черт его сунул умереть! Сидя на ступеньке под самым потолком, он засунул руки в рукава, клюнул раз-другой носом, задремал.

А когда открыл глаза, было тихо. Покойник приподнял крышку люка. Тишина, горит лампадка. Он просунул в комнату свою рыжую встрепанную голову и осторожно закорючил ногу, чтоб выбраться наверх.

Но вдруг душераздирающий визг хлестнул его колом. С хриплым лаем, визгом, криком мимо него толстобоко потряслась старуха.

И все сорвалось с мест и понеслось: стол, самовар, окошки...

Старуха мчалась среди лунной ночи вскачь, за ней — мертвец. Старуха ухнула, упала. С маху на нее упал мертвец.

— Ульяна Сидоровна! Душечка!.. Это я — Тарелкин... Самогону, дайте самогону!..

Старуха рывкнула и заорала, и с нею заорал весь свет. Покойник ткнул кулаком в пьяную старушью пасть.

— Ульяна Сидоровна!.. Ангел...— и сгреб старуху за глотку.

Старуха вскинула к небу толстые ноги, вытянулась вся и захрипела.

«Бежать... Скорей...»

Мертвец метнулся и — по воздуху, как птица. И вслед свистки, ругань, крики:

— Держи, держи!..

Все опрокинулось и завертелось: капуста, гряды, гла-

застый месяц, орущая толпа людей — и красный конь пронесся с хохотом.

Петр Иваныч в сенцах. Схватил тяжелый топор-колун и притаился: пропадать так пропадать.

И первому — раз по голове, другому — раз... Свалили, вяжут.

— Ребята, к стене его!

— Как, без суда?

— Без суда... Он мертвый...

Морды, морды, морды, тыща ружей в грудь.

— Пли!! — залп.

С треском обломилась гнилая ступенька, на которой кошмарно спал Петр Иваныч, он кувырнулся в пустой, из-под капусты, чан, враз проснулся и от страшного испуга по-настоящему мгновенно умер.

*Посвящается
Льву Рудольфовичу
Когану*

СПЕКТАКЛЬ В СЕЛЕ ОГРЫЗОВЕ

Военная страда окончена, и красноармеец Павел Мохов опять в родном своем селе Огрызове.

Была весенняя пора, все цвело и зеленело, целыми днями тюрликали в выси жаворонки, а по ночам пели соловьи. Навозница кончилась, до сенокоса еще далече, крестьяне отдыхали, справлялись солнечные праздники: Николай-вешний, троица, духов день — с молебнами, трезвоном колоколов, крестными ходами, бесшабашной гульбой и мордобоем.

— Вот черти! Живут, как самая отсталая национальность, — возмутился Павел Мохов. — Ежели с птичьего полета поглядеть, то революции-то здесь и не ночевало никакой. Позор!

И недолго думая образовал театральный кружок-ячейку.

Народ ничего не понимал, в члены записывались очень мало. А когда дьячок пустил для озорства слух, что записавшимся будут селедки выдавать, в ячейку привалило все село, — даже древние старцы и старухи.

Председатель Павел Мохов рассмеялся и колченогой шарушонке Секлетинье задал такой вопрос:

— Хорошо, я тебя, бабушка, зарегистрирую. Вот тебе роль, играй первую любовницу. Можешь?

— Играй сам, толсторожий дурак,— зашамкала бабка, приседая на кривую нбгу.— Подай мои селедки, что по закону причитается!.. Три штуки.

Вообще было много хлопот с кружком. Потом наладилось.

Через неделю разыграли в школе веселый фарс, крестьяне хохотали, просили еще сыграть, сулили платить яйцами, молоком, сметаной.

Только вот беда: не было пьес. Написали в уездный город. Выслали «Юлия Цезаря». Когда подсчитали действующих лиц — сорок человек — без малого все село должно играть, а кто же смотреть-то будет?

Тогда Павел Мохов и другой красноармеец, Степочкин, решили состряпать пьесу самолично. Долго ли? Раз плюнуть! На подмогу был приглашен новоиспеченный учитель Митрий Митрич, из бывших духовных портных.

Все трое, чтобы никто не мешал, после обеда заперлись в прокопченной бане, захватив с собой четверть самогону. К утру пьеса была окончена. В сущности, сочинял то Мохов, а те двое — так себе. Осунувшаяся, словно после изнурительной болезни, вся троица вылезла на воздух и, пошатываясь, поплелась в великой радости. Лица у всех были в саже.

— Любящая мамаша,— обратился Павел к своей матери совсем по-благородному,— угостите автора чайком. Я теперь автор, сочинил сильно действующую трагедию под заглавием: «Удар пролетарской революции, или Несчастливая невеста Аннушка». Пьеса со стрельбой... Поплачете и посмеетесь.

Красотка Таня ни за что не хотела участвовать в спектакле. Очень надо! Павел Мохов ей даже совсем не нравился. Пусть Павел Мохов много-то, пожалуйста, и не воображает о себе. Но Павел Мохов всячески охаживал Таню со всех сторон. Нет, не поддается.

Ну, ладно! Вот что-то она скажет, когда его пьесу поглядит.

Репетиция шла за репетицией. Пьеса подверглась коренной переработке и получила новое название: «Безвинная смерть Аннушки, или Буржуй в бутылке».

Всю последнюю неделю село жило под знаком «безвинной смерти Аннушки»: девицы воровали у родителей холсты для декораций, парни — конопляное масло для ма-

лярных работ, кузнец Филат украл в совхозе белил и красок.

Неутомимый Павел изготавливал огромную, склеенную из двадцати листов, плакат-афишу: он раскинул ее на полу в своей избе и целый день, пыхтя, ползал на брюхе, печатал всеми красками, подчеркивал.

Особенно кудряво было выведено: «Сочинил коллективный автор Павел Терентьевич Мохов, красный пулеметчик». Потом следовало предостережение: «Потому что в трагедии произойдет стрельба холостыми зарядами, то прошу в передних рядах, так и в самых задних рядах никаких паник не подымать в упреждение ходынки».

И в конце: «Начало в шесть часов по старому стилю, а по новому стилю на три часа вперед. С почтением автор Мохов». И еще три отдельных плаката: «Прошу на пол не харкать». «Во время действия посторонних разговоров прошу не позволять». «В антрактах матерно прошу не выражаться».

В конце каждого плаката было: «С почтением автор Мохов».

После генеральной репетиции Мохов сказал:

— Успех обеспечен, товарищи! Будет сногшибательно.

Мимо Таниной избы прошел подбоченившись и лихо заломив с красной звездой картуз.

А на другой день уехал в город, чтоб пригласить члена уездного политпросвета на показательный спектакль.

В день спектакля публика густо стала подходить из ближних деревень в село Огрызово. С любопытством рассматривали плакат-афишу, укрепленную на воротах школы.

В школе едва-едва могло уместиться двести человек, народу же набралось с полтысячи. Спозаранку, часов с трех, зал был набит битком. Публика плевала на пол, выражалась, плакат же «Прошу не курить, с почтением автор Мохов» был сорван и пошел на козы ножки. В комнате от табачного дыма сизо. День был знойный, душный. С беременной теткой Матреной случился родимчик: заайкала, — и ее унесли...

В пять часов Павел Мохов стал наводить порядки. Весь мокрый, он стоял вместе с милицейским на крыльце и осаживал напиравший народ.

— Нельзя, товарищи, нельзя! Выше комплекта, — взволнованно кричал он. — Ведь ежели б стены были резиновые, можно раздаться, но они, к великому сожалению, деревянные.

— Допусти, Паша!.. Ну не будь сукиным сыном, допусти. Мы где ни то с краешку... На яичек... На маслица.

— В антрахту залезем, братцы, не горюй! — утешались не попавшие на зрелище крестьяне, — всех за шиворот повыдергаем! Не век же им смотреть! Половину они посмотрят, а другую половину мы.

Около шести часов прибыл со станции представитель уездного политпросвета, светловолосый красивый юноша, товарищ Васютин. Павел Мохов был крайне удивлен: ведь обещался приехать бородатый, а тут — здравствуйте пожалуйста! Однако Павел дисциплину понимает тонко: рассыпался в любезностях, провел его в свою избу, сдал на попеченье матери, а сам — скорее в школу и подал первый звонок. Публика отхаркнулась, высморкалась, смолкла и приготовилась смотреть.

Товарищ Васютин отмывал дорожную пыль, прихорашивался перед зеркалом, прыскал себя духами. Мать Павла усердно помогала ему переодеваться. Она очень удивилась, что гость без креста и натягивает белые штаны.

Франтом, с тросточкой, попыхивая сигареткой, краснощекий товарищ Васютин проследовал на спектакль. В кармане его щегольского пиджака лежали две ватрушки, засунутые матерью Павла.

— Промнешься, соколик, дак пожуешь.

Второй звонок подавать медлили.

В артистической комнате содом. Павел Мохов рвал и метал. Доставалось молодому кузнецу Филату. Филат должен, между прочим, изображать за сценой крики птиц, животных и плач ребенка — все это Павел ввел «для натуральности». На репетиции выходило бесподобно, а вот вчера кузнец приналег после бани на ледяной квас и охрип, — получается черт знает что, петух мычит коровой, а ребенок плачет так, что пугается медведь.

— Тьфу! Фефела... — выразительно плюнул Павел и, стрельнув живыми глазами, крикнул: — А где же суфлер? Живо за суфлером! Ну!

Меж тем стрелка подходила к семи часам. То здесь, то там приподымались девушки, с любопытством оглядывали городского франта.

— Ну и пригожий... Ах, патретик городской...

Таня два раза мимо проплыла, наконец насмелилась:

— Здравствуйтесь, товарищ! — И протянула ему влаж-

ную от пота руку. Очень высокая и полная, она в белом платье, в белых туфлях и чулках.

— Пойдемте, барышня, освежимся! — и Васютин взял ее под руку. Рука у Тани горячая, мясистая.

Девушки завздохали, завозились, парни стали кричать и подкашливать, кто-то даже свистнул.

Милицейский и шустрый паренек Офимьюшкин Ванятка тем временем разыскивали по всему селу суфлера Федотыча.

— Ужаси в нашем месте скука какая. Одна необразованность, — вздыхала Таня, помахивая веером на себя и на кавалера.

— А вы что же, в городе жили?

— Так точно. В Ярославле. У одной барыни паршивой служила по глупости, у буржуазки. Теперь я буржуев презираю. Подруг хороших здесь тоже нет. Например, все девушки наши боятся гражданских браков. А вы, товарищ, женились когда-нибудь гражданским браком? — И полные малиновые губы Тани чуть раздвинулись в улыбку.

— Как вам сказать? И да, и нет... Случалось, — весело засмеялся Васютин, и рука его не стерпела: — Этакая вы пышка, Танечка...

— Ах, право... мне стыдно. Какой вы, право, комплиментщик!

Гость и Таня торопливо шли по огороду вдоль цветущих гряд.

Вечер был удивительно тих. Солнце садилось. Кругом ни души, только кошка играла с котятами под березкой. Сквозь маленькое оконце овина, рассекая теплый полумрак, тянулся сноп света. Он золотил пучки сложенной в углу соломы.

В овине пахло хлебной пылью, мышами и гнездами ласточек.

— Товарищи! — появился перед занавесом Павел Мохов. — Внимание, внимание! По независимым от публики обстоятельствам, товарищи, наш суфлер неизвестно где... Так что его невозможно, сволочь такую, отыскать... То спектакль, товарищи, начнется по новому стилю!

А ему навстречу:

— По новому так по новому!.. Начинай скорее, Пашка!.. Другие не жравши с утра сидят... Животы подвело!

И еще кричали:

— Это мошенство! Подавай творог! Подавай яйца назад!

Но Павел не слышал. Обложив милицейского и Офимьюшкина Ванятку, что не могли найти суфлера, он самолично помчался отыскивать его.

Суфлер — старый солдат Федотыч, двоюродный дядя Павла Мохова. Он хороший чтец по покойникам и большой любитель в пьяном виде подраться: все передние зубы у него выбиты. Но, несмотря на это, он суфлер отменный и находчивый: чуть оплошай актер, он сам начинает выкрикивать нужные слова, ловко подделывая голос.

Павел подбежал к его избе. Так и есть — замок. Он к соседям, он в сарай, он в баню...

И весь яростно затрясся: Федотыч лежал на спине и, высоко задрав ноги, хвостал их веником, голова его густо намылена, он был похож на жирную, в белом чепчике, старуху.

— Зарезал ты меня! Зарезал!.. — затопал, завизжал Павел Мохов.

Веник жарко жихал и шелестел, как шелк.

— Павлуха, -ты? Скидавай скорей портки да рубаху! Жару много, брат!..

— Спектакль! Старый идиот! Спектакль ведь!

— Какой спектакль? Ты чего мелешь-то? У нас какой день-то седни? — и вдруг вскочил. — Ах-ах-ах-ах...

— Запарился?

Федотыч нырнул головой в рубаху.

— Башку-то ополосни! В мыле.

Задорно прогремел звонок. Сцена открылась, и вместе с нею открылись все до единого рты зрителей. На сцену вышла высоченная, жирная попадья.

Ни одна девушка не пожелала играть старуху. Взаялся кузнец Филат. Лицо у него длинное, как у коня. На голову он взгромоздил шляпищу: впереди сидит, растопырив крылья, ворона, кругом — непролазные кусты цветов; на носу же самодельные очки, как колеса от телеги. Он очень высок и тощ, но там, где нужно, он столько натолкал сдобы, что капот супруги местного торговца, женщины очень низенькой, трещал по швам и едва хватал Филату до колен; из-под оборок торчали сухие, в обмотках, ноги, которыми очень грациозно, впереплет и с вывертом, переступал Филат.

— Африканская свиньища на ходулях, — шепнул товарищ Васютин Тане, жарко дышавшей ему в лицо.

Попадья, виляя задом, мелко засеменила к шкапу, достала четверть и, одну за другой, выпила три рюмки.

— Вот так хлещет! — завистливо кто-то крикнул в задних рядах.

— Угости-ка нас...

— Мамаша! Мамаша! — выскочила в белом переднике ее дочь Аннушка. — Как вам не стыдно жрать водку?!

Та откашлялась и сказала сиплым басом:

— Дитя мое, тебе нет никакого дела, что касемо поведения своей собственной матери.

В публике послышались смешки: вот так благородная госпожа, вот так голосочек... А Павел Мохов за кулисами, оглушенный басом попадьи, заткнул уши и весь от злости позеленел.

— Ах, так? — звонко возразила Аннушка. — Нынче, мамаша, равноправие. Я из вашего кутейницкого класса уйду в пролетариат... Я — коммунистка. Знайте!

— Чего, кто?.. Коммунистка?! А жених? Такой благородный человек... Я тебе дам коммунистку! — загремела, как из пушки, попадьи и забегала по сцене; ворона и кусты тряслись...

Павел Мохов тоже с места на место перебегал за кулисами и желчно, через щели, шипел Филату:

— Что ты, харя, таким быком реवेशь. Тоньше, тоньше!.. Ведь ты женщина.

Этот злобный окрик сразу сбил Филата: слова пьесы выскочили из его памяти, — и что подавал суфлер, летело мимо ушей, в пространство.

Растерялась и Аннушка.

— Уйду, уйду, — повизгивала она, и глаза ее, как магнит в железо, впились в беззубый рот суфлера Федотыча.

Попадьи крякнула для прочистки глотки и, едва поймав реплику суфлера, еще пуще ухнула раскатистой октавой:

— Стыдись, о дочь моя! Ничтожество — твое имя!

— Позор! позор! Паршивый черт!.. — громко зашумел из-за кулис сквозь щель Павел Мохов. — Я тебе в морду дам!

— Позор, позор! — всплеснула руками Аннушка и вся в слезах шмыгнула за кулисы.

— Позор! Паршивый черт! Я тебе в морду дам! — загремела и попадьи-Филат, полагая, что эти слова подсказаны ему суфлером.

Тогда Федотыч грохнул в своей будке кулаком, презрительно плюнул.

— Тоже ахтеры называются!..

И вдруг, к удивлению публики, невидимкой зазвучал со сцены его пискливый женский голос:

— О дочь моя... Я тебя великодушно прощаю,— фистулой выговаривал Федотыч.— Иди ко мне, я прижму тебя к своей собственной груди. Вот так, господь тебя благословит,— и сердито зашипел: — Где Аннушка? Аннушку сюда, черти!..

Аннушку выбросили из-за кулис на кулаках. Семёна ногами и горестно восклицая:

— Я ж говорю вам, что не знаю роли... Я сбилась, сбилась...— она подбежала к попадье, которая безмолвно стояла ступой, обхватив живот.

— Благословляй, дьявол! — треснул в пол кулаком суфлер.

— Господь тебя благослови! — как протодьякон, пробасила попадьа.

Павел Мохов метался за кулисами.

— Занавес!.. К черту Филата!.. Ах, дьяволы. Погубили пьесу. Снова!

Но положение спас буржуй-жених. Он роль знал на зубок, на сцену вышел игриво; попадьа и Аннушка вновь овладели собой; Федотыч суфлировал на весь зал, как сто гусей, и на радостях суетливо глотал самогонку: из суфлерской будки несло сивухой.

Потом вошел маленький бородатый священник в рясе и скуфье набекрень, отец Аннушки.

— Поп, поп! — весело зашумели в зале.— Глянь-ка, братцы! Кутью продергивают.

Несчастную Аннушку стали пропивать: жених с попом устраивают кутеж, гармошка, плясы, попадьа в присядку чешет трепака, подушки с груди переползают на живот. Аннушка плачет. Зрителям любо: ай-люли; хлопают в ладоши — «биц-биц-биц!». Аннушка не любит жениха, плачет пуше. Но вот врывается в кожаной куртке рабочий-коммунист:

— Я спасу тебя!

— Милый, милый! — бросается ему на шею Аннушка.

Жених лезет драться, но коммунист выхватывает револьвер:

— Она моя! Смерть буржуям!.. К стенке!

Поп с женихом в страхе ползут под кровать. Занавес. Хлопки. Восторженные крики: «Биц-биц-биц!»

Перерыв длился полтора часа.

Стемнело. Зажгли две керосиновые коптилки. Мрак наполовину поседел.

У актеров — как в сумасшедшем доме: кто плачет, кто смеется, кто зубрит роль.

— Глотай сырьем, — лечит Федотыч голос кузнеца. — Видишь, у тебя кадык завалило.

Кузнец яйцо за яйцом вынимает из лукошка, целый десяток проглотил, а толку нет.

— Не могу больше, назад лезут, проклятые... — хрипит он.

— К черту! — волнуется Павел Мохов. — Где это ты видел, чтобы так попадья говорила? Банщик какой-то, а не попадья!

— Знай глотай... Обмякнет, — бормочет Федотыч. Бритое, жирное лицо его красно и мокро, словно обваренное кипятком. Самогонка в бутылке быстро убывает.

Из зала густо выходила на свежий воздух публика. Навстречу протискивались новые. Косяки дверей трещали. С треском отрывались пуговицы от рубах, от пиджаков. Иные тащили выше голов приподнятые стулья, чтобы не потерять место. «Налегай, ребята, налегай, жми сок из баб!»

Костомятка была и в коридорчике. Удалей всех продирался толстобокий попovich в очках. Он яростно тыкал локтями и кулаками в животы, в бока, в спины, деликатно приговаривая: «будьте добры!» да «будьте добры!». Старому Емеле, до ужаса боявшемуся мышей, подсунули в карман дохлого мыша, как вышли, попросили на понюшку табаку.

Прозвенел звонок. Народ повалил обратно.

Дядя Антип, из соседней деревни, постоял в раздумье и, когда улица обезлюдела, махнул рукой:

— А ну их к ляду и с камедью-то... — закинул на загорбок казенный стул и, озираючись, пошагал, благословясь, домой. — Ужо в воскресенье еще приду. Авось второй стульчик перепадет на бедность на мою...

— Внимание, товарищи, внимание! — надсадно швырял в шумливый зал Павел Мохов. — По независимым от публики обстоятельствам, товарищи, попадья была высокая, теперь станет маленькой. Поп же, то есть ее муж, как раз наоборот, делается очень высокий. На это не смущайтесь. Это перетрубация в ролях, и больше ничего. Даже лучше! Итак, я подаю, товарищи, третий и самый последний звонок!

Занавес отдернули, и зал вытаращил полусонные глаза. Вот выплыла попадья, по одежке точь-в-точь та же, только на коротеньких ножках и пищит, а вслед за нею — высоченный поп, тот же самый — грива, борода; только ряса по колено и ходули-ноги длинные, в обмотках.

В публике смех, возгласы:

— Пошто попадье ноги обрубили?

— А ну-ка, бабушка, спляши!

— Эй, полтора попа!!

Изрядно наспиритовавшийся Федотыч едва залез в будку, но суфлировал на удивление ясно и отчетливо: вся публика, даже та, что в коридоре, имела удовольствие слушать зараз две пьесы — одну из будки, другую от действующих лиц.

Жировушка Федотыча — в черепке бараний жир с паклей — чадила суфлеру в самый нос.

Действие на сцене как по маслу. Буржуя-жениха прогнали, в доме водворился коммунист. Аннушка родила ребенка, который лежит в люльке и плачет. Люльку качает поп (кузнец Филат).

Он говорит:

— Это ребенок коммунистический, — и поет басом колыбельную...

Баю-баюшки-баю,
Коммунистов признаю...
Ты лежи, лежи, лежи,
И ногами не дройи...

— Достукалась, притащила ребеночка, — злобствует попадья. — А коммунистишку-то твоего опять на войну гонят.

— О, горе мне, горе!.. — восклицает Аннушка и подсаживается к люльке, чтобы произнести над ребенком длинный монолог. Она роль знает плохо, влипла глазами в будку, ждет подсказа, в будке чернохвостый огонек чадит, и Федотыч — что за диво — наморщил нос и весь оскалился.

— О, горе мне, горе!.. — взволнованно повторяет Аннушка.

Вдруг в будке захрипело, зафыркало и на весь зал раздалось: «Ччих!» — и огонек погас.

Федотыч опять захрипел, опять чихнул и крикнул:

— Эй, Пашка! Дай-ка скорей огонька... У меня жирову... А-п-чих!.. жировушка погасла.

За сценой беготня, шепот, перебранка: все спички вышли, зажигалка не работает.

— О, горе мне, горе!..— безнадежно стонет Аннушка, забыв дальнейшие слова.

— Погоди ты... Го-о-оре!..— крихтит, вылезая из будки, пьяный Федотыч.— У тебя горе, а у меня вдвое. Видишь, жировушка погасла. Нет ли, братцы, серянок у кого?

Публика с веселостью и смехом:

— На дедка! На-на-на...

И снова как по маслу.

Аннушка так натурально убивалась над сделанным из тряпья ребенком и так трогательно говорила, что произвела на зрителей впечатление сильнейшее: бабы сморкались, мужики сопели, как верблюды.

Офимьюшкин Ванятка подрядился вместо Филата за три яйца плакать по-ребячьи. Он плакал за кулисами звонко, с чувством, жалобно. Какой-то дядя даже сердобольно крикнул Аннушке:

— Дай титьку младенцу-то!

И баба:

— Поди укакался ребенчишко-т... Перемени, Аннушка, ему пеленки-то.

Словом, действие закончилось замечательно. Все были довольны, кроме Павла Мохова. Он, скрипя зубами, тряс за грудки пьяного Федотыча:

— Дядя ты мне или последний сукин сын?! Неужто не мог после-то нажраться? Таковую, дьявол старый, устроил полемику со своей жировушкой...

По селу пели третьи петухи.

За Таней и Васютиным, опять шагавшими вдоль цветущих грядок, шли в отдалении парни с гармошкой и орали какую-то частушку, для Тани очень оскорбительную.

— Эй, ахтеры!— кричали в зале.— Работайте поскорейча... Ведь утро скоро. Которые уж спят давно!

Действительно, на окнах и вдоль стен под окнами сидели и лежали спящие тела.

Когда открыли сцену, наступившую густую тишину толчок и встряхивал нечеловеческий храп. Это дед Андрон, согнувшись в три погибели, упер лысину в широкую поясницу сидевшей впереди ядерной бабы, пускал слюни и храпел. Другие спящие с усердием подхватывали.

Настроение актеров было приподнято: это действие очень веселое— пляски, песни, хоровод, а кончается убийством Аннушки. Мерзавец буржуй-жених, которого зарезали в прошлом действии, должен внезапно появиться и

смертоносной пулей сразить несчастную Аннушку. Это гвоздь пьесы. Это должно потрясти зрителей. Недаром Павел Мохов с такой загадочно-торжествующей улыбкой сыплет в медвежачье ружье здоровенный заряд пороху: грохнет, как из пушки.

Но если б Павел Мохов видел, каким пожаром горят глаза коварной Тани и с какой страстью стучит в ее груди сердце, его улыбка вмиг уступила бы место бешеной ревности.

Парочка тесно сидела плечо в плечо, от товарища Васютина пахло духами и табаком, от красотики Тани — хлебной пылью, мышами и гнездами ласточек.

Декорация — елки и сосны, берег реки, Аннушка с ребенком сидит на камне.

— Какой хороший вечер, — говорит она. — Спи, мой маленький, спи. Чу, коровушка мычит. (За кулисами мычит корова.) Чу, собачка взлаяла. (Лает собака.) А как птички-то чудесно распевают! Чу, соловей... (Поет соловей.)

Яйца, видимо, подействовали: Филат на все лады заливался за сценой и соловьем, и собачкой, и коровушкой.

Появляются девушки, парни. Начинают хоровод. Свистит соловей, крикают утки, квакают лягушки, мычит корова.

— Дайте и мне, подруженьки, посмотреть на вашу веселость... — сквозь слезы говорит Аннушка. — Папаша и мамаша выгнали меня из дому с несчастным дитем. А супруг мой, коммунист, убит белыми злодеями на всех фронтах. Которые сутки я голодная иду, куда глаза глядят и не глядят.

Аннушка горько всхлипывает. Ее утешают, ласкают ребенка. За кулисами ржет конь, мяукает кошка, клохчут курицы, хрюкает свинья.

— Ах, ах! Возвратите мне мои счастливые денечки!

Зрители вздыхают. Храпенье во всех концах крепнет. Давно уснувший в будке Федотыч тоже присоединил свой гнусавый храп. Лысина деда Андрона съехала с теткойной поясницы в пышный зад.

Вдруг из-за кустов выскочил буржуй-жених, в руках деревянный пистолет.

Наступила трагическая минута.

Павел Мохов взвел за кулисами курок.

— Ах, вот где моя изменщица! — И жених кинулся к Аннушке. — Вон! Всех перестреляю!

Визготня, топот, гвалт — и сцена вмиг пуста.

Лицо буржуя красное, осатанелое. Он схватил ребенка, ударил его головой об пол и швырнул в реку.

Аннушка оцепенела, и весь зал оцепенел.

— Ну-с! — крикнул жених и дернул ее за руку.

Павел Мохов еще подбавил пороху и выставил в цель дуло своего самопала. Он в пьесе не участвовал, он к сцене совершенно непригоден: терял себя, трясся, бормотал глупости, а театр ужасно любил. Поэтому на спектаклях в городе ему обычно поручалось стрелять за кулисами. И уж всегда, бывало, грохнет момент в момент.

Здесь он точно так же ограничил себя этой на взгляд малой, но очень ответственной ролью.

— Ведь мы же с папочкой и мамочкой полагали, что вы зарезаны, — вся трепещет, сказала Аннушка буржую-жениху.

— Ничего подобного!.. Ну, паскуда, коммунистка, молись богу. Умри, несчастная! — И жених направил пистолет в грудь Аннушки.

— Ах, прощай белый свет!.. — закачалась Аннушка и оглянулась назад, куда упасть.

Павел Мохов сладострастно спустил курок, но самопал дал осечку.

Зал разинул рот и перестал дышать. За сценой шипели в уши Мохова:

— Вали-вали-вали еще, Пашка, вали...

— Умри, несчастная!! Во второй раз говорю! — свирепо крикнул жених.

— Ах, прощай, белый свет!.. — отчаянно простонала Аннушка и закачалась.

Павел Мохов трясущейся рукой спустил курок, но самопал опять дал осечку. Злобно ругаясь, Павел выбрал из проржавленных пистонов самый свежий.

Жених умоляюще взглянул на кулисы и, покрутив над головой пистолет, вновь направил его в грудь донельзя смутившейся Аннушки.

— Умри, несчастная! Последний раз говорю тебе!..

Кто-то крикнул в зале:

— Чего ж она, дура, не умирает-то!

— Ах, прощай, белый свет!.. — третий раз простонала Аннушка, и самопал за кулисами третий раз дал осечку.

Дыбом у Павла Мохова поднялись волосы, он заскорготал зубами. Жених бросил свой деревянный пистолет, крикнул: «Тьфу!» — и нырнул за кулисы.

Аннушка же совершенно не знала, что ей предпри-

нять,— наконец закачалась и без всякого выстрела упала.

— Занавес! Занавес давай! — скандал на всю губернию, суетились за сценой.

Но в это время, как гром, тарарахнул выстрел.

Весь зал подпрыгнул, ахнул.

Храпевший суфлер Федотыч тоже подпрыгнул и, подняв на голове будку, побежал с нею по сцене. С окон посыпались на пол спящие, а те, что храпели на полу, вскочили, опять упали — и поползли, ничего не соображая.

Занавес плавно стал задерживаться.

— Товарищи! — быстро поднялся на стул Васютин. — Я член репертуарной коллегии драматической секции первого сектора уездного культагитпросвета...

Мужики злорадно засмеялись.

Раздались выкрики:

— Жалаим!

— Толкуй по-хрещеному!.. По-русски...

— Товарищи! Главный дом соседнего с вами совхоза, бывшие хоромы помещика, обращается в Народный дом для разумных развлечений. Я имею бумагу. Вот она. Советская власть охотно идет навстречу вашим духовным запросам. А теперь кричите за мной: «Автора, автора!»

И зал, ничего не понимая, загредел за товарищем Васютиным.

Автор же, за кулисами, упав головой на стол, плакал.

Васютин пошел за сцену и в недоумении остановился.

— Товарищ Мохов! Как вам не стыдно? Вас вызывает публика. Слышите? Ну, пойдите скорей.

Павел Мохов вытер кулаками глаза и уже ничего не мог понять, что с ним происходило. Куда-то шел, где-то остановился. Из полумрака впилась в него сотни горящих глаз.

А Федотыч меж тем, пошатываясь, совался носом по сцене, душа горела завести скандал.

— Товарищи! У вас теперь свой Народный дом, свой драматический кружок. А кто организовал его? Да, конечно же, бывший красноармеец товарищ Мохов. Ежели спектакль прошел и не совсем гладко, это ничего, ведь это ж первый опыт, товарищи. Вот пред вами тот самый автор, сочинитель пьесы, которой вы только что любовались... Почтим его. Да здравствует талантливый Павел Мохов! Bravo! Bravo! — захлопал Васютин в ладоши, за ним — сцена, за ней — весь зал.

— Бра-в-во! Биц-биц-биц! Bravo! Молодец, Пашка! Ничего... Жалаим... Павел, говори! Чего молчишь?..

— Почтим от всех присутствующих! Ура!! — надрывался Васютин.

Федотыч плюнул в кулак и, пошатываясь, подкрался сзади к своему племяннику.

Павел Мохов взглянул орлом на Таню, взглянул на окно, за которым розовело утро, и в каком-то телячьем восторге, захлебываясь, начал речь:

— Товарищи! Да, я действительно есть коллективный сочинитель...— но вдруг от крепкого удара по затылку слетел с ног.

— Я те дам, как дядю за грудки брать! — крутя кулаком, дико хрипел над ним Федотыч.— Я те почту от всех присутствующих!..

На следующий день товарищ Васютин уехал в город. Вместе с ним исчезла и красотка Таня. Она сказала дома, что едет в город на фабрику, будет там работать и учиться на курсах. В школе же после «Безвинной смерти Аннушки» недосчитались семи казенных стульев.

Павел Мохов от превратного удара судьбы — и спектакль не удался и Таню проворонил — долго грустил.

Его утешал пьяненький Федотыч.

— Ты, племяш, не серчай, что я те по шее приурезал, — шамкал он.— А вот ежели такие теятеры будем часто представлять, у нас не останется ни небели, ни девок.

— Ничего, дядя, все наладится... Вот только ученья во мне недостает, это факт. Поеду-ка я за просвещением в город. А как вернусь, уж вот спектакль загнем, уж вот загнем!.. И обязательно библиотеку устрою, чтоб наше Огрызово село было передовым...

И Павел Мохов направился в город на курсы избачей.

ШЕРЛОК ХОЛМС — ИВАН ПУЗИКОВ

1. СЕНЦО

День был душный, жаркий. К вечеру соберется гроза. Недаром деревья так задумчивы, так насторожены.

В ограду бывшего имения господ Павлухиных — ныне совхоз «Красная звезда» — въехал на сивой лошаденке кривобородый, с подвязанной скулой, рыжий мужичок в

лаптях. Соскочил с телеги, походил с кнутом от дома к дому,— пусто, на работе все.

— Тебе кого? — выглянула из окна курчавая, цыганского типа голова.

— Да мне бы Анисима Федотыча, управляющего,— ответил мужичок, снимая с головы войлочную шляпу-грешневик.

— Я самый и есть,— сказала голова.

— Приятно видеть вашу милость. Желательно нам снца возик... Потому как понаслышались мы...

— Здесь не продается. Это учреждение казенное.

— Да ты чего!.. Да ведь Серьгухе нашему вчера продал, сельцовскому. Хы, казенное... Вот то и хорошо! Чудак человек!

— Зайди. Шагай сюда.

А в ночь действительно собралась гроза. Тьма окутала всю землю, освежающий дождь сразу очистил воздух, небо ежеминутно разевало огненную пасть, чтоб вмиг пожрать всю тьму, но каждый раз давилось, кашляло и рычало злобными раскатами. Все живое залезло в избы, в норы, в гнезда. А вот вору такая ночь — лафа.

Наутро — хватъ, батюшки мои! — забегали в совхозе: какой-то негодяй похитил в ночь все металлические части самолучшей молотилки.

Управляющий Анисим Федотыч рвет и мечет: ведь на днях комиссия из городу приедет инвентарь ревизовать, да и молотьба недели через три. Что делать?

Сбились с ног, искавши. В ближней деревне Рукохватовой у подозрительных людей пошарили,— конечно, не нашли.

Анисим Федотыч, природный охотник и собачник, даже привлек к розыскам свою сучку Альфу. Но сучка, обнюхав молотилку, привела всю компанию из понятых и милицейских к избе красивой солдатки Олимпиады, к которой тайно похаживал управляющий. Кончилось веселым смехом всей компании и конфузом Анисима Федотыча. Он сучку тут же выдрал.

Совхозский писарь Ванчуков сказал:

— Я бы присоветовал вам обратиться к сыщику Ивану Пузикову. Он, по слухам, человек дошлый, знаменитый.

— А ну их к черту, этих нынешних... — возразил управляющий.— Каторжник бывший какой-нибудь...

— Напрасно.— Писарь стал рассказывать совхозу о подвигах сыщика.

В конце концов Анисим Федотыч согласился.

— Поезжай.

Писарь оседлал каурку — да на железнодорожную станцию, что за двадцать верст была.

— Ладно, разыщу, денька через три ждите,— только и сказал Иван Пузиков, агент «угрозы», то ёсть уголовного розыска.

И действительно, в конце третьих суток — уж время ужинать — взял да и явился в совхоз «Красная звезда» сам-друг с товарищем Алехиным.

Посмотреть — юнцы. Особенно Алехин. Правда, Пузиков важность напускает: между строгих бровей глубокая складка; правда, и глаза у него стальные, взгляд холодный, твердый, и рот прямой, с заглотом, а подбородок крепко выпячен. Вообще Пузиков — парень ого-го. То ли двадцать лет ему, то ли пятьдесят.

Осмотрёл, обнюхал их Анисим Федотыч со всех сторон, — да-а, народ занятный.

— Ну что ж, товарищи, пойдете-ка. Темнеет.

— Успеем, куда торопиться,— сказал Пузиков.— А вот чайку хорошо бы хлебнуть.

— Ежели ваше усмотренье такое, то чаю можно... — недовольно проговорил завхоз.— А на мой взгляд, надо по горячим следам.

— Ерунда, папаша! — ответил Иван Пузиков.— И не таких дураков лавливали.

Чайку «угроза» любила попить. А тут варенье да пирог с мясом, с яйцами.

За чаем Пузиков завел рассказ. Управляющему и неймется, и послушать хочется — очень интересно «угроза» говорит.

— А почему я по этой части? Через книжку, через Шерлока Холмса. Тятка меня к сапожнику определил в Питер. Я ведь из соседней волости родом-то, мужик. Пошлет, бывало, хозяин за винишком по пьяному делу — ну, двугривенный и зажмешь. Глядишь, на две книжки есть. Эх, занятно; дьявол ты возьми. Все мечтал, как бы это сыщиком стать; мечтал-мечтал, да до революции и домечтался. Теперь я сам русский Шерлок Холмс, Иван Пузиков.

— Слышал, слышал,— заулыбался во все цыганское

лицо завхоз, и щеки его заблестели.— Я, конечно, вас, товарищи, и винцом бы угостил, да боюсь — время упустим. Уж после вот. По стакашку.

— Ерунда, папаша, злодей не уйдет. А выпить не грех.

— Слышал, слышал,— пуще заулыбался завхоз, налил всем вина, выпили.— Слышал, как самогонщиков ловите.

— Всяких, папаша, всяких,— вдруг нахмурился Иван Пузиков и почему-то дернул себя за льняной чуб.— Да толку мало, вот беда.

— Почему?

— Город выпускает. Мы ловим, а город выпускает, сто чертей. Ведь этак и самого могут ухлопать. У меня и теперь несколько ордеров на арест. Вот они.— Иван Пузиков вытащил из кармана пачку желтеньких бумажек и крутнул ими под самым носом управляющего.

— Ха! Вот какие дела! — воскликнул тот.— А по-моему, мазуриков шадить нечего. Иначе пропадем.

— Кто их шадит! У меня все на учете, папаша. Я все знаю. Например, в одном совхозе, и не так чтоб далеко от вас, управляющий самогон prepares на продажу. Два завода у него.

— Кто такой?

— Секрет, папаша. А в другом совхозе хлеб продает, овец, телят. А в третьем — сено.

— Се-е-но! — управляющий уставился в ледяные глаза угрозы, и по его спине пошел мороз.

— Да, папаша, сено.

— В тюрьму их, подлецов!

— Все там будут, папаша, все. Только не сразу, помаленьку, чтоб дичь не распугать.

— Пейте, товарищи, винцо... Позвольте вам налить.

— Например, ваш рабочий, Рябинин Степан, револьвер имеет. Сам отдаст, вот увидите. А знаете, откуда он взял? Вот и не скажу. А знаете, кто нынче на пасхе мельника ограбил, латыша? А я знаю: два брата Чесноковых из вашей деревни.

— Не может быть! Чесноковы исправно живут. Откуда это вы знаете, товарищ? — вытаращил глаза управляющий и подумал: «Ну и ловко врет».

— А как же Ивану Пузикову не знать, папаша?

— Надо в тюрьму. Ведь ордер-то есть?

— Ах, папаша! — Пузиков таинственно сдвинул брови и переложил трубку в левый угол кривоzubого рта.— Ну вот, скажем к примеру, арестую я завтра по ордеру вас (завхоз заерзал на стуле и пытался улыбнуться), уве-

зу в город, а через неделю вы дадите взятку, и вас выпустят. Что ж, вы похвалите меня? (Завхоз выдавил на лице улыбку.) А вдруг вам вползет в башку подослать, скажем, того же Рябинина Степана, он и ахнет пулей из-за куста.

— Да-да-да,— растерянно заподдакивал совхоз, и обвисшие усы его задергались. «Однако с этим чертом Пузиковым ухо остро держать надо».

— Ну, товарищи, еще по стакашку, коли так... Для храбрости. Да и пойдем. Полночь. Самая пора.

— Зачем мы, папаша, будем ночью тревожить порядочных людей. А вот нет ли балалаечки у вас? Сыграть хочется, а ты, Алехин, попляши.

Управляющий сердито буркнул:

— Нету,— и опять подумал: «Ни черта им, молокососам, не сыскать».

Утром Анисим Федотыч встал рано, отдал приказания и вошел в комнату, где ночевала «угроза».

Пузиков и Алехин сладко храпели.

— Дрыхнут.

Управляющий сходил на мельницу, распустил плотников, что чинили плотину, и когда вернулся,— «угроза» умывалась.

— Чай пить некогда,— сказал Пузиков,— а вот на скорую руку молочка.

Выпили с Алехиным целую кринку, и оба заторопились.

— Кого из рабочих подозреваете, папаша?

— Никого.

— Правильно. А из Рукохватовой?

— Андрея Курочкина. А еще, пожалуй что, Емельян Сергеев. Тоже вроде вора, говорят.

— Ерунда,— нахмурился Пузиков.— Не они. Я всю деревню вашу насквозь знаю. Деревня — тьфу! Все три волости... Как на ладошке.

— Скажите, какие способности неограниченные,— восторженно сказал завхоз, а под нос пробурчал: — Хвостун изрядный.

Алехин туго набил махоркой кисет и подал Пузикову портфель.

— Ну, теперь, папаша, за мной в деревню,— сказал Пузиков.— Учись, как жуликов ловит Иван Пузиков, деревенский Шерлок Холмс.

Он быстро пересекал двор. Широкоплечий, кривоногий, низенький, куртка нараспашку, из-под козырька сдвинутой на затылок кепки лезет огромный лоб.

— Не сюда, товарищ, не сюда,— кричит едва поспевавший совхоз,— в обратную сторону!

— За мной, папаша!

Он, словно сто лет здесь жил, перелез через изгородь, обогнул беседку и боковой тропинкой подошел к скотному двору, где четверо рабочих накладывали на телеги навоз...

— Здорово, Степан Рябинин! — крикнул он весело и твердо. — Бросай вилы, айда за мной! Понятым будешь. Я — Иван Пузиков, агент «угрозы». Понял?

Степан Рябинин — черный и сухой скуластый парень, в ухе серьга — удивленно посмотрел на незнакомца, ткнул в навоз вилы и сказал:

— Ладно.

Повернули назад. «Угроза» передом. Свернули влево.

— Не сюда, товарищ Пузиков, вправо надо,— опять сказал Анисим Федотыч.

— Не сбивай, папаша. Слушай-ка, Степан! Ты ведь в этой казарме живешь, в номере седьмом, кажется?

— Так точно,— ответил Степан. Голос у него скрипучий,— не говорит, а царапает словами уши.

— Зайди и возьми, пожалуйста, наган. А то, сто чертей, опасно... Может быть, дело будет. Ну, живо!

— Это какой такой наган? — тряхнул серьгой Рябинин. — Чего-то не понимаю я ваших слов.

— Фу, ты! — возмущился Пузиков. — Да револьвер. Револьвер системы «наган». Понял?

— Нет у меня никакого револьвера.

— Нету? А куда ж ты его дел?

— Не было никогда. С чего вы взяли?

— Не было? Это верно говоришь? Не врешь? А из чего ж ты грозил застрелить председателя волисполкома, помнишь? Пьяный, на гулянке, в спасов день. Помнишь? Почему ты его вовремя не сдал?

Степан Рябинин чувствовал, как весь дрожит, и напрягал силы, чтоб овладеть собой.

— Нет у меня револьвера! Сказано — нету!

— Да ты не волнуйся.— От тенористого резкого голоса Пузиков вдруг перешел на спокойный ласковый басок.— Чего зубами-то щелкаешь? Ну, нету и нету. Верю вполне, и пойдете все вперед.

Анисим Федотыч ядовито ухмыльнулся.

Степан Рябинин то шагал как мертвый, то весь вспыхивал и в мыслях радостно молился:

«Слава богу, пронесло».

До деревни с версту. Анисим Федотыч был с брюшком, фукал, отдувался: очень емко шли; прорезиненный дождевик его со свистом шоркал о голенищи.

В деревню вошли с дальнего конца. Пузики бегом к избе, вскочил на завалинку — и головой в открытое окно:

— Эй, тетя! А Фома Чесноков дома?

— Нету, батюшка. В поле навоз возит.

— А брат его Петр?

«Вот леший! Неужто всех поименно знает?» — подумал совхоз.

— Петруха в кузне. А ты кто сам-то, кормилец, будешь?

— Сахарином торгую. Ну, до свиданья. Увидимся.

Кузнец Петр Чесноков ковал какую-то железину.

— Бросай-ка, Петр Константиныч. Идем скорей с нами. Понятым будешь.

— Каким это понятым? — И Петр грохнул молотом в красное железо. — А кто ты такой, позволь спросить?

Лысая голова его была потна, и все лицо в саже, только белки блестят, как в темных оврагах — весенний снег.

Вдоль деревни шли гурьбой: еще пристали председатель сельсовета и двое милицейских.

Иван Пузики подвигался медленно: остановится, посмотрит на избу, дальше.

— А в этой, кажись, Миша Кутькин живет? — спросил Пузики. — Мой знакомый... Надо навестить.

Кутькин, мужичок не старый, возле сарайчика косу на бабке бил. Бороденка у него белая, под усами хитрая улыбка ходит. Взглянешь на усы, на губы — жулик; взглянешь в глаза — нет, хороший человек: взор ясный и открытый.

— Здравствуй, Миша, — ласково сказал Пузики. — Нешто не признал? А помнишь, вместе на свадьбе-то у Митрохиных гуляли? Я — Ванька Пузики, из Дедовки.

— А-а-а, так-так-так... Чего-то не припомню, — сказал Кутькин, подымаясь, и стал растерянно грызть свою бороденку.

— Ну, как живешь, Миша? А это у тебя что? — И угроза заглянула в сарайчик. — Мельницу, никак, ладишь? Очень хорошо! А железо-то не купил еще? Ну, ладно.

Вот что, Миша! А можно мне в избу к тебе, бумажонку написать?

Сухопарая тетка Афимья низко поклонилась навстречу вошедшим и суетливо стала прибирать посуду: чашки, ложки разговаривали в трясущихся ее руках. Пузиков вильнул на ее руки глазом.

Все сели, кроме хозяина избы, кузнеца и Степана.

— Ну-ка, милицейский, пиши акт, а я буду говорить тебе.— Пузиков задымил-запыхал трубкой и достал из портфеля письменные принадлежности.— Пиши.

Милицейский, курносый парень, сбросил пиджак и приготовился писать. Лицо Пузикова было спокойно, просто-душно: двадцать лет. Он диктовал вяло, уставшим голо-сом, словно желая отделаться от этой ненужной прово-лочки и поскорей уйти. Потом голос его внезапно зазвез-нел:

— Написал? Пиши. «Постановили: Михаила Кутькина, укравшего в совхозе «Красная звезда» принадлежности молотилки, немедленно арестовать».— Глаза его зорко бе-гали от лица к лицу,— ему сразу стало пятьдесят.

Мишку Кутькина, хозяина избы, точно кто бревном по голове.

— Да ты, товарищ, обалдел!.. Какой я вор?! Что ты?!

— Миша, да ты не ерпенься,— мягко сказал Иван Пу-зиков и пыхнул густым дымом.— Раз я делаю, значит— делаю правильно. Ведь я знаю, где у тебя вещи... В под-полье, под домом. Верно?

Кузнец Чесноков, крикнув, моргнув тетке Афимье, та схватила ведро и быстро вон. Мишка Кутькин сгреб себя за опояску, но руки его тряслись,— видно было, как пле-щутся рукава розовой рубахи.

— Шутишь, товарищ, — слезливо сказал он.— Обижа-ешь ты меня.

— Ничего, Миша, не обижаю. Писарь, пиши! «Во вре-мя составления акта кузнец Петр Чесноков подмигнул Афимье Кутькиной, а та поспешно вышла, чтоб перепря-тать краденое».

— Во те на! — уронил кузнец, как в воду клеши.

Мишка Кутькин ерзал взглядом от бельмастых кузне-цовых глаз да к двери, и слышно было, как зубы его стучат. Анисим Федотыч удивленно вздыхал.

— Алехин! Где Алехин? — И голова Пузикова завер-телась во все стороны.— Тьфу, сто чертей! опять с девками канителится... Степа, будь друг, покличь моего помощника.

Степан Рябинин повернулся и на цыпочках вышел вон.

— Да! Вот что, товарищ Петр Чесноков. Скажи ты мне откровенно, как священнику,— кому ты делал собачку к револьверу?

Кузнец поднял брови, отчего лоб собрался в густые складки, и глупо замигал.

— Никому не делал... Совсем даже не упомяну.

— Ах, Чесноков, Чесноков, ах, Петр Константиныч,— застыдил, замотал головой с боку на бок Пузиков, заприщелкивал укорно языком.— А я-то на тебя надеялся, что все покажешь: борода у тебя большая, человек ты лысый, прямо основательный человек, а вдруг — запор. Ая-яй!.. А я еще за тебя перед городскими властями заступался. Те, ослы, на тебя воротили, что ты с братом ограбил мельника. Ая-яй!

Кузнец попятился, взмахнул локтями.

— Спаси бог, что ты, что ты!..

— Да ты не запирайся.

— Никакого я мельника не воровал.

— Да я не про мельника. Разве в мельнике вопрос факта? Я про револьвер. Степан Рябинин откровенно сознался мне, что револьвер ему ты чинил, ты!

Кузнец засопел, потом прыгающим голосом ответил:

— Извините, запамятовал. Действительно, Степка правильно показал — его был револьвер... Точь-в-точь... Ну, как он просил не говорить...

— Пиши! — резко крикнул Пузиков.— «По показанию Петра Чеснокова, он чинил револьвер, принадлежащий Степану Рябинину, который системы «наган»...»

Тут скрипнула дверь, и с воем ввалилась баба, за ней Степан и Алехин с мешком.

Баба упала в ноги Пузикову и захлюпала:

— Ой, отец родной... Ой, не забуди...

— Стой, тетка Афимья, не мешай,— ласково сказал Пузиков и еще ласковей к Степану: — Степан, голубчик, не з службу, а в дружбу, будь добр, притащи нам револьвер скорей. Вот ты отпирался давеча, а кузнец, спасибо ему, показал, что твой... И, ради бога, не бойся, Степа. Ничего не будет, до самой смерти... Ну, пожалуйста.

Степан заметался весь, блеснула в ухе серьга, ожереза кузнеца взглядом и, пошатываясь, вышел вон.

— Вставай, Афимьюшка, вставай, родная...

— Ой, батюшка ты мой... Сударик милый цейский...

— Эка беда какая, что хотела переирятать,— участливо говорил Пузиков.— Да кого хошь доведись. Всякий дурак бы так сделал... Даже я. Под овин, что ли?

— Под овин, сударик ты мой, под овин...

Он, не переставая, пыхал трубкой, тугой кисет пустел, и комната тонула в дыму, как в синем тумане. Не торопясь, вытряхнул все на стол из принесенного Алехиным мешка.

— Э-эх, добра-то что. Все ли, нет ли? Папаша, а?

— Чего-с? — у Анисима Федотыча рябило в глазах, и кончики ушей горели, в голове чехарда, он ничего не мог понять, только шептал: «Вот так дьявол!»

— Да, — раздумчиво говорил между тем Пузиков. — Тут не хватает двух вещей: перекидной ручки — это той самой, ты над ней пыхтел, Чесноков, в кузнице, когда мы пришли... А кроме того, двух медных болтов и шайб с гайками. Они тоже у тебя, товарищ Чесноков... Ну, пойдете.

— Ей-богу, нет!.. Рази меня гром! Отсохни борода! Да чтоб утробу мою червь сосал!.. Знать не знаю!

Пузиков очень внимательно перебирал вещи в двух сундуках кузнеца. Кузнец трясся так, что дрожала вся изба.

— Эка у тебя добра-то сколько, — спокойно говорил Пузиков. — А? Вот буржуй... Ну, это, между прочим, ничего. Похвально. Нищий завсегда нищим будет. Groш ему и цена. А ты, вкдуть, человек хозяйственный.

Жирная баба стояла у скамейки, как огромное изваяние; она обхватила ручищами жирную грудь и охала басом.

— Чего ты охаешь? Грыжа, что ли, у тебя? — сказал Пузиков.

— Да как же мне не охать-то... Ох!..

— «Ох, ох...» Экая ты трупёрда, деревенщина... А еще такая полная мадам. Стыдись! «Ох, ох...» Вот тебе и ох... Вот видишь, какая рукавица-то? Знатная рукавичка. При царе три целковых стоила. Кожа-то — прямо бархат... а ты — «ох...».

— Никаких болтов у меня, товарищ, господин сыщик, нету. Сами изволили усмотреть... — словно по камням, впереверт, вперекувыр сказал своим голосом кузнец.

— Что? — фукнул Пузиков из трубки в самый нос ему. — И болтов нету, и рукавички другой нету. Болты — черт с ними, не в болтах факт, болтов у тебя и быть не может никаких. А вот рукавичку мне подай.

— Потерявши рукавичка. Выпивши, из города вез... По... потерявши.

— Ты потерял, а я нашел... Сколько даешь?

— Шу... шутить изволите.

— А это что? Она? — И Пузиков вынул из портфеля другую рукавицу. — А нашел я ее у мельника в избе.

Баба охнула и шлепнулась задом на скамейку.

— И знаешь, товарищ Чесноков, когда? На другой день, как вы его ограбили. А ежели не веришь, дак в обеих рукавицах в середке мельникова мета есть. Тебе и невдомек. Ну-ка, понятые, рассмотрите.

Кузнец упал на колени.

— Наш грех, наш грех... Не губи, ради Христа.

Бодро вошел Степан, взглянул — и руки у него сразу опустились.

— Что, револьверчик приташил? Молодчина, Степа. Давай сюда. Вот и все, кажись. — Иван Пузиков обвел компанию торжествующим, улыбчивым, но все же крепким взглядом. — Ну, вот, ребята, мы тихо, смирно, не торопясь, разыграли, как в кинематографе, не хуже, чем в «Собаке Баскервилей». Товарищи милицейские, этих трех гусей арестовать! А придет Фомка Чесноков, и его, злодея, в ту же дыру.

Все стояли бледные и тряслись. Больше всех — и неизвестно почему — волновался Анисим Федотыч.

Пузиков, заложив руки в карманы, произносил поучительную речь.

— Есть такой заграничной сыщик, Шерлок Холмс. Он хотя и спец считается, но, будучи по службе у буржуазной власти, хватает без разбору всех мазуриков. Я же, Иван Пузиков, сыщик российский и, кроме того, — сын своего народа. Поэтому передайте мужикам, что ваша деревня наполовину воры. Этого ни в каком специальном случае я не потерплю! Далее, по порядку, участь Чесноковых — тюрьма! Хотя они, допустим, и обокрали мельника, который богатей, однако за них, товарищи, безвинно арестован мужик из бедноты. Второй пункт предложения: Степан Рябинин, как возвративший револьвер по своему инициативу, освобождается из-под ареста. Можешь идти, Степан! Что же коснувшись Михаила Кутькина, то я ничего, товарищи, сделать не могу. Ты, Миша, сам посуди: украл ты государственный механизм от молотилки, то есть достоиние республики. Это называется — позор! Укради ты не только механизм, а, скажем, всю молотилку у какого-нибудь кулака контрреволюционера — совсем десятая ста-

тья. И я, может статься, во время обыска все рыло бы себе своротил об эту самую молотилку, а сделал бы вид, что не нашел. Потому что уравнение имущества социализм не возбраняет. Азбука коммунизма гласит прямо. Ты же, как сказано, украл достояние республики, да еще перед самой страдной порой, а ведь эта самая молотилка предназначалась обслужить целых три деревни. И нет тебе даже оправдания, что ты неосознательный элемент, что-то, а это ты, как хозяин и мужик самосильный, должен был сообразить. До свиданья, Миша!

«Угроза» надувалась у Анисима Федотыча заслуженным чаем и ела пироги.

Анисим Федотыч волновался. От пылающих ушей загорелись щеки, и воловья шея налилась кровью, а глаза — как у попавшей в капкан лисы.

«Все, дьявол, знает. Пожалуй, знает и про сено».

— Товарищ Пузиков, — начал он, ероша курчавые черные, с синью, волосы. — За такое ваше самоотверженное старание я своею властью обязан вас вознаградить, не щадя средств. Что бы вы с товарищем пожелали?

— Что бы пожелали? — Пузиков откромсал долю пирога. — Я бы пожелал вас, папаша, арестовать.

— Ха-ха-ха, — обомлев, захохотал, словно залаял, Анисим Федотыч. — За что?

— За сenco, папаша, за сenco.

Завхоз вдруг перестал смеяться, глаза его округлились, и густые брови сразу насели на нос. Он резко стукнул в стол.

— Мальчишки! (Алехин вздрогнул.) Сопляки! Я вам не Мишка Кутькин! Я вам...

И, закусив удила, понесся, не в силах удержаться.

Пузиков набивал трубку, сторожко посматривая, как бы управляющий не смазал его в ухо.

— Пойдите, папаша... Да вы не петушитесь... Ведь свидетели есть, — спокойно сказал он.

— Свидетели?.. Я те покажу свидетели!

— Алехин, покличь-ка мужичонку-то... Как его... Тимоху...

— Какого Тимоху? — с сердцем спросил юнец, искренне сердясь и на товарища и на завхоза.

— Фу ты, боже мой!.. Какого, какого! Ну, я сам схожу. — Пузиков схватил портфель и вышел.

Завхоз все время взад-вперед ходил по комнате, поправлял ворот — шее было тесно. Шагнул к шкафу, выпил большой стакан вина.

— Сыщики... Тоже считаются сыщики. Оскорблять порядочных людей... Ответственных работников... Слетите, голубчики!.. Оба слетите, сопляки паршивые... Я вас!

Но вот в дверях показался дядя,— ну конечно, тот самый: лапти, синяя рубаха, скула подвязана, и рыжая бороденка кривулем. У завхоза лицо стало длинным и открылся рот. Мужик снял с головы грешневик, перекрестился и прямо в пояс:

— Здорово, Анисим Федотыч... Здорово, милячок. А я опять за сенцом к тебе... До-обрецкое сенцо.

— Что ты мелешь! Кто ты такой? — злобно прохрипел совхоз, а в голове, как молния: «Вот скандал! Турну, пока Пузикова нет». Пошел вон! Здесь казна... Ступай, ступай.— И кулаки совхоза крепко сжались.

— Это само хорошо, что казна... Ты не гайкай,— чуть попятился мужик.— Бесстыжие твои глаза. Жулик ты казенный!.. Вор!..

— Убирайся вон, рыжий черт! — И завхоз остервенело сгреб его за шиворот.— Вон!

Мужик захрипел, треснула рубаха.

— Караул, караул!.. Эй, Пузиков!..

— Вон! В тюрьму, подлец!!

Вдруг словно бомба ахнула:

— Ах, ты так, папаша? А ну! — Мужик рванул, и завхоз, взягнув ногами, грохнулся спиной в пол.

Мужик, тяжело сопя, стал снимать с себя бороденку и парик.

— Пузиков! — простонал управляющий.— Это ты?

— Я самый,— сказал тот и протянул управляющему руку.— Ну, папаша, подымайся.

Алехин во все горло хохотал.

На этот раз все обошлось благополучно. Пузиков так и сказал, прощаясь:

— На этот раз, папаша, ничего... Больно пироги хороши. Только помни!

Вечером, собрав всех рабочих, Анисим Федотыч угостил их самогоном и держал речь:

— Вот, товарищи, жулик сразу и влопался. Мишка Кутькин... А вы как были честные труженики, так и оставайтесь. Да здравствует советская власть!

Анисим Федотыч сена больше ни-ни-ни. А вот когда обмолотили рожь,—урожай в «Красной звезде» нынче отменный,—хлебцем стал помаленьку поторговывать. И то с великой опаской, по мешочку, самым знакомым мужикам.

Первым приехал поздним вечером Антон Седов.

— Ради Христа, ржицы продай... Весь хлеб градом пошло.

Антону Седову как не уступить — закадычный, можно сказать, друг.

Но завхоз был так напуган тем проклятым из «угрозы», что долго и подозрительно всматривался в мужика, как индюк в чужого гуся. Потом подвел его вплотную к лампе.

— А что это у тебя, дядя Антон, в бороде как будто что-то ползет,— и сильно рванул его за густые клочья бороды. Борода оказалась природной, собственной.

2. ПУГОВКА

— Ваня,— сказал Алехин своему другу, белокурому молодому человеку с прямым широким ртом,— к тебе пришли.

Тот сделал стариковское лицо и, прихрамывая, вышел в кухню.

— Извиняюсь, товарищ. Вы Иван Пузиков, наверно? Я со станции Павелец, весовщик Мерзляков, из комитета служащих. У нас, извольте ли видеть, систематические хищения из вагонов вот уже полгода. Только протоколы составляем, а поймать не можем...

— Знаю,— сказал белокурый и задымил трубкой.— Там у вас целая шайка работает. Они у меня все наперечет, как пальцы. И скажите, что Иван Пузиков, деревенский Шерлок Холмс, уже давненько на вашей станции сидит... Да он же с вами знаком.

— То есть как? Позвольте...— опешил Мерзляков.— Значит, вы не Пузиков?

— Так я вам и сказал. Ха! Может, Пузиков, а может, не Пузиков. Возможно, что Пузиков-то вот который,— показал он на Алехина,— а может, и я... Это сокрыто мраком тайны. Скажите вашим, что шайка на днях будет обнаружена самым удивительным способом... Прощайте. Мне больше некогда с вами толковать,

Он завалился на койку и пролежал колодой до самого вечера, от нечего делать поплеывая в потолок.

После обедни, в праздник, пришел к своему будущему тестю, торговцу Решетникову, станционный конторщик Бабкин, большой говорун и гитарист. Пили кофе, ели пирог, ну для праздничка, конечно, клюкнули.

Невеста Варя хотя и рябовата и чуть косила на правый глаз, однако ничего себе, Бабкину годится: приданого порядочно папаша обещал.

— Да,— сказал Бабкин, покручивая большие черные усы.— Эти доморощенные сыщики, вроде Пузикова, ни черта не стоят. А вот настоящего Шерлока Холмса бы сюда, в два счета — раз, раз — и пожалуйте бриться.

— Очень надо,— сказал торговец недружелюбно.— А я бы не желал. Черт с ними, крадут — и молодцы. Хоть народу в руки перепадает. А то ка-а-азна. Какая, к свиньям, казна! Это не прежние времена!

— Ах, папаша! — воскликнул Бабкин.— Странно даже слушать мне...

— А потому, что молод ты. Например, прикатили мне на прошлой неделе бочонок алеонафту по тайности и за грош отдали. Так что же, неужто отказываться?

— Ах, папаша!.. Опасно это. Лучше бы вы не говорили мне.

Вечером того же дня, не дожидаясь прихода сыщика Ивана Пузикова, весовщик Мерзляков, чтоб выдвинуться по службе, организовал свою собственную охрану. Пять человек доброхотов, тайно от казенной охраны, темной ночью залегли под вагон груженого поезда.

Мерзляков чиркнул спичку, чтоб закурить, и при вспыхнувшем свете вдруг обнаружил, что в их пятерке лежит пластом шестой, посторонний.

— Кто это? — оторопело спросил Мерзляков.

— Чшшш... — прошипел шестой и зашептал: — Нельзя курить... вспугнете. Чшш... Идут!

«Ага, это Иван Пузиков, сыщик», — мелькнуло у догадливого Мерзлякова.

Все шестеро впились вытаращенными глазами в лениво прошагавшие вдоль вагона четыре пары ног. Незвестный шестой выполз на брюхе и повернул голову вслед уходящим.

— Четверо,— прошептал он.— Кажись, с ними ваш конторщик Бабкин. Лезут в третий от нас вагон.

Он вдруг вскочил, крикнул:

— За мной! — и, выстрелив в воздух, помчался вдоль поезда.

Среди мрака раздались путаные крики:

— Руки вверх! Караул! Караул!.. Стой, ни с места!.. Куча тел, тузя друг друга, каталась по земле.

Конторщик Бабкин, Варечкин жених, отбежав в сторону, кричал:

— Стойте, дьяволы!.. Ведь это мы, свои!.. Мы пломбы проверяем на вагонах. А вы нас... Тьфу!

Запыхавшись, примчалась с винтовками и казенная охрана.

Шли к вокзалу сконфуженные. Глупее всех чувствовал себя Мерзляков.

— Что ж ты, Мерзляков, неужто ослеп, своих бьешь, — весь дрожа, стал пенять ему жирный дорожный мастер Ватрушкин и сморкнулся кровью.

— Извиняюсь, Нил Данилыч, — сочувственно проговорил Мерзляков. — Как это ни прискорбно, но мы приняли вас за жуликов... Очень извиняюсь...

— От твоего извиненья у меня во всей башке звон идет. Этак садануть...

Мерзляков внезапно остановился:

— А где же этот, незнакомый-то?..

Меж тем незнакомый поспешно шагал в ближайшую деревеньку, в которой вчера снял пустую избу старого бобыля.

Вскоре пришел к нему Иван Пузиков, деревенский Шерлок Холмс. За последнее время Пузиков появлялся у своего помощника Алехина на какой-нибудь час, всегда торопился и, сказав нужное, уходил с мешком под мышкой.

— Ну, как? — спросил он Алехина.

— Плохо, — виноватым голосом ответил тот и рассказал все подробно про недавний бой возле вагонов.

— Дурак, — мрачно и насмешливо произнес Пузиков. Нахмурился, покрутил льяного цвета волосы свои, потом расхохотался. — Здорово наклали?

— Не надо лучше, — улыбнулся Алехин. — Я какого-то раскоряку за машинку сгреб, так он на манер как заяц заверещал.

Пузиков сдвинул брови.

— А какой из себя Бабкин? — спросил он.

— Черноусый такой, в кожаной куртке. Он сватается за дочь лавочника.

— А, знаю,— сказал Пузиков.— Надо будет за ним последить.

Алехин изумленно уставился в лицо товарища.

— Как, за конторщиком Бабкиным?

— Эх, щенячья лапа! — воскликнул Пузиков.— Неужто не понимаешь ничего?

— Нет,— откровенно сказал Алехин.— А в чем вопрос?

— Ну, ладно. По окончании поймешь.

Утром Мерзлякова подняли в конторе на смех. Особенно ядовито издевался помощник начальника станции Алексей Кузьмич Бревнов, рыжий вислоухий франт.

— Хотел выслужиться, любезнейший. Каждое дело ума требует. Ха-ха! Так накласть своим...

Мерзляков даже рассердился.

Но под конец занятий Алексей Кузьмич потрепал начальственно весовщика Мерзлякова по плечу:

— Не огорчайтесь, дружище... Уж такой язычок у меня дьявольский. Вот что: приходите-ка послезавтра ко мне на вечерок. Выпьем, понимаете... День рождения у меня..

Бабкин вечером пошел к невесте.

«Надо ж, черт возьми, купить девчонке хоть карамелек»,— подумал он и зашел в еврейскую лавку.

Когда входил, заметил прошагавшего человека в белом фартуке и еще тетку. Тетка остановилась и посмотрела ему вслед.

— А, товарищ Бабкин! — приветливо встретил его длинношей, с остренькой бородкой и красными губами еврей.— Ну, когда же ваша свадьба? Купили бы для Варвары Тихоновны часики... Хорошие у меня есть, серебряные, фирмы «Мозер»...

— Ей отец подарил золотые часы,— сказал Бабкин.

— Что вы говорите!.. Те часы темные. Я отлично знаю происхождение тех часов. Те часы, прямо скажу, краденые... Ой!..

— Каким образом?

— И очень просто. По секрету вам скажу: тут, у вас на станции, работает целая шайка. И представьте, носильщик Носков украдывает ящик с электрическими лам-

почками, то есть достался в порцию после дележа. И очень хорошо... И он идет и обменивает этот ящик на золотые часы у агента постройки. Так говорят. Я, конечно, не могу поручаться за то, что говорят. Не всякой вере давай слух, как говорится по-русски... Этот самый Носков золотые часы продал вашему будущему папаше, даже забрал у него вином и самогонкой.

Бабкин растерянно хлопал глазами и весь покраснел от раздражения. Черт знает, хоть от невесты отказывайся! Он ничего у еврея не купил и в самом мрачном настроении направился к тестю.

Был летний мгlisto-серый вечер. В лужах квакали лягушки, поздние стрижи острокрыло чертили последний быстрый путь.

Посреди улицы, рассуждая сам с собой, деловито шагал человек в белом фартуке. Тетка с замотанной шалью головой шла мужиковской походкой по пятам Бабкина.

— Тебе что надо, тетушка? — спросил он, остановившись у ворот тестя.

— Ох, кормилец, — загнусила тетка. — Зубами маюсь, хотела какого-нибудь снадобья у торгового купить...

— Нет у него, — всматриваясь в теткино лицо, сказал Бабкин. — Иди в приемный покой на станцию. Там фельдшер даст.

Варя встретила его радостно, но вскоре же сказала:

— Какие вы, право, неласковые, Володичка. Что это с вами приключилось?

— Так, — ответил Бабкин. — Очень уж много подлости на свете, Варя. Ну да бросим об этом говорить. К Алексею Кузьмичу-то на танцульку собираетесь?

Пузиков не застал своего помощника Алехина в избе. Разжег на шестке теплину и вскипятил чай. После третьего стакана вошла в избу тетка, та самая...

— Садись чай пить, — сказал Пузиков. — Где был?

— Бабкина следил, — проговорил Алехин, снимая сафаган.

— Тьфу! — плюнул Пузиков. — Экая башка у тебя свинья. Что ж мы — двое за одним человеком ходим?

— Как так?

— А вот и так... Мужика-то в белом фартуке заприметил? Ну, дак это я...

Алехин недовольно почесал за ухом, сказал:

— Бабкин у тестя, должно, и ночевать остался... Я ждал-ждал, жрать ужась как захотелось...

— Ничего подобного. Он задним ходом вышел.

Ложась спать, Пузиков сказал:

— Слушай, Алехин. Я вынюхал, что послезавтра будет вечеринка у помощника начальника станции... Как его фамилия-то?

— Я знаю: Бревнов, звать Алексей Кузьмич,— с гордостью отрапортовал Алехин.

— На этот раз молодчага. Дак вот. Нам с тобой надо на эту вечеринку попасть. Может, там самую главную птицу схватим. Понял? Ты прямо войдешь и скажешь на ухо хозяину, что ты агент «угрозы», что хочешь, мол, остаться на вечере под видом, ну, хоть... черт его знает... ну, хоть десятника по земляным работам. Понял? А я потом приду. А завтра подговори носильщика Носкова, передай ему вот эту бутылку коньяку,— он здорово вино жрет,— пусть выпьет и по сигналу явится на вечер и скажет вот какие слова... запиши. И адрес его запиши. Записал? Чтоб в точности. Он тоже замешан.

Чуть свет Пузиков исчез.

Алексей Кузьмич Бревнов жил широко, и вечер устроил на славу. Стол ломился закусками, пирогами, выпивкой.

Среди гостей лица почетные: инженер-механик Свистунский, начальник станции Петров с супругой, священник. Конечно, был Бабкин с невестой Варечкой и будущим тестем.

Бабкин сегодня весел, прикладывался к рюмочке, играл на гитаре и рассыпался Варе в любезностях.

Хозяин, Алексей Кузьмич, сиял пуговицами на новенькой тужурке и тоже приухлестывал за Варей. Бабкин возбуждал в нем изрядное чувство ревности. Хозяин старался ему дерзить, но Бабкин огрызался.

— Это из рук вон,— говорил раскатистым басом инженер Свистунский,— сегодня опять обнаружена кража из вагона с грузом мяса.

— Слышали, слышали,— подхватил кто-то.

— И что стража смотрит, ведь под самым носом вагон стоял. Отсюда из окна видать... Позор!

— Увы! Испортился народ наособицу,— воскликнул священник и откормсал добрый кусок пирога.

— Черт знает, Иван Пузиков не едет. А пообещал,— уныло промямлил Мерзляков, потянувшись к выпивке.

— Плюньте вы на этого Пузикова! — крикнул охмелевший Бабкин. — Черт ли понимает ваш Пузиков! Сами разберем... Мы уже опять ночью под вагон залезем. Товарищ Мерзляков, возьмите меня в свою компанию!

Все захохотали. А дорожный мастер Ватрушкин потер подбитый Мерзляковым нос.

В это время вошел молодой парень. Он что-то пошептал хозяину, тот деланно улыбнулся и сказал гостям:

— Это вновь командированный десятник земляных работ. Присаживайтесь с нами, товарищ.

Алехин смиренно сел в угол, закурил папиросу и стал наблюдать, нахмурив лоб. Ему подали стакан чаю и кусок пирога.

Бабкин задирчиво кричал:

— Видали мы Пузиковых!! К черту их!

— Потихе,— осадил его хозяин, взглянув на Алехина.— В противном случае попрошу вас удалиться.

— И что ты ко мне вяжешься,— охмелевшим языком сказал Бабкин.— Может, к Варечке ревнуешь? А?

— Прошу меня не тыкать. Невежа! Без году неделя служит, а тоже позволяет себе...

— Ах, вот как... Что?!

Но в это время Алехин, взглянув на часы, распахнул окно. Из окна темнела ночь. По лестнице загрохотали грузные шаги, и в комнату ввалился пьяный носильщик Носков. Покачиваясь, он взглянул на подмигнувшего ему Алехина, помахал картузом и, глупо ухмыляясь, сказал:

— Честь имею поздравить с днем рождения!.. Честь имею объявить, что Иван Пузиков сейчас будут здесь. Хи-хи-хи... До свиданья, — он было повернул к выходу, но Алехин загородил ему дорогу:

— Товарищ Носков, сядьте и — ни с места!

Гости разинули рты. Хозяин ерошил волосы, пьяный Бабкин лез к нему:

— Плевать я хотел на этих дураков, на сыщиков!.. Нет, ты мне ответь... Ревнуешь? Может, Варечку поддедуть хочешь? Бери! Бери!

— Убирайтесь к черту!

— Бери! Я отказываюсь. Сам отказываюсь... Чьи на ней часы? Краденые... Вот этот самый Носков, носильщик, восемнадцатого марта ящик с лампочками упер из вагона да агенту постройки на часы выменял, а часы будущему

папаше всучил... Пожалуйста, сиди, Носков, не корчи рожи!.. И вы, папаша, не огорчайтесь.

— Безобразие! — кто-то кричал. — Ишь нализался... Вы ведите его вон!

— Кого? За что? — взывал Бабкин. — Меня-то, Бабкина-то? Что он правду-то говорит? А чьи сапоги-то на мне? Краденые, вот и клеймо казенное... Из вагона... Мне подарил их мой будущий папаша. Уж извини, папаша. Раз начистоту, так начистоту... Вот Пузиков придет, все ему открою... Я много кой-чего знаю. Где Пузиков?

Алехин заглядывал в окно, в ночь. Пузиков не появлялся.

Гости были как в параличе. Варечка истерически повизгивала. Ее отец весь побагровел и, сжимая кулаки, надвигался на Бабкина. С Носкова сразу соскочил хмель. Бабкин колотил себя в грудь и, кривя рот, кричал сквозь слезы:

— Я за правду умру, сукины дети!.. Да! Умру!!

И вдруг трезвым, спокойным голосом:

— Ваше благородие, а где же пуговка-то у вас?

Алексей Кузьмич Бревнов, хозяин, быстро провел рукой по пуговицам, быстро скосил вниз глаза: блестящей пуговицы на тужурке не доставало.

— Вот она, — сказал Бабкин, протягивая пуговицу. — Я ее вчера в вагоне нашел, в том самом, откуда вы вот эту телятину украли.

Хозяин залился краской, побледнел, выхватил из рук Бабкина пуговицу и швырнул на пол.

— Стервец! — крикнул он и весь затрясся от злобы.

Бабкин поднял пуговицу, посмотрел на нее.

— Да, ошибся... Извиняюсь... — промямлил он. — Действительно, не та: топор и якорь на ней есть, а сукно серое, видите, кусочек болтается. У вас же сукно черное... Извиняюсь.

— Милицию сюда! Протокол! — колотил хозяин в стол кулаком.

— Стой! — крикнул Бабкин. — Милицию я и сам приглашу. Стой! Забыл совсем. Идемте в вагон... Эй, где Пузиков? Идемте в вагон. Иначе все под суд за укрывательство. Отвечаю головой... Мы и без Пузикова обнаружим.

Обрадованные скандальчиком гости повалили за Бабкиным.

При свете фонаря в вагоне на туше мяса лежала блестящая пуговка с клочком сукна, а вместо черного

пьяного Бабкина, но в его одежде, пред ошалевшей и перепуганной компанией стоял бритый, совершенно трезвый, широколобый человек со строгими глазами и ртом.

— Конторщик Бабкин, которого вы три недели тому назад взяли на испытание, это я самый и есть, Иван Пузиков, деревенский Шерлок Холмс. Алехин, подай-ка пуговку сюда!

Он твердо подошел к Бревнову, примерил пуговку и твердо сказал:

— Ты, Бревнов, арестован. За компанию с тобой — Носков и торговец Решетников. А там распутаем весь клубок. Ну, Алехин, понял ли хоть теперь-то всю мою музыку? Эх ты, ежова голова. Покличь милицию!

Алехин, казалось, был ошарашен больше всех. Он высунулся из вагона и засвистал в свисток с горошинкой, как Соловей-разбойник.

ПОРТРЕТ

Было дело в голодный год. А сам я — мастер по церковному цеху, святых рисовал, то есть живописец. Как ударил голод, тут уже некогда угодников мазать, да и негде: даже попы нуждаться стали.

И вот пришла мне в голову идея!

— А поезжай-ка ты, Семушкин, по деревням,— внушаю сам себе,— будешь с богатых мужиков морды мазать.

В четырех селах ни хрена не вышло, в пятом — клюнуло. Кулачок замечательный там жил, бывший торгаш, страсть богатый, черт.

— Ладно, — говорит, — рисуй по очереди всех: меня, Матрену, Акульку, Мишку. Потому — по благородному желаю жить: чтобы все на стенках висели, форменно, да.

Стали торговаться. Я по пуду муки за портрет прошу и по три десятка яиц. Он говорит: пиши за харч, жрать будешь и — довольно.

— Это грабеж,— говорю ему,— вы, гражданин, искусство не цените. Вы, гражданин, не знаете, что знаменитый художник Репин по три тысячи золотом за портрет берет.

— Начхать мне на твоего Репина! Он — Репин, а я — Огурцов. А не хошь, как хошь, Забирай инструмент и — дальше.

И стал я его, сукина сына, писать. Жарища стояла адова, то есть такая жара — шесть собак на деревне очумело. Я посадил его, подлеца, у ворот, на самый солнцепек и велел волчью шубу с шапкой надеть.

— Пошто! Рисуй в красной рубахе, при часах.

— Нет,— говорю,— в шубе солиднее, богаче. Все вельможи в шубах пишутся. Даже Никола-зимний на иконе и тот в рукавицах.

Он сидит, пот градом с него, а я, конечно, в холодок устроился. Разглядываю его, а он пыхтит: тучный, дьявол, жирный.

— Что же ты, живописец, не малюешь?

— Я физиономию вашу изучаю, очень величественная у вас физиономия, как у воеводы.

Он бороду огладил, приосанился. Я ему:

— Нет, Митрий Титыч, шевелиться нельзя.

— Ну? Неужто нельзя?.. А меня клоп кусает.

— И разговаривать нельзя. И мигать нельзя: кривой будете, вроде уroda. Замрите, начинаю,— и стал подмалевывать.

А в это время муха ему на нос и уселась. Он глаза перекосил, носом дергает, а в душе, вижу, ругает муху, ну прямо живьем сожрал бы ее, а нельзя.

Я говорю:

— Пожалуйста, не обращайтесь на нее внимания: поползает, поползает да улетит. А то портрет испортите, снова придется.

Гляжу — он губы скривил чуть-чуть и подувает на муху с левого угла. А муха оказалась нежной, не любит ветерок, взяла да поползла на правый глаз. Мужик моргнул, да лапищей как хлопнет. Муха и душу богу отдала.

— Ну вот,— сказал я,— портрет испорчен. Снова.

— Господин живописец,— взмолился он,— нельзя ли в холодок? Шибко жарко, сомлел я весь, и глазам очень трудно на солнышко глядеть.

— Нет, нет,— сказал я,— замрите окончательно.

Часика через три я объявил перерыв. Мужик бегом к пруду, шапку на дороге бросил, шубу на дороге бросил.

— Мишка, подбирай! — и, не стыдясь баб, оголился да ну, как тюлень, нырять, ныряет да гогочет.

Как пришел он в чувство, за обед сели. Я ем да ду-

маю: «Я те, анафеме, покажу, как сквалыжничать, ты у меня взвоешь».

— А много ли возьмешь, живописец, ежели без шапки? — спросил Огурцов.

— Два пуда, меньше не возьму. Снова писать придется.

— Да ведь ты пуд просил?

— Меньше двух пудов не могу. В шапке ежели — пуд. Не желаете, тогда до свиданья. Я художник самый знаменитый. Меня даже в Москве каждая собака знает.

— Патрет мне шибко нравится, — сказал Огурцов. — А я тебя не выпущу. Ежели сбежать надумаешь, на коне догоню, раз ты знаменитый. Так и быть, рисуй просто-волосым, без шапки.

После обеда хозяин выпил одиннадцать стаканов чаю, надел шубу, перекрестился и пошел.

— Идем, что ли, черт тебя задави совсем. Только ты не серчай на меня, голубок...

Жара была еще сильнее. Хозяин шел к стулу, как к виселице.

Я разрешил ему говорить за десяток яиц. Говорил он, говорил, болтал, болтал, а пот так и течет с него: шуба волчья, теплая, сам же он, повторяю, тучный.

— Вот до чего упарился... Аж в сапогах жмыхает.

— Ничего, — говорю, — терпите.

— Да долго ли терпеть-то?.. Аж пар из-за голенища валит... Аж дышать тяжко... фу-у-у...

Через час у него кровь из носу пошла. Через два часа он вдруг побелел, простонал:

— Кваску ба... — и упал.

Я только написал одну голову. Сходство поразительное, даже сам я удивился. На другой день хозяин отлежался, говорит:

— Дюже правильно личность обозначил. Приятно. А сколько возьмешь, ежели без шубы? А то жарко очень.

— Дорого, — говорю, — пять пудов.

Он ощетинился весь, хотел ударить меня по уху, однако пошел, пошептался с хозяйкой, вышел, сказал:

— Рисуй, сволочь!

Я потребовал плату вперед, посадил брюхана в холодок — в красной рубахе он, при часах, с медалью — и стал со всем старанием писать.

Словом, окончилось все хорошо. Прожил я у кулака два месяца. Мучицы заработал и денжат,

На прощанье кулак сказал:

— А ты все-таки — жулик... Ловко нагрел меня.

Я ответил:

— Другой раз не жадничайте... Вы — человек богатый.

Дома же обнаружил я, что он, проклятая сквалыга, в муку порядочно-таки песку подсыпал.

БАБКА

Солнце хватало горячими клещами без разбору всех и все: красных и белых, валявшуюся вверх копытами мертвую кобылу с развороченным боком, старух и мальчишат, пушки, патронные гильзы по дорогам, траву, букашек. Коровы с телятами стояли по горло в воде, лениво взмыкивая.

Нагретый воздух трепетал и колыхался, словно боясь ожечься о грудь земли, и вместе с ним колыхалось на зеленом пригорке село Ивашкино.

Разведка знала, что село до оврага занято красными, за оврагом же, там, где церковь, — белыми из армии Юденича.

Политрук отряда, рабочий-путиловец Телегин, и два его товарища входили в село без страха: белые и красные в открытый бой пока не вступали, та и другая сторона ожидала подкреплений.

— Эх, пожрать бы чего-нибудь... Молочка бы с погребца, — изнемогая от жары, пересохшим голосом сказал Телегин. Пот грязными ручейками стекал по красному лицу в густую бороду, кожаная куртка его раскалилась, как железная печь, и ноги в сапогах — как в кипятке.

— Айда в избушку, — махнул рукой Петров, приземистый рыжеусый молодец. — Только, черти, пожалуй, не дадут: белые их поди распропагандировали.

— Даду-у-ут, — устало улыбнулся всем лицом и бородою товарищ Телегин.

— У них, у дьяволов, снегу зимой не выпросишь, — сухо сплюнув, проговорил Степка Галочкин, курносый парень.

— Да-а-дут, — опять улыбнулся Телегин. — Ежели умеючи, у мужика все выпросить можно. Вы, ребята, на меня поглядывайте: что я буду делать, то и вы.

В кожаных новых картузах и куртках, в новых сапогах, одетые так же чисто, как и белые, трое коммунистов,

вошли в избу. Пахло хлебами, жужжали мухи. У печки, с хватом, старуха в сарафане и повойнике.

Телегин снял картуз, подмигнул товарищам, истово, по-мужиковски перегибаясь назад, усердно закрестился на иконы. А за ним и те двое.

— Здорово, хозяйюшка! — весело крикнул Телегин. — А нет ли у тебя чего покушать?

— От, кормильцы наши, ох, батюшки! — засуетилась у печки бабка. — Садитесь, ягодки мои, спаси вас бог, садитесь... Ужо я хлебца свеженького выну, ужо молочка...

Бабка принесла две крынки студеного молока, вытащила из печи хлеб, похлопала его — кажись, готов — и накромила гору:

— Кушайте, родненькие мои, голубчики... Уж не взыщите. Кушайте во славу, не прогневайтесь...

Голос у нее ласковый, глаза ласковые, с подслеповатым старческим прищуром, морщинистые губы в рубчиках — ввалились. Она держала хват, как посох, и умильно посматривала от печи на гостей. Кривой котенок сидел среди избы и умывал лапой гноящийся свой глаз.

Кожаные куртки с наслаждением глотали молоко, прикрываясь.

— А где же те-то, окаянные-то? — спросила бабка скрипуче, со слезой. — Вы смотрите, детушки, с опаской... Они, раздуй их горой, в нашем краю вчера рыскали...

— Кто, хозяйюшка?

— Да красные-то эти самые, чтоб им!.. — крикнула бабка, беззубо зажевав.

Кожаные куртки молча переглянулись, а Степка Галочкин прыснул молоком, как из лейки. Телегин улыбнулся в бороду, спросил:

— А ты, хозяйюшка, неужто красным ничего бы не дала?

— Красным? — подпрыгнула старуха. — Гори они огнем! — и стукнула в пол хватом. — И хлеб-то весь в подпол побросала бы да карасином облила, и крынки-то с молоком об башки бы им расколотила... Тьфу!

Петров подавился хлебом и закашлялся, а голоусик Галочкин надул щеки и опять прыснул смехом в горсть.

— Ужо я вам, ангели мои, сметанки... ужо, ужо...

— За что же ты, бабушка, ненавидишь красных героев? — тенористо спросил Петров.

— Тьфу! — плюнула старуха и сухим кулачком утерла дряблый рот. — Да как же их любить-то, ангели мои господни... Эвот вчерась нашего Гараську они, ироды, вытащили из колодца да уволокли с собой... Гараська у нас, парень... Ну, знамо, билизацию он не принимает, воевать не любит, залез в колодец, вроде как схоронился там... Ох, и ревел Гараська, аж слезами весь изошел...

Бабка покарабкалась на полку за сметаной и, подпираясь ухватом, сутуло поплелась к столу.

— Ты, хозяйюшка, видимо, принимаешь нас за белых, может, за офицеров? — рыгнув, спросил Телегин. — А ведь мы не белые...

— А кто же вы? — влипла в пол старуха, и ухват в ее руке закачался. — Не красные же вы, раз богу помолились...

— Нет, не красные...

— А кто же? — глаза старухи прищурились, и ухват вопросительно застыл.

— Мы черные...

— Чего-о-о? — попятилась старуха.

— Черные...

— Это какие же такие еще черные? — И голова старухи сердито затряслась. — Кого же вы, ребята, бьете-то?

— Кого придется, — сдерживая улыбку, сказал Телегин. — Белые попадут — белых, красные — красных.

Бабка взмотнула локтями, и глаза ее запрыгали; она повернула от стола назад и через плечо бросала:

— Черти вы!.. Вот черти... Что надумали, а? Черные какие-то, а?! Направо-налево кровь льют, а?! Нате вам сметанки, нате, — издевательски улыбаясь, рывком совала она к стулу крынку со сметаной и отдергивала назад. — На-те, окаянные... На-те... — Глаза ее горели яростью. — Ишь ты, черные, ни дна б вам, ни покрышки, подлецам... Замест сметаны-то в три шеи вас, дураков паршивых... Мы че-о-рные... Тьфу!.. — И старуха, ударив в пол ухватом, зашоркала к печке. — Нет, ребята, это не по-божецки... Уж вы, ребята, одной стороны держитесь: либо белой, либо красной... — Голос ее стал мягче, и глаза глядели на пришельцев жалостливо. — Эх, ребята, ребята!.. Дуть вас надо, дураков...

— Хозяйюшка, — сказал Телегин, — мы хотим дальше идти, а ты разреши нам оставить у тебя кой-какие вещишки...

Но в этот миг открылась дверь, быстрым шагом вошел красноармеец и спросил:

— Палатки-то вносить, товарищ Телегин?

Слово «товарищ» ошарашило старуху как бревном: она вдруг стала маленькой, как девчонка, ухват дрябло заляскал в пол, и сарафан сзади гулко встряхнулся.

— Ой, ребята,— безголосо прошипела она и шлепнулась на лавку.— Ой, ребяташки, товарищи... Дак кто же вы?

Степка Галочкин — ноздри вверх и захохотал в потолок горошком, а Телегин серьезно:

— Красные, хозяйюшка, красные...

Старуха разинула рот, несколько мгновений лупоглазо смотрела в лица красноармейцев и вдруг сорвалась с места.

— Ребяташки, голубчики, товарищи наши! — заорала она осипшим басом как сумасшедшая.— Бейте их, окаянных, белых этих самых! — грохнула она ухватом в пол.— Бейте их хорошень!.. Бейте!..— Бабка злобно поддела котенка ногой и едва устояла.— Они, подлецы, родного старика моего в баню заперли, хозяина... Вавилой звать... Пошел он вчерась к дочке,— дочка у нас в том конце замуж выдана. А его там и замели — ты, мол, красный,— да в баню на старости лет... Вот они, собаки, ваши белые-то, что делают... Давите их, подлецов, пожалуйста!

Бабка — как ведьма: космы растрепались, повойник на затылок сполз, из беззубого рта летели слюни.

Красноармейцы хохотали.

Галочкин уткнулся лбом в столешницу, крутил головой и залиvisto визжал; подброшенный котенок лез с перепугу в валеный сапог; темным облаком под потолком шумели мухи.

РАЗВОД

Существовали на сей земле супруг с супругой, Иван да Марья Природовы, ткач и ткачиха. Десяток лет жили дружно; правда, случались малые скандалчики, но это уж обычно, это исстари идет, по всем законам: все в природе зуб за зуб, клык-на клык, даже волки лютые грызутся, почему же людям в мире жить, раз они от обезьяны?

Только однажды, совсем недавно, случился грех, и в совершенно трезвом виде. Грех, к огорчению, кончился разводом.

Грех не сразу выпер в их жизни, он, как клубок, накручивался исподволь: сегодня нитка, завтра бечевка, послезавтра — аркан. И стиснул аркан их души.

Разрыв случился из-за двух вер. Одна вера в бога, другая в красном платочке, просто Вера, ткачиха тож. Марья по природной женской слабости была религиозна. Иван же вольнодумец. Марья на сходке, когда церковь постановили обратить в театр, полезла в драку; Иван, в отместку ей и согласно идеологии, снял дома все иконы, проворчав:

— Да ты Вере-то в подметки не годишься, ежели критически... И как я с тобой, с чертом, жил...

— Тьфу! — плюнула жена.

Остальное все понятно.

После развода они вошли в комнату как чужие. Муж принес колбаски фунт. Она — баранок и селедку. Пожевали молча, всяк в своем углу. Иван искал нож, не нашел, а спросить — самолюбие не позволяет. Отгрыз колбасу, подумал: «Вот и свободный я. Куда захочу, туда и пойду», — и с остервенением опять отгрыз.

Марья озабоченно уписывала селедку, запивала чаем. «Хорошо бы и мне чайку, — подумал Иван. — Не даст, пожалуй. Обозлившись».

Он почему-то на цыпочках подошел к водопроводу, напился и, как бы устыдившись малодушия, беспечно замурлыкал:

Выхо-о-жу один я на доро-о-огу-у...

Марья зевнула, взглянула на стенные часы — десять — и стала опрашивать кровать.

— Отвернись! — крикнула она Ивану, как нищему, который назойливо выпрашивает денег. — Теперича ты мне — тьфу. Я раздеваться стану. Можешь глаза пялить на Верку на свою.

Иван отвернулся. Марья разделась, перекрестила подушку и легла.

— Можно, что ли, оборачиваться? — спросил Иван. Но ответа не получил.

Где же лечь? Дивана нет. На стульях разве?

«Э, черт... Лягу на полу».

Марья спала крепко, Иван тревожно. Утром опять пришлось Ивану отвернуться.

На работе Иван да Марья спрашивали у товарищей, нет ли, мол, на примете у кого хоть какой-нибудь комнатухи? Куда тут... Нет.

— Это раньше бывало: комнат — сколько хошь... А по-ди-ка разведись... наплачешься...

Подходила вторая ночь.

— Теперича моя очередь на кровати... Кровать не твоя, а общая, — сказал Иван.

— Отвернись, — сказала Марья, разделась и легла на пол. Иван спал крепко, Марья тревожно: все вертелась на полу — жестко.

Пришла третья ночь. Иван читал газету. Марья достала новую рубашку в кружевах, нарочно перед самым носом Ивана разложила ее на столе и стала продевать в проемы розовые ленточки. Иван покосился на рубашку, крикнул и никак не мог перелезть на другую строчку: голова вдруг отказалась понимать прочитанное, в голове замелькала женская рубашка, тело — бывшей жены или ткачихи Веры — все равно.

— Отвернись, передену рубашку, — сказала Марья.

Ивану показалось, что голос Марьи прозвучал не так, как раньше.

Иван отвернулся к зеркалу и протер глаза. В небольшом квадрате зеркала отражалась часть кровати. Марья отпахнула одеяло, и рубашка скользнула с ее плеч. Сердце Ивана стукнуло, остановилось и — раз-раз-раз — пошло работать без узды.

Чтоб не смотреть на отражение крепкого женского тела, Иван, согласно идеологии, зажмурился, но тотчас же открыл глаза.

Ложась на пол, он думал:

«Придется постельник сделать. Черт его знает, этот развод. Ничего не предусмотрено».

На пятую ночь, когда Ивану опять пришла очередь спать на полу, Иван сказал:

— Слушай. Без постельника немислимо на полу валяться. Если, так сказать, вдуматься категорично, мы можем, как тот, так и другой, спать вместе на кровати, ведя себя соответственно.

Марья подумала и сказала сердито:

— Ложись! Только чтоб спина к спине.

— Обязательно! — воскликнул Иван. — Соответственно... И тому подобное.

Ах, как приятно! В комнате восемь градусов, а до чего тепло спине. А все-таки надо идеологии держаться.

— Пожалуйста, не шевелись,— сказала Марья, засыпая.

— Я не шевелюсь... Я так, от нечего делать... Приятно очень.

Днем, в воскресенье, у них был такой разговор.

— Когда же ты уберешься от меня, постылый? — сказала Марья.

— А куда же мне, ежели кругом такое уплотнение?

— К Верке к своей, вот куда!

Иван взглянул в глаза Марье: бешеные бесенята, огоньки.

— Она сама при муже,— угрюмо сказал он.— Мы с ней, ты думаешь, как? Мы с ней просто по-хорошему.

— По-хорошему? — закричала Марья.— А пошто мял-то ее на танцульке. В коридоре-то?

— Мял-мял... Эка беда какая... Да ведь как вас, баб, не мять... Ежели вы такие... Ну, это самое... Всякий комбинат. Поневоле будешь мять...

— Поневоле? — еще звонче крикнула она. И сразу тихо, сквозь сдержанные вздохи: — А впрочем, сказать... Чего это я, дура... Теперича мне тыфу на тебя. Чужой ты мне, вот все равно как это полено. Мни, кого хочешь, тешься.

— А ты?

Марья замигала и быстро в сенцы.

Легли опять спать спина к спине. Ивана подмывало повернуться. Марья, будто угадав, сказала сквозь зубы:

— Ты не вздумай облапить меня. Я тебе не девка гулящая.

— Ну, вот еще... Что я, маленький, что ли?

— Да ведь вы... О, чтоб вам сдохнуть!..

Иван огорченно улыбнулся тьме. И чтобы укротить себя, пытался направить мысли иным путём:

«Двенадцатый разряд... По какому праву? Да он, этот самый Лукин, без году неделю и служит-то... Неужто за то, что языком трепать умет? А мне едва одиннадцатый дали... Обида или нет? Да, да... О-о-о-обида,— засыпая, думал Иван.— Чего? А хорошо бы поэтому... как его... ну вот этому в морду дать. А-а-а, Лукин, вот он-он... Держи его... двенадцатый разряд... А? Разряд? Хватай, бей!»

Иван занес руку, чтоб сгрести обидчика в охапку, и почувствовал, что его рука прикоснулась к чему-то мягкому, как крутое тесто.

И вслед за этим обидчик крепко дернул его за бороду, крикнув:

— Пожалуйста, без объятий своих! Отъезжай на пол... Ежели руки распространяешь.

Иван очнулся и сказал:

— Извиняюсь... Затмение... Комбинат.

И вновь спины вместе, дружба врозь. Лежит Иван, хлопает во тьме глазами, не может разобрать — хнычет Марья или хихикает над ним. Лежали долго.

— Иван! — позвала Марья.

Иван притворился спящим и легонько захрапел.

— Ох, какая канитель мне с ним,— вздохнула Марья и, повернувшись к мужу грудью, опять тихонько позвала: — Иван!

Иван храпел. Тогда Марья слегка прикоснулась губами к Ивановой спине и чмокнула, сказав: — Ах, душка мой... Василь Василич...

— Извиняюсь!.. В чем дело? — быстро повернулся к ней Иван.— Какой это Василь Василич у тебя имеется?

— А тебе какое дело? — сказала Марья и повернулась к нему спиной.

— Мое дело, конечно, маленькое,— сказал Иван.— Эх, Маша, Маша!..

— Ты с Верками да бог знает с кем путался, а мне звать? Плевала бы я...

— Вовсе я даже ни с кем не путался... Как честный человек говорю... Ха! Променял бы я тебя на Верку. Даже смешно.

— А что? Скажешь, меня любил?

— Неужели нет? Эх, Маша...— Он горестно взмотнул головой, и кончик его носа зарылся в густую косу Марьи.

Марья быстро повернулась к нему грудью, крикнула:

— Ах ты, дурак паршивый, притворщик. Ишь ты, прикинулся, храпел, как конь... Сроду не знавала никого oprичь тебя. А ты и уши распустил. Я просто испытать... Ха! Василь Василич какой-то, провались он.

— Маша! Изюминка!

— Ваня!

А перед утром Иван сказал:

— Просто непонятное бывает на свете. Ведь вот жили мы с тобой, скажем, десяток лет, и ничего такого... все как-то... Даже наскучили друг дружке. А тут, черт его

знает то есть, как развелись, с того самого моменту я прямо втюрился в тебя, как самый безнадежный влюбленный буржуй. То есть черт его... И с каждым моментом гораздо пропорциональнее... Ну, хоть на стену полезай или топись... Вот что значит психология... Развод придется онулировать... Ах, необдуманый комбинат какой... Идеологически паршиво вышло.

Марья вздохнула и сказала:

— А хорошо бы нам ребеночка.

— Неплохо бы,— сказал Иван.— А что касемо религиозной почвы, то ее как-нибудь урегулируем. И вдобавок, Маша, надо пружинный матрас купить.

«НАСТЮХА»

Приказано было в нашей деревне Крайней женотдел образовать. Ну ясно, оборудовали. Председательша — Фекла Пахомова — чернушая, как цыганка с табора. И страсть какая злобная — перцем не корми. То есть так взъерошила баб против мужиков, не надо лучше: поедом стали бабы мужичишек есть: «Ах вы, пьяницы! Ах вы, окажные! Да мы вас, да вы нас...» Даже ежели, скажем, желательно допустить над собственной женой что-нибудь особенное, ну, вот это самое, дак и то она — пошел, говорит, к черту, думаешь, говорит, легко в тягостях-то нашей сестре ходить... А чуть вразумлять начнешь, она норовит ухватом по морде смазать, да с ревом в женотдел: «Караул, караул, убил!» А какое, к свиньям, убил, ежели сам стоишь у рукомоиника, нос замываешь, а из носу невинная, конечно, кровь...

Других мужиков председательша Фекла Пахомова, чтоб ей в неглыбком месте утонуть, в суд потянула, — дескать — увечат жен. И что ж? Разве наши суды — суды? Жены пришли на суд краснорожие, у мужьев под глазами фонари понатырканы, даже один хромает. И, невзирая на подобные приметы, мужиков присудили к штрафу да к отсидке.

— Разобьют рыло, а скажут, так и было, — ругали женщин мужики.

Один прибег домой — лица нет, аж зубами скрипит, а бабу колошматить воспрещено. Дак он что... Он от горькой злобы собственную собаку удавил, сгреб за шиворот и сразу в петлю:

— На,— говорит,— тебе, сучья тварь, на! Повиси за-
месть моей стёрвы — Машки... У-ух! — и заплакал. Си-
дит в хлеве, на навозе, сморкается на все стороны, плачет.
Мужики очень смирные у нас, а бабы — бой.

Этот ужасный террор проистекал до осени. Феклу Па-
хомову вытребовали в город служить, то есть к повыше-
нию. Она бобылка грамотная, собралась, уехала. Бабы
часть провожала ее с воем.

Мужики сказали на сходе:

— Ну, длиннохвостые, кончилась вам масленица. Кого
хотите в председательши? Становь кандидатуру, черт вас
ешь!

Та не хочет, эта не желает, третья — боится. Так нико-
го и не избрали. А из волости приказ — избрать. Судили
мы, рядили, дай, думаем, изберем в председательши муж-
чину.

Сельсовет, мельник наш, сказал:

— Что же, братцы, деревня наша Крайняя, на самом
краю, дальше болото на сто верст, к нам никто дорого не
возьмет и заглянуть-то из порядочных. Давайте, братцы,
изберем Настасея. Имя у него вроде бабье, а фамиль —
сам поп не разберет — Сковорода. Баба тоже может ско-
вородой быть за всяко просто.

Тогда начал говорить сам Настасей:

— Я ничего, братцы, согласен, как говорится. И имя...
тово... действительно, чтобы... Даже маленького меня и
звали-то «Настюхой». Только, братцы, как бы какого худа
не было... Кроме всего прочего, конечно, да.

— Хы! Худа. Эка штука гумагу раз в месяц подмах-
нуть. Пиши фамиль само неразборчиво, чтоб гаже нет.

— Да мне разборчиво-то и не... А только... этого, как
его... чтобы... Сумленье у меня, да. Вдруг нагрянут. А че-
ловек я робкий. Я такой человек, урони возле меня, ска-
жем, ложку, я так и подскочу до потолка. Человек я при-
падочный...

— А ты не скачи... Ты что, блоха, что ли?.. Соглашайся
знай. А мы тебе... Ребята, соберем Настасею пудишек
пяток муки в честь уважения. И четвертуху самогону пер-
вый сорт. Идет?

Стал с тех пор Настасей Сковорода председательшей
женотдела.

И стало мужикам вольготно, бабам худо.

А тут... Ну, так даже и не выдумать. Вдруг — фють! — здравствуйте — прикатил мимоездом какой-то заведующий член из города, и прямо к председателю сельсовета, мельнику Вавиле Четвергову. То да се, спросы да расспросы, ну как, дескать, дела, почему нет избы-читальни, почему нет комсомола, работает ли женотдел?

— Сделайте милость, ваша честь, чайку испить, — краской залился Вавила. — Женотдел у нас справный. Председательшей женщину мы избрали, Настасья Скворода фамиль. Бабочка толковая. Ведет линию парциально, согласуемо...

— Нельзя ли с ней переговорить?

— Даже невозможно! Они, кажись, больные, — похолодел Вавила. — Они, кажись, ребенка родили. Быдто мертвенький... царство ему небесное.

— Тогда я навещу. Где она?

У Вавилы сразу осел живот, и тугой поясок ослаб.

— Что вы, товарищ, господин, как вас... с непривыку... Она в отдаленности живет, на хуторе, в лесочке... Быдто, сказывают, волки бешеные там рыщут, волчица да волк, пара. Согласуемо... Спаси господь...

Приезжий прищурился по-хитрому из-под очков в лицо Вавилы.

— А все-таки мне надо с ней переговорить.

— Тогда вот какое дело, товарищ хороший, как вас... с непривыку... имя-отчество. Вы после чайку прилягте отдохнуть. Столько верст проехали, болотина да буераки. А вечером я доставлю ее вам, на сон грядущий. Ведь вы заночуете? А куда же ваш путь принадлежит? Ах, в Павловское? Очень даже приятно нам, Павловское селенье подходящее. Народ — чистяк. Ах, какое село веселое... — повеселел наш пузан Вавила.

— Будь по-вашему, — сказал гость. — Только ко мне не пускайте пока никого: заниматься надо.

— Будьте вполне благонадежны, — вскричал Вавила. — То есть ни одна тварь не побеспокоит вашу честь.

— Карауль начальника, — сказал Вавила своей жене, а сам по деревне марш. Обежал все избы — хоть бы одна баба согласилась на полчаса председателяшей побыть. Ах, ерш те в бок. Вот так штука...

Вавила к Настасею Сквороде и сразу заорал:

— Чтоб те сдохнуть, дурак паршивый! Пропадаем мы

все, Член приехал! Требуется! Ах, ах... Придѣлился, дьявол бородатый, в бабью должность, вот теперича иди!

— Ой, убогу я... В лес уеду, — взмолил, замотался Настасей.

— Убогу.. Дура! Он книги требует. Он баб скличет. Хуже будет!

Настасей хлюпнулся на лавку и по-сумасшедшему выпучил глаза.

— Стриги рыжую бороду свою проворней, черт ты, собаку, ешь! — крикнул мельник. — Бритва имеется? Ужо я писаря позову, он обкатает.

Через час Настасея перевернули на Настасью.

— Повойник мой на башку-то надень! — злобилась его баба. — А поверх-то... Ужо-ко я шаль повяжу. — И не знала баба, хохотать иль плакать, — баба хохотала.

— Форменно. Сойдет, — окончательно развеселился мельник. — Член, кажись, подслеповат. А голосишка у тебя, слава богу, бабий... Сойдет. Эх, жаль, член самогон не употребляет. Слышь-ка, тетка Дарья!.. Напхай ему кудели вот в этом месте... Так... Убавь! Прибавь! Так, в плепорцию. Вот мужика и в красотку перевернули, хе-хе... Даже замуж можешь в этом сарафане выходить за какого ни то расстригу. Идем проворней. Не подгадь. Личность веселей держи, с игрой!

Председательша Настасья по записной книге давала объяснения проезжему гостю. Заикалась, голосишко дрожало, виляло, руки тряслись. И смех и грех, вот те Христос.

— Да вы, гражданка, не волнуйтесь. Говорите спокойно. У вас, кажется, все в порядке, — сказал член и глазами заморгал.

— В порядке, ваша милость, как вас... — сиял мельник именинником. — Бабочка она хорошая, толковая. Линию ведет, парциально, согласуемо.

— Говорят, у вас несчастные роды были?

— Никак нет, — тонким голосом ответила Настасья и шаль натянула на глаза. — У нас... как его... все рожают, конечно, правильно, счастливо, да.

— Нет, нет. У вас лично, — поправил гость.

— Это, извините, я спутал, — выставил наш мельник бороду. — Та даже совсем другая женщина. Та действительно, черт ее знает, взяла да и... тово...

А гость — ну прямо как на грех — открыл на улицу окно, крикнул:

— Эй, тетушки! Шагайте обе в избу на пару слов. Настасье показалось тут, будто юбка сама собой полезла вниз, будто из-под шали снова выставилась бородаща.

В избу вошли тем временем две тетки под хмельком — после баньки хлопнули.

— Ну как, тетушки, — спросил гость и очками поблестел. — Председательшей женотдела довольны?

Настасья охнула от ужаса, сгреблась за край стола. Мельник боком-боком к теткам:

— Выручай, молодайки, — шепнул им и даже толстую маленечко по заду приласкал.

— Председательша наша дюже хорошая, — перемигнулись тетки, — усатая, бородатая, женатая.. Хи-хи-хи... А, чтоб вас... Камедь!..

Побелела Настасья, рученьками всплеснула, зашаталась.

Мельник крикнул:

— Пошли вон!.. Пьяные ваши рожи!.. Они — полудурки, товарищ дорогой, тово... с максимцем... Вон!!

У теток враз раздулись ноздри, а спина дугой, как у кошек перед собакой.

— Ах ты брюхан! — заорали обе вдруг. — Нам — тьфу, что ты сельсовет! А пошто же ты лишних по две копейки за помол берешь? Это порядки? Тьфу! Слушай, товарищ городской, мы тебе всю правду истинную... Он, нечистик, с чертом знается... Вот он какой сельсовет... Тьфу! Он, паскуда, нам в женотдел мужика рыжебородого всучил. Дуняха! Веди-ка сюда Настасея Сковороду...

— Как? — ополоумел гость. — Вот ваша председательша.

— Тьфу! — плюнули обе тетки. — Наш Настасей бородатый... Это он, брюхан, полюбовницу свою привел... У него их...

Настасья вскрикнула, хлопнулась врястяжку, захрипела.

— Обморок... Воды! — засуетился гость. — Кофту растегните. Смочите грудь.

Тетки — к неизвестной бабе. Живо кофточку долой, вот так фунт — замест того-сего — ха-ха — куделя!

— Боже милосердный! — в страхе перекрестился мельник и попятился. — Кто же это? А?!

Тетки в хохот, в визг, понять не могут. Лежавшая вверх носом председательша шевельнула правой ручкой и чихнула.

А мельник плаксиво на колени перед гостем пал.

— Ваше скородие, как вас, с непривыку... Голубчик! Не губи... Действительно — мужик это... Только очень бритый... Враг попутал... То есть ах, боже... с перепугу все, согласуемо. Просто неисповедимо как... Ах, ах, ущерб какой... Вставай, рыжий черт!! — сдернул мельник шаль с плешивой головы Настасея. — Ишь, развалился, быдто дохлый гусь... Кланяйся!.. Проси прощенья!..

Гость — брови вверх — протирал вспотевшие очки и взмыкивал, потом стал неудержимо хохотать. Настасей помаленьку приходил, слава богу, в чувство.

Через десять дней, приказом города, были перевыборы в сельсовет и женотдел.

УСЕКНОВЕНИЕ

В село Нетоскуй прибыл знаменитый, с двадцатью тремя медалями, фокусник. А село большое, на четыре улицы, и в каждой улице по настоящему кулаку сидело, богатею.

В самой же маленькой избенке, на краю села, Мишка Корень жил, парень головастый, хотя и рябой весь, но очень грамотный: чуть что, вроде кулацкого засилья, например, так в газете и прохватит, потому — селькор, а подпись — «Шило».

Кулакам Мишка Корень — как чирый на сиденье, кулаки искали случая стереть его с лица земли.

Вот тут-то фокусник и пригодился.

Объявил фокусник, что желающему из публики он будет топором голову срубить, потом опять приставит, человек снова оживет.

Неужто верно? Да, да, да, милости просим убедиться.

Посоветовались кулаки между собою, и лавочник Влас Львов пригласил фокусника к себе на угощенье.

Вдвоем пили, взаперти.

— Да, гражданин фокусник, туго нашему брату и с богатством теперича, — печально помотал бородой Влас Львов. — И вот в чем суть... Ежели, допустим, коснувшись вашего ремесла, вы оттяпали человеку голову, что же, неужели он умирает тут?

— Без сомненья, умирает, — ответил фокусник, бритенький и юркий, во рту золотой зуб и важнецкая сигарочка торчит.

— Так, так... Кушайте во славу. Пожалуйте уточку... Ах, какая утка примечательная... Просим коньячку... По личности сразу видать, что вы очень умный, просто полюбил я вас совсем. Ну, так. А потом, ежели голову приставить, опять срастется? Ока-а-азия... До чего наука достигает... Страсть... Милай! Друг! А позволь тебя, андель, спросить... Например, ежели оттяпаешь, а тут в тебе головокружение, захвораешь нечаянно и на пол, вроде обморока? Тогда как? Ведь не станет же человек без башки полчаса дышать, умрет. Правильно иль нет?

— Без сомнения, правильно,— фокусник потянул из стакана коньячок.— Тогда, без сомнения, умрет так ловко, что, хоть пять голов приставь, не воскреснет. Но я в обморок никогда не падаю.

— Жаль,— мрачно вздохнул хозяин.— Шибко жаль. Только со всяким несчастьем бывают. И по суду, ежели коснется, тебя всегда оправдать должны... Ну что ж. Голову отрубил, скажем, парню, да и сам в обморок ляпнулся. Несчастный случай — да и все. А мы тебе... хе-хе-хе... сотняшку рубликов пожертвовали бы. Чуешь? Ну это — между прочим, к слову. С глаз на глаз мы. Великая тайна, значит.

Фокусник допил коньяк, ухмыльнулся и по-дьявольски хитро подмигнул хозяину:

— Понимаю... Идет. Какого цвета волосы?

— Хых ты, андель, херувим! — схватил хозяин гостя в охапку, целовал его в уши, в лоб, в глаза.— Ах, до чего догадлив ты! Лохмы светлые у паршивца, как лен. Такая гадюка, страсть... То есть ах... Одно слово, ухорез, пагуба для всего правильного хрестьянства. Вот тебе в задаток два червончика. Ну только чтобы верно. Понял? Вот, вот. Достальные — после окончанья. Прибавка будет. Озолотим.

А вечером кулацкий элемент предупреджал крестьян на сходо:

— Смотрите, братцы, своих парнишек не пущать башки оттяпывать. Боже упаси. Заезжему прощельге с пьяных глаз — фокус, а человеку может приключиться смерть с непривычки.

Народный дом густо набит зеваками.

Фокусы были замечательные. Вырастали цветы в плосках на глазах у всех, исчезал из-под шляпы стакан с водой, фокусник изрыгал фонтаны пламени и дыма, в гроб

клали девушку — помощницу, закрывали, открывали при свидетелях и — вместо девушки лежал скелет.

Зрители пыхтели, впадая в обалдение, старики и бабы отплевывались, крестились, призывая всех святых. Ребята широко открывали рты и не дышали.

После перерыва фокусник проделал много разных штук и в конце заявил ошалевшей толпе, что он хворает и поэтому отрубание головы отменяется. Народ вдруг взбунтовался, зашумел.

Громче всех, подзуживая зрителей, буянил кулацкий элемент:

— Ага, ишь ты! Руби, руби! — шумел народ. Толпа была возбуждена, раздувались ноздри.

— Идя навстречу желанию публики, — начал фокусник, — и благодаря угрозам, я, конечно, как будучи беззащитен против сотен зрителей, соглашаюсь. Но предупреждаю: операция может закончиться печально, потому что я утомлен и близок к обмороку.

Кулацкий элемент многозначительно переглянулся: «Ключуло. Все как по маслу... Так».

— Согласны на таких условиях? Я всю ответственность переносу на вас.

— Жалаим!.. Просим! Сыпь!!

Кулацкий элемент радостно заерзал на скамейках.

— Желаящие, пожалуйста на плаху! — озлобленно крикнул фокусник и покачал широким топором.

Никто не шел. Все оглядывались по сторонам, шептались, подбивая один другого. В углу уговаривали древнего старца — ведь это ж не взаправду, а ежели выйдет грех, деду все равно недолго жить.

Старец тряс головой, плевался, а когда его подхватили под руки, загайкал на весь зал:

— Караул! Грабят!

И вот раздался голос, очень похожий на голос торгаша Власа Львова:

— Пускай Мишка Корень выступает! Он — комсомол, не боится ничего.

Минуто было тихо.

Потом, рассекая полумрак, взвились насмешливые крики, как бичи:

— Ага, Миша! Боишься?! Вот тебе и нету бога! Тут тебе, видно, не митинги твои... Ха-ха!.. Попался?!

Селькор Мишка Корень, сидевший на первой скамье, вдруг встал, весело швырнул слова, как горсть звонких бубенцов:

— Сделайте ваше одолжение, сейчас!— и быстро закончил на эстраду.

— Не бойтесь?— спросил фокусник громко, чтоб все слышали, и, скосив глаза, строго осмотрел жизнерадостного, в белых вихрах, юношу.

— А чего бояться?— так же громко ответил тот.— Без головы не уйду.

— Ну, смотрите... Чур, после не пенять. Давайте завяжу вам глаза, а то страшно будет.

В задних рядах девчонка, сестра Мишки, с ревом сорвалась с места и кинулась домой, предупредить отца:

— Мишку резать повели!

Фокусник завязал лицо юноши белым платком по самый рот и усадил его возле стола с плахой.

Юноша не знал, что заговорщики, затаив дыхание, ждут его конца, ему и в ум не приходило, что фокусник — продажная тварь, предатель, он не чувствовал сердцем, что его сейчас убьют, поэтому так доверчиво, с улыбкой он положил на плаху свою голову.

На сцене — полумрак. Фокусник засучил рукава и ухватился за топор.

Весь зал с шумом поднялся на ноги, вытянул шею, замер. Зал верил и не верил.

Сверкнул топор, зал ахнул, голова с хрястом отделилась от туловища, тело Мишки сползло со стула на пол.

Фокусник взял в руки белокурую, с завязанным лицом, голову и показал народу. Из горла свисали жилы, струилась кровь.

С визгливым криком несколько женщин лишились чувств. Зал оцепенел. Мертвящей волной пронесся мгновенный холод. Зал копил взрыв гнева и тяжко, в сто грудей, передохнул.

Фокусника охватила жуть, он увидел звериные глаза толпы, побелел и зашатался.

«Сейчас упадет»,— мелькнуло в сознании торгаша Власа Львова.

Толпа враз пришла в себя и с гвалтом, опрокидывая скамьи, топча упавших, зверем бросилась вперед:

— Убивец!! Подай Мишку!

Толпу охватило яростное пламя мести, крови:

— Ребята, бей!! Души!!

Но вдруг толпа с налету — стоп! — как в стену: из-под стола с хохотом поднялся казненный Мишка Корень и в гущу взъерошенных бород, перехваченных ревом глоток звонко закричал:

— Товарищи! Я жив и невидим!! Да здравствует советская власть! Ура!

Весь зал взорвался радостными криками: «Ура, браво, биц-биц-биц!»

— Товарищи!— надрывался фокусник.— Это же в моих руках голова куклы. Это же ловкость рук! Прошу занять места... Сейчас будут объяснены все фокусы!

Тут вздыбил на скамьи весь кулацкий элемент. Очнувшийся Влас Львов громкогласно заорал:

— Жулик ты! Обманщик!.. Тьфу твои паршивые фокусы!! — И озверевшим медведем стал продираться к выходу.— Хорошенькие времена пришли! Ни в ком правды нет... Ни в ком!!

Фокусник, юркий, бритенький, улыбнулся ему вслед. Во рту фокусника золотой зуб и важнецкая сигарочка торчит...

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Ватага (роман)	5
По Чуйскому тракту (путевые очерки)	
I. Первые этапы . . .	142
II. От Алтайского до Муюты	146
III. Преддверия орды	149
IV. Страшный кам	151
V. Шебалина — Топучая	153
VI. Усмирители	156
VII. Семинский перевал Кензга	157
VIII. Калмыки	159
IX. Беседа с зайсаном	160
X. Особое мнение	162
XI. Еще о Чоте Челпанове	165
XII. Русско-калмыцкий той	167
XIII. Древние памятники	173
XIV. Онгудай	174
XV. Веселые кержаки	176
XVI. «Черт-атаман»	177
Море зеленое	178
Скала .	183
Мильен тыщ	189
Рассказы	
Однажды вечером	196
Холодный край	202
I. Лебеди	—
II. Белка	204
III. «Вера такой...»	206
IV. Трое	209
Краля .	213
Чуйские были	233
I. Зеркальце	234
II. Часы	236
III. Тавро	239

IV. Живые мешки	244
V. Гнус	248
Ванька Хлюст	252
Колдовской цветок	275
Та сторона	283
Золотая беда	307
Царская птица	317
Журавли	322
Отец Макарий	335
Алые сугробы	342
Таежный волк	374
Алчность	405

Шутейные рассказы

«На травку»	417
Экзамен	423
Смерть Тарелкина . . .	429
Спектакль в селе Огрызове	438
Шерлок Холмс — Иван Пузяков	461
1. Сенцо	—
2. Пуговка	465
Портрет	473
Бабка	476
Развод	479
«Настюха»	483
Усекновение	488

Вячеслав Яковлевич Шишков
ЧУЙСКИЕ БЫЛИ
Роман, очерки, рассказы

Редактор В. Казаков
Художник А. Курдюмов
Художественный редактор В. Еранкин
Технический редактор Г. Заркова
Корректоры Г. Удльченко, Н. Тырышкина

ИБ № 1686.

Сдано в набор 28.08.85 г. Подписано к печати 1.07.86 г.
Формат 84×108^{1/2}. Бумага тип. № 3. Гарнитура лите-
ратурная. Печать высокая. Усл. печ. л. 26,04. Усл.
кр.-отт., 26,46. Уч.-изд. л. 28,485. Тираж 100.000 экз.
Заказ № 9331. Цена 2 р. 60 к.

Алтайское книжное издательство Государственного
комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии
и книжной торговли — 656015, Барнаул, Ленина, 76.
Типография изд-ва «Омская правда» — 644056, Омск,
пр. Маркса, 39.





